ЮЛИАН СЕМЕНОВ

ЮЛИАН СЕМЕНОВ

16

irtschaftsmini

1687/43

dieses Geschäftszeichen und den weiteren Schreiben anzugeben

Eilt!

Geheim!

Reichsminister für Rüstung
riegsproduktion - Rüstungsamt -
von Herrn Kapitän z.S. v. Henrici
- oVIA -

...матографа
помнят роли, сыгранные ими:
"Подруги" Зои Федоровой и
"Двое" Виктории вошли в анна-
лы искусства навсегда — как до-
кументы эпохи.

— Мама была у меня в гостях
несколько раз,— рассказала Вик-
тория. — Однако, когда я пригла-
сила ее в восьмидесятом, вскоре
после того как здесь выпустили
мою книгу "Дочь адмирала" —
отец умер в звании адмирала
флота США, — маме отказывали
в выдаче паспорта. Я обратилась
за помощью к тому сенатору, за
которого голосовала. — Брэдли.
После совещания в его штабе
мне ответили: "Если бы мама
просилась в эмиграцию, сюда, к
вам, для воссоединения семьи,
мы бы могли оказать какую-то
помощь. В ином случае бреж-
невская администрация нам от-
кажет: "Давать или не давать
выездной паспорт для поездки
в гости — наше внутреннее
дело..."

...жизни, двенадцать
...земпляров; ныне тираж
...од жизни - это и мало
...ысячи писем, поступ...
...могают нам вы...
...ы наше...
1. В ...
...ажни...
...едоум...
2. ...
...дел...
...ское С...
3. ...
...вы!
4. ...
...упники,
...е место
5. ...
...и сможет ...ть все наши эко...
...истративной Системы!"
6. ...Продолжать борьбу
...ции и взяточничества.
7. Выступать против той с е к...
...ну и его банде создать камеры ...
...нки, Катыни, а его ученикам - п...
...
...так, "Совершенно Секретно" - эт...
...а этом мы стояли и будем стоять.

...ривет свтвия от Библейского Общест...
...ктеров, художников, режиссеров, ...

...ивенчества:
...в квартиру, накор...

...и пьяница, приходящий
...юги, так и вполне прис-

...ния пропагандистской ше-
...Поэтому следует отве-
...перед самим собою, ...
...ективно.
...арант. Оно обязано ...
...амовыявление,- это

...розить рост заработной
...ляции (при том,
...ны на рынке - рыноч-
...ому, сколько труда
...елем в продукт) буд...
...сы,- ... могут
...ктом.
...положения?
...ос трудно ответить,
..., которые облегча...

...пнивающей") стра-

...schaftsminister

...7/43

...s Geschäftszeichen und den
...eren Schreiben anzugeben

...ernsprecher: Ortsdienst Nr. 16 43 51
Ferndienst Nr. 16 41 21

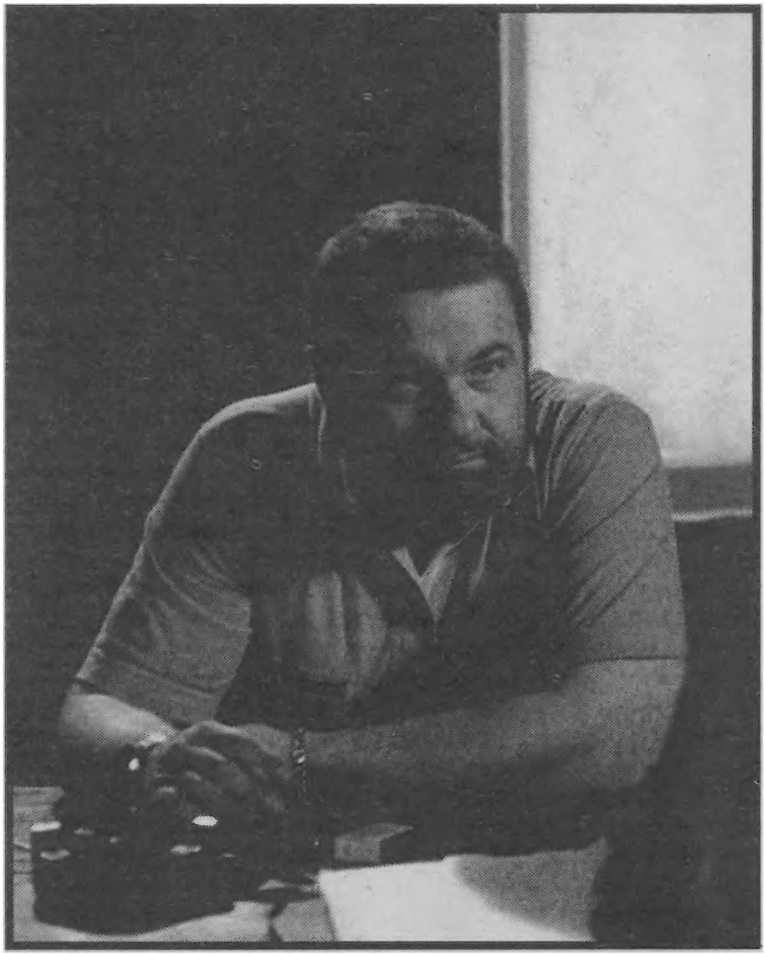
Eilt!

Geheim!

...ister für Rüstung
... Rüstungsamt -
... v. Henrici

Данил Семенов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



Thomas

Семь

ТОМ ШЕСТНАДЦАТЫЙ

АУКЦИОН ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Москва
ЭГСИ
1996

ББК 84. ЗР7
С 30

Художники
М. ШЕСТОПАЛ
В. ПОМОЧИЛИН, В. БЕЛЯКОВ

© Ю. Семенов, 1983
© Составление, подготовка текста–Фирма ЭГСИ, 1996

АУДИЦИОН

ВМЕСТО ПРОЛОГА

Соответствующие службы страховой корпорации ДТ зафиксировали определенное падение интереса ряда весьма престижных клиентов к аукционам, на которых т о р г о в а л и произведениями европейской культуры, чаще всего восточноевропейской, в первую очередь русской.

Электронно-вычислительные машины просчитали вероятный убыток: он исчислялся в два миллиона семьсот сорок семь тысяч долларов, не бог весть какие деньги, но вопрос не в них, а в тенденции.

Сектор анализа конъюнктуры заказал исследование этой проблемы Бруклинскому центру; среди возможных причин, объясняющих тревожный симптом, была названа и такая: в Европе появилась группа лиц, которая травит тех, кто приобретает, а равно и торгует произведениями культуры, возможно, похищенными во время прошлой войны.

Понятно, ни одна серьезная страховая фирма, входящая в группу ДТ, не может идти на то, чтобы платить п о л и с за краденое. Риск слишком велик, поскольку возможен удар по престижу, а это невосполнимо.

Проблема была запущена в р а б о т у, как всегда, в разных городах, в разных учреждениях, по разным людям...

Одним из тех, кого привлекли к исследованию этого путаного и странного дела, оказался Джос Фол.

На сорок четвертом году жизни он стал вице-директором компании АСВ (связи с ДТ весьма опосредствованы, скрыты); оценка, закупка и страхование антикварных книг, картин и скульптур, выгодный бизнес. До этого в течение тринадцати лет Фол работал в «русском отделе» Центрального разведывательного управления США, ведал вопросами культурного обмена; окончил университет в Принстоне; во время массового движения хиппи в конце шестидесятых ушел из дома (отец был ведущим инженером консервного завода, мать держала салон красоты), поселился в «хипарском» районе Гринвич Виледж, снимал комнату вдвоем с Робертом О'Дэвисом (тот уехал из Штатов, поселился в Риме, пьет, не смог найти себя); потом увлекся девушкой; пришлось вернуться домой,

женившись, начал подыскивать работу; человеком, который пригласил его в с и с т е м у, оказался Александер, сосед по общежитию в Гринвич Виледж (в прошлом был самым горластым противником Белого дома); проверили – после нескольких бесед в управлении кадров – довольно быстро, за семь месяцев прошел к у р с ы, потом работал как дипломат в Варшаве, Москве и Софии.

Именно он и затребовал – через частную детективную фирму ИТСА – данные телефонного прослушивания, которые были получены оперативным путем в вилле князя Евгения Ростопчина в Цюрихе и в доме Фрица Золле[1], Бремен, ФРГ.

И тот, и другой часто звонили в Москву писателю и журналисту Дмитрию Степанову, обсуждали вопрос о картинах, исчезнувших из музеев Ровно, Харькова, Киева, Риги, Курска и Смоленска.

Т е х н и к и из специального подразделения, ведавшего расшифровкой кодов, со всей определенностью сообщили, что никаких о с о б ы х слов ни Москва (Степанов), ни Цюрих (князь Евгений Ростопчин), ни Бремен (г-н Золле) не употребляли; интонация разговора, просчитанная на специальных компьютерах, свидетельствовала всего лишь о заинтересованности; какой-то особой нервозности, свойственной агентам во время полулегальных встреч, зафиксировано не было.

Именно эти обстоятельства более всего озадачили Фола, и он обратился к председателю совета директоров АСВ с просьбой санкционировать его работу по странному у з л у: с одной стороны, красный, с другой – русский аристократ, один из немногих, кто смог вжиться в условия Запада, разбогатеть, открыть свое дело, и с третьей – немец, консерватор, обладатель уникальной документации об эсэсовцах.

Данные детективной фирмы ИТСА Фол подстраховал через друзей из ЦРУ; связей с Лэнгли не прерывал; оказывал услуги; в свою очередь, получал от к о л л е г консультации и н а в о д к и.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

– Понятно вам? – в который уже раз настаивающе повторила Галина Ивановна, продолжая медленно и властно и д т и своим тяжелым взглядом по спине Степанова; ее мягкие ладони лежали у него на плечах; руки были сухие и очень горячие.– У вас были

[1] Фамилии главных героев, звания и титулы несколько изменены. Так, в частности, графа Ростопчина здесь все называют князем.

почечные колики; давление меняется часто, особенно когда плохо с погодой и предстоит резкий слом на холод или жару... Понятно вам? Верно?

– Верно,– согласился Степанов, ощущая неловкость оттого, что женщина занималась им уже десять минут, а он молчал, никак не помогал ей, что входило в противоречие с его жизненным принципом наибольшего благоприятствия работающему.

– У вас было сотрясение мозга, причем не один раз,– продолжала женщина,– понятно вам?

Было три, подумал он, первый раз в сорок третьем, когда Земляк, маленькая двенадцатилетняя тварь с лицом старого алкоголика, столкнул его в подвал, на камни; второй раз это случилось в пятидесятом, когда он калымил на ринге, выгодное дело: выходишь против перворазрядника, а у тебя третий, но весом ты на несколько килограммов побольше; тебя крепко бьют, только успевай уходить от ударов, зато тренер перворазрядника платит тебе тридцатку, а в те студенческие годы тридцатка была деньгами; десять боев – вот тебе и туфли, чешские, из выворотной кожи, с дырочками на носках, шик; категория риска учитывалась и вполне поддавалась оценке: ты знал, на что шел, и, когда бугай из Филей повалил тебя в начале второго раунда в нокаут, ты был готов к этому; девятнадцать лет, до старости заживет обязательно! Эк же Галина Ивановна умеет читать людские болезни, ай да кудесница! А когда же случилось третье сотрясение? Погоди, сказал себе Степанов, это было весной пятьдесят третьего, ты впрыгнул в троллейбус, родная «букашка»; последний троллейбус спешил по Москве, вершил по бульварам круженье, а ты возвращался от Ляльки с Божедомки и обернулся к кондукторше, тогда в каждом троллейбусе у входа сидела кондукторша, увешанная разноцветными рулонами с билетами – пять копеек, десять, пятнадцать, двадцать, в зависимости от дальности маршрута.

Степанов протянул рубль и, ожидая сдачи, откинулся на дверь, блаженно откинулся, представляя себя со стороны. Молодой, крепкий, в пальто с поднятым – по моде тех времен – воротником, очень с т и л ь н о: либо Зигмунд Колосовский, был такой фильм Киевской студии, который их поколение еще в сорок пятом смотрело раз по десять; герой антифашистской борьбы, обманывал нацистов как хотел, дурни, что они понимали вместе со своим бесноватым; либо Джеймс Кэгни из картины «Судьба солдата в Америке»; безработица, гангстеры, организованная преступность, одно слово, Нью-Йорк... Откинуться-то он откинулся, но старенькая кондукторша не успела еще дать команду водителю, чтобы тот закрыл дверь, и Степанов ощутил какое-то стран-

ное чувство стремительной неотвратимости, когда понял, что летит на асфальт, и увидел звезды в прекрасном весеннем московском небе, а потом все исчезло, настала гулкая темнота. Уже после, очнувшись, он с каким-то тяжелым недоумением увидел над собою милиционера, который сокрушенно качал головой.

Десять дней Степанов тогда лежал в больнице – в коридоре, возле окна; мама приносила гречневую кашу, кормила с ложки, поила морсом; страшное ощущение радужности, несобранности мира, какой-то его зыбкости прошло, предметы снова сделались конкретными; и на этот раз пронесло...

– У вас одно сотрясение было особенно сильным,– продолжала между тем Галина Ивановна, не снимая своих горячих ладоней с плеч Степанова,– мне кажется, вы упали с большой высоты, и трещинка в черепе не заросла толком, так что бойтесь падений, гололеда, весенней грязи, крутых спусков; четвертое сотрясение может оказаться роковым, понятно вам?

– Понятно,– ответил Степанов.– А теперь объясните, как вы все это прочитываете?

Женщина еще с минуту продолжала его осматривать молча, тяжело, сосредоточенно, он чувствовал спиною взгляд ее голубых прозрачных глаз, потом чуть шлепнула Степанова по плечам, убрала руки и сказала:

– Одевайтесь... Раньше я ничего этого не умела,– улыбка у нее была настороженная.– До того как меня стукнуло током в кабине моего крана, я была нормальным человеком. Отвезли в морг, это в пятницу было, а в понедельник пришли студенты, стали заниматься, один мальчик и увидел, что я жива, в шоке... Полгода пролежала в госпитале, что-то случилось со зрением, стала видеть предмет насквозь, в цвете... Как и полагается, мне не верили: колдунья, самозванка... Трудно у нас приходят к тому, что не укладывается в привычные рамки... Ну, а сейчас я в онкологическом отделении консультирую, работаю с врачами, понятно вам?

– Мешают?

– Теперь нет. Когда поставила десять верных диагнозов, начальство сказало, чтобы разобрались, с той поры не дергают.

– А в каком цвете вы меня видите? – спросил Степанов.

– Смотря что... Незажившая трещинка на черепе видится бледно-розовой... Те два ушиба, которые я ощутила, наоборот, темно-красные, видимо, что-то осталось после гематом. Сосуды вообще кажутся мне перламутрово-голубыми, хотя я точно ощущаю цветовую разницу между артериями, венами, капиллярами... У вас, например, сосуды ломкие, изношенные... Не по возрасту...

– Курить, конечно, нельзя? – спросил Степанов.

– Если так уж невмоготу, выкурите. Организм сам себя регулирует... Вот только стрессов избегайте... Сплющит сосудик и все...

– А как их избежишь, стрессов-то?

– Так ведь я не колдунья, я только умею чувствовать чужую боль и цвета чувствовать, понятно вам?

До чего же хитрая, подумал Степанов; впрочем, хитрость – не предательство; как правило, хитрецы не предают, чувствуют, что дело это рискованное.

...Апрельская Ялта была утренней; белая оторочка последнего снега делала Крымский хребет задником гигантской декорации; рыбачьи кораблики, втиснутые в свинцовую гладь моря, казались нереальными, крошечными; там сейчас, подумал Степанов, склянки бьют, уху варят, музыку слушают и в кубрике спорят про то, кто выиграет в предстоящем матче – Каспаров или Карпов; какая разница, все равно свои, мы только чужим отдавать не хотим, а так – добрые...

2

– Мужчина,– окликнул Степанова на аэровокзале молоденький милиционер, – вы что, не видите, здесь хода нет!

Степанов даже зажмурился от ярости, вспомнил Галину Ивановну: «Только стрессов избегайте...» А это что ж такое, когда вместо «товарищ» или, допустим, «гражданин» человек в форме обращается к тебе «мужчина»?!

– Я вам не мужчина,– ответил Степанов, понимая, что остановить себя уже не сможет.

– А кто же вы? – удивился милиционер.– Не женщина ведь...

– Чему вас на политзанятиях учат?

– Это мы знаем, чему на политзанятиях учат, а вы свои документы покажите, мужчина...

– Ну, тупица,– сказал Степанов,– пойдем в отделение, пойдем сейчас же!

И, конечно же, сосудик прижало, сердце заколотилось в горле; все верно, человек человеку – друг, товарищ и волк, как же таких беспамятных неучей берут в милицию, как им д о в е р я ю т форму, они же – надев ее – олицетворяют не что-нибудь, а власть нашу?!

– Накажем, Дима,– сказал (в Москве уже, в министерстве) генерал Гаврилов; раньше он был Сережей (впрочем, им же и остался, слава богу, нос не задрал), вместе учились, вместе выходили на ринг.

Наказать, однако, не удалось – с м е с т а на Степанова пришла «телега», сработали мгновенно, мол, оскорблял сержанта, тот был корректен, а что мужчиной назвал, т а к разве ж это неверно? Мог бы – ненароком – и дедом, все, кому за пятьдесят, вполне могут быть дедами, разве нет? А вот столичному гостю неприлично так себя вести, попусту кричать, а потом валидол сосать – такого коллектив не простит, напишет письмо, сообщит по месту работы, потребует наказания.

Гаврилов тем не менее спустил дело на тормозах, попросив провести беседы с личным составом по поводу обращения к трудящимся, – никаких «мужчин» и «женщин» и чтоб честь при этом не забывали отдавать...

После разговора с Гавриловым, чувствуя разламывающую тяжесть в затылке (погода меняется, Галина Ивановна верно говорила, сосуды, как тряпки; только отчего они перламутрового цвета, как-то не вяжется, перламутр ассоциируется с эластичностью), Степанов позвонил на киностудию.

– Дмитрий Юрьевич, очень ждем вас,– сказал заместитель директора съемочной группы (их три, заместителя-то; плати директору две зарплаты – и ни одного зама не надо).– Просмотр материала назначен на восемь.

Режиссер перед началом нудно и бессвязно говорил о том, каким будет фильм, какова его сверхзадача, объяснял героев (будто не я их написал, думал Степанов), мотивировал необходимость изменения сюжета; после просмотра пригласил к себе. Степанов чувствовал, что говорит в пустоту – когда у человека глаза похожи на те, что бывают у вареных судаков, убеждать нет смысла; есть люди, которые верят только себе; в искусстве они обречены на гибель; раз повезет, другой раз обрушится; чувство исключительности целые страны приводило к краху, не то что молодого режиссера.

...Вернулся домой в половине одиннадцатого, поставил на газ кастрюлю с водой (жидкий «геркулес» с оливковым маслом и протертым сыром – самая любимая еда), просмотрел газеты, за время поездки в Ялту их скопилось множество, телефонный звонок испугал отчего-то – поздно уже; звонил Лопух.

– Здорово, старик, привет тебе.

– Добрый вечер, Юра... Как ты?

– Звоню, чтобы попрощаться.

– Куда уезжаешь?

– Да никуда я не уезжаю. Просто рак у меня.

Степанов прижал ухом трубку, прикурил сигарету, тяжело затянулся.

– Да брось ты, какой, к черту, там рак?!

– Рак легких, старик. И вроде бы желудка.

– Значит, надо оперироваться.

– Что я и собираюсь делать в ближайшие дни.

– Все будет в порядке.

– Возможно. Я ведь не просто так в онкологию ложусь, за своего Дениску иду драться, ему ведь только одиннадцать. Катя выйдет замуж, ей тридцать один, у нас двадцать пять лет разницы, а дети трудно привыкают к отчиму – или уж в самом раннем детстве, или лет в семнадцать, там армия, друзья, нормальный ход...

– Погоди, Юра, погоди, ты что-то слишком рационально мыслишь для ракового больного... Потапова помнишь?

– Какого? Игоря?

– Да. У него ведь тоже рак нашли, а потом оказалась вполне пристойная язва...

– Митя... Старик... Друг мой,– Лопухов вздохнул наконец, потом закашлялся тяжело, сухо.– Так ведь у него стрессов было поменее...

Это верно, подумал Степанов, стрессов у Потапова было мало, растение, а не человек; главное, чтоб вовремя «бросить в топку», только чтоб зря не выделялся желудочный сок, ел по минутам, а Лопуха, бедолагу, сняли с работы за то, что его заместитель оказался проходимцем, жена после этого ушла, ютился по к о й к а м, пока Степанов не пристроил его на «Мосфильм» администратором; там Лопушок вновь поднялся, доказав свое умение работать, лихо вел картины, но внутри-то кровоточило постоянно, нет ничего горше, чем несправедливое наказание, вот его и шандарахнуло; одно слово, стресс, когда только и кто его придумал?! Тысячи лет такое в мире происходит, а на тебе, с л о в о совсем недавно изобрели, краткое слово, определяющее то, что грозит каждому: стресс.

– Кто тебя смотрел, Юр?

– Хорошие врачи... Я верю им абсолютно...

Он же ветеран, подумал Степанов, ему тогда, в войну, было семнадцать; а в восьмидесятых пошел шестой десяток, рубеж, словно Рубикон, как же коротка жизнь, сколь стремительна.

– Юрок, я могу чем-нибудь помочь тебе, брат?

– А ты мне помог. Поэтому я и звоню, чтобы на всякий случай попрощаться, Мить, я мало кому звоню, я только к тем звоню, кто...

...Каша подгорела, не говорить же Лопуху, подожди, я газ выключу, сиди и смотри, как чадит кастрюля, и вспоминай то

время, когда вы были молоды, ты совсем молодым, а он сорокалетним, только поседел в одночасье, резко сдал, боль в себе носил, как занозу... Любимая присказка была у него тогда: «Будем жить». Поди сочини такую, не сочинишь, это должно отлиться; неужели только боль и обида дают ощущение истины в слове?

...В одиннадцать позвонили из редакции; Игорь стал членом коллегии, вел иностранный отдел, попросил написать комментарий в номер.

– Ладно... А ты поговори с ребятами из отдела очерка, пусть подумают над тем страшноватым обращением, которое родилось: «мужчина» и «женщина».

– Солоухин предлагал восстановить «сударя» с «сударыней»,– улыбнулся Игорь.– Как?

– Я за... Ты, кстати, Астафьева читал?

– Что именно?

– Статью «Мусор под лестницей».

– Читал.

– По-моему, здорово. В моем прагматическом черепе тоже родилась статья – в продолжение Астафьева – по поводу многочисленных «нельзя», которые страшны тем, что крадут у нас главное богатство общества – время. Почему оформлять покупку машины должен я и тратить на это день, принадлежащий государству, вместо того чтобы поручить сие юристу или нотариусу, оплатив услугу по установленному прейскуранту? Почему не открыть еще тысячу бензоколонок, чтобы люди не проводили в очереди часы, принадлежащие опять-таки государству? Почему не передать первые этажи под кафе, закусочные, бары, чайные, дабы люди не выстаивали в очередях долгие часы, чтобы попасть в ресторан или кафе, а неудачники, которым так и не досталось места, не отправлялись в подворотню – г у л я т ь? Кто и почему по-прежнему мешает – в нарушение государственного постановления – давать трудящимся землю под садовые участки? Зачем ограничение на то, сколько чего можно на участке держать? Словно бы две козы и три свиньи – грех какой, нарушение, а нет такого запрещающего закона, есть дурь чиновника, живущего по принципу: «тащить и не пущать». Посодействуй инициативе, заинтересуй людей – и у государственного торга будут меньше требовать, да и в субботу с воскресеньем люди будут при д е л е, а не на диване или во дворе – при «козле» и с бутылкой! Почему нет посреднических контор, которые помогали бы мне и в том, чтобы купить нужную книгу, построить домик на садовом участке, сдать на комиссию автомобиль? Это же экономия миллионов часов, а каждый час имеет свою товарную стоимость.

– Покупаю тему,– вздохнул Игорь.– На корню. Готов доложить завтра на редколлегии. Как будет называться материал? «Очередной удар по родимому разгильдяйству?» Подумай над заголовком, чтобы не очень ретроградов пугать.

В половине двенадцатого позвонила мама.

– Меня очень беспокоит Лыс,– сказала она сердитым голосом; Лысом называла младшую дочь Степанова.– Экзамены на носу, а у нее запущена физика.

– Мамочка, но в актерском училище физика не требуется.

– Ты не прав. Физика нарабатывает дисциплину... Надя во всем ей потворствует из-за того, что вы живете врозь...

– Ну и что ты предлагаешь?

– У меня стенокардия. В больницу надо...

Господи, подумал он, ну отчего мама так любит лечиться? Она всегда придумывала себе болезни. И как же подобрела к старости! Стала похожа на бабушку Дуню, такая же лучеглазая, обожает подавать еду на маленьких блюдечках; это неистребимо в нечерноземной России, от давней нищеты, видимо; казаки кладут еду на большие тарелки. Хотя Василий Савельевич прав: на маленькую тарелочку можно два раза положить, гляди, как хитро, а?!

3

...Около трех ночи его разбудил звонок; сразу понял, что из-за границы, трезвонят, будто пожар.

– Привет тебе,– голос Евгения Ростопчина был хриплым, видно, г у л я л, только-только вернулся к себе в замок, один как перст бродит среди шкафов с книгами, статуй, гобеленов.– Я хочу обрадовать тебя сенсацией...

– Валяй...

Ростопчин рассмеялся:

– Боже, как по-русски!

– У тебя сейчас сколько времени?

– А бог его знает... Ночь.

– Значит, у меня утро.

– Ты сердишься? Я пробивался к тебе целый час...

– Не томи душу, Женя...

– Мне сегодня позвонил Фриц Золле. Он собирал документы о том, что картина Врубеля, которую выставляют на торги в «Сотби», на Нью-Бонд-стрит, была, по-видимому, похищена из музея на Украине. Так что давай-ка бери самолет и прилетай в Лондон. Торги состоятся девятого мая, я остановлюсь в отеле «Кларидж», его хозяин – мой давний друг, экономия прежде всего, он меня

держит бесплатно, как реликт – русский князь в отеле английской аристократии. Восьмого мая в десять часов жду тебя в лобби[1] – там кафе, ты меня увидишь.

...Он ждет меня восьмого мая в лобби, отель «Кларидж», Лондон, Англия, подумал Степанов, закуривая. Я должен найти редакцию, которая даст деньги на этот полет. Должен выбить командировку. Должен, и все тут.

I

«Милостивый государь Николай Сергеевич!

Безмерно рад был получить Ваше любезное письмо. Очень обрадовали Ваши слова о том, что мой обзор передвинут на номер раньше. Как всегда, на мели, а хозяин меблирашек господин сурового норову, скупердяй и аккуратист.

Был бы премного Вам признателен, посодействуй Вы срочной пересылке мне гонорара.

Теперь о новостях. Их множество!

Как всегда, Врубель играет в оригинальность. Он посмел прикоснуться своей рукой к стенам Владимирского собора, написал тьму эскизов, чушь несусветная! К счастью, заседала синодальная комиссия, да и мы, ревнители православия, старины и традиции, загодя написали свое мнение по поводу бесстыдных выходок этого дэкадэнтского маляра, и ему ныне роспись запрещена. Слава богу! На решение комиссии повлияло и то, что сам по себе Врубель – человек, не воздержанный до спиртного, кривляка, раскрашивающий свое лицо то в синий, то в лиловый цвет, лишен всякой серьезности.

Судите сами: Васнецов, навестивши Врубеля у него в мастерской (стульев нет, одни табуретки да колченогий стол, все пропивает и прокучивает), увидал у него картину, которая весьма ему приглянулась. Не знаю уж, что там ему показалось, сам он бо-ольшой оригинал и полнейший бесхребетник, воистину доброта хуже воровства, однако ж немедля отправился к меценату Терещенко. Тот посмотрел «создание» и приобрел его.

Что же сделал Врубель? Как бы поступил истинный художник на его месте? Купил бы краски, холсты, мебель, снял бы приличную мастерскую, оделся по-людски, а не в балахон, коим он поражает взоры киевлян...

[1] Холл, вестибюль *(англ.)*.

Так нет же! Непризнанный гений отправился в цирк, увидал там мадмуазель Гаппе, был покорен тем, как она дрыгает ножками, пригласил ее в ресторацию, поил дорогим шампанским вином, затем привел в номер и там умолил позировать. А холста у голубчика не было. Так он всю Терещенкину картину, за которую деньги получил, и записал этой самой циркачкою!

Ничего не скажешь, нравы! Даже отец его, полковник Врубель, из полячишек, а может, и того похлеще, говорил своим знакомцам, что новая работа, над которой мудрит его сыночек в те короткие часы, когда не предается Бахусу, сера и безвкусна, хотя называется весьма претенциозно – «Демон». Тянет их всех на великое, норовят разрушить лермонтовский образ, дорогой сердцу каждого русского! «Баба какая-то, а не Демон»,– сказал Врубель-папа. Верно сказал, хоть сам я не видел пока еще этого «шедёвра».

Кстати, говорят, что сей «выученик» Чистякова вообще не пишет с натуры. Попросит кого руку вытянуть, пять минут поводит углем по холсту – и все, спасибо, больше не нужно! А мы-то, ревнители прекрасного, все мечтаем про то, что на вернисажах будем видеть труд, правду, натуру, а не плоды воображения эстета. Эдак они бог знает что навоображают, а нам смотри! Я совершенно не возьму в толк, как Академия терпит все это! Не мог же Его Высочество Великий Князь Владимир позволить такого! Не мог! Пользуясь тем, что Е.В. занят делами государевыми, времени для просмотра всего, что малюют ныне, нету у него, пользуясь добротою его, ложь возводится в абсолют нашей культурной жизни. Когда я написал протестующее письмо в Академию, ответ пришел для меня весьма горестный, мол, учтем, благодарны, а выводов никаких!

Я готовлю небольшую заметку (но, признаюсь, вполне едкую) про то чуждое, что несет в наше искусство Врубель и иже с ним. Коли вовремя не поставить на их пути плотину, не запретить прикасаться гнили к святому храму творчества, бог знает какие горести будут ждать нас, милостивый государь Николай Сергеевич...

Впрочем, благообразный Верещагин, чуждый застолий и Бахуса, вполне, казалось бы, русский (если нет только в нем татарвы), умудрился такую возвести клевету на Русь и доблестное ее воинство своими «шипкин-

скими» гнусностями, что не приходится удивляться глумлению Врубеля над православными святыми Киева.

Прямо какой-то бомбардирский залп против традиций искусства и устоев нашей православной морали.

Дай бог долгой жизни спасителю и заступнику Победоносцеву, без него тьма опустится над Россией, распутство и грех.

Он соизволил любезно ответить на мое письмо. Идею коротких заметок супротив дэкадэнтов вроде Врубеля поддержал всячески.

Думаю, Врубель поежится после моих коротких заметок. Спесив весьма, гонор-то ляха, они бесенеют, ежели супротив шерсти погладить... Безденежье он легко переносит, о доме не думает, порхает по жизни, весел, общителен, любимец «общества», но мой удар, полагаю, запомнит надолго. И поделом! Такого рода удары ломали людей покрепче, чем он. Подкосится... Я незлобивый человек. Вы это знаете, мне, признаюсь, даже жаль его, по-людски жаль, но ведь истина-то дороже!

Остаюсь, милостивый государь Николай Сергеевич,

Вашим покорнейшим слугою

Гавриил Иванов-Дагрель.

P.S. Нижайший привет Вам от моей Татьяны, она в восторге от Ваших последних статей в московской повременной печати, а также рецензий у Суворина в «Новом времени». Кланяются Арсюша, Миша, Федя и Лариоша.

P.P.S. Я намерен отправить письма старцам в Академию, тем, кому ненавистно все то, что ненавистно и Вам, и мне. Пусть выйдут из своих ателье, посмотрят воочию, что и кто поднимает в живописи голос и голову. Думаю, это подвигнет их к действию. К их мнению Е.В. прислушается, совершенно в этом убежден».

4

Прочитав копию очередного перехвата телефонного разговора Степанова с князем, Джос Фол отправился в служебную библиотеку, подошел к любимой своей полке, где стояли справочники «who is who»[1], достал советский энциклопедический словарь, открыл двести пятьдесят пятую страницу и внимательно прочитал заметку о Врубеле, Михаиле Александровиче, 1856 года рождения,

[1] «Кто есть кто» *(англ.)*.

русском живописце, произведения которого «отмечены декоративностью и драматической напряженностью колорита, «кристаллической» четкостью, конструктивностью рисунка, тяготел к символико-философской обобщенности образов, нередко принимающих трагическую окраску...». Иллюстрировал «Демона», сделал росписи Кирилловской церкви в Киеве; произведения прикладного искусства близки к стилю «модерн»...

Фол не поленился открыть восемьсот двадцать восьмую страницу того же энциклопедического словаря и посмотрел разъяснение по поводу «модерна», из коего явствовало, что это стилевое направление в европейском и американском искусстве конца прошлого, начала нынешнего века... Стремясь преодолеть эклектизм буржуазной художественной культуры XIX века, «модерн» использовал новые технически конструктивные средства и свободную планировку для создания необычных, подчеркнуто индивидуализированных зданий, все элементы которых подчинялись единому орнаментальному ритму и образно-символическому замыслу. (Х.ван де Велде в Бельгии, Й.Ольбрих в Австрии, А.Гауди в Испании, Ч.Р.Макинтош в Шотландии, Ф.О.Шехтель в России.) «Изобразительное и декоративное искусство «модернистов» отличают поэтика символизма, декоративный ритм гибких текучих линий, стилизованный растительный узор...»

На этой же странице, только чуть ниже, «модернизм» определялся как общее направление искусства и литературы (кубизм, дадаизм, сюрреализм, футуризм, экспрессионизм, абстрактное искусство и тому подобное), выражающее кризис буржуазной культуры и характеризующееся разрывом с традициями реализма...

Вернувшись к себе, Фол полистал старые записные книжки, потом достал из нижнего ящика стола специальные альбомы для визитных карточек (на каждой стояла дата, краткая характеристика человека, вручившего ее), отобрал тот, который был укомплектован фамилиями критиков, экспертов по живописи, репортеров, освещавших наиболее интересные аукционы произведений искусства, проводимые лондонской фирмой «Сотби», медленно пересмотрел каждую страницу, заставляя себя вспоминать лица людей, з а л о ж е н н ы х в это его личное досье, и наконец отложил три визитки: Мишель До, обозреватель «Ивнинг пост» по вопросам театра, кино, телевидения и живописи, работал в Праге, Лондоне, Берне, Москве; жгучий брюнет лет сорока, нет, сейчас уже больше; хороший возраст, никаких шараханий, устоявшаяся позиция; Юджин О'Нар, владелец картинной галереи «Старз», и Александр Двинн, посреднические услуги при страховании библиотек, картинных галерей и вернисажей, устраиваемых крупнейшими музеями мира.

Мишеля До, однако, ни в Вашингтоне, ни в Нью-Йорке не было, телефонный автомат-ответчик пророкотал голосом журналиста, что тот прилетит в конце недели, сейчас отдыхает на Багамах, просит оставить свои координаты, позвонит немедленно по возвращении в конце этой недели.

Юджин О'Нар был на месте, предложение п о л а н ч е в а т ь[1] принял сразу же; уговорились встретиться в рыбачьем ресторане на берегу Потомака; Александр Двинн попросил назначить встречу на девять; у меня люди из Прадо, объяснил он, возможен вернисаж Эль Греко, предстоит разговор о том, как транспортировать его картины, самолет или корабль; все доводы про то, что корабли тонут чаще, чем самолеты бьются, на людей из Мадрида не действуют, что вы хотите, мореплаватели...

Потом Фол поднялся в сектор информации, запросил все данные на русского художника Врубеля и его семью: живут ли в России, на Западе ли, если да, то где; особенно выделил вопрос о том, не был ли Врубель связан с большевиками подобно футуристу Маяковскому (он понимал, что этот вопрос наверняка вызовет иронической улыбку у заместителя шефа подразделения информации, ничего, пусть улыбается, улыбка – не укус, можно пережить, русские – люди не предсказуемые, их суть определяют таинственные пересечения, непонятные прагматической логике западного человека; только там бизнесмен Морозов мог давать деньги на нужды революции, смешно представить себе, чтобы наш Рокфеллер давал деньги бунтарям), и, наконец, сформулировал последний вопрос таким образом, чтобы получить исчерпывающий однозначный ответ: действительно ли Врубель представляет для русских историческую, художественную ценность, и если да, то почему.

По прошествии десяти минут зеленоватый экран телевизора-ответчика засветился своим пугающим светом, забили молоточки ЭВМ, о т с т у ч а в два слова: «Нет информации».

И все. Никаких иллюзий, будь проклята объективность техники; нет ничего слаще и надежнее людских с л у х о в и м н е н и й, их бы запускать в компьютеры, и не только на дипломатов и разведчиков, но и на модернистов; пусть надо мною смеются, перетерпим, все великое начинается с мелочи, как, впрочем, и все великое кончается малостью, диалектика.

Юджин О'Нар носил в петличке темного пиджака (шил в Париже) розетку какого-то странного ордена (скорее всего, ливанского); причесывался каждое утро у парикмахера, хотя давно уже начал лысеть, как-никак семьдесят два; суждения его были безапелляционны:

[1] Производное от «ланч», то есть «завтрак» *(англ.)*.

– Хитрить со мною вам не по плечу, Джос, проиграете, я научился хитрости в сорок третьем, когда меня сбросили с парашютом во Францию. Да и потом я ирландец. Я не «Мак», то есть «сын», я «О», то есть «внук», это еще престижнее. За мною предки – четыре столетия борьбы против британских оккупантов. Мы, из Ольстера, умеем не только гранаты кидать, но и вступать в необходимые для родины коалиции, будь то король Испании или двор Людовика, читайте историю... Эрго[1]: говорите правду. Что вас интересует? У вас хорошие связи, а это в наше время ценнее денег, я помогу вам, но при условии: карты на стол, игра в открытую...

– Я люблю темную только в покере, Юджин. Я действительно интересуюсь русским художником Врубелем, ценою на его картины, его письмами, покровителями, коллекционерами, отношением к нему в мире живописцев...

– Странный интерес... К странному художнику... У него врожденная маниакальность; родовая травма или дурная наследственность... На аукционах идет довольно неплохо... Хотя, на мой взгляд, краски его несколько странны, словно у человека, который хочет кричать, но от страха лишился голоса... Размеры его живописи впечатляют, но в полотнах сокрыта избыточная нервность, истерия какая-то... Очень нравилось семейству Клайфердов, он-то наш, а жена то ли из Киева, то ли из Москвы. Они покупали его полотна в Париже и Женеве. Кажется, году в семьдесят третьем или пятом, могу ошибиться, цена была пристойной, но не сумасшедшей, как на Пикассо. Что-то восемь тысяч долларов к продаже. Торги дошли до пятнадцати, не более того. Да, пятнадцать. Клайферды уплатили пятнадцать, я получил эту информацию от Саймонза, он тогда ставил на русскую живопись, хотел собрать коллекцию для Штатов.

– Коллекцию одной лишь русской живописи?

– Да.

– Резон?

– Какой-то фонд, из тех, что работают на Центральное разведывательное управление, обещал поддержку. Видимо, политическая акция, ставка на обиженных и гонимых в России...

– Отчего же он не купил Врубеля?

– Саймонз не смог купить не только Врубеля, но и Рериха, Пастернака-отца, Малявина... Все-таки фонд – это фонд, а банк Клайферда располагает большими возможностями, когда речь идет о приобретении тех картин, в которых заинтересована мадам...

[1]Вывод, следовательно *(лат.)*.

– А как ценится Врубель в России?

– Джос, я ничего не знаю про эту страну, кроме того, что там правят коммунисты... Пытался начать бизнес с их художниками, которые уехали на Запад, но из этого ничего не получилось.

– Отчего?

– Странные люди... Вы вообще-то знаете, как мы создаем художника?

– Нет.

– Объясняю. Вы дипломат, занимавшийся вопросами культуры, должны это знать. Итак, мне сообщают, что в некоем городе появился талантливый, молодой – обязательно молодой – или, на худой конец, совершенно не приспособленный к жизни художник. Естественно, никто у него ничего не покупает, нет денег на квартиру, краски, холст и на аборт спутнице жизни.

– Если талантлив, отчего не покупают?

– Причин много. О том же, насколько он талантлив, мне скажут эксперты, занимающиеся ситуацией на рынке. Если меня убедят, что конъюнктура в нашу пользу, я поговорю с людьми из прессы. Затем начну зондаж моих клиентов из мира большого бизнеса, которые строят дома и хотят иметь живопись. Лишь после этого вызову художника и предложу ему договор: я снимаю тебе, «молодой Рубенс», ателье, плачу за страховку, краски, холсты, электричество, воду, телефон, за еду, а ты отдаешь мне свою живопись... Всю, целиком. Если он согласится – а он согласится, ибо безвыходность жизненной ситуации толкает на все,– мы оформим наши отношения у юриста, срок три года, не меньше, мне это влетит в тысячу двести долларов за месяц, талант стоит того, сорок три тысячи двести долларов за три года да плюс еще тысяч десять прессе и не менее двадцати пяти – телевидению...

– Для рекламы?

– Конечно... И пару тысяч на организацию слухов о новом гении. Кстати, самое эффективное в рекламе именно это, хотя обходится дешевле остального.

– А как вы организуете слухи?

– Очень просто... Устраиваю коктейль по поводу приезда в Вашингтон великого испанского ученого, сводного брата Сальвадора Дали...

– Но у Дали нет сводного брата...

– Спасибо, я это лучше вас знаю... Нанимается испанец, кто-то из старых актеров, показывается приглашенным меценатам, произносит заученные фразы о моем гении, потом его быстренько накачивают виски и уводят почивать в отель, а мои сотрудники начинают «выдавать» тайну о «новом Пикассо», который вот-

вот завоюет Европу; качественно иной стиль; надо покупать, пока не взвинтили цены до уровня шагаловских; старый черт – это я, как понимаете,– никому его не показывает, бережет, хочет сделать выгодный бизнес... Шар пущен. Мне начинают звонить. Я открещиваюсь, говорю, что речь идет о человеке, которого еще надо опробовать на вернисаже, нет смысла продавать товар, не прошедший оценки прессы и экспертов, словом, т е м н ю... Но интерес уже стал реальностью, фактом... Наступает время устроить вернисаж и организовать три статьи. Одну разгромную: «Хулиганство от искусства». Другую восторженную: «Старый ирландец вновь открыл гения, цены невероятны, по самым приблизительным подсчетам, картина размером семьдесят сантиметров на сорок пять идет за десять тысяч». И третью, главную, в которой будет сказано, что шарахание из одной крайности в другую чуждо свободному обществу, это удел тоталитарных режимов, мы не должны ни захваливать, ни хулить чрезмерно, однако объективности ради стоит заметить, что новый художник, конечно же, через два-три года станет украшением лучших музеев мира, поэтому, видимо, следует ожидать торгов на его полотна для наиболее престижных коллекций, потом будет поздно, все разойдется по частным собраниям. Этот мой пассаж, как понимаете, бьет без проигрыша. Десять банкиров, которые купят работы нового гения, вернут мне все, что я затратил на него за три года... Несколько лет он будет моим, потом выпорхнет из рук – и бог в помощь... Гений создан, да здравствует гений! Меня он больше не интересует, мой бизнес кончен, на вложенную единицу капитала я хочу получить семь процентов, больше и не надо, мне хватит...

– Поразительно,– улыбнулся Фол,– истинная индустрия. А отчего у вас не вышло с русскими?

– Один просто-напросто убежал со своими картинами... Сейчас его ищет полиция... А три других спились... Я поселил их в одном доме, думал, как лучше, так они вздумали писать доносы консьержке, кто к кому водит баб с Пигаль. Они в Париже обосновались, я туда к ним летал. Склоки, друг на друга грязь льют, не хватило нервов, пришлось списать десяток тысяч – цена риска, ничего не попишешь, такова жизнь.

5

В отличие от старого ирландца Александр Двинн, видимо, догадывался, что Фол – никакой не дипломат; это его радовало, потому что большинство своих деловых операций он вел в Европе, а люди типа Фола располагают прекрасной информацией; что ж,

услуга за услугу, как это принято в бизнесе; вполне достойная сделка.

Выслушав вопросы Фола, он моментально просчитал самую выгодную для себя линию поведения – на это ушло те шестнадцать секунд, пока он доставал из кармана зажигалку («Пьер Кардэн»), сигареты («Честерфилд» без фильтра), прикуривал и делал первую затяжку.

– Врубель, конечно, интересен, но об этом на Западе знаю я да еще кое-кто из специалистов. С какой точки зрения он интересен? Во-первых, то, что его сейчас чтят в России, весьма симптоматично. Раньше замалчивали. Он ведь церкви расписывал, на определенном этапе это не поощрялось. Теперь они поумнели, научились отделять злаки от плевел, мистику от искусства, а может, даже соединять оба эти понятия. Во-вторых, Врубель и поныне некое орудие в схватке традиционалистов и новаторов. Как вы заметили, обе эти позиции носят политический оттенок. Вас ведь интересует именно такой аспект?

– Отнюдь,– Фол сразу же понял, что собеседник уловил фальшь в его ответе; глупо; тут надо в лоб, чувствен, как баба, ничего не скроешь.– Меня интересует все, связанное с этим художником.

– Тогда спрашивайте.

– Если б я знал, что спрашивать,– улыбнулся Фол.– Друзья, занятые проблемами математики, объяснили мне суть революции, произошедшей в их науке: если раньше высшим достижением являлось получение однозначного ответа, то теперь смысл математики заключен в том, чтобы расчленить ответ на тысячу вопросов, а уж потом засадить их в компьютеры. Проблема выбора, множественность, очень актуально...

– Врубель ныне очень популярен в России, на Западе он почти неизвестен,– кивнув, продолжил Двинн.– Вообще мы сейчас переживаем определенный спад цен на рынке живописи. Абстракционисты, по сути, кончились, их берут только для дизайна в тех виллах, которые строят на берегу океана с широкими окнами без рам; кто-то, конечно, готовит новых гениев, но на это уйдет года три-четыре, надо уловить тенденции среди тех, кто согласен платить деньги... Точнее говоря, надо поначалу сформулировать и донести эти тенденции до них; процесс, как понимаете, непростой, дорогостоящий... Дали и Пикассо, считайте, умерли; попытка поставить на русских, приехавших сюда, не оправдала себя. Возрождение разошлось полностью, в продаже циркулирует всего десяток работ Тинторетто и Боттичелли...

– «Возрождение разошлось полностью...»– повторил Фол.– А скажите, с какого времени вы определяете точку отсчета? Какой век?

– Век нынешний, точка отсчета – конец сороковых годов, когда на аукционы стали вываливать сокровища Возрождения и русской иконописи; циркуляция трофеев, хаос в мире, отсутствие точного учета похищенного немцами в коллекциях Парижа, Польши, Чехословакии, России. Власти думали о том, как накормить людей, поднять Европу из разрухи, план Маршалла и все такое прочее... А уж когда напились и наелись, снова стали думать об искусстве; воистину, бытие определяет сознание... Мне приятно быть вам хоть в чем-то полезным... Запишите фамилию – Грешев, Иван Грешев, живет в Лондоне; Челси, Голливуд роуд, возле лучшего китайского ресторанчика, без почтового индекса в Лондоне запутаешься, так что запишите. С Грешевым надо заранее списываться о встрече, он знаток русского искусства конца прошлого века...

6

Вернувшись в офис после ужина, Фол попросил дать ему новую информацию – если она, понятно, поступала – на Фрица Золле; написал телеграмму в гамбургское представительство (работает «под крышей» Немецко-американского института по «исследованию проблем океанского судоходства», охватывает регион от Бремена до границы с ГДР), в которой сформулировал аспект своего интереса к Золле, затем набросал план завтрашнего разговора с шефом и лишь после этого поехал домой.

...Председатель совета директоров выслушал Фола внимательно, с улыбкой, поинтересовался:

– Вы на самом деле слабо верите в возможность русской шпионской сети? Я имею в виду группу Степанова, Золле, Ростопчина... Признайтесь, Джос, вы же не верите?

– Слабо верю. Но не отвергаю такого рода вероятности.

– В конечном счете нашу фирму не очень-то волнует шпионаж, даже если б он и был. Пусть себе, только б нам не мешали.

– Пусть себе,– усмехнулся Джос Фол,– согласен.

– Значит, вам просто-напросто хочется прокатиться в Европу?

– Нет. Я там был прошлым летом. Устаю от Европы. Лучше всего я чувствую себя в этой стране... Дело в том, что альянс красного писателя с русским аристократом, живущим по швейцарскому паспорту, и глубоко верующим немецким историком представляется мне более опасным, чем шпионская сеть...

– «Третья корзина» в Хельсинки и все такое прочее? – вздохнул председатель совета.– Что ж, хорошо думаете. Такого рода

контакт, конечно, беспрецедентен, а потому нежелателен. Когда вы намерены лететь?

– Я доложу вам. Главное, что вы поддержали меня, спасибо...

7

Редактор – Андреев, старый знакомый,– выслушав Степанова, вздохнул:

– Митя, побойся бога, о чем ты?! Мы съели все наши валютные запасы в первом квартале. Я отправлял Игоря на Ближний Восток, а Ваню в Латинскую Америку... Могу финансировать твою поездку в Лондон только осенью.

– Но ты ведь понимаешь, что мне Лондон не нужен осенью?! Он нужен мне в мае, в начале мая, я ж объяснил тебе! Клянусь, материал будет сенсационным.

– Можешь не клясться, я верю тебе. Ты вольный художник, ты не знаешь, что такое план и смета, не имеешь представления о режиме валютной экономии, счастливый человек...

– Сам просился в это кресло,– ответил Степанов.– Мог бы сидеть дома и писать книги.

– Не доставай меня, Митя, не надо. Если у меня что-либо получится с фунтами, я тебе позвоню. Ты где сейчас обитаешь?

– В мастерской, где же еще...

– С Надеждой в разводе?

– На Западе это называется «живем сепаратно»...

– Большой ты мастер на формулировки, Митя...

«Он поразительно изменился,– думал Степанов, наблюдая за тем, как Андреев метался от одного телефонного аппарата к другому; голос менялся в зависимости от того, кто звонил; пятьдесят с лишним лет, а с начальством говорит будто школьник; но ведь это не всякому начальству нравится; рано или поздно глупых начальников все-таки взашей гонят; и с подчиненными не надо б так уж иронизировать; поддевать можно только тех, кто вправе ответить тем же; ты б начальство поддевал, так ведь нет же, стелешься. Доктор наук, писатель, публицист... Неужели поддался вирусу чинозанимательства?»

...Степанов вспомнил, как они познакомились с Андреевым четверть века тому назад; Андреев был тогда душою компании; никто так не умел вести застолье, танцевать, шутить, как он, сварить пельмени; никто не был так щедр на советы.

Потом он надолго уехал за границу, вернулся, встретились в Доме журналистов, Андреев достал какую-то мудреную книжечку (Степанов раньше таких и не видел), перебросил пару страниц,

пояснив, что это «денник» – расписание встреч, звонков, памятных дат (не забыть, кого и когда поздравить), сказал задумчиво, что послезавтра в семнадцать тридцать у него есть «окно» и он рад был бы выпить со старым другом чашку кофе.

Степанов ощутил какую-то холодную пустоту. Перед ним был Андреев – прежний, красивый, резкий в движениях,– но в то же время это был уже совершенно другой человек, записывающий дату встречи с другом в «денник», в то «окно», которое свободно от деловых свиданий и н у ж н ы х звонков.

Тогда Степанов подумал: «А может, он и раньше был таким, просто и г р а л роль рубахи-парня?» Он одернул себя: ты не смеешь так думать о том, кого называл другом, это предательство; обида – плохой советчик в человеческих отношениях, но, с другой стороны, человек, не умеющий обижаться, есть явление зловредное, приспособленец и конформист.

– Завтра перезвонимся,– сказал Андреев.

– Когда?

– Вечером.

– Конкретно.

– Около десяти, идет?

– Буду ждать.

На телевидении посмеялись:

– Товарищ Степанов, у нас же в Лондоне сидят корреспондент и оператор! Мы могли бы послать вас туда, где нет наших людей... Да и то надо все это было обговорить в начале года, когда уточняется план поездок...

– Но в начале года никто не знал, что состоится аукцион в Лондоне и что на нем будут торговать Врубеля. Того, который, вполне возможно, был похищен из одного нашего музея.

– А сколько он стоит? Тысячи. Откуда деньги? Кто даст?

– Это моя забота.

– То есть?

– Моя забота,– повторил Степанов,– не хлебом единым жив человек. Есть на земле добрые души, которые радеют о русском искусстве не словом, но делом...

В Госкино предложили командировку в Лондон на второе полугодие; в Министерстве культуры назвали точную дату: Эдинбургский фестиваль, сентябрь, очень интересно, съезжаются лучшие музыканты мира.

Степанов слушал собеседников, а в ушах его звучал голос Ростопчина: приезжай восьмого вечером, жду в холле отеля «Кла-

ридж» – это совсем неподалеку от Нью-Бонд-стрит, именно там в «Сотби» станут торговать Врубеля и других русских художников, будем сражаться.

(Стоп, сказал себе Степанов, не пори горячку, не паникуй. У тебя еще есть время. Езжай на Тишинский рынок, купи творог, зелень, сметану, чекушку; хотя вряд ли, их теперь почти не выпускают, видимо, нерентабельно, много тары уходит, устрой царский пир, достань записные книжки и толком подумай, кто может тебя поддержать. Только не надо смотреть все записные книжки, возразил он себе, там еще есть телефоны тех, кто уже ушел, господи, сколько же друзей ушло, а телефоны остались; самое страшное – звонок в пустоту.

Он отчего-то вспомнил, как хоронили режиссера Ивана Пырьева; после гражданской панихиды Марк Донской поцеловал его в лоб и тихо сказал:

– До свидания, Ваня.)

8

...Федоров пришел в новую газету с первой «командой»; пересидел всех редакторов, стал наконец шефом, быстро обрел «начальственную форму» и поэтому слушал Степанова с плохо скрываемым раздражением, передвигал на большом полированном столе прибор, то и дело поправлял стопку бумаги, ровняя ее так, будто готовился продать придирчивому клиенту, а потом все же не выдержал, прервал:

– Слушай, Дмитрий Юрьевич, давай-ка я внесу тебе встречное предложение, а?

– Давай,– согласился Степанов, поняв уже, что зря он сюда пришел.

– Хочешь, я дам тебе командировку на Кубань? В Сибирь? На Ставрополье? Напиши о посевной. О том, как решается дело с культурным охватом тружеников полей. О новом сельском строительстве, о бригадном подряде, наконец, о нерешенных проблемах экономики.

– Ладно,– легко согласился Степанов.– Напишу. А ты съезди в Лондон и постарайся вернуть Врубеля. Сговорились?

– Пусть этим делом Министерство культуры занимается, им это вменено в обязанность. Им, а не тебе. И не мне.

– «Вменено в обязанность»,– повторил Степанов.– Каждому человеку вменено в обязанность то, что он, как гражданин, считает долгом себе вменить. И никак иначе. Если иначе, то дров много наломаем; хватит, наломали уже, когда ждали вме-

нения обязанностей сверху, директивно. Что же касаемо проблем села, то я – увы, не специалист – вижу один и тот же вопрос сугубо не решенным и в промышленности, и в науке, и на селе: недоверие к руководителю, мелочность опеки, оппозиция инициативе. Если директор сможет платить хорошему рабочему премию не в сумме семи рублей десяти копеек, а три или пять зарплат, если он получит право держать столько рабочих, сколько нужно делу, а не штатному расписанию, если инициатива будет г а р а н т и р о в а н а законом, только тогда мы пойдем вперед воистину семимильно.

– Ты зря сердишься, товарищ Степанов. Я действительно считаю литературу о рабочем классе, о селе ведущей. Поэтому и предлагаю тебе прокатиться по России... Не обижайся, но картины – это все же гарнир. Нужный, не спорю, гарнир.

– А я полагаю, что важнее всего литература д л я рабочего класса и крестьянства. Не считай рабочий класс приготовишкой от культуры. Ты верь ему, а не клянись им. Он сам разбирается, какая литература ему нужна, а какая нет. Послал бы своего корреспондента на книжный рынок, там можно убедиться, какую литературу втридорога покупает рабочий, а какую тащит в макулатуру.

Федоров откинулся на спинку стула, прищурился, впервые посмотрел прямо в глаза Степанову.

– Ну, и какую же он тянет в макулатуру?

– Спекулятивную.

– Это как понять?

– Да очень просто. В частности, когда литератор описывает в романе технологию производства станин, лампочек или шин там каких... Надо уважать читателя, пора, он заслужил.

– Демагогия это.

– Почему? Обнажение проблемы, всего-навсего. Ты сам-то, товарищ Федоров, обливаешься слезами над романом о том, как передовой главный инженер бьется с директором, который консерватор? Или к Пушкину припадаешь, который больше занимался проблемами политики, истории, этики?– Степанов поднялся.– Жаль, что пришел к тебе. Ей-богу, жаль.

– Да и мне твой визит радости не доставил,– откликнулся Федоров.

– Вот и обменялись откровениями,– согласился Степанов.– Но самое досадное заключается в том, что тебе никто н е в м е н я л твоего отношения к тому делу, которым пытаюсь заниматься я. Это твое мнение, твое кредо. На этом ты и рухнешь, помяни мое слово. Рано или поздно.

9

...Конечно же, спас п р е д п р и я т и е Андрей Петрович – седовласый, моложавый, собранный, элегантный (только на пляже Степанов увидел, как изранено и обожжено его тело, начал войну на рассвете двадцать второго июня, партизанил, освобождал Польшу, закончил Парадом Победы; Чрезвычайный и Полномочный посол в прошлом, член ЦК).

– Все понимаю,– сказал он, выслушав Степанова,– но какой прок от вашего вояжа можно ожидать в государственном плане? Какую выгоду – помимо попытки спасения Врубеля – получат наши ведомства культуры? Если бы вы провели пресс-конференцию о новых фестивалях в Ленинграде и в Крыму, о готовящемся юбилее Новгорода,– как-никак вторая тысяча лет идет Господину, о Пушкинских днях в Михайловском, тогда мне с руки войти с предложением о вашей командировке в мае... Готовы к такого рода уговору?

– Конечно.

– Успеете подготовиться?

– Постараюсь.

– Я попрошу товарищей из управления культуры подобрать кое-какие материалы. Пригодится?

– Еще как.

– Думаете писать об этом?

– Вряд ли, Андрей Петрович... Просто сердце рвется, когда видишь наши картины на чужбине... Убили вдову Василия Кандинского года три назад; лучшие его вещи она держала в сейфе в банке, кажется, в Цюрихе; то, что украли в доме у старушки, как в воду кануло; ни один музей не купит, только частная коллекция, а это гибельно для живописца, тотальная закрытость.

– Не каждый решится покупать такие вещи, скупка краденого у них тоже порицаема, кажется, и по закону...

– Не везде. Если доказать, что вещь была у вас в доме более тридцати лет, то изъять ее по суду невозможно... Мой друг из Гамбурга, исследователь Георг Штайн, выискал икону четырнадцатого века, Иверскую; нацисты вывезли из Пскова; нашел в молельне кардинала Соединенных Штатов Спелмана... Писал, требовал вернуть похищенное в русский храм, без толку. Обратился к папе. После этого семья покойного кардинала подарила икону церкви в Сан-Франциско, все вроде бы соблюдено, ушло к православным, а там и по-русски-то никто не говорит, старшее поколение вымерло, молодые не знают языка, привержены той культуре, а не нашей, о войне знают понаслышке...

– Трагедия современной войны заключается еще и в том, что сразу же перестанут поступать свет, вода и тепло,– задумчиво, словно бы продолжая разговор с кем-то, заметил Андрей Петрович.– Нынешная война – это уничтожение детей и стариков в первую очередь. До начала Отечественной в городах еще были колодцы; газ считался новинкой; в деревнях хлеб пекли; а сейчас? Как жить без привычного водопровода, электричества и газа? Рейган не может представить себе, что это такое, но ведь европейцы должны помнить войну?

– Поляки помнят... Югославы... Норвежцы... Французы, хотя за Париж кровавой битвы не было, Гитлер туда вроде как на экскурсию приехал; Гаагу не бомбили, Брюссель тоже... Лондон не знал оккупационного статута, а «фау» Гитлер использовал уже после Сталинграда, когда дни его были сочтены.

– Но ведь Бонн знал оккупационный статут, бомбежки, голод... Они-то о чем думают?

– Слишком крепко повязаны Белым домом, план Маршалла еще в сорок восьмом году начался. Но, мне сдается, западные немцы рано или поздно осознают свою значимость в раскладе сил мира. Дядя Сэм нервничает, потому что Бонн тянет на себя одеяло в Аргентине, Венесуэле, Боливии. Если социал-демократы выиграют выборы, возможен серьезный поворот в Европе. А тенденция, куда ни крути, социал-демократическая – Лиссабон, Мадрид, Париж, Стокгольм...

– Тенденция,– улыбнулся Андрей Петрович.– Политика берет в расчет очевидность, Дмитрий Юрьевич, особенно нынешняя политика сверхскоростей... Пока-то вызреет тенденция, пока-то наберет силу, пока-то станет реальностью. Экономику Франции кто расстреливает? Или Испании? То-то и оно, что не французы с испанцами. С реальностью трудно бороться, с тенденцией куда легче. А возьмите реальность американского консерватизма. Она проистекает из инерции, страха и соперничества; а такие черты характера чаще всего приложимы к людям неблагополучным, живущим под секирой неуверенности в завтрашнем дне; полагают, что «раньше было лучше», отсюда один шаг до реакционности, которая мечтает реставрировать то, что было в пору дедов и прадедов. Когда наши внуки мечтают жить в условиях рыцарства Айвенго или удалого гусарства Дениса Давыдова – это одно дело, детская игра, а вот если президент не может признать допустимым то, что не укладывается в его сознании, тогда вызревает конфликтная ситуация. Противоречия правого консерватизма наиболее отчетливо обнаружились в Генри Форде – махровом реакционере, склонном к крайним мерам во имя того, чтобы сохранить

традиции. Но ведь то, что он сделал для Штатов в автопромышленности, на самом-то деле революционировало страну, вывело ее к решению совершенно новых проблем, и завершил это здравомыслящий Рузвельт, которого Форд не любил. Любопытно, знаете ли: американские либералы ставят на примат государственной стратегии, на сильное правительство, которое знает, как вывести страну из тупика, а консерваторы уповают на челюсти и мускулы каждого, способного действовать круто и резко,— возвращение к временам Клондайка... Пугает метание: то провозглашение абсолютного изоляционизма, то безусловное и немедленное освобождение Восточной Европы от коммунистов. Джон Фостер Даллес провозгласил эту доктрину весьма шумно, дело провалилось. Перешли к тактике сдерживания Советского Союза, оттуда к войне во Вьетнаме, которая стала национальной катастрофой; как выход — разрядка; потом прочь от нее; ныне приглашают к крестовому походу против нас с вами, «исчадий ада». Чего ждать дальше? Все понимаю — разочарование в идеалах, рост антиамериканизма в мире, хочется как-то помочь делу, но... И еще: когда правый ультра Уоллес нападает на государственный аппарат как на самых страшных врагов, охранников либерализма и демократии, я вспоминаю Германию начала тридцатых годов, Дмитрий Юрьевич... Я очень боюсь, что там, за океаном, появятся люди, крепкие люди, которые станут играть на нынешней конъюнктуре, играть круто, и привести это может к неуправляемым ситуациям.

II

«Дорогой Иван Андреевич!

Нет сил видеть трагедию, разыгрывающуюся ныне в Нижнем Новгороде, на «Всероссийской промышленной и сельскохозяйственной выставке».

Савва Иванович Мамонтов, имеющий, видно, добрые отношения с министром финансов Сергеем Юльевичем Витте, чувствовал себя здесь хозяином, но не хамом-нуворишем, как большинство наших хозяев, а меценатом, которого отличают такт и доброжелательство, что вообще присуще истинно русскому интеллигенту, радеющему о культуре не на словах, а на деле. Он и привлек к росписи павильона, посвященного Крайнему Северу, своего любимца Константина Коровина, а огромное панно в центральном павильоне поручил Врубелю. Конечно, только Мамонтов мог позволить себе такое. Когда старики академики развесили в центральном павильоне свои картины в громадных рамах, они оказались

раздавленными талантливостью Врубеля. Работает он с невероятной скоростью и не считает нужным скрывать этого. Представляете, как это злобит его многочисленных врагов?! На одной стороне наш сюжет, русский. А на противоположной – его панно «Принцесса Греза» по Эдмону Ростану. Он, кстати, сам и перевод сделал. Тот, что опубликовали, не понравился ему; французский, латынь Врубель знает, как русский, в совершенстве; по-моему, и немецкий чувствует великолепно. Ростановскую вещь сделал мастерски, лучше наших литераторов. Вообще же, коли говорить о иерархии в мире искусств, то, бесспорно, на первом месте стоит музыка, на втором живопись и лишь на третьем литература. Ведь ни Бах, ни Мусоргский перевода не требуют, они входят в сердца и души сразу же и навсегда. А литература субъективна в восприятии, да и перевод потребен отменный, соответствующий созданной прозе. Кстати, Врубель эпатирует общественность, браня повсюду Толстого: мол, пристрастен, Анну Каренину не любит, оттого и бросил под поезд, князя Андрея терпеть не может, заставляет его, несчастного, мучаться в лазарете. Признает только «Севастопольские рассказы». Считает, Толстой присвоил себе функции высшего судии, а сие, по его мнению, от папства. Достоевского тоже костит: мол, конструирует характер, подделка под Запад, оттого в Лондоне так и нравится. Зато Гоголя знает наизусть; читая, плачет и смеется, как ребенок.

Отвлекся. Это я с силами собирался, чтоб рассказать про то, что разыгралось на моих глазах.

Гроза начала собираться, когда приехали старцы из Академии, дабы самолично наблюдать за развеской своих картин. Когда Коровин пришел в павильон (Врубель в то время работал под потолком, на лесах, как только не сверзился, сделаны шатко, все скрипит, шатается!), поглядел на привезенные работы – сплошь мундиры с крестами или же безоблачные дали, и то и другое зализано отменно, – лицо его помрачнело.

«Зарежут Врубеля, Вася,– сказал он мне,– не простят, что его панно давят этих карликов».

Я, признаться, решил, что живописец, как и всякий человек искусства, склонен к преувеличениям, и не поверил ему. Действительно, что можно сделать с готовой уже работой, поражающей каждого, кто входит в павильон?!

Однако по прошествии немногих дней лишний раз убедился в том, что художник всегда чувствует точнее, чем мы, грешные.

Старцы из Императорской Академии объявили, что не желают выставлять свои картины рядом с «дэкадэнтским безобразием» Врубеля. Кто-то подсказал им, что решение Сергея Юльевича Витте об оформлении павильонов не согласовано с Императорской Академией. Была создана специальная комиссия, которая прибыла в Нижний Новгород и сразу же забраковала панно Врубеля как чуждые «духу Православия, Самодержавия и Народности».

Бедный Врубель впал в прострацию, начал прикладываться к бутылке, и, что б с ним стало, не знаю — сначала травили в Киеве, запретив роспись Собора, травят постоянно в повременной печати за «дэкадэнтство»,— не покровительствуй ему Мамонтов и не обожай его наш любимый Поленов. Оба бросились в бой, каждый по-своему. Мамонтов отправился к Витте, Поленов — к Врубелю, опекал его, как добрый дядька, не отходил ни днем, ни ночью. Витте, выслушав Мамонтова, обещал подумать. Положение его трудное, как-никак живописью распоряжается не кто-нибудь, а Великий Князь, его слово есть истина в последней инстанции. А Мамонтов, закусив удила, не стал дожидаться решения вопроса в Сферах, вернулся в Нижний и, не скупясь на «борзых» для местного начальства, арендовал пустырь возле Всероссийской выставки. Несмотря на всю нашу азиатскую неповоротливую косность, Мамонтов получил разрешение властей и в несколько дней построил павильон с п е ц и а л ь н о для панно Врубеля. И повелел у входа повесить огромную вывеску: «Выставка декоративных панно художника Врубеля, забракованных жюри Императорской Академии художеств».

Поленов помог закончить второе панно, поскольку Врубель по-прежнему был в прострации, ошеломленный и раздавленный.

А когда именно на Врубеля повалили толпы народа и художник узнал о невероятном своем успехе, он сел в поезд и уехал из Нижнего. Истинная слава пришла к нему в его отсутствие.

Я спросил Поленова, что слышно о несчастном, опасаясь за него.

Тот ответил, чтоб я не переживал, ибо Врубель уехал к своей невесте, оперной певице Надежде Забеле; любит ее без ума; это, верно, и спасло его от гибели в те страшные дни.

Давай-то бог, чтоб всегда любовь помогала художнику.

Да его ли одного это доля?! Не есть ли это удел всего нашего общества, где Истину определяет Победоносцев да те еще, кто толпится вокруг трона?!

Я пробуду здесь до конца месяца, Иван Андреевич. Адрес мой прежний, гостиница «Волга». Был бы рад Вашему письму.

Нижайший поклон всему милому семейству.

Искренне Ваш
Василий Скорятин».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

– Фриц Золле похоронил любимую женщину полгода назад,– сказал Ричардсон, пропуская Фола в маленький бар возле Репеербана, пустого, не расцвеченного еще вечерними рекламами; тишина и усталость; в летние месяцы проститутки работают круглосуточно; в апреле сезон еще не начался.– Посидим тут, никто не будет мешать. Что хотите? Пиво? Или виски?

– Молоко и хороший гамбургер.

– Молока здесь нет. Я схожу в «Эдеку», за углом. Какое любите, жирное или постное?

– Жирное. Спасибо, мистер Ричардсон, но ходить в «Эдеку» не надо, не смею вас затруднять. Выпью воды, я плохо переношу перелеты, живот болит, с удовольствием жахну с вами хорошего виски завтра вечером.

– Меня зовут Стив...

– Очень приятно, я Джос. Вы, полагаю, знаете предмет моего интереса?

– Знаю. Странно, человек с таким, казалось бы, мягким именем занимает столь жесткую позицию.

– Разумную. Так точно. Надоело отступать – у меня отец погиб в Дюнкерке в сороковом... Я помню его и горжусь им.

Ричардсон возглавлял подразделение, занимавшееся анализом информации по интеллектуалам Западной Германии; именно ему

было поручено обобщить все те материалы, которые собраны на Фрица Золле; указание из Вашингтона он получил неделю назад; в прошлом научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Джорджтаунского университета, он был привлечен к работе, когда команда из Джорджтауна вошла в администрацию Рейгана, чтобы отстаивать концепцию военно-морского присутствия Соединенных Штатов во всем мире для обеспечения контроля над ключевыми районами энергетических ресурсов.

– Если захотите вкусно поесть, я отведу вас в хороший кабачок, сытная еда, причем недорого. Я-то думал, что в самолете вас обкормили, поэтому пригласил сюда – здесь можно спокойно поговорить о деле, нет посетителей, начнут собираться к семи часам, не раньше.

– Вы все правильно решили. Давайте о Золле. Он меня сейчас интересует больше, чем все остальные.

– Но я не знаю остальных.

Фол отрезал:

– Я знаю.

Ричардсон обернулся к бармену, чтобы Фол не заметил острого чувства неприязни, вспыхнувшего в нем: интеллигент, он строил свои отношения с коллегами на принципе доверия и дружества, только поэтому и сумел собрать уникальную картотеку и завязать добрые связи с ведущей профессурой университетов севера Германии (на юге работал другой центр, базировавшийся в Мюнхене под крышей филиала фирмы «Кемикл индастри лимитед», в Бонне работала резидентура посольства, в Базеле и Аахене дислоцировались филиалы швейцарского и голландского центров в рамках «Общества по исследованию проблем мира и развития»).

– Пожалуйста, Франц,– сказал Ричардсон бармену,– принесите кофе моему другу и мне. Если бы вы смогли организовать пакет молока, было бы вообще совершенно великолепно. И большой гамбургер.– Ричардсон наконец обернулся к Фолу; в глазах была смешинка; он давно уже подсчитал, чтобы погасить в себе гнев, ему достаточно семь-восемь секунд; вначале, правда, на это уходило секунд двадцать; собеседник, если не был полным чурбаном, не мог не обратить внимания на то, как долго Ричардсон копался в кармане, достав сигарету, мял ее, прикуривал; всякая з а д е р ж к а темпоритма неестественна; только разве что заикание. Увы, далеко не всякий наделен этим удобнейшим качеством: естественная возможность продумать ответ, погасить ненужные эмоции, вызвать улыбку или даже сострадание собеседника.

– Вы зря на меня обиделись, Стив,– заметил Фол.– Я бы никогда не посмел просить имена ваших информаторов. Это не вхо-

дит в мои правила. Каждый делает свое дело так, как считает нужным, и с тем, кто ему пришелся по душе. Но и я никому не открываю то, что считаю своим. Поймите меня верно.

– Почему вы решили, что я обиделся?

Фол пожал плечами:

– Я мог бы принять вашу ложь, однако наши отношения после этого сломались бы, Стив. Я человек открытый, поэтому отвечу вам: я знаю, как вы работали над собой, чтобы научиться скрывать эмоции. Я знаю, с кем вы делились своими соображениями по этому вопросу. Более того,– он улыбнулся,– мне известно имя той актрисы из Бохума, которая давала вам уроки, некий сплав систем Станиславского, Брехта и «Комеди Франсез»...

– Что ж, значит, красные не очень-то далеки от истины, когда говорят, что мы стали страной тотальной слежки, привет Оруэллу, очень весело...

– Красные весьма далеки от истины, а вот обижаться друг на друга нам не пристало... Итак, я весь внимание, Стив.

Ричардсон откинулся на спинку стула, чтобы не мешать бармену накрывать стол, закурил, прикрыл глаза и, откашлявшись, начал монотонно, без всякого интереса, как-то со стороны р а с к р у ч и в а т ь:

– После того как у Золле умерла помощница и подруга, он остался совершенно один, не приспособленный к жизни, с кредиторами, которых сдерживала она же, фрау Анна, с ее родственниками: теперь уже никто их не может уговорить, чтобы они повременили с выплатой им процентов под деньги, взятые Золле в рост...

– Простите, что перебиваю, Стив. Деньги были взяты им, чтобы фотокопировать документы, необходимые для его поиска русских, польских и французских культурных ценностей?

– Естественно.

– Вы не обидетесь, если я, слушая вас, расправлюсь с гамбургером?

– Не обижусь. А я в это время выпью кофе.

– Да что же вы такой колючий?!

– В такой же мере, в какой вы бестактный.

Фол стремительно съел гамбургер, выпил молоко из высокого стакана, тщательно вытер рот салфеткой, на которой был изображен толстый бармен Франц, номер телефона и адрес его заведения, взяв зубочистку, прикрыл рот ладонью и, тщательно проверив, не осталось ли мяса во рту, сказал:

– Стив, если вам трудно со мной работать, я готов предложить некий паллиатив сотрудничества: вы знакомите меня со всеми материалами, а я после их изучения ставлю вам те вопросы, кото-

рые, возможно, возникнут. Устраивает? Я не люблю трепать нервы коллегам. У меня, наверно, действительно дрянной характер. Бухаю то, что думаю, весь на виду, не обучен политесу...

– Учены,– отрезал Ричардсон.– Мой контакт из здешнего ведомства по охране конституции познакомил меня с записью вашего разговора с профессором из Аахенского университета. Ваш такт и учтивость показались мне образцом джентльменства.

– Так ведь этот профессор – немец, то есть иностранец. Вы же знаете про наш комплекс преклонения перед иностранцами. Европа! Матерь мировой цивилизации...

– Матерью мировой цивилизации серьезные ученые считают Египет, Грецию и Рим.

– Так ведь это серьезные ученые,– жестко рассмеялся Фол.– А я нувориш. Парень из провинции. Знаете, как одного англичанина спросили, в чем секрет его интеллигентности?

– Знаю. Он ответил, что надо кончить Оксфорд. Собеседник заметил, что он тоже окончил Оксфорд, тогда англичанин хмыкнул: «Я имею в виду дедушку. Ваш дедушка должен был окончить Оксфорд». Вы это хотели рассказать?

– Именно.

– Ну и напрасно, потому что ваш дед окончил университет, Джос. А мой отец был шофером такси. Не подделывайтесь под меня, не надо. Тем более вы мой начальник... В какой-то степени... До той поры, пока я не отправлю рапорт в Центр с оповещением о том, что принял приглашение Института анализа внешней политики в Кембридже и расстаюсь со своей работой в конторе.

– Только не пишите в рапорте, что причина вашего ухода моя бестактность. Вам не поверят.

– Поверят,– ответил Ричардсон.

«Псих,– подумал Фол.– Господи, какой тяжкий возраст между пятьюдесятью и шестьюдесятью. Неужели я стану таким же?»

– Стив, послушайте. Я знаю имена всех кредиторов Золле. Из родственников покойной фрау Анны меня интересуют только Зигфрид Рив и Карл Уве Райхенбау. Что касается парников Золле, то вчера утром он сдал их в аренду племяннице покойной фрау Анны на два года. Интересует меня также господин Хайнц Отс. Именно он дал возможность господину Золле фотокопировать материалы в Боннском университете. А там, мне сказали, страница стоит десять пфеннингов, но не сорок, как на почте.

– У вас здесь есть еще один центр, проверяющий нашу работу? – спросил Ричардсон несколько растерянно.

– Я обязан ответить, что у нас нет ни второго, ни третьего центра, контролирующего ваши материалы, да и самого вас, Стив.

Тотальную слежку, маккартизм и все такое прочее оставьте крикунам от либералов. Мы с вами консерваторы, люди традиций, нечего задираться по пустякам. Я готов учиться у вас тому, что ценю: дерзости мысли. А вам не грех перенять мой опыт погружения в материал. Я крот, Стив, архивная крыса. Люди моего плана пригодятся вам, теоретикам моделей будущего на Европейском континенте...

– Хоть вы и сукин сын,– улыбнулся Ричардсон,– но голова у вас варит, ничего не скажешь. О парниках я ничего не знал, хотя готовился к разговору весьма тщательно.

– Я выдумал про парники,– вздохнул Фол.– Чтобы сбить с вас профессорскую спесь. И сбил. Вот так-то, Стив, поехали дальше.

2

Зигфрид Рив работал в бургомистрате, ведал вопросами прописки; имел поэтому контакты с секретной службой; хоть в Гамбурге не было такого огромного количества турецких «gast-arbeiter»[1], как в Западном Берлине (более семидесяти тысяч, район Кройцберга стал прямо-таки турецким – своя полиция, свои мечети, магазины, школы, только публичные дома по-прежнему принадлежали немцам), зато здесь оказалось много испанцев и югославов; с л у ж б ы особенно интересовались югославами, хотя испанцы также изучались достаточно тщательно, особенно после того, как в Мадриде к власти пришли левые.

Фол позвонил в бургомистрат незадолго до обеденного перерыва, передал Риву привет от господина Неумана (под такой фамилией ему был известен сотрудник министерства внутренних дел Альбертс) и предложил поужинать, заметив, что он прилетел из-за океана именно для того, чтобы поговорить с ним о предметах, вполне конкретных, представляющих для господина Рива непосредственный интерес.

Тот записал фамилию Фола («мистер Вакс»), осведомился о национальности, спросил, где остановился заокеанский гость, удобен ли отель, нет ли каких претензий к хозяину («Они все связаны со мною, так что обращайтесь без стеснения»), поинтересовался телефоном бара, из которого звонил «мистер Вакс», сказал, что свяжется с ним, как только уточнит свой план на вечер; сразу же отзвонил «господину Неуману», рассказал о напористом и неизвестном госте из-за океана, выслушал рекомендацию принять приглашение; отчего же нет, это ведь не человек с Востока; набрал номер телефона бара «Цур зее», попросил позвать к аппара-

[1]Наемные рабочие из-за границы *(нем.)*.

ту того господина, который только что беседовал с ним, договорился о встрече и отправился в профсоюзную столовую на обед; поразмыслив, от супа отказался, какой резон, если приглашен на ужин, и ограничился салатом с сосиской.

...Карл Уве Райхенбау закончил преподавание в школе три года назад; пенсия не ахти какая, приходилось подрабатывать консультациями; готовил служащих контор и фирм, имевших деловые связи с Францией, язык знал отлично, три года служил в Париже переводчиком при Штюльпнагеле, генерал восхищался его произношением.

Звонку Фола не удивился, сразу же дал согласие выпить кружку пива, предложил увидаться возле Музея искусств, в баре, что на углу, там неподалеку «parking»[1], вы легко найдете, господин Вакс; но как я вас узнаю? Да, понятно, ну, а я седоусый, в фуражке черного цвета, костюм черный, рубашка белая.

Фол отметил, что Карл Уве Райхенбау ничего не сказал про свое родимое пятно на щеке, поросшее черными волосами; человека с такой отметиной узнаешь из тысячи; семьдесят лет, а все еще считает себя мужчиной; молодец, ай да Карл Уве, с ним можно говорить, это не квашеная капуста вроде Зигфрида Рива,— с т у ч а л гестапо, с т у ч и т и поныне, всего из-за этого боится, в каждом иностранце видит шпиона, одно мучение с ним, а времени подводить к нему немецкую агентуру нет, до торгов в Лондоне всего две недели.

— Нет, господин Вакс, я не стану говорить с вами на английском, я привык делать только то, что умею делать. На французском — извольте, к вашим услугам...

— Господин Райхенбау, ваш английский лучше моего,— заметил Фол,— наш английский — варварский, говорим символами, спешим, будь трижды неладны, такая уж нация; понаехали за океан бунтовщики, беглые и протестанты, вот теперь мир от них и кряхтит.

Райхенбау вздохнул.

— К людям, которые смеют ругать свою нацию, я отношусь с интересом и завистью... Чем могу быть полезен?

Он еще раз посмотрел визитную карточку американца: «Честер Вакс, вице-президент Ассоциации содействия развитию культурных программ, 23-я улица, Нью-Йорк, США»,— спрятал в карман, достал трубку, сунул ее в угол узкого, словно бы с натугой прорубленного рта, но раскуривать не стал.

[1] Стоянка автомашин *(англ.)*.

– Вы пьете кофе с молоком? – спросил Фол.

– Если вы хотите угостить меня, то лучше виски, люблю виски без воды, со льдом.

– Любите шотландское пойло? Я его терпеть не могу, дымом воняет... Думаю, не откажетесь от двойной порции?

– Не откажусь. Я сегодня совершенно свободен, виски же способствуют живости, не находите?

– Черт его знает. Я-то практически не пью, папа запугал. Строгий папа – только кофе в любом количестве, днем и ночью. А пригласил я вас вот по какому поводу, господин Райхенбау... Мою ассоциацию интересует работа шефа и друга вашей покойной сестры, фрау Анны.

– Что вас интересует в работе Золле?

– Все.

– Что вы знаете о нем?

– Только то, что он собрал уникальную картотеку культурных ценностей, похищенных в музеях Европы.

– Кем?

Фол подавил в себе остро вспыхнувшее желание ответить: «Нацистами, твоими соратниками по партии, сволочь недобитая». Сказал мягче:

– Прежним правительством Германии, режимом Гитлера...

– Я не очень верю во все эти слухи, господин Вакс... Ну да не в этом суть. Есть какие-то предложения к Золле?

– Господин Райхенбау, вам прекрасно известно, что Золле не станет иметь со мною дело, он результаты своих исследований передает русским...

– Это его право.

– Вы говорите верно, только как быть с теми деньгами, которые он обещает отдать вам вот уже три года? Я имею в виду пять тысяч марок, взятые в долг...

– Откуда вам про это известно?

– Это мое дело, господин Райхенбау. Я пришел к вам с коммерческим предложением, вполне реальным: вы передаете нам копии его архива, а мы платим вам пять тысяч марок.

– Господин Вакс,– вздохнул Райхенбау,– не надо считать меня ганзейским тупицей с замедленным мышлением. Архив Золле стоит пару сотен тысяч марок – по меньшей мере.

– Вы ошибаетесь. Большая часть его документов – это материалы, фотокопированные им в нашем архиве. Нам известны все те единицы хранения, которые он истребовал к копировке. Мы знаем также, что он копировал в архивах Фрайбурга и Базеля. Это нас не волнует. Речь идет о русских материалах, о документах из

Восточного Берлина и, главное, о его классификации собранного. Он истратил что-то около тридцати тысяч марок на все свое предприятие, а никак не двести...

– Никогда и ни при каких условиях Золле не продаст свои материалы, господин Вакс.

– Значит, вы смирились с потерей денег?

– Говоря откровенно, да. Мне это обидно, конечно же, я весьма стеснен в средствах, вы, видимо, знаете об этом, если знаете все о Золле, но я не умею быть взломщиком сейфов, это не по моей части.

– Хорошо, давайте сформулируем задачу иначе: как думаете, после вашей просьбы Золле пойдет на разговор со мною? На откровенный, конструктивный разговор?

– О продаже его материалов?

– Да.

– За тридцать тысяч? – усмехнулся Райхенбау.

– Ну, скажем, за пятьдесят.

– Нет. Не пойдет. И за двести тысяч он вам ничего не продаст.

– Почему?

– Потому что фанатик. Вы знаете, что такое немецкий фанатизм?

– Откуда мне, американцу, знать это? Я занимаюсь конкретным делом, мою ассоциацию интересует архив профессора Золле, карты на столе открыты, мы прагматики, эмоции не по нашей части...

– Тогда все-таки расспросите у сведущих людей про немецкий фанатизм, очень интересная штука...

– Я попросил о встрече, оттого что именно вас считал сведущим человеком, господин Райхенбау.

– Полно... Вы думали, что я готов на все из-за тех пяти тысяч? Идти на все рискованно, господин Вакс, этот урок я получил на всю жизнь. Золле чувствует свою вину перед русскими, перед поляками, перед французами, хотя он не воевал, в отличие от меня.

– Мне казалось, что вы тоже не воевали, господин Райхенбау. Мне говорили, что вы допрашивали французов, перед тем как их гильотинировали...

Фол достал из кармана конверт, положил его на стол, подвинул мизинцем Райхенбау, попросил у бармена счет и, поднявшись, сказал:

– Это документы о том, как вы в о е в а л и в Париже. Хотите скандал – получите; полистайте на досуге, я позвоню вам за-

втра утром. И не вздумайте отвергать факты: если вы были Райхенбоу, а стали Райхенбау, то истину легко восстановят свидетели, их адреса в моей записной книжке, вполне уважаемые господа из Парижа и Бордо.

С Ривом «мистер Вакс» встретился на Эппендорферштрассе, поехали в аргентинский ресторан, чудо что за «парижжя»[1]; аргентинцы вместо «лья» говорят «жя», вместо «йо», что значит «я», «джо», такой уж народ, мистер Рив, очень интересный народ, надеюсь, вам понравится парижжя...

– Я ни разу не был в аргентинском ресторане,– ответил Рив, разглядывая крупного, резкого в движениях человека, сидевшего рядом с ним в такси.– Рассказывают, что один наш ганзеец купил землю на Фолклендских островах за три дня до начала войны, вложил все накопленные деньги, попал под бомбежку и сошел с ума от ужаса...

– Вылечат,– ответил Фол.– Англичане умеют лечить от безумия. А угощение вам понравится, уверен. И вино там должно быть прекрасным.

– Где вы учили немецкий? – спросил Рив.– Вы великолепно говорите на нашем языке.

– В Берлине. Я там работал в центре, где хранятся документы на всех нацистских преступников. Начиная с мелких осведомителей гестапо и кончая родственниками Бормана.

– Как интересно,– сказал Рив и долго откашливался, прикрыв рот узкой сухой ладошкой.

...Они устроились в углу уютного зала, чтобы никто не помешал, причем, как показалось Фолу, не метрдотель повел их, а сам Рив первым пошел именно к этому столику со свечой в толстом мельхиоровом подсвечнике на красиво вышитой салфетке: по белому полотну яркая черно-красная каемочка, вполне национально.

Вино было тоже из Аргентины, розовое, из бодег Мендосы[2].

Официант, как и положено в дорогом ресторане, налил вино Фолу, тот попробовал, сказал, что чудесно, тогда был наполнен бокал Зигфрида Рива, тот сделал маленький глоток, блаженно зажмурился; рука его чуть дрожала, оттого, видимо, что пальцы слишком сжимали тоненькую хрустальную ножку.

– Парижжя вам понравится еще больше, уверяю. Спасибо, что нашли время для встречи. Мне было очень важно увидеть вас.

[1]Аргентинское национальное блюдо.

[2]Бодеги Мендосы – наиболее известные в Аргентине винные погреба.

– Простите, но я не имею чести знать, кто вы.

– Разве я не представился? Простите бога ради! Я работаю в сфере изучения памятников мировой культуры. Меня интересует все, что связано с деятельностью господина Золле... Он ведь ваш родственник...

– Ну, я бы не сказал, что он мой родственник. Мы были связаны какими-то узами, пока жива была моя сестра... Теперь он мне никто.

– Он ваш должник?

– Да. Откуда вам это известно?

– Известно. У нас с вами общие знакомые, они сказали...

– Кто именно?

– Человек, которого вы давно и весьма искренне уважаете. Вот моя визитная карточка, можете звонить мне в Вашингтон и Нью-Йорк, «collect-call»[1], я оплачу разговор, сколько бы он ни стоил...

– Простите, но я все-таки не очень понимаю причину вашего интереса ко мне, господин Вакс,– сказал Рив, еще раз посмотрев визитную карточку американца.

– Мои коллеги и я заинтересованы в том, чтобы получить картотеку господина Золле. Он ваш должник. Он бесспорно честный человек, следовательно, его долг вам – три тысячи марок, верно? – тяготит его и, видимо, тревожит вас. Почему бы вам не поговорить с ним дружески? Предложите ему компромисс: либо он продает нам свою картотеку и мы выплачиваем вам его долг – вне зависимости от того, на какой сумме мы сойдемся, либо пусть предложит свой архив Франции, там тоже заинтересованы в его работе...

– При чем здесь Франция?! Больше всего в его работе заинтересованы красные. Он же вернул русским какие-то ценности! Ему могли уплатить деньги здесь, называли сумму в пятнадцать тысяч марок! Но он отказался! Он же коллекционер, исследователь, псих...

– Фанатик, одним словом...

– Он не фанатик. Неверно. Фанатик – это другое, это когда политика или религия. А он псих, как каждый исследователь, филателист, коллекционер фарфора. Я встречал таких, они невменяемы...

– А с чего у него все это началось?

– Не знаю. Анна была очень замкнутой, а он совершенно не воспитан. Истерик, настроения меняются то и дело, верит любому слуху, плачет, когда что-то не удается...

– Вы думаете, это бесполезно – устроить нам встречу? Я предложил бы ему хорошие деньги...

[1] Разговор, который оплачивает тот, кому звонят *(англ.)*.

– Совершенно бесцельная трата времени. Он, видите ли, хочет искупить вину немцев перед русскими. А я не убежден, что мы были так уж виновны перед большевиками...

– Были, господин Рив, были. Конюшню в их национальной святыне, в Ясной Поляне, устроили не зулусы, а вы, немцы... Золле сам пришел к идее поиска и возвращения русским их ценностей? Или ему кто-то подсказал такого рода мысль?

– Не знаю. Что вы имеете в виду? Контакт с коммунистами?

– Вы допускаете возможность такого рода контакта?

– Нет... Впрочем, а почему бы и не допустить?

– Потому что такой допуск глуп, господин Рив,– отрезал Фол.– И вам прекрасно известно, что натолкнула его на эту мысль церковь. Конкретно – пастор Иверс, великолепный человек и достойнейший слуга божий, который вину немцев перед русскими никогда не отвергал... Скажите, пожалуйста, вы советовались с кем-нибудь из коллег перед тем, как принять мое предложение?

– Я не понимаю вас.

– Полно! Вы все понимаете. Вам рекомендовали со мной поужинать. Поэтому давайте говорить доверительно, так, чтобы никто третий о нашей беседе не узнал. А интересует меня чисто торговое дело: на что прореагирует господин Золле, на что он откликнется, что его заденет и понудит вступить в переговоры со мною о продаже своего уникального архива? Меня интересуют черты его характера, привычки, болевые точки, уязвимые места. Вы, человек богатого о п ы т а, прекрасно понимаете мой интерес. Вы были ближе всех к покойной фрау Анне, она все-таки советовалась с вами, делилась мыслями. Кстати, она говорила вам про визиты к ним в дом некоего господина Степанова? Из России?

Рив допил вино, облегченно улыбнулся и сказал:

– Ну, теперь-то я начал понимать, в чем дело... Поначалу вы подошли слишком уж издалека.

– Обернитесь,– требовательно сказал Фол, закаменев лицом.

Рив испуганно обернулся.

– Видите,– сказал Фол,– это несут нашу парижжю. Не пугайтесь ее размеров. Все уберем. Только не надо торопиться...

Назавтра Райхенбау попросил «господина Вакса» приехать к нему домой; болит сердце, не тот возраст, чтобы волноваться.

Выложил все, что знал и помнил; фантазировал, как можно н а ж а т ь; говорил много пустого, пока не вспомнил, что Золле трепетно относился к каждой строчке, которая появлялась в прессе о его работе; делал фотокопии, клеил в альбом, посылал детям

фрау Анны. Однажды написал возмущенное письмо в исторический журнал, когда в заметке о его деятельности была допущена крошечная неточность, сущий пустяк, орфография, а никак не злой умысел редакции. Ему принесли извинение, однако он этим не удовлетворился, потребовал напечатать официальное опровержение; журнал отказал; Золле начал было тяжбу, но адвокат, господин Тромке, не рекомендовал ему входить в процесс: проиграете; ошибка пустячная; будете выглядеть болезненным честолюбцем в глазах всех, кто вас знает; не солидно...

«Вот это как раз то, что надо,— понял Фол.— Теперь-то мне и понадобится Ричардсон, он сам невероятно раним, надо понаблюдать за ним, он выведет меня на то решение и на тех людей, которые сделают дело с Золле».

...В тот же день почти одновременно и Райхенбау и Рив отправили господину Золле официальные уведомления, в которых сообщали, что обратятся в суд, если в течение семи дней не будут возвращены деньги, взятые им в долг под соответствующие расписки, заверенные в бременской конторе у нотариуса Герберта Казански.

3

Ричардсон жил в небольшой квартире на Бебельаллее; на week-end[1] уезжал по четыреста тридцать третьей дороге в Бад-Зегенберг, останавливался в пансионе господина фон Укперна, наскоро переодевался и уходил на прогулку, километров пятнадцать в день, не меньше. Возвращался счастливый, уставший; пил с хозяином настоящее пльзеньское пиво (самое дорогое, пять марок бутылка, ничего не попишешь, импорт), завороженно, как ребенок, слушал истории о моряках (господин фон Укперн был в прошлом капитаном первого ранга, состоял при гросс-адмирале Редере); старику нравился этот худой, долговязый «профессор истории»; постепенно Ричардсон составил картотеку (все разговоры он п и с а л, обожал свои маленькие диктофончики, словно ребенок) на всех военных моряков рейха, оставшихся в живых; после этого протянул н и т и к тем издательствам, газетам, журналам и литературным агентствам, которые работали со старцами (мемуары из года в год набирают силу, бестселлеры). Таким образом он смог классифицировать значительное число журналистов-записчиков по их идейной направленности, это легко просчитывалось на ЭВМ.

[1]Дни отдыха в конце недели *(англ.)*.

Дома он с Фолом говорить не стал, кивнул на отдушину, «друзья», конечно же, п и ш у т каждое слово, не лыком шиты; угостил гостя прекрасным чаем из трав, собранных им во время прогулок; поинтересовался, не мучает ли коллегу остеохондроз, бич всех тех, кто занят сидячей работой; показал, как он смонтировал себе шведскую стенку совершенно особой конструкции, а потом предложил съездить поужинать в ресторан Шу Чжедина; поехали, конечно же, не туда, а к итальянцам.

– У меня есть пять кандидатур,– сказал Ричардсон, когда они заказали еду.– Журналисты разного плана, которые сотрудничают со мною уже два-три года, вполне надежные люди...

– Кого бы вы порекомендовали? Времени в обрез, Стив, а промахнуться опасно.

– Видите ли, если мы будем ставить на ранимость господина Золле, на его обостренное отношение к печатному слову, тогда надо пускать в дело костолома. У меня есть такой, из левых, резок, выступает с любопытными шлягерами и, что самое важное, имеет ход на телевидение. Мир сейчас знает только тех, кто мелькает на экранах телевизоров, все остальные журналисты мотыльки, легковесность. Вальтер Шасс, не слыхали?

– Слыхал. Я ведь смотрел перед вылетом ваши материалы. Он поддается режиссуре?

– Трудно сказать... Честолюбив чрезмерно, прет, как танк, но, в общем-то, ни разу не подводил.

– Он знает, на кого работает, или вы используете его втемную?

– Только втемную... Он же талантлив, его не возьмешь на тысячу марок.

– А на чем вы его взяли?

– Турне по Штатам, лекции в университетах. Собрали молодых олухов, изучающих проблемы Западной Германии, заставили шумно аплодировать, устроили интервью в местных телекомпаниях и пару фотографий в газетах, очень способствует налаживанию дружества.

– Его отношение к религии?

– Хороший вопрос. Меня это тоже более всего настораживает. Он атеист, костит клерикалов, все мои разговоры о революции в Ватикане после Второго вселенского собора ни к чему не привели. Он постоянно оперирует архивными материалами советника посольства рейха при Ватикане, который передавал в Берлин текст проповеди епископа Константини: «Вчера на земле Испании, сегодня на собственной земле большевизма, где сатана обрел своих представителей, храбрые воины, среди которых есть солда-

ты и нашей страны, ведут величайшую из битв. Мы всем сердцем молимся за то, чтобы это сражение привело их к окончательной победе...»

– А про то, как Риббентроп призывал посла рейха в Ватикане всячески избегать конфронтации с папой, он вам не говорил?

– Нет, видимо, еще до тех архивов не добрался.

– Умеет работать с документами?

– Не очень... Но хорошо читает исторические журналы, они у него все помечены маркерами...

– Как относится к русским?

– Период гражданской войны в Испании и последней войны ценит положительно; к нынешнему московскому режиму настроен отрицательно. Ему однажды отказали в визе, мои друзья всячески напоминают об этом, реагирует он весьма болезненно.

– Отчего ему отказали в визе?

– По-моему, в одной из его статей были личные выпады, а Москва этого не любит.

Фол усмехнулся:

– Можно подумать, что это очень нравится Вашингтону. Я вам изложу схему. Подумайте, что в ней слабо, что пойдет в дело, а что вообще надо похерить. Итак, мы открываем Вальтеру Шассу материалы – видимо, стоит сказать, что они получены вами от друзей из разведки, какой именно, не уточнять, честолюбцы на это падки,– что русский по фамилии Степанов, тоже журналист, постоянно встречается с рядом немецких исследователей, получает у них информацию о судьбе русских культурных ценностей, похищенных нацистами, причем – в этом суть моего плана – платит им за информацию деньги, не ахти какие, министерство культуры русских не очень-то расшвыривается валютой, в то время как Золле не платит ничего. В чем дело? Где причина? Может быть, Золле меценат? У него счета в швейцарских банках? Или же он почему-то о б я з а н отдавать свои материалы русскому бесплатно?

– Сколько Степанов платит?

– Да ничего он никому не платит.

– Чего вы хотите добиться, Джос? Я что-то не очень понимаю ваш план.

– Так это очень хорошо! Это прекрасно! Если бы вы поняли мой план, куда бы он годился?!

– Слава богу, я начинаю к вам привыкать, а то бы снова озлился. Извольте объяснить, чего вам надо добиться?

– Мне надо, чтобы Золле сказал Степанову: «Друг мой, я весь опутан долгами, у меня нет ни копейки, пожалуйста, дай мне десяток тысяч, чтобы я расплатился с кредиторами». И сказать он

это должен не где-нибудь, а в Лондоне, и не когда-нибудь, а вечером восьмого мая, и не просто так, с глазу на глаз, а в присутствии третьего человека...

– Это еще кого?

– Пейте вино, Стив. Плачу я.

– Вальтер Шасс не подойдет для вашего дела,– сказал Ричардсон и полез за сигаретами.

– Да? Плохо. А почему?

– Потому что он такой же хряк, как и вы, а я вижу в этом деле человеческую работу.

– Ну и черт с ним. Значит, подойдет другой, у вас же их пятеро. За вас, Стив. Мне приятно работать с вами. Честное слово.

III

«Дорогой Иван Андреевич!

Только что видел Врубеля. Вид его был ужасен, глаза запали, обычно тщательный в подборе своего гардероба (даже несколько экстравагантный), он был одет небрежно, руки его мелко тряслись, будто у пьяницы. «Что с вами?»– спросил я. Он посмотрел на меня недоумевающе: «Разве вы не знаете, что Александр Антонович покончил с собою?!»

Я сразу же представил себе маленького, кроткого, добрейшего Александра Антоновича Риццони, его прелестное ателье в Риме и наши совместные чаепития. Его постоянная опека над Врубелем, когда тот работал там в начале девяностых, да и позже, приехав к старику со своей очаровательной женою, была истинно отеческой. О, как же он умел опекать – требовательно, но в то же время добро, как тактичен был в своих советах и наставлениях, как застенчив, когда его просили показать новые работы, ведь мудрый Третьяков в свою коллекцию чуть ли не самым первым приобрел именно его полотно «Евреи-контрабандисты». Это ли не оценка труда художника?!

«А что же случилось? – спросил я.– Долги? Или семейная трагедия?»

Врубель по-прежнему недоумевающе посмотрел на меня: «Да вы разве не читали в «Мире искусства», что его назвали самым худшим изо всех современных художников?! Разве не читали, как черным по белому было напечатано, что обществу надо как можно скорее избавиться ото всех работ Риццони, которые позорят на-

ше искусство?!» – «И он из-за этого покончил с собою?! Вам достается не меньше, милый Михаил Александрович!» – «Так ведь я моложе,– ответил Врубель,– Кто знает, что станется со мною, доживи я до шестидесяти, как Риццони...»

Мы стояли на улице, ветер был промозглым, Врубель предложил пойти к «Давыдке», на Владимирский проспект, я согласился с радостью, ибо время, проведенное с гением, обогащает тебя куда больше, чем сделка на бирже.

Врубель попросил шампанского, от еды отказался, я, однако, умолил его взять икорки, только-только пришла из Астрахани. Мы долго сидели в молчании, потом он поднял бокал, сказав: «Мир его праху и добрая ему память в наших сердцах. Какой был твердый хозяин своей жизни, какой честный труженик. А как пристрастно истолковал эту его честность «Мир искусства»! Как безжалостно, бесшабашно, без боли за судьбу нашего искусства! Господи, в чьих же руках суд над нами, художниками?! Кто только не дерзал на нас! Чьи только грязные руки не касались самых тонких струн чистого творчества?! А разве эта вакханалия недоброжелательства не путает реальные представления в нашей среде? Надо всегда помнить, что труд скромного мастера несравненно почтеннее, чем претензии добровольных невропатов, лизоблюдничающих на пиру искусства. В ту пору, когда «неумытые» звали меня «Юпитером дэкадэнтов», полагая в своей темной наивности, что это страшное зло, Александр Антонович был так добр ко мне, так трогателен... Утешитель и друг с лучистыми глазами младенца. Когда же мы убедимся, что только труд и умелость дают человеку цену? Когда мы ополчимся против этой истины?!»

Он выпил, отставил бокал, посмотрел на меня своими прекрасными глазами и заплакал.

Господи боже ты мой, как же трудна жизнь артиста!

Два года двадцатого века отмечены на всемирном календаре, а нравы наши по-прежнему подобны дикарским, пещерным.

Поклон нижайший Вашему семейству.

Искренне Ваш
Василий Скорятин».

4

Свое шестидесятипятилетие Евгений Иванович Ростопчин отметил в одиночестве; никого не звал; накануне слетал в Париж, отстоял службу в православной церкви на Рю Дарю, оттуда вылетел в Ниццу, взял в аэропорту напрокат маленький «фиат» (терпеть не мог показного шика, экономил в мелочах, чтобы главные средства вкладывать в д е л о, а проценты с дела обращать в приобретение русских картин, икон, архивов) и отправился на кладбище – совсем небольшое, на окраине города; дорога петляет, словно в Крыму, похоронены здесь русские, никого другого, только русские: Горчаковы, Ростопчины, Вяземские, Епанчины, Пущины, Раевские, Бенигсены, Кутузовы, Романовы...

Смотритель кладбища, веселый серб Петя, как всегда в этот день, приготовил Ростопчину огромные букеты роз; белые – для бабушки, красные – мамочке; их любимые цвета; память о людях продолжает их жизнь среди нас; не так силен ужас потерь, иллюзия постоянного соприсутствия, непрерываемость бытия...

Евгений Иванович долго сидел возле скромных памятников; потом прошел по маленьким узеньким аллеям, остановился возле свежей могилы, спросил Петю, кто почил, отчего нет креста; тот ответил, что преставилась Аграфена Васильевна Нессельроде; жила в жестокой нужде, голодала, старенькая; на крест собирают, но пожертвование дают очень скупо – по пять, десять франков, откуда же денег взять, князь; старики вымерли, молодые по-русски не говорят, стыдятся предков, норовят фамилию поменять, а уж имен православных и вовсе не осталось: где был Миша, там ныне Мишель, где Петя – Пьер; что бы Марье в Мари переделаться, так ведь нет, в Магдалены норовят, только б от своего корня подальше, несчастные мы люди, кочевники; про евреев говорят, что они рассеяны по миру, – дудки, если уж кто и рассеян, то мы, а как же, ведь и прежний помощник американского президента Збигнев Бжезинский славянин, и французский генерал Пешков, усыновленный Горьким, да и папа нонешний тоже не итальянец, а нашей, славянской крови.

Евгений Иванович дал Петечке денег, тот пошел в лавку купить сыра, хлеба, зелени, бутылку красного вина из Сен-Поль де Ванса; князь вообще-то не пил, а если и п р и г у б и т, то лишь «вансовку», ее так и Бунин называл, Иван Алексеевич, и Шаляпин, когда наведывался на юг, и даже Мережковский, хотя сурового был норова человек и более всего на свете любил изъясняться по-французски, русскую историю комментировал на чужом языке, так, говорил, точнее ее чувствуешь, науке угодна отстраненность.

Однажды кто-то из здешних стариков заметил, что Северную Америку интереснее всех понял француз Бомарше; Китай и его культуру открыл миру итальянец Марко Поло в своей «Книге»; Бисмарк, наверное, точнее других ощущал Россию, а именно русские смогли синтезировать дух Европы, ошеломить ее, в свою очередь, Чайковским, Толстым, Чеховым.

...Ростопчин вернулся к родным могилам. Место между могилой мамочки и князя Горчакова было пустым – он купил эту землю для себя девять лет назад, когда сын женился на певице из Мадрида, уехал с ней в Аргентину, изменил фамилию, став Эухенио Ростоу-Масаль (сократил наполовину отцовскую и принял девичью фамилию жены), купил земли на границе Патагонии; отцу писал редко, чаще матери; американка, она бросила Ростопчина, убежав с французским режиссером; была счастлива, пока тот не умер от разрыва сердца, вернулась в Цюрих, позвонила бывшему мужу, предложила мировую; сын Женя (тогда еще не Эухенио) был в восторге, хотя мать оставила мальчика отцу, не видала его двенадцать лет, только порою присылала открытки на рождество, очень красивые; Ростопчин отверг предложение: «Я не прощаю измены». Женя тогда замкнулся, он все эти годы – хоть уже закончил университет – жил мечтою о с е м ь е; это ведь так не престижно, когда за столом нет папы или мамы, приходится уклончиво отвечать на вопросы друзей: в том кругу, где он вращался, дом должен был быть крепостью, все необходимые приличия соблюдены; внешне, то есть ф о р м а обязана быть абсолютной – на этом держится общество, нельзя замахиваться на святое. Наверное, именно тогда и начался разлад между отцом и сыном; Женя перешел на французский, перестал читать русские книги; по прошествии года Ростопчин, к ужасу своему, услыхал акцент в говоре сына. «Мальчик,– сказал он ему тогда,– ты не вправе забыть родное слово». Женя ответил, что его родная речь – французская или английская, на худой конец, немецкая или испанская. «В России я никогда не был, не знаю эту страну и не люблю ее». – «Разве можно не любить родину? – спросил тогда Ростопчин.– Ту землю, где родились твои предки?!» – «Моя родина здесь,– ответил Женя,– а большевики выкинули твоих предков и тебя вместе с ними, хороша родина...» Ростопчин заметил, что в случившемся больше нашей вины, тех, кто п р а в и л, чем большевиков; те знали народ, а мы не знали его, жили о т д е л ь н о,– в этом трагедия; не только большевики, но даже Гучков с Родзянко, тузы, говорили государю, что необходимы реформы, нельзя тасовать колоду знакомцев из придворной бюрократии, люди без идей охраняют традицию, а какова она была, наша традиция, если говорить чест-

но? Революция случилась через пятьдесят шесть лет после того, как отменили рабство, а править империей продолжали те, что служили рабству, по-иному не умели; надо было привлекать к управлению людей нового толка, предпринимателей, специалистов производства, а не стариков вроде Штюрмера или Горемыкина, которые спали во время заседаний кабинета, тщились сохранить привычное, чурались самого понятия д в и ж е н и е, страшились реформ, а уж про конституцию и слышать не хотели.

– Пойми, Женя, Россия и Англия были единственными странами в Европе, которые жили без конституции. Конфуцианство – в Китае, у нас – теория общины, то есть не личность, не гражданин превыше всего, но клан, община, деревня; что хорошо для сотни, то обязательно для каждого, в этом мы повинны перед Россией; да, горько, да, трагедия эмиграции, но ведь, когда мы были в Москве, страна занимала последнее место в Европе, а большевики – хотели мы того или нет – вывели ее на одно из первых мест, несмотря на трагедии и войны; нет ничего горше объективности, эмоции всегда угоднее, душу можно облегчить, поплакать или покричать, но ведь и эмоция подвластна разуму, то есть объективному анализу данностей, а не наоборот, если наоборот, тогда жди новой трагедии, тогда ужас, крах, апокалипсис.

– Папа,– сказал Женя,– я счастлив, что живу здесь, я не хочу иметь ничего общего с тем, что было у вашей семьи раньше... Мама дала мне душу американца, и я благодарен ей. Я живу просто и четко, по тем законам, которыми управляется это общество...

– Сколько лет ты жил без мамы. Со мною,– заметил Ростопчин.– Когда ты был маленьким, я мыл тебя, одевал, водил в театр, рассказывал тебе сказки...

– Ты упрекаешь меня? – сын пожал плечами.– По-моему, это принятое отношение к тому, кому ты дал жизнь. Мама меня никогда ни в чем не упрекает...

– Не мама воспитывала тебя, но я, Женя.

– Мама родила меня... И я всегда ее помнил. И любил. И ты не вправе требовать от меня, чтобы я вычеркнул ее из сердца. Она мать.

– Настоящая мать не бросает свое дитя.

– Если ты посмеешь еще раз так сказать о маме, я уйду из твоего дома.

«А на что ты будешь жить? Ты, привыкший к этому замку и к дворецкому, и к своей гоночной машине, и к полетам на море, к моей библиотеке и к утреннему кофе, который приносит тебе в спальню фрау Элиза?»

Но он не задал этого вопроса сыну. Наверное, поэтому и потерял его, ибо безнаказанность – путь к потерям.

С той поры Женя ни разу не произнес ни одного русского слова.

Ростопчин пригласил его съездить в Россию.

– Я помню Москву,– сказал он сыну,– хотя мне тогда было очень мало лет. Давай полетим туда, все-таки надо тебе увидеть страну, откуда твой отец родом.

– Зачем?

– Ну, хотя бы затем, что я прошу об этом.

– Я совершенно забыл твой язык, мне будет там неинтересно, какой смысл?

– Только такой, что я об этом прошу. По-моему, я ничем не унижал тебя, Женя. Выполняю все твои пожелания, какое там, я угадываю твои желания, во всяком случае, мне так кажется... Я очень тебя прошу, сын...

Тот вздохнул, пожал плечами, согласился, но поставил условие, чтобы эта поездка состоялась в те месяцы, когда нет ни купального сезона на Средиземноморье, ни лыжного сезона в Альпах.

Они приехали в Москву в октябре; моросил дождь, ветер был сырым, пронизывающим; Ростопчин попросил шофера, который вез их из Шереметьева (он купил люксовый тур, с автомобилем и двухкомнатным номером в «Национале»), ехать помедленнее; то и дело повторял «невероятно», когда проезжали Ленинградский проспект и улицу Горького; нет, это не потемкинская деревня, это явь; он-то помнил, что здесь была узкая улочка, старенькие дома; каждая деталь врезалась в память; говорят, «ты был совсем еще маленький, ты не помнишь», какая чушь, что может быть точнее детского восприятия, что может быть рельефнее, истинней?!

Поздним вечером пошли гулять по Москве; возле «Арагви» Женя увидел очередь, спросил отца, что это; тот объяснил; сын фыркнул: «Веселая родина у моего отца, такая веселая, что даже поужинать нельзя с толком, надо ждать под дождем, какое варварство»; Ростопчин, однако, надеялся на завтрашний день, он мечтал отвести сына в Третьяковку, потом в Библиотеку имени Ленина, заказал билеты на «Годунова»; они вернулись в отель около двенадцати, Женя попросил ужин, ему ответили, что ресторан уже закрыт. «Что же мне, принимать снотворное? Я не могу заснуть на голодный желудок». – «Пойдите в валютный бар,– ответили ему,– там сделают сандвич».

На следующий день программа удалась отменно; более всего сыну понравился Верещагин; потрясла картина, на которой была пирамида черепов: «Этот художник умел работать, ничего не скажешь»; впрочем, «Купание Красного Коня» он назвал пропаган-

дистской живописью, то же заметил и в портретах Петрова-Водкина; в Ленинской библиотеке попытался было говорить по-русски, но смутился, путается в падежах, насупился, замолк; ему предложили перейти на английский; он спросил, какие книги Гитлера, Черчилля и Троцкого можно получить к изучению; ему ответили, что «Майн кампф» Гитлера как расистская литература запрещена в Советском Союзе, работы Черчилля он может запросить в зале для научных работников; речи Троцкого изданы в стенограммах съездов партии, имеются и здесь, на выдаче. «Годунов» ему показался затянутым, хотя постановочно — тут он согласился с отцом — все было прекрасно.

Спектакли МХАТа ему не понравились, он плохо понимал живую речь; в ГУМе потешался над товарами и очередями; был в полном восторге от Театра оперетты — это и сломало окончательно Евгения Ивановича; все, понял он, мальчик потерян, никакой он не русский, бесполезно пытаться изменить его, он живет узкими пеналами западных представлений о том, что хорошо и что плохо; количество ресторанов и дансингов для него важнее уровня культуры; нет, я не оправдываю, конечно же, русский сервис, он еще плох, спору нет, но ведь нельзя же за деревьями не видеть леса! «Дерево — это и есть лес», — ответил Женя, не поняв отца. Ростопчин пошел в бар и выпил водки; он в тот вечер пил много, опьянеть не мог, молил бога, чтобы тот послал ему слезы выплакаться, но глаза были сухими; позвал Женю на прогулку, остановился напротив «Метрополя», показал на мозаику: «Это великий Врубель». Женя пожал плечами: «Если тебе хочется называть великим того, кто делает нечто странное, называй, но я не обязан с тобою соглашаться, надеюсь, ты не обидишься на меня за это, или тебе угодна неискренность? Пожалуйста, я могу сказать, что это гениально...»

Они вернулись в Цюрих. Женя сразу же улетел к матери, позвонил из ее парижского дома, попросил выделить часть денег: «Начинаю свое дело, стыдно висеть у тебя на шее, вырос уже, спасибо за все, отец».

С тех пор Ростопчин жил один; полгода в его замке провела австрийская горнолыжница, чудо что за женщина: вечером, возле камина, словно кошка; незаменима в путешествиях, заботливый дружочек; как-то она сказала: «Мне тебя мало, ты совсем не любишь свою девочку». Предложила пригласить в дом кого-нибудь из его молодых друзей, в конце концов любовь втроем вполне современна; он купил ей квартиру в Вадуце и устроил на работу; вскоре она сошлась с одним из тамошних банкиров, тот бывал у нее раз в неделю, остальные вечера она проводила в Австрии, ки-

лометров двадцать до границы, в Фельдкирхе, уютном городке в Альпах, масса испанцев, югославов, мулатов, никаких условностей, никто не спрашивает паспорт в отелях, живи как хочешь; надо жить, пока можно, так мало отпущено женщине, так несправедливо мало, все надо успеть, чтобы не было страшно, когда придет пора, останется память, а еще усталость, да здравствует усталость, панацея от мечты, надежды, боли, отчаяния, ощущения утраченности самой себя...

...Со Степановым познакомился он случайно; ночь проговорили, перебивая друг друга; потом Ростопчин приехал в Москву и привез одно из самых первых изданий Библии; купил за две тысячи долларов по случаю на аукционе.

– Меня посадят, если я сделаю этот дар вашей библиотеке? – спросил он Степанова.

Тот не сразу понял его – почему?

– Ну, пропаганда религиозного дурмана, чуждая идеология, так ведь у вас говорят?

– Евгений Иванович, куда-то вас не туда понесло. Уж так-то бы вам не надо, вы ж не чужой и боль и счастье принимаете всерьез.

В следующий раз он привез две иконы; Московская патриархия устроила в его честь прием, благодарили сердечно. «Ну, хорошо,– сказал он Степанову на прощание,– а если я решу собрать коллекцию картин и устроить экспозицию – дар Третьяковке,– вы думаете, такое возможно?»

С этого и пошло.

Но более всего он о х о т и л с я за Врубелем; основания к тому были особые, мамочка знала живописца, дружила с его женою, Надеждой Забела.

...Когда Ростопчин спустился в маленький домик Пети, стол был накрыт уже; он сел в красный угол, под образа, выпил «вансовки»; Петечка позволил себе пригубить самогона, гнал из проросшей пшеницы с медом, старый рецепт российский.

– С днем рождения вас, сердечно желаю счастья, а вот и подарок вам,– и Петечка достал из старенького шкафа расшитый рушничок.

– Ах ты, мой дорогой,– Ростопчин обнял его, почувствовав, как в груди разлилось тепло,– ну, спасибо тебе, ну угодил, умница...

Петечка тоже умилился; это в обычае – умиляться радости ближнего, допил свою самогонку, заел соленым сыром и начал ставить вопросы, так у них заведено было, словно неписанный ритуал – после первого стакана беседовать с полчаса; как-никак расставание на год, кто знает, доживем ли, наши годы к преклону

идут, да и мир безумен, нажмут на кнопку, и полетим в тартарары, там не очень-то побеседуешь, отвечать за грехи земные придется, а безгрешных нет, все ныне сатаной отмечены, оттого как власть золотого тельца окрутила людишек.

– Вот объясните мне, ваше сиятельство, зачем это католики так между собою разлаялись? Отчего у них столько религий взамен одной стало?

Ростопчин ответил задумчиво, словно бы говоря с самим собою:

– Видишь ли, Петечка, грех Ватикана в средние века был таким ужасающим, стольких великих мыслителей задушило папство, что терпеть и далее все это люди не могли – внутри самого же католичества. Всякий бунт зреет внутри существующего, а не вовне. Если вовне, не так страшно, тут армия решит дело, а коли в каждом живет мысль о несправедливости, тут армией дело не исправить, тут грядет р а з в а л. Первыми от Ватикана, который был столицей святой инквизиции, отделилось англиканское исповедание, они отринули папу, провозгласили своим главою короля; островитяне, им легче. И было это в начале тысяча пятисотых годов, и они победили, а вот Мартин Лютер до них еще начал, но того, чего достигли англикане, при своей жизни не достиг, лишь после его смерти лютеранство сделалось фактом общественной жизни. А кальвинисты? Отвалились от папства в середине того же века, но те стояли на вере в предопределенность людских судеб. Дальше уже пошли в ы к р у т а с ы, Петечка, все эти адвентисты, квакеры, свидетели Иеговы, тут, милый, сплошная мешанина, дурь, но не случайно все это – отлилось Ватикану и сожжение Бруно, и запрет на мысль, и уничтожение холстов, на которых было изображено обнаженное тело Матери. Ересь и грех!

– А вот я про свидетелей Иеговы что-то никак не пойму, ваше сиятельство, они ко мне сюда приходили, беседы заводили...

– Гони взашей! Их безумный американец создал, Рассел, недавно сравнительно, в прошлом веке. Пугал, что конец мира близится. А мир не исчез, наоборот, начался расцвет науки, ремесел и искусства. Тогда они быстренько перелопатили на то, что мир расколется в две тысячи четырнадцатом году; так что нам с тобою еще дают тридцать лет на жизнь... Не дотянем, а, Петечка?

– Дотянем. Уинстон-то под сотню прожил, а коньяк пил и сигары курил.

– Так, милый, он ведь в прошлом веке родился, когда молоко было коровьим, а не порошковым.

– Верно, однако ж пенициллина не было, от гриппа мерли, как мухи.

В дверь постучались. Петечка спросил:

– Кто?!

Ответили по-французски; господи, подумал Ростопчин, ведь я же в Ницце, на русском кладбище, а ощущение такое, будто в Загорске, как странен мир, как непостижим...

Оказывается, приехали туристы из Бельгии; им сказали, что есть русское кладбище, просят показать, сулят пятьдесят франков за экскурсию; Петечка ответил, что занят, за деньги историю не рассказывает, только если чувствует в себе потребность; предложил самим прогуляться, а если языка не знают, то пусть впредь берут с собою словари, да и русский не грех учить, не последний язык на земле...

Отправив шумных бельгийцев смотреть могилы аристократов, он вернулся к столу, опрокинул еще одну стопочку и сказал:

– Значит, только у нас в православии единение и братство, только наша православная церковь всегда была собою самой...

– Да будет тебе,– поморщился Ростопчин,– нечего из себя богоизбранника строить, все одним миром мазаны... Про Никона слышал?

– Это про какого? Про древнего?

– Ну и не такого уж древнего... Раскол-то откуда пошел? От чего?

– От англичанина,– ответил Петечка с уверенностью.

– От англичанина,– повторил, вздохнувши, Растопчин.– Несчастные мы люди, Петя. Чуть что не так, сразу же ищем, на кого б причину перевалить, себя виновными признать ни в чем не желаем...

– А кто себя виновным желает признать? – возразил Петя.– Американец, что ль? Или немец? А тутошние люди?!

– Американец чаще свою неправоту признавал, Петечка. Они ж во времена Рузвельта признали много своих ошибок, на том и выстояли... А мы? Мне ж мамочка рассказывала, покойница, как шептались про то, что Победоносцев Россию душит, государыня – психопатка, только колдунам верит, про то, что Россией правит коррумпированная банда, но ведь шептались, Петечка, вслух-то славословили! Пойди кто задень – на дыбу! Славь, ура, не тронь! Вот и случился семнадцатый год, когда взорвалось изнутри... А ты про наше православное единение... Ерунда это, Петечка. Давно уж нет единения, с Никона еще, с наших о б н о в л е н ц е в. Ладно, Петечка, давай помолимся молча, чтоб и в следующий год нам с тобою вместе этот день отметить. Следи за могилами, как и прежде.

Ростопчин дал Петечке пятисотфранковый билет и, не прощаясь, пошел к арендованному «фиатику»; через пятнадцать минут

был в аэропорту, а через два часа оказался в своем замке над озером, в Цюрихе.

Дворецкий сказал, что прилетел Шаляпин, Федор Федорович, отдыхает в той комнате, где обычно останавливается; неважно себя чувствовал с дороги, от обеда отказался.

«Господи,— подумал Ростопчин,— вот счастье-то! Если о ком и можно было мечтать, то лишь о нем, как же мило он поступил, что не забыл о моем дне!»

— Пожалуйста, Шарль, накройте нам в каминной, к телефону не подзывайте, Федор Федорович любит птицу, пусть сделают фазана, спросите на кухне, успеют ли?

Потом он поднялся к себе, принял ванну, как-никак намотал за сутки более двух тысяч верст, в з я л аспирин (все-таки здесь странные люди, подумал он, «взял самолет», «взял метро», «взял аспирин». Все берут, берут, когда отдавать успевают?!), закапал в глаза мультивитамины (ложь прекрасна; великолепно известно, что эти капли никакие не мультивитамины, а возбуждающее средство, форма наркотика, можно получить только по предписанию врача) и начал переодеваться к ужину...

— Ах, Женя,— пророкотал Федор Федорович, подвинув стул поближе к камину, громадному, сложенному из грубого камня, стиль Кастилии или Северной Шотландии конца прошлого века,— какое счастье быть беспамятным, не знать, сколько нам лет, не ведать, где наши родные. Если б помнить только радостное, если б забыть, где ныне наши отцы, друзья, подруги...

— У тебя какая пора самая счастливая?

— Детство, конечно же... Да ведь и у каждого так. Вспомни, как Лев Николаевич писал про волшебную зеленую палочку, про брата Николеньку, про доброго Карла Ивановича...«Guten morgen[1], Карл Иванович», — за одной фразой весь дух прошлого века встает... Ты, кстати, знаешь, отчего соловьи ночью поют?

— Нет.

— О, это поразительно... Они, знаешь ли, оттого заливаются, что полны беспокойства, как бы самочка не уснула, развлекают ее, покудова она птенцов высиживает, а то ненароком выпадет, сонная, из гнезда, тогда конец, гибель рода, катастрофа, disaster[2]...

— Да неужели?!

— Представь себе, абсолютная правда. Мне один зоолог говорил в Риме, кстати чем-то на Дон-Кихота похож. А у тебя какая пора самая счастливая?

[1]Доброе утро *(нем.)*.
[2]Несчастье *(англ.)*.

– Старость,– Ростопчин вздохнул, но сразу же заставил себя улыбнуться; не терпел, когда его настроение передавалось другому, тем более Федор Федорович приехал так трогательно, все помнит, дорогой, один он остался на всем белом свете; хозяин «Максима» преставился, на десятом, правда, десятке; Юсупова нет, лица Рахманинова и Бунина стал забывать, страшно...

– Ах, перестань, Евгений, полно, будет... Не верю... Детство у каждого – счастье...

– Федор, но ты же в детстве не голодал. А я стал сытно есть только годам к сорока пяти, когда раскрутил дело. Смешно: став богатым, я, естественно, взял себе личного врача, и первое, что тот сделал, предписал мне жесточайшую диету: молоко, творожок, ломтик хлеба из отрубей и фрукты. Я-то в молодости мечтал о больших кусках шипящего мяса, об ухе, про которую мамочка рассказывала, когда сначала курицу варят, потом в этот бульон кладут ерша со щукою, а уж после, отцедив, з а л а ж и в а л и стерлядь: царская уха; и обязательно пятьдесят граммов водки в нее, именно так варили на Волге...

– Что-то отец мне про такое обжорство не говорил, Женя... Хотя бурлак, возможно, и не знал.

– Сначала-то бурлак,– улыбнулся Ростопчин,– а после – Шаляпин. Я хочу за его светлую память выпить, Федор.

Сделали по маленькому глотку из тяжелых хрустальных бокалов.

– Я, знаешь, как сейчас помню: отец мне с Борисом подарили ко дню рождения, вроде как у тебя сегодня,– усмехнулся Федор Федорович,– игрушечный театр... С этого и началось... Я мальчонкой еще понял, что театр – это надежда, бегство от страха смерти. Да, да, именно так! Ведь актер проживает на сцене не одну жизнь, а десятки. Совершенно разных, неповторимых! К концу пути появляется усталость: «И это было под солнцем»; не так страшно умирать. Но это только в России. У нас ведь отношение к театру религиозное. Мне Михаил Чехов рассказывал, как кондукторша в трамвае к нему обратилась: «Михаил Александрович, я вас в «Гамлете» четыре раза смотрела». Здесь-то все по-иному.

Шаляпин вздохнул; скептическая улыбка тронула его бескровные губы.

– Я к тебе прямо от Феллини...

– Да неужели?! Расскажи о нем, Федор, это ж такая глыба!

Шаляпин пожал плечами:

– Как-то раз снялся я у него – почти без слов – в роли актера Руджери, забыл уж об этом, как вдруг он меня снова зовет: «Ты будешь играть Юлия Цезаря!» – «Помилуй, Феллини, но я ведь

совершенно не похож на него! Вспомни портреты императора!» – «Ерунда! Я снял тебя в роли Руджери, а тот играл Цезаря, поверь, я чувствую ленту задолго до того, как она снята!» И я поверил. Вообще талантливому человеку нельзя не верить, ты замечал?

– Замечал,– согласился князь.– Ты очень верно это подметил.

– Ну, хорошо. Пришел я в гримуборную, раздеваюсь, закусываю – никогда не ем после того, как положен грим, можно сломать рисунок,– и тут мне приносят парик Цезаря. Кудри, представь себе! Льняные кудри! Я человек сдержанный, но тут не выдержал, швырнул на землю парик. «Да как же вам, итальянцам, не стыдно?! Неужели вы не знаете, что ваш император был лысый?!» Заставил себя постричь... Обкорнали... Ладно... Приносят венок. Грубятина, сделано топорно, на голове не сидит, какая-то детская игрушка, отец такое выбрасывал в окно... Ему Головин не только рисовал костюм, он на примерке рядом с портным стоял, каждую складку проверял... Ну-с, кое-как я этот самый обруч переделал, а тут Феллини. «Как дела, Федор?» – «Да разве можно надевать такой венок?» – «Ах, черт с ним! Не трать попусту силы, он все равно свалится у тебя с головы во время убийства!» – «Нет, я хочу, чтобы Цезарь умер, как подобает императору... В тоге... С венком на голове...» Ты думаешь, он стал со мной спорить? Доказывать что-то, как это принято в нашем театре? Да нет же! «Если тебе так хочется, умирай хоть в короне!» И все! Ну, хорошо, я собрался, вышел на съемочную площадку, сказал, что известную фразу: «И ты, сын мой» – произнесу по-гречески, ты ведь помнишь, что в Древнем Риме высшим шиком считалось говорить на языке поверженной Эллады...

– Да неужели?! – удивился Ростопчин.– Я не знал!

– Ты попросту забыл, Евгений, ты знал... Лишь император Клавдий официально запретил употреблять в сенате греческий, потому что следил за тем, чтобы соблюдались римские традиции. Правда, и ему однажды пришлось извиниться перед собравшимися за то, что он сам был вынужден употребить греческое слово, поскольку его не было в языке римлян, а слово это выражало высший смысл политики – «монополия»... Словом, сидим, я жду команды режиссера, готовлюсь к работе, мизансцена разведена, а Брута все нет и нет... И вдруг приводят древнего старикашку! Представь себе мой ужас! Я говорю Феллини: «Но ведь Брут был незаконным сыном Цезаря! А этот старше меня!» Возникла пауза, все затихло на съемочной площадке. А Феллини пожал плечами и спокойно заметил: «Но ведь это не доказано, это же гипотеза». Говорит, а сам где-то далеко, п р о с м а т р и в а е т свою ленту... Мою греческую фразу, конечно же, при монтаже он выбросил, ос-

тавил всего два плана из тех десятков метров, что снимал, а фильм вышел гениальный... Я же говорю, невероятный талант; в ы п л е с к и в а н и е дара – штука мистическая, Евгений, непознанная.

– Как все это интересно,– тихо сказал Росточин.– Да и рассказываешь ты удивительно. Словно бы рисуешь. Я все вижу, право!

– Я ничто в сравнении с Жоржем Сэндерсом. Послушал бы ты, как он держал зал, как рассказывал со сцены!

– А я и не знаю этого имени, Федор, не слышал о нем...

– Не удивительно. Они же беспамятны, в Штатах-то. Есть паблисити – помнят, нет – на свалку! Родись у них Шекспир, но не имей он хорошего банковского счета, его б и не заметил никто. А Сэндерс из Петербурга, нашу гимназию окончил, потом Америку потрясал, лучший драматический актер. Но все молодым себя считал... Шестьдесят пять уже, а он пьет, как сорокалетний. Сколько я говорил с ним, как убеждал поберечь себя. Обещал. О, как он клялся мне... Покончил с собою, и нет памяти. А Саша Гитри? Помнишь, сын великого Люсьена Гитри. Этот духа рутины не выдержал, ушел из «Комеди Франсез», им же режиссер давал в руки бумажные цветы, они на весь зал шуршали, поди играй при этом. К чему это я? – Федор Федорович нахмурился, рубленые морщины сделали его лицо похожим на маску Дон-Кихота.

– Ты заговорил о Саше Гитри...

– Ах да, спасибо! Он ведь тоже родился у нас, в Петербурге. Его отец имел высший взлет, когда наш Теляковский[1] подписал с ним контракт на работу в Михайловском театре. Был такой в северной столице, там все спектакли давали на французском, одна аристократия собиралась... Так вот потом уже Люсьен сдружился с моим отцом, на все его репетиции ходил в Париже; забьется в угол зала и сидит... А он тогда комедии писал, его вся Франция ставила. Он в одном углу, а я в другом, то на сцену гляжу, то на него. И заметил любопытнейшую вещь: то он внимал отцу с обожанием, а то вдруг лицо его холодно замирало – в самых драматических местах, верно, ощущал, что в Федоре Ивановиче воплотилось то, чего он не достиг и никогда не достигнет. Я думаю, что это его обостренное понимание своей – в сравнении с Шаляпиным – малости свидетельствовало о некоторой ущербности духа. А Сашка-то Гитри скатился к предательству. Стал с немцами в Париже сотрудничать! Судили его после войны, что-то около года в тюрьме пробыл, потом французы простили за талант. Так он сам себя извел. Без статей о нем, без шума жизнь ему не в жизнь была. Умер в безвестности от рака... Истинный-то художник разве на предательство способен? Только Сальери, только несостоявшиеся...

[1]Управляющий конторой императорских театров.

– Ты иногда, особенно если падает тень, становишься очень похожим на отца.

– На отца никто не может быть похожим, Евгений. Знаешь, кто написал лучший его портрет?

– Не знаю.

– Коровин. В жилете отец стоит. Я его в дар Родине отправил. Коровин этот портрет за двадцать минут сделал, он ведь стремительно писал... Отец, помню, торопился в Питер, у него было двадцать ежегодных спектаклей в Большом и двадцать в Мариинке, собирал чемодан, расхаживал по комнате в жилетке, а Коровин: «Ну-ка, постой, Федор, я сейчас, мигом!» И закончил ведь! Мы потом на вокзал ехали, и шофер так вел «мотор», что отец буркнул: «Господи, хоть бы разглядеть, обо что сейчас насмерть разобьемся». Как мог Коровин ухватить такое сходство без рисунка, кистью, до сих пор ума не приложу! Между прочим, я еще один портрет в Россию привез. Самый, пожалуй, забавный. Дело было так: начал – в очередной раз – Коровин писать отца, и все ему не нравится, все не так. Решил замазать, а отец говорит: «Погоди, дай-ка мне кисточку»,– он ведь сам рисовал прекрасно. Коровин отдал, но и у отца ничего не вышло. А тут барон Клодт пришел, тоже кисть взял, и тоже ничего не получилось; Коровин стал нервничать. «Все,– говорит,– замажу»; а тут в гости заглянул Серов, помолчал, взял кисть, сделал три мазка и сразу же поймал сходство. Коровин не хотел этот портрет подписывать, говорит Серову, мол, это он сделал, тогда Серов взял да и поставил две подписи: «Коровин и Серов». Этот портрет всегда был с отцом: сначала на Новинском, потом в его парижской квартире, потом у меня в Риме, а сейчас снова в Москву вернулся.

– Да неужели?! Какое чудо. Ты записываешь все эти истории, Федор?

– Собираюсь сделать книгу.

– Нельзя медлить, под богом ходим!

Федор Федорович снова вздохнул:

– Помню, Теляковский разрешил отцу поставить «Дон-Карлоса». Такого не было ранее, чтобы певец был постановщиком... Но Теляковский позволял отцу все. И, знаешь, отец так работал с певцами, что они поднялись до уровня настоящих драматических актеров. А это ведь почти невозможно. Тенор Лабинский, который до того и двигаться-то не мог толком по сцене, так з а и г р а л, что люди плакали в зале... Да... А после премьеры отец пригласил всех на Новинский, мамочка накрыла три огромных стола, народу набилось – тьма. Отец, помню, поднял первый бокал и, оглядев всех, сказал сурово: «Вы же все можете, абсолютно все! Но вы лентяи!»

Ростопчин вздохнул:

– Обломов не в Цюрихе родился... Здесь бы помер в одночасье.

Шаляпин кивнул:

– А как отец режиссировал в парижской опере! Приведет с собою Коровина и Билибина, ругается так, что люстры дрожат: «Окно нарисовано не там! Эта дверь будет неудобна певцу! Как в этой мизансцене со светом работать?!» Невероятно был требователен к окружающим, Евгений, потому что прежде всего был требователен к себе. Я тогда жил у него в Париже, он на моих глазах работал над Кончаком, боже, как это было поразительно! Во всем мето́де Станиславского следовал, боготворил его, а тот учил: коли не знаешь, как играть роль, пойди к товарищу и пожалуйся... Начнется беседа, потом непременно случится спор, а в споре-то и родится истина. Вот отец и выбрал меня в качестве «товарища-спорщика». Начинали мы обычную нашу прогулку от Трокадеро, там поблизости его квартира была, спускались вниз, и как он говорил, Женя, как р и с о в а л словом! Он великоле́пно расчленил образ на три составные части: каким Кончак был на самом деле, каким он видится зрителям и каким его надобно сделать ему, Шаляпину. Знаешь, он грим Кончака положил в день спектакля, без репетиции, это же такой риск! Почему? А потому, что был убежден в своем герое, видел его явственно... Сам себе брови подбрил, сам подобрал узенькие брючки и длинную серую рубашку, ничего показного, все и з н у т р и. Он и на сцене-то появился неожиданно, словно вот-вот спрыгнул с седла, бросил поводья слугам, измаявшись после долгой и сладостной охоты... Прошел через всю сцену молча, а потом начал мыться, фыркал, обливал себя водою, наслаждался так, что все в зале ощущали синие, в высверках солнца студеные брызги... И обратился-то он к Игорю не торжественно, по-оперному, а как драматический актер, продолжая умываться: «Ты что, князь, призадумался?» Ах, какой тогда был успех, Евгений, какой успех... Но я тем не менее рискнул сказать ему после премьеры: «С театральной точки зрения ты бедно одет». Отец не рассердился, промолчал, а потом купил на Всемирной выставке красивый бухарский халат. Его-то и надевал после умывания... Театр – это чудо, Женя... Надо, чтобы люди воочию видели, как Кончак из охотника превращается в вождя племени, в могущественного хана... Он, отец, ведь ни в библиотеках не просиживал, ни к ученым за консультациями не ходил, он мне тогда оставил завет на всю жизнь: «Искусство – это воображение».

– Избрал тебя в собеседники, оттого что ты был молодым голливудским актером?

– Да нет! Я был его доверенным лицом, неким Горацио! Русский и еще интересуется историей, сын, наконец, со мною можно было говорить, как с самим собою... Да и вкусы одинаковы... Только раз я испытал некоторую дискомфортность, когда сказал, что цирк – развлечение не моего вкуса. Отец даже остановился от изумления... Долго молчал, а потом грустно промолвил: «В твоем возрасте я был потрясен цирком... Вот что значит воспитание». Отец рос среди подонков общества, а я – благодаря его таланту – в цветнике... Впрочем, Дягилев как-то поправил меня: «Не в цветнике, а в самом утонченном розарии». Кстати, ты знаешь, что Серж Лифарь намерен пустить к продаже пушкинские письма из дягилевской коллекции?

– Да неужели?!

– Так говорят в Риме. Я не думаю, что он может пойти на это, но ты бы все же проверил.

В дверь каминной осторожно постучали; Ростопчин недоуменно глянул на часы – полночь; странно, подумал он, что могло случиться?

– Пожалуйста,– сказал он и повторил громче (каминная была огромной: поленья, охваченные пламенем, сухо трещали, могли не услышать),– кто там?!

Вошел дворецкий, неслышно приблизился к столу, шепнул:

– Уже десятый раз телефонирует господин Золле из Бремена. Умоляет соединить с вами. Я решил, что обязан доложить вам об этом.

Ростопчин извинился перед Федором Федоровичем, пошел в кабинет: телефона Золле не помнил, виделись всего два раза, познакомил их Степанов, беседы были чисто светскими; долго искал его визитную кароточку, нашел по счастью; набрал номер, ответил густой красивый голос; представился; сначала на другом конце провода, где-то на берегу Северного моря, за тысячу с лишним километров отсюда молчали, а потом Ростопчин услышал тяжелое, больное дыхание.

– Что с вами, господин Золле? Это вы?!

– Да. Я... Простите... Вы не могли бы прилететь ко мне?

– Это невозможно, господин Золле. У меня расписана наперед вся эта неделя... Приезжайте ко мне, милости прошу...

Золле долго молчал, потом ответил еле слышно:

– Мне не на что...

– Я оплачу ваш билет. А что случилось, объясните толком...

Золле говорить не мог; попрощался и положил трубку.

5

Степанова разбудил Миша, которого друзья звали Пи Ар Ю Си, по английскому названию букв, образующих его фамилию, то есть Прус. Один из самых интересных переводчиков, журналист и медик, он, как всегда, был переполнен информацией (если же говорить о Мишиной основной профессии, то она довольно редкостная, и определить ее надо коротко: друг).

– Ты спишь? – требовательно спросил Миша (он обычно ставил вопросы, как напористый следователь прокуратуры: голос металлический, только смеется грустно).– А напрасно! Вчера я брал интервью у одного американца, он торговец, в общем-то, мелюзга, тянет миллионов на двадцать, большего не стоит, так вот он знает про твою книгу о нацистах, грабивших музеи Европы...

– Врет,– ответил Степанов, зевая.

– Сначала извинись, потом я продолжу...

– Врет,– повторил Степанов.– Эта книга на английский не переведена.

– Я прошу извиниться за то, что тягуче зеваешь, разговаривая со мною.

– Господи, Пи Ар Ю Си, ты что?!

– Ну, хорошо, ты же знаешь, я тебе всегда все прощаю! Так вот американца зовут Иосиф Львович, на самом деле он поляк, Юзеф Леонович, говорит по-русски, как мы с тобою, очень хочет повидаться.

– А на кой черт он мне нужен?

– Нужен. Но это не телефонный разговор.

– Собираешься взорвать мост? Отравить водопровод?

– Что?!

– Если нет, тогда говори все, что хочешь. Согласно конституции, мы караем лишь терроризм, расизм и призывы к войне, все остальное вполне законно, то есть подлежит обсуждению по телефону.

– Ты сумасшедший,– рассмеялся Миша.– Ну, хорошо, этот самый Иосиф дал мне понять, что он готов войти в твое предприятие...

– То есть?

– Мне показалось, он намерен предложить тебе свои услуги в поиске и попытке возвращения того, что ищут твои друзья на Западе.

– Откуда такая трепетная любовь к России?

– Дело в том, что мальчишкой он бежал от Гитлера из Польши. Отца занесло в Штаты, а его к нам. Работал в Караганде на шахте... На фронт не взяли, зрение плохое. Ну, а потом вернулся во Францию, оттуда перекочевал к отцу в Панаму и принял американское подданство. Говорит, что благодарен русским за то, что спасли жизнь ему... Хочет отблагодарить. Только не знает, как это

сделать... А когда прочитал тебя, сразу понял, что нужно предпринять. Главное, чтоб никакой политики; он так и сказал: «Я очень трусливый, боюсь политики, как огня».

– Врет,– повторил Степанов и поднялся с низкого дивана.– Химичит.

– Ты думаешь? – голос Пи Ар Ю Си сделался звенящим.– Может, у тебя есть основания говорить так?

– Оснований нет,– ответил Степанов.– Какие могут быть основания, если я его не видел?

– Дать ему твой телефон? Или послать к черту?

Степанов пожал плечами.

– Пусть позвонит...

– Теперь последнее. Как ты думаешь, стоит переводить Апдайка? Или лучше написать в Рим, Гору Видалу, чтобы он прислал мне свой новый роман? Погоди одну минуту, я закрою дверь, страшно кричит Темка, у него животик болит.

Степанов воочию видел, как Миша – по-юношески порывистый в свои пятьдесят четыре года – вскочил с табуретки (он обычно вел телефонные разговоры из кухни, сделанной удивительно уютно и красиво, чисто американский стиль, тамошние архитекторы научились делать отличный дизайн для кухонь, как-никак душа дома), закрыл дверь в комнату, где его молодая жена воевала с годовалым Артемом, вернулся на место, закурил и резко прижал трубку к уху.

(Так все и было, кстати говоря.)

– И еще: у тебя нет знакомых, которые продают морозилку, только не финскую, а нашу, за двести восемьдесят?

– Нет, Мишенька.

– Жаль.

– А вот у тебя нет хорошего дерматолога?

– Записывай,– как всегда, Мишина реакция была стремительной,– скажи, что от меня, представься. Что-нибудь еще?

– Ты в Лондоне был?

– Был ли я в Лондоне?! Я жил в этом прекрасном городе полгода, когда возил туда выставку наших фотографий! Незабываемо! Записывай телефон, я даю тебе великолепных людей...

– Кто они?

– Мои друзья, этого достаточно?

«Воистину, «бюрократия дружбы»– самая могущественная в этом мире! – подумал Степанов.– Как обидно, что термин «рекомендательное письмо» ушел из нашего обихода; ведь рекомендуют только того, в кого верят; на визитной карточке может быть множество титулов, но разве они определяют истинную ценность

человека?! Какое все-таки счастье, что дружество н е п р е р ы в а е м о, уходит звено, но связующая цепь остается, в этом главная человеческая надежда...»

Миша продиктовал телефоны, объяснил, у кого можно остановиться, если кончатся деньги на отель, кто в силах финансировать затраты на транспорт, притом что ответишь тем же в Москве, кто поможет посмотреть самые интересные спектакли и кто, в случае нужды, проконсультирует (причем бесплатно) сердце и почки; поинтересовался, нет ли у Степанова знакомых в Архангельске, туда летит его приятельница на симпозиум, записал адрес охотника и краеведа Антипкина, спросил, не болит ли у Мити затылок в связи с дикими атмосферными перепадами, и, сказав, что должен срочно вести на прогулку своего пса, положил трубку, успев при этом пошутить:

– Не можешь без Пи Ар Ю Сэя, поскольку я тебя шустрее.

– Вообще-то я Джозеф. Папа был Леоном, на старости лет стал Левисом, так что называйте меня Иосиф Львович. Очень просто и почти по-русски. Иосиф Львович Розен, Рознятовски – попольски, но американцы с трудом произносят наши славянские имена... Розен – так им проще,– представился маленький пепельнолицый человек в дымчатых очках, с очень тонкими руками и совершенно крошечными ножками, обутыми в остроносые туфли крокодиловой кожи.– Давайте вместе пообедаем? Я бы с радостью пригласил вас в «Сакуру»...

– Вы меня в Панаме пригласите,– ответил Степанов.– Здесь я хозяин. Так что кормить я буду, и не в «Сакуре», а в «Национале», там отменная русская кухня, едем...

– Да, но у меня назначена встреча в «Станкоэкспорте» с моим русским директором! Точнее говоря, содиректором, ведь наша компания смешанная...

– О чем разговор, приглашайте содиректора,– Степанов кивнул на телефон, стоявший на стойке у администратора отеля, в которой жил Розен.

– Но ведь он служебный,– так же вкрадчиво проговорил Розен,– неудобно...

– Вы чего такой осторожный? – улыбнулся Степанов, обернулся к администратору, представился (вообще-то не любил, нескромно это, но еще обидней, если обхамят при американце), спросил разрешения позвонить; администратор – видимо, из отставников – разрешил, осведомившись при этом, над чем сейчас работает Степанов, есть ли какие трудности, что нового следует ждать в журналах (говорил рублено, командно, будучи, вероятно,

уверенным в том, что Розен – тоже русский, говорит без акцента, только голову то и дело втягивает, совсем как черепаха, и лицо то каменеет, то расходится в улыбке).

Уже в машине Розен сказал, что его содиректора зовут Паша Алексеев, великолепный инженер, очень скромный человек, прекрасно говорит по-испански и по-английски, совсем молод, а жена – сплошное очарование, нет слов.

«Сплошное очарование»,– отметил Степанов,– первое нерусское, что в нем появилось; плохое подражание Бабелю, а у того русский язык был т о ч е н ы м, поразительным, пожалуй».

Паша понравился Степанову сразу же, потому что он и представился легко – зовите меня Пашей, я молодой, еще набудусь Павлом Ивановичем,– и улыбка у него была застенчивая, и слушал доброжелательно, иные молодые приписали себя к критическим ниспровергателям, полны снисходительного юмора и скептической грусти: смешно это, поскольку возрастные границы мира сдвинулись, и если раньше про двадцатишестилетнюю красавицу Пушкин писал, что, мол, стара уже, то сейчас пятидесятилетние женщины напропалую крутят романы, а шестьдесят лет для мужчины считается – часто по праву – временем расцвета.

– Что будем есть? – спросил Степанов, когда они устроились на втором этаже «Националя»; вид на Манеж сказочен, день весенний, капель, красотища, в такие дни не страшно ощущать возраст, и, хоть нет уже радостного предчувствия того, что все еще впереди, стоит только повернуть в переулок, как сразу встретишь самую прекрасную женщину, о которой мечтал всю жизнь, или махнешь на Мещеру, к безногому егерю Анатолию Ивановичу, как же давно это было, а в общем-то, совсем недавно, сколько всего переменилось с тех пор, бог ты мой!

– Я бы съел суп,– тихо сказал Розен; он вообще говорил очень тихо, и Степанову приходилось все время напрягаться, чтобы понимать его, порою читал, как глухой, по его губам; контузило-то меня, вдруг подумал Степанов, от бомбы, которую грохнули в Лаосе нынешние сограждане Розена, очень жестоко бомбили мирных жителей, вот уж воистину терроризм в чистом виде.– И хорошо бы котлету.

– У вас в памяти отложилось шахтерское меню,– заметил Степанов.– Здесь выбор разнообразнее. Рекомендую рыбную солянку, это здорово. А заключим пиршество рыбой по-монастырски...

– По-московски,– поправил официант.– Вы употребляете старорежимное выражение, Дмитрий Юрьевич...

– Пятнадцать лет назад режим был прежним; тогда ведь переименовали,– в тон ему ответил Степанов и посмотрел на Розена и Пашу: – Хотите внести коррективы?

– Если можно, я выпил бы бутылку пива,– сказал Розен.

– Чешского нет,– ответил официант,– только «Жигулевское».

– Так оно мне нравится! – Розен даже вскинул маленькие свои ручки.– Особенно если пенное...

– Образцово-показательный американец,– заметил Степанов,– провести бы вас в государственные секретари, а? Ей-богу, сразу все спорные вопросы решили бы...

– Не тяните меня в политику,– попросил Розен,– я торговец, чем и горжусь, а продаю я не что-нибудь, а ваши прекрасные станки, и очень неплохо это делаю, правда, Паша?

– Да, бизнес идет нормально – ответил Паша, и стало ясно, что молодой содиректор к числу краснобаев не относится.– Вы лучше расскажите Дмитрию Юрьевичу про свою идею,– сказал он,– тогда дело пойдет легче.

– У меня нет никакой идеи! Просто я обмолвился, что было бы неплохо, напиши кто-нибудь в Советском Союзе про то, как работает наша фирма, про наши успехи и трудности...

– Это не моя тема,– ответил Степанов.– Я пару раз влетал с вашим братом: одного хвалил, а он, как выяснилось, был жуликом и банкротом; второго ругал, а он оказался финансовым гением, раскрутил великолепный бизнес, мне редактор грозил карой. Лучше поговорите с кем-нибудь из наших журналистов, специализирующихся на внешней торговле.

– Нужно имя,– еще тише сказал Розен.– Понимаете, для бизнеса нужно имя. Это не шутка. Это практика жизни. Тогда мне помогут и во Внешторгбанке, и во всех объединениях, правда, Паша?

– Вы не можете жаловаться на то, что вас обижают.

– Да, но мы намерены расширять дело! Без поддержки Москвы я не потяну! Если нам дают рассрочку, вы же прекрасно это знаете, Паша,– он обернулся к содиректору,– мы идем семимильными шагами! Но если потребуют немедленных платежей, я пущу семью по миру...

Официант принес еду.

Розен попросил у Степанова сигарету, вкрадчиво пояснив:

– Это я так борюсь с курением. Даже карманы пиджака зашил, чтобы не носить сигарет. Но перебороть себя не могу, несмотря на всю постыдность положения, в которое я себя ставлю. В годы моей молодости говорили «стреляю». Это выражение осталось?

– Осталось. Стреляйте на здоровье,– сказал Степанов.– Врачи врут: не сигарета страшна, а стресс...

– У меня была операция на сердце.

– У всех были операции на сердце. У кого с ножом, у кого без ножа...

– Без ножа все-таки лучше.

– Кто знает,– вздохнул Степанов.

Розен съел две ложки супа, отставил тарелку; отпил пива, отодвинул фужер; сложив руки, как ксендз во время проповеди, он хрустнул пальцами и просяще взглянул на Пашу. Тот сосредоточенно ел солянку; лобастый, подумал Степанов, хорошо смотрит парень, все сечет, и в уголках рта улыбка появляется именно тогда, когда нужно; есть люди-локаторы, а есть люди-стены, совершенно непрошибаемы; этот локатор, глаза выразительны, в них можно прочитать куда больше, чем в словах.

Степанов взглянул на молчащего Розена – далеко не Цицерон; спросил:

– Вы как-то увязываете воедино свое желание войти в дело, которым занимаются мои друзья на Западе, с тем, чтобы я помог вам здесь в вашем бизнесе?

Лицо Розена не дрогнуло, только маленькие ладошки стремительно вспорхнули над головой.

– Ах, при чем здесь мое чувство благодарности и бизнес? Я говорил Паше, что хочу войти в дело возвращения в Россию похищенного гитлеровцами, сразу же, как только прочитал об этом. Никакой связи с бизнесом, просто надо отдавать долги!

Паша усмехнулся:

– Есть связь, Иосиф Львович, не гневите бога, есть.

– Спасибо,– сказал Степанов.– Вот это серьезный разговор. Если не возражаете, поедем ко мне после обеда, позвоним в Цюрих, Ростопчину, он финансовая пружина всего предприятия, без него вряд ли что-либо получилось бы, договоритесь о встрече... Можете полететь отсюда домой через Цюрих?

– Конечно,– ответил Розен.– Послезавтра – пятница. Банки еще открыты. Мне будет очень интересно познакомиться с мистером Ростопчиным. Не скажу, что у меня есть свободные деньги, но я готов потратиться – отдать свои кровные,– потому что испытываю душевную потребность быть вместе с Ростопчиным и его друзьями...

Цюрих дали довольно скоро, потому что Степанов позвонил старшей на международную станцию и объяснил, в чем дело; Ростопчин был в офисе; голос грустный, надломленный какой-то; что стряслось, спросил Степанов, у тебя неприятности?

– У нас неприятности,– уточнил Ростопчин.– У тебя, у меня, у нас. Ты должен прилететь ко мне завтра же!

– Что случилось?!

– Мне безумно жаль господина Золле. Он в ужасном состоянии, но не говорит толком, что стряслось. Кажется, денежные за-

труднения. Я звал его сюда, он не хочет, я предложил ему прилететь в Лондон восьмого к нам с тобою, он согласился... Но самое ужасное то, что Лифарь послезавтра решает судьбу писем Пушкина. Я не уверен, что он решит правильно. Нужна твоя помощь, поэтому, пожалуйста, бери первый же самолет...

– Погоди, Женя. У меня нет визы. Я не получу ее сразу... Это нереально... Тем более я все устроил с Лондоном, перелопачивать поздно...

– Перелопачивать? – Ростопчин вздохнул.– Хороший русский – мое успокоение, как маслом по сердцу, этого слова в годы моего детства я не слышал.

– Нравится?

– Очень.

– Я рад. Придется тебе съездить к Лифарю одному, Женя. Или с господином Розеном...

– Кто это?

– Тоже вроде тебя буржуй. Только из шахтеров, а не аристократ. Я передам ему трубку, потом мы с тобою договорим, ладно?

– Ах, как все это ужасно! Визы, границы... Как его зовут, этого господина?

– Иосиф Львович.

Степанов протянул Розену трубку, тот откашлялся, словно ученик у доски, и сказал:

– Здравствуйте, ваше сиятельство, это Иосиф Львович... Мне очень приятно говорить с вами! Я заочно познакомился с вашей деятельностью, и она мне кажется благородной... Вот...

«Долго, видно, готовил фразу,– подумал Степанов,– все то время, пока мы ехали, не иначе. Такого рода торговый человек не помешает нам, уж если что решил, не отступит».

– Я не скажу, что у меня куры не клюют баки,– продолжал между тем Розен,– но кое-что я готов внести для первого раза. Мистер Степанов рассказал мне об аукционе в Лондоне... Я не смогу там быть, но я полечу в Нью-Йорк через Цюрих, сразу же позвоню вам...

Паша посмотрел на Степанова; лицо его было, как у мальчика, нескрываемо радостно; он поднял большой палец, накрыл его ладонью, а после «присыпал солью», именно так в детстве мы выражали высшую форму радости, вспомнил Степанов. «Паше, наверное, лет тридцать, он ближе к дочке моей, к Бэмби, чем ко мне, странная проблема – водораздел памяти, чертовски интересно; хотя говорят, что в старости очень хорошо вспоминается детство, все возвращается на круги своя; жаль только, что круг последний...»

Запись телефонного разговора Степанова и Розена с Ростопчиным была переслана представительством в Цюрихе («Юридическая контора Мэнсона и Доу») в Гамбург, Фолу, той же ночью; однако его там уже не было, вылетел в Лондон; утром отправили вдогонку шифрограммой с пометкой «спешно».

В десять часов Фол прочитал шифрограмму, попросил отправить запрос на Розена, «находящегося в настоящий момент в Москве, но базирующегося на Панаме, какой-то бизнес, подробности неизвестны», и отправился на Нью-Бонд-стрит, 34, в фирму «Сотби», куда уже была привезена работа Врубеля.

IV

«Милостивый государь Николай Сергеевич!

Нехорошо, конечно, злорадствовать, но можно ли считать злорадством справедливость, которая не всегда благостна, но зато разит грешника?

Вы, наверное, слыхали уже, что Надежда Забела-Врубель, забрюхатев, перестала петь, отошла от театра, и заработок в семье дэкадэнтского Юпитера сильно поубавился, пришлось жить только от продажи картин. Увы, не перевелись еще аристократы (не могу взять в толк их поступки, оригинальничание, что ли?), которые покупают отвергнутого императорскими музеями Врубеля в свои коллекции. Ладно б торговцы, в них не наша гниль, юркость в них, заимствования из Запада, а то ведь прекрасных родов дворяне дают ему деньги, и он все малюет, малюет...

Сказывают, работал он денно и нощно, по восемнадцать часов, даже при электричестве, без естественного света (оттого такая мазня), кое-как сводил концы с концами, много скандалов было с его «Демоном», не услыхал господь наши мольбы, чтоб не прикасался к Лермонтову, да тут родился ребенок, нареченный, конечно же, Саввой, хм-хм, Савва Врубель, чисто по-русски, чтоб ни у кого сомнения не было, что, мол, лях или литовец какой. Кстати, его любимая игра называется «Оргия», да, да, именно так, верные люди сказывали; еще на хуторе у старика Ге они устраивали Оргию Роз, но ведь от Роз до чего иного один шажочек, слово-то Оргия определенный в себе несет смысл...

Но вот прошло не так уже много времени, и Савва Врубель младенцем опочил, простудившись в дороге.

Конечно, нельзя по-человечески не сострадать отцовскому и материнскому горю. Глядишь, эта жертва, как возмездие, очистит и отторгнет его ото всего того, что приводит нашу православную публику в негодование, столь же справедливое, сколь откровенно, без обиняков, выражаемое.

Мой удар по его «Демону» уже доставил дэкадэнту ряд неприятных минут, он ведь не один уже был, а с семьею, заботы житейские стали понятны ему, не все витать в эмпиреях да жить за счет Мамонтовых и Морозовых, пора и своим трудом, своей головушкой думать.

Посмотрим, куда его понесет теперь, удар был силен, как очистительная гроза с молнией. Кто знает, может, вернется в лоно? Я первым тогда протяну ему руку, первым напечатаю статью, ибо не злоба движет мною или зависть, но лишь скорбь о попранных традициях, о насилии над светлыми идеалами православия...

Поживем – увидим.

Милый Николай Сергеевич, был бы бесконечно Вам признателен, посодействуй Вы отправке моего гонорара за четвертый и пятый номера, да и аванс не дурнехонько б получить, мы с Танечкой решили поехать на воды в Виши, а там курс весьма дорог.

Сердечно Вас обнимаю, оставаясь
Вашим покорным слугою
Гавриилом Ивановым-Даргелем».

6

– Вообще-то любовь наказуема,– сказал Фол мистеру Джавису, ведущему эксперту фирмы по вопросам европейской живописи.– Особенно родительская. Стоит детям понять всю безграничность отцовской или материнской любви, и они потеряны; появляется ощущуние собственной непогрешимости и вседозволенности, особенно если родители живут поврозь. Моему старшему брату об этом сказал Хэмингуэй, они вместе рыбачили на Кубе, я соглсен с такого рода концепцией.

Фол отошел в угол темного зала; «Сотби», как и всякая престижная фирма, располагалась в старом здании восемнадцатого века; второй этаж, где состоятся торги, был заполнен русской живописью; Фолу показалось, что в этом сине-красно-деревянном зале русским было холодно. Он еще раз взглянул на врубелевский портрет: мальчик сидит в колясочке, рубашонка фиолетовая, гла-

зенки умные.

– У вас нет детей? – поинтересовался вдруг Джавис.

– Нет,– ответил Фол.– Или есть такие, о существовании которых мне ничего не известно.

(У него было трое детей от Дороти; мальчики и девочка; Дэнис, Эл и Кэтрин; девятнадцать, десять и семь лет; все кончилось – и с их матерью, и с ними,– когда он понял, к а к брезгливо она не любила его: протестант; сухарь; ах боже, стоит ли вспоминать об этом; один, совсем один, да здравствует свобода, надмирное одиночество.

Когда они разошлись, Фол начал тяжело пить. Прижало сердце; подумал: да о чем я? У них – и у Дороти с ее торговцем, и у старшего сына Дэниса с его таиландкой – своя жизнь; вырастет Эл, заведет себе француженку или русскую; что ж, это его право; потом Кэтрин не иначе как тоже порадует его кем-нибудь; я нужен им как гарант их благопристойной жизни: возможность делать субботние траты; путешествия, такси, горничная; пусть это счастье продолжается как можно дольше; поэтому-то я обязан выжить, а не сломаться на семейных сценах, будь они прокляты, не стать алкоголиком или наркоманом; массаж каждое утро; теннис, пробежки.)

– Этот младенец – сын Врубеля? – спросил Фол.

– Мы не располагаем литературой о художниках. Затрудняюсь дать вам точную справку.

– У вас нет литературы только о русских?

– Нет, практически обо всех. Кроме, конечно, Микеланджело или Ван-Гога.

– А как можно работать? – Фол удивился.– Вы же главный эксперт по живописи!

– Совершенно верно,– подтвердил Джавис.– Но вы не совсем верно трактуете понятие «эксперт». В нашей фирме задача эксперта заключается в том, чтобы выяснить истинную стоимость вещи, подготовить буклет для предстоящего аукциона, составить каталог, оповестить людей, занятых нашим бизнесом, привлечь искусствоведов и проследить за тем, чтобы все ждали событие и готовились к нему... Видимо, вам это не интересно?

– Очень интересно! Я никогда еще не писал о торгах.

– Вы штатный сотрудник журнала или свободный журналист?

– Да, я работаю по договору... На Америку, Австралию... Очень хорошо меня покупают в Новой Зеландии,– заметил Фол. Он не лгал: статьи журналиста, чью визитную карточку он использовал для беседы в «Сотби», действительно хорошо шли.– А кто будет вести торги?

– Я и мой коллега, мистер Адамсон.

– Ах, вот так?! Значит, вы будете вести торги? Очень интересно... Вы уже имеете информацию о том, кто приедет сюда, на Нью-Бонд-стрит?

– Как вы понимаете, получена исчерпывающая информация, мы не вправе полагаться на приблизительные сведения.

– Так кого же вы ждете на аукционе? Я имею в виду и м е н а, которые сами по себе вызовут сенсацию...

– Видимо, будут сражаться американцы с французами. Две весьма уважаемые семьи из Лондона поручили вести торг довольно серьезным брокерам. Я жду баталий... Имен мы не называем; как правило, в зале работает телевидение, так что в выпуске последних известий – я имею в виду дневной выпуск – страна будет знать, кто был у нас на торгах...

– Будет много американцев?

– Фонд Салливен. Институт театра, финансируемый Меллонами, и темная лошадка с западного побережья, мистер Кеббот, он состоялся на новых видах упаковок для прохладительных напитков в жару, интересная идея, взяли за три года более семи миллионов...

– Более девяти,– поправил Фол.– Я знаком с Кебботом. Наш журнал брал у него интервью...

– Ах, вот как,– заметил Джавис, остро глянув на собеседника.– Как вы думаете, он будет биться за русскую живопись?

– Смотря кто его консультирует. Если Кебботу докажут, что это серьезное вложение капитала, что, купив сейчас за двадцать тысяч, через три года он получит за эту же картину сорок, будет биться. Он из породы костоломов.

– Это крайне интересно, благодарю вас. Еще мы ждем мистера Софокулоса. Он работает на эмиров, там, на Востоке, оседают интереснейшие вещи, новый Лувр.

– Скажите, а чего можно ждать, если на аукционе выяснится, что к продаже выставлена ворованная картина?

– Этого не бывает в «Сотби». Я готовлю аукцион почти полгода именно для того, чтобы такого рода неприятностей не произошло. Как вы понимаете, мы работаем в тесном контакте с полицией и страховыми компаниями, нет, нет, такое совершенно исключено.

– Последний вопрос, мистер Джавис. Отчего фотоальбомы балетов Дягилева и Лифаря так баснословно дороги, выше, чем рисунки Пикассо и Дали?

– Вполне объяснимо! За эти альбомы уплатят не менее ста пятидесяти тысяч фунтов, хотя отправную цену для торгов мы обозначили всего в тридцать. Дело в том, что на фотографиях костю-

мы и декорации лучших балетных постановок Дягилева. Не менее двадцати единиц. Если балеты решат восстановить, пришлось бы заказывать новые декорации и костюмы большим художникам, стоило бы, по крайней мере, пятьсот тысяч, а то и больше, несмотря на то, что сейчас в театральной живописи нет особенно больших имен. После Коровина, Бенуа, Кокто, Головина и Пикассо мир обеднел.

– В какую сумму выльются торги?

– Как вы понимаете, вопрос преждевременен. Впрочем, не для публикации: я полагаю, мы доведем страсти зала до семисот тысяч фунтов...

Фол снова посмотрел на лицо мальчика в коляске.

– Интересно, что из него стало? Все мы поначалу очаровательные младенцы, утеха для родителей, а потом... Страшно подумать!..

– Как верно вы заметили! Простите, я должен идти, приехала госпожа Прокофьева, наверно, по поводу партитур великого русского композитора. Видимо, намерена биться за них. Буду признателен, если пришлете мне вырезку из вашего журнала. До свидания, благодарю вас,– и Джавис отплыл к невысокой женщине, окруженной людьми, говорившими по-русски.

...Отель «Кларидж» был рядом, пять минут ходу; Фол снял номер по соседству с тем, что забронирован для Ростопчина. План проработан: Ростопчину не позволят спуститься в холл к Степанову, его задержат в номере – позвонит Зенон, знакомы с тех пор, как вместе сражались в маки́ под Лионом; о том, что Ростопчин приехал в Лондон, Зенону скажет Харви, они дружат; предлог для звонка хорошо мотивирован. Ростопчин великолепно знает все, связанное с бизнесом по текстилю на регион Среднего Востока, как не ответить на вопросы старого знако́мца! Сразу же после того, как он кончит говорить с Зеноном, позвонит сам Харви и начнет рассказывать о коллекции русской живописи, которую обнаружил в Канаде; Ростопчин не может этим не заинтересоваться; Степанов, судя по его психологическому портрету, не станет ждать в холле, а поднимется в номер к другу, что и требуется! Он обязательно поднимется в номер, Фол тщательно изучил документы, собранные на русского, набросал штриховой характер, проверил на ЭВМ – в основном совпадало; следовательно, накануне торгов он, Фол, прослушав разговор друзей, будет в курсе всего того, что они замышляют, операция с Золле – следующий этап того же вечера; развязка наступит девятого мая в «Сотби»; молодец, Фол, все-таки голова у тебя работает отлично.

...Полковник Бриннингз, возглавлявший секретный отдел специальных исследований британской страховой корпорации «Долл», связанной с американским концерном ДТ, принял Фола лишь на следующий день после того, как тот попросил о встрече; был сух, смотрел с к в о з ь; говорил цедяще, лениво:

– Мне трудно понять ваш замысел... Меморандум, который прислали ваши коллеги, страдает определенной недосказанностью, общий абрис, ничего конкретного...

– Я готов ответить на ваши вопросы, полковник.

– Благодарю вас, это очень мило. Итак, первое: является ли мистер Степанов секретным агентом своего правительства или же он просто подвержен болезни коллекционирования?

– Я не могу ответить однозначно.

– Если человек намерен приехать в Лондон, чтобы вместе со своими друзьями,– полковник посмотрел на бумагу, придавленную яйцеобразным минералом из Парагвая, и, чуть коверкая, раздельно произнес имена,– мистером Золле и князем Ростопчиным присутствовать на аукционе «Сотби», я не вижу в этом ничего предосудительного. Кабинет ее величества всегда следовал и будет следовать духу и букве билля о правах человека. Я не отделяю себя от кабинета ее величества, мистер Фол.

– Я так же полон уважения к кабинету ее величества, полковник, но мне бывает обидно, когда доверчивостью и благородством джентльменов пользуются недостойные люди.

– Своим главным пороком, мистер Фол, я как раз считаю излишнюю недоверчивость. Что делать, сорок три года в секретной службе. Итак, я позволю себе повторить вопрос: ваш исчерпывающий ответ поможет определить мою позицию, да и моих коллег тоже.

– Вы ставите меня в сложное положение, полковник. У нас нет полной уверенности, что Степанов связан с площадью Дзержинского. Хотя я глубоко убежден, что все, кому Кремль разрешает выезд за железный занавес, так или иначе о т с л у ж и в а ю т своим хозяевам...

– Мне было бы крайне интересно узнать, каким образом о т с л у ж и в а е т Плисецкая? Или мистер Мравинский? – полковник Бриннингз холодно усмехнулся и впервые за весь разговор уперся своими совершенно недвижными ледяными глазами в зрачки собеседника.– Если человек нашей профессии ощущает в себе страх перед каждым, кто живет в другом обществе, следует подавать в отставку, мистер Фол. Страна Свободы, обнесенная колючей проволокой предубеждений, рано или поздно превратится в большой концентрационный лагерь.

– Сердечно признателен за ваш совет по поводу отставки, полковник. Я не примину обсудить это предложение с президентом моей корпорации. Тем не менее мне нужна помощь, и я намерен получить ее – в тех пределах, естественно, какие вы посчитаете разумными.

– Вы получите помощь, если убедите меня в том, что она необходима – с точки зрения моей профессии...

– С точки зрения м о е й профессии,– Фол усмехнулся,– она совершенно необходима. Я постараюсь сформулировать смысл нашего интереса более точно: мне и моим коллегам не очень-то нравится трогательное единение красного литератора с аристократом, живущим в Швейцарии, и с ученым из Федеративной республики. Демонстрация этого «единения людей доброй воли», так, кажется, пишут московские газеты, произойдет не где-нибудь, а в Лондоне, и не просто в Лондоне, за столом второразрядного ресторана, а на Нью-Бонд-стрит, где будут шельмовать престиж «Сотби», а затем в театре на Пиккадилли, арендованном на одиннадцатое мая неким сэром Годфри, ведущим самые представительные шоу с журналистами, политиками и бизнесменами. Сэр Годфри уже разослал триста приглашений в газеты, журналы, на телевидение, в музеи, туристские фирмы, и людям, вложившим деньги в культурный бизнес.

– Где вы получили эти данные? – лениво поинтересовался Бриннингз.– У моих сотрудников? Кто именно посмел передать вам эту информацию?

Фол понял, что попал в западню: лгать старой мумии бесполезно; ас, все поймет сразу; говорить, что у него в Лондоне есть свои источники информации, тоже нельзя – британские амбиции, «непотопляемый авианосец», «бастион свободы» и так далее.

– Я не думал, что вы так крепко держите руку на пульсе,– Фол заставил себя улыбнуться.– Вы меня поначалу так запугали, что я решил, будто вы совершенно выпустили из-под контроля судьбу коллекции, застрахованной в вашем женевском филиале.

– Вы не ответили на мой вопрос, мистер Фол.

– В общем-то, я не обязан отвечать на все ваши вопросы, полковник. Вы можете обратиться в Нью-Йорк, и, если мой шеф согласится с вашими доводами, я стану отвечать на все то, что вас интересует. Я ведь тоже чту билль о правах, сэр...

– Мистер Фол, вы опять-таки не ответили на мой вопрос, слишком много эмоций... Вы находитесь в Лондоне, и я имею резон знать, кто осведомляет вас о тех событиях, которые происходят в столице Британского содружества наций...

– Все возвращается на круги своя, воистину,– вздохнул Фол.– Вы же понимаете, что я ни в коем случае не открою вам имен тех, кто помогает мне в моем деле, полковник. Задавая такого рода вопрос, вы попросту делаете невозможным наше сотрудничество... В этом, конкретно в этом мероприятии...

– Чье это мероприятие?

– Нашей фирмы.

– Но оно начато по вашей инициативе, не правда ли? Вы не очень-то похожи на тех, кто бездумно выполняет приказ. Как мне кажется, вы относитесь к веселому племени фантазеров, не так ли? Я убежден, мистер Фол, что именно вы предложили своему шефу и моему старому другу самолично провести это дело в Лондоне.

– Вы совершенно правы, полковник. К счастью, у нас не очень любят иерархию как принцип организации разведывательной системы страховой фирмы. Чем больше ступеней, тем больше возможностей исказить правду. Да и потом те,– Фол посмотрел на огромный стол полковника,– которые занимают ключевые позиции на вершине иерархии, редко считаются с рекомендациями рядовых работников. Вот и получается, что информацию п о д г о н я ю т под требования боссов во имя видимого сохранения единства взглядов...

– Я благодарю вас за то, что вы ознакомили меня с вашей концепцией, очень ново; в таком случае, полагаю, вы наберетесь терпения и выслушаете меня. Я очень плохо отношусь к тем в нашей службе, кто единственной целью разведки – в стане конкурентов ли, врагов, друзей – полагает сбор информации. Я за прогнозирование в разведке, мистер Фол. Тот, кто противится этому,– антиинтеллектуал. Ставка на одни лишь о п е р а ц и и недальновидна. К тому же культ секретности несет в себе угрозу для качества информации, являясь страшным препятствием в перемещении информации от одного эксперта к другому, ибо автор секрета дорожит им, как мать ребенком. Чрезмерная секретность службы его величества сыграла с нами злую шутку, когда мы недооценили Гитлера; отсутствие прогнозов и неуправляемый страх перед большевизмом не позволили нам сделать верную ставку, мистер Фол, и началась вторая мировая война.

– А мне отчего-то казалось, что вторая мировая война началась из-за того, что Москва заключила договор с Берлином.

– Видимо, у вас не было времени прочитать воспоминания сэра Уинстона Черчилля, мистер Фол. Он очень не любил большевизм как идейное течение, однако сэр Уинстон весьма уважительно относился к такому серьезному явлению, каким была, есть и будет Советская Россия. Если бы на Даунинг-стрит в тридцать девятом году жил сэр Уинстон, а не сэр Невилл, уверяю вас, пакта

Москвы с Берлином не было бы, был бы пакт Лондон – Москва...

– Что-то похожее я читал в коммунистической прессе, полковник...

– В коммунистической прессе работали Маркс, Ленин, Плеханов, Люксембург, Тольятти, Торез, Пик; впрочем, в свое время Бернард Шоу, Ромен Роллан, Теодор Драйзер и Уолтер Липпман также обвинялись в подверженности красным влияниям. Я бы не рекомендовал вам сбрасывать со счетов коммунизм, мистер Фол; по Гегелю, все действительное разумно в такой же мере, как все разумное действительно. Вам знакомо имя этого немецкого философа, не так ли?

...Вечером в клубе, где полковник Бриннингз обычно ужинал, он встретился с сэром Мозесом; своим правом приглашать сюда знакомых он не пользовался – если уж клуб, то лишь для своих; каждый знает каждого, абсолютное доверие друг другу – после девяти часов в кабинете, где работа заключается в том, чтобы не доверять, тут можно наконец расслабиться и отдохнуть по-настоящему.

Мозес Гринборо был кадровым сотрудником разведки; вышел в отставку двадцать лет назад, но в свои семьдесят два выглядел от силы на пятьдесят; по-прежнему играл в теннис (но с тренером уже, боялся перегружать себя чрезмерным передвижением по корту; мера, во всем должна быть мера), раз в неделю посещал одну из своих приятельниц, летом уезжал в Норвегию рыбачить, он там воевал в сороковом; остались еще друзья, однако же воспоминаний бежал, считая их горьким уделом старости; нельзя стареть, это поражение, с д а ч а, своего рода Дюнкерк.

Как правило, полковник никогда не говорил с Гринборо о профессии; раз ты вышел из п р е д п р и я т и я, раз принял решение отойти от дела, значит, сам себя обрек на определенного рода отчуждение; закон бывает писаный, но неписаный порою сильней.

Так же как и полковник, сэр Мозес был почитателем Черчилля – оба имели счастье работать в ту пору, когда тот возглавлял кабинет его величества; речь в Фултоне они расценили как грандиозный маневр политика, который уступил Соединенным Штатам право на конфронтацию с Кремлем, выиграв, таким образом, для Британии право арбитра, высшее право в политике; не его вина, что последователи не смогли воспользоваться тем, что он так гениально придумал; беда последователей как раз в том и заключается, что они последователи.

Так же как и полковник, сэр Мозес был сторонником европейской тенденции, р а с т в о р е н и е в Америке считал невозможным; твердость по отношению к Москве никогда не отождествлял с неразумным упорством; гибкость полагал серьезным ин-

струментом политики; прогнозировать мир, исходя из «точной даты крушения» Советов, называл детством; история научила его реализму; выступления в парламентах или статьи в журналах – одно дело, а практическая каждодневная работа во имя Британского содружества наций – совершенно иное.

Именно в этот вечер, изменив правилам, полковник легко поделился с сэром Мозесом кой-какими соображениями по поводу того, что м л а д ш и й б р а т начинает развивать излишнюю активность на Острове; очевидна т е н д е н ц и я; да, вполне возможно, что некий русский связан со спецслужбами, но это надо доказать; попробуем, в этом направлении наши друзья работают, причем весьма активно; однако же меня не устраивает главный посыл: сейчас, когда в мире все трещит, когда каждая сторона слышит только себя, совершенно неразумно, более того, рискованно мешать контактам на уровне университетов, живописи, литературы, музыки, журналистики; в конце концов это такие мосты, по которым потом снова пойдут политики; Ростопчин абсолютно нейтрален, истинный русский барин, вполне вжившийся в наш мир, очень, кстати, странно, не находите? Немец из Бремена являет собою образчик совершеннейшего архивного червя, он, кстати, помог нашим друзьям найти исключительные материалы об активности гитлеровской разведки в Шотландии, да, да, охотился за человеком, который, служа в штабе рейхсляйтера Розенберга, был при этом офицером Шелленберга и поэтому интересовал нас. К Золле обратились наши люди, и он сразу же передал свою документацию, открытый человек, доверчив и благороден... По-моему, если кто и должен быть заинтересован в нарушении такого рода контактов, так именно Красная площадь, не правда ли?

– Вопрос не однозначен,– ответил сэр Мозес.– В каком-то смысле этой п л о щ а д и такого рода контакты тоже выгодны.

– Вы совершенно верно заметили: в каком-то смысле. Но в каком? Здесь случай беспрецедентен. Аристократ, лютеранин и красный. По-моему, Ростопчин опирается на моральную поддержку мистера Шагала, так что круг разрастается. Если бы мистер Шагал был коммунистом, я бы забил тревогу. Однако сейчас – если только мистер Степанов не проявит себя соответствующим образом во время визита – я склоняюсь к тому, чтобы не мешать ему. Как вы отнесетесь к такого рода препозиции?

– Это тот самый случай, когда я не готов к ответу, полковник,– произнес сэр Мозес после долгого молчания.– Может быть, в этом и есть симптом старения?

– Старость – это память. А вы продолжаете помнить имя

сэра Годфри, не так ли?

– О да, это блистательный журналист, мастер всякого рода шоу, я порою играю с ним партию в Уимблдоне, очень хорош в обороне... Он вас интересует?

V

«Милые Папочка и Мамочка!

...Вдохновение – порыв страстных неопределенных желаний, есть душевное состояние, доступное всем, особенно в молодые годы; у артиста оно, правда, несколько специализируется, направляясь на желание что-нибудь воссоздать. Но все-таки остается только формой, выполнять приходится не дрожащими руками истерика, а спокойными – ремесленника. (Пар двигает локомотив, но не будь строго рассчитанного, сложенного механизма, недоставай даже в нем какого-нибудь дрянного винтика, и пар разлетелся, растаял в воздухе, и нет огромной силы, как не бывало.)

...Репин превозносит мой акварельный прием. Рисую я задумавшуюся Асю... На столе серебряный двусвечник рококо, гипсовая статуэтка Геркулеса, букет цветов и только что сброшенная осенняя шляпа, отделанная синим бархатом; сзади белая стена в полутоне и спинка дивана с белым крашеным деревом и бледно-голубоватой атласной обивкой с цветами a la Lovis. Это этюд для тонких нюансов: серебро, гипс, известка, окраска и обивка мебели, платье (голубое) – нежная и тонкая гамма; затем тело теплым и глубоким аккордом переводит к пестроте цветов и все покрывается резкой мощью синего бархата шляпы...

...До свидания, Папочка и Мамочка...

Ваш сын Миша Врубель»[1].

7

Назавтра в девять пятнадцать сэр Бромсли – лично, а не через секретаря – позвонил полковнику Бриннингзу и попросил его приехать в резиденцию к одиннадцати пятнадцати; если вам придется подождать пять минут, вы, надеюсь, извините меня, принимаю коллегу из Бонна; как правило, самое главное немцы говорят только в конце беседы, полагая, что первые сорок пять минут они изучают собеседника, готовя к главному; таинственная нация.

[1] Из письма М.Врубеля.

Тем не менее сэр Бромсли принял полковника в точно назначенное время; обменявшись в дверях прощальным рукопожатием с боннским заместителем министра, он здесь же, не сходя с места, дружески приветствовал своего старого и доброго знакомца, пригласил его к маленькому столику, который секретарь, мисс Призм, уже успела убрать после первого визитера и накрыть к приходу Бриннингза (ветеранов с л у ж б ы сэр Бромсли выделял, оказывая им з а м е т н о е для всех почтение), сам налил ему чаю; только что прислали из Пекина, совершенно поразительный аромат; заметил, что немца он угощал кофе; «Этот жасминный экстракт здоровья я берегу для своих»; и лишь после этого в обычной своей манере – абсолютная прямолинейность в разговоре с асами – сказал:

– Нью-Йорк обижен, полковник. Я получил телеграмму от наших младших братьев, они несколько обескуражены вашей позицией...

– Я ждал этого, сэр. Вы в курсе того, о чем они просят?

– Да, но лишь в общих чертах.

– Я благодарен судьбе за то, что великий англичанин сэр Сомерсет Моэм дарил меня своей дружбой... Он был членом клуба, мы встречались только там, и однажды он пригласил меня провести два благословенных дня в его замке на Ривьере. Вы помните его роман о писателе – «Скелет в шкафу» – о его очаровательной ветреной жене, о том, как он ч у в с т в о в а л правду, не зная ее, и лишь поэтому писал такую правду, которая потрясает.

– Это когда жена литератора – после смерти их девочки – не может быть дома и уходит в гульбу, потом возвращается домой, а он той же ночью уже написал все то, что с нею произошло?

– Именно это я и имел в виду, сэр... Прежде чем ответить мистеру Фолу – так, как я ему ответил,– мне пришлось провести довольно кропотливое исследование... Я проанализировал наши досье, нашел кое-что о князе Ростопчине, он был в маки́, в тех группах, которые сотрудничали с нашими людьми, отзывы о нем самые высокие: мужествен, добр, неподкупен; никакой тяги к коммунизму, да и откуда ей взяться...

– Простите, полковник, но ру́сский граф Игнатьев, военный атташе императора в Париже, кончил свою жизнь генерал-лейтенантом Красной Армии...

– Полковник генерального штаба царской армии Борис Шапошников кончил свою жизнь в ранге маршала Красной Армии, сэр, ближайший сотрудник Сталина. Смыкание русской идеи с коммунизмом – далеко не изученная тема; мы не вправе руководствоваться в нашей государственной деятельности эмоциями не-

признанных русских гениев, которые они столь ядовито излагают в своих безответственных радиокомментариях, вещающих на Россию из Мюнхена.

– Это довод. Простите, что перебил вас...

– Я противник монологов,– улыбнулся Бриннингз; глаза из льдистых сделались густо-синими, морщины на лбу разошлись, и желтоватая, нездоровая бледность сменилась чуть заметным румянцем на скулах.– Диалог предполагает два мнения, он демократичен, а я, как старый консерватор, превыше всего ценю демократию, сэр. Позвольте продолжить?

– Пожалуйста, пожалуйста! Еще чаю?

– Да, благодарю. Он восхитителен. Итак, князь... Я внимательно посмотрел все то, что мы смогли собрать на него. Он с о с т о я л с я без помощи каких бы то ни было сил извне. Причем, любопытно, не занимался спекуляцией, не имел покровителей со средствами, не получал наследства. Это меня насторожило. Я опросил всех наших ветеранов – тех, кто еще жив... Кого мы парашютировали на связь с маки. Князь, его кличка у партизан была Эйнштейн, отличался склонностью к холодному, скрупулезному анализу... Перед началом операции командование маки закрывало его в блиндаже, и он п р о с ч и т ы в а л все возможные варианты успеха и провала, замечая самые, казалось бы, незначительные мелочи... Кстати, поначалу кличку свою он не любил, потому что до войны, как и вся эмиграция первой волны, евреев не жаловал. Только после того, как воочию увидел, что гитлеровцы делают с евреями, как они обращаются с русскими пленными, сколь зверски пытают французских партизан, стал сам называть себя Эйнштейном. Если бы все немцы при Гитлере имели возможность увидеть концлагеря, я не знаю, что могло бы произойти...

– Если мы с вами стоим на позиции диалога, то я позволю себе не согласиться: они видели гитлеровские лагеря.

– Несогласие собеседника лишь подстегивает к тому, чтобы быть еще более доказательным в посылах,– улыбнулся Бриннингз.– Словом, Ростопчин нажил состояние потому лишь, что обладает удивительно аналитичным умом. Никакой поддержки извне, тем более с площади Дзержинского. После войны он поставил на почтовые марки... Да, да, у него было множество друзей-художников, все они помогали маки; он предложил издателям серию марок, посвященную истории второй мировой войны. В дело вошли люди лорда Бивербрука, этим объясняется то, что марки разошлись ураганным тиражом. После этого князь купил землю в Австрии; тогда, вскоре после войны, это было нетрудно, доллар открывал все двери; причем, верно рассчитав, он купил те

земли, где стояли разрушенные во время войны отели для горнолыжников; нулевой цикл и коммуникации были в сохранности; затем задешево приобрел значительный пай в фирме канатных дорог во французских Альпах. А потом все покатилось: он продал половину земель в Австрии американцам, на полученные деньги отремонтировал два отеля, прибыль вложил в туристский бизнес Кении; построил пару фабрик, дела у него идут успешно.

– Когда и с чего началась его деятельность по возвращению русским их сокровищ культуры?

– Первые симптомы интереса начались после того, как Москва запустила спутник. Да, да, именно так: спустя двенадцать лет после окончания страшной войны та страна, где он родился, первой вышла в космос. Я могу понять его гордость, сэр. Пятьдесят седьмой год, сорок лет после большевистского переворота, до которого мы, Германия и Франция были суперсилами Европы, а Россия на задворках, царство тьмы и лени... А в пятьдесят седьмом вышла на первое место на нашем евроазиатском континенте. Увы, это истина, которую многие не хотять брать в расчет. Теперь по поводу мистера Степанова. Я попросил подобрать мне на него все, что можно. И выяснилось: его читают в России довольно широко, и, хотя он, к сожалению, пишет по кремлевским рецептам, слово этого человека значимо в их стране... Когда наши младшие братья за океаном называют мистера Степанова агентом КГБ, я спрашиваю себя: неужели разведка – такая легкая работа, что ею можно заниматься вполсилы, оставляя главный заряд энергии на литературу? Я с большим уважением отношусь к профессии, сэр. Наш с вами друг военной поры Иен Флеминг начал писать веселого Джеймса Бонда после того, как ушел в отставку из «Интеллидженс сервис»; то же Грэм Грин. А Ле Карре? Великий Моэм говорил, что литература самопожирающа, она требует на свой алтарь всего человека, без остатка... И вот, представьте, мы начинаем помогать в комбинации против этого русского... Кому это принесет пользу? Нам? Не уверен. Наоборот. Мы дадим повод, и к о м ы й повод русским начать ту пропагандистскую кампанию, в которой ныне они так заинтересованы... В начале нашей беседы я не зря вспомнил сэра Сомерсета Моэма и его роман, где удивительно раскрыт провидческий дар литератора. Если русские все же считают Степанова каким-никаким писателем, красный может сочинить то, что будет совершенно невыгодно делу свободы, которому мы служим, не правда ли? Конечно, мы поставим наблюдение за мистером Степановым. Я вынуждаю себя полагать, что визит его может быть двузначным. Если мы получим факты, тогда ударим! Ударим крепко. Если же он действительно намерен зани-

маться здесь своими картинами – пусть; не стоит ему мешать, наоборот, он обязан убедиться в нашей непредвзятости; терпимость ко всем идеологиям, право каждого делать то, что он хочет...

– Не преступая при этом грань закона, полковник,– улыбнулся сэр Бромсли.– Я снова обязан согласиться с вами, и, поверьте, мне это доставляет радость. Что вы можете сказать по поводу немца из Бремена?

– С ним очень хватко работала гамбургская резидентура младших братьев. Видимо, они готовят его к скандалу. Да и не только его одного, мне кажется. Замышляют свою операцию как некую мелодраму, заламывание рук, сведение денежных счетов... Посмотрим. Я не очень-то убежден, что у них получится. Итак, господин доктор Золле... Занятно, немцы умудряются умещать в одно значение два титула – «господин профессор доктор Золле». Этот человек ясен мне совершенно. Когда ответ на мучающий его вопрос ищет математик или физик и находит его, он – в зависимости от уровня одаренности – успокаивается на определенное время, потом в его мозгу возникает новый вопрос, но он уже успел отдохнуть: Эйнштейн музицировал, Жолио-Кюри играл в шахматы, а интересовавший нас русский академик Тамм занимался альпинизмом. Коллекционер, пытающийся найти все, что было уничтожено, похищено, увезено в дни страшной войны, сталкивается с таким количеством загадок, с таким обилием материалов, что одному ему с этим никак не справиться...

Либо он должен иметь аппарат помощников, развернуть это дело в п р е д п р и я т и е, либо он кончит трагедией, захлебнется в документах, сойдет с ума. Это подобно алхимии – еще один опыт, и золото наконец будет получено. Господин профессор доктор Золле человек безупречной репутации... Но он глубоко несчастен... Из такого конгломерата разностей – аристократ, красный литератор и одержимый исследователь – не построишь с е т ь, это фантазии молодых людей из-за океана, сэр.

– Я вполне удовлетворен вашим объяснением, полковник, благодарю вас. Что же, по-вашему, мы ответим младшим братьям?

– Мы ответим им, что нам доставило большое удовольствие ознакомиться с материалами, которые они нам любезно предоставили. Однако мы не считаем их до конца аргументированными. Если бы они внесли свое предложение по поводу того, как можно войти в д е л а князя, каким образом подвести нужных людей к Золле, чтобы его информация, прежде чем уйти к красным, прошла нашу обработку, если бы сформулировали возможность н е й т р а л и з а ц и и мистера Степанова, придумали бы, как можно п о с с о р и т ь его с властями – чем меньше писателей

вместе с Советами, тем нам выгоднее,– тогда мы готовы сотрудничать, соотнося наши действия с курсом кабинета ее величества.

– Я был бы весьма признателен вам, полковник, если бы вы нашли время составить телеграмму именно в том смысле, какой только что был столь блистательно вами сформулирован... А я попрошу консульскую службу дать визу мистеру Степанову, поскольку, как я понял, вы готовы взять на себя ответственность. Еще чаю?

8

Ростопчин попросил шофера вывести из подземного гаража спортивный «мерседес»; двигатель – восьмерка; хоть полиция ограничивает скорости до ста тридцати километров даже на трассах, придется жать двести; возможен штраф, обидно, конечно, убыток; зато сэкономлено время; до Лозанны надо проехать за четыре часа; там Лифарь; разговор будет трудным; нужно успеть вернуться обратно этой же ночью, завтра встреча, которую нельзя отменить, а там и Лондон...

Он сел за руль, выехал на пустую трассу, н а ж а л; включил радио, нашел итальянцев, время серенад, пусть себе, только бы не последние известия, нет сил слушать, пугают друг друга, как мальчишки. Только те играли в «казаков-разбойников», а сейчас предстоит сыграть в «ракеты-убежища», победителей нет, шарик в куски, разлетимся, как пыль; жаль.

К счастью, полиции не было; п р о м а х н у л четыреста километров за три часа, в Лозанне, правда, скорость пришлось сбросить, дорога узенькая, ввинчивается в горы; отель в Гийоме самый престижный, Лифарь есть Лифарь, вся жизнь в отелях, никогда не имел дома; но разве дашь ему восемьдесят? Поджар, быстр, скептичен.

– Ну, полноте, князь, вам все прекрасно известно; да, видимо, стану решать судьбу пушкинских писем, пора подоспела... Как достались они мне шально, так и уйдут...

– А как они вам достались? Газеты писали, что их приобрел Дягилев.

Лифарь рассмеялся хорошо поставленным актерским смехом и заговорил (в чем-то неуловимо похоже на Федора Федоровича, те же акценты, раскатистое «р»), увлекаясь своим же рассказом:

– Меня Дягилев тогда с собою взял в Лондон... К великому князю... Его дочка породнилась с британским двором, жила в замке, а отца поселила в с к в о р е ш н и к е, на третьем этаже, раньше там слуги жили... Поселила неспроста – пил старик... Вот он-то нас к себе и зазвал, палец к губам приложил, шепнув: «На красненькое не хватает... Уступлю реликвию, письма Пушкина, а вы мне деньги тай-

ком от дочки передайте, упаси бог, узнает – отымет!» Шутник был. В молодые годы дробь на сцену кидал, когда Кшесинская танцевала, ревновал к государю, что правда, то правда... Назавтра мы получили письма, положили реликвию в банк, понеслись в Монте-Карло – там была наша балетная труппа. А вскоре Дягилев умер. Министр просвещения Франции потом предложил мне выкупить письма; чтоб деньги заработать, я танцевал как приговоренный. Затем война. В день, когда Париж был объявлен открытым городом, меня вызвали в префектуру; заседают человек двенадцать, все в полнейшей прострации, а по городу уже конные немцы ездят, молоко раздают детишкам – в Париже все было не так, как в России... Принимают меня. «У нас к вам большое уважение, потому и обращаемся к вам».– «К вашим услугам».– «Если сегодня Опера не будет возглавлена кем-либо из наших, немцы конфискуют ее. Дирекция бежала, в городе никого нет. Даем вам карт-бланш на все ваши действия. Деньги, фонды – все в ваших руках». Что ж, я принял эту миссию, большая честь. Никто тогда не знал, на сколько дней или недель взят Париж; я должен был решиться. Иду туда, где помещалась Опера, мне вручают банковские счета и ключи, возвращаюсь к с е б е и сразу же делаюсь вахтером, танцовщиком, директором, пожарным, машинистом сцены... Включил свет, подошел к окну, открыл шторы, подумал, не дурной ли сон на улицах; в кафе сидят люди, электростанция работает, радиопрограммы продолжаются... Я правил в Опера четыре года... И если де Голль вернул французам Родину, то я создал им балет! Шварц, Амьель, Клод Бесси – это все мои ученицы, чьи же еще?! На второй день стали приходить машинисты сцены, пожарники, оркестранты. «Можно аванс?» – «Конечно. Сколько?» – «Да хорошо б тысячи три.» – «Десять хочешь?» – «Конечно!» – «Бери и подписывай!» – «А что делать?» – «Ничего! Приходить на службу и делать вид, что работаешь!» Уже и на Эйфелевой башне свастика, и на Кэ д'Орсе... И вдруг в Опера раздается телефонный звонок... Это было так странно – телефонный звонок в Опера, в м о е м кабинете. Звонил комендант Парижа фон Гротe из отеля «Ритц», где был штаб оккупантов. Вызывают туда... Вызывают – это если полицейские приезжают на открытой машине, если в закрытой – значит, арестовывают. Смешно, в «Ритце» раньше самые богатые люди Америки останавливались... Вхожу в апартаман, поднимается генерал с моноклем и говорит на чистейшем русском: «Сергей Михайлович, как мы рады вас здесь встретить!» Каков подлец, а?!

...Ростопчин знал, что этих стариков нельзя торопить, пусть выскажет то, что на сердце; свидетельства очевидцев помогут потом отделить правду от лжи; к главному надо подходить постепен-

но, в самом конце, после того, как р а з м я к н е т...

«Когда я стану таким же? – подумал он.– Лет через пять. Мне тоже есть что вспомнить о первых днях немецкой оккупации Парижа, только я был в подполье, а он в Опера».

– Я опешил,– продолжал между тем Лифарь.– Такой прекрасный язык, такой ленинградский, то есть петербургский... «Вы русский?» – «Нет, немец, но служил в лейб-гвардии его императорского величества! Я знаю все ваши балеты, обожаю французскую культуру, купил виллу под Парижем!» Ушам не верю! «Мы пришлем вам в театр из рейха молодого ляйтера, он возьмет на себя бремя хозяйственных забот, чтобы вы целиком отдались искусству!» – «Так, значит, все-таки вы берете театр? Кто же, вы или я?»– «Нет, нет, вы! Не хотите ляйтера, не дадим. Обращайтесь по всем вопросам, к вашим услугам!» Я поклонился и к двери, а он меня останавливает: «Сергей Михайлович, у вас будет секретная миссия, и вы должны ее принять!» – «В чем же она заключается?» – «Вы должны сегодня остаться ночевать в Опера».– «Почему?» – «Потому что сегодня в Компьене подписывают мир. А после этого Хитлер пожелал быть в Опера». И при слове «Хитлер» вскидывает руку. «Отвечаете за все вы, вопрос жизни и смерти». Я бегом к министру народного просвещения, тот выслушал. «Все на вашей ответственности, вы приняли полномочия, только молю, никому ни слова!» Но я решил дезертировать – первый раз в жизни... Зашел в Опера, дал пожарнику на красненькое. «Оставляю тебя на ночь». Хочу, кстати, обо всем этом написать в моих «Мемуар д'Икар»[1]... С первым метро лечу в Опера, а мой пожарник рассказывает рабочим сцены, как ночью в зал ворвались немцы, много немцев, среди них был один с усиками, очень хорошо знал про Опера, рассказывал остальным бошам, где и что, словно экскурсовод. «Я решил, что это немецкий певец,– продолжает мой пожарник.– Когда он спросил, где президентская ложа, я ответил, а черт ее знает, их столько у нас, этих самых президентов. Певец с усиками рассмеялся и похлопал меня по плечу, а я его. Когда все они уходили, певец велел дать мне денег за экскурсию, но я отказался. От бошей не берем.» Рабочие стали его бранить – деньги не пахнут,– а я спросил, как звали того певца. «Рулер или фулёр».– «А он был в военной форме?» – «Да».– «С маленькими усиками?» – «С усиками. Как у Шарля Чаплина».– «Так это ты Хитлера по плечу хлопал!» Пожарник – бах и в обморок! Увезли беднягу в больницу, и он там умер от шока... Представляете?! Не от пули, но от одного имени Хитлера! Да... Я бегу в телефон, звоню в префектуру: алло, знаете новость, в Опера был Хитлер! Звоню всем дру-

[1]Мемуары Икара.

зьям и знакомым: «Хитлер в Париже!» Я ж таким образом хотел сообщить в Лондон, что он здесь, пусть действуют! А через три дня французское радио передает из Лондона: «Серж Лифарь принял в Опера Хитлера! За это он приговаривается к смерти!» У меня волос дыбом! Но и немцы это радио слушали, и они были убеждены, что я принимал Хитлера, и поэтому не я им кланялся, а они мне. Когда пришли союзники, во всех газетах статьи: «Лифарь с немецкими миллиардами удрал в Аргентину!» Я к генералу Леклерку; тот: «Держись, мы тебя не дадим в обиду!» А в театре суд: «Он друг Хитлера – к расстрелу! Он танцевал для немцев!» – А судья: «Вы уверены, что он танцевал для немцев?» – «Конечно».– «Наверное, вы пользуетесь слухами... Сами-то что делали в то время?» – «Как что? Ставил Лифарю декорации!» – «Погодите, но получается, что вы тоже работали на Хитлера, если ставили Лифарю декорации?» Я вернулся в театр только через два года... А спустя тридцать девять лет Миттеран наградил меня Почетным легионом...

– Вы рассказали новеллу,– заметил Ростопчин.– Сценарий фильма.

– Мое умение рассказывать сюжетно первым отметил Шаляпин,– улыбнулся Лифарь.– На моей пушкинской выставке он предложил: «Сережа, давай откроем драматическую студию, а?!» Но ведь он был великий артист и, как все великие, хотел, чтобы лишь его постоянно славили... Он ведь отчего заболел? Знаете?

– Нет.

– Ну, как же... Поехал в Китай, в Харбин... А там его русская эмиграция в штыки встретила: «Продает белую идею, с красными встречается». Свист в зале, крики. Он это так переживал, что заболел раком крови... Я его на вокзале встречал. Уехал – могучий, громадный, сильный, а вернулся – словно жердь. Привез его домой – он ведь квартиру себе купил, целый этаж,– у него тут и студия была, окнами во двор выходила, он мне в былые-то времена там по памяти «Моцарта и Сальери» читал... Кстати, как раз там я его и попросил бесплатно выступить для моей пушкинской выставки. «Ишь, чего хочешь! Только птички бесплатно поют! Ха-ха-ха!» – «Но у меня денег нет, чтоб вам уплатить!» – «Заработай!» – «Как?» – «Играй со мною Моцарта. А я Сальери!» – «Но я же не драматический актер!» – «Научу! Эй! – Тут к нему мальчишка-слуга со всех ног.– А ну, графинчик нам!» Вот мы водочку клюк-клюк, пошло хорошо. И он начал читать «Моцарта и Сальери» на два голоса. А как кончил, я весь холодный, и волосы дыбом торчат... Да... За два года до его смерти это было. А в тот день прихожу навестить... Как обычно, семья чай пьет, дочки сытые такие, веселые, а возле его постели два доктора. Федор Иванович рвет на

себе сорочку и хрипит: «Эх, не звучит, не звучит, не зву-у-учит». Потянулся на подушках и замер. Доктор пощупал пульс, говорит, скончался... Я об этом в «Фигаро» напечатал. А хоронить? На что? Ведь еще тело не остыло, как начали делить имущество... А Борис с Федором, главные Шаляпины, в Америке... Вот и пошли мои денежки на похороны... Отправился к директору Опера, к министру – надо ж устроить проезд катафалка по городу, следует организовать государственные похороны. «Нет, он не наш, он русский, мы только Саре Бернар делали такое». Обращаюсь к префекту полиции месье Маршану... Почему меня к нему занесло? Наверное, оттого, что Шаляпин был жалован командором ордена Почетного легиона... «Как, командору не дают права проехать в последний раз по Парижу?! Городом управляю я! Ко мне всех!» Ну, и поехали мы по бульварам, а я уж там хор нашего Афонского заказал... Процессия остановилась, и грянуло русское пение... Больше такого никогда не было... И памятник Федору Ивановичу я помог поставить... Двадцать лет спустя... Ничего я за это не хочу, счастлив, что мог сделать...

– Как было бы прекрасно, сохрани вы письма Пушкина... Это был бы еще один ваш подвиг, Сергей Михайлович...

Лифарь вздохнул и закрыл глаза:

– Знал, что вы этим кончите... Я не стану их продавать на нонешнем аукционе, обещаю... Но и бесплатно не верну... Федор Иванович учил: «Только птичка бесплатно поет». А я добавлю: «И комарик танцует».

...На берегу темного Женевского озера после трудного трехчасового разговора с Лифарем Ростопчин остановил машину, спустился к берегу и долго сидел, не мог ехать дальше, прижало сердце...

9

Степанов посмотрел на часы: боже ты мой, опаздываю к Савину, Александру Ивановичу; Розен ждет в холле; вот он, симптом подкрадывания старости – неумение контролировать время, раньше оно тикало во мне, я мог не смотреть на стрелки, угадывал с точностью до пяти минут, даже если просыпался ночью.

Он бросился к телефону; пролистал книжку; номера «Космоса», где остановился Розен, не было; похолодел оттого, что надо вертеть «09»; девицы с норовом, кидают трубку, не выслушав.

...Савин принял их в громадном кабинете, отделанном деревянными панелями; пригласил двух заместителей; выслушал Степанова, который объяснил, что визит его обусловлен двумя исход-

ными позициями: во-первых, мистер Розен занимается продажей наших станков на Западе, и хорошо этим занимается, бизнес его растет, вполне престижен, и, во-вторых, поскольку мистер Розен хочет войти в д е л о по возвращению русских ценностей, он, Степанов, не мог не привести его к своему другу, союзному министру; вполне возможно, у бизнесмена (Красная Армия спасла его от гибели, во время войны жил в Союзе, благодарен нам за ж и з н ь) есть какие-то вопросы, которые целесообразно решить сразу же на самом высоком уровне...

Розен побледнел еще больше – у р о в е н ь был для него неожиданным; сцепил свои маленькие пальчики на груди, грустно улыбнулся:

– Спасибо...

– Спасибо потом будете говорить,– заметил Савин, войну кончил лейтенантом, за три дня до Победы получил приказ удержать вокзал; отступали эсэсовцы, шли напролом на Запад; ему тогда было двадцать, очень хотелось жить, всем было ясно, вот-вот наступит мир; из сорока человек, которые держали оборону, остались в живых семь; он потом год валялся по госпиталям; Звезда Героя нашла его в Крыму, в Мисхоре; окончил университет, поступил в заочную аспирантуру и уехал в Воркуту мастером; за семь лет вырос до главного инженера комбината; защитил докторскую, назначили начальником строительства нового завода; сдал в срок; перевели в Москву заместителем министра; три года работал в Госплане; оттуда – в этот кабинет.

– Да, но визит к вам – инициатива мистера Степанова,– осторожно заметил Розен.– Я благодарен внешнеторговому объединению, у меня прекрасные отношения со всеми работниками ваших фирм; компетентные, доброжелательные специалисты...

– Значит, ко мне и моим коллегам у вас просьб или пожеланий нет? – уточнил Савин.– Что ж тогда Дмитрий Юрьевич панику наводил? Ладно, чаю попьем, так или иначе время для вашего визита я освободил, бюрократы, все по минутам норовим расписать...

– Конечно, какие-то проблемы есть,– испуганно посмотрев на Степанова, сказал между тем Розен, терзая свои маленькие руки,– но они так незначительны, что я даже не знаю, можно ли вас ими тревожить...

– Если пришли, тревожьте,– сказал, улыбнувшись, Савин.

– Да, но это никак не должно бросить тень на работников вашего объединения, господин министр, речь идет всего лишь о сроках платежей.

– Вы хотите иметь резерв во времени, чтобы получать в банке процентные отчисления со всей суммы?

– Нет, нет, процентные отчисления меня не волнуют, только резерв во времени!

– Странно,– сказал Савин, обернувшись к Степанову.– Первый бизнесмен, которого не интересует прибыль! Даже нас вопросы прибыли заботят куда уж как...

Степанов повернулся к Розену:

– Иосиф Львович, я предпочитаю – да и министр тоже, полную откровенность. Конечно, вас интересует прибыль, и резерв времени вам нужен, необходим прямо-таки, так что называйте кошку кошкой...

– Да, но господин министр может подумать, что я жалуюсь! А те господа, с которыми я имею дело, вправе на меня обидеться,– Розен был явно испуган происходящим; проблема уровней, снова подумал Степанов; как всегда, я принимаю желаемое за действительное, малышка привык работать п о л з у ч е, эдакий вкрадчивый коробейник; да и, наверное, не понимает, почему литератор дружит с министром, это не по правилам, у них такого нет, все живут по своим сотам, как пчелы.

– Александр Иванович понимает, что вы не жалуетесь, поэтому формулируйте свои пожелания, главные вопросы можно обговорить прямо сейчас, детали решите в объединении...

– Да, но я просто хотел сказать, что мне очень приятно...– Розен совсем смешался.– Такое внимание... Если бы еще можно было как-то помочь со сроками платежей... Станки идут очень хорошо, их поставляют в сроки, но, когда я получу резерв во времени и в результате этого лишний процент, можно будет построить хорошие складские помещения, появится маневренность в торговых операциях...

Савин сразу же спросил:

– Вы купите землю под склады? Или намерены арендовать?

– Конечно, купим,– ответил Розен,– на аренде я пущу по миру своих детей, никаких гарантий.

– Разумно.– Обернувшись к одному из заместителей, Савин попросил: – Евгений Васильевич, свяжитесь с нашими банкирами, надо, чтобы они проработали этот вопрос с господином Розеном... Как, кстати, ваш советский содиректор? Понимает толк в деле?

– Замечательный работник,– ответил Розен.– Им можно гордиться, такой он компетентный...

– Еще что? – спросил Савин.– У вас только один вопрос? Больше ничего?

– Ну, я, конечно, хотел бы, если вы не возражаете, затронуть вопрос о цене на станки...

Савин рассмеялся:

– С этого бы и начинали, мил человек... Я все ждал, когда вы к главному перейдете, боялся, не успеете, у меня через десять минут совещание... Если гарантируете рынки, цену мы поднимать не станем, хотя вы наверняка знаете, что японцы и французы пересмотрели ставки на аналогичные машины. Зависит от вас: дадите хорошую конъюнктуру, поддержим, обещаю. Что будет через год, отвечать не могу, бог даст день, бог даст пищу...

– Да, но и год был бы для нас крайне важен, господин министр! Если этот вопрос можно считать решенным, я очень вам благодарен, советские станки еще скажут свое слово на континенте, это ж такая пропаганда...

– Бизнес это, а не пропаганда,– ответил Савин.– Пропаганда – если б мы бесплатно давали, за здорово живешь, а мы теперь взрослые, находимся в стадии наработки самоуважения, так-то вот...

Подали чай с печеньем и шоколадом; поговорили о том деле, которым занимался Ростопчин; хорошо бы, заметил Степанов, организовать экспозицию картин и книг, которые князь вернул на Родину; можно сделать буклет для всего мира; Савин улыбнулся: «Сначала выбей в Госплане фонд бумаги и договорись о хорошей типографии»; «Это интересное дело,– согласился Розен,– купят во всем мире, потому что красиво, да и сенсация»; прощаясь, Розен сбивчиво благодарил, натыкался на стулья и не знал, куда деть свои маленькие руки; министр подарил ему и Степанову по маленькому, очень красивому макетику станка, сделанному как миниатюрная настольная лампа. Розен сказал, что такую замечательную вещь можно запустить в конвейер как сувенир, даст немедленную прибыль; валяйте, засмеялся Савин, можем уступить лицензию.

Когда Розен ушел к заместителю министра, ведавшему связями с банками, Савин, пригласив Степанова задержаться, спросил про дочек, посетовал на то, что после инфаркта врачи до сих пор запрещают ему заниматься теннисом, поинтересовался, когда выходит книга их общего друга, доктора биологии Юрия Холодова, что нового у профессора Пахомова, какой талантливый стоматолог, приезжал ли Хажисмел Саншоков, лесник из Кабарды, и, только провожая Степанова к двери, поинтересовался:

– Ты в этом человеке уверен?

– В каком смысле? – не понял Степанов.

– Какой-то он хлипкий... Не подведет тебя?

– В чем?

– Как в чем?! Ты ведь не только мне рассказал, как этот панамский американец хочет отблагодарить нас за свою спасенную

жизнь, как восторгается деятельностью Ростопчина... Ты, кстати, не думаешь, что князя могут ударить?

– Не думаю. Он независим. Да и за что его ударять?

– Черт его знает... Я много раз наблюдал переговоры, знаешь ли... Накануне подписания больших контрактов... Ты себе представить не можешь, как наши партнеры бьются за каждый цент, за полцента... На этом, кстати, и стоят... А он такие ценности нам отправляет... И не кто-нибудь, а аристократ, в классовой солидарности не упрекнешь...

– Упаси бог, если стукнут. Ты не представляешь себе, какой это славный человек.

– Почему? – Савин пожал плечами.– Представляю... А этот твой протеже – слабенький, безмускульный.

– Не я ж его приглашал в это дело, сам меня нашел.

– Понимаю... Это я так, на всякий случай... В Лондоне помощь не потребна? Там мы ведь тоже торгуем станками, идут довольно неплохо, хотя кое-кто пытается помешать; словом, для кого – бизнес, для кого – политика...

VI

«Милая Нюта![1]

...Закончил наконец морозовские панно и принялся за «Богатыря». Пользуюсь светом и потому все праздники и сейчас днем никуда не выхожу. Администрация нашей выставки в лице Дягилева упрямится и почти отказывает мне выставить эту вещь, хотя она гораздо законченнее и сильнее прошлогодней, которую они у меня примут. Ведь я аттестован дэкадэнтом. Но это недоразумение, и теперешняя моя вещь, мне кажется, достаточно это опровергает. Как видишь, я себя утешаю, потому что мне, по крайней мере, не мешают в моей мастерской. Наде грустнее: ее право на артистический труд в руках Мамонтова, у которого в труппе... полный разгул фаворитизму... Ей мало приходится петь; опускаются руки на домашнюю работу; стерегут скука и сомнение в своих силах. Правда, отдохнули мы немного, имея возможность принимать и попраздновать добрейшего Римского-Корсакова. Он кончил новую оперу на сюжет «Царская невеста» из драмы Мея. Роль Царской невесты Марфы написана им специально для Нади. Она пойдет в будущем сезо-

[1] Из письма М.Врубеля сестре.

не у Мамонтова, а покуда такой знак уважения к таланту и заслугам Нади от автора заставляет завистливую дирекцию относиться к ней еще суровее и небрежнее...

Твой Миша».

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Фол никогда не слыхал имени Герхарда Шульца; они никогда не встречались; жили на Американском континенте, но в разных частях его – один на юге, в Парагвае, другой на севере, в Вашингтоне; Шульц был дедом уже; семья его насчитывала сорок семь человек, счастливый муж и отец; Фол поселился отдельно от семьи, горестно одиноко, отдаваясь целиком работе, которая – после того как он расстался с Дороти – стала его страстью; Шульц жил в роскошной гасиенде на берегу вечно теплой, хоть и буро-красной, грязной на вид Параны; Фол снимал номер в отеле; две комнаты, окна выходили во двор, колодец; а еще говорят, что в Вашингтон приезжают смотреть, как цветут вишни; разве что восторженные туристы, их возят из Нью-Йорка, очень престижно – за один день побывать в обеих столицах.

Фол не знал, что Шульц – не подлинная фамилия дона Эрхардо; изменил седьмого мая сорок пятого года; раньше был Вульцем, штурмбанфюрером СС; приглашен к сотрудничеству американской секретной службой осенью сорок девятого в Рио-де-Жанейро; вербовка прошла гладко, за пять минут. «Признаете, что на этом фото вы изображены в форме СС?» – «Признаю». – «Готовы к разговору с нами?»– «Давно готов».– «Это несерьезно, мистер Вульц. Настоящая беседа начнется только в том случае, если вы напишете нам имена мерзавцев из вашей нынешней сети на юге континента».– «Я бы не стал называть тех, кто оказался в изгнании после победы большевиков».– «После нашей общей победы, мистер Вульц: американцев, англичан и русских. Мы сообща разгромили тиранию Гитлера, и вам не следует вязаться в наши дела с русскими, уговорились? Что же касается и з г н а н н и к о в, то это уж нам позвольте судить, являются ли ваши друзья изгнанниками или же организованы в хорошо законспирированную бандитскую сеть, о'кей?»

Фол и не предполагал, что шифрограмма, отправленная из филиала его страховой фирмы в Лондоне, вызовет такой странный, сложный и непросчитываемый процесс: совещание совета директоров фирмы – встречи с н у ж н ы м и людьми – выход на ЦРУ – и затем уже, когда д е л о пошло в работу, на соответствующие подразделения, которым поручено найти п о д х о д ы к «Эухенио Ростоу-Масалю; Евгений Ростопчин, гражданин Швейцарии, проживает в Аргентине, район Кордобы; 1952 года рождения, женат, имеет двух детей; занят в сельскохозяйственном бизнесе; необходимо оказать на него давление в том смысле, чтобы он обратился к отцу за финансовой поддержкой; сделать это надо через его мать, с которой князь Ростопчин развелся в 1959 году; через Софи-Клер Винпресс, которая проживает в Париже, имеет дом в Эдинбурге и квартиру в Глазго».

Результатом проделанной работы (анализ архивов и расчет на ЭВМ) оказалась цифра «УСГ-54179»; агент проживал в Парагвае, однако имел апартамент в Кордобе; Герхард Шульц, землевладелец и компаньон директора фирмы по строительству шоссейных дорог; сейчас ведут трассу в непосредственной близости от земель Ростоу-Масаля; есть возможность н а ж а т ь на сына князя, перерезав его водные коммуникации, что равносильно экономическому краху.

...Человек – маленький винтик в огромном механизме; ни о чем не догадывавшийся сеньор Эухенио Ростоу-Масаль, он же Евгений Ростопчин, он же Женечка (для отца) и Шеня (для мамы), в то утро, как обычно, завтракал на огромной террасе, сделанной из старого, хорошо моренного дерева; в округе жили швейцарцы; эмиграция прошлого столетия; дом поставили так, как это умели делать в горах над Цюрихом: на века, но при этом легко и уютно.

Жена приучила его к испанскому завтраку: кофе со сливками и чулос – длинные хлебцы, поджаренные в оливковом масле; в Памплоне, во время Сан Фермина, после утренней эстафеты, когда разъяренные быки пронесутся из корраля на Плассе де Торрос, весь город отправляется на площадь пить кофе с чулос; Мари-Исабель очень гордилась тем, что родилась именно в Памплоне, дочь басков, родство душ и языков с далекими грузинами, вот почему вышла замуж за русского!

– Ты сыт, милый?

– Не то слово! Самое настоящее большое обжорство.

– Боже, какой это страшный фильм – «Большое обжорство».

– Почему? Кое в чем он занятен.

Дети – три года и шесть лет – плескались в бассейне; Мари-Исабель попросила сделать два бассейна: большой – взрос-

лым и маленький – детям; Эухенио поманил пальцем жену, та склонилась к нему, и как раз в это время позвонил сеньор Эрхардо Шульц; говорил рубяще: в картах путаница, вам продали земли, которые за два года перед тем отошли нашей фирме, очень сожалею; да, мои юристы передадут вам документацию, но решение местных властей уже принято; увы, я не общество благотворительности; нет, я не отказываюсь от встречи, напротив, я настаиваю на ней; компромисс допустим, почему нет, что-то около пятидесяти тысяч долларов; нет, аванс невозможен, нет, в местной валюте платы мы не принимаем, все расчеты идут через банк в Манхеттене; деньги надо внести в течение недели, дело есть дело, у меня стоят рабочие, платить неустойку из-за путаницы в ваших документах я не намерен; хорошо, сегодня в шесть в Кордобе, юридическая контора «Мазичи и Эчаверия», это в центре.

Мать он нашел в ее эдинбургском доме; звонку сына обрадовалась:

– В Париже совершенно дикая погода, мальчик! Я убежала оттуда в здешнюю весну. Чудно! Что у тебя с голосом? Почему ты молчишь?

– Мама... Понимаешь... Мне... Нам срочно нужны деньги...

– Что случилось?!

– Понимаешь, тут какая-то страшная путаница с землей... Словом, это трудно объяснить... Мне продали чужую землю...

– Как?!

– Нет, нет, не всю... Но именно тот участок, где у меня вода... Я остался без воды, это конец... Жара, все сгорит...

– Я сейчас же позвоню отцу... А почему ты сам не хочешь? Хорошо, хорошо, Шеня, я понимаю, сделаю сама. У меня есть двадцать тысяч, я могу выслать тебе половину...

– Это не выход, мама. По условиям, которые я обязан выполнить в течение недели, следует внести все деньги, до единого цента.

– Я перезвоню через десять минут.

Положив трубку, Софи-Клер вдруг сообразила, что не помнит телефон мужа. Бывшего мужа, поправила она себя; боже мой, какая я была дура; единственный человек, который меня любил; да, все верно, он несносен, потому что, кроме этих русских картин и икон, для него ничего не существует; конечно, было обидно, когда он отказывал в том, чего я заслуживала, но ведь он отказывал мне в платьях от Пьера Кардэна, можно обойтись и без них; что же делать, если я не заболела его болезнью, что делать, если я была, да и продолжаю быть обыкновенной женщиной?!

Она поднялась с тахты; голова разламывалась; сосуды, наследственное; папа умер от инсульта; слава богу, не мучился, не страдал от недвижности или немоты, только бы не этот ужас; Шеня (о муже она думала так же, как о сыне, слово «Женя» не получалось у нее ни в разговоре, ни в мыслях) читал мне какого-то русского писателя: «Легкой жизни я просил у бога, легкой смерти надобно просить»— как верно и как горько; подошла к столу, выдвинула ящик, нашла старую телефонную книгу, открыла страницу на «Р»; Ростопчин; неужели тут тоже нет, все в Париже? По счастью, телефон Ростопчина был; она позвонила в справочную, ей сказали код Швейцарии, Цюриха; князь был в офисе еще; как обычно, сидел там допозна.

— Что случилось? — спросил он, выслушав Софи.— И почему он сам не позвонил мне?

— Ты же знаешь, родной, у него твой характер. Он обижен на тебя и не станет унижаться.

— А разве перед отцом можно унижаться? Да и чем я обидел его?

— Не будем ссориться, ладно? В конце концов речь идет о жизни и смерти мальчика...

— Что?!

— Да, именно так. Он купил не ту землю, у него отрезают водоснабжение, это гибельно для его предприятия с коровами... Словом, я не знаю подробностей, но, если ты не вышлешь ему пятьдесят тысяч долларов, он погибнет...

— Пожалуйста, успокойся и не плачь, ради бога... Я сейчас позвоню ему. У меня нет свободных денег, я отложил тридцать тысяч на аукцион...

— Неужели тебе дороже эти картины, чем судьба сына?!

— Ты же знаешь, что я сделал для него все, Софи. Не будь несправедлива...

— Ты хочешь сказать, что у тебя нет денег, чтобы помочь мальчику?

— Я не могу взять деньги из дела, Софи. Это будет банкротство, понимаешь? Только потому, что я веду дело, ты продолжаешь жить так, как тебе хочется.

— Откуда ты знаешь, как мне хочется жить?! Не говори за меня, пожалуйста! Только я одна знаю, как мне хотелось жить!

— Разреши, я перезвоню Жене, а потом сразу же соединюсь с тобой.

Софи не ответила, положила трубку; ну и характер, подумал Ростопчин, это она к старости подобрела, как же я терпел ее раньше? Терпел, потому что любил. Нет, не так. Потому что любишь. Степанов верно читал: «К женщине первой тяга, слов-

но на вальдшнепа тяга, было всяко и будет всяко, к ней лишь останется тяга». Как хорошо, что я бросил курить, непременно сейчас тянул бы одну сигару за другой. Хотя Черчилль смолил до девяноста одного года. Фу-ты, черт, какая-то путаница в голове. Ну-ка,– сказал он себе,– соберись и не сучи ногами. В жизни бывало хуже, много хуже; какие пустяки, в конце концов, речь идет о деньгах; на старость хватит, сколько мне осталось, кто знает; вспомни, что было с тобою, когда ты понял, что Софи ушла от тебя, ушла потому, что не любила, никогда не любила, терпела попросту, а что может быть страшнее для мужчины, когда он поймет эдакое? Вспомни семнадцатилетнюю девочку из Ниццы, которую расстреляли у тебя на глазах в сорок третьем. Вспомни, как вы страшно жили с мамой после войны. Вспомни, как жарили картофель на прогорклом маргарине, соскобленном с тарелок в ресторане, и ничего, смеялись, ах, какое было счастливое время, когда жила мамочка, голодное, нищее прекрасное время...

– Алло, Женя, здравствуй, это я.

Сын ответил по-испански, потом перешел на английский:

– Добрый день. Ты уже в курсе?

– Мама рассказала мне довольно сумбурно...

– Дело в том, что у меня не было достаточного количества денег, когда я покупал эту землю, чтобы нанять хороших адвокатов... Ты ведь дал мне в обрез...

– Я дал тебе столько, сколько ты просил.

– Мне бы не хотелось слушать упреки, папа.

– А в чем я тебя упрекнул? Алло... Ты слышишь меня?

– Да...

– Ты не мог бы срочно прислать мне все документы, Женя? Я готов нанять хорошего адвоката.

– Бесполезно. Мама, видимо, сказала тебе, что в сложившейся ситуации меня могут спасти только деньги – пятьдесят тысяч долларов.

– Хорошо, я что-нибудь придумаю. Однако завтра – это нереальный срок. Те деньги, которые у меня свободны, уйдут на аукцион.

– А то, что ты выкупишь на аукционе, уйдет в Россию?

– Бесспорно! Странно, что ты спрашиваешь об этом...

– Не кажется ли тебе это жестоким, папа?

– Не будем судить о жестокости. Это довольно сложный вопрос, кто жесток по отношению к кому и все такое прочее...

– Я редко тебя просил о чем-либо.

– Тебе не приходилось меня ни о чем просить. Я угадывал твои желания...

– Ты не выполнил мое главное желание.

Растопчин не сдержался:

– Подождем той поры, когда твоя жена уйдет с другим, бросив тебе детей... А я по прошествии лет, когда дети вырастут, попрошу тебя вернуть ее в постель, ладно?

– Это бестактно, папа.

– Правда всегда тактична.

– Словом, ты отказываешь мне?

– Нет, не отказываю. Я говорю о нереальности срока. Посоветуйся со своим юристом...

– У меня нет юриста.

– Заведи. Я оплачу расходы. Деньги будут переведены сегодня же, назови номер счета. Попроси его обговорить условия платы с теми людьми, которые наступают тебе на горло...

– Никто мне не наступает на горло!

– Это русское выражение. Пусть он договорится о сроке платежей, я вышлю гарантию.

– Они не соглашаются на отсрочку платежей.

– Попроси своего юриста – ты наймешь его сейчас же, самого лучшего в городе – связаться со мною. Я буду ждать звонка в офисе.

Сын не попрощался, положил трубку; сейчас позвонит Софи, подумал Ростопчин, начнется мука; вполне может приехать в Лондон и устроить скандал.

Он похолодел от этой мысли, потому что понял, насколько она реальна; боже ты мой, кто это придумал, что к старости у человека жизнь делается проще?! Неправда, о, какая это неправда! Наоборот, ничто так не сложно, как старость, время подведения счетов, реестр на то, что не свершилось в жизни, не получилось, минуло, прошло рядом...

Софи позвонила через десять минут; он отчего-то сразу же понял, что она выставит ему счет на телефонные разговоры, франков пятьсот, не меньше; при чем здесь счета, как-то устало спросил он себя, бог с ними, просто очень обидно ощущать себя старым, когда ты один и никому не нужен, пустота вокруг, книги и картины, будь все неладно. Нет, самое страшное, если тебе делается скучно, словно все, что происходит, уже было с тобою, много раз было, и все кончалось всегда скукой... Право же... Начиналось любовью, а кончалось... Любовь? Что это такое, кстати говоря? Наверное, постоянное желание сделать хорошо тому, кого любишь... Но ведь мое «хорошо» разнится от понимания «хорошо», которому привержен тот, кого ты любишь... Точнее, видимо, сказать, что любовь – это постоянное нежелание сделать дурно, не-

ловко, неприятно тому, кого любишь, обидеть хоть в чем-то. Любовь – это когда ты для другого и уж отсюда для себя, но только п о т о м. Все остальное – а ты ведь думаешь о своем, сказал себе Ростопчин, не в силах подняться из-за стола – зиждется на изначальной ошибке или корысти.

Он все-таки заставил себя подняться, отошел к стеллажам, открыл бар, налил рюмку, прополоскал рот, почувствовал, как з а ж г л о нёбо, боль в затылке стала отпускать...

«Однако же когда ошибка или корысть соседствуют с дисциплиной,– подумал он,– тогда возникает новая ситуация; дисциплина – великий организатор как чувства, так и закамуфлированного бесчувствия. Порою любящий,– не сдержавши характер, бывает же, господи,– обидел ненароком, и любви нанесен непоправимый удар, а может, она и вовсе разбита. Иной же корыстолюбец, преданный дисциплине, так ведет свою партию, что делает любовь очевидной и постоянной. И как же дисциплинированно лжет обманщик, чтобы сохранить лицо любви! Это ж так просто: вечерний чай, дежурная улыбка, разговоры о детях, все чинно и пристойно, как у людей. Неужели дисциплина лжи – единственный гарант добрых отношений мужчины и женщины, а проявление человеческой искренности – главный разрушитель любви? Где бог, где дьявол? Неужели сатана с хорошими манерами более угоден людям, чем пророк, брякающий то, чего не хотят слышать?!»

Разговор с Софи был тяжелым, со слезами; нельзя быть черствым эгоистом: речь идет о мальчике...

– Повторяю, я ни в чем не отказываю Жене, как никогда не отказывал. Ни тебе, ни ему. Пойми, я не могу в ы н у т ь из дела столько денег сразу. Я вышлю вексель, гарантийное письмо, этого совершенно достаточно... В конце концов – извини, пожалуйста, что я вынужден сказать тебе это,– но и его семья, и ты живете тем, что я зарабатываю; нет, я ни в чем вас не упрекаю, неужели сказать правду – значит упрекнуть?

– Ты бессердечное чудовище,– Софи снова заплакала.– Не заботиться о сыне! Это же страшно! Ты компьютер, а не человек, какой ужас, что я тебя встретила, какой ужас!

– Софи, дорогая, пожалуйста, настройся на то, что я тебе в который раз объясняю... Я улажу дела Жени... Да и если бы аргентинские коровы были единственным источником его дохода... Но ведь мой здешний дом принадлежит ему. Мое дело завещано ему. Я не знаю, кому ты отписала дом в Эдинбурге, я подарил его тебе, и ты вправе распоряжаться им как хочешь, но ведь он тоже может быть Жениным... И парижский апартамент, который я тебе подарил, и этаж в Глазго... Не надо обижать меня попусту, го-

воря, что я не забочусь о Жене. Мне непонятно, что случилось с его землей, я хочу в этом разобраться. С помощью специалистов... Ты успокоилась?

Софи п о н е с л о; Ростопчин зажмурился, отвел трубку, решил ответить, когда смолкнет невнятное бульканье ее голоса, только б не слышать того, что она говорит, сил нет; потом различил короткие гудки; швырнула трубку; ее манера. И сразу же раздался новый звонок. Наверное, Женя, подумал он; бросила меня, когда ему было семь? Нет, восемь. Теперь она его защитница, а я черствый компьютер. Не льсти себе, ты чудовище, так тебе было сказано...

– Алло, добрый вечер, господин Ростопчин! Не думал застать вас в офисе.

– С кем имею честь?

– Это Фридрих Хойзер из «Курира». По гамбургскому радио только что прошла передача о вашей деятельности в сфере культуры. Не могли бы вы уделить мне пятнадцать минут, всего лишь несколько вопросов.

(Радиопередачи не было; Хойзеру сказали об этом по телефону; факт сам по себе уникален: Швейцария, русский князь, Советы.)

– Знаете, я что-то очень устал... Может, отнесем разговор на завтра?

– Завтра материал должен появиться в нашей газете, господин Ростопчин. Я был бы вам так признателен. Я работаю всего пять месяцев. Ваше имя достаточно хорошо известно здесь... Интервью сразу же поставят в номер... Это будет моя первая большая работа... Вы не представляете себе, как для меня важно...

«Этот изучает жизнь не по книгам,– подумал Ростопчин,– такие умеют благодарить и помнить».

– Приходите,– сказал он.– Адрес знаете?

Фридрих Хойзер из «Курира» не был агентом секретной службы; после телеграммы Фола в Нью-Йорк о необходимости ускорения р а б о т ы по Ростопчину были просчитаны возможности корпорации АСВ в газетах и журналах Цюриха; среди п р и в л е ч е н н ы х исследователи обратили внимание на Луиджи Роселли; владелец рекламного бюро; самые широкие связи с миром прессы; понятно, в существо комбинации посвящать нельзя, но человек он сметливый, поймет, что надо, если объяснить общий абрис; главное, чтобы в здешней прессе появился материал; назавтра экспрессом он будет отправлен в Эдинбург, Софи-Клер; с ц е н ы очень способствуют провалу любого начинания, а того, которому привержен Ростопчин, особенно.

Среди всех известных ему журналистов Луиджи Роселли остановился на Фридрихе Хойзере потому, что тот был молод, напорист, объективен и необидчив (позволял править свои материалы, лишь бы напечататься; жил одиноко, помогал матери, больной старой женщине, имевшей маленький домик под Асконой, на самой границе с Италией).

– Как я признателен вам, господин Ростопчин! У меня есть час времени, чтобы перепечатать наш разговор, я успеваю в утренний выпуск.

Хойзер был одет в старенькие джинсы, потрепанную выцветшую куртку; кеды стоптаны; «лейка», правда, хорошая, старая, самая надежная, в Токио на рынке стоит сумасшедшие деньги; за одну такую, тридцатых годов, можно купить три новых фотоаппарата великолепного дизайна.

– Голодны? – спросил Ростопчин.

– Что? – Хойзер не сразу понял его.– Я?

– Вы,– вздохнул Ростопчин.– Могу угостить паштетом и хорошим сыром, мне привозят с гор, крестьянский.

– Большое спасибо, не откажусь. Утром пил кофе, а потом мотался по городу.

– Волка ноги кормят,– заметил Ростопчин.

– Что? – снова не понял Хойзер.

– Это русская пословица.

– Да, но ведь волка кормят зубы.

– Это заключительная часть операции,– грустно усмехнулся Ростопчин.– Сначала надо унюхать, потом догнать, а уж загрызть – дело плевое: раз, два – и нету зайца...

Он достал из холодильника, вмонтированного в стеллажи, еду, поставил ее на маленький столик возле камина (и в кабинете сложил камин, боялся холода, со времен войны страдал хроническим бронхитом, лучше всего чувствовал себя, когда начиналась сухая жара, часто вспоминал стихи Пастернака «Своей зимы последней отсроченный приход»), открыл бутылку пива, предложил:

– Угощайтесь. И запивайте пивом. У вас диктофон?

– Нет, я пишу сам,– ответил Хойзер.– И ем очень быстро, прямо, знаете, неловко.

– Кто быстро ест, тот быстро работает, в этом нет ничего дурного. Я тоже быстро ем.

Ростопчин с удовольствием и каким-то внезапно обретенным спокойствием наблюдал за тем, как парень уминал паштет, намазывал крекер тоненьким аккуратным слоем, умудрялся есть так, что ни единой крошки не падало на стол, а уж тем более на пол

(все-таки эта л о в к о с т ь врожденная у немцев, генетический код, века за этим стоят), как ловко расправлялся с сыром, делая при этом маленькие глотки пива. Все в нем сейчас было подчинено одному – п о д з а к р е п и т ь с я – и айда за работу.

– Спасибо,– сказал Хойзер,– я сказочно поужинал. Это было так любезно с вашей стороны.

– Очень рад. Еще пива?

– Нет, нет, спасибо. Я пьянею от него, как ни странно.– Он достал из кармана блокнот и ручку.– Мой первый вопрос: почему вы, русский аристократ, изгнанник, возвращаете в Москву культурные ценности?

– Я не изгнанник. Мои родители добровольно уехали из России, их никто к этому не принуждал. Вы кто по образованию?

– Юрист.

– Русскую историю не изучали?

– В общих чертах.

– Значит, не изучали. Мы все виноваты перед Россией, господин Хойзер. Особенно мы, русская аристократия двадцатого века. Но это вопрос сложный, в час не уложимся, да и в день навряд ли...

– Я хотел бы понять, что движет вами, когда вы отправляете в Москву произведения искусства с Запада.

– Я возвращаю России то, что ей принадлежит по праву. Если хотите, я таким образом благодарю Родину за то, что именно она спасла Европу от гитлеризма. И потом я высоко ценю тот огромный вклад в мировую культуру, который ею сделан.

– В прошлом?

– Сейчас тоже. Вы не бывали в Советском Союзе?

– Нет.

– Тогда нам трудно говорить об этом. Я хорошо представляю себе Россию старую и достаточно много раз видел Россию новую... Разница поразительная.

– Однако мясо они покупают на Западе,– заметил Хойзер.

– Верно. Потому что раньше мясо в России ели тысячи – стоит почитать русскую статистику десятого или двенадцатого года,– а сейчас требуют все, равенство как-никак. За шестьдесят семь лет истории Советской России более десяти лет уходит на войны и двадцать на восстановление городов из пепла. Нет, знаете ли,– раздражаясь чему-то, прервал себя Ростопчин,– поскольку вы не специалист в этом вопросе, нам будет трудно договориться, давайте-ка о культуре, тут, как показывает история, особыми знаниями можно не обладать, все о ней судить горазды...

– Вы сердитесь?

– Не то чтобы сержусь... Просто несколько обидно, когда о стране, с которой поддерживают дипломатические отношения, не говорят иначе, как о «тирании», о культуре – «так называемая культура»; какое-то безудержное злобствование, полное отсутствие объективности...

– Да, но права человека...

– Господин Хойзер, отчего в таком случае ни одна из здешних газет не пишет про ситуацию в Парагвае? Про трагедию несчастных палестинцев? Про эксперименты Пол Пота?! Почему такой антирусский накал? Разумно ли? Ладно,– он снова себя прервал,– вернемся к вашему делу, хорошо?

– Хорошо,– Хойзер посмотрел на Ростопчина задумчиво, видимо оценивая, что тот сказал ему.– Какие картины вы отправили в Москву?

– Придется поднимать документы. Я не помню. Много. Ваш русский коллега Степанов ведет реестр возвращенного. И еще доктор Золле из Бремена, Георг Штайн из Гамбурга. Мы отправили Поленова, Куинджи, Коровина, Репина, иконы из новгородских церквей, уникальные книги времен первопечатника...

– Простите,– прервал его Хойзер.– Кого вы имеете в виду?

– Я имею в виду человека, начавшего книгопечатание.

– Гутенберг?

– Это здесь Гутенберг... В России – Иван Федоров...

– Ах, так... Пожалуйста, скажите по буквам имена русских художников, я не успел записать...

– Давайте я запишу вам.

– О, большое спасибо,– Хойзер протянул Ростопчину блокнот.– Такая мука с этими именами...

– Вы ничего не слышали о Репине?

– Нет.

– Любопытно, кого из русских писателей вы знаете?

– О, я очень люблю русскую литературу... Толстой, Достоевский, Пастернак...

– А что вам больше нравится у Пастернака?

– «Доктор Живаго», великолепный фильм...

– А стихи?

– Нет, стихи я не знаю...

– Кстати, я вернул в Москву рисунок Пастернака-отца, он был лучшим иллюстратором Толстого.

– Что вы говорите?! Как интересно! А в какую сумму можно оценить то, что вы передали в Москву?

– Я не подсчитывал.

– Какова судьба тех картин, которые вы вернули?

– Они заняли свое место в экспозициях музеев. Там великолепные музеи.

– Мы о них ничего не знаем.

– К сожалению... Они печатают очень мало проспектов. Жаль. Русская живопись крайне интересна.

– А почему они печатают мало проспектов?

Ростопчин развел руками.

– «Умом Россию не понять...» Это опять-таки русский поэт Тютчев. Думаете, я все понимаю, хоть и русский? Увы, отнюдь.

– Скажите, а господин доктор Золле... Чем он руководствуется в своей работе? Он ведь немец...

– Я как-то не интересовался этим. Помогает, ну и спасибо...

– Гамбург передал, что вы намерены принять участие в аукционе, который проводит «Сотби» в мае. Это правда?

– Правда.

– Что вас более всего интересует в этой коллекции?

– Врубель.

– Кто?

– Давайте блокнот, я напишу.

– Спасибо,– Хойзер посмотрел фамилию художника, осведомился: – Он немец?

– Самый что ни на есть русский.

– Странно. Звучит как совершенно немецкая фамилия. Отчего вас интересует именно Врубель?

– А вот это мой секрет,– вздохнул Ростопчин и легко глянул на часы.– Еще вопросы?

– Последний: кем вы себя чувствуете – гражданином Швейцарии или же русским?

– Я русский, кем же мне еще быть? Но я горжусь тем, что являюсь гражданином Швейцарии...

Луиджи Роселли приехал в «Курир», когда Хойзер заканчивал перепечатывать свой репортаж.

– Я покупаю у вас интервью для моего агентства,– сказал он.– Это хороший материал, за него надо платить, называйте вашу цену...

– Как вы узнали? – растерялся Хойзер.

– Если бы я не умел узнавать, я бы не создал фирму, Хойзер. Пятьсот франков? Хорошие деньги, а?

Интервью, перепечатанное назавтра во многих провинциальных британских газетах, было броским: «К сожалению, деньги и культура являют собою единое целое»,– говорит «красный князь»

Ростопчин». В интервью называлась сумма, которую он истратил на картины, что-то более двухсот тысяч долларов; «Я не жалею об этом, я и впредь буду возвращать в Россию то, что ей принадлежит по праву».

В цюрихском «Курире», однако, сумма названа не была; Ростопчин пожал плечами, когда прочитал про себя «красный князь»; ну, бог с ним, мальчику надо пробиться, если бы я был беден, такой эпитет мог бы нанести мне ущерб; пусть себе; сын не звонил, Софи не отвечала; он набрал номер своего приятеля в Буэнос-Айресе Джорджа Уилса-младшего, попросил срочно заняться проблемой сына, отправил телекс, в котором гарантировал оплату всех расходов, связанных с ведением дела о землевладении сеньора Эухенио Ростоу-Масаля, и поехал к своему врачу, Франсуа Нарро; голова трещала, «спазмольжик» не помогал, предметы в глазах двоились.

Софи-Клер получила газету утром и сразу же заказала билет на самолет в Лондон; Шеню предупредила, что будет звонить ему завтра в это время: «Мы должны постоять за себя, мальчик. У него начался старческий маразм. Я хочу посоветоваться с друзьями. Нам помогут».

Только когда доктор Франсуа Нарро, славившийся тем, что широко применял магнитотерапию (переписывался со светилами мировой величины – Дельгадо в Мадриде и Холодовым в Москве), начал подбирать комбинацию лекарств – огромное количество мультивитаминов с понижающими давление и разжижающими кровь (модификация компламина), Ростопчин вдруг хлопнул себя по лбу:

– А все-таки я идиот!

– Это случится лет через пятнадцать,– весело пообещал Нарро.– Пока что не нахожу у вас признаков склероза; идиотизм – хроническая форма склероза...

– А что, если мы отменим массаж? – спросил Ростопчин.– Мне надо срочно позвонить.

– Звоните от меня. Массаж необходим – и общий, и сегментальный.

– Но я должен заказать разговор с Москвой.

– Заказывайте. Я пришлю вам счет, оплатите.

– Вы гений! Все-таки во мне живет скифская заторможенность,– заметил Ростопчин, подошел к аппарату, набрал стол заказов международного телефона, попросил срочный разговор, продиктовал номер Степанова.

– Одевайтесь,– сказал Нарро, подвигая Ростопчину рецепты.– У меня теперь новый массажист, я оборудовал ему совершенно автономный кабинет, вы сразу же почувствуете облегчение.

Нарро практиковал уже пятнадцатый год. Недавно он оборудовал свой кабинет по последнему слову техники, заново перепланировав квартиру, которую снимал уже двадцать лет, только бы не уезжать в другой район: во-первых, значительно дороже, цены на жилье растут ежегодно, а здесь у него контракт еще на десять лет, во время которых хозяин не имеет права поднимать стоимость аренды; во-вторых, медицина должна быть во всем п р и в ы ч н о й; Нарро поэтому всегда наносил визиты и принимал в одном и том же костюме из легкой зеленой шерсти; даже ботинки он покупал в одном и том же магазине, нестареющий американский фасон, с дырочками на носках и тяжелым каблуком; адрес врача, считал он, так же обязан быть постоянным; с возрастом пациенты делаются малоподвижными, лишний крюк по городу может отпугнуть клиентуру, рискованно.

В маленькой прихожей сидела прелестная девушка, секретарь-регистратор (в случае надобности сестра милосердия); она встречала пациентов и провожала их в кабинет Нарро; если это был первый визит, она оставалась подле врача, чтобы застенографировать рассказ больного; потом пациент переходил в крохотный закуток, где умещалась лаборатория (кровь, моча, аппарат ЭКГ – на этих трех исследованиях он держал одного лаборанта, зато платил, как врачу в государственных клиниках), оттуда его пропускали в рентгеновский кабинет; Нарро всегда смотрел сам, снимков не делал, только общий контроль, рак заметен сразу, так он, во всяком случае, считал; после этого круга пациент возвращался в кабинет и спустя полчаса получал – на основании обследования, анализов, кардиограммы – рекомендации и лекарства; в такого рода визит магнитотерапия не входила; совершенно особая такса.

Потом, однако, Нарро обратил внимание на то, что подавляющее большинство его пациентов составляют мужчины; досадно, ибо носителями слухов про врачей, косметичек и портных являются женщины. Он отправился в «Бюро рекламы», уплатил за консультацию тысячу франков, после обследования его кабинета получил рекомендацию привлечь к работе мужчину-массажиста; пришлось переделать рентгеновский кабинет, разделив его; ничего, в тесноте, да не в обиде; через два месяца число пациенток-женщин удвоилось.

...Ростопчин задремал на высоком столе; массажист, господин Любих, дипломированный врач (это крайне важно для визитной карточки; «дипломированный врач, инженер, пилот»; все сразу же становится на свои места в переговорах с работодателем), протянул карточку – цена разумеется сама собою, работал артистично; хрустел его накрахмаленный халат, хрустели соли на шейных позвонках клиента, наслаждение, возвращение молодости; эластичность, что может быть надежнее?!

...Нарро вошел не постучавшись.

– Князь, на проводе Москва...

Ростопчин бросился к аппарату, как был, полуодетый, схватил трубку.

– Да неужели?! Слушай, как я счастлив, что застал тебя, Митя! Я, признаться, отнесся с юмором к твоему сообщению о польском господине Розене, но сейчас он мне будет очень кстати, нужны деньги! Чем бабы старее, тем бóльшие они стервы... Когда Розен прилетает в Цюрих?

И Степанов ответил:

– Он будет у тебя завтра, Женя. Рейс Аэрофлота. Сразу же позвонит, я дал ему все твои телефоны.

VII

«Милостивый государь Николай Сергеевич!

Посылаю Вам вырезочку из «Нового времени»: «Дэкадэнт, художник Врубель, совсем как отец дэкадэнтов Бодлер, недавно сошел с ума».

Так вот в чем дело-то! Несчастный, несчастный Врубель! Я кусаю пальцы от горя и неловкости! На кого же я ополчался? Супротив кого воевал последние годы?! Несчастный душевнобольной человек... Я в отчаянье... Не знаю, как уж и быть в таком положении. Намерен пустить заемный лист для сбора денег на его лечение, помочь Забеле, каково-то ей – после гибели единственного сына такое теперь с мужем?!

Оглядываясь на прошлое, я снова и снова спрашиваю себя: имел ли я право выступать против того, что он делал в искусстве? Ведь, оказывается, он с рождения был болен, отсюда все его выверты в форме и краске, вся его чужеродность, столь меня отталкивавшая. Меня ли одного?!

Или я ошибаюсь? Может, надо было не замечать нездорового уродства, проходить мимо? Слава богу, Императорская Академия (в отличие от вседозволенности старого академика Чистякова, наплодившего разрушителей традиции типа того же Коровина и Бакста) пока еще дает Руси высокий образец живописи, чуждый дэкадансу и разнузданному европейскому мракобесию.

Нет, отвечаю я себе, ты был прав! Он, господь наш, принял на себя тяжкий крест борьбы за чистоту детей своих, а я каждый свой поступок проверяю Его словом и делом...

Ты прав, отвечаю я себе, потому что волновало тебя не частное дело, но судьба нации! От врубелевского бунта против традиций до бунта черни – один шаг! От омерзительного наброска, который Репин посмел сделать с Победоносцева, до призыва к неповиновению власти – один шаг. От «Распятия» Ге, слава богу, запрещенного Синодом и Императорской Академией, до непослушания слову церкви – один шаг! От клеветы, которую возводил на русское воинство в своих полотнах Верещагин, до пугачевской смуты и того ближе...

Нет, никогда бытие не определяло дух, лишь дух определяет жизнь и ее моральное здоровье, лишь здоровый дух!

Вот и выплакался я Вам. На сердце полегчало, и почувствовал в себе силу продолжать то дело, коему был предан четверть века.

Остаюсь, милостивый государь Николай Сергеевич,
Вашим покорным слугою, сердечно Ваш
Гавриил Иванов-Дагрель.

Р.С. Танечка просит передать огромнейший привет мудрейшему Суворину, коли Вы его увидите в ближайшие дни, до того, как я выберусь к нему. Она, душенька, считает, что в напечатанной им заметке про Врубеля ничего нет оскорбительного. Все мы, говорит она, норовим недоговаривать, боимся сказать правду открыто, потому и страдаем. «Когда травят мышей,– заметила она,– их ведь тоже жаль, маленькие, серенькие, глазенки бусинками, но ведь, коли их не травить, всю крупу сгрызут!» Вот она, женская логика! До чего точна и предельна.

До встречи!»

2

– Ах, господин Вакс,– вздохнул Иван Ефимович Грешев, эксперт по русской истории и старославянскому языку,– мне делается жаль вас, европейцев, когда вы начинаете судить русское искусство.

– Я американец.

– Тем более. Вас еще, как единой американской общности, нет.

– Мы каждый сам по себе,– возразил Фол,– в этом наша общность. Высшая, с вашего позволения...

– Где учили русский?

– В Штатах, Праге и Москве.

– Состоите на службе в разведке?

– Я же вам дал мою визитную карточку. Там довольно четко определена моя должность в нашей фирме.

Странно покачивая острой птичьей головою, Грешев поднялся с низенького кресла (семнадцатый век, карельская береза; желтый, под золото, атлас поистрепался и залоснился, но все еще хранил тайну какого-то странного, видимо, геральдического рисунка), прошаркал к столу, пригласил Фола устроиться рядом с собою (стулья тоже обтянуты золотистым атласом, спинки очень высокие, человек среднего роста просто-напросто утопает в нем), отхлебнул черного холодного чая из высокой кружки (фарфор, семнадцатый век) и только после этого рассмеялся:

– Милостивый государь, я сотрудничал и с британской разведкой, и с частным бюро господина Николаи после краха кайзера, с французами и с бельгийцами – самые, пожалуй, талантливые шпионы, чувствуют друга и врага, что называется, ладонями... Не надо от меня таиться, это делает отношения между собеседниками фальшивыми, не получится диалога, и потом не я вас искал, но вы меня...

– Если вам хочется считать меня шпионом, считайте,– ответил Фол,– иногда это нравится взрослым людям; какая-никакая, а игра.

– Я очень старый человек, я не помню, когда был взрослым. Мой друг и ваш добрый знакомый Александр Двинн позвонил из Вашингтона и сказал, что, возможно, меня навестит мистер Фол, описал вас, у меня схватывающая память, а вы дали карточку с фамилией Вакс, вот и все... Что интересует вас?

– Очень многое, но сейчас более всего меня заинтересовали вы, Иван Ефимович.

– Я всех интересую. Все хотят обладать рецептом на выживание. Знаете, сколько мне сейчас лет?

– Семьдесят?

– Не стоит так грубо льстить... Вы же прекрасно видите, что больше восьмидесяти... И не говорите – не может быть! Мне девяносто два! Поэтому каждый день для меня так неповторим.

– Чем вы сейчас заняты, Иван Ефимович?

Грешев вздохнул, развязал тесемочки на старой папке, еще русская, дореволюционная, успел подумать Фол, и достал оттуда рисунок.

– Русский герб, двуглавый орел. Видали когда-нибудь?

– Конечно. В историческом музее.

– Там экспонирован один из тридцати трех. Запомните эту цифру! Каждое царствие на Руси отмечалось своим гербом. Да, да, именно так! Я посвятил этому исследованию три года. Идите сю-

да, ближе... Наш первый герб пришел из Византии с Софией Палеолог к Ивану Третьему, собирателю земель моей страны. Двуглавый орел, то есть герб Византии, нес в себе высший смысл державы: в лапах Западно-Римской империи был меч, а Восточно-Византийской – крест; подтекст очевиден – христианство идет на восток, оберегая мечом свои западные границы. Две короны, как и полагается; но Максимилиан Второй, император Византийский, отправляя Софию Палеолог, чтобы обратить Русь в католичество,– в этом же смысл брака, в чем еще?! – дал ей стяг, на котором был не императорский орел, но цесарский, и в лапах его не было ни меча, ни креста. Но зашаталась Византия, и наш Иван быстрехонько меняет византийского орла своей венценосной супруги; появляются две короны, царские, а не княжеские, и Георгий Победоносец на груди у орла. Спустя семь лет, после того как Ивану не пришлось более униженно ездить в Орду, иго сброшено, орел снова изменился: крылья вверх, в лапах – крест и меч, клювы раскрыты, яростны... Сын Ивана, царь Василий, меняет орла по-своему. Помер Василий, и пришел его сын, малолетний Ванечка, которого потом назовут Грозным, но поначалу будет управлять Русью не он, а боярство, и свершится беда, милостивый государь, истинная беда, объяснение коей в лености, чопорности и дурости русского боярства, поскольку для него чем жирней, тем уважаемей, чем медлительней, тем умнее... Вот и появился орел боярский: тучный, крылья опущены, меча нет, клювы закрыты, все подобно политике той поры – инертность, лень, прозябание, интриги. Но лишь только Ивану стукнуло шестнадцать, происходит чудо – в древних актах об этом ни слова, ни единой бумаги,– появляется новый орел: крылья вверх, предполетная устремленность; в когтях меч, клювы открыты грозно – предтеча действа, начало движения! И композиция завершается тремя крестами – впервые, заметьте себе, милостивый государь, впервые! Почему? Ведь еще не выдвинута теория Москвы как преемницы Рима! Ведь мудрец, автор концепции третьего Рима, не старец еще, не подобен мне, он еще в з р о с л ы й,– Грешев мелко засмеялся, тело его затряслось, только глаза смотрели на гостя холодно, с каким-то пренебрежением.– Но бояре-то ведь д о с т а л и Ивана, он ведь еще не был Грозным, он мальчишечкой был, молочко еще не обсохло. И удалился затем от царства, недостойны бояре его правления, мелюзга, друг другу горло грызут, наушничают, в з а к л а д отдают, только моргни; как с такими д е р ж а т ь Россию? Только Иван ушел в Троице-Сергиеву лавру, как сразу ж бояре создали своего орла! Крылья книзу, в лапах – ни меча, ни креста; нету и Мономаховой шапки. Мистика?! А что ж еще? Набирал Иван силы в

своем добровольном заточении, внимал молчаливо Пересветову, который предлагал поучиться у турок властвованию: на всех непокорных напустить янычар, гвардию императора, все позволено во имя силы державы; родилась концепция опричнины. Вернулся в столицу, и вместо Святого Георгия на груди орла появился единорог! Впервые, единственный раз в Троице-Сергиевской лавре Георгий Победоносец уступил на груди орла место диковинному нерусскому единорогу. В чем дело? А? Не догадываетесь?

– Я обо всем слышу в первый раз...

– Интересно? Я могу рассказать, если чувствую в глазах слушателя интерес... Так вот царь Давид, библейский герой, по имени Кроткий, казнил врагов своих куда как более, чем Иван, прозванный Грозным. И в поучении к псалму девяносто первому есть строки: «Враги твои гибнут, а мой рог ты вознесешь, как рог Единорога». С единорогом на груди орел Ивана благословил опричнину, казни, кровь... А уж после разгула этого Иван отменил единорога – доподлинно известно, не мистика уже, а царев указ,– вернул Победоносца, все возвращается на круги своя... Но пришел Федор Иоаннович, и снова крылья стали жалостливы, вид один, взлета не чувствуется. Да, да, вот не выдумка ж, правда! И клювики закрыты, и глазки на орлиных головах сонные. Воцарился Борис Годунов – и вновь новый орел! Головы его вопиют вместо меча. О чем же молит Борис? О снисхождении, что ль? За Дмитрия всенародно бьет челом о прощении?! Появился Лжедмитрий, и с ним орел с императорской короны, которой папа искушал Ивана Грозного в период его затвора... И того не искусил, и этот не успел. Не надоел вам? – резко прервал себя Грешев.

– Да будет вам, Иван Ефимович,– поморщился Фол,– вы же чувствуете, как любопытно все, о чем вы говорите. Намерены печатать?

– А кому это здесь надо? Вам надо, чтоб я облил грязью сельское хозяйство Советов. А орлы? Так, безделица, пустое... Ваша пропаганда весьма прагматична, на том и обожжетесь, а уж молодцы из «Свободы» таким ядом исходят, так уж жалки они в своей ненависти, что Кремлю прямо-таки каждый день подарок делают; злость-то разъедает, она вроде ржавчины, а россиянина можно добром брать, иначе – не-а, не выйдет.

– Любопытно. Хоть и не согласен. Но вы продолжайте, пожалуйста.

– Ну что ж! Россия помнит орла, приготовленного для Лжедмитрия в папстве: ни меча, ни креста, крылышки книзу. А с Романовыми – крылышки вверх; Мономахова шапка, в лапах крест и держава, но меча еще нет, истощена Русь боярством. А потом

Богдан Хмельницкий – вот и трехглавый орел, да ненадолго. Пришла Софья, исчез Георгий Победоносец... А после стрелецкого бунта кто-то нарисовал у орла розочки, цветочки! Что за прелесть, а? Ну, кто же, кто мог такое художникам приказывать?! Никто не мог, это с а м о... А потом петровский орел, могуч, крепок... Помер Великий, и по-онесло! Снова чехарда. Ну, а потом тарабумбия началась с Временным, там ужас что портачили, такие гербы шлепали, что не приведи господь... Словом, за четыреста с лишним лет более тридцати орлов, каждое царствие на Руси свое тянет, ясно? И лишь одни ваши заклятые вороги за столько лет серпа и молота не поменяли. То-то и оно! А вы задираетесь... Вам бы, сильным-то, с силой дело и иметь, потому как то, чего вы добиваетесь – развала на Руси,– вам же и обернется такой кровью, какая даже в Апокалипсисе не написана. Пожалуйте, милостивый государь, что у вас ко мне? Только сначала я схожу по малой нужде...

«Надо было запросить на него справку,– подумал Фол.– Я допустил ошибку, которая может быть непростительной. Это не человек, а миф, но в то же время реальность куда большая, чем в его молодых соплеменниках. Друг другу глотку перегрызут, игра в «кто главнее». Но как же ловко этот дед высчитал меня, а?!»

Грешев вернулся, уселся за стол, шмыгнув носом, спросил:

– Так каков же ваш интерес ко мне, милостивый государь?

– Вы сказали про ваше сотрудничество с разведками...

– А с кем же мне еще было сотрудничать? Кто деньги платит? Банк? Да на кой я ему ляд! Институт? Так я не поэт, не профессор, да и уехал я сюда, когда русских все больше в шоферы таксомоторов брали; престижно – полковник генерального штаба нувориша по девкам возит. Если бы Москва открыла двери для всех желающих вкусить вашего рая, вы б через год приехали в Кремль с челобитной: дадим наибольшее благоприятствие, запретим «Свободу», перестанем «Посеву» деньги давать, только бога ради закройте границы, удержите своих скифов дома, лентяи они обломовские, работе не учены, только глотку драть умеют и лбами друг с другом биться...

– Отчего вы, русский, так говорите о соплеменниках?

– Как? – Грешев пожал плечами.

– Резко, что ли... Простите, а вы настоящий русский?

– Уж понятно! Столбовой...

– То есть? – не понял Фол.

– Наконец-то донял я вас! Все вертел, вертел, не поддавались, а теперь – на столбовом – взял! Это значит, дворянин я, столбовой дворянин! Русский! С татарщинкой, конечно, да и без неметчины не обошелся, сколь их к нам понаехало, а может, ка-

кой французик с бабкой моей переспал, они горазды нашим дурам головы крутить: мон ами, поедем в Париж, там у меня апартаман; а у него мансарда на чердаке и холодный сортир в коридоре. Только русские вроде меня самих себя и бранят. Инокровцы дифирамбы поют! Кто у вас по русскому вопросу главный спец? Кто угодно, только не настоящий русский! Ну что вас привело сюда?

– Меня интересует Врубель, господин Грешев.

– В связи с предстоящим аукционом? Или заразились идеей освобожденного православия?

– А было закрепощенное? – Фол улыбнулся.

– У нас все было, милостивый государь... Вот, помню, беседовал я с немцами, они меня привлекали для анализа тенденций России в начале тридцатых годов... Нет, нет, я от Гитлера сбежал, бог знает какие книги оставил в Берлине, я ж только с локарновцами контактировал, которые хотели дружбы с Россией... Для них литературу читал, фотографии разглядывал, альбомы новой живописи анализировал – на этом материале г а д а л. Так они, знаете ли, фыркали – нет, нет, дружески, от удивления,– не могли понять логики моего рассуждения. Я им после прочтения молодого Пастернака, Тынянова, Тихонова говорю: «Возрождается государственная идея!» А они: «Ха-ха-ха!» А тут еще гитлеровский холуй, генерал Бискупский на меня с и г н а л и з и р у е т: агент Коминтерна! Да, да, у нас, если не поешь в одну дуду с эмиграцией, непременно предатель; обязательно чтобы был, как все, в унисон; свобода свободой, но попробуй со своим сунуться – замордуют. Врубель для России как знамение, милостивый государь, он ее безгранично чувствовал... Как, пожалуй, никто другой в двадцатом веке, оттого его душегубы и погубили.

– Отчего им так интересуется Москва?

– Так потому, что она матерь его.

– Ясно. А фамилия мистера Степанова вам ничего не говорит? Или князя Ростопчина?

– Нет.

– Хорошо, а чем объяснить поворот русских к поиску старинных картин, похищенных скульптур, исчезнувших библиотек?

– Как чем?! Жить стали лучше, читать всю Россию выучили, студентов наплодили тьмы, поди управься.

VIII

«Дорогой Иван Андреевич!

Сердце мое разрывается от боли, когда я смотрю на Мих. Ал. Врубеля! Я был у него в мастерской после то-

го, как он поправился от недуга, смотрел «Демона». Это чудо! Представляю, что будет на выставке! «Не простят ему этого, ох не простят»,— вспомнил снова слова Кости Коровина в Нижнем Новгороде. И не простили. Серов и Остроухов, друзья его, высказали свои замечания; Врубель сорвался, все его бранят, думал, свои будут мягче; накричал на Серова; но Остроухов спас положение, пригласил отобедать; Михаил Александрович сменил гнев на милость, снова стал предупредителен, кроток... Сказывается, видно, бессонница, он простаивает у мольберта по двадцать часов, глотает ложками бром с фенацетином, сжигает себя заживо.

На выставке успех был оглушительный, но Третьяковская галерея отказалась приобрести «Демона»! Да, да, отказалась! Говорят, восстали члены московской городской думы, на них оказали давление из сфер, Великий Князь Владимир Александрович соизволил заметить, что это «нездоровое искусство, далекое от традиций».

То был страшный удар для Врубеля. Он совершенно высох, шея торчит из воротника рубашки, как цыплячья, пиджак обвис, глаза запали... Надо ж помнить, что после родов очаровательная Надежда Забела-Врубель сошла со сцены, все время отдавала маленькому Саввушке, потом трагедия с младенцем, так что тяготы жизни на плечах одного Врубеля...

Выручил фон Мекк, купил «Демона», что спасло несчастную семью от голода.

Друзья оберегают художника от того, чтобы ему не попадались особо злобные рецензии на его работу, воистину гениальную. Да разве убережешь? Кто-то словно организует травлю всего нового и талантливого, чем так щедра земля русская. Кто?! Ведь это же истинные враги нашего искусства. Банда бездарей стоит за этим, злобных и алчных... Я слышал, как Врубель нахваливал молодого безвестного художника Малявина, рекомендовал его картины Мамонтову, Мекку, Остроухову. А как он продвигает молодого Ге?! Как не скупится на эпитеты, называя его гениальным иллюстратором, будущей гордостью русского книгопечатания! Как обожествляет Брюни! А почему? Да оттого, что дар таланта – доброта и полнейшее отсутствие зависти к коллегам по искусству. Дар бездари – зависть, неистовость кликуш, шантаж «традицией». А ведь не пройдет и десяти лет, как Вру-

бель сделается истинной традицией русской культуры, по нему учиться станут, только смогут ли, такие раз в столетие рождаются...

Я вспомнил отчего-то, как в гостях он увидел двух дам, говоривших что-то на ушко друг другу. «Давайте играть в «тайну»,– предложил художник.– Все шепотом!» И – весельчак по натуре – вовлек всех; дамы и мужчины принялись шептать что-то друг другу на ухо, он тоже поначалу принял участие в игре, а потом принес лист бумаги и в какие-то два часа написал поразительную вещь – «Тайна». Он ведь и «Пана» в два дня написал. Иному дремучему академику на это жизни не хватит, как же завистники простят такое ему?!

«Царевну-Лебедь», кстати, он продал Морозову за триста рублей... Просил пятьсот, тот долго торговался, попрекая Врубеля тем, что он слишком быстро работает. Врубель, бедняга, обещал следующую вещь еще лучше написать... Ну и уступил Мих. Ал. за триста... Слава богу, фон Мекк заказал авторскую копию, уплатил порыцарски...

Пожалуйста, узнайте, нет ли возможности издать альбом Врубеля? Ему предложили это из Парижа, право, обидно будет, если завоюет он Россию из-за границы!

До скорой встречи, дорогой Иван Андреевич!

Ваш Василий Скорятин».

3

В квартире никого не было: старшая дочь, Бэмби, отправилась за город к приятелю, младшая, Лыс, поехала за город к Наде, очень любит мать, никого так не любит, как ее; Степанов пошел к себе в мастерскую, достал из шкафа пару рубашек, джинсы, кроссовки; всегда мучительно собирался, обязательно забудет что-нибудь важное, а лишнее положит в чемодан; позвонил Зите; очень хороший и добрый человечек.

– Как у тебя сегодня дела, маленький?

– Как всегда. Будни, Митяш, скучаю; о вас думаю.

Степанов давно не звонил Зите; удивился: кажется, раньше она меня на «ты» называла, терпеть не мог одностороннего «ты».

– С каких пор ты меня на «вы»?

– Я всегда вас так называла.

– Черт, не может быть...

– Правда. Просто не обращали внимания... А может, раньше называла на «ты», не помню... Я же вас забыла. Скучаю и забываю, забываю и скучаю...

– Ну да,– он усмехнулся.– Я тебя в Доме кино с таким красавцем видел, что просто сил нет.

– Это когда же?

– Да с месяц назад.

– А вы с кем были?

– С мужчинами,– Степанов вздохнул.

– Так и поверила.

– Как-то странно вы, женщины, устроены. Молчала бы ты, Зитуля, грех ведь.

– Хотите, чтоб я к вам приехала?

– Хочу.

– Надо помыть кухню?

– Попала в десятку. Да и собрать надо меня.

– А вы куда?

– Ненадолго.

– Снова на полгода исчезнете?

– На неделю.

– Тогда красавцев не поминайте. Сами исчезаете постоянно, а меня, бедную, попрекаете... Вы один?

– Нет. С мамой и детьми.

Зита рассмеялась:

– Ладно. Еду.

– У тебя деньги есть?

– Нет.

– Одолжить можешь?

– Попробую. А что надо?

– Купи в кулинарии что-нибудь.

– Я девушка безынициативная, вы мне указания давайте.

– Свекольных котлет купи. А если есть ледяная, у нас вообще будет сказочный стол.

«Хороший человек,– снова подумал Степанов, положив трубку.– Их поколение чудесное, лучше нашего, л е г ч е, что ли; беспечнее. Мы-то запрограммированы на дело. А может, это правильно? Может, наоборот, тревожно, что они так легки и беспечны? Откуда это? Как откуда,– возразил он себе,– от спокойствия. Войны не знали, карточек на хлеб и ботинки; страшных ночей не знали, когда никто не ведал, будет ли утро; конуры в коммуналках тоже не знали, когда один коридор, двадцать жильцов и две плиты, очередь на которые расписана, и на ванную комнату тоже, а у туалетов так целые баталии разыгрывались...»

Степанов однажды, когда еще был жив его друг Режиссер, пришел к нему на студию в Лихов переулок и попросил подобрать московскую хронику, начиная с сорок пятого года: улицы, рестораны, дома, театры, магазины, квартиры. Девочки из монтажного цеха работали два дня, приготовили пять коробок; Степанов и Режиссер заперлись в маленьком зале, просмотрели материал и долго потом сидели молча, смоля сигареты.

– Ты что пишешь? – спросил тогда Режиссер.

– Сорок четвертый год.

– А зачем хроника?

– Не знаю... Видимо, без ощущения исторического оптимизма нет искусства. Я-то помню нашу Можайку в снегу и грязи, и было это в сорок пятом, и в сорок девятом то же было; я-то помню, как ужасно были одеты наши люди: черный или синий цвет, сплошная униформа, разве что бурки попадутся, начальственные бурки, белые с желтым кожаным ободком; мы-то помним с тобою, сколько людей ютились в коммуналках, но проверить себя необходимо. Вот и проверил.

– Когда ты купил первый телевизор?

– Телевизор-то бог с ним, а ведь тридцать лет назад мало кто знал, что такое холодильник. А вот поди представь сегодня, как жить без холодильника. Можешь?

– А ты?

– Не могу. Хоть убей, не могу. А ведь американцы почти в каждом доме имели холодильник еще в тридцатых годах...

– Зато у нас самые красивые девушки на земном шаре. Не согласен? – улыбнулся Режиссер.

– Согласен.

Зита пришла со свертком и сразу же стала мыть посуду. Это у нее какая-то страсть, подумал Степанов, вытирать пыль и мыть посуду, в гены заложено, не иначе.

– А масло у тебя есть? – поинтересовалась Зита, легко поцеловав его в щеку легкими холодными губами. (Занятно, подумал Степанов, как это странно все у них: стоит войти в твой дом и начать мыть посуду, «вы» исчезает, только «ты», отчего так? Он вспомнил фильм «Их было пятеро», боевик пятидесятых годов; там была замечательная актриса, она играла проститутку; драматург написал ей прекрасные слова, когда она поднималась с мужчиной, который любил ее, на фуникулере в Париж и он предложил ей перейти на «ты», она отказалась: «Через мою постель прошло так много солдат, они так легко называли меня на «ты», что высшим благом любви я ощущаю право говорить «вы» тому, кого люблю, и от него слышать это же...»)

– У тебя есть масло? – переспросила Зита.

– Кажется.

– Если нет, мы погибли. Свекольные котлеты развалятся, положи я их на сковородку без масла.

– У меня тефлоновая. Можно без масла.

– Что-то я не верю в эти новшества.

– Дикарка ты? Картофельный бунт затеешь?

– Отбунтовалась, слава богу.

– Давай сначала сложим мои вещи.

– Две минуты дел.

– Больше. Надо упаковать черный хлеб, две банки икры сунуть в кроссовки, а шерстяные носки, трусы и джемпер можешь класть как душе угодно.

– Джемпер-то зачем? Весна.

– В Лондоне весны холодные.

– Ты в Лондон? Как интересно! А плащ взял?

– Нет.

– Так ведь там всегда дожди.

– Не больше, чем у нас. Слушай, Зитуля, почему ты ко мне, старику, ездишь?

Зита рассмеялась:

– «Старик»! Ты не знаешь, что такое старик. Ты умеешь цветы дарить. Женщине ничего не надо, только б подарили цветы. Так приятно.

– Объясни почему.

– Но ведь ты даришь? Значит, понимаешь, как это важно...

– Говорят, что надо. Я штудирую мировую литературу, учусь льстить женщинам.

Зита поставила посуду в сушилку, оглядела маленькую кухоньку, села на табурет возле окна, подперла щеку кулачком и вздохнула:

– Жизнь какая-то дурацкая, да, Юрьевич?

– Есть несколько. Что это тебя в минор потянуло?

– Так... Ты женился, когда я в первый класс пошла, а Лыс и мой Колька родились в один год. Ты один, и я одна, а вместе нам быть нельзя – ни мне Колька не простит, ни тебе Лыс и Бэмби. Ты мотаешься, от себя убегаешь, а меня красавцы обхаживают. Говорят, судьба каждого предопределена заранее. Верно, да?

– Черт его знает. Наверное.

– Ты счастливый, у тебя есть любимое дело... Пойдем чемодан укладывать?

– Айда.

Золотой человек, подумал Степанов; самое страшное, когда в женщине проглядывает хищница; а в общем-то, не мы ли их таки-

ми сделали? Унизили до равноправия, ей теперь, бедолаге, и в очереди стоять после работы, и обед готовить, и белье в прачечную нести. А он телевизор смотрит, возлежа на диване. В тапочках. Хоть бы босой, в этом есть что-то мужское, так нет ведь, все норовят в шлепанцы влезть, домашний покой, сплошная благость...

Зита собрала чемодан быстро и споро; так только Бэмби умеет складывать, подумал Степанов; у Бэмби началась своя жизнь; и слава богу; я не вправе ее ни в чем упрекнуть, я обязан радоваться этому; иначе все будет противоестественным; годы — это потери, и ничего с этим не поделаешь; Роланд испытывал счастье, только если против него выходила на поле брани сотня; когда ему противостояли пять рыцарей, он чувствовал раздражение; с каждым прожитым днем врагов у тебя все больше; болезни; одиночество; страх перед усталостью, которая не позволяет писать так, как ты мог раньше, бессилие перед мыслью о том, что не успеешь сказать все, что обязан; литератор подобен аккумулятору, жизнь — постоянная подзарядка, только-только поднялся до понимания чего-то общего, только-только ощутил с л о в о, как вдруг хвороба, и все уходит с тобою в небытие... Ах, как прав был Уайльд, когда говорил, что слово более могуче, чем музыка или краски, оттого что в нем и страсть, и одухотворенность, и музыкальность, и цвет, и, главное, мысль... Хотя тайна накопления с л о в а вечна, и счастье, если ты окажешься хоть частицей этого процесса...

— Знаешь, я иногда думаю,— сказал Степанов, когда они вернулись на кухню и Зита включила маленькую электрическую плитку,— что все эти мои трепыхания с нашими картинами не очень-то и нужны...

— А ты не слушай идиотов... И потом, тебе завидуют... Живешь, как хочешь, девушки к тебе льнут, здоров...

— Здоров,— повторил Степанов.— Мечтаю скорее лечь на койку и уснуть.

— А мне нравится смотреть, как ты спишь. Тебе страшные сны показывают?

— Я их не помню. Бэмби все свои сны помнит.

— ...Я так ею на выставке любовалась, так восхищалась ею. Какая же она красивая... Похожа на Надю.

— На меня тоже.

— А мой Колька на отца похож. Меня это стало пугать.

— Не вздумай при нем ругать отца. Это оттолкнет от тебя мальчика.

— Я знаю. Хвалю его отца, все время хвалю... Знаешь, как трудно постоянно врать?

— Но ведь что-то хорошее у тебя с ним было?

Зита пожала плечами.

– Рыбу прожаривать?

– Ни в коем случае. Я сыроед.

– Знаешь, все-таки самая прекрасная поэтесса – это Цветаева.

– Ты любишь только ее и Ахматову, да?

– Наверное. Только несчастья создают великую поэзию.

– У вас с ним было хорошее,– убежденно сказал Степанов.– Разве Колька – это не самое прекрасное в твоей жизни?

– Да,– сказала Зита.– Верно.

В восемь утра позвонила Бэмби.

– Па, я не опоздала?

– Нет.

– Сейчас приеду и отвезу тебя в Шереметьево.

– Хорошо.

Зита вздохнула:

– Не говори Бэмби, что ты зря занимаешься своими картинами, это очень больно слышать, так больно, что прямо сердце разрывается... Кто обидел тебя?

– Никто. Просто мне показалось.

– Не обращай внимания. Сколько у меня еще есть времени?

– Минут десять. Выпей кофе.

– Не хочу. Я хочу поцеловать тебя. Пожалуйста, позвони, когда приедешь; ты ведь только перед отъездами звонишь... А потом красавцами коришь...

– Выходишь замуж за него?

– Да.

– Правильно.

– Нет. Неправильно. Просто он спортсмен, мастер, Кольке это нравится, мальчишка ведь...

– Ты тоже мастер.

Она усмехнулась:

– Я бывший... А он гонщик, понимаешь... Но, если скажешь, что не надо, я не выйду.

Степанов закурил.

– Увы, я скажу «надо».

– Я все равно стану приезжать к тебе.

– Это будет нечестно.

– Честно. Любви у нас нет с ним, так, мирное сосуществование, очень удобно.

– Ты очень одинокий человек, Зита...

Она покачала головой:

– Очень одинокий человек ты. И я ужасно люблю тебя...

«Нет,— подумал Степанов,— ты сказала не то слово; просто ты привыкла ко мне, тебе спокойно со мною, хотя, наверное, с тем лучше, да и молод он, следовательно, полон фантазий, а что такое фантазия, как не мечта о совместном будущем, обязательно счастливом? «Люблю»— особое слово. Нет еще такого слова, не родилось еще такое слово, которое определяло бы наши отношения; много молодых женщин тянутся к мужчинам моего возраста — не за деньгами или благами, отчего так? Вот бы «Литературке» социологический опрос провести».

— Ты о чем, Юрьевич? — спросила Зита.

— О тебе,— ответил он и погладил ее по щеке.— Спасибо за то, что пришла, я очень тебе рад, человек...

IX

«Дорогой Иван Андреевич!

Слава богу, Врубель снова в прекрасной форме, недуг отступил! Как он пишет, бог ты мой, как он вдохновенно работает!

Портрет Забелы-Врубель на фоне берез сказочен! А «Раковина»? Князь Щербатов сразу же выложил за нее три тысячи рублей! А еще два года назад «Царевна-Лебедь» стоила т р и с т а! Неужели мы признаем гения лишь после трагедии, им перенесенной?! Или — хуже того — смерти?!

А каков его «Автопортрет»?! Какая сила духа, какое моральное здоровье, какая доброта!

Враги примолкли, имя гремит не только в России, но и в Париже. Враги его не что иное, как мелюзга, но ведь эк они смогли организовать травлю! Сколь последовательно и упорно рвали его своими грязными когтями, до чего изобретательно клеветали, как топтали любую его работу!

Он вернулся из клиники с ворохом рисунков и заготовок, пишет каждый день и снова не отходит от мольберта по восемнадцать часов, а то и больше.

Порою мне кажется, что он словно бы чувствует нечто, поэтому торопится отдать нам все то, что ему предначертано...

Слава его создалась сама по себе, им одним, его трудом, никто из критиков не написал о нем сколько-нибудь серьезных статей. Вой шавок забыт, исследования творчества гения нету и в помине, поскольку не готовы мы еще к этому; он всех нас обогнал, он живет на двадцать

лет вперед, но имя его тем не менее известно. Вот ведь диво-то, а?! Воистину, Иваны, не помнящие родства. Человек, создающий такой престиж России, ее национальная гордость, невероятно одинок. А может, критики просто-напросто не решаются писать об нем, понимая свою малость в сравнении с ним?

Но кто же, кто будет радеть о памяти народа?!

Салонная болтовня имени не делает. Труд, только труд во имя Родины, только испепеляющая честность, только талант, богом данный...

Грустно и пусто, Иван Андреевич, и просвета не видать.

Ваш
В. Скорятин».

4

Розен вышел из самолета, кутаясь в толстый шарф (купил в «Березке»; где-то прохватило; последние дни были забиты совещаниями; накурят, откроют форточку, сквозняки; москвичи крепкие, а он почувствовал озноб, испугался, что свалится, постоянно хотелось укутаться, самое страшное ощущение – холод).

В Цюрихе было солнечно, хотя с гор дул холодный еще ветер; пассажиров немного, после пасхи все отсиживаются дома; сезон деловой активности в эти недели несколько спадает; пограничник лениво глянул на его зеленый паспорт; пропустил; пошел за багажом (вез, как всегда, черный хлеб, баночную воблу, деревянные сувениры из магазина на улице Димитрова; прощаясь, сказал Степанову, что, если бы ему дали право производить русские сувениры и торговать ими по всему свету, он бросил бы станки, стал мультимиллионером; ходите по золоту, не хотите нагнуться); чемодан подвезли через пять минут; взял к а т а л к у, пошел к выходу; сначала в отель, оттуда звонок русскому князю; интересно бы понять, каков его бизнес; вполне возможна кооперация; завтра в банк, первый взнос в п р е д п р и я т и е – десять тысяч баков; жаль, что об этом нельзя написать – в Нью-Йорке задавят в два счета, да и Панама в этом смысле не подарочек; конечно, город пахнет золотом, прекрасное место, откуда можно в е р т е т ь дела, что же касается поддержки русских, и думать нечего; вокруг американские военные базы, в каждом видят шпиона; конечно, для рекламы это неплохо, меценатов чтят, только бы чуть попозже, года через два, когда у меня в банках Женевы и Цюриха будет столько денег, что не страшны словесные нападки; русские гово-

рят, что на каждый роток не накинешь платок, верно, но в каждый раскрытый клювик можно положить пять тысяч долларов, и клювик закроется.

– Мистер Розен,– услышал он чей-то тихий незнакомый голос за спиной и сразу же почувствовал, как в груди стало холодно; Жаклин всегда говорила, что у него абсолютное чувствование.

Мужчина, который окликнул его, был в синем пальто тончайшей шерсти; лицо волевое, сильное; сила чувствовалась в том, как были посажены его глаза, круглые, птичьи, очень глубоко; брови вразлет, густые, словно бы наведенные, резкие продольные морщины по щекам; чуть оттопыренные боксерские уши (по точечкам на мочках видно, что ему периодически убирают волоски, очень квалифицированная работа, специалисты на вес золота), гладкий высокий лоб, красивая седина, последнее, что заметил Розен, были лайковые, мягчайшей кожи туфли; как правило, такие можно купить только в магазине Ка Де Вэ в Западном Берлине или в лондонском «Сэлфриджес»; лет семь назад подобная обувь производилась большей частью в Испании, куда им девать коровьи кожи, корриды каждый день; теперь такой обуви нет, гонят р а с х о ж у ю, демократизация, рынок точно реагирует на такого рода изменения.

– Я слушаю вас...

– Меня зовут Луиджи, мистер Розен. У меня к вам поручение.

– Да, но я не знаю вас, мистер Луиджи.– Розен хорошо говорил по-английски, но с невероятным акцентом, по образованию техник, ничего не попишешь, страсть к точности, в русском-то говорится, как читается, одним словом, фонетика; потому-то, наверное, русские так недоверчивы к англосаксам, во всем ищут второй смысл, а поди не ищи, если каждое слово – загадка и два в ней смысла.

– Я Луиджи Роселли, владелец фирмы по торговле правами на журнальные и газетные статьи. С мафией не связан,– мужчина улыбнулся; лицо похоже на Бельмондо; далеко за пятьдесят; но зубы все свои; или же летал в Штаты, там вживляют новые, вырванные у юношей, погибших в автокатастрофах, бешенные деньги, но гарантия абсолютная.– Я отвезу вас,– он кивнул на свой «мерседес»,– по дороге поговорим...

– Я не езжу с незнакомыми,– ответил Розен, ища глазами полицейского, увидев двух, успокоился.– Вы можете сказать мне то, что хотите, здесь...

– Хорошо, я подъеду в ваш отель,– сказал Роселли.– Право, я не намерен похитить вас. Или шантажировать. Меня просили поговорить с вами о том деле, которое касается не вас, но вашей семьи.

– Говорите! – воскликнул Розен, сложив на груди свои короткие маленькие руки.

– Вы не хотите, чтобы я знал, где вы остановитесь на эту ночь? Но ведь это так легко выяснить... Впрочем, как вам угодно, пойдемте в кафе.

– Да, но у меня чемодан...

– Это, конечно, очень серьезное препятствие,– Роселли смешливо дернул кончиком тонкого перебитого носа.– Я занимался спортом и помогу докатить ваш чемодан до кафе; за воду и сандвич плачу я.

Когда они сели за столик, Роселли попросил наглого официанта – посмел не провести их за столик, а лишь барственно кивнул бритой головой – принести два кофе, поинтересовался, не хочет ли Розен двойной, тот ответил, что несколько ошеломлен происходящим, кофе вообще не пьет, только чай: сердце; ограничится стаканом воды; «Нет, нет, самой обыкновенной, от минеральной у меня изжога»; и приготовился слушать, как-то странно при этом похлопывая себя по карманам.

– Хотите курить? – осведомился Роселли.– Пожалуйста, только мои без фильтра, я долго жил в Париже. Привычка – вторая натура...

– Благодарю. Я бросил курить, хотя до сих пор не могу себе отказать в двух-трех сигаретах...

– Фокусы,– вдруг жестко и сухо сказал Роселли.– Так вы курить никогда не бросите. Это опасное занятие – сидеть между двумя стульями, мистер Розен.

– Что? – спросил Розен и снова почувствовал в груди холод.

– То самое. Словом, мне поручено сказать, что мистер Степанов работает на Кремль; «красный князь» ведет здесь – по его заданию – пропаганду, «мир и дружба», словом, сами понимаете... Если вы действительно решили платить им деньги, вашему предприятию в Панаме может быть нанесен ощутимый урон.

– Да, но я имею право тратить мои деньги так, как хочу! Я это делаю в интересах моего бизнеса в конце концов! Мне никто не поможет, если я себе не помогу! И потом что тут предосудительного – купить несколько картин и вернуть их в Россию?

– Ничего. Ровным счетом. Речь идет лишь об этом аукционе. Те люди, которые намерены приобрести Врубеля, не позволят, чтобы он ушел на Восток. Эти люди имеют большой вес в банковском мире. Они сомнут вас.

– Откуда вы узнали, что я намерен...

Роселли вытащил из кармана конверт, вынул из него две странички, протянул Розену.

– Читайте. Это запись телефонных разговоров Степанова с князем...

– Вы из разведки?

– Упаси бог! Вы никогда не прибегали к услугам частных детективных агентств?

– Да, но зачем мне это?!

– Прочитайте, прочитайте, мистер Розен. А прочитав, подумайте, не придется ли вам прибегнуть к их помощи.

– У вас есть очки? – спросил Розен.– Мои в портфеле.

– Я читаю без очков.

Розен открыл свой плоский портфель, неожиданно для себя протянул Роселли ложку из Хохломы, которую на самолетах Аэрофлота дарят пассажирам первого класса; достал очки; прочитал странички, не прикасаясь к ним пальцами.

– Да, но это ж явная слежка. У вас есть основания следить за этими людьми? Они делают что-то противозаконное?

– Повторяю, меня уполномочили передать вам, что в ваших же интересах взять сейчас билет на самолет, который идет в Нью-Йорк или Панаму. И улететь. Люди, которые мне поручили эту миссию, относятся к вам с симпатией. Вы доверчивый человек. Москва втягивает в свои сети на чем угодно – культура, спорт, медицина,– а потом бизнесмен оказывается в центре паутины, выпутаться из которой невозможно.

– Да, но я заангажирован, мистер Роселли! Я говорил в Москве, что я хочу помочь им!

– Понятно, понятно... И под это пошли вам навстречу? Сулили льготы? Обещали наибольшее благоприятствование? Скажите им, что у вас случился сердечный приступ. Если хотите, мы подготовим соответствующие справки. Пришлете потом письмо, что по-прежнему горите желанием проявить себя на ниве меценатства, пусть только сообщат, где будет новый аукцион русской живописи. Прекрасный выход из положения...

– Тем не менее ваш ультиматум ставит меня в сложное положение. Может быть, господа, которые поручили вам эту миссию, каким-то образом компенсируют сложности, которые возникнут у меня в Москве?

– Вас ведь никто не вынуждал в Москве к меценатству, я полагаю? Это была ваша инициатива? Или кто-то намекнул на целесообразность такого рода комбинации?

Розен снова всплеснул руками:

– Какая комбинация?! Я был совершенно искренен! В конце концов я обязан им спасением...

– Перестаньте, мистер Розен. Своим спасением вы обязаны

самому себе. И никому другому.– Он обернулся к официанту, щелкнул пальцами (отчего-то именно этот сухой, властный щелчок произвел самое ужасающее впечатление), не глядя на счет, бросил деньги, положил в карман сдачу и резко поднялся.

Розен тоже встал, по привычке сложил на груди руки.

– Погодите же! Мы ни о чем не договорились...

– Честь имею, мистер Розен. Я свое поручение выполнил,– ступая мягко, как рысь, Роселли пошел к выходу.

– Погодите! – взмолился Розен.– Вы же говорили о заключении врачей, погодите!

Роселли, не оборачиваясь, остановился; секунду стоял, словно бы в раздумье, потом вернулся, постоял над Розеном, который так и не поднялся со стула, сказал рубяще, властно:

– Я найду вас сегодня в десять вечера в «Савойе». По-моему, вы останавливаетесь именно там?

– Да, но откуда вы знаете?!

– Мистер Розен, вы не мальчик, и я вышел из детского возраста. Я чувствую, что вы продолжаете комбинировать, еще не приняли окончательного решения... Напрасно... Взвесьте все, что я вам сказал... Вы ищете выход; вы умный, но и я не дурак... Смотрите, не заиграйтесь. Итак, «Савой», лобби, десять вечера. Честь имею...

...Розен первым делом позвонил в Нью-Йорк Жаклин; продиктовал свой телефон; сказал, что неважно себя чувствует, спросил, как дети, не звонил ли кто из фирмы, все ли спокойно, пожаловался на колотье в боку; на вопрос, как дела – Жаклин была главным советчиком, умница,– ответил, что все нормально.

Потом разделся, налил в громадную ванну горячей воды и блаженно опустился в зелено-пенное озеро; отчего-то испугался, что может захлебнуться, потому что ноги не доставали до краев; высший шик – громадные ванны, утопленные в мраморном полу, рассчитано на голиафов или на то, чтобы с тобою рядом нежилась девица; расслабился, закрыл глаза и только тогда подумал, что положение у него чудовищное, появиться в Москве невозможно, если не выполнить обещания – Степанов его просто-напросто не поймет. Нет, сказал он себе, я должен найти выход; наверное, нужно позвонить князю, это прямо-таки необходимо; нельзя, возразил он себе, они слушают все телефоны, эти итальянские бандиты; а как же поступить? Позвонить в его офис, когда князя нет? А что? Верно. Сказать секретарю, что Розен здесь, времени в обрез, надо кое-что передать, самолет уходит через три часа. А если секретарь его найдет? Или сам князь приедет в аэропорт? Можно дать неверный телефон. А потом сказать, что перепутал секретарь;

нет, детство, наивность, не годится. Надо было в Москве еще по телефону спросить номер его счета и перевести деньги – этого никто не узнает, никакие детективы, частные или государственные; детектив детективом, а банк есть банк...

...Телефон в номере прозвонил резко, требовательно. Розен снова ощутил тошнотную пустоту в желудке, накинул халат, прошлепал маленькими мокрыми ступнями по синему персидскому ковру, снял трубку; кто-то прерывисто дышал, на его испуганный вопрос: «Кто, кто там?!»– не ответили; он очень тихо вытерся, словно бы в номере был еще кто-то невидимый и, достав из портфеля карты, быстро разбросал «наполеоновскую косыночку», очень верил...

Потом позвонила Жаклин; к ней только что приходили; плакала; умоляла вернуться; путано говорила о предчувствиях: «Поверь, родной, если ты будешь упрямиться, нас ждет горе...»

5

Лондон ошеломил Степанова. Он бывал во всех столицах Европы, подолгу жил в Париже, Берлине, Мадриде, однажды, лет восемь назад, провел в столице Англии пять часов, плыл тогда на теплоходе в Гавр; устроили экскурсию: «Посмотрите налево, посмотрите направо»; завели в диккенсовскую Лавку древностей; в одном из парков на низко стриженном газоне стоял обнаженный парень с гривой спутанных волос, держал на плече орла и делал странные гимнастические упражнения; птица в такт махала громадными крыльями; Степанов тогда ощутил запах гнезда, терпкий какой-то.

Пожалуй, более всего его поразили старые, стертые лестницы в порту; именно в них он ощутил величие; оно не очень-то считается с внешними аксессуарами; важнее количество судов, стоящих на рейде, чем внешний вид порта.

Проезжал по районам, где жил когда-то Джек Лондон; вспомнил, как в молодости, еще репортером, мечтал пожить здесь, написать цикл новелл об американце, пытался сделать это и в Испании – пройти по всем местам «Испанского дневника» Кольцова,– тоже не успел. Как же много пролетает мимо, не успеваем... После того как улетел из Аргентины, гонял в маленьком двухместном самолетике над пустыней Наска в Перу, где кем-то и когда-то были выложены таинственные знаки для древних астронавтов; разговорился с молодым пилотом; тот учился в Буэнос-Айресе; «У нас механиком был старик, он готовил к полету машины французского писателя со сложным именем».– «Сент-Экзюпери? – спросил Степанов.– Вы его имеете в виду?» – «Кажется, да,– отве-

тил парень,– что-то похожёе, старик очень интересно рассказывал, как тогда летали через океан на маленьких двухмоторных самолетиках и француз этот не боялся поднимать машину ни в грозу, ни в ураган». Степанову стало мучительно стыдно: прожил два месяца в стране, а про Сент-Экзюпери забыл; «Суета, суета, суета, неоплаченные счета». Подумал, откуда эти слова, и вспомнил Москву шестьдесят четвертого, премьеру «Трех апельсинов» в Театре юного зрителя, банкет, который устроил потом в «Арагви» Михаил Аркадьевич Светлов; тогда еще был жив Миринго ф, он привел Степанова в театр и заставил написать пьесу, и Варпаховский еще был жив, и Гриценко, и Алейников, только не надо сейчас о них, сказал себе Степанов, очень пусто станет тогда жить, надо жить живыми; Бэмби надо жить, Лысом; но ведь эти слова написал Светлов, а его нет; Степанов прочитал ему свои стихи, каждый прозаик б а л у е т с я стихами, а Светлов – с его острым лунным профилем – взял салфетку и написал на ней: «Сколько раз я в гробу пролежал, столько раз я друзьям задолжал, суета, суета, суета, неоплаченные счета». Поротянув салфетку Степанову, он сказал тогда: «Мальчик мой, не занимайтесь чужим делом, лучше поедем ко мне и, если хотите, поговорим о поэзии, хотя говорить о ней кощунственно».

Нет, ничего Степанов тогда не понял в Лондоне; надо поездить по этому громадному и такому разному городу, надо подивиться его паркам и озерам, надо понять всю з н а ч и м о с т ь различия между районами Челси и Кенсингтона, Вестминстера, Белхема и Блекхиса; надо проехать по Тауэр-бридж через Темзу и ощутить тайну Сити, его кажущуюся запутанность, а на самом-то деле жесткую островную логику...

– Слушайте,– спросил Степанов приехавшего в аэропорт Суржикова из торгпредства,– а все-таки отчего здесь правостороннее движение? Или лево? Путаюсь в этом лево-право, но почему наоборот? Не как всюду в Европе?

– От рыцарства,– ответил Суржиков.– Со времен средневековья рыцарь всегда был справа, так уж повелось, традиция.

– Ах ты, черт возьми, как интересно!

Он вспомнил Сингапур, странную и грустную Джой, которая была с ним все время, пока он работал там в начале семидесятых. Сингапур еще жил по законам бывшей империи, десятилетия потребны для государственных перемен, многие десятилетия, азбука политики, ничего не попишешь... А где сейчас Джой? Мы были одногодки, и это очень страшно, если я ее встречу; когда женщине пятьдесят три, а ты был с нею пятнадцать лет назад, это как поминки по безвозвратно ушедшей поре, упаси бог.

– Что с программой, Дмитрий Юрьевич? – спросил Суржиков.– Завтра в десять утра встреча с сэром Годфри, он ведет ваше шоу.

– Нет, Коля. Как говорил Бабель, об завтра не может быть и речи. Завтра весь день я буду в «Сотби», на Нью-Бонд-стрит. Встретиться можно или поздно вечером, или же с утра послезавтра.

– Хорошо, я внесу коррективу... Сейчас в отель?

– Да. Где мне забронировали номер?

– В «Савойе».

– Но ведь это очень дорого. Зачем?

– Поскольку встречу ведет фирма сэра Годфри, он и бронировал для вас номер. Тут вопрос престижа, нельзя жить во второразрядном, он имеет дело только с серьезными людьми.

– От «Клариджа» далеко?

– Не очень.

Степанов посмотрел на часы: семь; есть время принять душ, очень устал; визу получил только накануне, страшная нервотрепка; билет в кармане, все дела отложены, настроен на поездку, а визы нет; со своими-то можно драться, пойти н а в е р х, а здесь полнейшая безнадега: «Лондон еще не дал указаний, ждем». И все тут. Вот и жди, ощущая свое полнейшее бессилие; демократическое общество, правила игры; тебя обсматривают со всех сторон, изучают, анализируют, словно, ей-богу, муравей какой.

В номере работал кондиционер, хотя на улице не было жарко; на столике рядом с телевизором стояли фрукты, орешки; визитная карточка: «Желаем всего самого лучшего в нашем отеле, управляющий Хэмфри Пьюдж». Спасибо, мистер Пьюдж, винограда в этом году я еще не пробовал, надо загадать желание, всегда, когда пробуешь что-то новое, чего еще не ел в этом году – будь то свежий картофель, редис или виноград,– загадывай желание, сбудется, только загадывай не после того, как съешь сладкую желто-зеленую виноградину, а до; все-таки май, черт подери; двадцатый век; везут самолетом, знай плати деньги...

...В восемь часов он подошел к «Клариджу»; лакеи в коричневых фраках и высоких цилиндрах дружески распахнули дверь; ни тени подобострастия или раболепия; делают свою работу, и все тут; в лобби князя не было; Степанов спросил портье, приехал ли «принс Ростопчин».

– О да, сэр... Он у себя, номер пятьсот три. Вас проводить?

– Нет, благодарю.

– Из лифта направо, пятая дверь, сэр...

Степанов постучал; услыхал «входи»; Ростопчин сидел у телефона; прикрыв трубку ладонью, шепнул:

– Замучили звонками, прости, что не спустился, садись, угощайся фруктами.

На столике была такая же ваза, как в «Савойе», виноград, груши, яблоки и бананы; орешков Степанов не увидел.

После бесчисленных «да неужели», «не может быть», «что вы говорите» Ростопчин наконец повесил трубку; вздохнул, покачал головою:

– Совершенно невероятная история! Меня разыскал здесь Зенон, мой друг по маки. Потом какие-то идиоты звонили, словно сумасшедшие. Как это хорошо, что ты приехал, я страшно рад. Неужели ты не мог взять паспорт и прилететь в Цюрих? Ты мне был очень нужен у Лифаря.

– Не мог.

– Неужели?! Почему?

– Потому что сначала я должен договориться с тем, кто пошлет меня в командировку... Это раз... Потом я обязан запросить визу и ждать ответа... Два. После этого получу паспорт – три.

Ростопчин вздохнул:

– Знаешь, я задал такой же вопрос одному журналисту из Москвы... Он ответил, что паспорт у него постоянно в кармане, ездит когда и куда хочет. Зачем он лгал?

– А дурак,– отмахнулся Степанов.

– Да?! – князь по-детски удивился, очень открыто и доверчиво.– Но он же доктор искусствоведения, чуть ли не профессор.

– Ты разве не видел глупых профессоров? Нарушена пропорция головы и задницы, усидчивости и ума – вот тебе и глупый профессор.

Ростопчин рассмеялся:

– Ты прав, Митя. Вопрос пропорций – вопрос вопросов человеческого бытия... Дураков так много, увы!

(Фол взглянул на своего сотрудника Джильберта; вместе слушали разговор князя и Степанова в соседнем номере, усмехнулся; в свое время Джильберта направили в Оксфорд; учился в семинаре китайской истории; последние два года посвятил себя исследованию русской литературы.)

– Ты выглядишь усталым,– сказал Степанов.

– А я и есть усталый,– отозвался Ростопчин.– В Лондон приехала стерва...

– Кто?

– Моя бывшая жена... Так что запомни, на этот раз я ничего не плачу. Ты привез мне пятнадцать тысяч долларов из Министер-

ства культуры и попросил быть твоим консультантом, ясно?

– Нет, не ясно... Сколько тебе передал Розен?

– Я его и в глаза не видел. Он мне даже не позвонил...

– Не может этого быть, Женя! Я проводил его в Шереметьево! Он сел на самолет! В Цюрих...

– Не звонил,– повторил князь.

– Может быть, тебя дома не было?

– Там всегда дворецкий и повар. Жена дворецкого бежит к каждому звонку, страшно любопытна, ты же знаешь ее, а в офисе постоянно дежурит секретарь.

– Ничего не понимаю. Он сам предложил передать тебе десять – двадцать тысяч...

– Не думай об этом, Митя. Научись спокойно относиться к потерям. Золле привезет документы, он будет внизу через полчаса. Бедный, у него нет денег на самолет, я оплачу ему проезд, но он такой гордый... Мы предъявим документы Золле о том, что Врубель был похищен нацистами, и мы выиграем эту драку, поверь... А те пятнадцать тысяч, которые у меня остались... Да, да, да, увы, только пятнадцать. Я не хочу скандала, ты же знаешь женщин... Стареющих женщин... Боже, как прекрасны молодые, верные подруги, как рады каждому дню, как счастливы даже часом доброты, надежности и веселья... Словом, пятнадцать тысяч мы пустим на то, что интересует твои музеи – письма, книги, документы, а Врубель будет нашим так или иначе. Знаешь, сюда летит чартерный самолет из Нью-Йорка. Закупили коллекционеры, так что, судя по всему, предстоит драка.

– Я должен позвонить Розену...

– Что это тебе даст? Откуда он взялся? Ты мне не объяснил толком. Такой милый голос... Он понравился мне по телефону, говорит по-русски прекрасно...

– Розенберг тоже говорил по-русски прекрасно.

Ростопчин удивился:

– Какой? Майкл Розенберг? Из «Нэшнл корпорэйшн»?

– Нет, Альфред Розенберг.

– Тот, что воровал картины в музеях?

– И расстреливал ни в чем не повинных людей...

(Фол шепнул Джильберту:

– Розенберг и Штрайхер – два самых черных мерзавца из гитлеровской камарильи. Степанов прав.)

– Ешь виноград,– сказал князь.

– Спасибо, я уже ел.

– Где?

– В моем отеле. В «Савойе». У меня же здесь выступление... Только это дало мне возможность приехать к тебе, Женя. Спасибо Андрею Петровичу...

– Это он организовал?! Какой чудный человек! Он не скучает в Москве? Все-таки быть послом интереснее, чем руководить компанией.

– Его компания имеет такой оборот, как иное государство, не до скуки. Думаю, сейчас забот у него не меньше, чем раньше. Но все-таки я должен позвонить Розену, Женя... С ним что-то случилось, уверяю тебя.

– Не надо меня ни в чем уверять. Он человек бизнеса. Я тоже человек бизнеса. Увы, не умею писать книги. Столько сюжетов, таких поразительных сюжетов. Забудь о нем... Пойдем вниз, вдруг Золле уже пришел... В утешение нам обоим я должен тебя порадовать: Лифарь на этот раз не пустил в продажу письма Пушкина. Я уговорил его.

– Как тебе это удалось?

– Знаешь, лучше после... Все это слишком больно...

(Фол дождался, пока закрылась дверь в номере князя, выключил диктофон, на который шла запись, снял со стены прослушивающее устройство, убрал его в «дипломат», запер особым ключом, подстраховал специальным кодом на защелках – пять букв алфавита, попытка повернуть хотя бы одну из них приведет к тому, что из ручки бабахнет парализующий газ,– посмотрел на часы, сказал:

– Ну, а про все дальнейшее, Джильберт, мы узнаем позже от наших ребят, они сидят внизу... Или хотите пойти послушать сами?

– Мне было бы крайне интересно.

– Валяйте, почему нет. Я не люблю смотреть на тех, кому готовлю зло; сердце начинает щемить.)

Золле был бледен, до синевы бледен; он поднялся навстречу Ростопчину и Степанову, руки не протянул, кивнул, ломко уронив голову на узкую грудь.

– Добрый вечер, господа.

Степанова поразила перемена, происшедшая с профессором: он еще больше похудел, щеки запали, длинные, пронзительно-черные глаза казались потухшими.

– Поедем куда-нибудь ужинать? – спросил князь.– Я приглашаю. Здесь довольно дорого. В районе Сохо великолепные итальянские кабачки, очень вкусно и почти без денег...

– Нет. Благодарю,– покачал головой Золле.

Степанов удивился:

– Почему? Я бы с радостью заправился. После полета у меня всегда дикий аппетит...

– Я бы предпочел,– сказал Золле,– первую часть нашей беседы провести здесь, господа, а потом – в зависимости от результатов – будет видно, что мы станем делать дальше.

– Что с тобой, Зигфрид? – Степанов недоумевающе смотрел на профессора.– Объясни, бога ради, я ничего не понимаю.

– Объясню, господин Степанов,– ответил Золле.– Для этого я приехал сюда...

Они сели за столик, подошел официант, поинтересовался, что будут пить гости. Ростопчин заказал кофе, назвал свой номер, попросил передать счет портье, внезапно побледнел, сунул под язык пилюлю и как-то жалко улыбнулся.

– Господин Степанов,– начал Золле.

– Мы были на «ты», Зигфрид,– заметил Степанов.– Я чем-то тебя обидел?

Золле словно бы споткнулся; замер; произнес по слогам:

– Вы вели себя все время нечестно по отношению ко мне!

– Только не надо ссориться,– сказал Ростопчин.– Я очень прошу вас, господа! Нам грешно ссориться. Что стряслось?

Золле между тем, не взглянув даже на Ростопчина, продолжал:

– Я получил неопровержимые данные о том, что вы постоянно платили деньги господам Шверку, Цоппе и Ранненброку за те скудные материалы, которые они получили в процессе их поисков...

– Я?! – Степанов даже руками всплеснул; вспомнил Розена – тот так же махал ладошками, ну, скотина, ну, прохиндей,– но потом сразу же забыл коротышку; что это говорит Золле, бред какой-то.– Я никогда ничего не платил никому, Зиг... господин Золле! Все то, что делали Штайн, Тэрри и остальные, как я полагал, делали это из чувства справедливости, из желания помочь возвращению в музеи награбленного.

Золле по слогам, звеняще продолжал, словно бы не слыша Степанова:

– Вы прекрасно знаете, что я истратил все мои сбережения на поиски! Все! До единого пфеннига! Поиск – не хобби для меня, а жизнь! Вот,– он достал из толстого потрепанного портфеля большую папку.– Тут записаны все мои траты. Судя по тем суммам, которые вы переводили моим малоквалифицированным коллегам, здесь сущая безделица, всего восемь тысяч марок. Если вы платили им, то тем более обязаны уплатить мне!

– Только не ссорьтесь, господа,– снова попросил Ростопчин.– Нельзя же, право! Ты должен уплатить профессору Золле, если платил другим, Митя...

– Но я же не платил! – как-то жалобно, негодуя на себя за эту ж а л к о с т ь, крикнул Степанов.– Откуда у меня деньги?!

– Русские иногда выкупали вещи на аукционах. Это было в Париже и Монте-Карло,– продолжал Золле.– У меня есть факты! Вы не смеете отрицать факты, господин Степанов.

– Ну, хорошо, хорошо,– сказал Ростопчин.– Я оплачу вам расходы, профессор, нам нужны ваши документы о картине Врубеля, ради этого мы и собрались здесь...

– Я мог прислать вам эти документы по почте,– тем же звенящим голосом ответил Золле, побледнев еще больше.– Меня привело сюда чувство негодования! За какие-то дерьмовые бумажки господин Степанов платил другим людям, плохим людям, с дурным прошлым, а я пустил по ветру все, что было, как последний осел! А я не осел! – голос его сорвался, и он заплакал. Плакал молча, только слезы катились по щекам, быстрые старческие слезы.

– Зигфрид, Зигфрид, ну что ты?! – сказал Степанов, положил руку ему на колено.– Нас с тобою кто-то хочет поссорить! Это все неправда! Я был убежден, что мы работаем от сердца, а не для денег...

– У господина Ранненброка есть расписка, данная вами,– ответил Золле, плача по-прежнему.– И эта ваша отвратительная ложь делает невозможным наше сотрудничество.

– Дайте телефон господина Ранненброка,– сказал Степанов,– мы позвоним ему сейчас же.

– У меня нет оснований не верить расписке. Там была ваша подпись!

– Это фальшивка!

– Значит, три человека, мои соотечественники, лгут, и только вы говорите правду?!

– Повторяю,– отчеканил Степанов,– я никому, никогда и нигде не платил денег! Я неофициальное лицо, я... Словом, я настаиваю, чтобы мы сейчас же позвонили этому самому Ранненсбургу!

– Ранненброку! – так же отчеканил Золле.– И мне стыдно за вашу ложь!

– Я не стану продолжать разговор в таком тоне!

– Господа, ну нельзя же так! – лицо Ростопчина сделалось морщинистым, стало видно, что он очень постарел.– Надо же обо всем говорить спокойно...

Золле сбросил руку Степанова со своего колена и обернулся к Ростопчину:

– Это вы можете говорить спокойно! И он,– кивнул на Степанова.– А я не могу! Не могу, ясно вам!

И, резко поднявшись, выбежал из «Клариджа».

(Через две минуты после того, как позвонили из холла и сказали, что ждут внизу на бутылку белого вина «либефраумильх» семидесятого года – пароль, означавший, что операция Золле прошла успешно, Фол набрал цифры 7529712; когда в отеле ответили, он попросил телефониста семнадцатый номер, мистера Грибла; представился Ваксом из Нью-Йорка, фирма по реставрации старины и скупке произведений изящных искусств, сказал, что все улажено, серьезного конкурента во время завтрашнего мероприятия не будет; интересующую картину Врубеля можно взять по вполне пристойной цене, дело сделано.

Мистер Грибл только что прилетел из Америки; действительно, любитель русской старины; арендовал чартерный рейс; последние два года он собирал коллекцию русской живописи и икон; недавно вышел из дела с девятью миллионами на личном счету; земли в Техасе сдавал в аренду – лишняя подстраховка на случай «черной пятницы», инфляции типа двадцать девятого года; земля – она и есть земля, самое надежное вложение капитала.

– Мистер Вакс, я признателен за информацию. Гонорар, как и уговаривались, будет переведен вам после завтрашних торгов, спокойной ночи.

Фол поднялся, закурил, прошелся по номеру; черт с ним, с этим гонораром; все что угодно, только бы развалить троицу, поставить крест на альянсе: Ростопчин – Степанов – Золле; даже если немец вдруг и пошлет почтовым «экспрессом» свои документы о том, что Врубель был похищен, Ростопчин их не получит, вопрос проработан; Степанов тем более, да и потом Золле не знает, где остановился красный; можно спускаться вниз, рейнское вино со странным названием «молоко любимой женщины» воистину прекрасно, почему бы не начать с него?!

Фол позвонил Джильберту, сказал, чтобы за немцем п р и с м о т р е л и, не более того; события ни в коем случае не форсировать; он нам нужен живым и в полнейшем сознании; сейчас джентльмен на последнем градусе истерии, возможен срыв; я должен знать, каким теплоходом он отплывет или когда вылетит в Бремен; его обязаны встретить наши люди; дорога успокаивает или же, наоборот, доводит до криза; и то и другое равно выгодно комбинации.

Позвонил Ричардсону в Гамбург, попросил запустить в д е л о прессу; время, место прибытия Золле и точную дату сообщит

Джильберт, включите автоматический ответчик на телефонном аппарате, если отлучитесь надолго.)

– Ну и что? – спросил Степанов.– Конец предприятия?

Ростопчин вздохнул:

– Едем отсюда к чертовой матери.

– Едем.

– К итальянцам? Или китайцам?

– Ты ж хотел к итальянцам... Только у них все мучное, не боишься разжиреть?

– Боюсь. Едем к китайцам.

Ростопчин чуть поднял руку, к нему сразу же подошел официант; склонившись, по-воробьиному повернул голову, словно рассматривал какую-то невидаль.

– Пожалуйста, подскажите, какой китайский ресторан считается в Лондоне самым хорошим? – спросил князь.

– Сейчас же наведу справки, сэр,– официант отпорхнул к портье, что-то сказал ему, тот ловко открыл один из двадцати справочников, лежавших у него под рукой; через три минуты официант вернулся, принес листок бумаги (весь в тисненых разводах, герб «Клариджа», шрифт золотой, нет на них, дьяволов, бумажного голода) с адресами и телефонами тринадцати ресторанов.

– Это наиболее престижные, сэр. Всего в городе более двухсот китайских заведений, однако мы не считаем возможным рекомендовать их вам. Если позволите дать совет, я бы предпочел ужин в «Пекинз мун» (Родней роуд, шесть), очень любопытная кухня – не Кантон, те фокусничают,– настоящий Пекин...

– Благодарю.– Ростопчин поднялся.– Завтра я скажу, насколько ваш совет был удачным.

Они вышли из отеля, швейцар в своем коричневом котелке сделал рукою факирский жест, сразу же подкатил старомодный черный «остин»; Ростопчин назвал адрес; поехали; внезапно лицо его замерло, осунулось даже.

– Мне это очень не нравится,– заметил он.

– Мне тоже.

– Я не о том... За нами следят, Митя.

– Зачем? Кто?

– Не знаю... Те двое, что сидели рядом за столиком в лобби, выскочили следом и едут за нами... Очень странно...

– Пусть себе... Для тебя авантюра, для меня сюжет...

– Официант сказал «Пекинз мун»... Они слышали... Очень хорошо... Ты же не воевал, Митя?

– Я не воевал, Женя.

– Видишь, а я воевал. Точнее, сражался. Партизаны сражают-

ся... Послушайте,– обратился он к шоферу.– Я вам буду очень благодарен, если вы сделаете так, чтобы наша машина проехала под желтый свет. Следом идет автомобиль с теми людьми, которых я не хочу более видеть.

– Да, сэр,– ответил шофер,– но штраф довольно высок.

– Не сомневаюсь,– согласился Ростопчин, сказав Степанову по-русски: – Наверное, они не поедут на желтый свет, они же убеждены, что мы отправились любоваться пекинской луной...

Он достал из кармана бумажку, принесенную официантом, дал шоферу другой адрес: Холливуд роуд, шесть, ресторан называть не стал; уроки маки; покачал головою.

– Знаешь, перебирать мы с тобою не будем. Есть что анализировать. А эту работу можно делать лишь на трезвую голову...

(Люди Фола, потеряв такси Ростопчина, действительно поехали в «Пекинз мун».)

Ростопчин и Степанов устроились в «Голден дак» в глубине зала; официант сразу же принес свечу, зажег ее; подал тяжелые меню, выслушал заказ и засеменил на кухню. Лоб Ростопчина был по-прежнему изрезан морщинами; Степанов не видел его таким никогда еще – маска, а не лицо.

– Сейчас будем звонить к юристам,– сказал Ростопчин.– Хорошо бы найти зубастых журналистов. У тебя здесь никого нет?

– Никого. Ты убежден, что за нами следили?

– Да.

– А почему нам нужны юристы или зубастые журналисты?

– Загибай пальцы,– сказал Ростопчин.– Истерика Золле... Ты действительно никому не платил денег за документы?

– Могу побожиться.

– Не поверю. Вы все атеисты... Итак, истерика Золле... Раз. В высшей мере странная истерика... Его, видимо, кто-то чем-то невероятно обидел, понимаешь? Сказали про тебя такое, что он просто не мог вынести... Он очень чистый, незащищенный человек...

– Мне могли говорить про него что угодно, я бы никогда не поверил...

– Даже если предъявить доказательства?

– Какие?

– Ну, такие, например, что он намеренно вводит наш поиск в заблуждение.

– Этого не может быть!

– Эмоции,– сухо оборвал Ростопчин; он и говорил сейчас

иначе: рублено, коротко, сухо.– Если бы тебе показали документы и выложили на стол факты, ты бы поверил. Да, да, не спорь. Значит, ему тоже выложили факты.

– Почему он не согласился звонить к этому самому Равенбрюку?! Я же предлагал...

– Потому что там был не один лишь господин Ранненброк. Так были еще двое. И они беседовали с ним на его родном языке, Митя. Это очень важно, когда с человеком говорят на его родном языке. Он пережил в «Кларидже» трагедию...

– Почему?

– Потому что ты вел себя неверно.

– Как я должен был себя вести?

– Как врач. Как добрый доктор, который говорит с тяжелобольным человеком.

– Что же он, псих, что ли?!

Ростопчин вздохнул:

– В какой-то мере да... Как и ты, кстати. И как я... Это происходит незаметно, исподволь, но, если ты засыпаешь с мыслью о чем-то одном, крайне важном для себя, и с этой же мыслью просыпаешься, все твое естество постепенно подчиняется одному, единственному. У меня есть бизнес, сын, наконец, у тебя журналистика, дочки, кино, а он один. Совершенно один... Да, да, я вполне серьезно... Если бы ты распластался перед ним, говорил, как с женою, страдающей истерией, можно было бы договориться. А ты...

– Ладно, допустим, с Золле ты прав. Дальше?

– Дальше... Я пока не рассказывал тебе... Вдруг узнаю совершенно неожиданно накануне вылета: мой сын, оказывается, в безвыходном положении – кто-то хочет доказать, что он купил землю, часть которой принадлежала фирме, строящей дороги. Юристы из Буэнос-Айреса говорят мне, что дело странное, но процесс, если его начинать, может вылиться в чудовищную сумму, противники моего сына – могучие люди, перепилят... Включилась стерва... Нервотрепка... Истерики... Это уже удар против меня. Я должен был выложить деньги, чтобы спасти сына. Да, да, те деньги, которые были приготовлены на Врубеля. Пятнадцать тысяч я сохранил, но не убежден, что нам хватит... То есть наверняка не хватит... Драка на аукционе будет невероятная, у «Сотби» умеют нагнетать страсти. Это два. Теперь Розен. Если он сам к тебе пришел, если имеет бизнес с Россией, заангажировал себя предложением помочь нам, завязал под это связи – а он, я убежден, с твоей помощью это сделал – и даже не позвонить мне... Он ведь не дурак? Нет? Тогда почему не позвонил? Не знаю. И ты не знаешь.

Но это три, Митя, это три. И последнее. Два молодых человека, которые сидели рядом с нами в «Кларидже», а потом бросились в машину и поехали следом. Это четыре. Можешь возразить?..

– Могу. По пунктам...

– Не надо, милостивый государь,– услыхали они за спиной скрипучий, старческий голос; фраза была произнесена по-русски, без акцента; обернулись резко, будто кто-то толкнул их; за соседним столиком сидел старик с водянистыми, чуть навыкате глазами; тонкая пергаментная шея торчала из широкого воротника старомодной рубашки, «бабочка» болталась где-то на груди – черная в белый горошек.– Вы не опровергнете доводов вашего знакомца. Это говорю вам я, Иван Грешев. С вашего позволения, я занимаюсь не одним только Врубелем, но и им тоже, вот уже семьдесят лет... Я живу по соседству, милости прошу ко мне, там побеседуем.

6

В Нью-Йорк Розен вылетел той же ночью, что прилетел в Цюрих, благо шел самолет из Индии; домой приехал совершенно разбитый, сразу же сел к телефону, связался с Эндрю – адвокатом, который работал с ним последние пятнадцать лет; тот рассердился:

– Посмотри на часы! Это у вас в Москве день, а у нас еще не началось утро!

– Мне надо срочно тебя увидеть, Эндрю,– сказал Розен.– Срочно, понимаешь?

– Завтраком накормишь?

– Да.

...Уже за столом у Розена, выслушав Жаклин (она объясняла лучше мужа, как-никак английский был ее родным языком), Эндрю пожал плечами:

– Какого черта ты вообще полез в это дело, Джозеф?

– Не учи меня делать бизнес с русскими,– отрезал Розен.– Скажи, как сейчас поступить. Чтоб и волки были сыты, и овцы целы.

– Это сложное дело. И оно мне очень не нравится.

– Можно подумать, что нам оно нравится,– заметила Жаклин.

– Надо бы немедленно,– задумчиво протянул Эндрю,– посоветоваться с кем-то из польской общины.

– Это безумие,– сказал Розен.– Ты прекрасно понимаешь, что они посоветуют.

– Ну, так отправь деньги этому красному князю телеграфом.

– Если они записали мой с ним разговор из Москвы, то и телеграфный перевод будет зафиксирован.

– У тебя есть какое-то предложение, я вижу это,– объяснил Эндрю.– Так прямо и говори, что у тебя на уме. А я отвечу тебе, стоит или нет. С точки зрения закона. Вот и все.

– Ты, лично ты можешь вылететь в Цюрих или в Лондон и передать этому князю деньги?

– У меня послезавтра начинается очень важный процесс.

– Во сколько обойдется перенос дела?

– Это невозможно. «Электрисити» уплатили мне большие деньги, речь идет об аренде земли, так что неустойка тебя разорит.

– Если ты вылетишь сегодня, завтра вечером сумеешь вернуться.

Жаклин зябко поежилась.

– Если они следили за тобой, почему бы им не организовать такую же слежку за Эндрю?

– Не повторяй глупостей о тотальном шпионаже в стране,– снова отрезал Розен.– Работает группа, которая имеет свой интерес в культурном бизнесе, это понятно. Видимо, они вколотили в дело крупные средства. Вот и все. А я поддался тебе, когда ты перезвонила в Цюрих, мне передалась твоя нервозность.

– Все-таки я чувствую острее тебя, Джозеф. Я женщина.

– Битый мужчина вроде меня,– оборвал ее Розен,– чувствует опасность лучше. Ты не очень-то себе представляешь, что меня ждет в Москве, когда я туда вернусь. Они не любят болтунов. Понимаешь? Они их попросту не терпят.

– Я могу отправить мою секретаршу,– предложил Эндрю.– Она позвонит князю.

Розен запротестовал:

– К нему не надо звонить, Эндрю. Я же сказал тебе.

– Ты тоже не поддавайся панике,– заметил Эндрю.– Одно дело – звонок из Москвы, а другое – из Нью-Йорка.

Розен поднялся, быстро заходил по комнате, потом хрустнул пальцами, остановился возле окна.

– Между прочим, это довод. Пусть она позвонит ему и скажет, что вылетает сегодня, попросит встретить в аэропорту, объяснит, что везет деньги... Нет, этого говорить нельзя... Я чувствую, что нельзя, понимаете вы меня?! Я чувствую, что этого говорить нельзя! У меня есть его адреса, пусть она летит в Цюрих и едет к нему в бюро. Или домой. Или в Лондон, если он уже там. Без следов.– Розен посмотрел на часы.– Банк откроется через десять минут, я возьму деньги, а ты отправишь свою девушку в Цюрих, мне нравится это предложение. Только пусть она молчит, кто передал деньги, откуда и почему...

– Это несерьезно,– возразил адвокат.– Он же не хиппи какой-нибудь, он обязательно спросит, кто передал деньги. Я понимаю, что десять тысяч – это чепуха, но, если этот князь – серьезный человек, он обязан задать вопрос, кто, зачем и с какой целью прислал ему деньги. Он ведь ждал тебя, Джозеф, именно тебя, а не мою Кэрол Эн.

– Хорошо, что ты предлагаешь, Эндрю? – спросила Жаклин.– Ты все отвергаешь, но не вносишь никаких предложений. Так у Джозефа снова начнется стенокардия.

– Вылечат,– усмехнулся Эндрю.– Вставят стимулятор. Это научились, были бы баки. Единственная возможность: Кэрол Эн открыто говорит князю, что тебе угрожали и поэтому ты просишь держать в тайне твой вклад в его предприятие...

– Я не убежден, что он с этим согласится. Он достаточно состоятельный человек и подачки не примет. Тем более он русский, они ж все либо Обломовы, либо Мцыри...

– Кто? – в один голос спросили Жаклин и Эндрю.

Розен досадливо поморщился:

– Ах, ну не знаете вы про них ничего! Словом, т а к он может не взять деньги. А если письмом?

– Ты же сам говорил, что хочешь работать без следов,– заметила Жаклин.

– Он напишет, чтобы князь запер письмо в сейф, а еще лучше сжег,– сказал Эндрю.– И расскажет правду про то, что произошло. По-моему, это вполне достойно. Вызови сюда твоего русского содиректора, пусть срочно вылетит из Панамы. Объясни ему, что случилось, он передаст своим. Москва отнесется к такой ситуации с пониманием.– Эндрю вдруг усмехнулся: – Мне кажется, им это даже понравится – несколько напоминает то, что они про нас пишут.

– Откуда ты знаешь, что они про нас пишут? – Розен пожал плечами.– Пользуешься информацией, которую печатают наши газеты, а они печатают лишь то, что нужно ополоумевшим политикам. А рассказать Паше надо, ты прав... Между прочим, это вообще выход из положения, это лучше, чем твоя Кэрол Эн...

Розен снял трубку телефона, набрал код Панамы; Паша был в офисе.

– Ну? – тихо, обычным своим голосом спросил Розен.– Как?

– Все путем,– ответил Паша.

– Возьмите первый же самолет и прилетайте сюда, Паша. Надо кое о чем поговорить, возможно, придется махнуть в Цюрих. Я жду.

– Лечу,– ответил тот и положил трубку; виза у него была постоянная, летать приходилось часто.

– Едем в банк,– сказал Розен.– Потом вернемся сюда, и я напишу письмо князю.

...Как только с л у ж б а зафиксировала телефонный звонок в Панаму и сумму, снятую Розеном с его личного счета, началась стремительная р а б о т а, результатом которой был дорожный инцидент; по дороге в аэропорт Панамы грузовик, за рулем его сидел наркоман, на всем ходу налетел на автомобиль, в котором Павел Иванович Алексеев спешил на самолет.

7

– Вот так-то,– заключил Грешев.– Ясно?

– Кому это выгодно? – спросил Ростопчин.– Зачем?

– Существует множество вариантов ответа,– усмехнулся Грешев.– Но ни один из них не будет правильным, потому что я не могу вам открыть всего, что знаю... Правила игры, ничего не попишешь, я никогда не нарушаю правил игры...

Ростопчин достал из кармана чековую книжку, выписал сто фунтов, положил на стол.

– Это плата за те разговоры, которые мы сейчас проведем из вашего дома. Можно?

Грешев посмотрел на чек, пожал плечами:

– Пожалуйста. Но вы выписали слишком большую сумму.

– Мы будем звонить во много стран.

– Пожалуйста,– повторил Грешев.– Напишите ваш адрес, князь, я верну оставшиеся деньги.

Ростопчин протянул ему визитную карточку, старик с благодарностью спрятал ее в стол; у нас такое невозможно, подумал Степанов, сразу же сказали бы: «Ну что вы, что вы, какая мелочь». А потом бы злились; нет, все-таки проклятый Запад знает цену сухой корректности.

Ростопчин достал длинную записную книжку, помимо телефонов и адресов вклеена страничка для памяти на каждый день; строчка для необходимых дел, телефонных звонков и переговоров; прекрасно дисциплинирует; быстро пролистал страницы, набрал парижский номер.

– Франсуа? Жак? Да неужели? Твой голос невероятно похож на отцовский! Как дела? Да ну?! Поздравляю. Нет, из Лондона. Да, трехдневный ваканс, хочу повеселиться. А где папа? Там есть телефон? Да, срочно. Минута, пишу,– он посмотрел на Степанова, тот начал лихорадочно искать записную книжку и ручку.

– Диктуйте,– проскрипел Грешев; перо (именно так, работал гусиными перьями) в руке, стопка маленьких листочков бумаги рядом, все просчитано, о п а з д ы в а ю щ и й – в чем бы то ни было – обречен на гибель самим ритмом здешней жизни.

– Шестьсот тридцать семь, восемьдесят два, тридцать... Кто? Мадам Фрелль? Она жива?! Да неужели?! Командор почетного легиона?! Какая несправедливость! Пожалуюсь Миттерану! Хотя ему не до меня, обнимаю, мой друг, поздравляю еще раз.

Ростопчин положил трубку, пожевал губами, потом спросил:

– Господин Грешев, поймите меня правильно... Где вы были в период с тридцать третьего по сорок пятый годы?

Грешев усмехнулся:

– Вопрос правомочен. Я уехал из Германии в тридцать третьем. От Гитлера. Во Франции жил до сорокового. Потом в Лондоне. В меру своих сил помогал борьбе против нацистов. Вы сейчас намерены говорить о том, кто именно похитил Врубеля? Опасаетесь, не был ли я связан с наци? Нет, не был, я их ненавижу...

Ростопчин обернулся к Степанову:

– Ты не говоришь по-французски?

– Нет.

– Я не помню, знает ли Франсуа английский... Ладно, в конце концов будешь говорить мне, я переведу.

Он набрал номер, попросил к аппарату мадам Фрелль, долго поздравлял ее, обещал прилететь в Париж на weekend в конце следующего месяца, потом попросил Франсуа; сразу же перешел к делу:

– Слушай, ты говоришь по-английски? Слава богу, я передам трубку моему другу, он изложит суть дела, а ты дашь ему бесплатный совет. Если же ты стал скрягой и не работаешь без гонорара, я прилечу в Париж, отвезу в «Крейзи хорс», и мы будем квиты,– он протянул трубку Степанову: – На, Митя, этот Франсуа – гений юриспруденции, только не говори сумбурно, старайся быть последовательным, ясно?

– Добрый вечер,– сказал Степанов,– я хочу вам объяснить суть дела. Из одного нашего музея была похищена картина известного художника...

– Вы не представились,– сказал Франсуа.

– Меня зовут Степанов, я русский литератор.

– Давно живет на Западе?

– Я живу в Москве.

– Можно попросить князя?

Степанов протянул трубку Ростопчину, шепнув:

– По-моему, он боится говорить со мной.

Ростопчин поморщился, досадливо махнул рукой – не пори чепуху.

– Франсуа, это мой друг... Что? – он долго слушал то, что ему говорил Франсуа, потом перебил его; голос стал сухим, каким-то даже простуженным: – Нет. Да, уверен. Значит, у меня есть основания... Нет, я не пойму тебя... Что? До свидания, Франсуа, я раздумал приезжать к тебе...

Положив трубку, он сказал, ни на кого не глядя:

– Он выставил свою кандидатуру... Ему неудобно...

Грешев заметил:

– Будь проклят тот час, когда умер де Голль...

Ростопчин посидел в задумчивости у телефона, потом снова начал листать свою книжку; позвонил в Люксембург.

– Мадлен? Здравствуй, это я. Спасибо. А ты? Чудесно. Где Александр? Слава богу! Передай ему трубку, у меня срочное дело... Здравствуй, Кинжал, это Эйнштейн. Ничего. А ты? Да неужели? Молодец. Слушай, я передам трубку русс... советскому писателю Степанову. Он только что из Москвы, на пару дней... Это мой друг... Ему... Нам нужна консультация. Ты можешь его выслушать? Спасибо, я был уверен. Ты говоришь по-английски? Ничего страшного, он тоже не миссис Тэтчер...

Ростопчин облегченно вздохнул, пояснив Степанову:

– Это адвокат ведущих банков; дьявол; знает все.

– Добрый вечер, мистер Кинжал.– Степанов отчего-то улыбнулся трубке.– Я буду излагать дело по пунктам. Можно? Спасибо. Итак, в сорок втором году нацисты вывезли из одного города на Украине три тысячи девятьсот сорок три картины, европейских и русских мастеров. Картины исчезли. Да. Ни одну из них не нашли. Да. Но завтра на аукционе к продаже выставлено полотно нашего художника Врубеля, кото... Что? Я проспеленгую: «В», как «Весна», «Р», как «Рейкьявик», «У», как «Умберто», «Б», как «Брюссель», «Е», как «Европа», «Л», как «Лондон»,– быстро говорил Степанов.– Да, русский. Полотно было вывезено из музея двенадцатого июля сорок третьего года, об этом есть соответствующий документ... Да, советский... На обратной стороне холста, возможно, сохранились цифры «12-764». Это клеймо эйнзацштаба рейхсляйтера Розенберга... Да, именно тот... Нет, он был министром оккупированных восточных территорий в то время... Да, увы, это все, что у нас есть... Мы намерены заявить в «Сотби», что картина похищена, и потребовать ее возвращения... Нет. Больше ничего... Сегодня должны были прийти документы о людях, которые паковали картину, увозили ее в рейх, передавали на хранение в соляную штольню, с описанием и распиской, но, к сожалению, этих

бумаг мы не получили... От немца... Его зовут господин Золле. Нет, с Запада... Почему? – Степанов закрыл мембрану ладонью, шепнул: – Он говорит, что наши документы совершенно недостаточны...

– Спроси его, что будет, если мы все же заявим о факте хищения,– сказал Ростопчин.

– Не спрашивайте,– Грешев покачал головой.– Лучше я вам поясню, что может стать, если вы выступите с таким заявлением...

– Пожалуйста, спроси, что может быть,– Ростопчин повторил раздраженно, а потому особо учтиво; ясно было, что говорил он это Грешеву.

– Хорошо, а если все-таки я заявлю в «Сотби», что они торгуют краденым? – спросил Степанов.

– «Сотби»– могучая фирма,– ответил Кинжал.– Они работают наверняка. Здесь что-то не так... В лучшем случае – картину снимут с торгов и назначат экспертизу, в худшем – вас привлекут к суду за злонамеренную клевету; штраф может быть ошеломительным.

– Сейчас я передам князю, минуту.

– Экономь время,– сказал Ростопчин,– дай трубку, я его поблагодарю; я тебе весьма признателен, Кинжал, целуй своих, жду в гости, до свидания, ты был очень любезен.

Положив трубку, спросил:

– Ну? Что он говорит?

– Либо экспертиза, либо суд с последующим штрафом,– объяснил Степанов.

– Не верю,– возмутился Ростопчин.– Ты никого не оскорбляешь, ты просишь провести расследование...

– Милостивые государи,– проскрипел Грешев,– вам ничего не говорит фамилия Деринг?

– Из филиала «Дрезднер банка» в Швейцарии? – спросил Ростопчин.– Хайнц Деринг?

Грешев поднялся со своего стула, подошел к стеллажу, достав одну из бесчисленных папок, вздохнул:

– Я боюсь смерти только потому, что жалею свои архивы. Кому они достанутся? Внуки пустят их с молотка, они не говорят по-русски, а уплатят им хорошо... Если бы все ушло в один иститут хотя бы... Нет, не Хайнц. Его зовут Александр, он врач из Освенцима...

– При чем здесь Освенцим? – удивился Ростопчин.– Скоро полночь, у нас нет времени, надо найти какого-нибудь британского юриста, заинтересовать прессу, надо что-то придумать, завтра будет поздно...

– Наберитесь терпения, князь,– сказал Грешев.– Я займу у вас десять минут – даже с чтением выдержек из судебного процесса...

– Давай послушаем, Женя,– попросил Степанов,– десять минут ничего не решают...

– Итак,– начал Грешев,– в середине шестидесятых годов некий американский писатель выпустил книгу о врачах-изуверах, которые работали в Освенциме. Среди прочих было названо имя доктора Деринга, который провел около двадцати тысяч операций на несчастных без наркоза, в экспериментальных целях; часть людей была подвергнута кастрации, женщин – опять-таки в экспериментальных целях – обрекали на бесплодие. Доктор Деринг – он поселился в Лондоне после войны – обратился в суд, требуя привлечь к ответственности автора и его издателей за клевету...

– При чем здесь это? – поморщился Ростопчин, листая телефонную книжку.

– Англия – страна, исповедующая в суде закон аналогов, уголовное законодательство регулируется в основном судебными прецедентами,– заметил Степанов.– Я бы очень хотел послушать про Деринга, господин Грешев...

– Меня зовут Иван Ефимович,– бросил старик.– Вам надо знать это дело, чтобы не попасть в липкую неприятность завтра...

– Пожалуйста, расскажите, Иван Ефимович,– повторил Степанов,– мне это очень важно.

– Я не стану останавливаться на всех перипетиях дела, но предварительно хочу спросить: кто станет заявлять в «Сотби» о том, что продают похищенную нацистами русскую картину, являющуюся собственностью украинского музея?

– Я,– ответил Степанов.

– Если и рисковать, то лучше рисковать князю,– заметил Грешев.

Ростопчин хрустнул пальцами, потер солнечное сплетение, поинтересовался:

– Почему? Я не отказываюсь, я ничего не боюсь, но я хочу знать, отчего это лучше сделать мне.

– Оттого, что вы не красный,– ответил Грешев и, достав лист из папки, пояснил: – Я прочитаю вам, как здесь, в Лондоне, где был один-единственный процесс над нацистскими изуверами, допрашивали свидетельницу, доктора Лорску, приехавшую из Польши. Я не стану читать про то, как допрашивали других свидетелей – из Польши, Израиля, Греции, Англии, только доктора Лорску. Это займет десять минут, а может, и того меньше. Вы все поймете, милостивые государи... Итак, высокий суд вызвал доктора Лорску из Польши; предыдущие свидетели – оставшиеся в живых женщины, обреченные нацистами на бесплодие, подвергавшиеся зверской операции без анестезии или же экспериментальному болезненному уколу в спинной мозг – говорили о ней, как о мате-

ри, делавшей все, чтобы хоть как-то облегчить их страдания. Часть злодеяний приписывали полковнику СС Шуману, он резал их, как... лягушек; часть генералу Глаубергу... Заключенных врачей, работающих в «блоке десять», периодически расстреливали, чтобы не ушла информация о самом страшном изуверстве двадцатого века – экспериментах на здоровых людях. Сначала, как и полагается, доктора Лорску спросили, где она родилась, когда, каково ее семейное положение, затем задали вопрос о вероисповедании, она ответила, что вступила в партию коммунистов, работая сестрой милосердия в Интернациональных бригадах в Испании, затем была в маки.

– Погодите, погодите,– Ростопчин как-то странно подался вперед,– сколько ей лет?

– В шестьдесят четвертом было сорок девять.

– В ваших материалах есть ее описание?

Грешев глянул на лист из дела, которое он вынул, стремительно пробежал строки (Степанов заметил, что читает старик без очков; в б и р а е т текст целиком, словно фотографирует его, выделяя лишь то, что ему в данный момент необходимо), покачал головой:

– Весьма поверхностное... Черноволосая, с сединою, черты лица правильные...

– Нет,– сказал Ростопчин,– моя польская подруга в маки, которую выдали гестапо, была светленькая, голубоглазая. Не та...

(Люди Фола объехали все китайские рестораны, которые назвал Ростопчину официант в «Кларидже»; они попали в «Голден дак» около двенадцати; да, были иностранцы; да, один седой, а другой коротко стриженный; да, они ушли с мистером Грешевым, это наш постоянный клиент; он живет совсем рядом; что будете есть? Ах, только чай; хорошо, сейчас; да, телефон внизу, прошу вас.)

– Я продолжу,– сказал Грешев.– Итак, сначала госпожу Лорску начал допрашивать адвокат писателя, привлеченного к суду «за клевету»... Он спросил ее: «Вы принимали участие в экспериментальных операциях?» – «Никогда»,– ответила она. «Вы помните греческих девочек, у которых нацисты и их подручные вырезали фаллопиевы трубы, обрекая их на бесплодие?» – «Да».– «А еврек?» – «Тоже».– «Испанок?» – «Тоже. Я присутствовала при смерти одной из них после операции». Затем в допрос Лорски включился адвокат «потерпевшего», Александра Деринга, который ставил эксперименты на несчастных вместе с нацистами, хотя тоже был заключенным, гитлеровцы освободили его в конце

сорок четвертого, он бежал с набитыми чемоданами, сопровождая нацистов. «Вы присутствовали при операциях, которые проводил доктор Деринг?» – «Нет». – «Откуда же вам известно, что он проводил эксперименты на здоровых людях?» – «От тех, кто умирал у меня на руках».– «Вам задали вопрос о том, являетесь ли вы коммунисткой... Вы ответили утвердительно. Ваше отношение к людям подчинено требованиям доктрины, которой вы служите?» – «Не думаю».– «Кто рассказал вам о том, что доктор Вирс также экспериментировал на здоровых людях?» – «Доктор Самуэль».– «Как он узнал про это? Ведь он был заключенным. Он что, помогал эсэсовскому профессору Вирсу делать операции на здоровых людях?» – «Вирс приказывал ему ассистировать».– «Какой национальности был доктор Самуэль?» – «Немецкий еврей, насколько я знаю».– «Вам известна его судьба?» – «Его загнали в камеру и отравили газом».– «Почему?» – «Потому что он рассказал людям, связанным с руководителем подполья в Освенциме Юзефом Циранкевичем, об этих экспериментах».– «Циранкевич затем стал премьер-министром коммунистической Польши, не так ли?» – «Да, это так».– «Врачи СС отдавали вам приказ ухаживать за девушками, которых они оперировали?» – «Нет, это долг врача – помогать несчастным, как-то облегчить их страдания». Включился и судья: «В блоке десять были отобраны для эксперимента четыреста молодых, здоровых женщин и девушек?» – «Да».– «Эти женщины знали, что их могут положить на операционный стол в любую минуту?» – «Те, которые постарше, понимали. Там же были и девочки, дети...» Судья обращается к присяжным и просит их прочесть восемь страниц книги, против которой возбудил процесс доктор Деринг, лишь восемь страниц – до и после эпизода, связанного с его работой на СС... Это был шок,– Грешев поднял глаза от страницы.– Тогда адвокат доктора Деринга спросил Лорску: «Сколько времени вы провели в блоке десять перед тем, как вам поручили вести лабораторные работы?» – «Шесть недель, я сама была «заготовкой для экспериментов». Потом они узнали, что я дипломированный врач, и послали в лабораторию. Но большую часть времени я проводила в послеоперационной палате. Пыталась помогать оперированным девочкам».– «Когда вы узнали, что заключенный врач Самуэль проводил эксперименты по приказу эсэсовского врача Вирса?» – «Перед тем как меня направили в лабораторию».– «Но вы не предприняли попыток повлиять на Самуэля, чтобы он не выполнял приказов врача-изувера?» – «Он начал оперировать, не зная, что они затевают. А когда понял, был сразу же отправлен в газовую камеру».– «Вы, лично вы, видели газовые камеры, пытки, расстрелы в лагере, или вам говорили об

этом другие заключенные?» – «Я сама видела расстрелы, потому что окна лаборатории выходили на блок одиннадцать, где и проводились экзекуции. На моих глазах. Я сама видела, что в «госпитале» людям насильно вводили фенол и они умирали в муках. Я сама видела, как людей били до смерти». Судья: «Как часто вы видели экзекуции?» – «Два-три раза в неделю... Расстреливали сотнями... Женщин и детей». Вопрос защитника доктора Деринга; следите внимательно, как он ведет свою линию, милостивые государи, я не сравниваю ваше дело с этим,– Грешев кивнул на лист бумаги,– я просто прошу помнить, что в стране, где существует право а н а л о г а, нужно быть готовым к аналогиям. Итак, защитник Деринга: «Вы говорили с кем-нибудь об этих ужасных казнях, свидетель Лорска?» – «Я не говорила. Мы не дискутировали, отчего они расстреливают тех или иных людей. Мы просто знали, что нацисты убивают ни в чем не повинных людей».– «И вы не знали, что движет теми, кто исполнял приказ СС и расстреливал заключенных?» – «Я думала, что в них нет ничего человеческого».– «Вы слыхали, видимо, мой вопрос к одной из свидетельниц... Я прочитаю его, чтобы не отклоняться от стенограммы: «Вы когда-нибудь смели ослушаться приказа нацистов?» Зачитываю ответ: «Я ничего не могла поделать против их приказов, потому что они сразу убили бы меня». Лорска: «Я понимаю... Да, я понимаю... Но я знала многих людей, которые тем не менее отказывались выполнять приказы нацистов». Судья: «Прочитайте показания свидетеля Межика». Зачитываются слова доктора Межика: «Прямой отказ выполнить их приказание был немыслим». Судья: «Итак, я спрашиваю, вы, лично вы, считали, что всякое отклонение от выполнения приказов СС повлечет за собою расстрел?» Лорска: «Нет, не считала».– «А чем же, в таком случае, каралось неповиновение? Пыткой? Заключением в камеру, где нет света и еды?» – «Вы имеете в виду карцер?» – спросила Лорска. Судья ответил, что ему неизвестны немецкие тюремные термины. Лорска: «Я знала людей, которые умели не выполнять приказы эсэсовцев, избегая при этом наказания». Выступает адвокат защиты, старый лорд, консерватор до мозга костей, благороднейший человек...

– Как его зовут? – спросил Степанов.

– Лорд Гарднер.

– Он жив?

Ростопчин пожал плечами:

– Какое это имеет значение, Митя? Как страшно то, что рассказывает Иван Ефимович...

Грешнев усмехнулся:

– Дальше будет страшнее... Итак, лорд Гарднер задает вопрос свидетельнице Лорске: «Вы сказали, что знали людей, которые не выполняли приказы нацистов. Можете назвать имена?» – «Во-первых, доктор Хаутвал. Во-вторых, множество тех, кто формально не отказывался, но люди делали все возможное, чтобы саботировать приказы нацистов и хоть как-то, хоть чем-то облегчить участь своих братьев, заключенных... Если пациент отказывается от операции, делать ее нельзя, это нарушение клятвы Гиппократа».– «Если бы вам приказали провести экспериментальную операцию на здоровом человеке, вы бы согласились?» Лорска: «В первые дни моего заключения в десятом блоке ночью я поговорила с доктором Хаутвал. Она объяснила мне, какие операции проводят нацистские врачи и те, кто им служит. Сказала, что так или иначе мы живыми из лагеря не выйдем, нам не позволят остаться живыми, потому что мы слишком много знаем... Поэтому, сказала доктор Хаутвал, то время, которое нам отпущено для жизни, надо жить так, как полагается л ю д я м. Я никогда, до последнего моего вздоха не забуду этих слов: «Надо жить так, как должны жить л ю д и». Судья: «Человек остается человеком, он не свят. Я хочу, чтобы присяжные точнее поняли смысл вашей фразы: жить, как полагается жить л ю д я м. Если бы генерал СС, доктор, профессор Глауберг сказал вам: «Завтра утром вы будете проводить со мной операцию на греческой девочке»,– вы бы отказались?» – «Я бы покончила с собой».– «А если бы вам не позволили покончить с собой? Что бы вас ожидало в случае отказа повиноваться?» – «Видимо, я была бы направлена в команду тяжелых работ».– «Ничего, кроме этого?» – удивился судья. «Думаю, нет»,– ответила доктор Лорска; ответила честно,– вздохнул Грешев,– достойный человек, она наивно полагала, будто лондонские судьи и присяжные знают, что такое «команда тяжелых работ». Та же казнь, только более мучительная: избиения, голод, тяжкое умирание на нарах в течение двух-трех недель...

– Ну и чем кончился процесс? – спросил Ростопчин.– Сколько лет дали этому самому Дерингу?

– Его не осудили... Наоборот, писатель и его издатели были принуждены внести один пенс компенсации за «клевету»... На врача-изувера... Свидетели, которые показывали против него? Они «подвержены эмоциям», и потом разве они могут помнить все, что было тридцать лет назад?! А Деринг был заключенным, он выполнял приказ. Вас, милостивый государь, если вы решитесь на скандал,– Грешев посмотрел на Степанова,– станут спрашивать в суде, видели ли вы лично картину Врубеля в украинском музее. Должны ли вы выполнять все предписания московских властей?

Если вы не видели эту картину, то готовы ли показать под присягой, что к продаже выставлена именно та, краденая? По поводу номера, проставленного людьми Розенберга на картине,– если он давно уже не выведен с полотна химическим способом,– представьте свидетелей! Их проезд и проживание в Лондоне – за ваш счет. Слушание дела – не менее недели... Количество свидетелей – не менее пяти... И пусть все они под присягой подтвердят, что воровали Врубеля по приказу Розенберга, подтвердят, что сами упаковывали картину и сами прятали ее в рейхе... Чушь собачья... Посадят вас в тюрьму за долги, вы же не сможете уплатить штраф фирме «Сотби», вы ведь на них думаете поднять голос...

– Мы делаем не то, господа,– задумчиво сказал Ростопчин.– Впадаем в родной российский транс, взгляд в нечто, никаких толковых предложений. Я задаю только один вопрос: кому было выгодно рассорить нас с профессором Золле? Кому было выгодно поставить моего сына в безвыходное положение и лишить меня тех денег, которые я выложил для аукциона? Кто не позволил мистеру Розену войти в наше предприятие? Кому нужно следить за нами? Без того, чтобы ответить на этим вопросы, мы безоружны, я обнажил проблемы, собрать их воедино не умею, думайте...

– Я могу позвонить в Нью-Йорк Харрисону,– предложил Степанов.– Он могущественный журналист, его знают повсюду...

– А чем он нам поможет? – спросил Ростопчин.– Чем?

– Даст людей из здешних газет, те придут на аукцион. Если ситуация прескандальная, то в наших интересах довести ее до полного скандала,– сказал Степанов.

Грешев вздохнул:

– Здесь скандалы умеют вовремя гасить. Идеально было бы загодя выяснить, милостивые государи, кто будет завтра биться за Врубеля. Отсюда можно начинать отсчет тех шагов, которые следует предпринять. Однако же, возможно, звонок мистеру Харрисону не помешает, если только он решит помочь вам, а не отойдет в сторону. Я согласен с князем: дело далеко не простое, отнюдь не простое...

– Поздно звонить Харрисону,– заметил Ростопчин.

Степанов посмотрел на часы.

– Это в Англии не звонят после десяти, ш о к и н г, а в Штатах сейчас только-только кончилось время ланча.

...Харрисон был в редакции, удивился звонку Степанова; рад слышать тебя, что нового; у меня все нормально, если не считать того, что старею; бег трусцой не помогает; ну, давай, я весь внимание; не перебил ни разу; долго молчал после того, как Степанов рассказал все, попросил обождать; возьму старые записные

книжки и закурю сигарету; записывай: Боб Врэшли, очень сильный обозреватель, не зашоренный, говори с ним откровенно; нет, можно позвонить даже ночью, он богемный парень; попробую сейчас связаться со стариками в газетах, возможно, они пришлют своих репортеров в «Сотби» и на твое послезавтрашнее шоу в театре, об этом стоит написать, паблисити поможет тебе и в деле с Врубелем; созвонимся завтра вечером, оставь свой телефон, расскажешь, что происходит, дай мне время подумать, о'кей?

Степанов положил трубку, посмотрел на Ростопчина; перевел взгляд на Грешева; тот сказал, что Боб Врэшли – серьезный человек, к его слову прислушиваются, и как раз в это время раздался телефонный звонок; Грешев вздрогнул, и Степанов заметил, как в глазах старика мелькнул испуг.

– Слушаю,– сказал Грешев, сняв трубку.– Да, это я.

Фол говорил медленно, тяжелыми короткими фразами:

– Иван Ефимович, это Вакс... Вы вправе рассказывать своим соплеменникам все что угодно. Но, я полагаю, в ваших интересах не обсуждать нашу с вами беседу. Я очень надеюсь на ваше благоразумие. Дело обстоит серьезнее, чем вы думаете. Последствия могут быть самыми неожиданными. Или вы уже рассказали им о моем к вам визите?

– Нет,– ответил Грешев.– Но сейчас расскажу.

X

«Милостивый государь Николай Сергеевич!

Врубель снова не в себе, детей на улицах величает на «вы», маньяк! От такого можно ждать чего угодно, потому-то и надобно его держать постоянно под надзором врачей, не ровен час, и за нож схватится. Так ведь нет же! Не кто иной, как Ник. Павл. Рябушинский решил создать галерею русских писателей, не спорю, идея хороша, но предложить Врубелю, находящемуся на лечении, писать портрет Валерия Брюсова?! Вы что-нибудь понимаете? Я самым категорическим образом отказываюсь взять в толк решение московского толстосума. Вы, случаем, не осведомлены, Рябушинский – русский?

Говорят, Брюсов приходит к Врубелю вооруженный, боится за свою жизнь, хотя тоже хорош гусь... Сплошной модерн, либеральные намеки, столь угодные пьяной матросне, студентишкам да рабочей черни...

У нас, слава богу, положение нормализовалось. Время либерала Витте кончилось, храни нас господь от та-

кого рода говорунов. Только плетка и кнут, а на ослушавшихся – петля! Иначе с нашим народцем говорить нельзя, больно доверчив, легко внимает чужим словесам и дурным идеям.

Удар мой против портрета Брюсова будет нанесен не по Врубелю, он уже и не понимает толком, что об нем пишут, но по Рябушинскому и всем нашим доморощенным меценатам, дабы впредь неповадно было тащить в выставочные залы «творения» душевнобольных.

Пожалуйста, милейший Николай Сергеевич, похлопочите, чтобы «Новое время» поскорее перевело мне гонорары. Там накопилось порядком, а мы намерены с Танечкой уехать в Берлин. Оттуда легче видеть происходящее в несчастной России. Спокойнее писать. С горечью вспоминаю слова одного литератора, что сохранить любовь к Руси можно только в том случае, ежели постоянно живешь в Париже, зато часто меняешь пьяниц управляющих, дабы деньги вовремя слали. А что?! Увы, близко к правде. Мой управляющий – прямо-таки наглец! Я ему отдал имение исполу, богатейшие земли, только успевай поворачивайся и будешь с деньгами, так нет же! Ворует! Рубить правую руку до локтя! Прилюдно! Один способ покончить с воровством, иного не вижу!

Низко кланяюсь Вам, дорогой Николай Сергеевич!

Заметку по поводу врубелевского бреда, именуемого «Брюсов», высылаю завтра. Вы уж постарайтесь поставить ее в номер немедля.

Ваш Иванов-Дагрель».

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

Ростопчин и Степанов расстались в пять утра; от Грешева поехали в Сохо; пили; князь сделался серым, лицо отекло, веки набрякли, казались водянистыми, ночью он был как-то неестественно, истерически весел; порою, однако, замирал; глаза становились неживыми; повторял то и дело: «Чем мы им мешаем? Я хочу понять, чем мы можем им мешать?!»; когда Степанов заметил, что они могут мешать тем, кому не угоден д и а л о г, князь досадливо махнул рукой: «Митя, не впутывай в наши добрые отношения пропаганду»; пригласил аккуратненькую немочку танцевать; музыка была оглушающей, какие-то зловещие рок-н-роллы, и, хо-

тя Ростопчин ловко двигался в такт мелодии, весь его облик протестовал против нее; Степанов вспомнил доктора Кирсанова, тот рассказывал ему про свою стратегию с девушками, выработанную еще в конце тридцатых годов: «Без патефона ничего не выйдет; необходима тройка хороших пластинок: «Брызги шампанского», «Не оставляй меня» или что-то в этом роде; танго — путь к блаженству; л е г а л ь н о е объятие, поцелуй в конце танца правомочен, продолжение нежности; чувство тоже имеет свою логику».

Ростопчин двигался в такт рваной мелодии, вскидывая руки, лицо его все больше бледнело; он что-то говорил немочке; та отвечала деловито, без улыбки; договариваются, понял Степанов, это здесь просто, форма сделки, только без печати нотариальной конторы; снова вспомнил Берлин, лето шестьдесят восьмого, жаркое лето; Степанов тогда пригласил Анджелу с подругой, звали ее Ани; высокая, в больших очках, грустная-грустная; Режиссер был еще жив; тоже танцевал, и Степанов не мог сдержать улыбки, когда шестидесятилетний Режиссер отплясывал с Ани; шестьдесят лет, конечно, не возраст для мужчины; любимые женщины говорят, что это пора расцвета, привирают, конечно же; мне тогда было тридцать шесть, как же пролетело время, ай-ай-ай! «Сейчас тебе пятьдесят три,— подумал он,— и ты убежден, что все еще впереди; великое свойство человеческой натуры — надежда на лучшее, забвение прожитого; Режиссеру было шестьдесят, всего на семь лет старше меня». Степанов когда-то написал стихи, он продолжал писать в стол; после конфуза со Светловым стыдился показывать кому бы то ни было; «Мне тридцать, мне тридцать, мне скоро шестьсот, идет мой последний молоденький год...»

Он смотрел на Ростопчина, который странно, дергаясь, двигался в такт музыке, вспоминал Будапешт, художницу Еву Карпати, тихий Дом творчества кинематографистов на берегу Дуная, ее крохотное ателье на улице Толбухина, вспоминал, как она показывала ему свои странные картины, все в синем цвете; девушки и птицы; «Я не хочу выставляться. Зачем? Живопись — это всегда для себя». Он тогда написал ей стихи, там были строки: «Ведь если приходим не мы, то другие; чужие другие, плохие; все смертно, все тленно, все глупо, пассивность таланта преступна!» Перед вылетом Ева спросила: «Хочешь, чтобы я приехала к тебе?» А он видел перед собою лицо маленькой Бэмби, Лыса тогда еще не было, видел лицо Нади с ее круглыми глазами, ямочки на щеках и не знал еще тогда ничего про то, что у нее было, казнил себя постоянно за самого себя, за то, что так а л ч е н к людям. «Ты коллекционер,— сказала ему Надя во время очередной ссоры,— ты собираешь людской гербарий». Он поцеловал Еву в ее вздернутый смешной нос, взял за уши, приблизил ее лицо к себе и ответил: «Я очень этого хочу,

только, пожалуйста, не приезжай ко мне, ни за что не приезжай; взрослые умеют терпеть боль, а маленькие от нее гибнут».

– К вам можно? – спросила Степанова черненькая, чем-то похожая на Еву девушка.– Вам скучно, я готова вас развлекать.

Степанов погладил ее по щеке, усмехнулся.

– У меня нет денег, Василек.

– Что? – девушка удивилась.– Что вы сказали?

– Я сказал, что у меня нет денег.

– Это я поняла... Василек... Что это?

– Это цветок. Или имя. Русское имя. У меня был друг, он умер, он всех хороших людей – мужчин и женщин – называл Василек.

– Как интересно. Откуда вы знаете русский?

– Потому что я русский.

– Впервые в жизни вижу русского. Хотя нет, я видела Хачатуряна.

– Он армянин.

– Какая разница? Ведь он из России.

Подошел Ростопчин, сказал:

– Завтра в девять тридцать в «Сотби». Не опаздывай, там надо загодя взять места, будет куча народа. До скорого!

...Ростопчин вернулся в «Кларидж» в восемь утра; в холле сидела Софи-Клер; она поднялась навстречу ему с кресла; улыбка у нее была холодная, как маска.

– Здравствуй, милый, как я рада тебя видеть.

– Здравствуй,– ответил Ростопчин.– Что-нибудь случилось с Женей?

– Ровным счетом ничего. Просто я приехала повидать тебя.

– Давно?

– Только что.

– Позавтракаем вместе?

– С удовольствием.

– Слава богу, что с мальчиком все в порядке. Поднимешься ко мне? Я хочу принять душ и переодеться.

– О нет, я закажу нам завтрак здесь.

– Только мне закажи континентальный, я не терплю вашу островную овсянку.

– Хорошо, милый. Будешь есть яичницу с ветчиной? Ты ведь так любил яичницу с ветчиной...

– Родная, ты меня спутала со своим вторым мужем. Я всегда ел омлет. Ты завтракала обычно позже меня и поэтому не можешь помнить, что я ненавижу желтки. Только омлет. Закажи мне два стакана ледяного лимонного сока.

– Непременно, милый. Что еще?

– А еще две сосиски,– сказал Ростопчин.– Есть такое русское выражение: «Гулять так гулять». Помнишь, я пытался учить тебя моему родному языку?

– Ты по-прежнему убежден, что твой родной язык – русский? – улыбнулась Софи.– Как странно. Я жду тебя в кафе, милый. Я могу сделать заказ на твой номер?

Ростопчин пустил холодную воду, стал под душ и начал растирать себя жесткой щеткой (возил с собою постоянно); когда почувствовал, что вода сделалась обжигающе холодной, пустил горячую; потом снова холодную; массаж сосудов; голова постепенно становилась светлее; обрывки мыслей, слов, воспоминаний уходили; в висках замолотило: «Почему она пришла сюда? Как узнала, что я здесь? Хотя я всегда живу в «Кларидже», когда приезжаю в Лондон, но она пришла сюда не зря, что-то будет».

Ростопчин растерся жестким полотенцем докрасна, побрился, потер щеки сухим одеколоном, надел синий костюм, который вчера еще, сразу по приезде, попросил отгладить, повязал галстук; он всегда подолгу, очень тщательно повязывал галстук, следил за тем, чтобы узел был большим, в чем-то небрежным, но абсолютно точным по рисунку – ровный треугольник без единой складки.

– Ну что? – спросил он свое изображение в зеркале.– Время платить по счетам, старик?

Бросил под язык две таблетки; не наркотик, конечно, но все-таки дает заряд бодрости, спать не хочется, только кружится голова, а кончики пальцев делаются ледяными; сразу же заколотилось сердце; достал из плоской аптечки сердечные капли, чудо что за капли, сердце сразу же успокаивается, работает, как чужое, тук-тук-тук, словно и не билось только что в горле, не давило в солнечном сплетении.

...Софи сидела за столиком, улыбаясь раз и навсегда отработанной улыбкой; «Как мертвец,– подумал Ростопчин,– именно так гримируют мертвецов. Причем за большие деньги».

– Прости, что я заставил тебя ждать.

– Ничего, милый. Как следует подкрепись, нам с тобой предстоит затратить массу эмоций во время торгов; эмоции – это калории.

– Ты намерена пойти в «Сотби»?

– Да, милый, это так интересно. Я хочу посмотреть, как люди швыряют деньги на ветер.

– Как раз в «Сотби» люди вкладывают деньги в дело. На ветер там не бросают ни пенса.

Лицо Софи чуть дрогнуло; он понял, хотела улыбнуться; в позапрошлом году сделала подтяжку кожи; счет выставила сумасшедший; с тех пор вообще перестала смеяться, поскольку врачи сказали, что это способствует появлению еще более глубоких морщин, новая операция вряд ли поможет.

– Но ты выбросил на ветер не один десяток тысяч, милый. Деньги, которые иной отец бережет для сына, уходят к коммунистам.

– Деньги, вложенные в картины, возвращаются на мою родину.

– Я понимаю. Ты очень аппетитно ешь. Я завидую тебе... Ты намерен сегодня тоже вернуть своей родине какие-то картины?

– Прости, но это мое дело.

– Нет, милый, с сегодняшнего дня это не только твое дело, но и наше. Мальчика, моих внуков и, если хочешь, мое. Я получила консультацию у Эдмонда, ты, конечно, помнишь его, у него юридическая фирма, мы тщательно изучили ситуацию. Я же ушла от тебя, не потребовав раздела имущества, милый. Я намерена сделать это сейчас, чтобы ты не мог постоянно перекачивать наши деньги в Россию. С сегодняшнего дня мы намерены наложить арест на твои счета.

Ростопчин обернулся; официант сразу же подошел к нему; и этот голову склоняет по-птичьи, чуть набок; словно любопытная синица, право, и глаза такие же крохотные, будто бусинки.

– Я бы выпил «блади Мэри»[1],– сказал Ростопчин.– И съел еще пару сосисок. Нет, пожалуй, я бы съел еще три сосиски.

– Две сосиски – это одна порция, сэр.

Софи кивнула:

– Съешь две порции, милый. Ты всегда много ел по утрам после того, как пил ночью...

– Когда ты была со мной, я не пил, родная,– ответил Ростопчин и попросил официанта: – И еще масла, пожалуйста. Причем тоже не одну, а две порции.

– Да, сэр,– сказал официант, о т п л ы в а я, что никак не гармонировало с его птичьей головкой; он по-прежнему держал ее чуть набок.

Проводив его взглядом, Ростопчин наконец заставил себя поднять глаза на Софи; они все дуры, сказал он себе; все без исключения; мы выдумываем себе умных женщин, а их попросту нет; она сделала подлость, но мне ее жаль; пусть раздел имущества; в конце концов пострадают она и Женя, они жили мною, а теперь я могу продать дело; раздел так раздел; мне-то хватит до конца дней, даже если я выплачу им половину стоимости замка и коллекции; нет, возразил он себе, не хватит; ты тогда ничего и ни-

[1]Виски с томатным соком *(англ.)*.

когда не сможешь вернуть России, потому что надо будет по-прежнему платить дворецкому, повару, служанке, шоферу; двадцать тысяч в год одна страховка, а сколько тебе осталось жить, никто не знает; сидит человек, строит планы — поездка на охоту в Кению или лечение в Виши, а именно в это время маленький тромб, н а б р я к ш и й в артерии, потихоньку, ежесекундно подталкиваемый потоком крови, медленно и неуклонно движется к сердцу, чтобы закрыть клапан; темный горячий удар в голову и — вечность. Нет, погоди, сказал он себе, в конечном счете у меня есть сейф в банке, он анонимен; не бог весть сколько, но все равно я буду продолжать мое дело; она никогда меня не поймет, даже Женя не понял, куда уж ей; боже, как отвратительно — играть с людьми, но ведь иначе я не могу сейчас, просто не имею на это права. Как это у Тургенева? Россия может обойтись без нас, но ни один из нас не обойдется без России. Как верно и как трагично. Как же ты был прав, Эйнштейн, когда вчера, нет, сегодня: ночь — это всегда сегодня, как весна есть начало осени,— как же ты был прав, когда сказал сегодня Степанову, что против нас играют, и ею, Софи, по-русски ведь она Сонька, тоже играют, старой, несчастной дурой, но только кто? Кто же?!

— Твое здоровье,— сказал он Софи, налив виски в стакан с томатным соком, присолив и приперчив.— Как всегда, ты глупишь.

— Почему? — спросила она; боже, все-таки как страшно, когда на тебя смотрит не лицо, а маска.

— Я объясню,— сказал он, набрасываясь на горячую сосиску.— Хочешь кусочек? Ужасно вкусно...

— Ты очень любезен, милый, спасибо, я съела и так слишком много пореджа. Пожалуйста, объясни, в чем я сглупила.

— Сейчас,— ответил он.— Чертовски вкусная горчица. Раньше я всегда считал, что нет вкуснее чешской, а теперь наконец понял, что именно вы делаете самую вкусную. Глупишь ты, родная, потому, что я вкладываю в картины совсем не так много денег, как об этом говорят...

— Милый, не будем лгать друг другу, хорошо?

— Не будем. Согласен. Ты вынудила меня говорить тебе всю правду. Я продолжу?

— Буду крайне признательна.

Ростопчин поморщился:

— Господи, да говори же ты наконец без этих островных ужимок!

— Я островитянка, милый, ничего не попишешь.

— Итак, я р а з д у в а л слухи о деньгах, которые тратил на русские картины, Софи. Да, да, именно так! Раздувал! Потому что у меня есть бизнес с Москвой, а русские, то есть мы, я, если хо-

чешь, люди эмоциональные, исповедуем слово в отличие от вас, людей дела. Они помогали мне в моем бизнесе, давали отсрочки платежей, я клал деньги в банк, большие деньги, стриг с них проценты. С этих-то процентов ты и Женя безбедно живете, не думая о том, что может случиться с вами завтра; вы за мной, за моей спиной. И сегодня в «Сотби», если ты наложишь арест на ту картину, которую намерен выкупить мистер Степанов, будет скандал, ты права, но будет скандал против тебя, ты будешь смешной, родная, ты будешь выглядеть как психически неуравновешенный человек.

Улыбка сошла с ее лица; несколько растерянно она поинтересовалась:

– Ты хочешь сказать, что мистер Степанов будет тратить свои деньги?

– Да, родная, свои. Я лишь консультирую его, он ни разу не торговался на аукционах, особенно таких, как «Сотби».

– Прекрасно, милый, я хочу посмотреть, как он будет передавать тебе деньги. Или это случилось накануне? Если ты покажешь мне его чек или наличные деньги, я принесу тебе мои извинения, я умею признавать вину.

– О да, ты умеешь признавать вину!

– Ты напрасно иронизируешь. Стоит тебе предъявить мне доказательства, и я сразу же извинюсь перед тобой. Я никогда не думала, что ты делаешь бизнес. Я счастлива, если это так. Жаль, что ты никогда мне об этом не говорил раньше. Я могла быть плохой женой...

– Неверной,– поправил ее Ростопчин.– Плохая жена – полбеды, родная, а вот когда жена постоянно убегает из твоей постели в постель к другому мужчине – это совсем другое дело...

– Ты говоришь бестактности.

– Я сказал неправду?

Софи улыбнулась своей мертвой улыбкой; он заметил, как ее пальцы теребили салфетку; она считает, что борется за сына, подумал он; когда же убегала от меня, бросив Женю, ей и в голову не приходило, что мальчик будет искалечен; детству нужна мать, зрелости – отец.

– Не будем ссориться, милый. Я ведь сказала, если увижу, как мистер Степанов передает тебе деньги, я пересмотрю мое решение. В противном же случае мой адвокат, ты должен его помнить, арестует твою покупку. Пожалуйста, не сердись, может быть, я жестока по отношению к тебе, но я мать.

– Мать. Да, это верно,– сказал Ростопчин и повторил: – Мать... Я оставлю тебя на минуту, родная, я забыл в номере аппарат, хочу сделать фотографии в «Сотби»...

– Я поднимусь с тобою. Мне захотелось взглянуть на твой номер, милый, ты, надеюсь, не будешь против?

Ростопчин похолодел от гнева, секунда,– и сорвался бы, но вспомнил, что в ванной стоит большой телефонный аппарат; я позвоню Степанову из ванной; включу душ – заболела голова, ночью пил,– позвоню ему и скажу, чтобы он зашел в банк, в любой банк, и открыл счет на сто фунтов, на двадцать, неважно на сколько, но чтобы он написал при ней на чеке пятнадцать тысяч фунтов стерлингов; эта дура поверит, она же никогда ничего не знала про нашу треклятую жизнь, никогда не знала, как зарабатывают, она умела тратить, ничего другого она не умела...

...Он пропустил Софи, открыв перед нею дверь, включил телевизор; по первой программе передавали последние известия, по второй шла передача о животных Индии, слоны хорошо ревут; прекрасно, много шума; вода в ванной; она не услышит мой разговор со Степановым. Ростопчин очистил Софи банан, открыл мини-бар, достал сок, извинился: «Ужасно заболела голова, я сейчас, одну минуту, пил всю ночь, старый дурак»,– вошел в ванную, пустил душ, снял трубку телефона, прикрыл ладонью, попросил портье соединить с «Савойем»; назвал тамошней телефонистке фамилию Степанова; гудки были длинными, т я г у ч и м и, никто не отвечал; но он же не мог уйти в «Сотби», еще рано, у него полчаса, он не мог, не мог, не мог уйти, твердил Ростопчин, сидя на краешке ванной, испытывая к себе острое чувство брезгливой и безнадежной жалости.

XI

«Дорогой Иван Андреевич!

Все, погиб наш Врубель, хоть и жив еще. Зрение покинуло его, настала полная слепота.

Боже, боже, как жесток рок, тяготеющий над Россией!

Ему привезли глину, надеясь, что лепка отвлечет его; он долго разминал своими тонкими пальцами голубоватую жижу, потом спросил: «Зачем лепить, коли я сам не смогу оценить результат своего труда? Ведь только художник себе судья, кто же еще?»

Но иногда титан поднимается, берет на ощупь карандаш и одной линией, безотрывно рисует лошадь на скаку. Один и тот же сюжет слепого художника; скачущая лошадь устремлена вперед, мышцы проработаны так, словно писано с натуры на лугу июньским вечером, когда только-только начинает стелиться туман и загораются зыбкие костры табунщиков...

Кто-то неосторожно сказал, что если он не будет есть, то зрение вернется к нему. Он морит себя голодом; вода, вода, только вода... Даже старых знакомых не принимает: «Я ведь не вижу их, каков смысл?» Раньше все его герои были срисованы с близких знакомых, в каждом он видел доброту, мужество, именно это в ы т а с к и в а л на холст... Друзья были объектом исследования титанов Возрождения... Рублевские иконы кажутся мне автопортретами... Лучшие вещи Врубеля написаны с тех, кого он больше всего любил: покойный Саввушка, Надежда Забела, Мамонтов, Прахова, с которой он делал Богоматерь, Брюсов...

Рассказывают, что, и слепой, в больнице он по-прежнему тщательно следит за костюмом, попросил сшить себе черную камлотовую блузу с белым воротником, поверх накидывает шотландский плед, и порою создается впечатление, что он все видит, только не хочет в этом никому признаться... Устал от з р е н и я... Устал...

Ни один человек из Императорской Академии не приходил к нему с визитом... Впрочем, однажды кто-то спрашивал, не примет ли... Он ответил благодарностью...

Только жена и сестра приезжают к нему, водят его по саду, потом читают ему, он очень любит слушать главы из истории западноевропейской живописи, Пушкина и Лермонтова, много раз просил перечесть ему «Степь» и «Стихотворения в прозе». Самый большой для него праздник, когда Надежда Забела приезжает со своим аккомпаниатором и они поют на два голоса; у него же чудесный баритон и абсолютный слух...

А однажды, сидя в саду, он замер, вытянулся, как струна, и сказал сестре: «Слышишь?» Она недоумевающе: «Нет, я ничего не слышу». А он улыбнулся. «Ну, как же ты не слышишь? Воробьи мне говорят каждый день: «Чуть жив, чуть жив, чуть жив».

Нет сил писать больше.

Прощайте. *Ваш Скорятин».*

...Степанов проснулся рано, достал из чемодана спортивный костюм, кеды, почистил зубы и спустился вниз.

– Где здесь можно побегать? – спросил он швейцара в синем цилиндре, синем фраке и в ослепительно белой сорочке с синей «бабочкой».

– О, это совсем недалеко,– ответил тот.– Вы должны выйти на Сеймур-стрит или лучше по Орчард ролд на Оксфорд, а там рукой подать до Хайд-парка, прекрасное место для пробежек. Только бегайте по рингу; в «Speaken's Corner»[1] даже в семь утра могут найтись психи, которые разглагольствуют о предстоящей гибели цивилизации, а такое отвлекает – я сам бегаю, сэр, это спорт, который позволяет уединиться, в том-то и его смысл, не правда ли?

– Правда,– согласился Степанов.– Сущая правда.

И – потрусил по пустынным еще улицам центра к Хайд-парку.

«Как странно,– думал Степанов,– люди привыкают к вечному; этот веселый, дружелюбный швейцар говорил о Хайд-парке, словно о чем-то совершенно естественном и привычном, для меня же за этим словом встает история; а она лишь тогда увлекательна, как самый талантливый детектив Жапрюзо или Грэма Грина, если проходит сквозь твою судьбу, если ты соотносишь свое становление со знанием, которое вторгается в тебя, поднимает еще на одну ступень; впрочем, математики сделали так, что слово «знание» как-то отошло на второй план; «информация» – суше и точнее; да здравствует объективность; даже про кассеты с музыкой моя Лыс стала говорить: «Папа, у меня есть новая информация, хочешь послушать?» Еще в середине прошлого века, когда в Штатах продавали негров, а у нас баре секли крестьян, здесь, в Хайд-парке, говорили все, что душе угодно, Запад подталкивает нас в спину: «Откройте все шлюзы, только б у вас было все, как у нас»; а ведь знают и про то, чем мы были семьдесят лет назад; какое там – пятьдесят, тридцать! Понимают прекрасно, что процесс самовытаскивания из прошлого продолжается, прекраснейшим образом отдают себе отчет в том, что традиции создаются в е к а м и, а у нас в стране Конституция впервые была опубликована в восемнадцатом. Поди соблюди все ее статьи, если британские солдаты оккупировали Архангельск, немецкие – Украину, чешские – Омск и Самару, польские – Брест, американские и японские – Владивосток; поди соблюди ее так, как должно, если белогвардейцы наших живьем в землю закапывали; революция-то была бескровной, не мы начали гражданскую, ее нам Каледин с Деникиным навязали; вот и нарабатывалась наша традиция недоверия к Западу. А ведь про себя-то все знают: в Соединенных Штатах только в семьдесят первом году, после того, как прошла двадцать шестая поправка к конституции, все граждане, начиная с восемнадцати лет, получили право голосовать. Раньше-то, всего лишь пятнадцать лет назад, были у них свои изгои, узаконенные о т б р о с ы, а какие они отбросы, если бог

[1] Место в Хайд-Парке, где каждый может произнести речь по любому поводу.

дал им другой цвет кожи?! Или здесь, в Англии? Сто лет назад здесь голосовали только двести тысяч человек, остальные – «л и ш е н ц ы»! Лишь после нашей революции они позволили голосовать всем мужчинам, а женщин уравняли в правах в конце двадцатых годов, когда уже взошли на арену мировой науки и политики Крупская, Стасова, Коллонтай, Лепешинская, Штерн, Мухина! А как они нас не признавали после революции! А кто бил – с тридцатых еще – во все колокола про угрозу нацизма? Так ведь Лондон в пику нам заключил с Риббентропом англо-германское соглашение. А кто предлагал Западу совместную защиту Чехословакии от Гитлера? Но Чемберлен прилетел в Мюнхен, и был подписан сговор против Праги! Факты закладываются в историческую память народа, их словами не вытравишь, доверие нарабатывается долго, разрушается быстро. Живут умнейшие ученые, но политики по-своему выстраивают концепцию с и л ы; а кто в семье терпит диктат? Какой сын безоговорочно следует тому, что требует отец? Какая мать во всем подчиняется советам дочери? А здесь держава; престиж не есть отвлеченная формула из дипломатического словаря, это расхожий житейский термин. Да,– возразил себе Степанов,– но здешние лидеры изучают в первую очередь свою историю; предмет «советологии» создан не для того, чтобы понять нас, но для того лишь, чтобы не п у щ а т ь; вот в чем их беда; их, не наша; если выстояли в двадцатом, сейчас и подавно выстоим, как-никак сверхдержава; то, на что Америке потребовалось двести лет – без войн и разрух,– мы прошли за семьдесят, темпо-ритм в нашу пользу. Им бы с юности так знать наших писателей, как моего Лыса учат Диккенсу, Драйзеру, Золя, Гюго, Лондону, Гете. Им бы наших читать так, как Бэмби в «Иностранке» читает Сэлинджера, Фолкнера, Сноу, Белля, Грасса, Капоте, Элюара, Кокто. Им бы так знать нашего Врубеля, как мы знаем их художников. У них русских музеев нет, зато у нас есть западные.

Степанов резко, по-мальчишески повернулся и сразу же увидел, как человек, шедший за ним по пустой дорожке, вздрогнул; в движениях его появилась растерянность только на одну секунду, но Степанов сразу же вспомнил вчерашнюю машину, которая шла следом за их такси, потом рассказ Грешева про американца, интересовавшегося Врубелем, пожал плечами; денег людям девать некуда, право; побежал навстречу т и п у; тот отвел глаза, л ю б у я с ь пустым Хайд-парком; только возле озера трусили две толстые девушки в джемперах; бедненькие, думают, что с потом сойдет и жир; не сойдет – это от бога, точнее говоря, от папы и мамы. Если люди научатся регулировать обмен веществ, средняя

продолжительность жизни поднимется до ста лет; поди напасись хлеба с маслом и на миллиарды столетних... Мир пытается расфасовать проблемы по крошечным сотам; даже на станции техобслуживания машин мастер по карбюратору ничего не смыслит в электропроводке, специалист по замкам бежит как черт от ладана от смазочных работ, а жестянщик ничего не понимает в двигателе; еще пятьдесят лет назад каждый шофер (а их было мало) мог разобрать машину по винтику, а теперь, как что забарахлит, гонит к слесарям; «Мое дело крутить баранку». То же и в политике: вопросами голода занимается одна комиссия, угрозой биологической войны вторая, ядерными испытаниями в воздухе – третья; как бы свести их воедино? Возможно ли? Особенно учитывая тот громадный уровень и н ф о р м а ц и и, порождаемый каждодневностью научно-технической революции. Стенания по поводу того, что раньше, до заводов и спутников, было лучше, наивны и свидетельствуют о малой интеллигентности; истинная интеллигентность обязана идти в мир с позитивными предложениями, например, к а к создать национальные парки, к а к пустующие деревни превратить в зоны отдыха для рабочих, к а к законодательно закрепить тенденцию малых поселений, а не огромных городов, чтобы человек не на словах, а на деле был связан с землею-прародительницей, к а к перебороть страх в тех, кто боится «обогащения» человека, живущего трудом на земле; к а к доказать то, что тяга горожанина к земле – залог государственной мощи, дрожжи патриотизма; к а к способствовать этой тенденции, а не противиться ей?! А ведь как еще противятся – «обогащение». Какое обогащение?! Если каждый будет иметь свою зелень, свои огурцы и помидоры, свои фрукты с семи соток, какая государству подмога! Так нет же: «Пусть директор думает, как нас обеспечить всем к осени, ему за это деньги платят и на машине возят»,– а директор этот чуть больше рабочего получает и до пенсии далеко не всегда доживает –, чаще рвется сердце от перенагрузок, от стрессов, будь они неладны.

(Фол тяжело затягивался; хрустел пальцами; его аппарат прослушивания – черненькая присоска к стене – фиксировал шум воды в ванной Ростопчина, передачу о животных в Африке, будь неладны эти слоны, шаги женщины – явно слышны были каблуки – и ни слова.)

Ростопчин, не опуская трубку, сунул голову под душ; стерва все поймет, если выйти из ванной с сухими волосами; она же закусила удила; не хочет оставлять меня одного; надо было сказать, чтобы шла вон, что не хочу видеть ее, чужую мне женщину с дру-

гой фамилией, но я не умею так, я тряпка; нет, ты не тряпка, Эйнштейн, ты все-таки умел не сидеть в кустах, когда шла драка, ты знал, что такое смерть, и не боялся ее, а ведь в молодые годы ее боятся острее, чем в старости, значит, ты не тряпка; самоуничижение; не надо, это от психического нездоровья, а ты никогда ведь не страдал истерией; язва была, инфаркт был, печенка ни к черту, но голова работает; просто ты боишься причинить кому бы то ни было боль, и это оборачивается против тебя; но где же Степанов; наверное, в кафе, завтракает; он сейчас вернется, надо ждать; я вчера неверно вел себя с Золле, я должен был поддержать Митю; ах, как это важно — открыто определить позицию, нельзя п р и м и р я т ь, арбитр — это одно, а примиритель — совсем другое; если бы я сказал: «Золле, разве можно не доверять друзьям; давайте будем звонить вашим немцам»,— все могло сложиться иначе; Степанов был прав, когда предлагал ему это, а я тыркался то к Золле, то к Мите, и это обернулось разрывом; никаких документов Золле не прислал, а я очего-то был уверен, что они будут у меня в номере, когда вернусь, я поэтому пил, оттягивая время возвращения в «Кларидж»; что, если Степанов пошел пешком на Нью-Бонд-стрит? Вполне логично, новый город, так интересно посмотреть его, бродит себе по улицам, разглядывает прохожих; он в Цюрихе часами просиживал за столиком кафе на улице, пил воду, курил, а потом возвращался ко мне и часа два бормотал на свой маленький диктофон, но совсем не про то, что видел, а про мужчин и женщин, про то, что любовь и справедливость — совершенно разные вещи; если ребенок говорит отцу, что защищает его, когда бранит мама, то это еще не есть любовь, это естественное право человека на честность, нельзя белое называть черным; Достоевский с о ч и н я л характер, который мир признал русским, а Толстой и Лесков с Салтыковым-Щедриным ш л и за этим характером, были его рупором; если Толстой был принят Западом, то кое-кто из Лондона, Парижа и Берлина не сочли возможным увидеть прозорливый гений Щедрина, непредсказуемость России, понять, что сокрыто в прозе Лескова; Степанов наговаривал на свой диктофончик про то, как прекрасно набирает западногерманское телевидение благодарственную память поколения; в день, когда умер композитор Кемпферт, автор «Странников в ночи», «Снова и снова», «Испанских глаз», была устроена двухчасовая передача; страшно, конечно, смотреть на человека, дирижирующего оркестром, а его н е т более, умер пятидесятишестилетним в зените славы. Эмигрировал из Германии, нашел себя по-настоящему в Штатах; подпевает певцам, подмигивает телекамере... Подмигивал телекамере, больше не будет, но память о

нем после такой передачи останется надолго; про то, как наши – я думаю о русских «наши», как и Степанов,– не умеют делать звезд, п р о в о р о н и л и Алейникова, и Бориса Андреева проворонили, и Бернеса; французы сделали стереотип национального героя, снимая Габена из картины в картину, то же с Бельмондо и Делоном, а наши все новых открывают, российская страсть к изобретению велосипедов, не умеют к а н о н и з и р о в а т ь героя, глупость какая, а?! Черт, а сердце-то жмет, сил нет... Занятно, что все же лучше: прожить очень долгую жизнь, отказывая себе во всем – режим, диета, график,– или же прогореть свои шестьдесят, но с удовольствием, не думая, можно ли выпить лишнюю чарку и допустимо ли съесть полную тарелку жареной картошки? Где же Степанов?

Ушел? Значит, я не смогу ему сказать то, что должен сказать, а если стану говорить с ним в «Сотби» по-русски, стерва все поймет, они же так все чувствуют, эти проклятые старые бабы, Клаузевицы какие-то, а не люди, да здравствует веселая доверчивость молодости, разница в возрасте – гарантия доброты отношений, их стабильности, именно так, брак однолеток – замок на песке, союз плюса с плюсом, с каждым годом все больше отталкивание...

Конечно, она устроит в «Сотби» скандал; у нее все подготовлено, и этот Эдуард, или Эдмонд, которого я никогда в жизни не видел и не знал, наверняка уж там; прилетел, словно гриф на падаль; ах, какой это будет подарок прессе, когда я начну торговаться, а он сделает заявление, что любая покупка не может быть выдана мне, пока суд не примет решение о разделе имущества. Неужели это работа тех, кого я не знаю, но кто следил за нами вчера, устроил скандал с Золле, не позволил прийти ко мне Розену? Ты должен стать змеем, сказал он себе. Если Степанов не снимет трубку, ты должен превратиться в ужа, лгать Софи, стелиться перед ней, пообещать ей все, что она захочет, и прийти к компромиссу сейчас же, перед торгами. Да, я поступлю имено так, но я выполню то, что обещал...

2

...Степанов открыл дверь, услышал телефон, подумал, кто бы это мог звонить так рано, снял трубку, сказал свое обычное «Степанов», он всегда так отвечал на звонки, не «алло», «да» «слушаю», а именно «Степанов», к тебе же звонят; телефон конкретен, ибо несет информацию, подданный слова, ты обязан соответствовать ему, таинству черной трубки, которая соединяет тебя с миром, черт, как же люди столько лет жили без этого чуда; хотя тог-

да, раньше, была прекрасная литература – письма; а кто сейчас пишет письма? Звонят, в лучшем случае, открытку пришлют.

– Слава богу,– услышал Степанов шепот Ростопчина.– Я был в отчаянии...

– Почему ты шепчешь? – удивился Степанов.

– Здесь стерва. Может быть страшный скандал. Не спрашивай ни о чем, делай, что я говорю. Перед тем, как ты придешь в «Сотби», можешь даже опоздать, черт с ним, но обязательно, слышишь, обязательно зайди в любой банк и открой счет... Погоди, а у тебя нет русского банковского счета?

– Есть, но он дома.

– Я так и думал. Значит, ты заходишь в банк, открываешь счет, положи хоть десять фунтов, неважно сколько, главное, чтобы у тебя была чековая книжка, они ее выдадут тебе, сядешь рядом со мной, я представлю тебя стерве, ты достанешь из кармана банковскую книжку и выпишешь, но так, чтобы она это видела, чек на пятнадцать тысяч фунтов... Нет, на всякий случай на семнадцать... Передай этот чек мне, поблагодари за то, что я согласился быть твоим представителем, скажи ей, что ты в восторге от ее красоты, будь светским, понял? Вчера ты был прав с Золле, я повел себя как тряпка, прости меня, все, до скорого...

– Погоди... Но ведь это какой-то спектакль...

– Да, но пока я не вижу выхода. Если я смогу что-то сделать за этот час, я скажу тебе в «Сотби», скажу по-английски, при ней нельзя говорить по-русски, она начнет склоку, они же здесь все такие подозрительные.

(Фол стукнул кулаком по колену, сказал Роберту: «Ни черта не слышно, этот князь пустил воду, едем!» Он стремительно убрал аппаратуру и бросился к лифтам; надо успеть перехватить мистера Грибла в кафе; он должен купить Врубеля, должен. В крайнем случае, если он скупердяй, предложу ему свои деньги, шеф, думаю, пробьет мне компенсацию; в такси усмехнулся: дудки, когда посол в Гане возвратился домой в отпуск, государственный департамент отказал ему в оплате денег за такси – от аэропорта Кеннеди до Сентрал-парка; такси оплачивают только семейным, у кого есть дети и жена, вообще самый надежный посол тот, у кого внуки; у ганского деятеля была только мама; бухгалтерия государственного департамента потребовала от посла заявления, что мать была вместе с ним; он написал прекрасный ответ: «Я ехал в такси, а моя мама бежала следом с чемоданами в руках». Посмеялись вдоволь, но пятнадцать долларов так и не отдали. Черт с ними, пускай не оплатят в конце концов. Успех этого дела аукнется

в будущем, деньги рано или поздно вернутся сторицей, надо уметь терять, только тогда можно получить во сто крат больше.

...Грибл допивал свой кофе, Фола выслушал рассеянно. «Я же сказал, на Врубеля у меня отложено десять тысяч, от силы пятнадцать, больше никто не даст, не волнуйтесь, от нас он не уйдет».)

В банке было пусто и торжественно.

Степанов вспомнил, как они с Бэмби приехали в Испанию, в Гренаду, и рано утром зашли в старинный прекрасный храм; зимнее солнце пробивалось сквозь витражи, пол из-за этого казался цветным, желто-сине-красным; ходить по такому полу – кощунство, но какие-то молоденькие девушки с синими тенями от бессонной ночи быстро прошлепали своими «колледжами» – остроносенькими туфельками с медной пряжкой, без каблучка, высший шик,– быстро и деловито преклонили колени перед иконой, заученно перекрестились и вновь заспешили по сказочным теням витражей, брошенным на пол, к выходу. Бэмби тогда сказала: «Нагрешили, помолились и снова за то же самое».

Степанов посмотрел на клерков, сидевших за овальными столами; порядок абсолютный; на выдвижной досочке пишущая машинка, это только мы богатые, позволяем себе держать машинисток, тут все служащие знают машинопись и стенографию, время – деньги, молодцы, черти; «Учитесь у капиталистов хозяйствовать, за ними двести лет опыта»; господи, как же он был прав во всем, в каждой своей строке, в каждой заметке на полях книг; Ленин и Петр, два пика российской истории. Впрочем, Ленин – пик мировой истории; кстати, и тем, что женщины получили здесь право не только голосовать, но и быть премьерами, они ему обязаны, Ленину: тутошние власть предержащие были вынуждены отступить после нашей революции, иначе б смели, не сдай они свои железобетонные позиции после всего того, что Ленин не просто провозгласил, но сделал практикой жизни России.

Степанов пошел не к клерку́, а к девушке; очень красивая, одета подчеркнуто тщательно, но в то же время свободно, с каким-то шиком; на лице улыбка; доброе утро, пожалуйста, садитесь, чем могу вам помочь?

– Я хочу открыть счет.

– Личный?

– Да.

– Тогда будьте любезны, обратитесь к мистеру Джонсу.– Она повернулась к длинному парню с типично английской прической – волосы закрывают половину лба, воротничок высокий с заколкой; галстук тоненький; серый пиджак в мелкую черную клеточку.– Боб, это к тебе.

Тот поднялся, приветственно помахал Степанову рукой:

– Прошу вас, сэр...

– Доброе утро, мне надо открыть счет...

– О, мы сделаем это очень быстро. Пожалуйста, заполните бланк. Не сердитесь, что такой длинный. Бюрократия – наш бич,– он улыбнулся.– Хотите вложить деньги в дело, на срочный вклад или же открыть текущий счет?

– Текущий счет.

– Я бы рекомендовал вам подумать над вложением денег в акции «Нестле», они резко пошли вверх... Хороша тенденция у аграриев Айовы, «Фуд продакшнз»... Это даст вам больший процент, чем обычный вклад, ибо ваши деньги будут стимулировать работу всех подразделений фирмы – от рабочего до совета директоров...

– Нет, благодарю, я хочу иметь чеки, чтобы не носить с собою деньги...

Клерк пробежал бланк-анкету, поднял на Степанова глаза, в которых было доброжелательное удивление.

– Вы русский?

– Да.

– Как интересно... Какую сумму вы намерены положить на счет?

– Четыреста фунтов...

– Вы не написали ваш адрес в Англии, сэр.

«Сейчас он обязательно потребует какую-нибудь справку,– с тоской подумал Степанов.– И все полетит в тартарары».

– Я живу в отеле.

– Но вы намерены нанять квартиру, не так ли?

– Нет. Я приехал сюда ненадолго, не хочу носить с собою деньги.

– Хм... Вообще-то мы, как правило, открываем счет только тем, кто имеет здесь квартиру... Или гаранта... У вас есть гарант?

«Если я скажу «советское посольство», он попросит письменное подтверждение,– подумал Степанов.– Время будет потеряно, половина десятого».

– Знаете,– сказал Степанов,– у меня здесь два издателя...

– О, вы писатель?! Эмигрировали?

– Нет, отнюдь. Вполне красный.

– Как интересно,– повторил клерк.– Вы не могли бы назвать ваши издательства?

– Да, конечно,– ответил Степанов,– записывайте...

Клерк достал из ящика телефонные справочники, стремительно пролистал их, покачал головою.

– Но «Макгири энд Ли» в списках нет. Видимо, обанкротились. Книгоиздательское дело – очень ненадежный бизнес. Все смотрят телевизор. Как фамилия вашего второго издателя? Ага, благодарю вас. Будьте любезны дать мне ваш паспорт, огромное спасибо, о, какой красный, на фото вы значительно старше своих лет, я бы не дал вам и сорока семи...

Он говорил, выписывал данные паспорта, набирал номер телефона, что-то считал на маленьком карманном компьютере, дружески при этом улыбался и успевал курить никарагуанские, бесфильтровые «ройал» (Рейган перестал поставлять им специальную бумагу, форма борьбы с «коммунистической экспансией», поэтому особенно крепкие, но притом сладкие, словно проваренные в меду, как это раньше делала американская фирма «Лаки страйк»).

– Добрый день,– набрав номер, клерк улыбнулся невидимому собеседнику,– это из «Бэнк интернешнл»; Роберт Джонс; я хотел бы соединиться с коммерческим департаментом; нет, группа расчета с авторами; благодарю вас. Добрый день, это «Бэнк интернешнл», группа личных счетов. Помогите мне получить справку: вы издавали книгу мистера Дмитрия Степанова, Россия, нет, простите, Советский Союз... Какой год? – он посмотрел на Степанова вопрошающе, но с той же доброжелательной, какой-то ободряющей улыбкой.

Степанов назвал год, фамилию переводчика.

Клерк сообщил все это так, словно ему все давным-давно известно, просто запамятовал, бога ради, простите, бывает...

– Ага, прекрасно. Все распродано? Чудесно! Paperback?[1] А когда вы намерены выпустить второе массовое издание? Чудесно. Мы будем глубоко признательны, если вы пришлете нам коротенькую справку о гонорарах мистера Степанова. Возможно, он захочет взять деньги в кредит, мы с радостью пойдем ему навстречу после того, как получим ваше подтверждение. Простите, с кем я говорил? Ах, мисс Тэйси, очень приятно, всего вам лучшего...

Он положил трубку, улыбнулся Степанову еще более дружественно и сказал:

– Все в порядке, я оформляю документы, вы познакомитесь с директором нашего филиала, мистер Томпсон будет рад пожать вам руку; ваши книги прекрасно расходятся, поздравляю.

Степанов посмотрел на часы: девять сорок.

– Скажите,– взмолился он,– а как скоро мы закончим процедуру?

– О, это займет не более пятнадцати минут...

– А до Нью-Бонд-стрит далеко?

– Рукой подать. Какой номер дома вам нужен?

[1] Книга в мягкой обложке *(англ.)*.

– Тридцать четыре.

– Ах, «Сотби»? Пять минут ходу, я нарисую вам – в чужом городе всего лучше искать по плану...

Степанов увидел, как в банк вошел человек; старательно смотрел куда-то в сторону, отводил глаза от Степанова; ах ты Василек, подумал Степанов, что ж ты меня п а с е ш ь? Что я тебе сделал, ну что?!

– Мистер Степанов, вам нужно расписаться, бога ради, простите, но таков порядок, пожалуйста, здесь, здесь, здесь, здесь и тут...

Человек сел за соседний столик и спросил:

– Где я могу поменять швейцарские франки на австрийские шиллинги?

Степанов улыбнулся:

– В кассе. Здесь открывают счета.

– Спасибо,– ответил человек, смазав Степанова взглядом; поднялся, отошел к кассе, закрыв окошко спиною, достал из кармана портмоне и протянул купюры в маленькое окошечко.

(Степанов напрасно его подозревал, это был Генрих Брюкнер, турист из Вены; за Степановым давно следила пожилая женщина, на которую он не обратил внимания, серая седоватая поджарая дама, разве такая может быть из с л у ж б ы?)

Клерк снял трубку, спросил босса, можно ли зайти к нему с русским писателем; автор бестселлеров, «Тираж его книги двадцать тысяч экземпляров, сейчас готовится «paperback»; хорошо, мы идем, сэр».

Кабинет директора филиала банка был отделан мореным дубом; мебель старинной работы, резная; высокий седой человек поднялся навстречу Степанову, резко тряхнул его руку вниз, указал на кресло, заметив при этом:

– Вообще мы не любим открывать счета на такую сумму, как ваша, мистер Степанов, четыреста фунтов – не деньги, согласитесь; мне, однако, уже позвонили из вашего издательства, вполне серьезные гаранты; мы не открываем счет такой, как ваш, людям, не имеющим лондонской квартиры, но, я думаю, если вы обозначите свой здешний адрес посольством Советского Союза, это будет для нас еще большей гарантией...

– Я не собираюсь покупать «роллс-ройс»,– попробовал пошутить Степанов.

– Но почему же?! – искренне удивился директор.– Мы дадим вам ссуду на линкор или самолет, если посольство подтвердит вашу кредитоспособность. Ваш предположительный гонорар на «paperback» может составить десять тысяч фунтов без налогов, все-таки деньги. Перед тем как вам выпишут чековую книжку, я попросил бы

вас о любезности составить заявление в ваше издательство: «Прошу перечислить гонорар за второе издание моей книги массовым тиражом на мой счет в «Банк интернешнл...». Какой номер счета у мистера Степанова? – директор посмотрел на клерка.

– Тринадцать тысяч четыреста восемьдесят три.

– «На счет тринадцать тысяч четыреста восемьдесят три...» Вы согласны написать такого рода письмо на мое имя?

– Да, конечно.

Директор протянул Степанову «паркер», подвинул стопку бумаги (желтая, очень желтая, обрезана у з о р н о). Степанов быстро написал заявление с массой ошибок (всегда был не в ладах с грамматикой), подвинул директору, тот быстро пробежал глазами, казавшимися громадными из-за того, что стекла очков были чрезвычайно толстые; закурил, кивнул:

– Прекрасно, мистер Степанов. Я рад, что вы решили стать вкладчиком нашего банка. Мы будем информировать вас о наиболее интересных возможностях вложения денег. Разумное вложение даже небольшого капитала вполне может дать прибыль не менее десяти процентов, мы даем вполне гарантированные рекомендации, на кого следует ставить, всего вам хорошего...

XII

«Милостивый государь Николай Сергеевич!

И снова свершается святотатство: самоубийцу хоронят на кладбище! Да, да, именно так! Я был у князя Мещерского, пытался действовать через него, добиться от Синода запрета, но тщетно, увы!

Да, да, Николай Сергеевич, Врубель не почил, как об этом трезвонят продажные писаки, а покончил с собой, и не имеет права лежать при церкви, только за оградою.

Последние недели он постоянно простаивал раздетым возле открытого окна, добился того, что началось воспаление легких, так и этого ему показалось мало – по ночам стал на ощупь открывать окно, пользуясь сонливостью прислуги в лечебнице. Скоротечная чахотка пришла к нему не как божье избавление от грехов его, но как подачка от д и а в о л а, которого он столь тщательно писал всю жизнь...

И ведь, кончая свои минуты, думал о том, чтобы продолжать свое демоническое дело; в бреду же оборотился к брату милосердия со словами: «Николай, довольно уже мне лежать здесь, поедем в Академию, дружок!»

Не поехали. Отвезли.

И как же всполошились все наши эстэтствующие! И Блок в слезах речи говорил, и Беклемишев от «Союза русских художников» что-то зачитывал; Императорская Академия, к счастью, никак официально представлена не была. Но потрясло меня – до колотья в сердце – то, что разрешил себе сказать священник Новодевичьей церкви. Зная, к а к кончил Врубель, он тем не менее изрек над гробом: «Бог простит тебе все грехи, потому что ты был работником.» Каково?

Давеча был у доктора Дубровина, в «Союзе русского народа», он обслушал меня, прописал успокоительное, но посетовал, что мало от него проку: «Сам пью, не помогает! Какое может быть спокойствие, когда мы окружены сонмом революционеров, ниспровергателей, скрывающихся в каждом журнале, в каждом салоне, в любой газете!»

Но я не опускаю рук. Я вижу толпу, пришедшую провожать Врубеля, вижу их глаза, у меня сердце разрывается от боли за них... Не мне, а им нужно успокоительное, бром каждодневно с утра.

Несчастная наша страна, коли она выбирает себе в идолы таких, каким был усопший...

Борьба. Нас спасет борьба не на живот, а на смерть со всем тем, что чуждо нашему духу. Или мы одолеем демонического диавола, или же он пожрет нас.

Низко кланяюсь Вам, милый друг!

Ваш

Гавриил Иванов-Даргель.

Р.С. Танечка шлет Вам свои поклоны. Обещанную книгу фотографий высылаю. Там есть милые образцы устройства кухонь, точь-в-точь как у финнов, хотя на самом деле это забытый русский стиль, не грех нам вернуть его в свои загородные усадьбы».

3

В зале было полным-полно народа; стрекотали камеры телевизионных компаний; на трибуне стоял высокий мужчина в строгом черном костюме и, очень странно округляя каждую фразу, словно бы любуясь ею, певуче говорил:

– Картина кисти Бенуа, размер шестьдесят два сантиметра на сорок четыре. Масло. Вещь называется «Танец». Предположитель-

ная дата написания – десятый, двенадцатый год этого века. Мы предлагаем начальную цену в тысячу фунтов...

Степанов увидел Ростопчина; тот сидел во втором ряду, третьим с края; рядом с ним была женщина; Софи, подумал Степанов; крайнее место пустовало, единственное во всем зале; это для меня, понял Степанов; мадам с ее места легче видеть, как я стану выписывать чек; он прошел сквозь напряженную тишину зала, сел, поклонился Софи, пожал руку Ростопчину; тот шепнул:

– Познакомься, пожалуйста, родная, это мистер Степанов.

– О, как приятно, мистер Степанов,– женщина улыбнулась мертвой улыбкой,– мы волновались, где же вы, с трудом удержали для вас место.

– Я заблудился,– одними губами, почти беззвучно ответил Степанов.

Ведущий между тем оглядывал зал; заметил чей-то легкий рывок головы в глубине зала, бесстрастно, но со сдержанным азартом, который сразу же передавался собравшимся, холодно прокомментировал:

– Одиннадцать сотен фунтов... Тысяча сто фунтов, тысяча... сто... фунтов...

Его цепкий взгляд зафиксировал чуть поднятый указательный палец в другом углу.

– Двенадцать сотен фунтов, тысяча двести... фунтов... тысяча...

Рядом с трибуной стояли шесть брокеров, мужчин и женщин, которые покупали картины, письма, фотографии по заданиям своих клиентов; они так же внимательно следили за залом, но Степанову показалось, что д р а к а идет между двумя или тремя людьми из пятисот собравшихся; он не мог понять, кто б и л с я; брокеры же и ведущий видели все прекрасно; взгляды их стремительно скользили по лицам, задерживаясь лишь в середине зала и в левом углу – там, наверное, и сидели те, кто в о е в а л за Бенуа.

– Тринадцать сотен фунтов... тысяча... триста... фунтов, тысяча... триста...

Один из брокеров, стоявших за спиною ведущего, шепнул:

– Четырнадцать сотен...

Не оглядываясь, ведущий бесстрастно, но по-прежнему со скрытым азартом а т а к у ю щ е разжигал страсти:

– Четырнадцать сотен фунтов, тысяча... четыреста... фунтов... четырнадцать сотен фу...

Чуть дрогнул чей-то указательный палец в правом углу.

– Пятнадцать сотен фунтов, тысяча... пятьсот... фунтов, тысяча пятьсот фунтов, тысяча... пятьсот... фунтов...

На большой палец ведущего был надет толстый деревянный

наперсток; удар его по трибуне прозвучал неестественно громко, зловеще.

– Продано! Тысяча пятьсот фунтов, леди и джентльмены... Следующая картина,– он обернулся к служителям, которые вынесли полотно,– принадлежит кисти Брюллова, сорок на шестьдесят сантиметров. Масло. Наши эксперты затрудняются установить даже приблизительную дату... Художник этот малоизвестен, хотя много лет прожил на Западе, в Риме, в середине прошлого века... Цена для начала торга установлена в полторы тысячи фунтов стерлингов... Полторы тысячи фунтов стерлингов,– он понизил голос,– полторы... тысячи... фун-н-н-тов, пятнадцать сотен фунтов... Тысяча шестьсот фунтов,– глаза его метались из левого угла в центр зала,– семнадцать сотен фунтов, восемнадцать сотен фунтов, тысяча девятьсот фунтов... тысяча девятьсот фунтов, тысяча девятьсот фунтов,– он не смотрел на того, кто назвал эту сумму, но п о д з а д о р и в а л других; смысл аукционов «Сотби» в том и состоит, чтобы повысить начальную ставку, разыграть спектакль, никакой этот ведущий не торговец, он лицедей, он посещал режиссерские курсы, выспрашивал дипломатов, вышедших на пенсию, о том, как ввести в раж противника; в этом зале собрались его друзья – враги; чем выше он набьет цену, тем больший процент получит от тех, кто сдал «Сотби» свои картины для распродажи; может быть сущая м а з н я, но ведь и ее следует так п о д а т ь – если, конечно, обладаешь д а р о м, – что деньги рекой польются; понятно, необходимы предварительные затраты на рекламу в прессе, на телевидении; что ж, вложенные средства, если они вложены квалифицированно, не пропадают, а, наоборот, приносят дивиденды, важно только все скалькулировать, воистину политики многое заимствуют из торговли,– термин «скалькулированный риск» взят от биржевых маклеров.

Степанов достал чековую книжку; она была новенькой, в прекрасном портмоне с эмблемой банка, вывел сумму: семнадцать тысяч фунтов стерлингов; писал медленно, постоянно ощущая на себе взгляд Софи; умел чувствовать взгляд, даже когда не поворачивался; б ы с т р а я, подумал он, все сечет.

– Здесь семнадцать тысяч,– шепнул он Ростопчину еле слышно; говорить во время торгов запрещено, это спектакль; даже кашляют лишь в паузах, перед тем как выносят новую картину, все остальное время такая тишина, что слышно, как работают телекамеры, а работают они (ролефлексы, конечно) почти так же, как муха, что летает под потолком.

– Девятнадцать сотен фунтов! – ведущий стукнул деревянным наперстком.– Продано!

– Больше у тебя нет ничего? – так же шепотом спросил Ростопчин.

– Триста фунтов, чтобы расплатиться за отель,– Степанов улыбнулся Софи-Клер.

– Отели безумно дороги,– шепнула она.– Лучше остановиться в семейном пансионе, значительно экономнее.

– Спасибо, я непременно так и поступлю.

Ведущий обернулся к следующей картине, вынесенной на просцениум.

– Эскиз русского художника Верещагина. Размер шестьдесят два на сорок один сантиметр. Работы этого мастера малоизвестны на Западе; его считают певцом военной тематики. Мы называем цену к торгу: восемьсот фунтов стерлингов... Восемьсот фунтов стерлингов, восемьсо-о-от фунтов... Девятьсот фунтов, девятьсо-о-о-от фун... Тысяча фунтов, одиннадцать сотен фунтов,– голова ведущего неподвижна, глаза стремительны,– двенадцать сотен фунтов, тринадцать сотен фунтов, четырнадцать сотен, пятнадцать сотен...

В торг включился кто-то третий; Степанов это понял по тому, как стремительно перемещались глаза, нет, не глаза даже, но зрачки ведущего; обернулся, в ы ч и с л и л новенького,– судя по клетчатому пиджаку и «бабочке», американец; эти либо в черном, подчернуто скромны, либо так клетчаты, что хоть жмурься.

Когда же это было, подумал Степанов. Давно, очень давно, осенью шестьдесят восьмого, когда Мэри Хемингуэй прилетела в Москву и он пошел с ней в Третьяковку, более всего ее поразил именно Верещагин: «Как страшно! Как он чувствовал горе, этот Верещагин! Папа был бы в восторге, но почему же у нас его не знают?!» А потом они поехали в Ясную Поляну, и добрый внучатый племянник Фета, работавший в музее, показал им зимние вещи Толстого, вывешенные на балконе дома: «Сушим, упаси бог, моль»; в тот день музей был закрыт, их пустили лишь из уважения к вдове Хемингуэя; странное и особое ощущение владело тогда Степановым в пустом, тихом доме Толстого; Мэри, шутя, предложили померить зимнюю шубу Толстого, она отказывалась, мол, недостойна этого, но все же померила и утонула в ней, а Степанов подивился, какого, оказывается, большого роста был Лев Николаевич; когда-то Виктор Конецкий рассказывал, что и Антон Павлович Чехов был очень высок, а когда плыл с Сахалина на пароходе вокруг Азии, прыгал с носа, и матросы кидали ему к о н е ц, он за него цеплялся, и его поднимали на корму, причем не «солдатиком» прыгал, а по-настоящему, «рыбкой»,– рисковая забава, да он ведь и в творчестве был рисковым. Когда вечером уже возвращались в Москву, Мэри тихо рассказывала, как они с Хемингуэем

прилетели в Париж – они всегда летали на фиесту в Памплону через Париж, город молодости Папы,– и к ним позвонила журналистка, попросила интервью. «А я стирала себе воротничок, кружевной, бельгийский, очень красивый, мы вечером собирались в театр; Папа говорит: Мэри, к нам придет журналистка, у нее очень славный голос; и она к нам пришла. Папа пригласил нас в кафе на улицу, заказал кофе с молоком, а она прямо-таки не сводила с него глаз – такая красивая, молодая – и задавала требовательные вопросы, меня очень это обидело, а он послушно отвечал ей, и глаза у него оживились; иногда в последние годы у него был очень тяжелый взгляд, будто в себя смотрел, будто никого вокруг не было.– Мэри закурила, глубоко затянулась, продолжила как-то словно наперекор себе:– А потом я уронила спички, резко нагнулась за ними и увидела, что она, эта корова, прижала свою ногу к ноге Папы. Я допила кофе, извинилась, сказав, что мне надо достирать воротничок и как следует его прогладить, бельгийские кружева трудно поддаются глажке, ручная работа как-никак. Папа улыбнулся сконфуженно и сказал, что скоро вернется, а журналистка по-прежнему не сводила с него глаз, к кофе своему не притрагивалась, только все время вертела в пальцах маленькую вазочку с синими цветами... Когда я приехала в Лондон накануне нашей высадки в Нормандии – я ведь там познакомилась с Папой,– Уильям Сароян принес мне в точно такой вазочке пучок зелени, там даже лук был, и сказал: «Вместо цветов, не взыщи...» Я гладила этот проклятый воротничок в нашем номере и плакала... Папа вернулся, позвал меня, погладил по щеке и сказал: да перестань ты думать про это... Она как рояль... Плохо настроенный рояль, на котором никогда не сыграешь памплонской песенки... И ушел ведь из жизни с этой песенкой... В ту последнюю ночь он очень долго мылся, чистил зубы; вышел из ванной и спросил: «Мэри, ты не помнишь нашу памплонскую песенку? Я никак не могу вспомнить ее». Он вообще-то помнил множество песен, испанских и наших, даже французские помнил, особенно двадцатых годов... Но ведь когда тебя застают врасплох, ты не сразу вспоминаешь то, что знаешь, а он застал меня врасплох и снова ушел в ванную и вдруг там, когда подправлял бороду, запел... Слышишь, Мэри, я вспомнил, сказал он, вернувшись в комнату, я вспомнил... И снова, как тогда в Париже, погладил меня по щеке, у него ведь были такие ру...»– она закурила, долго молчала, а потом тоненьким голоском запела памплонскую песенку. Степанов почувствовал, как у него перехватило горло, и он тоже полез за сигаретами, столь опасными для здоровья, но что бы мы без них делали, особенно когда сердце жмет и дышать трудно...

– Пятнадцать сотен фунтов...– продолжал между тем ведущий,– шестнадцать сотен фунтов, семнадцать сотен фунтов, восемнадцать сотен фунтов...

Ростопчин посмотрел на Степанова; в глазах у него был испуг.

– Ужас,– шепнул он,– это ужас...

Софи-Клер сразу же закаменела:

– Я не поняла, милый, ты что-то сказал?

– Прости, родная, я сказал по-русски... Ужас, просто ужас, какие цены, я боюсь, что мистер Степанов не сможет ничего купить на свои деньги...

– Восемнадцать сотен фунтов... Восемнадцать... сотен фунтов... во-сем-над-цать со-тен фунтов... Продано!

Верещагина купил американец «в клеточку», мистер Грибл; и эту н а в о д к у имел от Фола.

Потом вынесли Врубеля.

– Полотно русского художника Врубеля,– объявил ведущий.– Масло. Сто на семьдесят три. Живописец тоже малоизвестен на Западе, судьба его в чем-то подобна трагической судьбе великого Ван-Гога. Цену, назначенную к торгу, мы определили в две тысячи фунтов...

Степанов посмотрел на князя; тот сидел недвижимо.

– Две тысячи фунтов... Две тысячи фун...– взгляд метнулся в угол зала (там сидел Грибл),– двадцать одна сотня, двадцать две сотни, двадцать три сотни, двадцать четыре сотни.– Степанов снова посмотрел на князя, оглянулся; в торговлю включился кто-то еще, но кто именно, понять не мог, человек был виден только ведущему.– Двадцать пять сотен, двадцать шесть сотен, двадцать семь сотен, двадцать восемь сотен... двадцать восемь сотен...– палец с деревянным наперстком поднят; сейчас все будет кончено, что он медлит?!

Степанов резко обернулся к Ростопчину, тот шевельнул указательным пальцем, ведущий, смотревший, казалось, в другую сторону, сразу же заметил его жест, взглянул на князя; к нему тут же подошел один из служащих «Сотби», передал карточку, надо заполнить: имя, фамилия, адрес; Ростопчин сидел по-прежнему спокойно, ни один мускул лица не дрогнул, маска, как у Софи-Клер, только чуть подергивалась верхняя губа – заметить это можно было в том случае, если очень внимательно присмотреться.

– Двадцать девять сотен, три тысячи, тридцать одна сотня, тридцать две сотни, тридцать четыре сотни, тридцать пять сотен, тридцать шесть сотен, тридцать восемь сотен, тридцать девять сотен, четыре тысячи,– ведущий, казалось, сам включился в игру, глаза перебегали от одного участника б и т в ы к другому,– со-

рок одна сотня, сорок две сотни, сорок три сотни, сорок пять сотен, сорок шесть сотен... Сорок шесть сотен.

«Все,– подумал Степанов,– мы выиграли, господи, счастье-то какое, мы же сможем вернуть еще и письма, и Билибина, и Головина, денег хватит...»

Брокер, стоявший за трибуной, ни разу до того не произносивший ни слова, сказал негромко:

– Пять тысяч.

Ведущий, не оборачиваясь, продолжил игру, монотонно повторяя, словно заученное:

– Пятьдесят одна сотня, пятьдесят две сотни, пятьдесят три сотни, пятьдесят четыре сотни, пятьдесят... четыре... сотни, пятьдесят... четыре...

Брокер, тот, что назвал сумму в пять тысяч фунтов, отошел к международному телефону; их было несколько; укреплены на стене, кабиночки устроены так, что туда можно всунуть голову,– гарантия того, что сосед, снявший трубку рядом, ничего не услышит; набрал номер.

– Пятьдесят... четыре... сот...

Мизинец Ростопчина д р о г н у л; торг продолжился с еще большей яростью; одна из брокерш начала кусать ноготь на пальце – выдержки никакой, вертит головою, следит за теми, кто в схватке; Степанов снова обернулся, но, кроме клетчатого американца (коллекционер Грибл, шепнул Ростопчин) и сухонького, невзрачного старичка, сидевшего неподалеку от них, разглядеть никого не смог.

Когда сумму д о г н а л и до тринадцати тысяч, ведущий снова начал тянуть жилы, повторяя, как заклинание:

– Тринадцать тысяч фунтов, три-над-ца-ать тыс-сяч фу...

Ростопчин п о к а з а л губами, даже шепота его не было слышно:

– Четырнадцать...

Брокеры смотрели в зал, тишина стала гнетущей, даже телекамеры не было слышно, а может, она перестала работать, пленка кончилась.

– Все,– шепнул князь, облегченно вздыхая,– ты увезешь Врубеля.

– Четырнадцать тысяч фунтов, четыр-над-цать тыся-я-яч фунтов... Пятнадцать тысяч фунтов, пятнадцать тысяч фунтов.

– Шестнадцать,– князь поднял мизинец.

– Шестнадцать тысяч фунтов,– ведущий заставил себя быть равнодушным, он добился своего, взвинтил цену, не зная, что битва за Врубеля была проработана задолго до того, как начался

этот аукцион и сюда пришли з р и т е л и, которых не судьба искусства волновала, не история шедевров, шедших с молотка (или, точнее, деревянного наперстка), а лишь битва сильных мира сего или их доверенных.— Шестнадцать ты-ы-ы-ысяч...

Ростопчин чуть обернулся к Степанову:

— Поскольку у меня возникли непредвиденные финансовые затруднения, я могу помочь тебе — в долг, естественно,— не более чем тремя тысячами. Ты не возражаешь, родная? — он перевел взгляд на Софи.

— Я думаю, ты выиграл для мистера Степанова эту картину,— сказала она.— Это безумие — платить за никому не известного художника такие деньги...

— Но если? — спросил Ростопчин.— Полагаю, ты не станешь возражать?

— Не более тысячи,— мертво улыбаясь, сказала Софи-Клер.— Я думаю, ты объяснишь ситуацию мистеру Степанову... Если пойдешь на большее, я приглашу Эдмонда, он в седьмом ряду, на седьмом кресле, неужели ты его не заметил, милый?

— Шест-над-цать тыс-с-сяч,— палец с деревянным наперстком поднят, сейчас ударит, ну, ударяй же, черт заутюженный, ударяй скорее...

Тот самый брокер, что звонил по телефону, чуть кашлянув, сказал:

— Семнадцать тысяч.

Князь поднял мизинец.

— Восемнадцать тысяч фунтов,— начал ведущий,— восемнадцать тысяч фунтов, восем-м-м-надцать тысяч...

— Двадцать,— сказал брокер.

Ростопчин обернулся к Софи; та сделала чуть заметное движение, подавшись вперед; Степанов понял, что сейчас она встанет.

— Двадцать тысяч, д в а д ц а т ь тысяч, два-д-д-дцать тысяч, двадцать тысяч... Продано!

Перерыв...

В зале зашумели, задвигали стульями, громко говорили; Степанов услышал смех и сжался — так это было чуждо тому, что в нем сейчас; он посмотрел на Ростопчина; тот по-прежнему не двигался; Софи-Клер положила свою сухую ладонь на его руки — пальцы сцеплены, ногти белые, с синевою.

— Какая жалость, милый. Я так переживала за мистера Степанова,— сказала она.— Я тронута твоим мужеством, спасибо за то, что ты выполнил обещание. Мы будем обедать вместе?

— Нет,— князь с трудом разжал губы.— Нам целесообразнее увидеться завтра у твоего адвоката. В любое удобное для тебя время...

– Это можно сделать и послезавтра. Столь острая необходимость отпала, милый, я спокойна за судьбу нашего сына.

– Послезавтра я улечу с острова,– Ростопчин поднялся, вернул Степанову чек, сказал по-русски: – Жди моего звонка у себя в номере...– И, кивнув Софи, пошел из зала.

«Да,– сказал себе Ростопчин,– я умел быть змеем, когда сражался. Сейчас тоже началось сражение, и я проиграл первую схватку... Софи, конечно, мой противник, значит, я обязан стать оборотнем... Я перейду эту чертову Бонд-стрит, зайду в лавку и погожу, пока уйдут Софи и Эдуард, или Эдмонд, какая в конце концов разница; она права, я его помню: рыжий, на левой щеке большая родинка, говорит, чуть запинаясь, будто с разбегу, вряд ли он изменился за тридцать лет, такие за собою смотрят».

Он вошел в лавку и, отказавшись от услуг продавца, сразу же кинувшегося к нему, принялся неторопливо рассматривать товары, то и дело бросая взгляды на массивные черные ворота «Сотби».

Ну, скорее, молил он, скорее же выходи, стерва! Ты устроила все, что хотела, не мешай теперь мне сделать то, что я мечтал сделать! Вспомнил, как сидел в кустах в полукилометре от дороги в сорок четвертом, поджидая немецкие штабные машины; боши бежали от союзников, увозили архивы; поступил приказ перехватить их, а как перехватишь, когда все маки́ повернули на Париж, из отряда их осталось четверо, а немцы наверняка охраняют штабных, человек двадцать эсэсовцев, не меньше... Он долго тогда обдумывал, как выполнить приказ; Эйнштейн, одно слово; предложил ночью перерыть дорогу (по счастью, она была грунтовая), а сверху положить фанеру и задекорировать булыжниками; первая машина провалится, вторая стукнет ее сзади, постреляем из леса; начнется паника; немцы побегут, понимают же, что война проиграна, они теперь могут драться, только если их много или же приказ, а во время отступления приказы не так точны, как в дни побед...

Он наконец увидел, как Софи и рыжий юрист вышли из зала; эк трогательно он ведет ее под ручку! Вот в чем дело! Голубки вьют гнездышко! Нужны денежки! Домик на юге Франции! Ай-яй-яй, старый дурак, когда же ты научишься не верить людям?! Не надо, сказал он себе, всегда верь людям, от неверия страдаешь ты, а не они, это как зависть, губит человека, ест его червем, превращает в Сальери; ну, хорошо, голуби, вейте гнездышко, наверное, и Жене в Аргентине все подстроил этот рыжий, чтобы вынуть у меня деньги, они доки на такие дела, отчего бы и нет?!

Ростопчин дождался, пока они сели в машину; вышел из лавки, быстро пересек Нью-Бонд-стрит, по привычке глядя не в ту сторону, по-европейски, а не как на острове, быстро поднялся на

второй этаж; ведущий был окружен толпою, говорили оживленно, его поздравляли, истинное шоу, причем бесплатное, лучше футбола, и там теперь стали жулить, заранее договариваются о счете, реванш стоит дороже, а на аукционе ничего нельзя предугадать; это как коррида, петушиный бой, победителя никто не решится назвать; брокер, тот, что победил, стоял возле телефона, говорил очень тихо, медленно, как-то странно шмыгая острым носом, на котором – Ростопчин только сейчас это заметил – росли редкие черные волоски; брокер глянул на туфли Ростопчина, оценил их; куплены в лучшем магазине, очень мягкая кожа, достаточно поношены, значит, не п о к а з у х а, человек вполне серьезный.

Ростопчин дождался, пока брокер кончил свои бесконечные «да» и «нет», повесил трубку, вытер вспотевший лоб, протянул ему свою визитную карточку, тот внимательно прочитал.

– Очень приятно, князь, чем могу служить?

– Служить ничем. Речь пойдет о деле. Кому вы купили Врубеля?

– Я не могу ответить на ваш вопрос.

– А вы позвоните тому, кто поручил вам представлять свои интересы, и передайте, что у меня есть вполне серьезное и в высшей мере интересное предложение.

– Хорошо, оставьте свой телефон, я свяжусь с вами вечером, что-то около семи.

– Это только мы, русские, говорим «что-то около»,– усмехнулся Ростопчин.– Вы, видимо, англичанин, вам надлежит быть точным в ответе. Меня не устраивает семь часов. Я хочу, чтобы вы позвонили вашему шефу тотчас же...

Брокер еще раз оценивающе оглядел лощеного холодного человека, снова прочитал визитную карточку: «Prince Rostopchin, general director of Construction corporation. Zurich. Vienna. Amsterdam»[1].

Повернулся к нему спиною, влез головой в стеклянную будочку и начал набирать номер. Код Эдинбурга, заметил Ростопчин; а теперь запоминай номер, писать нельзя, но ты обязан запомнить; если его шеф откажется от разговора, ты станешь звонить к нему сам и ты добьешься встречи, полетишь в Эдинбург, ты обязан вернуть этого Врубеля, нет, это не азарт коллекционера, это вопрос принципа; когда мне объявляют войну, я обязан принять бой и выиграть его. Очень хорошо, я запомнил номер, вполне легкий, и я сразу же запишу его в блокнот, надо только постоянно повторять, чтобы врезался в память...

[1]Князь Ростопчин, генеральный директор строительной корпорации, Цюрих, Вена, Амстердам *(англ.)*.

Брокер говорил шепотом, перешел на свои «да», «да», «да», потом осторожно повесил трубку, вылез из стеклянной будочки, снова вытер вспотевший лоб и сказал:

– Сэр Мозес Гринборо, по чьему поручению я купил эту картину, готов переговорить с вами в любое удобное для вас время, сэр.

– Вы продиктуете мне номер?

Брокер улыбнулся:

– Вы же и так запомнили.

4

Обозреватель телевидения, ведущий шоу Роберт Годфри ждал Степанова в холле отеля; ослепительно улыбаясь, пошел навстречу:

– Я сразу же вас узнал! Очень приятно, мистер Степанов! Можете не извиняться! Я не сомневался, что торги в «Сотби» задержатся. Едем обедать. Я заказал стол во французском ресторане «Бельведер», это в «Холланд-парке», готовят настоящий буябес[1], там мы обсудим все наши проблемы, а их очень много...

– Теперь слушайте,– сказал Годфри, закончив первую тарелку (буябес подают в большой фарфоровой супнице, по меньшей мере, на пять человек).– Можете перебивать, если не согласны, я боксер, умею отражать атаку...

– Я тоже баловался боксом.

– В каком весе?

– В среднем.

– Лет двадцать назад?

– Тридцать,– вздохнул Степанов.– Увы, тридцать.

– Знаете,– заметил Годфри,– я убежден, что занятие спортом, если оно было страстью, закладывает в генетический код человека совершенно особые качества... Борцовские... Нас не так легко взять, как других. Выдержка, глазомер и бесстрашие, разбитый нос заживет, бровь можно сшить, к тому же очень нравится девушкам, они любят такие проявления мужественности. Так вот я имею основания предполагать, что наше с вами шоу будут стараться загнать в угол; мы должны навязать бой, ни в коем случае нельзя принять оборонительную тактику...

– Я вообще-то не очень представляю, как все это будет происходить, мистер Годфри...

– Нам с вами завтра держать площадку, давайте перейдем на дружество; я Боб, вы Дмитрий... У вас есть сокращенное имя? Дмитрий – трудновато для нашей аудитории, британцы обычно

[1]Марсельская уха из морской рыбы.

предпочитают: Джон или Эд – так привычней, ничего не попишешь, обломки империи. Что, если я стану вас называть Дим?

– Валяйте.

– Прекрасно. Спасибо, Дим. Итак, у меня есть все основания предполагать, что нас постараются распять. Да, да, я получил деньги за то, чтобы вести ваше шоу о культурных программах в России, и поэтому я не разделяю себя и вас на завтрашний вечер. Я почитатель Маргарет Тэтчер, у меня есть награды от канцлера Коля и президента Рейгана, но я приглашен работать, я получил деньги от ваших туристских фирм и отработаю гонорар лучшим образом... Поэтому слушайте внимательно... Чего мы не вправе допустить? Во-первых, анархии. Я всегда держу аудиторию в кулаке, под контролем. Во-вторых, не надо бояться обострять диалог, когда я буду представлять вас аудитории. Я приготовил список коварных вопросов, мы сейчас проработаем ответы...

– Не надо,– сказал Степанов.

– То есть? – удивился Годфри.– Это очень удобно! Мы заранее все отрепетируем; у меня в фирме есть сотрудник, кончавший театральную школу, он поставит вам реплики, срежиссирует те места, где надо засмеяться, а где быть раздражительным! Это принято, Дим! Вас знают в России, но тут вы никому не известны! Звезде простят все! Вам нет! Марлон Брандо теперь не учит роли, он вставляет в ухо микроприемник, и ассистент режиссера диктует ему текст! Но он требует миллион за роль! Он звезда! И ему подчиняются! А вам надо завоевать аудиторию, которая – и это главное – будет далеко не дружественный! Так что не отказывайтесь от моего предложения. Оно продиктовано чисто деловыми побуждениями, завтра вечером мы с вами станем делать одно дело, и мы обязаны сделать его хорошо; вы оттого, что русский, приехали со своей задачей пропаганды советских фестивалей, а я потому, что заангажирован хорошей суммой.

– Не надо,– повторил Степанов.– Я очень тронут, Боб, только не надо заранее учить тексты...

– Дим, поймите, положение сложное... Если бы вы сказали, что Россия вам опостылела, тогда бы не было вопросов. Но, я полагаю, вы не намерены выступать с заявлениями такого рода?

– Не намерен.

– Вот видите...

– Боб, не надо ничего готовить загодя... Ей-богу...

Годфри пожал плечами:

– Смотрите... Я не могу не быть агрессивным, Дим. Я живу здесь, вы там. Я обязан быть агрессивным, чтобы мне поверила наша аудитория. Иначе люди подумают, что меня перекупили, и шоу

не получится. Все уйдут из зала, тем более завтра пятница, люди выезжают за город и на море. Я обязан наскакивать, д о п р а ш и в а т ь, а вы должны отвечать мне так, чтобы это было интересно собравшимся.

– Постараюсь.

– Смотрите, я бы все-таки не отказывался от режиссуры... Теперь вернемся к проблеме контроля над аудиторией... Я разослал четыреста приглашений. Театр вмещает триста сорок человек; пришло триста ответов, в которых подтверждается прием приглашений. Вот список, проглядите...

Степанов глянул: директора фирм, Би-би-си, «Свобода», редакции газет, институты по исследованию конъюнктуры, политики, «советологи», институты общественного мнения, группа «Север – Юг», ассоциация художников «Магнум»...

– Серьезные люди? – спросил Степанов, просматривая имена.

– В высшей мере... Поэтому выпустить дело из рук, позволить ему катиться самому по себе неразумно. Кстати, я полагаю, вы не намерены читать по бумаге вступительное слово? Это произведет шоковое впечатление; что простительно политику, недопустимо вам.

– Нет, нет, я ничего не стану читать по писаному.

– Очень хорошо,– Годфри удовлетворенно откинулся на спинку стула, налил себе и Степанову еще по половнику буябеса, быстро съел уху, вытер рот крахмальной салфеткой и продолжил:– Моя фирма – десять человек, но каждый стоит десятерых, все владеют, по меньшей мере, тремя языками – подготовила бланки, которые раздадут собравшимся: вопросы принимаем только в письменном виде, с указанием имени, адреса и места работы; это очень дисциплинирует. Значит, те, которые захотят устроить скандал, должны будут тщательно продумать последствия; как вам моя конструкция?

– А пусть бы спрашивали из зала...

Отхлебнув минеральной воды, Годфри изучающе посмотрел на Степанова.

– Вы принимали участие в такого рода шоу?

– Нет.

Он повторил удовлетворенно:

– Нет... Вы не принимали участия в таких шоу на Западе. А к ним готовятся даже кандидаты в президенты, будущие премьеры, владельцы корпораций. Они умные люди, Дим, и не очень пугливые. Смотрите, я предупреждал вас. Если я пойму реакцию зала, если почувствую, что вы п р о и г р ы в а е т е, если буду убежден, что аудитории угодно растоптать вас, я первым начну топтать. Это правила игры, а я соблюдаю правила...

– Что же, ладно,– согласился Степанов.– Очень рад, что вы ставите все точки над «и». Это по-джентльменски.

– Не надо жить представлениями, рожденными прозой Голсуорси,– поморщился Годфри.– Время джентльменов кончилось, потому что мы слишком о т с т а л и; надо крушить нашу островную претенциозность; сидим на бобах; зажаты между мощью Штатов и Западной Германии; «Традиции, традиции»,– словно бы передразнивая кого-то, ухмыльнулся Годфри.– Чушь! В Ольстере бомбы, в Шотландии забастовки шахтеров, в Лондоне безработица, наркомания и терроризм... Прекрасная традиция, не находите? Итак,– заключил Годфри,– я получаю тексты вопросов из зала. Те, которые устраивают меня, которые заданы по делу, я оглашаю. Те, что носят скандальный, спекулятивно-политический характер, предлагаю обсудить в кулуарах во время коктейля после окончания шоу, вполне демократично, никого не обидит, вы же не отказываетететесь отвечать?

– Ни в коем случае.

Годфри наконец закурил, расслабился.

– Демократия только в том случае демократия, если она управляема и поддается четкой организации. В противном случае начнется хаос, а это некорректно. У меня собраны кой-какие материалы на тех, кто примет участие в нашем вечере. Хотите ознакомиться?

– Смысл?

– Считаете, что нет смысла?

– Если шоу – игра, то я предпочитаю игру без шпаргалок.

– В теннис играете?

– Да.

– Злитесь, когда проигрываете?

– Совершенно равнодушен.

– Но это же противоестественно! Или вы говорите мне неправду?

– Истинная правда, Боб. Теннис для меня есть средство стимулирования работоспособности... Потом хорошо сидится за столом...

– Ладно; а женщины?

– Они, если только умные, лучше мужчин.

– Вы убеждены, что существуют умные женщины? – усмехнулся Годфри.

Степанов постучал пальцем по лбу:

– Здесь живут. Если человек помирает, продолжая мечтать о встрече с умной женщиной, он умер счастливым.

– Хороший ответ,– Годфри кивнул,– обязательно врежу его вам во время шоу.

– Я отвечу по-другому,– заметил Степанов.– Я не очень-то помню слова сказанные, в памяти остается только то, что написано...

Нет, возразил он себе, у тебя в памяти останется каждое слово, которое сегодня было сказано в «Сотби», когда тебя и князя отлупили, как в детстве, это тогда называлось «в темную»; набрасывают одеяло и бьют, а кто именно, не знаешь. Как же ты вернешься в Москву, спросил он себя, как посмотришь в глаза Андрею Петровичу? Всем друзьям, которым обещал привезти и Врубеля, и Лансере, и Коровина, и Ларионова, и письма о художниках? Как посмотришь им в глаза? Надо запретить себе думать об этом до завтра. Ты сейчас не имеешь права ни на что другое, кроме как на то, чтобы шоу прошло хорошо.

...Когда Степанов вернулся из ресторана, в холле отеля его окликнули. Он обернулся; в креслах сидели два человека лет пятидесяти; один совершенно лысый, второй с сединою, в узеньких очках, очень толстый.

– Вы Степанов? – уточняюще спросил лысый.

– Я.

– Мы за вами...

5

Фол повертел в руках анкету, отпечатанную сэром Годфри для вопросов во время шоу, посмотрел на Джильберта, насмешливо почесал кончик носа и сказал:

– Если мы на сегодняшний вечер получим человека, который знал Степанова по России, и если он не является притом полным дубом, тогда у нас реальная возможность выиграть партию до конца. Если же мы такого человека к завтрашнему дню, точнее говоря, вечеру, не получим, я не берусь предсказать последствия.

Джильберт относился к тем, кто прежде всего думает о том, что происходит у него дома; какая программа ТВ; возможна ли поездка с друзьями в маленький кабачок, где дают хорошее пиво. Еще в университете он понял, что з в е з д ы из него не выйдет; честолюбием заражен не был; принимал жизнь такой, какая она есть; поэтому, выслушав Фола, ему захотелось отвести от себя все это дело.

– Через два часа у нас будут имена,– сказал он, поднимаясь.– Я запрошу мой центр, там моментально сработают на компьютерах, что может быть лучше?!

– Голова,– ответил Фол.– Вы тут сидите уже десять лет, должны знать клиентуру лучше любого компьютера.

Джильберт покачал головой:

– Клиентура непредсказуема, Джос. Я полагаюсь только на систему ЭВМ – это надежнее, поверьте.

...Он вернулся раньше; разбудил Фола – тот рухнул после торгов, страшное напряжение,– протянул листок с фамилиями, ткнул пальцем в верхнюю:

– Этого считают самым подходящим. Аркадий Годилин, корреспондент «Свободы». Я его вызвал из Парижа, будет через три часа.

...Годилин пришел не один, а с молоденькой веснушчатой девушкой – Пат прилетела с ним из Парижа; переводчица; Годилин говорил только по-русски, шутил, что истинный патриот не имеет права изъясняться ни на каком другом языке, кроме как на своем; «При всем моем космополитизме я изначально посконен»; о том, что Фол говорит по-русски, ему не сказали.

Фол крепко пожал руку Годилину, цепко осмотрел его лицо; слишком заметны следы прыщей; впрочем, подумал Фол, можно чуть подгримировать, сойдет, тем более в театре полумрак, поди разгляди.

– Проголодались с дороги? – спросил Фол.– Пошли перекусим?

– А как же диета? – Годилин рассмеялся, и смех его не понравился Фолу – истеричен; характер – особенно во время первой встречи – точнее всего проявляется именно в том, как смеется человек, так, во всяком случае, считал Фол, а он привык верить себе; просто жизнь довольно часто ставила его в такие ситуации, когда надо было принимать крутое решение, времени на компьютерные исследования не оставалось – или ты их, или они тебя; мелочь порой давала о т м ы ч к у к пониманию контрагента, а это залог успеха.

В маленьком кафе Фол начал свой т е с т; просмотрев меню, заметил:

– Вы не находите, Пат, что только здесь, в Англии, могут писать так изящно: «Serambled eggs with grilled bacon, salted mushrooms, tomatos and scottish potato sconne»[1].

Девушка покачала головою:

– Так пишут в Шотландии. Англичане значительно более сдержанны.

Фол, словно бы позабыв о Годилине, усмехнулся:

– Видите, как ловко я выяснил, что вы шотландка!

– Увы, я американка, мистер Фол. Мой дедушка был шотландцем.

[1]Яичница с жареным беконом, грибами, томатом и ржаной лепешкой.

– Я уважаю ваш народ.

– Нет,– Пат снова покачала головой.– Я не могу считать себя шотландкой. Попав в Эдинбург, я поняла, что нахожусь за границей.

– И все же мы одно целое.

– Нет. Знаете, как Оскар Уайльд ответил, когда его спросили, в чем разница между американцами и англичанами?

– Не знаю,– Фол ощущал какую-то странную радость оттого, что с русским прилетела именно эта веснушчатая голубоглазая девушка.

– Он ответил прекрасно: «В языке».

Фол рассмеялся; Годилин, ощущая все большую неловкость оттого, что говорили по-английски, словно бы его и не было здесь, спросил:

– Фто он заливает?

Фол не дал Пат ответить.

– Когда он это сказал? – требовательно спросил он.– Накануне трагедии?

– Не знаю. Видимо, да,– и девушка объяснила Годилину, что речь идет о том, насколько разны английский, американский и шотландский языки.

– А при чем здесь Оскар Уайльд?

Фол снова не дал ей ответить, поинтересовался:

– Вас прислали с ним? Или вы работаете по найму?

– Я прохожу практику.

– Где?

– В Сорбонне, там прекрасный русский...

– Давно работаете с этим джентльменом?

– Три часа,– Пат наконец улыбнулась, и Фолу очень понравилась ее улыбка, такая она была открытая, дружелюбная.

«Если бы мне не было сорока четырех,– подумал он,– если бы у меня не было трех детей... Впрочем,– возразил он себе,– почему я решил, что она думает так же? Нет, я решил верно, у нее ранние морщинки у глаз, хотя очень молода, и в ней есть та зажатость, которая появляется у тех девушек, которых кто-то обидел. Растет поколение парней, лишенное жалости; но, в общем, как правило, жестоки лишь белоручки, избалованные хорошо зарабатывающими отцами вроде меня. Бедная Америка, кто сможет воевать за нее? Дергающиеся наркоманы? Тупые парни из провинции, которые ничего не умеют, если нет над ними дядьки?»

– Три часа,– усмехнулся Годилин.– Это дафе я понял с моим уфасным английским... Он вас спросил, сколько времени мы знакомы?

Фола стала занимать эта игра; каждый т е с т – форма игры так или иначе; он опять же не дал Пат ответить Годилину, поинтересовался:

– С вами подписали контракт на работу?

– Нет. Мне сказали, что уплатят послезавтра, когда я вернусь.

– Кто вам звонил?

– Из представительства страховой компании ДТ, мистер Раббинс.

– Сколько он вам пообещал?

– Отель, питание, транспорт – за его счет. Ну, и сто долларов за переводы.

– И вы решили на эти деньги съездить в Шотландию?

Пат кивнула; Фол заметил, что на левой щеке у нее появляется ямочка, предтеча улыбки.

Годилин разглядывал спину Фола, она отражалась в большом зеркале; во всех ресторанах средней руки злоупотребляют зеркалами; спина была крепкая, спортивная.

«Какие же они здесь все бездуховные,– подумал Годилин.– Ничего про нас не знают. Глупые дети. Что они могут без нас? Кто компетентен в д е л е России, как не мы!»

Годилин боялся одиночества, потому что именно в те часы н а д о было думать, а думать горестно, ибо все его надежды на творчество тут, на Западе, на новые его книги, которые потрясут читателя, на фильмы и спектакли рухнули; никто здесь не нужен никому, каждый лишь о своем; дальше собственного носа не видят; какое им дело до нас?! Деньги, деньги и деньги...

Одиночество, однако, было постоянным; разве сейчас он не обречен на одиночество, когда эта Пат так открыто к а д р и т с я с Фолом потому лишь, что он с в о й, а ему, интеллектуалу, остается только делать вид, что понимает их разговор, но он предпочитает молчать, пусть себе воркуют; игра; надо постоянно играть, когда имеешь дело с ними, а как со своими, так сразу начинают собачиться, «кто талантливей»; будь проклята эта чертова жизнь... Когда его упрекнули в Мюнхене, опять же они, янки, что, мол, комментарии слишком уж злобны, чувствуется уязвленное самолюбие, он ответил грубостью: «Идите целуйтесь с ними, я не намерен!» Ему возразили, что целоваться с Советами никто не намерен, но озлобленность по отношению ко всему, что бы в России ни написали или поставили в театре, не есть довод, а даже совсем наоборот.

Закурив, Фол спросил:

– Вы давно работаете на «Свободу»?

Пат перевела.

– Давно,– ответил Годилин сухо, по-прежнему стараясь смотреть на отражение спины собеседника в зеркале.

Я попал в десятку, понял Фол. Теперь он готов к разговору. С такого рода характерами иначе нельзя, можно ошибиться в подсчете резервов.

– А чем вы занимались в России? – спросил Фол, зная, что Годилин был писателем, одним из самых молодых членов Союза; сначала разрабатывал молодежную тему, затем пробовал себя в детективе, посвятив одну из повестей работе советской контрразведки, затем переключился на исторические романы; сорокалетним уже снова попробовал писать о молодежи – явно искал р ы н о к, хотел ухватить бога за бороду, но безуспешно, критика была равнодушна к нему, читатели не замечали; уехал на Запад, сразу же предложил свои услуги «Свободе»; д е р ж а л и за информацию, поскольку он был набит совершенно фантастическими историями о коллегах, оставшихся в Москве; порою тем, кто изучал его в Лэнгли, казалось, что он задолго до отъезда начал вести досье на всех, с кем раньше дружил.

Годилин откинулся на спинку стула, позволив официанту накрывать стол, и, засмеявшись, ответил:

– В России я занимался сочинительством. Только там у моих книг были больфие тиражи, чем здесь.

Пат перевела, и Фол заметил, что она не знает слова «сочинительство»; сказала «писал», а ведь Годилин вложил уйму оттенков в это свое «сочинительство»; чтобы понять его, надо пожить в России, иначе такие оттенки будут проскакивать, а ведь именно из «подробностей» и состоит смысл языка, его суть.

Фол намеренно не у х в а т и л «кончик», который бросил ему Годилин, помянув тиражи своих книг; наверняка, полагал он, собеседник, тем более американец, станет интересоваться количеством изданных книг, названиями, издателем, переводчиками; такого рода диалог должен был уравнять их, но именно этого хотел избежать Фол.

Еще работая в Центральном разведывательном управлении, он сталкивался с людьми годилинского типа; почти все они (а уж большинство наверняка) сулили скорое крушение Кремля и сообщали, что готовят разоблачение века – новую книгу, которая потрясет русских, подвигнув их на активные действия против чекистского террора.

Сначала это действовало, особенно на молодых сотрудников, потом, однако, энтузиазм сменился горьким разочарованием, чреватым, как правило, тем, что одни вообще предлагали сворачивать

идеологическую работу на Россию как бесперспективную, вторые настаивали на ужесточении методов: время «белых перчаток» кончилось; пора закручивать гайки.

Как всегда, руководство стояло над схваткой, поддерживая обе точки зрения; оттого-то, считал Фол, дело и не двигалось с мертвой точки. «Хочу позицию,– сказал он своему шефу перед тем, как уйти в страховую фирму,– любую, но позицию, которая сформулирована надолго и бескомромиссно. В «русскую тайну» я не верю, просто мы плохо работаем, не можем нащупать болевую точку, не мнимую, а истинную».

– Скажите, мистер Годилин, вам что-нибудь говорит имя русского писателя Степанова? – спросил Фол.

Годилин скептически усмехнулся:

– Писатель?

– Да,– Фол снова закурил.– По нашим сведениям, его весьма широко читают.

– Там всех фироко читают.

– Такая глупая нация? – удивился Фол.

– Нет, отчего фе?! Просто люди лишены литературы. У них голод на книгу.

– Толстой и Достоевский тоже запрещены к чтению?

Пат улыбнулась, глаза как-то враз помягчели; Годилин набычился.

– Фто он такое? – спросил у Пат (вместо «что» говорил «фто», вместо «же» – «фе»).

– Вопрос перевести?

– Я фе к вам обращаюсь.

– Но я знаю его столько же, сколько вы, мистер Годилин.

– Узнайте, чем вызван мой полет в Лондон – столь срочный.

Фол, выслушав Пат, ответил:

– Я объясню вам. Только сначала мне хочется еще раз поинтересоваться, что вы знаете о Степанове.

Годилин засмеялся:

– Графоман и миллионер.

– По-русски два эти понятия равно неприемлемы, мистер Годилин, но в нашей стране к миллионерам пока еще относятся хорошо; дурак миллион не заработает. В чем выражается графоманство Степанова?

Годилин пожал плечами:

– По-моему, это утверждение не требует расшифровки.

– Здесь требует,– жестко возразил Фол.– Графоман, мне кажется, звучит как оскорбление? Или я не прав?

– В случае со Степановым это звучит как обыкновенная кон-

статация факта. Кадровый офицер КГБ, пишет шпионские романы, лижет руки хозяевам...

Пат перевел «целует», смысл менялся, как бы ей подсказать, завтра следует быть весьма аккуратной в переводе.

– Скажите, а с точки зрения права,– продолжал Фол,– выражение «лизать руки хозяевам» может считаться оскорблением личности?

– Пусть оскорбляется,– отозвался Годилин.– Это меня ничуть не тревожит.

– Но все-таки у него есть читатель?

– У липогонов, которые сочиняют развесистую клíюкву, всегда есть читатель.

Пат достала маленький словарь, попросила Годилина еще раз повторить фразу; бедненькая, подумал Фол, она не найдет там ни «развесистой клюквы», ни «липы», жаль, что нет словаря сленга.

Она действительно перевела «клюкву» как «ягоду», а «липу» как «дерево».

«Этот несостоявшийся гений завтра может выглядеть психом, если Пат во время шоу переведет слова о Степанове как об авторе «ягод» и «лип»; смеху будет немало. Господи, как же это важно,– подумал Фол,– точное понимание языка!»

– Мистер Годилин, позвольте мне объяснить вам ситуацию...

– Дафно пора,– заметил тот.

– Переводить? – спросил Пат.

– Мофете.

Пат сказала:

– Мистер Годилин давно ждет этого.

Фол кивнул, подумав, что, в принципе-то, ему самому надо было бы переводить завтра Годилина, девочке не справиться; бедненькая, она совершенно не чувствует языка, им вбивают в голову грамматику, а кому она нужна, пусть бы неграмотно, зато понятно обеим сторонам.

– Так вот,– по-прежнему монотонно сказал Фол,– завтра в театре Степанов будет принимать участие в шоу...

Годилин выслушал перевод, хмыкнул:

– Фто, он уфе начал петь?

«Все-таки ужасно, как эти русские не умеют у нас адаптироваться,– подумал Фол.– Прожить семь лет на Западе и до сих пор не знать, что в шоу у нас принимают участие конгрессмены, публицисты и директора банков. А может, это естественное отталкивание? Он воспитался в Советской России, хочет, сам того не понимая, чтобы здесь было похоже на то, к чему он привык. Нет,

воистину они странные люди; нет ни одной такой склочной эмиграции, как русская! Каждый сам себе Толстой, все остальные – ублюдки и графоманы».

– Во время этого политического шоу, хотя оно и посвящено вопросам культурного обмена, моим друзьям кажется целесообразным, более того, обязательным небольшая дискуссия, во время которой собравшиеся убедятся в том, что мистер Степанов – марионетка, присланная сюда с заданием Кремля...

– Без заданий Кремля от них никто не ездит на Запад.

– А на Восток?

– Тофе.

Пат не поняла; Годилин повторил раздраженно:

– Тофе! Точно так фе!

Фол сдержал улыбку.

– Мистер Годилин, я с вами согласен, но в этой стране публика требует доказательности. Вы вправе писать все что угодно для «Свободы» – вас слушают только русские, а здесь вы имеете дело с другими людьми. Всякого рода оскорбление Степанова как личности или страны, которую он представляет, означает ваше поражение. Ваши вопросы должны быть корректными, а потому разящими наповал.

– Вашу доверчивую публику вряд ли чем проймешь...

– Не надо считать публику этой страны такой уж неподготовленной, мистер Годилин. Здесь живут вполне достойные люди, которые думают по-своему, и, пожалуйста, оставьте им право думать так, как они считают нужным. Они ведь, сколько я знаю, не навязывают вам своей точки зрения на те или иные события, почему же вы присваиваете себе право поучать их, как им следует думать?

– Простите, мистер Фол, но мои друзья сказали, что вы какой-то финансовый воротила... Почему вас интересует Степанов? Зачем вам, именно вам и вафым друзьям, нужен скандал?

– Объясняю. Мой бизнес связан со страховкой произведений искусства. Мы страхуем коллекции на сотни миллионов долларов. Активность мистера Степанова и иже с ним наносит ущерб нашему предприятию, поэтому мы нашли пути к вашим мюнхенским друзьям, а те любезно посодействовали нашей встрече.

– Почему выбор остановился именно на мне? – Годилин пожал плечами.

Фол хотел ответить, что остальные отказались, но сдержался, опасаясь непредсказуемой реакции собеседника. Годилина могло понести; не время; с ним еще работать и работать.

– Какие вопросы могли бы показать Степанова в дурном свете?

– Что это значит «какие»? – Годилин снова пожал плечами.– Конефно фе, гражданские права...

Фол поморщился:

– Я же определил сферу моего интереса. Вопросы культуры, понимаете? Куль-ту-ры...

– Трагедия худофников абстрактной живописи в России...

– Абстрактная живопись зачахла и на Западе, согласитесь. После Пикассо эта эпоха кончилась. Что еще?

– Террор цензуры.

– Уже теплее. Еще?

– Невозможность самовыражения.

– Очень хорошо. Еще?

Пат неумело закурила и, поглядев на Годилина, заметила:

– Но ведь выставка русских художников в Париже собрала беспрецедентное количество золотых и серебряных медалей... Об этом много писали...

– Неуфели не понятно, фто это был шаг Миттерана перед его визитом в Москву?! – рассердился Годилин.

Фол дождался, пока Пат перевела; пусть верят, что я не понимаю по-русски; пожал плечами.

– Значит, художники на Западе тоже лишены свободы, мистер Годилин, если они обязаны подчиняться диктату своего президента?

– Думаю, это последний социалистический президент во Франции. Они с ним достаточно нахлебались.

Пат попросила повторить последнее слово; Годилин сказал «наелись»; она не поняла, спросила: чего?

Чтобы не рассмеяться, Фол закурил, тяжело затянулся.

– А что, если вы расскажете про то, как встречались с ним в России? Вы часто встречались?

– Когда-то мы друфили. Но он купил «ЗИМ» и сразу отделился от нас.

– Что такое «ЗИМ»? – спросила Пат.

– Это очень большой автомобиль,– ответил Годилин нетерпеливо.

– Вам было обидно, что он купил «ЗИМ»? – спросил Фол.

– Мы не любим выскочек, мистер Фол. Как и все нормальные люди.

– На каком автомобиле вы ездите здесь?

В глазах у Годилина появилось нескрываемое раздражение.

– На подержанном, мистер Фол, на подержанном.

– Ладно. Про автомобиль «ЗИМ» здешней аудитории будет непонятно. А мне рассказывайте, мне все интересно, я же хочу понять, что надо сделать завтра, времени-то в обрез, вот в чем фокус...

– Довольно странно слышать все это, мистер Фол... Разве не есть прецедент для хорофего политического скандала сам факт, что чекист в центре Лондона пудрит мозги увафаемой публике побасенками о русской культуре?!

Пат снова открыла словарик; Фол понял, что она ищет слова «пудрить» и «побасенки»; так и было; перевела, однако, вполне сносно: «пудрить парики» и «басни»; она, видимо, думает, что «пудрить парики» приложимо к здешней палате лордов или к высокому суду; тем не менее поймут, по-своему, но поймут.

– Если бы вы доказали, что мистер Степанов прибыл сюда в качестве офицера КГБ, это было бы прекрасно.

– Я покафу публике любую из его книг – больфинство посвящено политике, чекистам!

– Хм... Как вы относитесь к идее свободы предпринимательства?

– Так же, как и вы.

– Тогда ваш довод обернется против вас, мистер Годилин! В зале соберутся люди большого бизнеса. Личное дело мистера Степанова писать то, о чем он пишет, никто не вправе попрекать его этим. Это то же, что попрекать Грэма Грина и Ле Карре. Вы можете зачитать отрывок из его книг, в которых бы содержался призыв завоевать Остров силами ЧК или что-то в этом роде? Вы озлобите публику, мистер Годилин, потому что уважаемые джентльмены, которые соберутся в театре, имеют большой и весьма выгодный бизнес с Россией. Они будут шокированы, если вы на основании того, что Степанов пишет шпионские бестселлеры, обвините их в сотрудничестве с КГБ как с одним из институтов государственной машины, входящей наравне с торговыми министерствами в состав Совета Министров России...

– Несчастные доверчивые бизнесмены... Чем больфе они торгуют с Россией, тем глубфе копают себе яму.

– Это их личное дело. Не надо давать бесплатные советы, здесь этого не любят. Я определил предмет моего интереса. Давайте думать о нем серьезно, ладно? И последнее: мне кажется, вы делаете все, чтобы советские писатели видели в Кремле свою единственную надежду и защиту. Вы же топчете их нещадно, разве нет? Может, целесообразнее отторгнуть их от режима? Приблизить к нам? Не находите? Чем больше вы похвалите Степанова здесь, тем меньше ему станут верить т а м. Это диалектика, мистер Годилин.

6

Полет до Эдинбурга занял час или того менее; Ростопчин не заметил даже точное время, весь был устремлен в то, с чем ему предстояло встретиться. Пролистал справочник, лежавший на столике: «Что купить в Шотландии»; игральные карты Соммервилля из Эдинбурга – самый элегантный подарок; фирма Джофрей предлагает большой выбор национальной одежды (почему бы не вернуться в Цюрих в клетчатой юбочке?!); от обеда, предложенного стюардессой, отказался; пожалел, что не сможет посетить коллекцию Барелла, все-таки до Глазго девяносто километров, а коллекция уникальна: Рембрандт, Лукас Кранах, Дега, Мане, Сезанн, прекрасный китайский фарфор, персидские поделки по металлу; первую картину в свою коллекцию сэр Уильям Баррел приобрел шестьдесят пять лет назад, когда ему было пятнадцать; десять шиллингов, которые отец дал на покупку мячиков для крокета, мальчик истратил на акварельку, что продавала седая полубезумная старуха...

В маленьком, компактном аэропорту Ростопчин зашел в аптеку, купил пилюли для сердца (предложили семь разных упаковок, все для стимуляции мышцы; выбрал красно-синюю, самую дорогую, девять фунтов), позвонил сэру Мозесу; подошел дворецкий: казалось, он только и ждал звонка человека из Цюриха.

– Вам надо взять такси, князь. Есть две дороги, которыми следовало бы воспользоваться. И та и другая, связаны с памятью сэра Вальтера Скотта. Можете отправиться через Пиблс вдоль по берегам прекрасной Туид до Мэлроз либо мимо замка сэра Вальтера, этот путь короче, и вы успеете полюбоваться Абботсфордом, не знаю, открыт ли музей в это время для обозрения. Если решите переночевать, номер в отеле для вас заказан.

Таксист, выслушав адрес, хмуро заметил:

– Англичане лезут в Шотландию, как только могут. Мирная оккупация, какая жалость.

Больше он не произнес ни единого слова за всю дорогу; поля были ухожены, овцы надменны в своей сытости, маленькие озера в лучах северного солнца похожи на ртуть из разбитого градусника; Ростопчину все время казалось, что, если остановиться, выключить мотор и выйти из машины, он сразу услышит треск цикад, как в Крыму, когда его возили из Ялты к Байдарским воротам; черт, отчего так леденеют руки, мизинцы вообще бесчувственны, даже ногти посинели.

...Сэр Мозес встретил Ростопчина у входа в небольшой аккуратный домик; холл, кабинет, библиотека и большая веранда; наверху две спальни, ванная.

– Мой отец наполовину шотландец,– заметил сэр Мозес.– Только поэтому меня здесь терпят.

– Как странно,– откликнулся Ростопчин.– Казалось бы, один язык, одна культура...

– Вы ошибаетесь, князь,– Мозес Гринборо предложил Ростопчину кресло, очень старое, вбирающее в себя.– Это отнюдь не диалект, подобный северным наречиям немецкого или же баварскому сленгу! Это нечто совершенно особенное, материковое.– Сэр Мозес взял со столика маленький медный колокольчик, позвонил; дворецкий появился сразу же.– Пожалуйста, принесите из моей спальнии румынский препарат, у нашего гостя не совсем хорошо с сердцем.

– Как вы определили? – спросил Ростопчин.

Мозес неторопливо закурил, пожал плечами.

– Дело в том, что с тридцать шестого по шестьдесят восьмой год я служил в военно-морской разведке, князь. А эта служба учит наблюдательности. Впрочем, участие в героической эпопее французских маки́, видимо, учит этому же.

Дворецкий принес лекарство и графин с ледяной водой.

– У нас свой колодец,– пояснил сэр Мозес.– Вода совершенно поразительна. Порою мне кажется, что она лечит более радикально, чем фармация. Впрочем, этот румынский препарат действительно уникален; говорят, что возвращает молодость, нормализует ритмику сердца. Через пять минут вы вполне заслуженно выкурите свою сигарету, а когда ногти снова сделаются розовыми, мы отведаем виски.

– Если окочурюсь, расходы по перевозу тела за ваш счет.

– В деревне живут, князь. Умирают в столицах. Я купил этот домик, когда понял, что ошибся в выборе карьеры. Это случилось через три месяца после того, как я стал работать в разведке, накануне рождества тридцать шестого года... Мы получили доклад нашего военно-морского атташе в Берлине, капитана первого ранга Траубриджа. Вы наверняка слышали это имя. Нет? Странно, он внес свой вклад в борьбу с наци, причем отнюдь не малый. В своем отчете он писал – цитирую по памяти, возможны какие-то неточности,– что англо-германское морское соглашение в послевоенное время – один из главных принципов политики, характеризующей отношение Германии к своим бывшим противникам. История показывает, что когда настанет время, Германия, вне всякого сомнения, поступит с этим соглашением так же, как с другими. Но

такое время еще не пришло. Так вот эти две пророческие фразы капитана не были включены в ежегодный отчет нашему министру иностранных дел. Да, да, именно так, ибо начальник управления оперативного планирования мистер Филлипс начертал на полях его сообщения – причем это было написано первого января тридцать седьмого года,– что ему весьма «желательно узнать, какие факты послужили основанием для столь категорического утверждения». И все. Этого оказалось достаточно. Мы, молодежь, не верили Гитлеру; наше неверие трактовалось аппаратом премьера Чемберлена как попытка повернуть Даунинг-стрит к диалогу с Москвой; приравнивалось к измене присяге. Только в сороковом году, когда сэр Уинстон возглавил кабинет, я ощутил себя нужным Великобритании, ибо понял, что мы будем сражаться против коричневого тирана... Это не фраза, нет... Это моя жизненная позиция... Вы приехали для того, чтобы говорить со мною о судьбе картины Врубеля?

– Да.

– Вы знаете, с кем мой брокер бился на аукционе?

– Нет.

– Сердце отпустило?

– Да.

– Я вижу, ногти порозовели. Итак, виски?

– С удовольствием.

– Думаю, мы не станем звать доброго Джозефа, будем обслуживать себя сами?

– Конечно. У меня совсем отпустило сердце, и сразу же захотелось выпить.

– Прекрасно. Я рад за вас.

Сэр Мозес Гринборо поднялся, принес бутылку с дымным виски, восемнадцать лет выдержки, цвет осеннего поля.

– Ну? – спросил сэр Мозес, сделав легкий, блаженный глоток.– Нравится? Впрочем, говорят, что русские предпочитают иной напиток.

– Я неотмываемо русский, чем высоко горд, однако на «Ладе» не езжу, предпочитаю на «мерседесе»; щи не люблю – это самый обычный суп у русских,– обожаю луковый. Но разве это определяет национальную принадлежность?

– А что?

– Язык и зрение.

Сэр Мозес удивился.

– Странное сочетание. Отчего именно язык и зрение? А сердце? Кровь? Норов?

– Сердце – кусок мяса, хорошо тренированная мышца, оно у всех одинаково. Как и кровь. Нрав меняется – после безоговороч-

ной капитуляции немцы стали иными, что бы ни говорили. А вот зрение... У нас, у русских, его определяют как п о н и м а н и е, заметьте себе. П о с т и ж е н и е происходит от слова з р е т ь... Любопытно, эти сопряжения родились задолго до того, как медики установили, что зрительный нерв проходит от мозга к лицу человека. А зрачок в России называют круглой прорешкой посреди радужной оболочки...

– Какая-то феерия символов,– заметил сэр Мозес. Ростопчин по-прежнему не задавал вопроса о том, с кем бился брокер Мозеса, пусть сам скажет.

– Тайна национального зрения,– продолжил Ростопчин,– непонятна мне, но в том, что она существует, я не сомневаюсь нисколько. Причем национальное иногда привнесено в тайну извне, иначе мальчик с острова Крит не стал бы великим испанским художником Эль Греко, а еврей из черты оседлости не стал бы певцом русской природы Левитаном.

– Мы исключение,– заметил сэр Мозес Гринборо.– Англию прославили англичане.

– Немец, болгарин или японец убеждены в том, что Роберт Бернс и Вальтер Скотт – англичане. Они не знают о сложностях англо-шотландских отношений.– Ростопчин улыбнулся.– Что же касается вашей живописи, то она родилась из эксперимента фламандцев и испанцев; влияние очевидно, спорить с этим бессмысленно... Но если мы вернемся к языку, то есть к проблеме Бернса и Скотта в английской литературе, то я обязан прибегнуть к исследованию этого предмета, обратившись к словарю, который определяет язык как мясистый снаряд во рту, служащий для подкладки зубам пищи, для распознания ее вкуса, а также для речи. Но при этом существует и второе толкование: совокупность всех слов народа, их сочетание для передачи своих мыслей. Есть и третье: язык – это народ, земля с одноплеменным населением и одинаковой речью. Все это вполне справедливо, но как же тогда объяснить феномен фон Визина, ставшего великим русским драматургом Фонвизиным?

– Вас тянет в Россию? – неожиданно спросил сэр Мозес.

Ростопчин задумался: вопрос был интересен, он сам никогда не задавал его себе, и не потому, что боялся ответа, а из-за ритма жизни, в котором жил; именно этот испепеляющий, стремительный ритм и позволял ему делать для России то, что старался делать; какой прок от беспомощного, слабого плакальщика? Родине помогают сильные.

– И да, и нет,– ответил Ростопчин задумчиво.– А вообще-то вы меня озадачили, загнали в тупик своим вопросом. Я в деле, ко-

торое вертит мною... Не я им .. Но я вырос под влиянием русского искусства. Мать воспитала меня русским... Я могу плакать, когда читаю Пушкина... Но я уже не могу отрешиться от того ритма, в котором живу шестьдесят лет... В этом смысле я европеец, каждодневная гонка за самим собою...

– Во всем согласны с Кремлем?

– Отнюдь.

– А в чем согласны?

– В том, что русские не хотят драки.

– А кто ее хочет? По-моему, никто. Так вы не знаете, с кем я бился за Врубеля?

– Нет.

– С американцем... Мистер Грибл... Он не коллекционер, он скупает картины, как акции. У него, видимо, плохие советчики, совершенно не думают о престиже клиента. Не ударь я своей ценой, картину бы забрали в Штаты.

– Какая разница? Англия – тоже не Россия...

– Шотландия,– мягко поправил сэр Мозес.– Картину доставили сюда, в Шотландию, тем рейсом, который вылетел в Эдинборо (он произнес название Эдинбурга подчеркнуто по-шотландски) за полчаса перед вами... Видимо, вы хотите, чтобы я уступил ее вам?

– Не мне. Мистеру Степанову.

– Кто это?

– Мой друг из Москвы.

– Не хотите узнать, почему я бился с тем американцем?

– Хочу.

– Что же не спрашиваете?

– Жду, пока расскажете сами.

– Я кое-что слышал о вашей активности, князь... Она представляется мне вполне оправданной. Но не считайте, что ваша деятельность не окружена сонмом легенд, совершенно противоречивых... Мне это напоминает операцию, придуманную адмиралом Канарисом, он был блистательный выдумщик. Что-то в тридцать восьмом году, еще до того, как пришел сэр Уинстон, нашему посланнику в Берлине передали «самую компетентную и доверенную информацию» о том, что в ближайшее время возможен удар немецкой авиации по флоту метрополии, который окажется сигналом к началу войны. Ни ультиматума, ни джентльменского объявления о начале битвы от Гитлера ждать не приходилось, удар действительно был возможен каждую минуту... Приняли решение привести в боевую готовность часть зенитной артиллерии на кораблях... Первый лорд адмиралтейства Стэнхоуп назавтра после получения телеграммы из Берлина отправился на авианосец «Арк

Роял» и там – при журналистах – сказал, что зенитная артиллерия империи приведена в боевую готовность, чтобы дать «отпор любому, кто попытается внезапно на нас напасть». Таким образом, мы продемонстрировали свою боязнь Гитлера; попытка Чемберлена помешать публикации этого пассажа в прессе оказалась малорезультативной: если «Таймс» и «Дейли телеграф» вняли просьбе правительства и умолчали о речи лорда Стэнхоупа, то «Дейли скетч»– с тиражом плохо, нужна сенсация – поместила речь полностью, сославшись на то, что все это уже прошло по Би-би-си... Пропагандистская машина Гитлера завопила о «войне нравов», которую постоянно ведет английский империализм... Мы попались в ловушку, как пугливые дети... Кто-то очень ловко пугает вами американцев... А я не из пугливых... Поэтому я готов обсудить вопрос о судьбе картины Врубеля... Я не могу уступить ее по вашей цене, но отдам, если вы вернете мне мои двадцать тысяч.

Ростопчин достал чековую книжку, молча вывел сумму, протянул сэру Мозесу; тот поднялся, положил чек на письменный стол, взял тонкую папку, вернулся и сказал:

– К сожалению, я лишен возможности сделать подарок русским, это могут неверно истолковать в Лондоне, но вам я хочу передать письма, связанные с судьбой военного художника Верещагина,– и протянул Ростопчину папку.

Ростопчин открыл ее, сразу же вспомнил мамочку, потому что письма были с «ятями», на толстой голубоватой бумаге и с той орфографией, которой до конца дней пользовалась старенькая в переписке с друзьями, уехавшими в Австралию.

XIII

«Любезный друг Аким Васильевич!

Вы слыхали новости про Верещагина? Бьюсь об заклад, нет! А оне заслуживают того, чтобы их знать, поскольку весьма занятны.

Вернувшись с Шипки и написамши уйму картин, Верещагин был заверен придворным живописцем Боголюбовым, что Великий Князь наверняка захочет купить для Государя весь его Болгарский цикл. И верно, в гостиницу к Верещагину явился адъютант Цесаревича, пригласил художника пожаловать во Дворец, представиться. Тот поехал, ждал час в приемной, засим вышел другой адъютант и сообщил, что Его Высочество сего дня не имеет времени, назначил другую дату, а Верещагин дерзко посмел не явиться, сказамши во всеуслышание, что, де, видно, большой надобности в свидании нет и что найдутся желающие

иметь его работы помимо таких важных особ, да и укатил из Питера! Каково?! Но и это не конец! Боголюбов понудил-таки его послать Цесаревичу на просмотр картину, а тот возьми да и скажи Верещагину: мол, негоже, дурно, не для России! Остался спаситель Третьяков, но и тот, осмотрев цикл, заметил Верещагину, что в полотнах мало жертв русского народа, мало подвигов войск и некоторых отдельных личностей... Ему ведь тоже нелегко, он все знает, что, как, про кого говорят при Дворе, хочешь не хочешь, а подстраивайся! Верещагин дал ему такой отворот, что Третьяков аж побелел от оскорбления.

«С чего он взял,– разразился Верещагин принародно,– что может давать мне эдакие-то советы?! После последней кумпании передо мною стоит ужасный призрак войны, с которым, при всем моем желании схватиться, боюсь не совладать».

И уехал в Париж и Лондон, где выставка прогремела, да так, что об этом сразу же донесли в Санкт-Петербург, и, понятно, оттель не медля дали знать Верещагину, что ему разрешен вернисаж в северной столице. Тот свернул все дело в Париже и сей момент воротился в Россию. Однако же, когда картины были развешаны, конференц-секретарь Императорской Академии Исеев срочно сообщил Верещагину о том, что по указанию Его Высочества необходимо снять пояснительные надписи, поскольку, де, оне и без того ужасную картину войны делают и вовсе невыносимой, а сие мешает патриотическому духу нации. Одновременно с этим сообщили, что Его Императорское Величество соизволили выразить желание осмотреть картины, для чего их надобно перенести в Зимний дворец. Казалось бы, просьбы вполне деликатные, не содержащие в себе чего-либо такого, эдакого... Что же, Вы думаете, ответил Верещагин? Не угадаете! Право, не угадаете! «Я,– говорит,– не нахожу возможным выполнить пожелание Его Высочества относительно снятия надписей и буду ждать его п р и к а з а н и я. Что касаемо показывания картин Его Императорскому Величеству, то позвольте поблагодарить вас за доброе желание; не видя возможности переносить мои картины во дворец, я принужден и вовсе отказался от этой чести». Вот так, а?! А дальше еще хуже! Великий князь приказал снять пояснительные надписи, а они ж злющие! Так Верещагин по поводу этого соизволил заявить: «Снимаю надписи, но пусть на душе Его Высо-

чества будет грех: неужели люди, протестующие против зол войны, приравниваются к отрицающим государство?» Хлоп! А?! Однако же Великий Князь Владимир Александрович все сразу поставил на свои места, сказавши в Академии: «Творец-то – тронутый!» Так при Дворе теперь про Верещагина – с острого словца Великого Князя – иначе и не говорят: тронутый! А и верно! Кто из нормальных эдак-то себя посмеет весть с особами Царствующего Дома?! Газеты выдали против него залп, особенно позабавилось «Новое время», Суворину силушки и языка не занимать, разделал голубчика под орех... Верещагин писал опровержения, лепетал что-то, но имя его отныне сделалось опальным, а талант признан вредным и нездоровым...

До скорого, голубчик Аким Васильевич!»

XIV

Хранителю и Спасителю духа православного Победоносцеву

Да что ж это такое?! Кто позволяет Верещагину так глумиться над нашим боевым духом?! Выступая с лекциею в пользу женских курсов, он посмел такое про наше доблестное офицерство сказать, так обмазал грязью дворянство и генералитет, без коего нету побед наших, что его Высокопревосходительство военный министр Ванновский был вынужден привлечь сыскные органы для расследования его зловредного бесстыдства! Но генерал Скугаревский взял Верещагина под защиту – как всегда, на Руси находятся доверчивые добрячки, наивно полагающие, что Диавол изведен из людей. Так и на этот раз: дело прекращено! Или, во всяком случае, прикрыто! А ведь известно, что Государь соизволил заявить: Верещагин делает своей живописью зло России, выставляя темных солдат страстотерпцами и героями, а генералов – трусами и безмозглыми дурнями с мохнатыми сердцами. Только нерусскому человеку не ведомо, что наш темный мужик без поводыря ни на что не способен! Таков уж народ наш! Поводырь – командный чин, его бы и восхвалять. Так ведь нет! Клевещет Верещагин, черно и низко клевещет!

На Вас одна надежда! Оберегите Русь-матушку!

Не подписуюсь потому, что не один я так думаю, но легион подобных мне».

XV

«Милостивый государь Аким Васильевич!

Как и обещал, высылаю с этим письмом способ заварки лечебного почечного чая для любезной Лидии Арсеньевны. Поверьте слову, завар дивный, снимет все боли после пяти – семи приемов.

Теперь о новостях.

Продолжается эпопея с Верещагиным. Как Вы, конечно, знаете, его новая серия (меньше чем дюжинами он не пишет) о Наполеоне была предложена им к продаже двору. Государь Николай Александрович соизволил изъявить желание приобресть лишь одну картину. Верещагин отказался: «Или все, или ничего!» Тут юркие американцы предложили ему выставку в Новом Свете, он, конечно же, отправился туда: успех, овации, пресса; «Дикий русский потряс западный мир талантом своего беспощадного реализма». Но талант талантом, а тамошние антрепренеры его крепенько надули, и он решил пустить себе пулю в лоб. Сказывают, что жена его, Лидия Васильевна, закладывает дом, дабы выслать своему супругу денег; на билет не хватает, чтобы воротиться домой. Денег, увы, не достала, и тогда Верещагин согласился на аукцион в Нью-Йорке всей его серии; оценили баснословно высоко (их разве поймешь, американов-то), чуть не в полмильона долларов. Пришла телеграмма министру двора Е.И.В. генералу Фредериксу о распродаже. Тут у нас все зашевелились, оттого что не так далека годовщина великой битвы супротив Наполеона, чем ее отмечать, как не его серией?! Выплатили сто тысяч, он успокоился, расплатился с долгами, воротился с картинами в Россию и снова, как одержимый, к мольберту, и снова за свое, вот уж действительно «тронутый». Не пошла ему впрок взбучка, данная «Русским словом». А ведь там писали по поводу его серии: «Алтарь, превращенный в кабинет, Успенский собор, в котором устроена конюшня,– да для чего же изображать все это на полотне и в красках, выставлять и показывать?! Кому!? Нам, русским?! Если в 1812 году в России кощунствовали враги, то теперь кощунственное впечатление оставляют произведения русского художника, которому для чего-то вздумалось изобразить в картинах поругание над русскою святынею».

Метче и не скажешь.

Ну, да либерализм нашего правительства и не до того еще доведет!

Поверьте слову и чутью моему: Верещагин такого наизображает, что всех нас представит страной варваров и дикарей.

Ничего, и это переживет Россия, не то переживала...

До скорого свидания, голубчик!»

Ростопчин поднял глаза; в них были слезы.

– Мне перевели это,– сказал сэр Мозес.– Я был шокирован тоном и содержанием. Но самое ужасное заключалось в том, что после гибели живописца двор его императорского величества не захотел купить его серию, и американцы предложили вдове миллион долларов за работы Верещагина, но она все же умолила вашего государя взять картины за десятую долю американской цены. Какой-то рок тяготеет над вашими гениями, страшный, непознанный рок...

Ростопчин медленно нацедил виски, взял соленый орешек, но есть не стал, положил на серебряную подставочку, спросил:

– Так все-таки отчего вы стали биться в «Сотби» с американцем?

Сэр Мозес улыбнулся:

– Я думал, вы будете по-прежнему дожимать меня своей незаинтересованностью... Я бы рассказал вам и так... Дело в том, что мой друг Иен Флеминг, ставший впоследствии столь знаменитым из-за своего Джеймса Бонда, и я работали с сэром Годфри, начальником военно-морской разведки Империи. Вам не кажется, что «империя» звучит надежнее, чем «содружество наций»? – сэр Мозес вдруг усмехнулся.– После того как русские провозгласили «союз нерушимый», а Рузвельт начал колоть нас «империализмом», Черчиллю ничего не оставалось, как молча согласиться на британский паллиатив, и получилось «содружество». Горько, не правда ли? Развитие мира воистину циклично, событие в Петрограде, столь негативно воспринятое Лондоном в октябре семнадцатого, тем не менее явилось основоположением нового качества Англии спустя каких-то тридцать лет. Мир парадоксален, право... Но вернемся к тому, отчего я бился в «Сотби» против американца... После того как Гитлер вошел в Париж победителем и Серж Лифарь танцевал в его честь в Опера...

– Он не танцевал в его честь,– ответил Ростопчин, сдержав внезапно возникшее желание заново вглядеться в лицо старика.– Это неверная информация.

– Да? Странно, мы получили ее от людей де Голля. Впрочем, это деталь, она не существенна. Другое существенно – наш крах в Дюнкерке, когда Гитлер вышвырнул нас с континента. Именно тогда американский военно-морской атташе Керк сказал Годфри, что Британия будет разгромлена до конца августа сорокового года, если только Соединенные Штаты не придут на помощь. Американец, он привык называть вещи своими именами. Так-то вот. Сэр Годфри предложил «младшему брату» пари на полкроны; тот отказался, считая, что своим отказом щадит нашего шефа; для американца главное – денежная единица, с полкроны может начаться миллиард. Вы не можете себе представить, какой сложной была ситуация на Острове в ту пору. Сейчас в Америке не любят вспоминать об удушающей атмосфере изоляционизма, которая царствовала за океаном. Только после смерти Рузвельт стал с и м в о л о м Америки, а в сороковом году мы, в разведке, отнюдь не были уверены, что его переизберут на новый срок. А если бы его не переизбрали, убежден, Америка бы не вступила в войну. Следовательно, наша задача, разведки Империи, заключалась в том, чтобы сделать все для переизбрания Рузвельта, а это было нелегкое дело, поверьте. Мы начали с дезинформации, с гигантской, неизвестной еще миру дезинформации, когда сэр Уинстон стал с о ч и н я т ь обращения к англичанам, а через их голову ко всему миру, рисуя ситуацию на фронте не такой, какою она была на самом деле, а такой, какая требовалась для того, чтобы американцы поняли: их ждет трагедия, если Рузвельт снова не придет в Белый дом. Сэр Годфри наблюдал, как Черчилль готовил эти свои речи: в одной руке длиннющая сигара, в другой виски с содовой; одет в измятую куртку со множеством карманов; ходит по громадному кабинету, диктует, не глядя на стенографистку, рядом машинистка, б е р у щ а я с голоса; изредка поглядывает на сэра Годфри, словно спрашивая, не слишком ли заносит, Черчилль ведь считал себя первоклассным журналистом, и не без основания, уверяю вас, только поэтому и стал премьером – из известности в еще большую известность... Он позволял себе, например, утверждать по радио, что половина немецких подводных лодок уже потоплена нами... Мы-то знали, что это не соответствует истине... Годфри возразил Черчиллю, конечно, весьма сдержанно, корректно, как и подобает джентльмену, но возразил: люди, облеченные властью, не вправе выдавать желаемое за существующее, это азартная игра, а не политика... Такое не прощают. Даже широко думающие люди, как Черчилль... Я преклоняюсь перед сэром Уинстоном, но и перед сэром Годфри я тоже преклоняюсь, поэтому закончу сию скучную, грустную и длинную новеллу про то, как мы в третий раз

привели Рузвельта к власти, как создали американскую разведку и что мы получили в благодарность за это... Впрочем, быть может, это вас не занимает?

– Вы рассказываете весьма интересно. Делается немножко страшно за мир, в котором живешь... На поверхности тишь и благодать, главное, определяющее эпоху, становится известным, когда наш поезд ушел, мы стары и на дальнейшее развитие событий повлиять не можем...

– Можем...– сухо заметил сэр Мозес.– Поэтому я вам все и расказываю... Словом, именно сэру Годфри премьер-министр поручил сделать так, чтобы британская разведка способствовала переизбранию Рузвельта и созданию американской секретной службы. И он вылетел в Вашингтон в сопровождении Иена Флеминга, а я остался на с в я з и в Лондоне. Вы представляете, сколь трудной была миссия сэра Годфри? В Лондоне люди из министерства иностранных дел мечтали, чтобы эта миссия провалилась. В Вашингтоне он сталкивался с теми, кто не желал войны с Гитлером и требовал продолжения нейтралитета. Разведывательное управление Штатов, которое возглавлял бригадный генерал Шерман Майлс, представляющий интересы армии, капитан первого ранга Керк, руководивший морской разведкой, и шеф ФБР Эдгар Гувер жили по принципу щуки, рака и лебедя. Единственной надеждой сэра Годфри был Билл Донован. Он встретился с ним в Лондоне еще за год до своего полета в Вашингтон... Полета, который должен был привести к его падению... Нет, я не виню Черчилля; политика – это противостояние гигантов, выигрывает сильнейший, спортивный термин вполне приложим к схватке государственных лидеров, ничего не попишешь... Мне кажется, он провел грандиозную операцию с Донованом, наш сэр Годфри... Сыграл роль доверительного информатора американца, который рвался к власти в американской разведке... Чего не сделаешь для пользы дела... Просочись хоть капля информации о том, что мы р а б о т а л и с Донованом, а не он с нами, игре сэра Годфри пришел бы конец, Америка по-прежнему стояла бы на распутье, а это грозило крахом Британии... Именно Донован, выслушав в Вашингтоне сэра Годфри, который рассказал ему, что Гувер и иже с ним всячески противятся самой идее совместной работы против нацистов, выдвинул идею необходимости встречи Годфри с Рузвельтом. Иначе дело обречено на провал. Иен Флеминг, работавший до войны в агентстве «Рейтер»– вполне надежная к р ы ш а,– связался с одним из редакторов «Нью-Йорк таймс» Сульцбергером, тот позвонил жене президента Элеоноре, она устроила ужин, на который был приглашен сэр Годфри; после пресной еды и тягучего фильма моего шефа позвали в кабинет Рузвельта; беседа продолжалась полтора

часа, это была трудная беседа, которая, однако, закончилась тем, что в Соединенных Штатах создали отдел стратегических служб, ОСС, во главе с Биллом Донованом, наша задача была выполнена, сэр Годфри победил и за это, понятно, перемещен из Лондона в Индию, командовать тамошними подразделениями нашего флота; что ж, борьба есть борьба, но дело было сделано, Америка выбрала путь войны против Гитлера... Но в конце сорок четвертого года люди Донована закусили удила, забыв, кому они обязаны своим рождением. Мы островитяне, князь. Мы не прощаем обид. Чем ближе нам человек по духу, тем болезненнее мы воспринимаем обиду... Они стали, видимо, без умысла унижать нас, они положили ноги на стол, и если это принято у них, то нас шокирует... Они позволили себе забыть то, что мы для них сделали... Мы не прощаем обид,— медленно повторил сэр Мозес,— именно поэтому Черчилль и выступил с речью в Фултоне, задумав игру; пусть Америка станет первой в провозглашении доктрины силы против России; все равно последнее слово останется за нами, рано или поздно мы еще это свое слово скажем. Я, во всяком случае, сказал его сегодня утром в «Сотби» и повторяю сейчас, уступив вам Врубеля... Культура — путь к политическому диалогу с Москвой, не правда ли?

Ростопчин покачал головой, усмехнулся, поднял глаза на сэра Мозеса, долго разглядывал его красивое, не тронутое возрастом лицо, а потом сказал:

— Это для вас диалог... Для меня это жизнь... То есть память... Благодарственная память... Политика не по моей части, очень сожалею.

— Я понимаю. Но и вы постарайтесь понять меня, князь. Я — в силу своей прежней деятельности — не могу открыто помогать вам и мистеру Степанову, это против устава моего клуба, хоть и бывшего. Тем не менее, если вам или мистеру Степанову потребуется помощь, вот моя карточка, я к вашим услугам. Но лишь с одним условием: мое имя не должно стать достоянием прессы.

7

Лысым, окликнувшим Степанова в холле «Савойя», оказался Валера Распопов с иранского отделения, учился на курс старше; «А я Игорь Савватеев с арабского, помнишь?»— «Нет, прости»; с Валерой и Суриком Шираяном они выступали в одной концертной бригаде, ездили с шефскими концертами по колхозам Подмосковья; самым популярным был их номер, когда они пели — на мелодию известной в те годы песни — свою, студенческую: «Шагай вперед, наш караван, Степанов, я и Широяи».

Оба теперь работали в Лондоне – один в морском представительстве, другой в банке; Институт востоковедения давал прекрасную филологическую подготовку, английский и французский шли на равных вместе с основным языком; впрочем, Генриетта Миновна, преподаватель английского в степановской группе, бранила его за «варварское американизированное» произношение: «Вас не поймут в Лондоне»; ничего, понимают.

– Мы приехали за тобой, приглашаем на ужин,– сказал Валера,– там и Лена будет, помнишь, с китайского, и Олег...

Степанов еле стоял на ногах, но отказаться было бы равносильно предательству самого себя, своей молодости, когда студенческие балы разрешались до трех ночи, а потом еще г у д е л и до пяти, в восемь возвращались на Ростокинский, в здание бывшего ИФЛИ, расходились по маленьким комнаткам, занимались, и никто не знал, что такое усталость, кто же про нее знает в двадцать лет, никто, конечно.

В доме собралось много народа; потребовали, чтобы сначала Степанов рассказал о московских новостях в литературе, кино, живописи и театре. Раньше, до того, как ему пришлось подолгу жить за границей, он не очень-то понимал такой интерес, в чем-то даже экзальтированный, что ли. Лишь по прошествии лет, когда возвращался в Москву из заграничных командировок, ему стало по-настоящему понятно это поразительное ощущение оторванности от с в о е г о; немедленная потеря пульса жизни дома; выпадение из нашего сложного ритма; он просиживал у телефона часами: «Что с выставкой молодых художников? Утвержден ли план издательства? Когда заседание редколлегии?» А ведь каждый вопрос, помимо ответа, в свою очередь, рождает множество новых вопросов. Порою Степанова не оставляло ощущение, что он вернулся в Москву из провинции, хотя жил в европейских столицах; казалось бы, масса интересного, ан нет, лишь дым отечества нам сладок и приятен, точнее не скажешь.

Спрашивали про тиражи, отчего малы; Степанов пробовал отшутиться – здесь, мол, и того меньше, потом посоветовал обратиться за такой справкой в Госкомиздат, там решают, им и карты в руки; ответ никого не устроил, даже, ему показалось, обидел собравшихся, пришлось говорить о больном; да, невиданный интерес к книге, а с бумагой по-прежнему трудно, да, еще не учтен реальный читательский интерес, мало работают с библиотеками и книжными магазинами, простор для социологического анализа; хотим быть добренькими, почти одиннадцать тысяч членов Союза писателей, каждый имеет право – самим фактом своего членства в организации – на книгу; вы говорите, того не читают, это-

го не покупают! Увы, неверно! Живет какой-то писатель в областном городе, и его хотят читать с в о и, поди откажи – негоже! Здесь, на Западе, первый тираж три тысячи, у нас – пятнадцать; надо ломать структуру, а это процесс болезненный, требуется оперативность, точнее, понимание р ы н к а, он особый у нас; конечно, значительно легче раздать всем сестрам по серьгам – и овцы целы, и волки сыты...

Рассказал об эксперименте, который поставил покойный доктор из Западной Германии Клаус Менарт; приехал в Москву писать книгу о том, что читают русские; родился-то в Замоскворечье, дедушка был хозяином шоколадной фабрики, которая потом стала «Красным Октябрем», обертку «Золотого ярлыка» рисовал его отец; до семи лет, пока не началась империалистическая война, Клаус говорил только по-русски, играл с русскими мальчишками и девчонками, слушал церковные песнопения во время православной пасхи; на масляную в доме пекли блины; отцовские друзья – сибирские заводчики – выучили маменьку лепить пельмени; часто ходил в Третьяковскую галерею (отец запретил мальчику говорить расхожее «Третьяковка», учил, что этот великий музей следует называть уважительно); «Синюю птицу» смотрел три раза, плакал от ужаса и счастья, с тех пор был постоянным поклонником МХАТа; когда в середине двадцатых годов вернулся в Союз журналистом, придерживался крайне антисоветских взглядов; вторую мировую войну встретил в Китае, был интернирован, вернулся в Германию после капитуляции, создал институт «советологии», был главным редактором журнала «Остойропа»; состоял советником канцлера Аденауэра по русскому вопросу, занимал крайнюю позицию.

В Советский Союз его пустили с неохотой, ждали очередного тенденциозного труда, их было у Менарта немало. Он начал свою работу в Москве с того, что составил предварительный список двадцати четырех самых читаемых в стране писателей, потом отправился в городские библиотеки, полетел в Братск и Волгоград, сидел в маленьком читальном зале в деревне под Калинином, беседовал с самыми разными людьми и опубликовал в Соединенных Штатах и ФРГ книгу «О России сегодня. Что читают русские, каковы они есть». Она произвела эффект разорвавшейся бомбы; одни злобно улюлюкали, другие замалчивали, оттого что выводы, к которым пришел Менарт, никак не укладывались в рамки, которых он сам придерживался раньше. Он утверждал, что русские действительно не хотят войны, что в первую очередь их занимают проблемы, которые стоят перед ними, и они пишут о них открыто; цензура, видимо, никак не ограничивает право на критику, ес-

ли она носит «позитивный характер», то есть не призывает к оголтелому ниспровергательству, а исследует возможные пути преодоления того, что мешает обществу в его поступательном движении к прогрессу.

– Так вот он, Менарт,– заметил Степанов,– проделал работу, которой следовало бы заниматься нашим социологам вкупе с издателями; опрашивал в десятках библиотек и работников, и читателей, какую книгу они бы хотели получить. Какая не интересует их? Чьи имена наиболее любимы? Кто оставляет читателя равнодушным? Почему? Причина?

– Почему же не заняться этим серьезно? Коллективу? А не одному человеку? – спросил Игорь Савватеев.– Тем более иностранцу? Почему не ударить по серости?

Степанов улыбнулся:

– У нас появилась еще и новая литература, так сказать, неприкасаемая. Увы... Но самое досадное заключается в том, что молодых писателей очень мало, т р е в о ж н о мало...

– Отчего? – несколько раздраженно, не глядя на Степанова, спросил Игорь Савватеев.

– Однозначно не ответишь. Мы, старшее поколение, видимо, в чем-то виноваты. Мало ищем. Излишне опекаем. Не очень-то готовы к проблематике, с которой идут в жизнь молодые. Но и молодежь виновна, сторонится острых тем, выплескивает на бумагу самих себя, сплошные исповеди... Поступают в Литературный институт, чтобы научили их писать... А можно ли? Вот актера надо учить ремеслу с детства. Вся история лицедейства говорит за это – преемственность театральных фамилий, взять, к примеру, тех же Садовских, Ливановых, Абдуловых. Но и в актерском деле мы портачим; французские продюсеры знают, что картину с Бельмондо будут смотреть все, вот они его и к а т а ю т. А мы расхитительны по отношению к своим актерам. Отчего нет блестящих сценариев на Крючкова, Гурченко, Баниониса, Тихонова, Куравлева, Гафта, Броневого, Волчек, Петренко, Басилашвили, Ульянова?! Я понимаю, жажда режиссерского открывательства, но ведь Феллини не боялся т а щ и т ь из картины в картину Мастроянни! Никогда не забуду фильм Лео Арнштама «Глинка». Там наш, далеко еще не оцененный артист Петр Алейников поразительно сыграл Пушкина; причем без слов, какая-то необыкновенная пантомима! А зрители смеялись, потому что хотели видеть Алейникова Ваней Курским и никем другим. Актерский век короток, а съемки фильмов чудовищно затянуты...

– Почему,– спросил кто-то из молодых, явно не востоковед,– американское телевидение каждую неделю дает фильмы о проку-

роре, судье, частном детективе, сыщике, работнике дорожной полиции, агенте из ведомства по борьбе с наркотиками, о фэбээровце, цэрэушнике, привлекая к экрану миллионную аудиторию, а у нас такие фильмы показывают раз в месяц?

– Вы задали мне вопрос, который я постоянно ставлю перед коллегами с телевидения,– ответил Степанов.– Во-первых, сказывается старое отношение к теме: раз полиция, значит, несерьезно, второсортность, дешевка. Во-вторых, ревнивое удержание за фалды тех, кто может вырваться вперед на т е м е; вопрос популярности, то есть лидерства, тоже не сбросишь со счетов; честолюбие в мире искусства совершенно особое, и отнюдь не только нашему обществу это присуще, прочитайте дневники братьев Гонкур про то, как критика поносила Флобера и Золя: несерьезно, скучно, сенсационно, жажда дешевой популярности... А как травили «Братьев Земпано»? А что писали про Гюго, пока он не стал живым памятником?!

– Не слишком ли суровое обобщение? – усомнился Саввateев.– Послушав тебя, наши молодые товарищи могут решить, что склоки – непременный атрибут мира искусства.

Степанов хотел было возразить, но Распопов, перебив его, стал рассказывать о том, как он встречался в Москве с друзьями; потом стали пировать, за столом нет-нет да и возникал спор; все читают все, все знают про всех в мире кино и театра.

Распопов вспоминал тех, кого уже нет; боже ты мой, как неудержимо летит время!

– Ты заметил, Мить,– вздохнул Распопов,– что мы в чем-то не готовы к новым скоростям, к новому ритму времени, надо б думать про то, как продлевать часы, а мы гоним их, гоним, гоним...

Как раз в это время Фол, приняв третью таблетку аспирина – голова раскалывалась, знобило,– встретился с литературным агентом Робертом Маклеем у него в бюро, в маленьком доме, который тянулся вверх, словно труба камина; комнатки были крохотные, лепились одна на другую; семнадцатый век, тяжелые деревянные балки, стрельчатые маленькие окна, множество старинных книг на стеллажах; двадцатый век был п р е д с т а в л е н телетайпом, который работал беспрерывно, и эта его сухая работа казалась здесь противоестественной, жутковатой.

Фол разложил перед Маклеем фотографии: Степанов с Че Геварой на Кубе; с Альенде; с принцем Суфанувонгом в партизанских пещерах Лаоса; с палестинцами в Ливане; с Хо Ши Мином; с Омаром Торрихосом в Панаме – все это было ксерокопировано из его путевых очерков, но на особый манер, чтобы создать впе-

чатление, будто кадры сделаны скрытой камерой; загодя сработали в фотоателье Брауна в Нью-Йорке; ничего предосудительного; своеобразная форма подачи, никакого искажения первоисточника. А последнее фото, цветное, сделано сегодня на аукционе «Сотби»; в первом, самом престижном ряду князь Ростопчин, каменно улыбающаяся Софи-Клер, дочь личного секретаря покойного короля, и Степанов.

– Текст очень краток,– продолжал Фол.– Подписи под каждым фото вот здесь,– он ткнул негнущимся пальцем в листок бумаги.– Загадочный писатель Степанов вместе с Че во время планирования партизанской акции. У партизан Вьетнама накануне штурма Сайгона – в их форме, заметьте себе. С палестинцами во время боев в Ливане. Ну и все в этом же роде. Материал надежен вполне. А последнее фото, где он в «Сотби», должно быть особенно крупным. Подпись: «КГБ внедряет Степанова в высшее общество Англии». И все. Только вопрос. Как?

– Беру. Сколько хотите за материал? Дэйвид (репортер «Кроникл», с ним поддерживали постоянный контакт люди из местной резидентуры, рекомендовал Фола, его рекомендации ценились, получал процент со сделки) сказал, что вы не станете драть слишком много.

(Дэйвид, посмотрев материалы, назвал цену: двести фунтов; Фол исходил именно из этой суммы в своей игре; если просишь дешево, к материалу относятся с недоверием).

– Семьсот фунтов,– сказал Фол.– По-моему, вполне нормальная цена.

– Мистер Вакс, это несерьезно.

Фол сгреб фотографии, зевнул.

– Пятьсот мне предлагал О'Лири.

(Литературный агент О'Лири был готов уплатить двести пятьдесят, с ним час назад говорил Джильберт; психологическая атака; называй цену, шотландец, скорее называй цену, я ведь сам готов тебе уплатить, только б завтра это появилось в вечерних выпусках, накануне шоу в театре, давай, шотландец, все равно я тебе всучу эти материалы, ты обложен, бери.)

Уступил за двести пятьдесят – при условии, что будет напечатано завтра вечером; подписали соглашение, обменялись рукопожатием. «Только спускайтесь осторожнее, мистер Вакс, лестница коварная, можно поломать ноги. До завтра. Примерно в двенадцать я сообщу вам, в какой газете это пойдет. Кстати, вы не предложили свой заголовок?»– «Да? Заголовок очень простой: «Кто вы, доктор Степанов?»– «Намек на Зорге? Пойдет. Совсем неплохо».

– Слушай, Мить,– сказал Распопов,– а ты знаешь, что Зия стал полным академиком?

– Знаю. Я гостил у него в Баку.

Зия был старше всех в институте; в сорок девятом, когда они поступили, ему исполнилось двадцать шесть; старик; на висках ранняя седина; в лацкане потрепанного пиджака Звезда Героя Советского Союза. В тридцать седьмом его отец попал в беду; когда началась война, Зия ушел добровольцем; первую медаль получил совсем еще мальчиком; стал лейтенантом; попросился командиром штрафбата; перед тем как вести штрафников на прорыв глубокой обороны немцев, написал письмо в Москву, хлопотал за отца; был ранен, отец стал работать в шахте в о л ь н ы м; в сорок четвертом году отбили у немцев хутор на Западной Украине; пришла бабка в слезах: твои солдаты своровали порося, так уж его берегла, так хранила, чем жить теперь?!

Зия выстроил штрафбат, вывел на плац старуху, та сразу указала на двух рецидивистов.

«За мародерство у нас одно наказание»,– сказал Зия.

Бабка запричитала: «Пощади их, молодые ж, бог с ним, с тем поросем!»– «С поросем-то ладно,– ответил Зия,– но они носят форму Красной Армии, позорят ее, нет им прощения». Бабка повисла у него на шее, и он сразу же вспомнил свою худенькую азербайджанскую маму, такие же лопатки у этой старушки были острые, и так же волосы ее пахли дымом. «Ладно, гады,– сказал Зия,– сейчас побежите по дороге вокруг хутора и будете кричать каждому встречному, что красноармейцы, пусть даже штрафники, никогда не были и не будут мародерами!»

Те побежали; Зия запряг своего коня в маленькую одноколочку, поехал следом; не проследишь – залягут в кустах, знаю я эту публику.

А навстречу двум, бежавшим по пыльной дороге и кричащим, что мародеров в батальоне славного капитана Зии нет и не будет, ехал генерал; подозвал к себе бегущих, выслушал, дождался Зию на его повозочке и сказал, что существует трибунал, который обязан рассмотреть факт кражи и наказать виновных, но оскорблять достоинство человека никому не позволено; тоже мне, Синдбад-Мореход, пускает впереди себя герольдов; самого под трибунал за нарушение устава; правда, трибунала можно избежать, если сейчас же поднимешь своих людей и передислоцируешься к Дубраве, туда гонит немецкая танковая бригада; удержишь мост, закрою вопрос, нет – пеняй на себя. Продержаться надо сутки, пока подойдет артиллерия.

Держаться пришлось трое суток. Из батальона остались всего девять человек; генерал приехал, обошел с т р о й – все едва стоят на ногах; опросил каждого: «За что угодил в штрафбат?»– потом объявил о награде. Комиссару Зии двадцатилетнему Вите Файну, израненному до того, что стоять не мог, лежал, почерневший, возле дерева, дал Красное Знамя и пошел к машине; Зия молча сопровождал его; только когда генерал захлопнул дверцу, сказал обиженно: «А я что, хрен собачий?» Генерал усмехнулся: «Про тебя особый разговор». Через месяц Михаил Иванович Калинин вручил ему Звезду Героя; отец вернулся в Баку; такая жизнь.

Распопов отошел к телефону. Леночка (по-прежнему милая, только пополнела, а была как стебелек) предложила тост за альма-матер; жаль, что закрыли наш институт востоковедения, именно в тот год прихлопнули, когда американцы открыли сотый по счету востоковедческий центр; таинственно мыслило Министерство высшего образования, ничего не скажешь; вспомнила, заливаясь смехом, как мучились девочки с произношением китайского глагола «мочь», помянула добрым словом преподавателей: какие же хорошие люди, какой великолепный дух дружбы был у них со студентами, никакого покровительства, открытость; особенно хорошо говорила о профессоре Яковлеве, работы которого одно время сильно критиковали за следование учению Марра; он читал свои лекции блистательно, посмеивался в прокуренные усы, никому не ставил оценку ниже четверки, вопрос стипендии для студента нешуточный, особенно в те годы.

Степанов вспомнил, как Зия сразу после получения стипендии (ему платили повышенную) отправлялся в магазин, покупал макароны, сахар, соль и чай на месяц вперед, откладывал сотню (нынешнюю десятку) на молоко и яйца, вполне хватит; одну сотню заначивал на обеды в студенческой столовке; остальные шли на в е с е л ь е; танцевали до трех утра, тогда это разрешалось; потом шли пешком в общежитие, распевая песни, когда рядом Зия – ничего не страшно.

– Слушай,– сказал Савватеев,– а почему в твоих книгах нет наших домашних проблем, Мить?

– Это как? – не понял Степанов.

– Ну, ты ведь все больше ударяешься в историю или политику...

– По-твоему, эти ипостаси бытия к домашним проблемам не имеют отношения?

– Обиделся, что ли?

– Нет, отчего же?

– У тебя нет ничего ни об утраченных традициях, ни о трудностях, которые переживает деревня, ни о тревожных симптомах среди нынешней молодежи... Большая литература всегда рождалась на ниве внутренних проблем.

– Может быть,– вспомнив московского редактора Федорова, ответил Степанов, поняв, что спорить бесполезно.

– Слушай,– Савватеев еще ближе придвинулся к нему,– а ты действительно не помнишь меня?

– Не сердись. Ты ведь был старше?

Тот пожал плечами:

– Не в этом дело. Я же в комитете разбирал твое персональное дело. Вел то заседание комитета. Неужели не помнишь?

Степанов заново посмотрел на этого седого человека, но все равно не увидел в нем того, кто тридцать два года назад требовал исключить его из комсомола; неужели он? Слава богу, что не помню его, сказал себе Степанов, в голове и сердце надо держать хорошее, так честнее и легче жить. Зато я помню, как на то комсомольское собрание пришел Зия, как долго слушал выступающих, а потом поднялся и раздолбал их в пух и прах; помню, как Зия говорил потом: доказать с е б я можно лишь одним – делом; только работа может превратить тебя в личность; запомни, тот, кто хоть чем-то выделился, берет на себя ответственность; ничего не попишешь, закон лидерства; мне нравится то, что ты делаешь, сказал тогда Зия, значит, пиши до упора; п р о я в и т ь себя – это сделать дело, все остальное – словеса, преходяще...

Все верно, Зия – умница, в памяти навсегда остались лица Жени Примакова, Марика Бурханова, Витьки Борисенки, Лени Харюкова, Сани Яицкого, тех, кто был другом; лица недоброжелателей стерлись; как же это славно, право; маяки дружества, словно ночные огоньки на взлетно-посадочной полосе ночью при возвращении домой из долгой командировки. И неизвестно, когда придет время следующей, да и придет ли вообще.

(Именно в это время Фол набрал домашний номер Ричардсона в Гамбурге и сказал, что «штуку» надо запускать в редакции немедленно, нужно управиться к завтрашнему вечеру; тот понял, все обговорено заранее; будет напечатано интервью с Золле, в котором он приводит данные о том, сколько долларов Степанов платил исследователям из Шварцвальда и Брюсселя за их материалы о судьбе исчезнувших русских культурных ценностей; Степанова интересуют имена и адреса людей, так или иначе связанных с вывозом русских сокровищ в рейх; более всего интересуют его, подчеркивалось во врезке, подготовленной Ричардсоном, не столько лица, напрямую работавшие на рейхс-

ляйтера Розенберга, сколько эксперты, историки искусств, ученые, журналисты, предприниматели, связанные ныне с организацией аукционов и выставок; за этим интересом чувствуется р у к а; такого рода данные позволяют шантажировать тех, кто был в свое время п р и н у ж д е н нацистами к сотрудничеству; их можно шантажировать, заставляя выполнять задания, которые угодны Москве.

Выпуск западногерманских газет, которые напечатают интервью профессора Золле, отправят с первым же рейсом в Лондон; в восемь вечера газеты должны быть в театре, не менее трехсот экземпляров, для раздачи всем участникам ш о у, удар обязан быть массированным.

После этого Фол спустился в холл отеля, где его ждал к о н т а к т, который взялся опубликовать в здешней прессе сообщение о том, что Степанову вменена в обязанность т р а в л я бизнесменов, занятых в сфере культуры,— он пытается породить неверие в честность и компетентность владельцев аукционов.)

— Знаешь,— сказал Савватеев,— я завтра приеду в театр, хочу послушать, как будешь отбиваться. Ты не против?

— Ну почему же? — ответил Степанов.— Это очень важно — знать, что рядом свои.

— И я так думаю. Наших человек десять решили приехать.

— Очень хорошо.

— А знаешь, почему я тебе напомнил про то заседание комитета комсомола?

— Ума не приложу.

— Захотелось проверить тебя. Показалось, что ты сразу меня узнал, только научился держать себя в руках... Раньше ведь был вспыльчивым.

— Таким и остался.

Савватеев покачал головой:

— Нет, ты просто-напросто не помнишь себя. А я тебя помню очень хорошо. Честно сказать, я ведь поначалу не верил, что ты сам пишешь книги...

— То есть как? — удивился Степанов.

— Ну, помогает кто-нибудь. Человек должен быть одинаковым в жизни и работе, а ты ведь разный.

— Так это хорошо. Человеческая обструганность удобна только на определенном этапе, потом мешает.

— Верно, спору нет... Но мне кажется, что писатель рожден с даром. Это в его генетическом коде. И потом, эта твоя расхлыстанная манера поведения... Писатель должен постоянно в б и-

р а т ь, в нем обязана быть константа сосредоточенности, а ты был совершенно другим.

Степанов чокнулся с Савватеевым, усмехнулся, посмотрел в его близорукие, чуть навыкате глаза.

– Но сейчас ты меня простил?

Савватеев вздохнул, ответил задумчиво:

– Вот видишь... Я не об этом... Ты все-таки остался прежним.

– Ну, извини,– сказал Степанов.– По-моему, это хорошо – оставаться прежним. Ты меня прямо-таки обрадовал.

Валера Распопов сел к роялю, заиграл:

– Шагай вперед, наш караван, Степанов, я и Широян...

Леночка вытерла слезы, шепнула:

– Знаешь, как Широян умирал? Он очень плакал, боялся, что будет с его женой, так любил ее, бедненький...

«Мы вступили во время утрат,– подумал Степанов.– С каждым днем их будет все больше и больше. Но пусть это жестоко, каждая утрата – подведение итога: что остается в памяти? Да, жизнь – это память».

Он закрыл глаза; сразу же увидел зал «Сотби»; землистое лицо Ростопчина; услыхал тянущий голос ведущего; пятнадцать сотен, семнадцать сотен; снова подумал о том, с чем приедет в Москву; обещал привезти Врубеля; ему поверили; нет мне прощения; позор.

Когда Степанов вернулся в номер, было уже за полночь; тревожно вспыхивала белая лампочка, вмонтированная в телефон,– просьба позвонить в службу информации, сообщат, кто ищет; набрал цифру «6»; девушка словно бы ждала его, пожелала доброго вечера, сказала, что уже шесть раз звонил «принс Ростоучи», просил связаться с ним, когда бы мистер Степанов ни вернулся.

Набрал номер «Клариджа», попросил Ростопчина.

– Да неужели?! – воскликнул тот. Голос князя был ликующим.– Где ты был? Сейчас же бери такси и приезжай ко мне.

– Женя, утром,– взмолился Степанов.– Устал, ноги трясутся.

– А у меня и руки тоже. Жду,– и положил трубку.

Степанов хотел было перезвонить, но понял, что случилось нечто крайне важное, иначе Ростопчин не говорил бы так; сунул голову под кран, снял костюм, надел джинсы и куртку, спустился вниз, сел в такси, назвал «Кларидж»; шофер посмотрел с удивлением, но ничего не сказал; совсем же рядом; англичане редко задают вопросы, каждый волен поступать так, как он счел нужным.

Портье поздоровался со Степановым так же сдержанно, как и вчера, когда он был в костюме; их дело приветствовать каждого; внутри есть своя, особая служба, которая быстро сориентируется;

самое страшное – отпугнуть клиента; сейчас и Рокфеллер ходит в старых кроссовках; вот будет шокинг, если турнуть его от двери!

...Ростопчин лежал на кровати в трусах; ноги пожелтели и отекли; руки снова сделались ледяными; глаза, однако, сияли – картина стояла рядом на стуле; он кивнул Степанову:

– Видишь?

Тот опустился в кресло, потрясенный.

– ...Женя! Милый!

(Фол еще раз намазал запавшие виски китайским «тигровым бальзамом»; сделал уровень записи разговора в соседнем номере максимально громким; каждый звук отдавался в маленьких наушниках словно удар колокола.).

8

...А потом Золле лег на широкую кровать, подтолкнул под голову подушку Анны, она всегда спала на этой, длинной, шутя называла ее «батоном», закрыл глаза и снова ощутил дурноту. Она преследовала его все время, когда он возвращался в Бремен на теплоходе; денег хватило только на палубный билет; крепко штормило; один из моряков посоветовал перекусить, это спасает; «И не бойтесь глотнуть как следует, потом освободитесь, сразу же станет легче».

Золле сосчитал деньги; едва хватало на автобус, чтобы добраться от порта до дома; какое там перекусить; сидел всю дорогу возле поручней; дважды вывернуло желчью, тряслась челюсть; думать ни о чем не мог, какая-то каша в голове; мелькали странные лица; то Рив с Райхенбау; проклятые родственнички, скалятся, прячась друг за друга; то снисходительно улыбающийся Ростопчин в своем летнем костюме, то растерянный Степанов; желваки ходят грецкими орехами, мешки набрякли под глазами; руки трясутся; то слышался голос господина из «исторического общества», который звонил накануне отъезда в Лондон; пятнадцать тысяч марок мы готовы уплатить сразу же, напрасно отказываетесь, господин профессор Золле, все права на изыскания сохраняются за вами; иногда он видел близко от себя лицо Анны, ее добрые большие глаза; они стали какими-то другими накануне смерти; она знала, что конец близок, болезнь неизлечима, в клинику отказалась лечь – к чему лишние траты, и так в долгу; пила обезболивающее, поэтому страданий так остро не чувствовала, только ощущала, как день ото дня слабеет; лицо сделалось желтым, а уши, раньше такие маленькие, красивые, стали похожи на старые капустные листья.

Я не вправе распускаться, повторял Золле; надо заставить себя услышать музыку Вагнера, она живет в каждом, необходимо понудить себя к тому, чтобы не сдерживать ее в себе, не бояться ее грозной очищающей значимости, а, наоборот, следовать за нею, чувствуя, как напрягаются мышцы и тело перестает быть дряблым, безвольным; однако Вагнер не звучал в нем, порой он слышал веселые переливы Моцарта, солнечные, детские; каждый человек — это детство, ничего в нем не остается, кроме детства.

На берег в Бремене Золле вышел обессиленным; присел на скамейку, чувствуя, как подступает голодная дурнота: вот будет стыд, если вывернет прямо здесь.

Рядом присел отдувающийся, очень толстый, плохо выбритый человек в далеко не свежей рубашке и курточке, закапанной на животе вином и соусами; достал сигарету, грубо и крошаще размял ее, прикурил и, вытерев со лба пот, спросил:

— Вы господин доктор Золле? Исследователь и историк?

— С кем имею честь? — спросил Золле сквозь зубы, потому что боролся с приступом рвоты.

— Я Бройгам, из «Нахрихтен». Редакция поручила мне сделать интервью с вами. В сегодняшний вечерний номер.

— Не могу,— ответил Золле.— Я себя плохо чувствую. Позвоните мне домой позже...

— Вы что такй землистый? Плохо переносите морские путешествия? Не следовало сидеть в каюте. Вышли б на палубу...

— Я все время сидел на палубе.

Золле поднес мятый платок к губам, закрыл глаза, чувствуя, как на висках выступает холодная испарина.

Бройгам достал из заднего кармана брюк плоскую бутылочку, протянул Золле.

— Глотните.

— Я голоден,— Золле чувствовал, как слезы сами по себе навернулись на глаза и медленно, солоно потекли по щекам.

Бройгам взял его за руку, помог подняться, отвел к буфетной стойке, заказл гамбургер и пива.

— Не вздумайте отказываться. Вам сразу же станет легче.

Золле съел гамбургер и действительно почувствовал себя лучше.

Этот толстый человек успокаивающе действовал на него; вообще-то к встрече с любым журналистом он готовился загодя, очень важно быть лапидарным в слове, когда говоришь с людьми прессы; они ведь так старательно подгоняют тебя под конструкцию, заранее ими придуманную; внимание и еще раз внимание; но этот толстяк был как-то по-доброму флегматичен; достатком тоже, видно, не отличается, весь жеваный вроде него самого...

Золле поднялся.

– Вы спасли меня... Спасибо... Что ж... Идемте на автобус, не здесь же говорить...

– У меня машина,– ответил Бройгам.– Далеко живете?

– Не очень. Я покажу на карте, трудно объяснять, маленький тупичок за озером.

Однако, когда Бройгам привел его на стоянку, Золле снова почувствовал себя одиноким и несчастным, и снова закружилась голова; журналист отпер дверь громадного серебристого «БМВ»– в таких ездят тузы, а я-то думал, у него какой-нибудь подержанный «фольксваген»; снова г р а н и ц а; как же трагично расчерчен наш мир границами; не между государствами, а между людьми; это страшнее; каждый идущий по улице, а уж тем более едущий по автобану – суверенное государство; полная разобщенность.

Дома он нашел маленькую пачку кофе, единственное, что у него оставалось, холодильник пуст; предложил Бройгаму; тот отказался, перешел к делу; сначала интересовался работой, просил показать документацию, потом спросил о целях путешествия в Лондон; делал быстрые пометки в потрепанном блокноте, из которого то и дело выпадали исписанные листочки; ни диктофона, ни фотоаппарата; впрочем, серьезные журналисты сами не снимают, возят с собою фотографа; Золле помнил, как ему объяснил это парень, который интервьюировал его незадолго до смерти Анны; написал массу ерунды; опровержение ни одна газета не напечатала, какое им дело до фактов, подавай жареное!

– Во что вы оцениваете ваш архив? – спросил Бройгам.

– В жизнь,– ответил Золле.– Я отдал этому делу всего себя. Мы отказывали себе во всем, моя покойная подруга и я...

Бройгам достал из мятой пачки (ужасно раздражало Золле; любую разболтанность, неряшливость, необязательность воспринимал как оскорбление) раскрошившуюся сигарету, сделал ее плоской, закурил, пыхнул в лицо Золле каким-то сладким дымом, тяжело закашлялся, долго сидел, закрыв глаза, пояснил – астма; не переставая курить, спросил:

– Каким образом про вашу работу узнали русские?

Золле удивился:

– Вы имеете в виду Степанова?

– Да.

– Мы много лет обменивались информацией.

– А откуда она у него?

– Он часто ездит. Да и потом ему помогают ученые из музеев России. Так легче...

– Много вы ему передавали документов?

– Очень.

– А он вам?

Золле не ждал этого вопроса; как-то не приходило в голову подсчитать, сколько материалов привозил ему Степанов из Швейцарии и Голландии; последний раз передал документацию из Варшавы; обещал прислать новые данные из Праги; отдал ему письмо из Баден-Бадена; с него начался новый этап поисков; а ведь письмо было адресовано не ему, Золле, а именно Степанову; но он сразу же отправил его мне; и документы из Берлина передавал папками, и устраивал приглашения, и писал про меня и Анну, про то, как я начал, что нашел; он был так добр ко мне, подумал Золле, сидел за этим столом, слушал часами, помогал готовить ужин; как же мы славно пировали втроем – я, Анна и он... «Со мною происходит что-то неладное,– сказал себе Золле.– Я думаю сначала о себе, потом об Анне, а уж потом о нем. Что со мною?»

– Погодите,– сказал он Бройгаму.– Мне надо позвонить во Франкфурт.

– У меня всего еще два-три вопроса.

– Нет, нет, я должен позвонить во Франкфурт, это крайне важно.

– Меня ж казнят, если я опоздаю с материалом в номер. Кто финансирует вашу работу, вот что меня интересует. У вас огромные траты, как я понимаю. Кто оплачивает ваш труд?

– Я.

– Источники? У вас есть какие-то доходы? Рента?

– У меня есть долги, господин Бройгам. Это все, что я могу вам сказать.

Проводив журналиста, он позвонил во Франкфурт, в «историческое общество»; именно те люди и сказали ему накануне поездки в Лондон, какие деньги Степанов платит другим исследователям, показали расписки; он был так поражен, что даже не заинтересовался их адресами и телефонами (раз люди из исторического общества, дипломированные исследователи,– говорят, значит, иначе и быть не может). Золле был тогда в неистовстве; два дня не находил себе места; какая низость – использовать дружеские отношения, а платить совершенно посторонним людям, вклад которых в предприятие незначителен!

– Алло, здравствуйте, это профессор Золле из Бремена.

– Добрый день.

– Ваши люди звонили мне девять дней назад. Я бы хотел связаться с ними. Немедленно.

– Простите, но кто именно звонил и по какому вопросу?

– Я забыл фамилию. По вопросу поиска русских картин, про-

павших во время войны.

– У нас нет русского отдела, господин профессор Золле. Вы убеждены, что звонили от нас?

– Совершенно убежден.

– Пожалуйста, подождите у аппарата, я попробую вам помочь.

– Благодарю.

«Я сейчас же позвоню в Лондон,– подумал Золле.– Меня занесло! Да, да, меня занесло! Я должен был говорить со Степановым и князем как с друзьями. А я обиделся. На кого?! Ах, как верно ты стал думать, когда прошло время и все упущено. Да, упущено! Наверняка аукцион в разгаре. Ну и что? Я позвоню в «Сотби» и сделаю заявление, что Врубель был похищен. Я назову людей, которые паковали картину, вывозили ее из России, назову номер, под которым Врубель был вывезен Розенбергом. Следы этого номера должны остаться на картине, если сделать химический анализ. В левом нижнем углу. Вывести до конца невозможно. Экспертиза подтвердит мою правоту. А если не подтвердит? Кто станет платить штраф? Ты? Чем?»

– Алло, добрый день, господин Золле, это Дукс, меня перехватили у дверей, шел на обед, как поживаете?

– Пожалуйста, назовите мне телефоны тех господ, которым Степанов платит деньги.

– Что?! Вы меня путаете с кем-то, господин доктор Золле! Я предлагал деньги за вашу документацию, пятнадцать тысяч марок, наши условия остаются в силе, но я не знаю, о каком Степанове идет речь... Вы меня путаете с кем-то...

Чеканя каждую букву, Золле чуть не прокричал:

– У меня... были! Из вашего общества! И называли имена тех исследователей, которым Степанов платит деньги! И показывали расписки! Я требую, чтобы вы немедленно дали номера их телефонов!

– Господин доктор Золле,– голос на другом конце провода стал испуганным,– я готов поговорить с нашими коллегами, я перезвоню вам позже, пожалуйста, не волнуйтесь, мы найдем того, кто с вами связывался.

– Как долго мне надо ждать?

– Я перезвоню к вечеру.

– Нет, я настаиваю, чтобы выяснили мой вопрос немедленно! Слышите? Немедленно!

– Но это невозможно, господин доктор Золле. Люди ушли на обед. Трое в отпуске, пять человек разъехались по командировкам. Раньше вечера мне ничего сделать не удастся. Пожалуйста, не волнуйтесь, мы все выясним...

Золле в ярости хлопнул ладонью по рычагу, услышав длин-

ный гудок, набрал «118»[1], спросил как соединиться с бюро справок Лондона; ему продиктовали; он перезвонил еще раз сразу же, не думая, что скажет Ростопчину, Степанову или людям «Сотби»; главное – сказать то, что он обязан сказать; боже мой, что возраст и нищета делают с людьми?! Девушка в лондонской службе информации немецкого не знала, что-то долго объясняла ему, а он – неожиданно для самого себя – начал мучительно подсчитывать, во что ему выльется этот международный разговор; по счетам уже не плачено три месяца; вот-вот отключат номер.

Потом позвонил в Цюрих, в бюро князя; как раньше не догадался, старый осел?! Попросил секретаря срочно позвонить в Лондон, в «Сотби», это на Нью-Бонд-стрит, дом тридцать четыре; пожалуйста, пригласите к аппарату князя Ростопчина; да, да, он там; он непременно в зале; скажите, что Золле намерен сделать экстренное заявление; я жду у аппарата; пожалуйста, поторопитесь, дело чрезвычайной важности.

Секретарь перезвонила только через полчаса, как раз тогда, когда Золле снова решил звонить ей; раньше за такую работу гнали взашей.

– Господин доктор Золле, я должна огорчить вас, торги давно кончились.

«Что же делать? – Золле в который раз повторял этот безнадежный в своей безответности вопрос:– Что же мне делать?! Как поступить?!»

С этим он и провалился в тяжелый, словно обморок, сон.

Разбудил его телефонный звонок; за окном были сумерки; сколько же я проспал, вечность; надо связаться с камердинером князя; наверняка он знает его телефон в «Клариджe»; пусть попросит отзвонить мне; а может быть, это он звонит?

Золле поднялся, подошел к телефону, думая о том, какой будет его первая фраза; я должен извиниться; да, именно так; да, я так скажу: был какой-то кошмар, простите меня; передайте Степанову, что я жду его звонка, мы будем и дальше работать вместе; с кем не бывает срыва; годы; нервы не выдерживают; ни о каких деньгах не может быть и речи; продам квартиру, на долги хватит, вполне можно арендовать комнату на первом этаже, это много дешевле...

Он рывком снял трубку.

– Алло.

– Это Райхенбау.

«Будь ты проклят,– устало подумал Золле.– Ростопчин не ста-

[1]Номер телефонной справочной службы ФРГ.

нет мне звонить. Я вел себя, как истерик, а они, эти лощеные князья, не любят, когда ведут себя искренне, для них главное – внешняя манера поведения, что им до того, в каком положении я оказался?! Стой,– он снова одернул себя.– Что с тобой? Зачем ты винишь тех, кто к тебе ближе? Всегда во всем винят самых близких, кого же еще?! Бедная, бедная Анна, это я виноват в том, что ее не стало! Я, один я!»

Золле откашлялся, чувствуя, что сейчас сорвется; это будет непростительно: шакалы любят падаль, нельзя доставлять им радость; заставил себя говорить чуть лениво, очень спокойно:

– Слушаю тебя, дорогой Райхенбау.

– Нет, это я тебя слушаю.

– Завтра я иду в контору, чтобы быстренько продать квартиру. Так что расплатиться с тобой и Ривом денег у меня хватит с лихвой.

– Мы не позволим продать квартиру Анны. Это ее собственность. Ты ей никто. Квартира принадлежит нам.

– Обращайся в суд.

– Неужели ты не понимаешь, что суд станет на нашу сторону?

– Чего ты хочешь? – закричал Золле.– Ну чего вы от меня все хотите?!

– Продай твои материалы. Пусть они станут всеобщим достоянием. Здесь, в Германии. Ты слышишь меня?

– Слышу,– после долгой паузы ответил Золле.– Кто тебя просил об этом?

– Совесть. Моя немецкая совесть,– и Райхенбау положил трубку.

9

– Я два часа тому назад вернулся из Шотландии,– сказал Ростопчин.– Вот... И привез Врубеля. Можешь забирать и лететь утренним рейсом домой... А еще я привез письма о Верещагине,– он кивнул на столик: рядом с серебряной вазой, где лежали фрукты, была папка.– Это тоже тебе. Видишь, как мы управились...

– Ничего не понимаю,– Степанов даже головой затряс.– Как ты смог?

– Я тебе рассказывал, какая у меня кличка была в маки?

– Эйнштейн.

– Вот и все! Вычислил, что против нас работают, и провел свою операцию. Нет, но ты посмотри, какая картина! Вглядись в глаза мальчика! Я боюсь в них долго смотреть, начинается какая-

то мистика...

– Ты вручишь мне картину завтра в театре во время шоу,– сказал Степанов.– Это будет поразительно, Женя...

– Завтра утром я улетаю.

– Невозможно. Ты, именно ты обязан вручить картину прилюдно. И потом, я иначе не смогу ее вывезти, задержит таможня.

– Не задержит. Там все документы,– Ростопчин снова кивнул на столик.– Я написал, что отныне это твоя собственность, документы «Сотби» в полном порядке, никаких проблем.

– Но это будет ужасно, если ты не вручишь мне эту картину сам! Это твоя заслуга, это ты победил тех, кто мешал... Нет, нет, положительно невозможно, чтобы ты улетел. Или ты боишься Софи?

– Теперь я никого не боюсь,– усмехнулся Ростопчин.– Я как женщина: всегда боюсь до; то, что п о с л е, меня уже не тревожит.

– Ты обязан остаться. Пойми, это будет сенсация. Об этом узнают. И найдется еще один человек или два, которые станут помогать нам дальше.

Ростопчин сел на кровати; глядя на то, как он тяжело поднимался, Степанов поразился перемене, происшедшей с ним за один день.

– Посмотри в глаза младенца,– тихо сказал Ростопчин.– Давай помолчим с тобою и посмотрим в его глаза...

(Через час пятнадцать Фол спустился вниз, сел в такси и поехал к Джильберту; небо на востоке становилось пепельным; три часа утра; ранние рассветы; он боялся этих рассветов; словно поминки по ушедшей молодости; лучше всего чувствовал себя осенью; после смерти мечтал обрести бытие дерева; больше всего любил пальмы.

– Джильберт, не сердись, что я поднял тебя,– сказал Фол, когда, пустив воду в кранах, они сели на кухне.– Положение критическое. Мы с тобою недоучли опыт князя. Он обыграл нас.)

10

В фойе театра было пусто еще; Степанов и Годфри приехали первыми, посмотрели стенд с фотографиями музеев Москвы, Ленинграда, Киева и Тбилиси; послушали музыку, которая будет предварять начало шоу.

– У меня нет хороших русских записей, поэтому я остановился на нейтральном; в конце концов Гендель это Гендель, очень

сдержан, все внутри, иная музыка накаляет страсти, а нам этого не надо.

Степанов кивнул, присел на краешек стула.

– Боб, у меня для вас есть сюрприз...

– На шоу придет рота русских солдат? – рассмеялся Годфри.

– Ну, это уже не сюрприз, а мероприятие,– в тон ему ответил Степанов.– Нет, к нам придет князь Ростопчин.

– Тот самый?

– Да.

– Прекрасно. Он согласен сказать несколько слов?

– Более того. Он подарит моей стране картину Врубеля, которую ему удалось получить после торгов у «Сотби».

– Это действительно сюрприз.

– Послушайте, Боб... Князь рассказывал мне про шефа того человека, который уступил ему Врубеля... Его звали сэр Годфри... Он был начальником военно-морской разведки империи...

– В каком-то родстве мы состоим, Дим, но весьма отдаленном,– Годфри толкнул Степанова в бок; начали приходить гости; мужчины были в темных костюмах; иностранцы, шепнул Годфри, наши одеты скромнее, скорей всего, французы или американцы с западного побережья; поднялись в зал; там собрались девушки из фирмы Годфри – француженка, немка, американка, китаянка и две англичанки; фигурки точеные, лица улыбчивые; в шоу должно быть красиво все, особенно женщины, которые помогают ведущему.– Дим,– сказал Годфри,– народу будет очень много. Сегодня пятница, начало week-end, май. Это беспрецедентно. Идут не на вас. Повторяю, в этой стране как писателя вас не знают. Поэтому – предлагаю в последний раз – давайте прорепетируем начало, это в ваших же интересах.

– Нет, спасибо. Знаете, у меня есть приятели, которые по многу раз в течение многих лет рассказывают сюжет своей новой книги. Они никогда ее не напишут. Они п р о г о в о р и л и ее, им уже неинтересно, они ее знают наизусть. Всегда надо, чтобы было интересно. Вам, мне и залу.

– Смотрите,– повторил Годфри.– Я отработаю мои деньги честно, но я не намерен терять лицо, Дим. Я готов к диалогу с вами, но не к такому, чтобы пропагандировать ваши идеи. Я живу здесь, и мне очень нравится жить здесь, понимаете?

– Прекрасно понимаю.

– О'кей, я сделал все, что мог. Пеняйте на себя.

– Ладно. Мне надо извиняться перед аудиторией за мой варварский английский? – Степанов улыбнулся.– Кто встретит князя?

– Не знаю. Мои девочки никогда его не видали...

– Надо посадить князя на сцену...

– Этого делать нельзя. Вы и я. Третий – всегда лишний. Это отвлекает. Мы резервируем ему место в первом ряду, очень почетно. А когда он придет, пригласим на сцену. Мэри,– Годфри обратился к худенькой американке,– пожалуйста, посмотрите, сколько народу?

– Я уже смотрела,– вмешалась француженка.– Будет полный зал, публика весьма престижная.

– Поди раскачай ее,– заметил Годфри.– В этом смысле студенты лучше... Кстати, Дим, снимите галстук, пожалуйста. Вы его совершенно не умеете повязывать, да и вообще это не ваш стиль.

– Знал бы, прихватил форму вьетнамских партизан, храню как реликвию.

– Очень, кстати, жаль, что не прихватили. Одежда – важнейший элемент шоу; выверенный вызов, дозированный эпатаж – все это на пользу дела. А теперь давайте расслабимся и посидим несколько минут в полнейшем молчании.

(Фол тщательно притушил окурок в пепельнице, не мог больше выносить запаха табака, хотя в общем-то знал, что через пять минут полезет за новой сигаретой; посмотрел на часы: до начала шоу четыре минуты...

«А что, если Ростопчин не придет в театр? – вдруг с ужасом подумал Фол.– Через несколько минут появятся вечерние газеты с залпом против него и Степанова. Газеты доставят в театр; очень хорошо; а что, если старик купит газету у себя в отеле? Или по пути к такси? Почему нет? И решит не идти на Пиккадилли. В конце концов есть же у него какая-то защитная реакция?! Или те, кому за шестьдесят, перестают обращать внимание на все, что не укладывается в схему их мышления? Он не придет, и тогда репортаж о том, что он дарил красным в театре этого самого Врубеля, окажется липой! Вся комбинация насмарку! Только бы сейчас не сорваться,– сказал себе Фол.– Успокойся, ведь так бывает всегда, самые последние минуты чудовищно напряженные. Ничего страшного, только не сорваться, это будет ужасно. Сейчас нужна холодная голова, каждое слово обязано быть выверенным, каждый поступок – просчитанным до последней мелочи. Ты должен победить, ты докажешь, что прав был ты, что именно твоя концепция нужна Штатам, ты сделаешь все, что задумал, но только не сорвись, это будет крайне обидно, Джос, пожалуйста, перебори себя, это минутное дело, ладно?»

Он достал из своего «дипломата» листок бумаги с письмом ре-

дактору «Нью-Йорк таймс» от Саймона Бренкса, Лондон, Челси, Клинктон-стрит, двадцать три, вполне пристойная кандидатура, все-таки Джильберт — молодец, хоть и лентяй, у него хорошие связи в городе, не зря просидел здесь восемь лет.

Письмо это Фол обдумал загодя еще в Штатах, перед вылетом в Европу, каждая фраза была о т л и т а, вынашивал не год и не два, а целых пять лет, сразу после того, как ушел из Лэнгли; бог наконец послал Годилина; впрочем, кого еще он мог послать ему; серьезные люди оседают в университетех; только неудачники питаются «Свободой».

Он достал ручку, пробежал текст еще раз; нет, править нечего, если только Годилин не в ы д а с т что-нибудь, выходящее за рамки; Фол просчитал его точно, с б о я не должно быть.

«Сэр! Я изучал русский язык в течение трех лет, читаю советскую литературу и поэтому интересуюсь передачами радиостанции «Свобода», которая откликается не только на политические и экономические проблемы России, но и рецензирует мало-мальски заметные произведения писателей, живущих за железным занавесом. Демократизм западного общества предполагает критику всего того, что представляется нам неверным, угрожающим, порочным. Однако наши традиции таковы, что самая серьезная критика обязана быть доказательной и корректной. Но разве можно назвать корректными и доказательными выступления ряда экспертов по русской литературе, которые подвизаются на «Свободе»? Приведу лишь малую часть эпитетов, которые они употребляют по отношению к своим бывшим коллегам: лизоблюд, графоман, взломщик, продажный наймит, уголовник.

Ощущение нечистоплотности вызывает и показная осведомленность литературных экспертов в подробностях личной жизни тех, с кем им приходилось когда-то сталкиваться в Москве; все это отдает недостойной м а л о с т ь ю.

Если радиостанция «Свобода» превратилась в трибуну для сведения личных счетов с теми, кто чего-то достиг в России, то возникает вопрос, какое отношение к этим дрязгам, чуждым нашей демократии, имеют высокоуважаемые люди из администрации Белого дома, входящие в руководящий совет «Свободы»? Кто кем руководит: литературные эксперты нами или все-таки мы как-то можем влиять на их честолюбивые амбиции? Они лишены демократического опыта критики, а поэтому

норовят навязывать нам ту манеру и тот стиль, который был усвоен ими за железным занавесом с детства. Порою у меня вообще складывается мнение, что литературные комментаторы работают по заданию Москвы, чтобы пропагандистам Кремля было легче говорить своему народу о том духе недоброжелательства, который свойствен «мировому империализму» по отношению ко всему, что происходит в России.

С уважением».

Подпись. Адрес. Никакого подлога, все ч и с т о. Пусть Лэйнз, отвечающий за «Свободу», покрутится, крыть ему нечем. Ничего, их надо учить. В конце концов у каждого дурака есть хоть один умный босс; почешутся; вспомнят, что я им говорил; пожалеют, что поставили на тугодума Лэйнза, а мне позволили уйти; ошибку исправить никогда не поздно.

«Стоп,– сказал себе Фол.– Очень плохо, если они вспомнят м о и слова. Спаси бог, если они вспомнят их. Они не должны даже и думать обо мне, письмо обязано быть ш о к о м, ударом в поддых, только тогда это сработает, тогда только они придут ко мне. Но я буду в новом качестве, я в ы р в у с ь вперед. Не я вернусь к ним, а они не смогут без меня и без того дела, которому я служу ныне».

Однако самый коронный материал еще не был до конца подготовлен. Этим надо заняться дома: две-три публикации про то, как фирма АСВ, страхование культурных ценностей, библиотек и архивов, получила информацию о том, что в мире х о д я т произведения русской, польской, венгерской, чешской, французской и итальянской культуры, похищенные нацистами из государственных музеев. АСВ, понятно, не может страховать краденое; нацизм был сломлен мужеством американских парней, осободивших Европу от коричневого ужаса; однако компетентные работники АСВ, привлеченные к расследованию информации, выяснили, что факты не соответствуют действительности; все награбленное нацистами давным-давно возвращено законным владельцам; речь шла об очередном шантаже Москвы, который преследовал как чисто пропагандистские цели (муссирование слухов о том, что якобы многие нацисты сотрудничали с соответствующими службами США), так и более тревожные, связанные с попыткой подорвать доверие общественности к самому институту страхования, к бизнесу, в который вложены десятки миллиардов долларов.

Это Америка прочтет; это перепечатают в Европе; это будет

победа, это сделает его, Фола, личностью. Только бы Ростопчин не купил газету, а доехал до театра, только бы он сел в первый ряд на отведенное ему место и вручил этого самого Врубеля своему красному!)

Свет в зале медленно убрали; лишь два прожектора высвечивали Годфри и Степанова; тем не менее Степанов видел Распопова и Савватеева во втором ряду, видел пустое, словно выбитый зуб, место Ростопчина в первом; увидел Игоря из торгпредства, тоже востоковед, вчера так и не смог приехать; политики ссорятся, а торговцы должны продолжать свое дело.

– Леди и джентльмены,– начал Годфри,– я хочу приветствовать вас в этом зале. Разрешите представить нашего русского гостя, мистера Степанова. Мы с ним по разные стороны баррикады, однако ныне баррикада разделяет не улицу, а мир, поэтому всякая попытка поговорить друг с другом, отложив в сторону оружие, угодна богу, который создал людей для жизни, а не для смерти. Диалог через баррикады угоден прогрессу – с этого я и начинаю нашу встречу.

В трех местах зала х л о п н у л и; подсаженные, подумал Степанов, зря он это затеял, что-то есть в этом жалкое; царила напряженность, она ощущалась гнетуще и постоянно.

– Дим,– Годфри обернулся к Степанову.– Я хочу, чтобы вы сами рассказали о себе собравшимся.

– Лучше бы с вашей помощью.

– Прекрасно. Где вы учили английский?

– В институте востоковедения.

– А каким был ваш основной язык?

– Афганский. Пушту.

В зале прошел шепот.

– Сколько вам лет?

– Я старый. Пятьдесят три.

– Вы женаты?

– Формально да, но живем мы раздельно...

– Это разрешено в России?

– А в Англии разрешено по утрам умываться?

Годфри рассмеялся:

– О'кей, о'кей, я не хотел обидеть вашу страну моим вопросом, у нас смутные представления о том, что у вас разрешено, а что нет. У вас есть дети?

– Да. Двое.

– Вы дружите?

– Я считаю, что дружим, но более точно ответили бы они; отцы чаще заблуждаются.

Годфри резко повернулся к залу:

– Леди и джентльмены, сейчас мои милые помощницы раздадут вам листки для вопросов. Пожалуйста, напишите свое имя, адрес, профессию. Мои помощницы затем соберут листки, я буду их зачитывать.– Он снова повернулся к Степанову:– Дим, вы писатель. Какова тематика ваших книг?

– Разная.

– Вы пишите документальную прозу или привержены вымыслу, беллетристике?

– И так и эдак.

– Вы пишете о политике?

– О ней тоже. Мир крайне политизирован; люди, слава богу, стали интересоваться политикой, мне это нравится, хоть какая-то гарантия от возможного безумства.

– «Слава богу»? – переспросил Годфри.– Пожалуйста, не обижайтесь на вопрос, простите мою неподготовленность, но разве в России возможно публичное употребление двух этих слов? Я имею в виду «слава богу».

– Если бы ваши издатели публиковали больше нашей литературы, вы бы не задали мне этого вопроса. Это аналогично тому, если бы я спросил вас, разрешено ли в английском языке употребление слов «революция» и «товарищ».

– О том, кто кого больше публикует, видимо, мы станем говорить позже, когда придут вопросы из зала. Пока что я узурпатор вечера, так что вам придется давать более сжатые, однозначные ответы. Я прочитал в американской литературной энциклопедии, что вы писали книги о политиках, шпионах и сыщиках. Это правда?

– Абсолютная.

– Вы это делали по заданию?

– Писатель подобен собаке. И тот и другая не любят ошейника.

– Вас направили сюда рассказать о нашем сегодняшнем шоу, о культурных программах в Советском Союзе. Как совместить эти темы в творчестве: политика, шпионаж, культура?

– У вас опубликованы документы про то, что американский разведчик Даллес поставил перед нацистским шпионом Вольфом главное условие для начала сепаратных переговоров в Швейцарии – возвращение картин из музеев Италии. Темы, как видите, увязаны: политика, шпионаж, война, культура.

– Не кажется ли вам, что увлечение военной темой в литературе ведет к милитаризации общества?

– Литература, которая прославляет войну, не может считаться литературой. Подобного рода продукция действительно подталкивает общество к милитаризации. Однако наша литература о войне воспитывает ненависть к ней, показывает ее ужас. Тот, ко-

торый, к счастью, вам неизвестен.

– Не скажите. Мы пережили ужас нацистских бомбардировок.

– Но не пережили оккупации, массовых расстрелов и «душегубок».

– Простите? – Годфри подался к Степанову.– Не понял.

– «Душегубки»– это машины, в которых людей убивали отработанным газом. Испытания проводили эсэсовец Рауф, ставший помощником Пиночета через два часа после фашистского путча в Сантьяго.

– Вы хорошо помните войну?

– Не так, как солдаты, но помню.

– Когда вы впервые заинтересовались проблемой войны и культуры?

– Вообще-то в сорок втором. Я был тогда еще совсем мальчишкой.

– Почему именно тогда?

– Потому, что в сорок втором мы выбросили гитлеровцев из Ясной Поляны... Это музей Льва Толстого. Под Тулой. В комнате Толстого нацисты держали лошадей.

– Вы не допускаете мысли, что здесь больше пропаганды, чем факта?

– Не допускаю.

– Потому, что вы, безусловно, верите советским средствам массовой информации?

– Потому, что я был в Ясной Поляне в сорок пятом. Осенью. И еще потому, что летом сорок пятого видел Дрезден, руины разрушенной галереи.

– Как вы попали в Германию в сорок пятом?

– С солдатами.

– Воевали?

– Нет. Я убежал на фронт, искал отца.

– Ваш отец жив?

– Нет.

– Погиб на фронте?

– Нет. Он умер после войны.

– В каком он был звании?

– Полковник Красной Армии.

– А мать?

– Она учитель истории. Жива, здорова, старенькая.

– Дим, простите мой вопрос, он может показаться вам странным, но я все же хочу его задать. Кого вы больше любите: отца или мать?

Чертово шоу, подумал Степанов, хоть бы курить позволили,

тоже мне, демократия. У нас запретов много, но и у них хватает; дорого б я сейчас дал за одну затяжку; ну, как мне ответить ему?! Правильно он предлагал репетировать, зря я отказался; нельзя ответить, что, мол, люблю одинаково обоих, так дети отвечают: «И папу, и маму». Как объяснить им мою вину перед отцом, перед его последней любовью? Не его грех, а их с мамой была беда, что они такие разные. Сначала влюбляются, про разность характеров начинают думать потом, когда праздник кончился и начались будни. А я не смог простить его последнюю любовь, не смог понять, какая она высокая была и честная; два старых уже человека нашли друг друга. Старых, спросил он себя. Ему тогда было пятьдесят три, столько, сколько тебе сейчас. Отец позволил подумать о себе самом только после того, как я кончил институт, женился и отошел от него; до этого он — даже когда жил в холодной комнатушке с дровяным отоплением у бабы Маши — всегда поначалу думал обо мне, а уже потом о себе... Сыновняя ревность? Нет. Эгоизм, скорее. Хотя ревность и эгоизм — две стороны одной медали. Но ты ведь не можешь забыть обиду, которую пережил во время отцовского шестидесятилетия, когда не ты был подле него, а его жена, а ведь вас с ним связывало — в трудные годы — такое горе, которое сейчас невозможно и представить себе; и ты был честен по отношению к старику, бился за него из последних сил, не задумываясь над тем, что тебя ждет за это, а он сидел рядом с чужой женщиной на своем юбилее и не позвал тебя быть рядом... Своя мама всегда кажется самой красивой и умной, даже если она и повинна в том, что жизнь в семье не сложилась, таково уж человеческое естество. Нет, возразил он себе, дело тут в отношениях, которые сложились между отцом и детьми. Я дружил с отцом, как же я гордился дружбой с ним! Он сам стер грань в наших отношениях, грань, которую вообще-то нельзя переступать; чревато. И я был таким же с Бэмби и Лысом, я был их собственностью, я принадлежал только им и никому больше, так должно быть всегда, до самого конца. Должно ли?

— Знаете, Боб, вы мне задали вопрос, на который я побоюсь ответить.

— Почему?

— А вы кого больше любите?

Годфри откинулся на спинку низкого кресла.

— Здесь вопросы задаю я.

— Настаивать на ответе недемократично?

— Можно, но не принято. Хотя вы ответили, не обязательно же

ставить жирную точку... Вопросительный знак или многоточие – тоже ответ, только более широко толкуемый. Но я все же, видимо, больше люблю мать. Сыновья больше любят матерей, девочки – отцов, так мне кажется...

Одна из девушек передала Годфри красивый деревянный ящичек с вопросами.

– О,– сказал он, пересчитав девятнадцать листков,– уже немало.

Годфри стремительно просмотрел листочки, успевая при этом говорить о том, что вопросы могут быть любыми, ответы мистера Степанова вправе быть спорными, но они должны быть искренними; зачитал первый:

– Миссис Эзли интересуется, какие культурные центры России наиболее интересны сегодня. Пожалуйста, Дим.

Степанов спросил:

– Как отвечать? Однозначно? Или настало время термидора, и теперь я узурпирую сцену?

По реакции зала он почувствовал, что напряжение не такое уже гнетущее, предвзятое, как вначале.

11

Ростопчин потерял название и адрес театра, где проходило шоу; все-таки русскость в нас неистребима, подумал он; ну отчего я не записал в книжечку? Попросил шофера остановиться около первого же бара, разменял за стойкой фунт, спустился вниз, к туалетам, там был телефон; старуха со всклокоченными пегими волосами сидела на стуле между дверьми для «леди» и «джентльменов», внимательно читая газету.

Ростопчин быстро просмотрел два справочника, лежащих у аппарата, черт-те сколько театров. Степанов два раза повторял адрес; где же эта чертова бумажка, куда я ее сунул?

Он снова достал записную книжку, бумажник, просмотрел еще раз, адреса не было. Вдруг его обуял ужас: картина в такси, шофер может уехать, все они жулики! Он бросился наверх; таксист сидел, расслабившись, кепку опустил на глаза, наверно, работал ночью.

– Послушайте,– сказал Ростопчин,– там у меня стекло,– он кивнул на картину,– важно, чтобы оно не упало, разобьется.

Какую-то чушь несу, подумал он, совершенно не умею врать; наверное, это хорошо, ложь – оружие слабых; вероятно, поэтому так великолепно врут женщины; врут и скрывают; насколько все же они скрытнее нас! До того часа, пока Софи не исчезла из Цю-

риха, я не догадывался, что она уже полгода со своим французом, только чаще, чем обычно, устраивала мне сцены ревности, особенно если задерживался по делам в бюро.

Ростопчин посмотрел номер машины, только б не забыть, если все-таки уедет, или взять картину с собой? Смешно – ну и что ж, зато нет риска; тоже наша родная русскость – страх показаться смешным.

Ростопчин вернулся в бар, снова подошел к телефону, набрал номер справочной службы.

– Добрый вечер, где сегодня идет шоу русского писателя Степанова? Нет, я не знаю названия театра. Где-то в центре.

Не поднимая головы, старуха со всклокоченными волосами сказала писклявым голосом:

– Шоу идет на Пиккадилли.

Ростопчин испытал давящий ужас; медленно обернулся, стараясь увидеть кого-то другого, незнакомого.

– Что вы сказали?

Старуха протянула ему газету.

– Тут написано про какого-то Степанова. Может быть, это именно тот, который вас интересует?

Ростопчин взял газету; вечерний выпуск; на второй полосе напечатаны кадры кинопленки: Степанов с Че; в военной форме у партизан Вьетнама; в Лаосе рядом с расчетом зенитного пулемета; с палестинцами; в Чили; последнее фото в «Сотби», вместе с ним, Ростопчиным; рядом сидит улыбающаяся Софи. И заголовок: «А сейчас новое задание КГБ – внедрение в высший свет Лондона! Кто вы, доктор Степанов?» Жирным курсивом был набран адрес театра: «Сегодня вечером Степанов дает политическое шоу, текст которого утвержден бюро кремлевской пропаганды».

Ростопчин протянул старухе монету.

– Я возьму эту газету?

Старуха, посмотрев монету, заметила:

– Мало дали, номер стоит в три раза больше.

12

...Годилин сидел с Пат в такси напротив входа в театр; когда подкатила желтая малолитражка, на дверцах которой значились название газеты, телефоны и адрес, водитель, не выключая мотора (стоянка запрещена), бросился к театру, зажав под мышкой пачку газет.

– Ну фто, пора, видно, и нам, а?

– Волнуетесь?

– Я?! – Годилин рассмеялся.– С чего вы взяли? Я по призванию драчун. Знаете эсеровский лозунг? В борьбе обретеф ты право свое... Еще одна сигарета, и двинем.

13

Ростопчин сел за столик возле окна так, чтобы видеть такси; медленно, чувствуя, как колотится сердце, прочитал заметку «Кто вы, доктор Степанов?»

Так писали о Зорге, вспомнил он. Был даже фильм об этом русском. Хотя какой он русский? Немец. Нет, русский, он же был с ними, а не с Гитлером. Генерала Власова я не могу назвать русским. А вот Антон Иванович Деникин – наверное, все-таки русский; когда к нему пришли с предложением возглавить белогвардейские подразделения в немецкой армии, он отказался: Родиной не торгую.

О чем я? Почему вдруг Деникин, удивился Ростопчин. Погоди, Эйнштейн. Давай разберемся без гнева и пристрастия. Что, собственно, случилось? Разве я не знал, что Степанов был у партизан, и в Чили? Во всем этом для меня ничего нового. Для тебя – да, ответил он себе, но для здешней публики все внове, и поэтому поверят. Погоди, а чему, собственно, они должны поверить? Как чему? Тому, что Степанова внедряют в здешний высший свет. Тому, что он выполняет задания своего КГБ. Стоп. Минута. С чего началось наше знакомство? Ведь не он меня нашел. Его нашел я, когда прочитал о том, что он делает для возвращения наших картин и книг. И пригласил к себе, ведь так. Да, это было так. Черт, как же называлось это румынское лекарство у сэра Мозеса? Надо бы лечь в хороший санаторий на пару месяцев, привести в порядок сердце. Не приведешь, возразил он себе, уже шестьдесят пять, жизнь прожита; это отрадно, что ты хорохоришься, значит, остались какие-то резервы, но себе самому надо говорить правду; отпущена самая малость, как это ни горько; остаток дней здесь, на земле, надо провести достойно. Не впасть в маразм, не мотаться по предсказателям, стараться вести себя так, как вел раньше. Федор Федорович рассказывал об актере Снайдерсе; он умер потому, что продолжал считать себя молодым даже после того, как отпраздновал шестидесятипятилетие... Ну и что? Правильно делал! Нет ничего страшнее, чем забиться в конуру и ждать. Ожидание любви возвышает, ожидание успеха в деле учит мужеству, ожидание смерти противоестественно... Почему? Вовсе нет. Ведь не смерти ждут старики, а чуда. Вдруг в какой-то лаборатории изобретут искусственный белок? Или какой-то особый сердечный стимулятор? Или эрзац-почки? Живи еще шесть-

десят пять... Не хочу... Нет, правда, оборвал себя Ростопчин, ты хочешь этого. Ты закроешь глаза на то, что будешь высохшей мумией. Ты сможешь только существовать... Ну и что? Это ж так прекрасно – существовать... Я су-щест-вую! Погоди, но ведь Степанов действительно ни разу не просил меня ни о чем, не призывал стать красным, он не боится критиковать то, что происходит дома, только он не злобствовал, когда говорил о беспорядке, о лени, малой компетентности, он всегда искал какие-то решения, предлагал альтернативы... Да, он исходит из прочности их строя. А разве я считаю, что Советы разваливаются? Нет, не считаю. Это здесь так считали, но ведь они не знают и не понимают Россию. Слишком сложна для них наша государственная идея, трудно ее понять без глубокого знания предмета, слишком особа и трагична наша история; евразийское государство, отчего об этом никто не думает здесь?

Он неторопливо закурил; ты сейчас встанешь, поедешь в театр, вручишь картину Степанову и скажешь то, что надо сказать; наверно, кому-то очень не хочется, чтобы мы делали с ним дело, которое началось пять лет назад; и эта слежка, когда мы ехали из «Клариджа», и Софи, и этот торг, да и Мозес этот самый... Что Мозес? Он спас Врубеля для России, нельзя быть неблагодарным. И нельзя поддаваться подозрениям. Но кому мы мешаем? Кому мешает Степанов?

14

– Прежде всего,– продолжал между тем Степанов,– я бы порекомендовал иностранцу, приехавшему в Советский Союз, точно определить, чего он хочет. Если получить изысканный сервис,– не получит, наш сервис не навязчив; больше того, я бы сказал, он весьма сдержан.

В зале засмеялись.

– Но если вы хотите узнать что-то о нашей культуре, да и не только о нашей, то я бы рекомендовал вам начать путешествие не с Третьяковской галереи и не Музея изобразительных искусств имени Пушкина, которые общеизвестны, но с Театрального музея Бахрушина, с Библиотеки иностранной литературы. И то и другое уникально. Советовал бы также посмотреть экспозицию Исторического музея и Музея Востока, это поможет понять концепцию России. Следующий вопрос – о театрах. Большой знают все, но и помимо Большого в Москве есть что посмотреть. Правда, языковый барьер будет затруднять понимание спектаклей, но это уже на наша вина, а ваша беда... У нас в Москве столько средних специ-

альных школ, где дети изучают вашу речь со второго класса, сколько в Англии и Америке институтов. Так что, кто кого хочет лучше знать, очевидно. Вы сдержанны в этом желании, мы открыто алчны.

Годфри чуть приподнялся в кресле, услышав какой-то шум наверху,– там, где был вход, освещенный темно-красными фонариками; одна из его помощниц быстро пошла наверх; туда же, заметил Степанов, продолжая отвечать на вопросы, поднялись другие девушки, вся рать Годфри; потом одна из них быстро спустилась. Годфри подошел к краю сцены, склонился к ней, девушка что-то ему шепнула, он кивнул, возвратился на место и, повернувшись к Степанову, оперся подбородком на кулак, всем своим видом показывая, как интересно ему выступление русского.

Когда Степанов начал зачитывать очередной вопрос, Годфри подался к нему еще ближе.

– Дим, прошу простить... Дело в том, что привезли вечерний выпуск газеты... Я не знаю, кто это привез и зачем, но там хроника, посвященная вашему пребыванию в Лондоне, просят раздать по рядам. Я думаю, мы все же не станем прерывать собеседование.

– Я впервые принимаю участие в шоу,– ответил Степанов,– так что поступайте, как у вас принято.

– Пусть раздадут газеты! – выкрикнул по-русски Годилин.

Годфри удивленно посмотрел на Степанова; тот перевел; голос человека показался ему знакомым.

– Пожалуйста, если хотите высказаться,– сказал Годфри в темноту, чеканя каждую букву,– напишите свое пожелание или вопрос на листках, которые вам предложат мои помощницы; видимо, джентльмен опоздал,– обратился он к Степанову,– и не слышал мое объяснение по поводу того, как будет проходить шоу.

– Пусть раздадут,– негромко заметил Степанов.– Это, наверное, неспроста, пусть себе.

– Мне сдается, вы не правы.

Степанов пожал плечами.

Девочки Годфри между тем работали виртуозно – улыбка налево, улыбка направо, каблучки цок-цок-цок; некоторое замешательство и шепот, возникший после выкрика Годилина, были погашены; длинноногая американка в коротенькой юбочке принесла на сцену ящик, набитый листками с вопросами.

– Вас хорошо эксплуатируют, Дим,– сказал Годфри,– стремительно п р о б е г а я поступившие записки.– Мы, капиталисты, зря время не тратим, если пришли на р а б о т у, работайте! – и, отложив три вопроса, он передал Степанову остальные.

– Что знают в России о западной живописи? – прочитал Степанов.– У нас есть коллекции, не очень-то уступающие здешним. В Эрмитаже, например, залы Матисса мне кажутся самыми интересными в мире. У нас прекрасный Пикассо; кстати, «Любительница абсента» тоже в Эрмитаже. К сожалению, из наших музеев нацистами были похищены Рафаэль, Рубенс, Рембрандт, Гольбейн, Сислей. Всего с Украины вывезено триста тридцать тысяч произведений искусства.

В зале зашумели.

– Да, да, я не оговорился, триста тридцать тысяч,– повторил Степанов.– Примерно столько же похищено в Белоруссии и музеях Российской Федерации. Словом, наши люди знают западную живопись значительно больше, чем у вас знают нашу.

В это время вошел Ростопчин; ох, подумал Степанов, слава богу; я даже боялся думать про то, что он не придет; какой белый, совсем мучнистое лицо; наверное, брился в парикмахерской, от них всегда выходишь белый, делают массаж и компресс, а потом кладут пудру.

Он шепнул Годфри:

– Пришел Ростопчин.

Тот чуть повел головой. Ростопчина провели на оставленное для него место в первом ряду. В правой руке он держал картину, в левой – газету, которую передал француженке, шепнул ей что-то на ухо, та кивнула, поднялась на сцену, протянула Степанову вечерний выпуск; он сразу же увидел заголовок, фотографии, повернулся к Годфри:

– Видимо, кто-то привез сюда именно этот выпуск. Не мешайте людям делать их дело, пусть раздадут, я отвечу.

– Правду? Пропаганда не пройдет.

Степанов усмехнулся:

– Но ведь бывает же иногда правдивая пропаганда, нет?

(Фол рывком снял трубку телефона, едва только раздался звонок.

– Ну, началось?

Ответил, однако же, не Джильберт, а женский голос:

– Простите, сэр, вам пришел пакет из Гамбурга. Послать сейчас, или вы заберете, когда будете ужинать?

– Пошлите, пожалуйста, сейчас же.

– Да, сэр.

Фол посмотрел на часы: прошло сорок три минуты; пора бы. Закурил, жадно затянулся, подумав: завтра пойду в сауну, выпарю всю никотиновую гадость и закажу массаж на час, не меньше. Сегментальный, радикулитный, позвоночный – все это ерунда;

необходим общий, с макушки до пяток, как в Японии, они это выполняют сказочно.

Фол усмехнулся, вспомнив, как он прилетел в Токио; парень, чем-то похожий на Джильберта, представлявший к о н т о р у, пригласил его в баню; вы должны это ощутить, Джос, здесь прекрасный массаж; нигде в мире не получите такого; Джос купил себе талон на «массаж экстра-класса»; японский Джильберт – он получал в два раза больше, чем Фол, Лэнгли всегда экономило на командировочных, зато людям из резидентур платило огромные деньги – заказал «первый класс»; к Фолу вышла очаровательная японочка в бикини, а к длинному Джильберту привели толстенького мужика с бицепсами; Фол упал на пол от смеха; воистину бог карает скупость.

...Фол угадал звонок за мгновение до того, как он раздался, снял трубку.

– Ну?

– Ростопчин пришел,– ответил Джильберт.

– Начинайте.

– Парижского гостя может занести, нервничает.

– Пусть себе.

Фол положил трубку, потянулся с хрустом; все, пошло дело; Джильберт запишет то, что там происходит; возможная истерика Годилина – в мою пользу; он не мой кадр, а Лэйнза; пусть тот и отмывается; я всегда говорил, что ими надо управлять жестче, пускать борьбу на самотек – значит предавать ее. Бабьи наскоки на Советы, сведение старых счетов не есть довод; Москву нужно постоянно путать: хвалить то, что хвалят они, поругивать то, что там критикуют; внесение сумятицы – залог успеха. Концепция насильственного свержения строя – утопия; точно сработанный призыв к критике существующего вызовет там значительно больший шок. А мое дело я все-таки доведу до конца; альянс Ростопчина со Степановым будет разрушен, невозможность дружеского диалога доказана; вот как надо работать. Возвращение похищенного нацистами – фикция, очередная операция, задуманная площадью Дзержинского; пусть оправдываются, если смогут; ставлю девяносто девять против одного, что акции нашей АСВ попрут вверх.)

Степанов снова оглядел темноту зала, стараясь увидать лица и понять, кто пришел сюда для того, чтобы сработать свое д е л о; сумрак был, однако, особым, растворяющим людей; сиди себе на сцене в луче слепящего прожектора и отвечай на вопросы.

– Все просмотрели публикацию? – спросил Степанов у зала. По реакции понял, что просмотрели.

– То, что здесь напечатано, правда. Действительно, я преклоняюсь перед памятью Че и горжусь тем, что был с ним знаком; действительно, я очень ценю то, что сделал для Панамы генерал Омар Торрихос, и оплакивал его гибель, странную гибель, угодную врагам. Действительно, я был с партизанами Лаоса и солдатами Вьетанама во время войны. К сожалению, я не защитил диссертацию, поэтому у меня нет титула «доктора», но, как вы понимаете, здесь имеется в виду Зорге, его называли «доктором». Может быть, вы помните французский фильм Ива Чампи «Кто вы, доктор Зорге?»? Так вот, все-таки называйте меня Степановым, титул «доктор» оставьте тем, кто готовил этот выпуск.

В зале засмеялись, и смех был доброжелательным.

Девушка (они вдруг стали все на одно лицо, милые, похожие друг на друга,– вот что делает форма, даже такая продуманная) принесла Годфри еще ящичек с вопросами. Туда же был воткнут гамбургский выпуск; Годфри просмотрел газету, протянул Степанову; броская шапка: «Кто снабжает деньгами русского писателя Степанова?» Во врезке говорилось, что активность Степанова в Федеральной республике преследует политические цели – попытка дезавуировать тех, кто во время войны выполнял свой солдатский долг; дальше шло интервью Золле; фамилии тех, кому платил Степанов, не были названы.

– Здесь подошла еще одна газета,– Степанов поднял страницу над головой.– Только что вышла в Гамбурге, вечерний выпуск... В киосках, бьюсь об заклад, ее вообще нет, а если вдруг и появится, то лишь завтра утром. Но мне все это очень даже нравится. Сейчас я попробую перевести вам содержание... Речь идет о том, что я, Степанов, плачу деньги ряду немецких исследователей за материалы о грабеже наших культурных ценностей, которые они находят в архивах... Увы, не плачу... Было бы славно, имей я деньги, платить немецким исследователям, глядишь, дело с возвращением награбленного пошло бы скорее. Одна деталь: интервью дал мой давний друг профессор Золле, который вчера привез сюда документы о том, что «Сотби» торгует краденым, но с ним кто-то так п о б е с е д о в а л, что он уехал отсюда... Здесь в газете не названы имена людей, которым якобы я плачу деньги. Почему? Это упущение. Я хочу назвать вам эти имена, их кто-то заранее подготовил для мистера Золле. Пожалуйста, запомните эти имена: господин Ранненброк... У него якобы есть моя расписка... Пусть он ее представит. Я тогда обращусь в суд, это фальшивка. И еще господа Шверк и Цоппе. Я не знаю этих людей, никог-

да их не видел, не имел с ними никакого дела. Если здесь присутствуют те, кого интересует то, как приходится работать по возвращению краденого, я дам им пищу для размышления. Связаться с Гамбургом нетрудно, номер телефона газеты напечатан на последней полосе, что они ответят, интересно.

Годфри передал Степанову вопросы, шепнув:

– Началось... Я предполагал н е ч т о, но такого не мог себе представить. Прочитайте, а я отвечу.

Степанов быстро пробежал вопрос: «Каково ваше воинское звание? Сколько вам платят за то, что вы пудрите мозги западной аудитории?»

– Здесь пришел ряд вопросов,– говорил между тем Годфри,– которые не представляют интереса для аудитории. Авторы вопросов могут подойти к мистеру Степанову после того, как кончится наш разговор, и в холле во время коктейля обсудить интересующие проблемы. Не правда ли, Дим?

– Правда. Но, может быть, кто-то еще интересуется этими вопросами? Меня, в частности, спрашивают, каково мои воинское звание и сколько мне платят за то, что я «пудрю мозги» – это наш сленг,– то есть лгу западной аудитории...

В зале стало шумно; Годфри досадливо заметил:

– Дим, эти вопросы написал иностранец. Никто из настоящих островитян не позволит себе такой бестактности. Мы не любим ваш строй, но мы пришли сюда, чтобы говорить о культурных программах в России, и мы этим занимаемся...

– Бесспорно... Но чтобы не было недоговоренностей: мое воинское звание – капитан второго ранга в запасе. Платят мне издательства. Советские и здешние, западные. Судить о том, лгу ли я и сколь квалифицированна моя ложь, удел читателей... Наш Пушкин сказал прекрасно: «Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок». Ну, а теперь серьезный вопрос: «Было ли Возрождение в русской живописи?»

Годилин не выдержал, выкрикнул с места:

– Не вешай лапшу на уши этим доверчивым агнцам, Степанов! Расскажи лучше про свою шпионскую миссию!

Пат дернула его за локоть; Годилин досадливо отмахнулся.

– Степанов побоится отвечать на мои вопросы, они все заложники!

– Джентльмен,– голос Годфри сделался ледяным,– пожалуйста, говорите на том языке, который понимает аудитория, если вы не владеете пером и бумагой...

В зале засмеялись.

Пат поднялась и вышла из зала.

Годилин, не поняв реакции зала, растерянно смеялся вместе со всеми.

– Мистер Годфри,– донесся старческий голос из темноты, откуда-то с верхних рядов,– меня зовут доктор Грешев. Я русский по рождению, подданный ее величества королевы, я умею пользоваться пером и бумагой, но мне хотелось бы внести ясность в происходящее, и мне хотелось бы сделать это в устной форме – для того лишь, чтобы вернуть наше интересное собеседование к его изначальному смыслу.

– Это очень интересный человек,– шепнул Степанов Годфри,– пусть скажет.

– Анархия губит шоу, Дим.

– Или же делает его настоящим. Пусть.

– Вы выйдете на сцену, мистер Грешев? – спросил Годфри.

– Это займет уйму времени, потому что мне девяносто три года. Если позволите, я все скажу с места. Леди и джентльмены, я занимаюсь русской историей, она поразительна и совершенно не известна на Западе, отсюда множество ошибок, совершаемых здешними политиками... Так вот позавчера, накануне торгов в «Сотби», где пустили с молотка русские картины и письма, меня навестил мистер Вакс, он же Фол, из разведки какого-то страхового концерна Соединенных Штатов... Его интересовала судьба произведений русского искусства, оказавшихся на Западе, и – не менее того – активность мистера Степанова, а также его друга князя Ростопчина... Во время войны я работал в министерстве иностранных дел его величества, поэтому могу с полным основанием заметить, что разведка зря ничем не интересуется... Я чувствую запах комбинации во всем том, что здесь происходит... Вот и все, что я хотел прокомментировать.

Шум стал общим.

...Савватеев поднялся с места и пошел к тому креслу, где сидел Годилин; Распопов обернулся, спросил по-русски:

– Ты куда?

Годилин, услыхав русскую речь, испуганно вскинулся с места и выскочил из зала; Степанов только сейчас узнал его; как же горек хлеб эмиграции, а у нас когда-то «салон держал», собирал «на огонек», вел б е с е д ы, внимательно слушал, «боржомчиком» пробавлялся, голубь...

– Я все-таки вернусь к нашему Возрождению,– улыбнулся Степанов, обернувшись к Годфри.– Это будет сложный разговор, потому что я считаю русским Возрождением иконопись рублев-

ской школы. Не знаю, говорит ли что-нибудь это имя аудитории...

Ростопчин тяжело поднялся со своего кресла; лицо стало еще более мучнистым; и сказал:

– Увы, нет.

Годфри поднял руку.

– Леди и джентльмены... Я не хотел говорить о сюрпризе, который приготовлен для вас... Позвольте представить вам князя Ростопчина из Цюриха...

Ростопчин обернулся к залу:

– Вчера во время распродажи картин великих художников Родины мое русское сердце разрывалось от боли и гнева. Я верю в бога, и он помог – несмотря на то что мне очень хотели помешать – вернуть Родине картину великого Врубеля. Пожалуйста,– он обернулся к девушкам,– она очень легкая, поднимите ее на сцену... К сожалению, я не могу не согласиться со словами мистера Грешева: за всем тем, что происходило и происходит, я вижу в о з н ю... Говорю это,– он вымученно улыбнулся Степанову,– как капитан первого ранга запаса, только звание мне присвоено не в Москве, а в Париже в начале сорок пятого...

15

Через полчаса Софи-Клер – сразу же после того, как Фол позвонил ее адвокату Эдмонду и сообщил, какой подарок сделал князь России,– набрала номер телефона сына.

– Маленький, пожалуйста, возьми ручку и запиши текст... Ты должен сейчас же отправить телеграмму в адвокатскую контору Эдмонда... Только, пожалуйста, пиши без ошибок, тут важно каждое слово: «Как мне стало известно, психическое состояние моего любимого отца князя Ростопчина вступило в критическую фазу. Если ранее он отправлял в Россию какие-то картины и книги на суммы, не превышавшие десяти тысяч долларов в год, то ныне, поддавшись гипнотическому влиянию нечестных людей, отец ставит себя и меня на грань финансового краха, вкладывая все наши деньги в сомнительные произведения искусства, якобы принадлежащие России. Все это более походит на навязчивый, маниакальный бред, чем на филантропию». Записал?

– Да.

– Хорошо, маленький, диктую дальше: «Руководствуясь искренними сыновьими чувствами, понимая, что отец может разориться, если он и впредь будет так безрассудно сорить деньгами, отдавая себе отчет в том, что в его преклонном возрасте возмож-

ны любые отклонения от психической нормы, прошу рассмотреть мое исковое заявление, связанное с актом установления над ним опеки». Это все. Когда начнется процесс, я переведу тебе деньги для полета сюда, в Европу. Завтра все его счета будут арестованы, мальчик. Не волнуйся, твое дело урегулирует Эдмонд. Текст телеграммы о твоей претензии на замок отца в Цюрихе я продиктую завтра. Ты слышишь меня?

– Да.

– Почему ты молчишь?

– Это очень жестоко, мама.

– Что именно, мальчик?

– Все это.

– Ты хочешь, чтобы он отдал наше состояние красным?

– В конце концов он его заработал.

– Мальчик, я понимаю тебя. Очень хорошо, что ты так добр. Но ты не вправе забывать своих детей. О себе я молчу; старуха; много ли мне надо...

– Ты не хочешь поговорить с ним еще раз?

– Это безнадежно. Я же тебе все рассказала. Он обманул меня. И будет обманывать впредь. Ты слышишь?

– Да, мама, я слышу.

– Ты отправишь эту телеграмму?

– Не знаю.

– Мальчик, завтра может быть поздно... Мне все объяснил Эдмонд...

– При чем тут Эдмонд? Я живу... пока что живу с семьей в доме, который купил мне отец... Подле тебя Эдмонд... А ведь отец один, мама. Он всегда был один...

Софи-Клер заплакала:

– Он мог бы вернуть меня, если б захотел... Он всем кажется добрым и милым... А он фанатик. Одержимый человек, который не видит ничего, кроме своих химер... Я никогда не рассказывала тебе всего, я щадила тебя...

– Не плачь, мама...

– Ты убьешь меня, если сейчас же не продиктуешь телеграмму. Ты знаешь, как я больна... Если я умру, не уверенная в том, что ты устроен – отец ведь до сих пор палец о палец не ударил, чтобы помочь тебе,– это будет ужасная смерть...

– Не плачь, мамочка. Пожалуйста, не плачь. Я позвоню тебе. Через полчаса я тебе позвоню. Дай мне подумать. Ведь он мой отец все-таки...

16

...Ростопчин заехал за Степановым в отель рано утром; его самолет улетал за час до московского рейса; Степанов сразу же заметил на сиденье «Стандарт» и «Пост»; именно в этих газетах были напечатаны маленькие заметки о красном писателе, принявшем участие в шоу, посвященном культурным программам за «железным занавесом». Никаких колкостей; сухое предложение двух-трех ответов; о главном событии вечера на Пиккадилли, о том, что Ростопчин подарил Советскому Союзу работу Врубеля, не было ни строчки.

«А я уговорил его остаться именно для того, чтобы этот дар сделался событием,– подумал Степанов, не зная, что сказать Ростопчину и как вести себя; он чувствовал себя виноватым за то, что напечатали лондонские газеты.– Ростопчин прав. Все, что происходило, действительно происходило неспроста. Вчерашний вечер тому подтверждение, а сегодняшние газеты – приговор».

Ростопчин словно бы почувствовал состояние Степанова, положил ледяные пальцы на его руку, усмехнулся:

– Митя, Митя, такова жизнь. Как бы она ни была крута, все равно ей надо радоваться. И еще: всякий из нас значителен лишь в той мере, в какой он смог приблизиться к искусству. Знаешь, почему меня так тянет русское искусство? Да только ли русское? Оттого, что оно неповторимо. Если бы мир отрешился от множественности одинаковых характеров, а стал сонмом неповторимостей, как бы счастливо было человечество! Вот о чем я подумал, когда прочитал это,– он кивнул на газеты.– Мне теперь будет трудно, Митя. Придется лечь в клинику. А потом начнется суд. Да, да, суд. Об этом тоже есть в прессе. Женя возбудил против меня процесс. Это сын, ты понимаешь? За ним стоит стерва, мне жаль мальчишку, она им вертит, но от этого дело не меняется. Она умеет драться. Если я не смогу быть с тобою... Всякое может случиться, не успокаивай меня, не надо, Митя. Возьми эту визитную карточку. И не потеряй. Видишь? Сэр Мозес Гринборо. Это он спас нам Врубеля. Сложный человек, но тем интересней тебе будет. Простых людей нет, это чушь. Нет в мире простых людей. Есть умные и глупые. Он умный. Он просил не употреблять его имени всуе. Но он готов быть с нами... С тобою... Не думай, я не испугался. Просто очень болит сердце. Этот самый сэр Мозес поил меня какими-то румынскими пилюлями, забыл, как они называются, вот досада.

– Геровитал?

– Да неужели?! – обрадовался Ростопчин.– Откуда ты знаешь?

– Я пил их. Хороший препарат.

– Вот здорово! – Ростопчин через силу улыбнулся.– Давайка, я запишу. На этот раз в книжечку, чтоб не потерялось.

– А может, тебе приехать в Москву? Я бы положил тебя в хорошую клинику, у нас умеют налаживать сердце.

Ростопчин посмотрел ему в глаза, чуть кивнул головой, улыбнуться не смог, вздохнул:

– А возраст? Тоже умеют налаживать? Или еще нет? Ладно, Митя. Иди через таможню первым. Я должен быть уверен, что ты прошел. До скорого, дружок.

Сэр Мозес Гринборо позвонил генералу Бромслею сразу же после того, как из аэропорта Хитроу ему сообщили, что Степанов вполне благополучно прошел таможенный досмотр и отправился, прижимая к себе Врубеля, в маленький тесный бокс, где пассажиры ожидали посадки в самолет, следовавший на Москву.

– Все в порядке,– сказал сэр Мозес.– Теперь он придет ко мне и только ко мне. Куда же ему еще идти после всего случившегося? Следовательно, есть все основания полагать, что именно мы, а не мистер Фол, сможем сделать вывод: по чьему заданию, как и где Степанов ищет культурные ценности. В версию его «собственной инициативы» я, признаться, слабо верю. Ну, что скажете? Годимся мы, старики, на что-либо? Или пора окончательно списывать в архив?

...Ростопчин принял две капсулы от сердечных болей; купил перед посадкой на самолет; боль, однако, не проходила. Он попросил у стюарда маленькую бутылочку виски, расширяет сосуды.

Выпил залпом, не дождавшись, пока принесут стакан со льдом; ощутил запах ячменя, закрыл глаза и сразу же увидел громадное рыжее поле с островками синих васильков; это было в России в последний его приезд туда; он шутил, что такое возможно только там; любой хозяин на Западе каждый василек бы собственноручно выдернул; урон бизнесу; боже, подумал Ростопчин, как же хорошо, что у нас не выдергивают васильки с рыжего поля; какое-то великое таинство сокрыто в соцветии рыжего и голубого. И еще он запомнил, как по узенькой пыльной проселочной дороге, что шла через это поле, неспешно ехал белобрысый мальчишка на повозке с каурой лошадью, а возле, задирая зад, весело бежал жеребенок, вороной, длинноногий и пугливый; только бы подольше мне видеть это, сказал себе Ростопчин, только бы не уходило это видение, боже мой, как прекрасно оно, сколько в нем спокойствия, оно вызывает во мне такую же радость, как терпкий запах мандаринового варенья в платяном шкафу маменьки, когда мы еще жили на Поварской; какое же это было запретное счастье – влезть в маленький

шкаф, ощутить этот запах мандаринового варенья, каких-то странных горьковатых духов; нет и не будет в мире другого такого запаха; маменька, Поварская, снег за окном, перезвон колоколов в церкви Петра и Павла, тихий, протяжный, стремительный поскрип розвальней и пофыркивание лошадей; все в игольчатом инее; гривастые, с печальными загадочными глазами и мшистыми, теплыми, трепещущими ноздрями, отчего-то пахнувшими свежим хлебом.

...Дворецкий встретил его на своем стареньком «рено»; все арестовано, князь, вас ждут адвокаты; какая низость; мы останемся с вами, что бы ни случилось.

Ростопчин благодарственно похлопал его по плечу, говорить не мог, ж а л о; он умер по дороге в замок; лицо его было спокойным; в уголках рта застыла недоуменная улыбка, в которой виделось что-то невыразимо детское; так, впрочем, было лишь несколько мгновений; потом лоб и щеки начали быстро желтеть, стали особенно заметны седина и горестные морщины на запавших старческих висках.

Ялта – Лондон, 1983.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Прожив два года в Западной Европе,– мне довелось там открывать корреспондентский пункт «ЛГ»,– я, как и дома, постоянно вел дневники.

После опубликования статьи в «Литературной газете» о трагической судьбе шедевров культуры, похищенных во время войны нацистами, пришло очень много писем читателей. Это – главный барометр для литератора: если проблема волнует тех, кто серьезно относится к печатному слову,– работу надо продолжать.

Постепенно из моих дневников выросла документальная повесть «Лицом к лицу».

Хочу предпослать ей несколько читательских писем той поры.

«Уважаемый писатель!

Прочитал в «Литературной газете», что вы взялись за благородное, но трудное дело. Как написано в статье о Вас, Вы ищете украденные немецкими фашистами советские архивы и другие ценности.

Как хорошо, что Вы нашли для этого время.

Теперь о сути письма.

9 июля 1941 года немецкие танки вошли в Псков. Это было на 17-й день войны.

На следующий день в местную картинную галерею приехал немецкий лейтенант из зондеркоманды и вывез на грузовике в Германию двадцать картин голландских и других иностранных мастеров.

Не исключено, что какие-то из них принадлежали предкам А.С.Пушкина, ведь в начале двадцатых годов картины из местных имений свезли в Псков.

А через неделю началось разграбление фашистами псковских древнейших архивов! Иные грамоты имели стаж в несколько столетий. Пскову, как городу, около 1100 лет! Княгиня Ольга, жена киевского князя Игоря, была из-под Пскова... Обратите на это внимание. Древность украденного необычайна, на аукционах такие вещи стоят десятки тысяч долларов. С уважением.

Доцент,
ветеран войны
М.Е.АФАНАСЬЕВ».

«Уважаемый Юлиан Семенович, с большим интересом слежу за Вашими статьями о поисках Янтарной комнаты. Может быть, для Вас окажется полезным следующее мое сообщение.

В мае 1945 года я как военный корреспондент находился в Кенигсберге. Там в замке я встретился с московским ученым, профессором Брюсовым (родным братом поэта). Он показал мне толстый слой пепла в одном из подвалов. Брюсов передал мне массивную дверную петлю и попросил при возвращении в Ленинград побывать в Пушкине во дворце и проверить: станет ли на место петля. Я выполнил его просьбу. В разрушенном Екатерининском дворце я нашел останки Янтарной комнаты. В проеме одной из дверей, где виднелась выемка от петель, я приложил петлю, привезенную из Кенигсберга. Она подошла совершенно точно.

Казалось бы, это доказательство того, что янтарь погиб в Кенигсберге. Но у меня тогда же возникла мысль: нет ли здесь попытки замаскировать истинную судьбу Янтарной комнаты? Не отказываюсь от этого предположения и сейчас. Именно по этой причине я нигде не публиковал «историю дверной петли».

Конечно, поиски янтаря нужно продолжать со всей настойчивостью. Я подумал, что мое сообщение может быть интересным для Вас вот в каком отношении: хорошо бы встретиться с профессором Брюсовым. Если же его нет в живых, поинтересуйтесь его архивом. Он ведь был первым советским ученым, имевшим дело с Янтарной комнатой.

Желаю Вам успеха в поиске.

А.ВЕРЕСОВ,
член Союза писателей.
Ленинград».

«Уважаемый Юлиан Семенович!

Во время войны в числе насильно угнанных попала в Германию. Лагерь находился в Тюрингии, место его расположения называлось Нейгауз-Ширшниц.

Предприятие, на котором мы работали, принадлежало концерну «Сименс-Шуккерт». Лагерь наш был расположен у подножия горы и, как каждый лагерь, был окружен сеткой с тремя рядами колючей проволоки сверху.

Через сетку мы и смотрели на окружающий мир. И кое-что видели. Во второй половине 1944 года в горе начались какие-то работы, был прорыт туннель. Мы, лагерники, сначала думали, что немцы роют для себя бомбоубежище, так как союзная авиация стала часто тревожить и Тюрингию. Однако это было не бомбоубежище, так как во время тревоги туда никого не пускали.

По ночам слышался гул тяжело нагруженных грузовиков, и было ясно, что туда что-то возят. Я не видела, что это было: ящики, машины, снаряды? Но когда я прочитала Вашу статью в «ЛГ» и в ней о том, что в горах Тюрингии были найдены ценности, похищенные в разных странах, мне пришла в голову мысль о том, что и в той штольне у лагеря могло быть спрятано нечто представляющее ценность. Тем более что вход в эту штольню через некоторое время был закрыт, а бомбоубежище все-таки вырыли с другой стороны горы.

Может быть, все, что я Вам написала, очень наивно и не представляет никакого интереса, и все-таки я не могу Вам не написать.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, буду рада ответить на них.

Ольга Сергеевна КНЯЗЕВА.
Ленинград».

«Уважаемый т.Семенов, с интересом прочитал о продолжении поиска похищенных гитлеровцами во время войны ценностей искусства и культуры в нашей стране. В этом поиске занято много людей, которые так или иначе имели какое-то отношение к этим ценностям или располагали какими-то сведениями.

Я хочу коснуться вопроса о поиске Янтарной комнаты.

В Кенигсберг я приехал с родителями мальчишкой в 1945 году. И теперь считаю себя коренным жителем этого города, хотя вот уже двадцать лет живу в Ленинграде. В Кенигсберге – Калининграде прошли юные и молодые годы. Я люблю этот город. Он красивый и таинственный. Его подземные лабиринты хранят неразгаданные тайны, может быть и Янтарной комнаты.

В молодые годы я был членом Городского комсомольского оперативного отряда, командиром которого

был студент-пятикурсник пединститута Тамарский Г.С. (Григорий Сергеевич). В 1959 году на празднование трехлетней годовщины отряда был приглашен майор (фамилию не помню), который рассказал нам много интересного. В частности, он коснулся вопроса поиска Янтарной комнаты. Я думаю, Вас может заинтересовать такой факт (со слов этого майора): за неделю до падения Кенигсберга Гитлер телеграфировал коменданту крепости о немедленной эвакуации Янтарной комнаты. Но в это время город был уже окружен. И сухопутным транспортом вывезти эту ценность было уже нельзя. А за три дня до падения крепости Кенигсберг Гитлер смещает с поста коменданта города за невыполнение его распоряжения о вывозе Янтарной комнаты. В это время уже были блокированы все потайные каналы, через которые могла бы пройти даже подводная лодка. Следовательно, ни сушей, ни морем Янтарная комната не была вывезена из Кенигсберга. И если принять на веру слова этого майора, и если в архивах есть телеграммы, подтверждающие это утверждение, то в данной ситуации есть над чем подумать.

Я думаю, что в Вашей почте есть немало писем, авторы которых предполагают, что Янтарная комната укрыта в Кенигсберге. Мне кажется, что эти предположения надо основательно проверить. И прежде всего начать надо с военных архивов, захваченных при штурме крепости.

Вот все, что я хотел сообщить Вам.

Искренне уважающий Вас
А.Н.АНДРИАНОВ.
Ленинград».

Уважаемый писатель!

Судьба нашей семьи очень трагичная, потому что и я, и мои брат и сестра испытали весь ужас гитлеровской оккупации. Я мальчишкой жил неподалеку от Ясной Поляны и своими глазами видел, что сделали с нашей исторической святыней. Ныне музей Льва Николаевича восстановлен, но можно ли утверждать, что все экспонаты были возвращены? Нет ли смысла искать все, относящееся к великому имени Льва Толстого, на Западе? Может, что-то осело там и не возвращено до сих пор на Родину?

Брат Федор познал горе на Украине, во Львове. Там ведь тоже был разграблен замечательный музей, сотни картин были вывезены в проклятый гитлеровский рейх. Возвращены ли они законному владельцу – советскому народу? Об этом бы я тоже хотел вас спросить.

А сестра Клава, она старшая из нас, вместе с матерью Зинаидой Ивановной Головлевой оказалась в Минске. Отец, политрук Матвей Головлев, погиб под Брестом, а их не успели вывезти в тыл, натерпелись страху и ужаса под фашистом. Так вот, они своими глазами видели, как фашист вывозил ящики с уникальными книгами и архивами. Где это наследие нашей культуры и истории? Возвращено на Родину или нет?

Мы много читаем в газетах про то, как на Западе орудует мафия. Может, надо бы Вам и в этом направлении потрудиться? Может, надо поглядеть, не стала ли мафия подручной укрывшихся фашистов и вместе с ними до сих пор осуществляет преступную спекуляцию похищенным?

Савелий ГОЛОВЛЕВ, слесарь.
Пос. Фроловка».

ГЛАВА,
в которой автор должен еще раз вернуться к рассказу о мафии

– Мафия и фашизм? – спросил собеседник, пропуская меня в свой кабинет.– Эта тема интересна в высшей мере. Пошли на балкон, там не так душно.

Мы сели на балконе, под тенью полотняного зонтика: под нами была Катания – огромный, шумный город восточного побережья Сицилии. Разноцветное белье на палках, перекинутых через улицы, невероятный шум и одинаковость цвета домов – жухло-серый. Люди солнечных стран тяготеют к с е р ь е з н о с т и цвета, подвластного им, а как было бы красиво, покрась они стены белым, желтым, зеленым, как невероятно это было бы, как весело.

– А деньги? – спросил собеседник, когда я сказал ему об этом. – Откуда деньги? Хозяин не желает вкладывать лиры во внешний вид, ему достаточно того, что квартиры дают огромный доход, квартиры, а не фасады. Муниципалитет? Он нищ.

Собеседник – профессор истории – уже стар: вышел на пенсию, переехал из Рима на родину – под тревожное солнце Сицилии.

– Фашизм и мафия,– повторил он и потянулся к сигарете.– Это в высшей мере интересно, знаете ли. Это даже интересней

проблемы происхождения слова «мафия». Известно, что на сицилийском диалекте мафия означает «мое дело». Некоторые авторы считают, что мафия – это «Смерть Франции», «Morte Alla Francia, Italia Anela», и относят ее создание к тринадцатому веку, к времени «Сицилийской вечерни», когда народ разгромил оккупантов Карла Анжуйского. Другие предполагают, что мафия родилась в середине прошлого века, примкнув к повстанцам Мадзини, выдвинув свой лозунг: «Мадзини Ауторидза Фурти, Инченди, Авеленаменти». Первые буквы слагаются в «МАФИЯ». Что это значит? «Мадзини разрешает похищения, поджоги, отравления». Занятное толкование Мадзини, не правда ли? Отложим исследование вопроса о происхождении мафии – американской ее сестрице «коза ностра» выгоднее отстаивать версию тринадцатого века. А вот фашизм и мафия... Бенито Муссолини выступал против мафии, поскольку та являлась серьезной, а главное «организованной силой», истинным государством в государстве. В свое время Муссолини не хотел терпеть в Италии никого, кто был связан единством помимо «единства фашизма». Словом, сейчас утверждают, что беззаконный закон Муссолини выступил против «законного» беззакония (я имею в виду универсальный воровской жаргон «вор в законе»), против мафии. Я, однако же, не согласен с этого рода утверждениями; более того, отмежевание фашизма от мафии сейчас выгодно обеим этим силам.

– Доказательства?

– Я изложу вам мою версию. Вы вправе не согласиться с нею – тут с ней не очень-то соглашаются. Впрочем, выслушать не значит согласиться, – заметил он, – это значит приобрести суждение, качественно отличное от твоего. Итак, немного истории.

Через два года после захвата власти в Италии дуче приехал в Сицилию. Охрану диктатора во время его визита в Сицилию организовал Чезарь Мори: после поездки дуче в Палермо он был утвержден префектом сицилийской столицы. Во время торжественного обеда Муссолини обратился к Мори: «Мне бы хотелось послушать албанские мелодии». Неподалеку от Палермо находилась коммуна Пьяна-деи-Гречи. Там жили албанцы, сбежавшие от турок,– их песни и танцы поразительны и диковинны, а мы, сицилийцы, племя странное, не в ы с ч и т а н н о е наукой, смешавшееся впоследствии с греками и арабами, да и не только с ними, мы любим все диковинное. Поскольку желание дуче было высказано внезапно, Мори, естественно, не успел организовать там охрану, а ехать надо было немедленно – Муссолини был нетерпелив, как женщина. Мори, приехав в Пьяна, отозвал мэра, дона Чиччо Кучча: «Ты отвечаешь за тишину и безопас-

ность». Дон Чиччо был руководителем мафии в Пьяна, это знали посвященные, это, понятно, знал полицейский ас Чезарь Мори. «Я хочу приветствовать жителей коммуны, верных сынов новой Италии»,– сказал дуче. Мори подтолкнул дона Чиччо к машине Муссолини: «Сядь рядом с ним». Дон Чиччо подмигнул фотографам, подошел к Муссолини, положил руку на плечо диктатора и сказал: «Дуче, пока я рядом с вами, ни один волос не упадет с вашей головы – вождя народа и моего друга: Италия – вам, Пьяна – мне».

Через несколько недель дон Чиччо прибыл в Рим – он хотел получить вознаграждение от дуче за путешествие по Пьяна. Секретариат диктатора, однако, во встрече с Муссолини ему отказал. Дон Чиччо надвинул шляпу на глаза и отправился в порт: он не привык к оскорблениям, он вернется в Палермо и там решит, как вести себя дальше.

У трапа его ждал Чезарь Мори. «Дорогой друг, дуче был введен в заблуждение,– сказал полицейский.– Он не понял, что речь идет о вас, вы назвали себя слишком фривольно, одно имя, без титула, к этому не привыкли в секретариате. Идем, вождь ждет вас».

«Линкольн» префекта доставил расцветшего от удовольствия дона Чиччо не во дворец дуче, а в тюрьму.

– Смысл? Сведение счетов? Два честолюбца?

– Не знаю. Быть может. Есть, однако, допуски иного рода,– ответил мой собеседник.

– А именно?

– Давайте идти по порядку. Что такое мафия? Это ведь не только наркотики, похищения людей, игорные дома, коррупция, взятки, проституция, шантаж, торговля похищенными культурными ценностями. Это еще и налоги, которые сицилийские латифундисты хотели получать с крестьян за ту землю, которую они сдавали в аренду. Дополнительные налоги, в обход государства. У нас мало земли и много крестьян. И вся земля принадлежала латифундистам. Так вот, беззаконные налоги с крестьян в Сицилии взимала мафия в пользу латифундистов, живших в Риме, отчуждая часть этих денег в свой карман – за услуги и риск. Муссолини, однако, не хотел упускать эти деньги, он хотел получать все.

И Чезарь Мори начал аресты среди «крестьянских мафиози»; он, впрочем, начал снизу – заметьте себе, в этом разгадка многого. Во всех маленьких городках Сицилии были арестованы сотни мафиози. Их приковывали друг к другу цепями и отправляли в концлагерь на остров Липари. Префект Мори ездил по Сицилии

и лично руководил арестами. Он исчез из Палермо на пять дней и вернулся из Рима с законом о введении смертной казни. В тот день он распорядился о применении пыток во время допросов рядовых мафиози: через тела пропускали ток, срывали ногти, жгли ступни ног. Мори добился своего: святая святых мафии – «закон круговой поруки» треснул. Рядовые мафиози, не выдержав пыток, начали показывать все, что знали. Муссолини выступил в парламенте: «Благодаря бесстрашному скальпелю Чезаря Мори я покончил с мафией!» Вскоре Чезарь Мори стал чуть ли не национальным героем Италии. Его понесло во всю. Он арестовал руководителей «высшей» мафии – дона Вито и дона Кало. Потом поднял руку на нескольких «старых борцов фашизма»– к ним потянулись нити от «низшей» мафии. Он держал в тюрьме мэра Пьяна-деи-Гречи дона Чиччо, нескольких адвокатов мафии и врачей, которые делали операции раненым безымянным пациентам. И в тот день, когда Чезарь Мори во время выступления в одном из литературных клубов Рима ликующе объявил, что он нащупал тайный штаб «высшей» мафии, адьютант шепнул префекту, что его просят по срочному делу. Мори выслушал просьбу заместителя министра внутренних дел, вернулся в зал: «Друзья, срочные дела у министра, до завтра». Однако «завтра» не состоялось: Чезарь Мори получил отставку; полнейшее безвластие настало для префекта, безвластие и запоздалое понимание истины: «заигрался». Через месяц после его отставки был заменен весь полицейский и судебный аппарат в Сицилии. Рим обьяснил и это: «мафия выкорчевана, наступила пора спокойствия, чрезвычайные меры не потребны более».

Все, однако, на самом-то деле было проще и сложней – победила мафия, победила своим обычным, хитрым методом. Сработала цепь связей, то есть основоположение тотальной коррупции. Началась же история проникновения мафии в «движение» чернорубашечников еще в двадцатые годы, когда молодой фашист, убив итальянского социалиста, антифашиста Джакомо Маттеотти, что вызвало возмущение в стране, обратился за помощью к «крестным отцам» – только те могли надежно укрыть и обеспечить алиби: по приказу старшего любой темный мафиози готов взять на себя чужую вину. Мафия, при всей своей скрытной монолитности, тем не менее персонифицирована: говорят, что фашиста укрыл и спас дон Кало, тот самый дон Кало, который был привлечен к ответственности наивным Чезарем Мори как раз накануне его скандального и бесславного увольнения от должности.

Естественно, дон Кало был отпущен через несколько дней после изгнания Мори.

Более того, соперник дона Кало, признанный «босс» дон Вито, был брошен в сырой карцер – старика заставили умереть, короновав дона Кало, друга фашизма, новым «боссом» Сицилии.

...Я ехал по широкой автостраде, брошенной через долину. Горы громоздились вдали – синие, резкие как прыжок, затаенные. Пустая автострада, ни души, один лишь мой «фиатик»– затерянность...

«Так промахаешь всю Сицилию»,– подумал я, вспомнив, как три года назад прорезал Италию с запада на восток, до Югославии, по такой же, даже еще лучше, автостраде: скорость – сто тридцать, «втягивание» в ритм, нет времени глядеть окрест – только перед собою: тоннели, залитые резким желтым светом, десятки тоннелей – и никакой Италии. Автострада отчуждает пейзаж, она угодна скорости, как некоей самоцели. Стоп! Не начинаешь ли ты тяготеть к прекрасным, но безвозвратным временам кибитки?! «Проселочным путем люблю скакать в телеге и, взором медленным пронзая ночи тень, встречать по сторонам...» Прекрасно? Еще бы! Но ведь ушло! Значит, видимо, надо думать о том, чтобы как-то навязать нынешним скоростям хоть гран былой поэзии, осмысление пути, щемящую жалость промелькнувшего. Как? Не знаю. Но только не уповая на минувшее – это дезертирство и беспомощность.

...Я переместился в крайний ряд и съехал на «муниципальную» дорогу, маленькую, узкую, щербатую, и повела она меня в горы, в тишину, к «крестным отцам», в самый центр безлюдной, жаркой и затаенной Сицилии...

1

– Не верьте вздору о мафии,– сказал Нино, хозяин таверны, где я остановился: мой приятель из Катании порекомендовал пообедать именно там: «Хозяин, дон Нино, старый мафиози, десять лет прожил в Нью-Йорке, поговорите с ним в открытую, считают, что он «паблик рилэйшенс офисер», после «Крестного отца» мафия пытается расположить к себе прессу».

Дон Нино был одет в легкий белый костюм, сама элегантность: очки в черепаховой оправе делали его похожим на ученого. Он проследил за тем, как официант принес нам спагетти, налил в стаканы черное – до того оно было густым – вино, закурил, картинно набросил ногу на ногу и придвинулся ко мне еще ближе, склонив голову чуть не к скатерти:

– Про мафию пишут некомпетентные люди. Несчастные сицилийцы были вынуждены защищаться от захватчиков – они

смогли защитить себя с помощью мафии. А потом мафия стала защищать сицилийцев от алчных римлян, лишь это входило и входит в ее задачи. То же – в Америке. Однако там людям мафии приходится защищать не только несчастных эмигрантов из Сицилии, которые живут как парии, но и негров. Вы, конечно, знаете трагедию Джо Галло?

– Нет,– ответил я,– мне неизвестна трагедия Джо Галло.

– Сколько же небылиц сочинили об этом борце за гражданские права! Сколько грязи вылили на его голову, прежде чем убить этого кроткого и нежного сицилийца, попавшего в нью-йорские джунгли. Во время отсид... в то время, когда Галло был брошен капиталистами в тюрьму – его оклеветали, само собой, американцы,– никто так не относился к неграм, как он. «Эти люди должны иметь равные права с нами»,– говорил Джо, и за это его бросали в карцер и лишали прогулок. А потом, когда правда восторжествовала и он вернулся домой и обратился ко всем неграм со словами братства и дружбы, его убили. Был ли он в мафии, я не знаю, но если члены организации ведут себя, как он, то я сам, знаете ли, готов вступить в это братство. А Джозеф Коломбо? Ведь никто с таким блеском не обвинял империализм в глумлении над этническими меньшинствами – вы, видимо, знаете, каково жить неамериканцам в Соединенных Штатах... И что же? Наемный убийца изрешетил его пулями, и несчастный Коломбо остался инвалидом на всю жизнь, инвалидом с помутненным сознанием – злодейская рука вырвала его из рядов борцов за гражданские права национальных меньшинств.

– Это тот Коломбо, который судился с министерством юстиции США?

Дон Нино снял очки, протер их замшевой тряпочкой и, кашлянув, спросил:

– Какой процесс вы имеете в виду?

– Тот, который он выиграл. Помните, когда он заставил министерство юстиции потребовать у создателей фильма «Крестный отец» изъять из картины слова «мафия» и «коза ностра». В фильме ведь ни разу не произносятся эти слова.

– Что-то не помню, право...

Дон Нино, видимо, был плохим «паблик рилэйшенс офисер», иначе его не переместили бы сюда из Штатов. Он б о я л с я, он все время боялся сказать не то или посмотреть не так. Он аж замер на мгновение, когда у него вырвалось «отсид», «отсидка», сленг гангстеров. Он говорил штампами, рассчитанными на прагматичных американцев или доверчивых сицилийцев, он не готов к серьезному разговору, когда его лозунгу противополагается оп-

ределенного рода з н а н и е. Как проинструктировали бедного дона Нино, так он и шпарит, считая, что вкрадчивость голоса, широта улыбки и доброжелательность во взгляде могут компенсировать отсутствие логики в его препозициях.

Не за то убили Джо Галло, что он негров защищал; не за то прострелили череп Коломбо, что он радел о судьбе этнических меньшинств,– липа это, чистейшая липа.

Дело заключается в том, что Коломбо и братья Галло – Ларри, Безумный Джо и Козленок Блэст – воевали за первенство в нью-йорской мафии. И Коломбо и братья Галло владели игорными домами. Претендовали на монопольность грабежей в доках Бруклина и на право в ы т р я х и в а т ь всех тех, кто появлялся на набережных после десяти часов вечера.

Братья Галло ударили первыми. По их поручению Джелли, наемный и с п о л н и т е л ь братьев, выпустил обойму кольта в старика Франки. Когда сюда, в таверну «Кариелло», прибыли полицейские, старик потерял сознание, жизнь покидала его. Хозяин таверны на вопросы агентов отвечал однозначно:

– Я ничего не видел. Когда началась пальба, я разливал виски. Кого приметил? А я что – полицейский?! Никого я не приметил.

Братья Галло убили старого Франки, друга сильнейшего мафиози Профачи и не менее могучего Джо Коломбо,– такое гангстеры не прощают. Но, чтобы отомстить, нужно время. По прошествии двух лет Ларри Галло был приглашен в маленький ресторанчик старыми знакомыми, Клеменцо и Шимоне. Ларри слушал байку Клеменцо, а потом перестал что-либо слышать: на шею ему набросили веревку и начали стягивать ее в мертвый узел – мафия часто казнит удушением. Ларри упал на пол без сознания. Он бы умер, но по странному случаю в ресторанчик вошли полицейские. Началась перестрелка с исполнителями. Те ранили полицейского, выскочили на улицу, бросились в поджидающий их автомобиль и ушли от погони.

Ларри, однако, знал, кто хотел его убить. Безумный Джо, этот «защитник гражданских прав негров», нанял Джерома Джонсона, негра, соседа по камере, уплатил ему аванс, чуть не десять тысяч «баков» и предложил у с т р а н и т ь Коломбо, «защитника прав этнических меньшинств», люди которого недодушили Ларри. Джонсон взялся убить Коломбо: ему льстило, что Безумныый Джо дважды выступал перед «крестными отцами» с предложением принимать в «коза ностру» наиболее сильные ганстерские группы негров. «Крестные отцы» отвечали: «Черномазых мы не пустим, мы брезгуем ими». Галло ярился: «Нельзя же работать по старинке! Вы думаете, я люблю негров?! Вы думаете, я ими не брезгую?!

Вы думаете, ими не брезгует президент Джонсон?! Но ведь настали новые времена! Негров теперь п р о ц е н т я т, их отбирают для работы в правительственных органах! Им начали давать кафедры! Они стали офицерами в армии! И мы должны п р о ц е н т и т ь, чтобы не потерять их вовсе! Добрый мир с ними лучше хорошей войны!» Словом, «крестные отцы» не приняли предложение Галло. Тогда он организовал через прессу «утечку информации»: появились статьи, что Безумный Джо – друг негров. Потому-то Джо и взял в руки пистолет. В карман положил десять тысяч и продырявил череп «защитнику меньшинств» Коломбо.

Люди Коломбо ответили на эти выстрелы – своими. Безумный Джо получил пять пуль в живот и в лоб. Над его гробом была произнесена клятва: «Улицы Нью-Йорка станут кровавыми реками, Безумный Джо, ты будешь отомщен».

В течение недели, последовавшей за этой клятвой, были убиты Ферриано, Бруно Карневале, Ричард Гроссман, Чиприо и Томи Эрнст – мафиози из окружения Коломбо.

«Борцы за гражданские права» душили, резали, стреляли; драка за сферы влияния – кровавая драка, любой титул примешь, любому богу поклонишься, только б сохранить власть и деньги...

– А что вы знаете о Вито Дженовезе и Лучано? – спросил я, когда принесли кофе со взбитыми сливками.

Дон Нино ответил:

– Об этих людях говорят слишком много, но мне кажется, что никто не знает правды, да и никогда ее не узнает. Сильные люди – одно лишь можно утверждать со всей определенностью. И, как говорят все, знавшие их, в высшей мере добрые. Разве злые люди могли бороться против фашизма? Против Муссолини и Гитлера поднялись д о б р ы е, разве я не прав?

Разговоры в Катании и Ното оказались теми недостающими звеньями, которые помогли увидеть всю т е м у собранной, литой, что называется.

У меня в дневниках давно уже хранились кое-какие материалы об одном из лидеров американской мафии – Вито Дженовезе. Итальянские мафиози – я видел их фотографии – незаметны, добродушны, тихи. Они преображаются ночью, когда, поглядывая на секундную стрелку, ждут выстрела,– их люди разделались с непокорным, который думал жить по законам, отдельным от неписаного устава тайного ордена сицилийцев.

Когда Вито Дженовезе отправлялся в Новый Свет, он был «нижним» мафиози, самым, пожалуй что, «нижним», ибо рожден был Вито не в Сицилии, а в Неаполе, «городе мелких мошенников», как мне сказал в Палермо один сеньор,– он сидел за столиком дорого-

го кафе, пил «Наполеон», который стоит здесь баснословные деньги, и с удовольствием беседовал со мною на хорошем английском.

Дженовезе привлекался к суду 16 раз: торговля наркотиками, убийство конкурентов, продажа оружия и содержание тайных публичных домов. Пять раз он был оправдан за «отсутствием улик»— закон молчания в «коза ностре» идентичен закону «мафии» в Сицилии, с той только разницей, что за нарушение этого закона в Бруклине убивают очередью из автомата, а в Сицилии — выстрелом из старинного «лупара», похожего на обрез.

Этот каскад оправдательных переговоров по делам, которые казались всем бесспорными (заслуживали пожизненного заключения или электрического стула), помог Дженовезе стать одним из руководителей «коза ностры». Он держал в руках проституцию, организовывал грандиозные шантажи, где взносы затравленных им людей исчислялись сотнями тысяч долларов, продажу наркотиков; он, пожалуй что, первым поставил этот бизнес на широкую ногу. Однако завязал этот бизнес в один узел с международной политикой Чарльз Лучано.

В 1936 году Чарльза Лучано посадили на скамью подсудимых. Срок — пятьдесят лет. Его помощник Бошальте был отправлен на электрический стул.

Вито Дженовезе, однако, исчез. Объявился он позже в Сицилии, объявился самым поразительным образом: в штаб-квартире черно-рубашечников. Он открыл потрепанный портфель и вывалил на стол триста тысяч долларов.

— Я мечтаю, чтобы великий дуче узнал — его скромный единокровец хочет построить новое здание партии. Думаю, это докажет мою преданность фашистской Италии больше, чем слова иных болтунов.

Дуче узнал об этом; он внимательно изучил досье «крестного отца», он понимал, «кто есть кто» в мафии, к разгрому которой так напыщенно звал нацию. Он разгромил м е л ю з г у; сильных не тронул; более того, он сохранил их — дуче думал о будущем.

— Дженовезе,— сказал он, вызвав к себе мафиози,— в Америке, в этой стране продажных плутократов и финансовых воротил, некий Карло Треска, марксист и мерзавец, оклеветал меня, а вместе со мною и все движение фашизма, то есть движение народных масс, выступающих за свободу и мир, против интернационального большевизма и алчного империализма. Я хочу, чтобы ты сказал свое слово по этому поводу, Дженовезе.

Дон Вито сказал свое слово: Карло Треска изрезали тремя автоматными очередями из «томми»; разложившийся труп нашли в трущобах Манхаттена.

Когда сообщение об этом появилось в газетах, Муссолини вызвал к себе Дженовезе поздно ночью, пригласил к столу и протянул мафиози бокал с шампанским.

– Ты истинный патриот новой Италии,– сказал дуче.– Фашизм не забудет твоей преданности.

А что же Лучано, второй «крестный отец»? В 1942 году, как раз в то время, когда состоялся первый контакт Муссолини с Дженовезе, узник каторжной тюрьмы был привезен на конспиративную квартиру американской разведки УСС. Беседы продолжались семь дней. Затем Лучано, которому оставалось отсиживать еще сорок лет, был поселен в тихом коттедже на побережье неподалеку от Нью-Йорка. Оттуда его перебросили в Африку. В Сицилию он пробрался сам – резидент УСС начал свою работу. Помимо разведки он помнил и о бизнесе: именно он продал в Сицилии своим друзьям мафиози огромное количество американского оружия – конечно же «для борьбы с фашизмом»; сделка с Пентагоном исчислялась миллионами долларов; ни одному левому партизану, понятное дело, это оружие в руки не попало. А когда союзники высадились в Сицилии, первыми визитерами у американского губернатора острова полковника Полетти были два друга: Лучано и Дженовезе; один – резидент американских спецслужб, другой – друг дуче, истинный борец, настоящий фашист.

Кому же они служили? Да никому. Себе. Мафии. Если допустить возможность победы фашизма – Дженовезе вхож к дуче. Если же победят союзники – Лучано коронован резидентом УСС.

2

...Структура мафии, рожденная в Сицилии, надежно гарантирует «безопасность преступников, обреченность жертв, непрерывность работы».

Первичная организация – «семья». Именно такого рода «семья» объединяет одну, порой две сицилийские деревни.

Кто является членом «семьи»? Отцы, дети, братья (и сестры, конечно же!), двоюродные братья, шурины и девери – поди разруби такого рода «семейную поруку», когда неосторожно вырвавшееся слово ставит под удар не кого-нибудь, а сына или брата! Такое не простят – закон молчания обратно пропорционален «закону мести». По семейному принципу сформировалась и «коза ностра», когда сто лет назад первые сицилийские иммигранты появились в Новом Свете – без знания языка, без профессии, неграмотные крестьяне, умевшие метко стрелять, молчать и благодарить до гробовой доски того, кто дал хлеб их детям.

Несколько «семей» объединены в «коска», что значит «бедро». Семейный принцип и здесь сохраняет свою силу. «Бедра» составляют «ассоциации», которые отвечают за отрасль промышленности или бизнеса; они же получают «налог» с профсоюзов. «Ассоциации» составляют «Онората сочьета», то есть мафию.

Глава семьи – «капо» (в Европе), «босс» (в США). На случай провала существует «второй босс». Но лишь «боссу» подчинен «советник» – «светлая голова», человек с образованием, чаще всего юридическим. На «второго босса» замыкаются «лейтенанты», которые не знают «босса»; им незнаком и «советник». «Лейтенанты» командуют «солдатами». Именно эти «солдаты» выполняют приказы руководства, «спущенные» через «лейтенантов». Все, как в разведке: исполнителю ничего не известно о задумке «босса», приказ передан через «второго босса»; сплошная цепь, разорвать которую трудно, почти невозможно. (Существуют также «наемники». К числу этих париев относятся «неитальянцы». Их нанимают в качестве курьеров, которые возят наркотики через границу, а также в тех случаях, когда замыслилась очень сложная операция политического толка,– тогда нанимают Рея, Руби; те в свою очередь находят своих освальдов.)

Главные задачи «солдат»: разложение полиции и госаппарата; установление устойчивого влияния на «ключевых» работников бизнеса, банков, авиакомпаний и портов – во имя этой цели допустимы все пути: шантаж, похищение, насилие, убийство; и наконец, контроль за зонами влияния. Деятельность мафии точно разграничена на легальную и нелегальную: к первой относятся рестораны, которые содержит мафия, бары, доки, аэропорты, пронография, профсоюзы; ко второй – азартные игры, проституция, торговля наркотиками.

Для того чтобы надежно конспирировать, знания итальянского языка недостаточно, не спасает даже сицилийский диалект – агенты полиции специально изучают язык мафиози, ибо сейчас большинство членов «семей» говорит на жаргоне.

Примером того, как мафия умеет скрывать имена преступников, оставляя на дороге штабеля трупов, является «палермская война». Началась она в 1950 году, когда в Италии была объявлена новая земельная реформа, ограничивавшая размеры латифундий. Мафия начала вырабатывать стратегию – в новых условиях надобны новые методы. Обмен мнениями между доктором Наварро, вождем мафии на северо-западе Сицилии, захватившим контроль над всеми портами Палермо, и его молодыми коллегами кончился схваткой. Началась борьба за власть. Молодое крыло мафии нанесло удар: Кармело Наполи, старый мафиози, осуществлявший

надежную связь между преступниками и муниципальными властями, получил посылку. Когда его телохранитель вскрыл фанерный ящик, там лежала голова одной из любимых немецких овчарок дона Кармело – так в мафии объявляют смертельный приговор врагу.

Кармело Наполи немедленно предпринял свои шаги, он знал, как это делается, он помнил уроки старого учителя, «первого монарха мафии» дона Вито Касио Ферро. Об этом человеке следует рассказать подробней.

Когда дона Вито Касио посадили на скамью подсудимых по обвинению в контрабанде, он, посмеиваясь, сказал прокурорам:

– Уважаемые сеньоры, вы никогда не сможете доказать мое участие в преступлениях, совершенных моими людьми и мною,– их было много, это я вам говорю. Вы не найдете ни улик, ни свидетелей. Это я вам обещаю. Зачем же вы обвиняете меня в контрабанде – я ведь действительно не занимался этим, слишком мелко для меня...

Он не сказал, естественно, что мелкая контрабанда не нужна ему – «монарх мафии» создал флот, состоявший из пятидесяти кораблей разного тоннажа, это и н д у с т р и я, а не контрабанда.

Уже в начале века его люди обосновались в Нью-Йорке: ни один мало-мальски серьезный шаг не предпринимался людьми «коза ностры» без консультации с «крестным отцом», жившим в Сицилии, одетым, как средний крестьянин, набожным и тихим доном Вито.

Когда началась первая мировая война, он создал специальные группы мафиози, вооруженные и подготовленные для проведения специальных акций. Отряды мафиози ф о р м а л ь н о воевали в рядах союзников, еще бы, ведь они такие патриоты! При этом конечно же грабили склады, захватывали эшелоны, наводили террор на непокорных – война кончится, память о всесилии мафии останется надолго.

Именно в это время дон Вито и принял решение о внедрении мафии в государственные органы. Сотни мафиози – с санкции своих «лейтенантов», а те в свою очередь в соответствии с указаниями «помощников капо» – предложили услуги полиции в качестве платных осведомителей. Именно на них была возложена обязанность направлять полицию – если понадобится – по ложному следу.

Следующий этап: рекрутирование мафиози в карабинеры – охранник порядка днем, нарушитель – ночью.

Третий этап – выдвижение своих кандидатов в депутаты: начали практиковать это в Палермо, закончили в Риме.

П р о р а с т а н и е оказалось куда как более постоянным и надежным, чем все остальное: был разгромлен Муссолини, люди Вито Касио остались. Те, которым пришлось уйти из-за компрометирующих связей с фашистским режимом, уступили места «оппозиционерам», загодя подготовленным мафией. «Советники» думали впрок, не зря получали баснословные деньги, зазря мафия не платит; дурню с пистолетом, который р е ш е т и т противника, дают тысячу; тот же, кто д у м а е т, кого и как убить, получает миллион; верно говорят: «Стрелять – не думать».

...Кармело Наполи проинформировал п р о р о с ш и х о посылке; полиция установила негласное наблюдение за его домом; два телохранителя утроили бдительность, при каждом подозрительном шорохе хватались за парабеллумы; ночью дом охраняло пять человек. Прошло три дня, четыре – никаких тревожных симптомов.

Наполи был убежден – его неведомые враги поняли, что рисковать нет смысла, ибо он сомнет любого. Еще бы, с в я з и решают все.

Через неделю, однако, Наполи был убит: его изрешетили автоматными очередями из машины, стоявшей на перекрестке. Почерк «коза ностры». Никто, естественно, не был найден. Видимо, молодые мафиози с м о г л и уплатить больше тем, кто раньше кормился из рук дона Кармело, полиция сработала не на старика, а против него – смена хозяев, ничего не поделаешь.

Следующим был расстрелян Джузеппе Греко.

Затем убили старика Галатоло.

Лишь за десять дней было убито семь человек, так или иначе вовлеченных в борьбу за власть. «Десять дней – семь человек! И – не найти следов. А тут к а к и х-т о тридцать свидетелей по делу Кеннеди. Чепуха да и только.)

Во время «палермской войны» выдвинулись три молодых лидера мафии: Николо Д' Алесандро, Нико Коттоне и Дженко Руссо.

Первым был убит Коттоне, вторым – Д' Алесандро; единственный «младомафиози» остался Дженко Руссо, которого учил «король наркотиков» Лучано, а опекал дон Кало. Он шел вместе с двумя друзьями в одной упряжке, шел к деньгам и власти. Борьба за власть – жестокая штука; поистине «былая дружба» в этой драке – сущая абстракция, вздор, сантименты. В мафии умеют бить намертво всех тех, кто не только покушается – кто может покуситься на твой и н т е р е с: в ход идет «нырок» или «веточка» (финка). Неважно, кто замахнулся на т в о е: «pezzo da novanta» – дословно «снаряд для орудия девяностого калибра» («важная шишка») – или «муравей» («молодой мафиози»).

Кара одна – смерть. (Замечено, что в «черновой работе» мафиози очень важна роль шляпы: сдвинута направо – «за мной следят», сдвинута назад – «срочно на помощь», сдвинута налево – «я вижу тебя и постоянно слежу за тобою».)

Вито Дженовезе, впрочем, постоянно сдвигал налево: «всех вижу, постоянно за всеми слежу», – особенно после войны.

Этот «добрейший», по словам моего собеседника дона Нино, человек должен был получить «корону мафии», ибо Лучано в это время занимался Европой и Кубой, а других конкурентов не было. Он бы и получил корону, но случилось невероятное: жена Анна сбежала из его особняка и потребовала развода.

– Я не могу больше жить под одной крышей с человеком, который жесток до того, что я постоянно ощущала себя в опасности,– сказала миссис Дженовезе судейским.

– Доказательства! – спросили те.– Следы побоев? Свидетельства очевидцев!

– Какие очевидцы?! – Анна всплеснула руками.– Кто решится показать против главаря гангстеров?!

– Доказательства! Свидетели? – повторили те.

– Свидетелей нет, доказательства – пожалуйста!

И миссис Дженовезе назвала номера сейфов бывшего мужа в Европе: там хранились миллионы долларов.

«Коза ностра» была шокирована, все ждали, как поступит Дженовезе, все ждали з а к о н н о й мести. Однако Дженовезе вызвал своего помощника Антонио Строло, известного всем под именем Тони Бендера, и сказал:

– Тони, мне стало известно, что Стив Франсе предал нас, подтолкнув безумную Анну начать скандал. Я выяснил, Тони, что Франсе принудил Анну начать свое д е л о в Гринвидж Виллидже: они там открыли свои игорные дома и не платили налог синдикату. Я должен быть отмщен, Тони, потому что Франсе делал все это по приказу и щ е е к, которым было поручено скомпрометировать меня любой ценой. Он продался полиции, Тони, он – изменник.

Тони Бендер отправился в ресторан «Лидо», которым владел «рядовой» Джо Валачи, по кличке Каго, или Бешеный Водитель.

– Слушай, Джо,– сказал он,– придется тебе внимательно слушать телефон. Я стану звонить к тебе каждый вечер, Джо. Ты обязательно дождешься моего звонка и, пока я не скажу тебе: «Иди спать, Каго»,– ты должен оставаться здесь, понял?

Через две недели Тони Бендер позвонил Валачи и сказал:

– Не надо тебе идти домой, Каго. Подожди маленько, а?

Валачи задернул занавески в ресторане, запер запасной выход, приготовил пару кольтов. Через час в дверь постучали. Пришел Стив Франсе, про которого раньше дон Вито говорил самое хорошее, с ним два «рядовых» из «семьи» Дженовезе, два громилы, Фьоре и Пат. Гости подошли к стойке, Джо Валачи разливал виски по стаканам, и в это время Пат схватил Франсе за горло, а Фьоре воткнул ему кулак в поддых. Франсе рухнул без сознания. «Рядовые» набросили на горло Франсе цепь – тонкую, изящную, из хромированной стали – и потянули ее в разные стороны. Франсе даже не захрипел, потому что по-прежнему был без сознания.

Дженовезе понимал, что только жестокий террор может удержать его у власти: неважно, виновен ли мафиози, нет ли, главное террор, главное вдавить страх в остальных, тогда заткнутся, тогда з а б у д у т про Анну, не посмеют помнить, самих себя станут подозревать, чего же еще надо, если задача так сложна: удержать власть, доказав, что «коза ностра» полна шпионами, доносчиками ФБР, лишь один он, дон Вито, знает, как разоблачить их и обезвредить.

Следующим был пристрелен общий любимец Петрилли. И Тони Бендер, люди которого изрешетили бедолагу, и Джо Валачи прекрасно знали, что Петрилли никогда не был шпионом, но, глядя друг другу в глаза, мафиози убеждали себя в том, каким гадким мерзавцем был покойник, как он предал д е л о, как он сделался паршивым агентом «Бюро по борьбе с наркотиками», как опозорил себя и друзей.

Только убийство дона Чиччо было принято гангстерами как должное, и никто никого не убеждал в необходимости этой казни. Было установлено, что дон Чиччо принимал в члены «коза ностры» за 50 000 долларов. Он лишал абитуриента необходимости доказывать свою верность и фанатизм, проходя школу убийств, удушений и дерзких грабежей. Уплатил деньги – ты член «почтенного семейства», твоего врага убьют другие, конкурента удушат, деньги переведут в нужный банк, прикроют воровскую сделку силою «авторитета» мафии.

Последней в цепи убийств, проведенных «добрейшим» Дженовезе, которому было необходимо р а с с т р е л я т ь память мафиози, оказалась операция против Альберто Анастасиа, главного конкурента дона Вито.

Это дело люди Дженовезе готовили особенно тщательно.

Сначала были найдены подходы к заместителю Анастасиа, тишайшему Карло Гамбино. Тот умел ждать и любил ожидание. Дженовезе предложил Гамбино пост «босса» в «семье» Анастасиа,

если «сумасшедший» Альберто уйдет. Гамбино решил принять предложение Дженовезе. Вито отошел в сторону, взяв на себя контроль за операцией, которую решил проводить Гамбино. Тот договорился с Джозефом Бьондо. Люди Дженовезе убедились, что Бьондо не побежал к Анастасиа,— игра началась. Через неделю Анастасиа расстреляли два бандита в парикмахерской: тот лежал в кресле, и лицо его было укрыто горячими салфетками после получасового массажа.

А уж после этого Дженовезе решил собрать с о в е щ а н и е всех «боссов» «коза ностры», и первым получил приглашение не шеф чикагской «семьи» и не «босс» «семьи» в Новом Орлеане, а «босс» мафии в Далласе Джеймс Чивелло и «босс» Флориды Луис Траффиканте, в л а д е в ш и й всеми делами мафии на батистовской Кубе: через его руки шел героин по хорошо отработанному маршруту: Гонконг — Сицилия — Гавана.

Дженовезе вынес на обсуждение три вопроса. Первое: единодушное одобрение всеми «боссами» его борьбы против шпионов, пробравшихся в мафию; одобрение ликвидации Анастасиа, который покровительствовал всем шпионам. Второе: одобрение убийства дона Чиччо и в связи с этим пересмотр «церемонии» приема в члены мафии — полнейшая конспирация. И наконец, третье: запрет на торговлю наркотиками в какой бы тот ни было форме, «этим жестом мы успокоим и щ е е к, и нас не будут трогать за содержание игорных домов, порнотеатров и типографий для печатания порножурналов. Наркотик — особенно после того как ситуация на Кубе стала нестабильной — пошли напрямую в Штаты, а это — вызов правительству, сейчас необходимо выждать».

«Боссы» были готовы проголосовать за предложения Дженовезе, их умело подготовили загодя. Однако голосования не случилось: половина участников совещания была схвачена полицией, а Дженовезе, выступавший против торговли наркотиками, получил пятнадцать лет именно за то, что в обстановке полнейшей секретности разворачивал торговлю героином, поступавшим к нему непосредственно от людей Чарльза Лучано по кличке Лаки, то есть Счастливчик.

3

В 1973 году в Европе было конфисковано около трехсот килограммов героина, три года спустя — семьсот. По заключению «Интерпола», эти семьсот килограммов — лишь десятая часть всего поступающего из Азии героина. Один килограмм годен для того, чтобы изготовить и продать двадцать тысяч порций! Следователь-

но, два года назад производители опиума, работающие в контакте с мафией, поставили в Европу героина, как подсчитали итальянские журналисты, достаточно для продажи ста пятидесяти м и л л и о н а м человек!

Отчего же начался такой немыслимый героиновый бум? Героиновый бум начинается в первую очередь там, где существуют разочарование, страх, хаос, неуверенность в завтрашнем дне, всеобщая разъединенность, где очевидны симптомы экономического спада. Пессимизм молодежи не зальешь виски – слишком дорого. Наркотик куда дешевле. Торговля наркотиками усилилась, особенно после того как все американцы ушли из Вьетнама: более семидесяти процентов солдат США покупали наркотики – полнейшее разложение! Героин, заготовленный для солдат Америки, хлынул в Западную Европу. Сначала цена была вполне «пристойной»– 50 марок за грамм. Масса молодежи начала курить марихуану – об этом же поется в рок-опере, это так интересно, новые ощущения, и все такое прочее! Молодежь в т я н у л и тонко, умно, расчетливо – служили этому и фильмы и книги. А потом цены на героин неожиданно подскочили. Да еще как! В 1979 году грамм героина поднялся в цене – 200 – 300 марок. А в 1977 году цены еще больше взвинтились: 1000 марок за грамм! (Вспомните, в 1976 году было конфисковано 700 килограммов героина! То есть 700 000 000 марок! И это – десятая часть того, что было п р о д а н о! Значит, общий оборот составляет 70 000 000 000 марок, что-то около тридцати миллиардов долларов!)

Амстердам был обложен полицией, «героиновые мафиози» (об этом мне рассказал начальник сектора амстердамской полиции) начали постепенную передислокацию в Лондон. Симптом этой передислокации, в частности, проявляется новым к а ч е с т в о м преступлений в Великобритании. Полицейские ФРГ, Западного Берлина и Нидерландов вывели некий график, трагический, надо сказать, график: неорганизованная проституция, особенно детская,– наркомания; шальные убийства, ради того чтобы завладеть кошельком с небольшими даже деньгами,– наркомания. Поставщики героина ощущают власть над своими пациентами – количество их исчисляется ныне десятками тысяч: некий героиновый воротила требовал от юного американца, жившего в Амстердаме, два гоночных велосипеда в сутки – за это он давал ему дневную понюшку героина; угон велосипедов и мотоциклов становится массовым. (Я видел, как в Риме мужчина подъехал к бару на мотоцикле, чтобы позвонить по телефону. Он опустил жетон, поглядывая то и дело на мотоцикл. Начал говорить о чем-то. Итальянец – эмоции; увлекся; жестикуляция, порывы, приседания, горь-

кий смех, угрожающий крик, поворот на месте с перебрасыванием трубки к правому уху, ибо левое вспотело от напряжения... Именно в эту секунду трое юнцов – тринадцать, пятнадцать и семнадцать лет, не больше,– бросились к мотоциклу, вскочили на сиденье, обхватив друг друга руками, младший толкнул «индиану» под гору, старший сунул «отмычку» в то место на фаре, где установлено зажигание, малыш успел вспрыгнуть на багажник, мотоцикл покатился, мотор заработал; владелец выскочил из бара; вопль, побелевшее лицо, погоня; маленький митинг; свидетелей все прибавляется; начали раздаваться крики, помянули имена ведущих политических деятелей, появилась полиция...)

Рост преступности нельзя, однако, объяснить одной лишь наркоманией. Это, пожалуй что, следствие. Причина кроется глубже; она – в самой с и с т е м е. Взять, например, Францию. Там пока еще главенствует не героин, но Его Величество Алкоголь. Во Франции потребляется алкоголя на душу населения больше, чем в США, во многих странах Западной Европы, в Латинской Америке. Хотя формально пропаганда алкоголя во Франции запрещена, но он присутствует повсюду: в кино, театре, во всех шоу, которым в Париже несть числа. Ни одна газета не начинает массированной атаки на алкоголь. Почему? Да потому, что алкогольное лобби невероятно сильно, барыши, получаемые магнатами-виноделами и продавцами аперитивов, ошеломляющи, любая попытка прессы, по-настоящему думающей о будущем французов, поднять эту проблему будет погашена, изничтожена на корню; профинансируют производство комикса или комедии, пригласят лучших актеров, которые стоят миллионы, найдут самых выдающихся композиторов и драматургов – те докажут, причем не сухо, лекционно, а о б р а з а м и, которые всегда сильнее словес, пусть самых правильных и пугающих,– алкоголь нужен, он приятен, он дает истинный «рилакс».

Социологи – в той же Франции – высчитали, что росту преступности способствует нынешнее градостроительство: огромные комплексы, безликие, громадные и тяжелые, давят на психику, калечат людей морально. Однако с и с т е м а не может контролировать строительство. Коррумпированность огромных концернов сильнее власти – по-прежнему возводятся комплексы, в которых человек подобен букашке: мал, немощен, затерян. Именно там, в затаенных каменных джунглях, ныне сокрыты самые грозные очаги преступности.

Подсчитано также (на примере юга Франции), что рост преступности невероятно повышается в зонах «индустриального взрыва». Планируются как-либо такого рода «взрывы» на Западе? Нет.

Процесс этот стихиен, последствия его – закономерны. Занятно, сейчас во Франции появились статьи, зовущие «назад, к пастушеству, когда отношения были чисты и патриархальны, когда Молох города был неведом людям». Над этими статьями посмеиваются, они на руку воротилам капитала, ибо доказывают некомпетентность критиков, которые не в силах предложить какую-либо действенную альтернативу. Действенность альтернативы – ее социальность. Мечтания «а-ля Манилофф» беспредметны, а потому порочны; искать бестию надо там, где она существует, а не прятаться за удобство детских представлений, сие – чревато.

...Американские секретные службы умели благодарить за верность. Причем «операция благодарности» была обычно отмечена такого рода аксессуарами, которые вызывали немедленный отклик в сердцах итальянцев, падких до громких имен и красивых слов, произнесенных перед телекамерами.

Губернатор штата Нью-Йорк Томас Дьюи, называвший Лучано в конце тридцатых годов «самым мерзким и низким преступником, когда-либо представавшим перед правосудием Соединенных Штатов», резко изменил свою точку зрения[1]. В 1945 году неожиданно для всех он объявил, что пятидесятилетний срок отсидки для Лучано заменяется десятилетним. Вряд ли Дьюи знал, что «узник мафии» не все время находился в камерах каторжной тюрьмы Даннемор. Видимо, ему не сообщили, что он был тайно вывезен из тюрьмы секретной службой и переправлен в Сицилию. Не сообщали, видимо, губернатору и то, что генеральный консул США в Палермо Альфред Нестер провел секретную встречу с наиболее авторитетными мафиози – Джузеппе Кастеллано, Калоджеро Вольпи, Вито Гауррази (запомните эту фамилию, читатель, мы вернемся к Гауррази, когда будем исследовать историю убийства инженера Маттеи) и конечно же «боссом всех боссов» доном Кало, «другом фашизма». Тема совещания генерального консула США с руководителями мафии: «Создание мобильной политической группы, которая бы смогла провести в жизнь идею об автономной Сицилии во главе с мафией, в качестве правительства».

Американская секретная служба брала́ уроки у мафии, особенно во время войны, когда началось тесное, постоянное и хорошо законспирированное сотрудничество. Поэтому люди УСС (которое тогда еще не стало ЦРУ) научились выстраивать цепь

[1]Документально известно, что Лучано сотрудничал и с контрразведкой военно-морских сил. Об этом факте сотрудничества с одной из секретных служб США было известно среди главарей мафии, ибо с помощью такого сотрудничества Лучано добился досрочного освобождения из тюрьмы.

подступа к тому или иному нужному человеку. Выстроили цепь подхода к Томасу Дьюи. (Чтобы отмыться от возможного обвинения в связи с американской разведкой, Лучано – значительно уже позже – бросил журналистам: «Освобождение стоило мне 57 000 долларов, которые пошли в фонд республиканской партии».)

Полицейские привезли Лучано из тюрьмы на седьмой мол Бруклина – Буш: там стоял под парами не очень большой, но невероятно быстроходный корабль «Лаура Кин».

Трап охраняли докеры из «синдиката преступников»– все порты традиционно находились в руках мафии, как и аэродромы; агенты ФБР, изображавшие любопытных, внимательно присматривались к молодчикам из УСС; за теми и другими глядели агенты «Бюро по борьбе с наркотиками».

Лучано подмигнул журналистам:

– Ребята, не ждите сенсаций, все будет тихо, по-семейному...

Тогда еще про мафию знали мало, поэтому никто не понял тайный смысл слов Лучано. Понимать стали чуть позже, когда один за другим к трапу подъехали звероподобные «кадиллаки» и по сходням поднялись – тогда еще живые – «боссы» «коза ностры» Альберто Анастасиа, Фрэнк Кастелло, Меир Лански, Сигэл – признаные вожди мафии. Полиция была обязана пропустить их на борт; все мафиози имели удостоверения о том, что они – руководители профсоюза портовых грузчиков. Полиция была обязана пропустить и других визитеров, приехавших на «семейное» прощание: одним из них был член верховного суда, другим – один из виднейших деятелей правящей партии США.

Проводы удались на славу: Лучано отказался от корабельной кухни, потому что его друзья подняли на борт плетеные коробки с провизией: сицилийские лимоны, французские паштеты, испанский хамон, норвежские копченые рыбы; вино было конечно же итальянским.

В Риме он остановился в отеле «Квиринале»; для него были сняты несколько номеров, чуть не этаж: каждый день к Лучано прибывали все новые и новые люди; «солдаты» мафии перекрыли вход на этаж; визитеров принимали «лейтенанты»; на встречу с «советником» Лучано уезжал в неизвестном направлении, тщательно проверяясь – не следят ли.

Кое-что, впрочем, удалось установить: Лучано готовил кадры для превращения Сицилии в свою собственную империю; были уже распределены посты; длинная цепь коррупции работала точно – префекты полиции знали, кому из мафиози они будут давать от-

чет; судьи продолжали обсуждать с «лейтенантами» размеры ежемесячных вознаграждений «за мягкость», латифундисты обговаривали устойчивость ставок за услуги мафии – словом, все шло как н а д о.

И вдруг Лучано исчез. Как в воду канул. На поиски «крестного отца» номер 2 были брошены агенты секретных служб; заволновалось «Бюро по борьбе с наркотиками».

А Лучано в это время уже был на Кубе, в гостях у диктатора Батисты. И американские секретные службы это знали. Более того, им был известен план Лучано, план воистину гегемонистский. Вот основные его параметры:

1. Сицилия должна стать мировым курортом, с сетью игорных домов, фешенебельных притонов, отелей.

2. Сицилия должна быть ориентирована на США, что обязывает и Пентагон поддерживать Лучано, – не так уж плохо иметь в центре Средиземноморья опорный пункт для американских флотов и авиации, патронируемый своим агентом.

3. Реализация первых двух пунктов превратит Сицилию в перевалочную базу по торговле наркотиками по маршруту: Дальний Восток – Ближний Восток – Европа – США.

Гавана находится рядом с североамериканским побережьем; режим Батисты умел заставлять хранить обет молчания; плата за болтливость – смерть в маленьких улочках Кавалерии, освещенных подслеповатыми фонариками; стоимость приведения приговора в исполнение дешева – от пятидесяти до ста долларов и пистолет с обоймой. Когда необходимо вмешательство государства, стоимость несколько увеличивается, батистовские полицейские – алчные люди: за арест, допрос с пристрастием и расстрел брали до тысячи долларов с гарантией, что жертва исчезнет навеки и следов найдено не будет.

Отладив «империю дорог и наркотиков», Лучано появился перед изумленными итальянскими журналистами. Как всегда поджарый, скромный, лишенный каких бы то ни было внешних эффектов, он сказал:

– Можно ли остановить движение? Конечно же нет, оно – вечно. Нам приписывают торговлю наркотиками. Не знаю, так ли это, но если это и так, может, разумнее разрешить продавать их легально, с выплатой определенных налогов государствам? В противном случае никто ничего не сможет поделать с контрабандой, как это ни прискорбно для нас, людей чести и бизнеса, что, впрочем, одно и тоже...

После эпопеи в Гаване Лучано купил себе этаж в самом дорогом квартале Неаполя, в Вомеро, где обычно останавливались

принцы крови, премьеры и престижные миллиардеры, – нувориши чувствовали там себя плохо. Затем он приобрел бухту – прекрасное место для того, чтобы укрыться от шторма н у ж н ы м кораблям с т о в а р о м. Да и вид на Сорренто прекрасен, ходи себе нагишом по километровому пляжу, не обращая внимания на телохранителей, вжимавших тела в душную раскаленность камней. Побывал на Капри, в з я л виллу с прекрасным видом на Везувий, оттуда на яхте отправился на Адриатику, там продавался замок семнадцатого века, а Лучано любил экзотику, пытался читать древних: «В нашей профессии необходимо знание предмета истории, это поможет избежать ошибок в будущем».

Чаще всего Лучано можно было видеть на Капри. Сначала никто не связывал его приезды на остров с визитами бывшего египетского короля Фарука. Потом связали, несмотря на то что Лучано мастерски конспирировал, приглашая к себе на раут внучку Муссолини и внука короля Виктора Эммануила: тоже вроде бы враги, ан как нежно воркуют, словно голуби, глаз не оторвать.

Этого как раз и добивался Лучано – пусть все смотрят на именитых, он не гордый, он знает цену т е н и.

Во время одного из такого рода раутов Лучано смог провести невероятную комбинацию: экс-король Фарук разрешил «королю наркотиков» пользоваться своим банковским счетом – отныне дотошные финансовые инспектора не были опасны Лучано. Он торопился с этим «договором», оттого что знал о первых провалах в Гарлеме: полиция напала на один из его центров по продаже героина, два человека были взяты, в одном из них Лучано был уверен, как в себе, другой был склонен к дискуссиям на тему литературы и музыки – таким Лучано не верил.

Однако «музыковед» раскололся после того уж, как Лучано перевел большинство денег на один из счетов Фарука.

Скандал в Гарлеме перекинулся в Рим. Лучано пару раз вызвали на допрос, однако улик не было.

– Вы вправе выполнять свой долг, у меня нет к вам никаких претензий, – говорил Лучано комиссарам полиции,– но стоит ли зря тратить время на безнадежное дело?

Американская пресса начала атаковать губернатора Дьюи: «На каком основании освобожден Лаки-Лучано?»

Губернатор только отдувался – молчал.

Молчали секретные спецслужбы, молчали, но р а б о т а л и. Скандал, связаный с именем Лучано, которого впрямую обвиняли в руководстве «гарлемским делом», позволил американским властям добиться у Рима права на открытие специального филиала по борьбе с наркотиками по Италии. Шефом был назначен Чарлз

Сиракузе, несколько работников американских спецслужб, таким образом, переместились поближе к Средиземноморью — вполне пристойная крыша.

Поскольку улик против Лучано не было в Италии и американская полиция н е с м о г л а найти против него никаких компрометирующих материалов, дело «короля наркотиков» передали в «бюро финансов».

Было выяснено, что Лучано ежегодно получал на свой личный банковский счет около миллиона франков.

— Представьте данные, синьор Лучано, каким образом вы заработали эти деньги?

— А я их не зарабатывал. Это пожертвования друзей. Люди знают, как я беден, люди знают мою кристальную честность, люди не хотят, чтобы я умер голодной смертью. Да и потом ведь у меня есть фабрика школьных парт, пусть посмотрят мои доходы на производстве — я держу штат, там большая бухгалтерия, они вам ответят с исчерпывающей точностью.

Пришли данные из Америки: там был обнаружен один из банковских счетов Лучано на 3 000 000 долларов.

— А откуда это?

— Спросите тех, кто перевел мне эти деньги, если вы так дурно воспитаны и видите в каждом честном человеке преступника.

Провал в Гарлеме не нарушил работу империи Лучано. Атака героином продолжалась. Наркотики доставлялись из Азии через Средиземноморье к берегам Сицилии — как и было задумано Лучано в сорок шестом году. Поскольку почти весь флот был в руках мафии, т о в а р сгружали с торговых судов, зафрахтованных «частными фирмами» на Дальнем Востоке, прямо на суда сицилийской мафии. Те швартовались по ночам возле Пунте-делла-Граперия-Гранде; от красивого городка, раскинувшегося вокруг бухты Кастелламмаре-дель-Гольфо, отходят две дороги — одна, большая, на Трапани и Палермо, а маленькая, ухабистая — к Тонара ди Скопелло; вот именно по этой дороге, которая белеет в ночи тревожно и цикадисто, крестьяне, выполняя указание «солдат» мафии, перевозили груз на склады «компании по продаже сицилийских апельсинов». Там были заготовки — пустотелые апельсины, сделанные из пластика или воска. На каждый ящик вполне нормальных апельсинов один — с героином. Наутро машины с особыми пропусками министерств, радевших за судьбы экономического развития Италии, беспрепятственно проезжали на территорию порта. Грузили ящики докеры — все, как один, связанные с мафией; везли в Нью-Йорк капитаны, мафией оплаченные; разгружали в доках Бруклина люди «коза ностры» — «активисты профсоюза» докеров.

Перед смертью дон Кало, «босс всех боссов» Сицилии, свел Лучано со своим преемником Дженко Руссо.

– Вы отвечаете за судьбу дела,– сказал «крестный отец»,– а дело будет расти и победит, если мафия по-настоящему обвенчается с «козой нострой», Сицилия и Америка должны быть постоянно вместе.

После смерти дона Кало его наследники созвали с о в е щ а н и е. Прилетели «боссы» из Нового Света. Об этом стало известно итальянской полиции, но никого из мафиози не потревожили: «Мафию опасно трогать п р о с т о т а к, вот если они попадутся на д е л е, тогда вступят в действие правила игры – не подставляйтесь, придется п р и в л е к а т ь». Иначе нельзя, станет трубить левая печать, посыплются запросы в парламенте...

Когда в Рим прилетел Санто Сордже, элегантный, сдержанный бизнесмен из Нью-Йорка, представитель техасской «Римрок тайдлэндс компани лимитед», на аэродроме его ждал «роллс-ройс» стального цвета, шофер и молчаливый крепыш с потрепанным портфелем в правой руке.

Санто Сордже попросил крепыша:

– Пусть шофер отвезет меня куда-нибудь поближе к нашим.

– Наши еще в Сицилии,– ответил крепыш и прижал портфель к груди.

Сордже усмехнулся.

– Диктофон через кожу дает плохую запись, мальчик.

– Я не понимаю, о чем вы говорите,– искренне удивился крепыш.– Я ваш телохранитель, в портфеле ношу пистолеты, у меня постоянно рвутся ремни, когда я сую кольты за пояс.

Он распахнул портфель – диктофона действительно не было, воронено маслились два кольта девятого калибра.

– Смешно,– сказал Сордже.– Только под «нашими» я подразумеваю не сицилийцев, а коллег из посольства Соединенных Штатов.

– Так вам и заказан апартамент на виа Венето, рядом с в а ш и м и, – ответил крепыш и начал застегиваать замки своего портфеля.

(Диктофон был вмонтирован как раз в замок, прислали д р у з ь я из Гонконга, там доки на изобретения таких штучек, Руссо просил п и с а т ь гостя из Америки постоянно, «дружба дружбой, а табачок врозь».)

Встреча Лучано, Руссо и Сордже состоялась в банкетном зале отеля «Реджис», обслуживали люди, прилетевшие с «боссами» из Палермо, официантов с подносами пускали лишь до дверей.

Беседа продолжалась три часа. Санто Сордже подробно излагал все выгоды, которые получит б р а т с т в о, если правительство предоставит исключительную концессию е г о техасской компании на проведение изыскательских работ в Сицилии: там должна быть нефть – кровь войны, «черное золото», зримое могущество.

Руссо молчал, слушал внимательно, сокрушался по поводу трудности задачи, потом спросил с к о л ь з я:

– А твои партнеры из Техаса пойдут на сотрудничество с инженером Маттеи?

– Никогда,– ответил Сордже.– Ни при каких условиях, он – левый.

– Он не левый,– возразил Руссо.– Он христианский демократ.

– Почему ты задал мне этот вопрос? – спросил Сордже.

– Потому что Маттеи – очень сильный человек. Потому что он сделал ЭНИ государством в государстве. Потому что он всегда выполняет то, что намерен сделать.

Лучано, молчавший до той поры, подвел итог:

– Дженко, в твоем ответе заложена программа наших действий. Да, Маттеи – сильный человек, но мы сильней. Да, он превратил ЭНИ в особое государство в системе нашего государства, тем хуже для него, ибо этим правом ранее обладала только одна организация – наша, Дженко. Мы должны сделать ЭНИ обычной компанией, каких в Италии сотни, только так. И наконец, последнее: он, как ты правильно сказал, выполняет все, что задумал. Но разве мы не заканчиваем то, что начато?

– Мы еще не начали,– ответил Руссо.

– Мы начали,– сказал Сордже.

– А я – нет,– ответил Руссо и цыкнул зубом, который не лечил, потому что боялся дантистов.

Лучано почувствовал, что разговор на этом окончен, он хорошо знал крестьянское упрямство Руссо. Он, впрочем, понимал, отчего так осторожничает наследник дона Кало.

ЭНИ, государственная нефтяная компания, не являлась какой-нибудь частной фирмой, ее деятельность контролировали сенаторы и депутаты парламента, ибо ЭНИ обеспечивала Италии энергию, бензин, дизельное топливо, то есть о р г а н и з о в ы в а л а всю экономику страны. Видимо, думал Лучано, какая-то часть сенаторов и депутатов, связанных с сицилийской мафией Руссо, не хотела о т д а в а т ь ни малости, а тем более дядям из Техаса, тем только палец покажи, руку отгрызут. Что ж, придется д а т ь сенаторам и депутатам больше того, что они получают от сицилийцев.

Два дня Лучано провел в шальных поездках по стране, ловко отрывался от х в о с т о в всех служб разведки, мафиозных в том числе, а потом отправился на Капри. Там произошла с л у ч а й н а я встреча с адвокатом мафии и агентом ЦРУ Вито Гауррази (помните совещание у генерального консула в Палермо?). Вито Гауррази впервые встретился с Лаки-Лучано давно, в дни краха Муссолини, когда его подвигали на овладение теми позициями, которые остались вакантными после разгрома фашизма. Именно он прибыл в Тунис вместе с высшими итальянскими военачальниками для выработки условий безоговорочной капитуляции; именно он метал громы и молнии против «чернорубашечников», когда американцы расквартировались в Палермо, именно он вошел в Рим как «либерал и освободитель». Кому же, как не Вито Гауррази, стать членом «генерального совета ассоциации сицилийских промышленников»?! Ассоциация отправляет его в США – налаживать контакты с американскими коллегами по бизнесу и банкам. Он возвращается, и н е к т о подвигает его к Маттеи, на пост «советника ЭНИ».

Когда Маттеи поделился со своим штабом идеей о нефтеразведке в Сицилии, его главным сторонником оказался Вито Гауррази. (Информация об этом плане Маттеи была отправлена им за океан той же ночью, когда он расстался со «своим другом, экономическим гением» Италии.) Сработали м е х а н и з м ы: после того как надавил Техас, несколько ведущих демохристианских лидеров неожиданно высказались против проекта Маттеи: «Пусть Сицилия останется сельскохозяйственной житницей страны, не надо рушить уклад».

Маттеи начинает борьбу против демохристиан, против тех, с кем он состоял в одной партии. Вито Гауррази с ним рядом – иначе нельзя, засветится. И случается неожиданное: Маттеи валит демохристиан в Сицилии; к власти приходит левое региональное правительство. Мафия неистовствует. В Риме – паника, но игра сделана, и Маттеи проводит законопроект, разрешающий ЭНИ начать изыскательские работы на территории в полмиллиона гектаров.

Вито Гауррази становится генеральным секретарем «Пятилетнего плана реконструкции Сицилии» – все сделки проходят через него, все капиталовложения под контролем адвоката мафии, а ведь это сотни миллиардов лир!

(Поражение, нанесенное Маттеи правым, мафии в том числе, не опрокинуло стратегов «тайного ордена». Работа против неистового инженера продолжалась, Гауррази не только информировал «боссов» о каждом шаге своего «друга», но и продолжал устраивать

их дела – неважно, кто победил на этом этапе, важно, чтобы продолжался оборот капитала своих людей.)

Именно через Вито Гаурразии начал свою длинную комбинацию Лаки-Лучано. Он предложил адвокату мафии («по совместительству» советнику Маттеи) подействовать на ЭНИ, попробовать повернуть ее к контакту с техасской нефтяной компанией.

– Это трудно,– ответил Гаурразии.– Точнее, невозможно.

– Такой ответ не устраивает меня, Вито.

– Меня он тоже не устраивает, но лучше, если я скажу тебе правду, Лаки, я, а не другой.

– Что можно сделать для того, чтобы образумить Маттеи?

– Порвать его дружбу с арабами, тогда он станет искать союзников.

– Если бы Фарук сидел в Каире,– усмехнулся Лучано,– твоя рекомендация завтра же стала бы реальностью. Видимо, это невозможно на данном этапе, давай смотреть правде в глаза. Что ж, наверное, останется только один путь?

– Я понимаю тебя, но, думаю, скандал будет так громок, что можно больше потерять, чем приобрести. А если мы попробуем свалить его людей в региональном правительстве? Твои друзья смогут нам помочь?

– Н а ш и друзья, Вито,– ответил Лучано.– Наши с тобою друзья, ты ведь говоришь со мною с глазу на глаз, тебя не слышат «единомышленники» из ЭНИ.

Друзья из-за океана помогли свалить правительство, послушное Маттеи, но случилось непредвиденное, так часто бывает в моменты накальных политических ситуаций: вместо з а п л а н и р о в а н н о г о сицилийского премьера в палермский дворец сел Джузеппе Д' Анджело, враг Вито Гаурразии. Он-то и выложил на стол Маттеи факты о «любимом друге» Вито; тот передал мафии план строительства нефтяного завода, и мафия скупила все земли, которые Маттеи с п р о е к т и р о в а л под свой гигант; убытки ЭНИ исчислялись сотнями миллионов лир, а главное – временем, пока-то перекупишь эти земли у хозяев, пока-то выбьешь для этого средства в правительстве, пока-то построишь поселок и привезешь рабочих – проект устареет, следовательно, у м р е т темп, а это – конец.

Маттеи вызвал к себе Вито Гаурразии, беседа продолжалась пять минут. Адвокат мафии вышел из кабинета президента компании простым адвокатом, но не «советником» и «генеральным секретарем».

Вот тогда-то Гаурразии и поехал к Лучано.

– Да,– сказал он,– теперь не просто можно убрать Маттеи, теперь – время, иначе он сломает нас.

– А скандал? – усмехнулся Лучано.– Ведь ты говорил, что скандал будет слишком громким?

Вито Гауррази словно бы не слышал Лучано.

– Мое предложение сводится к следующему, Лаки. Во-первых, можно найти безумца, который пристрелит его: «Маттеи – враг ОАС». Он сыграл существенную роль в победе алжирцев. Я убежден, что у оасовцев есть вполне подготовленные безумцы, фанатики, готовые на все. Пусть Италия обвиняет французов, пусть вешают собак на ОАС, мы – в стороне.

– Хорошее предложение. А «во-вторых»?

– Надо найти придурка из м о л о д ы х левых с Восточного побережья, пусть с ним поработают люди из Техаса, пусть ему объяснят, что Маттеи – эксплуататор, такой-сякой, только мягко стелет, а спать несчастному рабочему все равно жестко. И в-третьих, существуют же специальные службы ЦРУ, в конце концов?

– Ты сошел с ума,– легко откликнулся Лучано.– Болтаешь невесть что. Их специальные службы х о т я т помощи в такого рода бизнесе, они же сами пока еще не умеют, они ч и с т ю л и.

Маттеи убили, устроив авиакатастрофу. Гауррази вновь стал «советником» ЭНИ – всего через несколько недель после торжественных похорон горстки костей, составлявших ранее субстанцию и устремленность Энрико Маттеи.

Все попытки размотать подлинную историю гибели Маттеи оказались безуспешными: свидетелей похищали, шантажировали; тех, кто п р и т р а г и в а л с я к правде, убивали. Лучано, слишком верно служивший заокеанским друзьям, погиб странной смертью – сердечная недостаточность. Он, видимо, перестарался: Дженко Руссо не хотел о т д а в а т ь Сицилию кому бы то ни было, даже техасским друзьям. Лучано сделал свое дело, пора и на свалку. Он преподал урок п о л и т и ч е с к о г о убийства, что ж, спасибо, запомним, пригодится в будущем.

...Пригодилось не где-нибудь, а именно в Техасе, в столице штата – Далласе.

Основываюсь же я, выдвигая такого рода гипотезу, на том факте, что Джек Руби (погибший в тюрьме от загадочной болезни сразу же после того, как он п р и г р о з и л заговорить) привлекался в середине сороковых годов в Чикаго к суду по о б в и н е н и ю в т о р г о в л е н а р к о т и к а м и – вскоре после этого он стал владельцем ночного клуба. За молчание на суде надо уметь платить. Ему уплатили щедро.

ГЛАВА,
в которой рассказывается о том, как мафия принимала участие в заговоре ультра

– Вы лучше подождите или приезжайте попозже,– сказал мистер Джонсон,– когда вернется моя жена. Она сдавала комнату Харви Освальду, она его помнит.

– А вы?

– Я? – Он пожал плечами, оглядывая нас весьма настороженно.– Я тоже помню, только мне нечего вам сказать.

Он закрыл дверь перед моим носом, не дав войти в ту квартиру, где Освальд жил последние недели перед убийством президента Кеннеди.

– Двинем в мемориальный музей президента? – предложил Джим Бу, мой американский спутник, частный детектив ныне, шериф в прошлом.– Мы успеем обернуться.

И мы поехали из Ок-Клиффа, пригорода Далласа, в центр, в дом, расположенный напротив техасского склада школьных учебников, откуда – по официальной версии – прозвучали роковые выстрелы, оборвавшие жизнь Джона Фитцджеральда Кеннеди.

...Я вошел в маленький холл мемориального музея Кеннеди. Несколько человек – видно, туристы – были приглашены в кинозал, и там был во всю стену изображен Даллас, и красные точки показывали движение президентского кортежа, и проецировались на стену фотографии Кеннеди и Жаклин, а потом было показано здание склада школьных учебников, и стали слышны сухие щелчки выстрелов, а потом мы увидели похороны в Вашингтоне и Арлингтонский мемориал, где покоится тело президента США.

В следующем зале музея представлены экспонаты: книги об участии Кеннеди во второй мировой войне, его кресло-качалка – он любил его из-за ранения позвоночника; стенд, посвященный Освальду. Что же представлено на этом стенде? Советские открытки, русские книги, изданные в Москве. Посетителей музея словно бы кто-то подталкивает к мысли, что Освальд был связан с Советским Союзом, посетителям словно бы вдалбливают мысль: «Смотрите, кто стоял за Освальдом, запомните, откуда этот Освальд».

Откуда у Освальда эти книги? Более подробно я уже писал об этом.

Писали и в зарубежной прессе, повторяться нет смысла; напомню лишь, что в течение двух с половиной лет Освальд жил в Советском Союзе, получив отказ властей на предоставление ему советского гражданства.

Если меня спросят, был ли Освальд именно тем, кто убил Кеннеди, факты, которые привела комиссия Уоррена, заставят ответить отрицательно. Был ли он участником заговора? Да, был: некая «фигура прикрытия»,— мало знавший, не понимавший конечной цели всего «предприятия».

...После посещения музея Кеннеди я вернулся в дом госпожи Джонсон, именно в тот дом, куда Освальд пришел после того, как Кеннеди погиб, и откуда он вышел, чтобы погибнуть самому от руки Джека Руби.

— Кто вы? — спросила меня миссис Джонсон, придерживая дверь ногой.

— Это писатель из Советского Союза,— сказал Джим.— А я детектив. Вот мои документы.

— Разговор будет стоить пять долларов,— сказала миссис Джонсон,— и вы обязаны записать свои фамилии в особую книгу: это довольно-таки опасно — говорить об Освальде.

После того как мы расписались в книге, оставив свои адреса, миссис Джонсон показала крошечный закуток, где жил Освальд: кровать и белый шкафчик — это все. Дверь выходит в общую гостиную: телевизор и кресла — жильцы миссис Джонсон проводят здесь досуг.

— Пусть мне не говорят, что Освальд и Руби не знали друг друга,— после долгого молчания сказала миссис Джонсон,— пусть в это верят наивные дурашки. Я не сомневаюсь в этом, и как бы меня ни уговаривали, что это не так,— меня не уговорят: он жил здесь, и я к нему имела время присмотреться. Как бы меня ни уговаривали, меня не уговорят и в другом: я-то была при обыске, я открывала его шкаф, я видела карту Далласа с крестиком в том месте, где был убит Кеннеди. В музее есть все, только отчего-то в музее нет этой карты проезда президента Кеннеди, которая была сделана ФБР загодя, в Вашингтоне еще. Почему? Чтобы «не было заговора»?

— Здесь мы припаркуемся,— сказал Джим Бу,— и пройдем вниз, вот к тому люку, о котором ты мне говорил.

— Не столько я, сколько ваши журналисты, старина.

— О'ка,— ответил он по-техасски, там вместо привычного «о'кей» говорят «о'ка» — еще экономнее, время, черт возьми, деньги!

Мы подошли к люку, на Элм-стрит — напротив склада школьных учебников. Джим откинул ребристую металлическую крышку, кивнул мне:

— Лезь.

И я опустился в люк. Джим закрыл крышку – прямо перед моими глазами была амбразура. Машина президента могла быть в зоне обстрела как сверху, из окна Освальда, так и отсюда, снизу.

– Теперь ты,– попросил я.– Как тебе кажется, можно было стрелять отсюда в президента?

Огромный Джим спрыгнул в люк, выставил в амбразуру какую-то палку, крикнул:

– Отсюда стрелять еще удобнее, чем сверху, Джулиан! А наблюдать – тем более!

Кому было выгодно сделать из Освальда «единственного убийцу» Кеннеди? Ультраправым? Бесспорно. «Ястребы» не могли простить Кеннеди его попыток начать диалог с Советским Союзом, который всегда последовательно и настойчиво выступал за диалог. Но не могли простить этого и ультралевые, считающие, что ядерная война лучше, чем мирное сосуществование. Разве убийство сорокашестилетнего президента не есть повод навсегда посеять в американском народе семена ненависти к русским, если злоумышленник какое-то время жил в СССР? А кто умеет в Штатах убивать, п о д с т а в л я я? Мафия.

...Вернувшись в дом миссис Джонсон после убийства президента, Освальд переоделся. Экономка Ирлин Робертс показывает, что в это время медленно подъехал полицейский автомобиль и на минуту остановился; экономка слышала, как он дал несколько гудков. Она утверждает, что это была машина N 107. Комиссия Уоррена делает вывод: «Полицейские машины N 170 и 107 были проданы в апреле 1963 года, и номера их не были даны другим машинам до февраля 1964 года». Если заговора не было – все сходится, а если заговор был, тогда как?!

В музее Кеннеди я купил книгу бывшего начальника полиции Далласа Джесси Керри, на титуле которой крупно напечатано: «Ограниченное издание для коллекционеров».

В 12.30, когда прогремели роковые выстрелы, после первой паники, охватившей всех, после первых слухов и показаний о том, что «о н и убирали винтовку из окна», в 12.44, то есть через четырнадцать минут, штаб-квартира далласской полиции передает следующее: «Внимание всем полицейским! П о д о з р е в а е м ы й (уже не о н и, а о н) в стрельбе на углу Элм- и Хьюстон-стрит описывается, как неизвестный белый мужчина, около тридцати лет (!), худощавый, рост пять-шесть футов (!), вес сто шестьдесят пять фунтов (!), вооружен винтовкой тридцатого калибра». Кто мог сообщить в течение 14 минут столь точные данные – даже предположительный калибр винтовки?! Кто мог определить вес и рост преступника?! Комиссия Уоррена считает, что эти све-

дения дал полиции свидетель Говард Бреннан, который видел человека в окне склада школьных учебников. Все это прекрасно и вполне вероятно, однако как Бреннан мог дать показания по поводу роста и веса Освальда – поразительные по своей точности,– если он видел его голову, ибо Освальд не «мог стрелять стоя, а лишь с колена», как утверждает сама же комиссия Уоррена? Можно ли дать описание роста и веса человека, если видишь его высоко в окне, да к тому же только лицо?! Как мог Бреннан дать описание роста, веса и цвета волос, если он в тот же день, только чуть позже, не смог опознать Освальда в полицейском участке? Кто же дал информацию, более похожию на данные из полицейского досьеподозреваемого, который уже арестован? Комиссия уклончиво отвечает на этот вопрос: «Информация для первых радиопередач была, о ч е в и д н о (разрядка моя. – *Ю. С.*), от Бреннана». Но это же несерьезно, право слово! Был кто-то другой (другие), который и п е р е д а л (передали) в п о л и ц и ю п р и м е т ы О с в а л ь д а.

Вернемся к тому моменту, когда Освальд ушел из дома миссис Джонсон. Полицейский Типпит находился в районе Ок-Клиффа. Ему было приказано находиться в центре Ок-Клиффа, однако он переместился на тихую 10-ю улицу, ближе к Паттон-авеню. Здесь, как показывает единственная свидетельница преступления Хэлен Маркхэм, она увидела «полицейскую машину, которая медленно подъехала к человеку сзади и остановилась около него. Она видела, как человек подошел к правому окну полицейской машины. Разговаривая, он опирался руками о раму правого окна. Когда полицейский спокойно открыл дверцу автомобиля, медленно вышел и направился к передней части машины, ей показалось, что человек этот сделал шаг назад. Затем он выхватил револьвер». (Дальше начинается обычная для доклада комиссии Уоррена с т р а н н о с т ь: Маркхэм говорила по телефону, что убийца «маленького роста, полный, с густыми волосами». Она потом скрыла факт этого телефонного разговора и еще до того, как ее привели на опознание Освальда, повторила официальную версию – рост преступника 5 футов и 8 дюймов; чтобы не было упреков в повторяемости свидетельских показаний, надо соблюдать известную меру и позволять очевидцам ошибаться на дюйм-другой.) Но сейчас мы подходим к главному: где произошло убийство Типпита? И если убийцей был Освальд, то почему он застрелил Типпита в нескольких сотнях метров от дома Джека Руби? Почему его путь из квартиры миссис Джонсон лежал не куда-нибудь, а именно в направлении дома 500 по Марсалис-стрит, где в квартире 205 жил Джек Руби?

Я нашел эту квартиру. Дом стоит возле бензоколонки, рядом с автострадой; несколько подъездных путей и развилок позволяют водителю сразу же развить максимальную скорость – очень удобное место для бегства.

Квартирка небольшая, есть два выхода.

– Здесь трудно взять преступника,– сказал Джим Бу.– Во всех случаях он имеет преимуще́ство во времени. И обзор из окон абсолютен – можно держать оборону в случае нужды. Хм-хм, Руби, оказывается, был совсем непростым парнем...

Настало время внимательно рассмотреть личность Джека Руби, его привязанности, привычки, склонности. Проанализируем, где и чем он занимался с той минуты, как убили президента, и до той поры, пока сам не застрелил Освальда (в американской печати приводились свидетельства того, что Руби был не одиночка, а участник заговора с целью устранения Освальда).

Несмотря на «пламенную любовь» (показания Руби) к Кеннеди, он не пошел наблюдать его проезд по Далласу и лично приветствовать президента, хотя находился всего в пяти блоках от того места, где Кеннеди был убит, в редакции «Даллас морнинг пост». Узнав об убийстве, он «посерел – настолько он был бледен». Через несколько минут он позвонил Эндрю Армстронгу, своему помощнику по ночному клубу «Карусель», и сказал: «Если что-нибудь случится, мы закроем клуб». Потом позвонил Ньюмену: «Джон, я должен буду покинуть Даллас». Затем Руби уехал: одни считают, что он был в госпитале, ожидая официального подтверждения о гибели президента, другие отрицают это. Вернувшись в «Карусель», этот «страдалец по президенту» позвонил в Чикаго и сказал некоему Алексу Груберу, что, во-первых, он пришлет ему собаку (Какую? Почему? Каким образом посылают собак из Далласа в Чикаго, за пять тысяч километров? Или это символ мафии: «прислать собаку» – значит убить?); интересовался предприятием по мойке автомашин (в связи с чем? «Мойка» на сленге значит «следы»; шифросвязь?), а уже потом говорил о гибели Кеннеди.

Затем странный звонок в газету с просьбой напечатать объявление о том, что клуб будет закрыт до в о с к р е с е н ь я (то есть до того дня, как он убьет Освальда). Затем ночной проезд по городу – где побывал Руби, с кем встречался, до сей поры неизвестно. После этого таинственного проезда по Далласу он появился в полицейском участке. Руби быстро шел между двумя репортерами со значками «Пресса Кеннеди» на лацканах, записывая что-то на ходу на клочке бумаги, – «играл» газетчика. Как эти репортеры познакомились с Руби?

Когда Руби узнал, что Освальд будет показан репортерам, он с м о г спуститься в подвал и залез на стол, чтобы лучше видеть Освальда, начальника полиции Джесси Керри и окружного судью Генри Уэйда. Когда окружной прокурор сказал, что Освальд принадлежал к «Комитету свободной Кубы», Руби громко крикнул: «Нет, к «Комитету за честное отношение к Кубе»!» Он, видимо, хорошо знал, что «Комитет свободной Кубы» – организация контрреволюционеров, в то время как вторая поддерживала революцию кубинских коммунистов. Неплохая осведомленность для аполитичного владельца ночных клубов, «никогда не видавшего Освальда»?! Чуть позже Руби подошел к репортеру Рэссу Найту из радиостанции КЛИФ и шепнул ему: «Спросите, нормален ли Освальд?» После чего он поехал на радиостанцию КЛИФ и внимательно ждал, что ответит окружной прокурор репортеру Найту. Тот ответил, что Освальд вполне вменяем. После этого ответа, как показывают свидетели, Руби «стал очень бледным». Он дождался возвращения репортера Рэсса Найта и передал ему радиоочерк «Героизм», подготовленный радиостанцией, финансируемой ультраправым миллиардером Хантом, направленный против разрядки и мирного сосуществования. (Откуда этот очерк у Руби? Кивок на очевидного мракобеса Ханта? Подсказка следствию: «заговор правых ультра»? У меня нет желания радеть за ультраправого Ханта, но, когда все время кивают в его сторону, создается впечатление, что кто-то п а р т и т у р н о выдвигает на первый план и без того одиозную фигуру.)

В четыре часа утра Руби приехал в редакцию. Радиостанция, пресс-конференция в полиции, встреча с полицейским, визит в газету – напряженная жизнь для вышибалы. Нет? Что делал Руби в газете? Он был в наборном цеху, клял Освальда, а потом начал показывать «твист-борд»– приспособление для физических упражнений. «Все хохотали»,– свидетельствует комиссия Уоррена. Утром Руби позонил по телефону. Он говорил о «п е р е в о д е О с в а л ь д а в о к р у ж н у ю т ю р ь м у». Свидетель Холмарк обратил внимание на то, что Руби ни разу н е у п о м я н у л и м е н и О с в а л ь д а, а употреблял местоимение «он».

В заключение Руби сказал своему неведомому собеседнику: «Я т а м б у д у».

(Этому разговору предшествовало событие крайне важное – выступил шеф полиции Д. Керри. Вот выдержка из его ответов на вопросы журналистов:

«В о п р о с: Вы сказали сегодня днем, что в вашем распоряжении имеются новые данные, завершающие расследование...

О т в е т: Я сказал это сегодня утром...

В о п р о с: Но это не те же данные, на которые вы ссылались раньше?

О т в е т: Нет...

В о п р о с: Не согласитесь ли вы сказать, в чем состояли эти данные?

О т в е т: Нет. Я не хочу их разглашать. Это может нанести ущерб расследованию».)

После разговора с неизвестным по телефону о пресс-конференции шефа полиции Руби исчез. Никто не знает, где он был с четырех и до девяти часов вечера. Он – после ареста – категорически отказался дать сведения об этих пяти часах. В девять он приехал к сестре, поплакал о Кеннеди, потом отправился в «Карусель» и сделал пять междугородных звонков, с в е д е н и я о к о т о р ы х Руби также не дал ни суду, ни полиции. Заехав в ресторан «Паго», Руби выпил прохладительный напиток, отправился домой и лег спать в половине второго. Утром, по его показаниям, он выехал из дома около одиннадцати, но три телевизионных техника станции WVAC У.Ричи, Д.Смит и А.Уокер свидетельствуют под присягой, что видели Руби возле полицейского участка от восьми и до одиннадцати часов утра. В 11.21 Руби, имея в кармане 2000 долларов, пистолет и ничего более, ч у д о м (если не без посторонней помощи) проник в полицейское управление, куда не пускали никого без проверки, и застрелил Освальда.

...Теперь попробуем проанализировать жизнь Джека Руби. В его путаном и темном прошлом мне бы хотелось выделить лишь главный эпизод: его участие в торговле наркотиками вместе с чикагским мафиози Полом Роландом Джонсом. В 1947 году Руби был снова привлечен к ответственности – попытка дать взятку шерифу Далласа Стиву Гатри и н е л е г а л ь н а я т о р г о в л я н а р к о т и к а м и. Торговец наркотиками Пол Джонс, по словам шерифа Стива Гатри, часто говорил о Руби: «Джек станет заведовать замечательным рестораном, который будет служить прикрытием для нелегальных азартных игр». «Бюро по борьбе с наркотиками» в своем сообщении о связи Пола Джонса с Руби указывает, что с 29 октября 1947 года Джек был известен под фамилией Руби, хотя многие лица в Далласе знали его как Рубинштейна. 30 декабря того же года Джек сменил фамилию Рубинштейн на Руби – когда дело касается торговли наркотиками, надо соблюдать постоянную осторожность. Видимо, в этой же связи его ночной клуб «Сингапур» был уже в 1959 году переименован на «Северин клаб».

Как сообщает комиссия Уоррена, «два не вполне заслуживающих доверия лица сообщили, что, для того чтобы открыть в Дал-

ласе азартную игру и ТОРГОВЛЮ НАРКОТИКАМИ, необходимо было получить РАЗРЕШЕНИЕ РУБИ».

(Кто эти люди? Почему они не заслуживают доверия? И наконец, отчего в числе свидетелей нет Пола Джонса? Жив ли он? Если умер – когда, где и при каких обстоятельствах?)

...Руби отказался дать показания о том, где он был накануне убийства – 29 и 30 сентября 1963 года. Его не было в Далласе в эти дни. А Освальд именно в эти дни находился в Мексике, послушно выполняя чью-то волю: пошел в кубинское и советское посольства просить въездные визы, в которых ему конечно же было отказано. (Помните – ведь Освальду было категорически отказано в советском гражданстве?!) Освальда нарочно с в е т и л и, привязывая к Советскому Союзу и Кубе. Для чего? Кому это выгодно? Если настаивать на официальной версии: «Освальд – неуравновешенный одиночка», – тогда это одно дело. А если он – звено заговора? Кому тогда это было выгодно?

Освальд – «одиночка»? Но как же в таком случае дать ответы на следующие вопросы:

а) почему, вернувшись из Мексики в Даллас накануне убийства президента, Освальд начал искать объявление о сдаче комнаты именно на Марсалис-стрит, всего в двух блоках от дома Руби?

б) почему, вернувшись из Мексики, Освальд и Руби начали покупать продукты в одних и тех же магазинах?

в) почему, вернувшись из Мексики, Освальд начал завтракать в том ресторане, который обычно посещал Руби?

г) почему, вернувшись из Мексики, Освальд арендовал новый почтовый ящик в том же отделении связи, где был почтовый ящик Руби?

Количество этих безответных «почему» можно продолжить.

Кто даст ответ?

Заговора не было? А кто же п е р е щ е л к а л всех свидетелей?

...Когда я уезжал из Далласа поздним вечером, то самое окно, из которого стреляли в Кеннеди, было освещено: одно зловещее окно во всем темном здании склада учебников, которое ныне сдается новым хозяевам: «Во временное пользование» – так было написано на дверях дома...

2

Я провел несколько ночей в тех районах испанской столицы, где сейчас собираются люди о с о б о г о толка.

«Просто так» в те районы идти нет смысла, «просто так» эти районы посещают группки наиболее отважных американских туристов, причем сопровождает их обязательно «офицер безопасности», и, кстати говоря, правильно делает.

Чтобы п о с т а р а т ь с я понять происходящее, вам надлежит пару дней не бриться (меня это не трогает – спасительная борода), смешно даже надевать рубашку с галстуком. Желательны заношенные джинсы, бутсы, черный джемпер. Это почти униформа, на вас не обратят внимания з а в с е г д а т а и. При этом конечно же следует исключить выражение интереса, ужаса, скорби, отчаяния, когда вы сядете в углу темного бара на драную циновку, подломите под себя левую ногу, закажете банку пива, достанете пачку сигарет и начнете свою работу – с м о т р е т ь и з а п о м и н а т ь.

Гремит джаз – это включена на максимальную мощность запись. В ходу были «пинг-флойды», «музыка с обратной стороны Луны»: время предметных биттлов кончилось, сейчас слушают музыку странную, э л е к т р и ч е с к у ю – истеризм в ней и некая наивная попытка сбежать от самого себя, отдав чувствования свои в ы с ч и т а н н о й на ЭВМ мелодии. Впрочем, мелодии нет, что и говорить, «нынче физики в почете».

Эту музыку модно бранить. Куда как труднее в ней разобраться. Меня потрясла реклама одной из пластинок такого рода. На прекрасном глянцевом картоне фотомонтаж: вполне респектабельный мужчина (таких обычно заставляют позировать перед камерой с бутылкой «Балантайна» в руке – «истеблишмент») с улыбкой и дружеством пожимает руку человеку, объятому пламенем. Причем этот, горящий, тоже старается улыбаться, но в лице его заметно нечто страшное, пепельное (поразительно это шолоховское: «глаза, присыпанные пеплом»!). Разве это не есть пропаганда безысходности и отчаяния?

...Даже если вы придете в один из этих маленьких баров, что возле университетского городка, засветло, когда еще не включены фонари и угадывается в прекрасном мадридском небе багрянец, в котором чувствуется присутствие голубых снегов Сьерра Гарамы, – все равно в баре полутьма, ни одного окна, никакой вентиляции, слоится тяжелый дым, пол завален окурками.

Вот вошли трое: девушка лет шестнадцати, с нею малыши – лет десять мальчику, девчушке того меньше. Взяли бутылку «коки» на троих, малыши ликуют, пьют дозированно, б л а ж е н н ы м и глотками. Девушка затягивается черным «дукадо». Нога ее выбивает ритм, сначала осторожно, настраивающе, а потом она закрывает глаза, откидывается на подушку – теперь в такт музыке стремитель-

но движутся ее руки, стиснутые в кулачки, а потом малыши начинают плясать, подражая взрослым, бессмысленно, а потому невероятно страшно повторяя в с е движения. Девушка будет сидеть здесь час, три, пять, и дети будут танцевать, потом они станут ловить ртом табачный дым, и лишь когда к их сестре подойдет парень (или мужчина, или двое мужчинн) и протянет ей о к у р о к, и она жадно затянется марихуаной (или героином, или тертым кокаином, или коноплей), и он что-то шепнет ей на ухо, и она, погладив малышей, скажет им, что скоро вернется, и уйдет развинченно, – вот тогда только маленькие перестанут танцевать и сделаются тихими, испуганными, беззащитными. И они прильнут к тебе, когда ты спросишь для них еще одну бутылочку «коки», ту, единственную, они уже выпили, хотя растягивали удовольствие многие часы, и станут отвечать на твои вопросы доверчиво, чисто, но – и это страшнее всего – п о н и м а ю щ е. Они понимали, почему ушла их сестра Эсперанса, они знали, что после трех затяжек б е л ы м люди начинают смеяться беспричинно или очень громко спорить, «такие смешные, просто обхохочешься, глядя на них», а потом они попросят разрешения пощупать ваши руки – сколь вы сильны. Малыши уважают сильных, ибо окружают их люди развинченные, ломкие, усталые, тяжко с о б и р а ю щ и е с я по утрам. Малыши уважают силу, хочу повторить это. Скомпрометировать поколение, целое поколение, разложить его, сделать л и ш н и м, и на этой трагедии возвести идеал силы, когда человек будет казаться верхом совершенства, если не курит марихуану, всего лишь,– таков, видимо, план, разработанный отравителями. Но это – бумеранг, поскольку Система не хочет поклоняться «идеалу такой силы», у Системы уже давно есть свои «идеалы». И в противовес «развинченным» воспитывают холодноглазых ненавистников, подозрительных, отталкивающих все непонятное расистов, полагающихся более на автомат, чем на собеседование. Американская провинция ныне – а она громадна – рекрутирует в ряды «холодноглазых» сотни добровольцев, и это очень тревожно, ибо мещанство угрожает цивилизации вне зависимости от того, на каком языке оно говорит. Впрочем, есть ли язык у мещан? Если рассматривать язык как средство для обмена идеями, то есть новым, он отсутствует; обмениваются п р и в ы ч н ы м, нового страшатся, бегут его, а если не удается избежать – запрещают, шельмуют, издеваются над ним...

(Гитлер «недоброй эпохой» считал эпоху Горького. Маяковского, Брехта, Пикассо, Шолохова, Эйзенштейна, Чаплина, Прокофьева, Жан-Ришара, Блока, братьев Васильевых, Пастернака, Гарсии Лорки, Мейерхольда, Хемингуэя, Томаса Манна, Вахтангова, Чапека...

А ведь этот список великих можно продолжить.

Страшно: недоучившийся мещанин, истерик и кликуша с м о г сжечь книги, ноты и картины всех тех, о ком я вспомнил выше. С ж е г ! И этому аплодировали холодноглазые недоучки с хорошо развитой мускулатурой, в тщательно отутюженных брючках.)

...Девушка вернулась через час – белоглазая, растерзанная. Она как-то странно посмотрела на детей, усмехнулась мне, отвалилась на грязную подушку, и снова ее руки стали конвульсивно сжиматься в такт электромузыке. Малыши, словно щенки, бросились к ней, прижались, словно бы искали защиты, а может, отдавали себя, чтобы защитить сестру.

Позже, часам к десяти, начали приходить парни в майках с портретами ультралеваков.

Те же движения, повторяющие металлоструженый ритм музыки, что и у всех здешних обитателей, то же о т с у т с т в и е во взгляде. Оно продолжается, это отсутствие, долго, невыносимо долго, полчаса, а то и час. Потом, прочувствовав, что ли, посетителей (пожалуй что, именно так – «прочувствовав», ибо и эти, в майках, казалось, не видели никого окрест), типы лезут в карман и кладут перед собою на столик коробки «мальборо», достают оттуда несколько сигарет, одну откладывают в сторону, сразу заметно – самоделка.

И снова – отсутствие во взгляде, о ж и д а н и е.

Словно бабочка на огонек, из темноты бара подсел к моим соседям юноша – связка книг заткнута за пояс, видимо, пришел сюда прямо с лекций.

Мой сосед в майке пододвинул пареньку сигарету с марихуаной – мизинцем. Паренек передал деньги под столом (ага, вот для чего здесь столики укрыты драными скатертями с бахромой!), взял сигарету, исчез в темноте.

И пошло. Один за другим подлетали юноши и девушки, прямо-таки страшно было смотреть на это. Какие-то новые звуки наполнили темноту бара – вздохи, плач, быстрые возгласы.

Вдруг появился мужчина средних лет, в костюме. Соседи сразу же убрали со стола одну пачку «мальборо», две других оставили, начали громко, подчеркнуто громко, говорить о лекции «дона Анхела», о том, что он – явный человек Франко, что его надо вздернуть: камуфляж политикой – так называется этот прием у «жучков от наркотиков», за такого рода разговоры сейчас не б е р у т, зато симпатии посетителей на их стороне: в Испании ненавидят франкизм и Франко. Даже те старики, которые боготворят Франко, вынуждены защищать свою позицию, вздыхая: «Да, он, конечно, ошибался, но тем не менее кто может спорить, что он

был выдающейся личностью? Победить такого сильного противника, как коммунисты, обыкновенный человек не мог бы». Сейчас еще добавляют: «Победить такого мужественного, талантливого противника, как коммунисты». Мол, глядите, как мы объективны, и вам не грех стать такими же, хотя бы по отношению к мертвому уже Франко.

Мужчина, осмотревшись, подошел к столику тех, кто был в майках:

– Я бы купил немного п е п л а.

У соседей по столу глаз натренированный.

– Сеньор хочет купить пепел? Но ведь пепел в Испании пока еще бесплатен. Если же у вас нет сигареты – пожалуйста, мы угостим вас.

(Коли мужчина – полицейский, то парни тем не менее подставились: цена на сигареты в Испании высока, особенно на ввозные, отчего такая щедрость?)

Мне, однако, кажется, что власть имущие сейчас закрывают глаза на о ч е в и д н о е: в Испании, этом бастионе католичества, наркотики ныне расходятся с угрожающим нарастанием. В 1975 году полиция обнаружила всего двести шестьдесят граммов героина, в 76-м – полтораста, а за первые пять месяцев 1977 года полиция арестовала уже семь килограммов дьявольского товара.

А если бы не великолепная работа служебной собаки-ищейки, натренированной на запах героина, испанским полицейским пришлось бы иметь дело с несколькими десятками килограммов. После того как собака обнаружила в римском аэропорту т о в а р, упакованный в чемодан, следовавший из Бангкока в Барселону, было принято решение изъять наркотик; оставили несколько граммов, достаточных для того, чтобы задержать тех, кто возьмет чемодан в Барселоне, – улика для суда. В Барселоне агенты полиции заметили двух высоких парней и «махонького», который неотступно следовал за ними. Парни получили чемодан с т о в а р о м. «Махонький» чуть не прилип к ним, не отставая ни на шаг. Их взяли разом. Выяснилось, что «махонький» из Сингапура должен был стать шефом двух высоченных голландцев,– они бы узнали его по паролю. Пока что он следил за к у р ь е р а м и: сколь надежны, не волокут ли за собой хвост.

Следствие установило, что сингапурец принадлежал к тайному обществу «Триада». Эта организация глобальна. В римской прессе был назван один из ее филиалов – «Во шинг Во»...

Марихуане, ее вторжению в США пытаются противопоставить медицину: ныне за океаном детские психиатры стали самой растущей частью специалистов – потребность в них огромна. Недавно

«Национальный союз встревоженных родителей» сообщил, что самый высокий рост числа беременностей отмечен среди белых девочек м о л о ж е пятнадцатилетнего возраста. «Институт планирования семьи имени Алена Гутмехера» установил, что в Вашингтоне проституцией начинают заниматься с 12–13 лет. В школах крупных городов п о в с е м е с т н о курят марихуану. В результате вандализма ремонт в классах, утверждает Джордж Джонс в журнале «Ю.С. ньюс энд Уорлд рипорт», обходится налогоплательщикам в 600 миллионов долларов. На учителей ежегодно совершается 70 тысяч нападений.

Директор «Детского центра» госпиталя Меклин, штат Массачусетс, Питер Залцман сказал недавно:

– Депрессия – это заболевание, которое психиатрия еще десять лет назад не распознавала в детях. Сейчас она выявляется в качестве симптомов: самоубийства, сверхактивность, ипохондрия, преступность.

То же – среди студенчества. Джордж Джонс приводит слова одного из докторов: «В отличие от самоубийств среди пожилых людей, которые вызваны разочарованием в жизни и приближением смерти, самоубийства среди молодых вызваны желанием не дать жизни р а з в е р н у т ь с я. Это депрессия в ее крайнем выражении».

3

...В Энну я приехал под вечер. «Смотровая площадка Сицилии», так называют этот город, или «сердце острова», или «столица Эрейских гор». В хорошую погоду отсюда видна Этна, а ведь это – возле Катании, за добрые две сотни верст. Город словно бы взбегает по огромной скале; ощущение такое, будто возносишься с ним вместе.

Если походить по невероятно красивым улицам – они так же красивы, как улицы Неаполя или Катании,– поначалу и не поймешь разницы, некоего основополагающего отличия этого города. Но ты обязан настроить себя на Энну, п р е д ч у в с т в о в а т ь ее слабость: я убежден, что лишь ожидание нового может родить чудо; человек, который уныл, никогда не ощутит о т к р о в е н и я, а ведь не обязательно быть Иоанном, чтобы ощутить это; каждый человек наделен д а р о м, надобно только верить в заданность добра. (А может быть, прав Марк Твен: «Нет зрелища более печального, чем молодой пессимист, – если конечно же не считать старого оптимиста»?)

Главное чудо Энны совершенно необычно: в городе т и х о. И архитектура такая же, как в Неаполе, и женщины так же кра-

сивы (самые, впрочем, красивые – в Риме; красоту их определяет форма рта, она совершенно поразительна, и глаза – длинные, миндалевидные, с сумасшедшинкой), и юноши так же стремительны, но при этом пластичны в движениях, все вроде бы то же, но, бог мой, какая же тишина в этом городе, невероятная для Италии тишина!

И словно стражи этой тишины, которая является с л ы ш и м ы м выражением дисциплины, сидят на открытой террасе, возле отеля, откуда открывается вид на Сицилию, старики в черном, неторопливо тянут черно-красное вино, говорят мало, смотрят – при внешней заторможенности – стремительно, как истинные охотники, умеющие бить н а в з б р о с, не целясь.

Мафия – ф е о д а л ь н а по своей сути. Эту ее феодальность определяет несколько даже истеричное поклонение старшему. Наивность рыцарства членов «святого ордена» проявляется и в том, когда режут безвинного человека, веруя на слово: начальник ошибаться не может, на то он и начальник, «лейтенант», а глядишь и «заместитель капо».

Феодальность мафии, искусно консервируемая «верхом» в «низших» подразделениях, предполагает убиение в человеке всякого рода эмоций: «тебе поручено пристрелить, взорвать, похитить – делай. Перед всевышним отвечу я». Здесь, в Энне, не взрывают, не похищают, да и режут-то довольно редко. Все эти аксессуары средневековья перемещаются ныне на север страны, поближе к Милану: там, где теперь промышленность, – там деньги, там есть поле для наживы. Однако необходим камуфляж, нельзя быть вороном среди дятлов, заметят сразу. «Верха» давно пообкатались, вполне добропорядочные люди, похожи на врачей, юристов, бизнесменов средней руки. Как быть с исполнителями? Как переместить их на север, хотя бы на один час, для проведения «операции», но так, чтобы возможные свидетели не определили их сразу же как сицилийцев, и не столько по загару, сколько по угловатости и т и х о с т и в большом городе? Готовить людей загодя, отправляя в атмосферу города, чуждого их духу, воспитанию, идее? Рискованно.

...Мафия в Сицилии нередко связана с церковью. Италию потряс процесс над святыми отцами из францисканского монастыря Маццарино. На скамье подсудимых сидели восьмидесятилетний монах Кармело, тридцатилетний хранитель монастырских ценностей Агриппино и падре Витторио. Страсти в зале суда накалились. Святые отцы кивали на монастырского садовника – во всем, мол, виноват он. Свидетели – число их определялось многими десятками – отвечали заученно:

– Ничего не знаю, ничего не помню, никого не видел.

А знали и видели все; когда крестьяне, мелкие ремесленники, торговцы, начавшие дело на свой страх и риск, без обязательного взноса мафиози, приходили в монастырь за помощью, падре Кармело вздыхал:

– Сын мой, я хочу добра тебе, а потому говорю: плати. Им надо платить. Отдавай им то, что надлежит отдать.

И тридцать тысяч жителей, что совершали паломничество в монастырь, в «духовную столицу» затерянной в сицилийской тишине местности, платили.

Заметьте себе: 30 тысяч жителей!

Когда молодой полицейский следователь решил подкрасться к тайне святых отцов через монастырского садовника и послал тому вызов на допрос, сработала цепь: следователь был повешен в собственном доме.

А полицейский участок обстреляли из автомата: «Не сметь трогать наших !!!»

Церковь в Сицилии помогает «верхам» держать в узде «низы». Отправляя в город для выполнения специального задания молодого мафиози, с ним говорит не только «лейтенант». С ним говорит и падре. Возвращаясь, он беседует не только с «лейтенантом» – он исповедуется святому отцу.

Закон мафии, «обет молчания», подтвержден также клятвою в церкви. А это – неплохая гарантия для «верха»: преступление не будет раскрыто. Даже если рядовые мафиози попадутся, они и в последнем своем слове скажут так, как им предписано: «Ничего не знаю, ничего не помню, я невиновен».

Полиция сбивается с ног, чтобы найти бандитов, растет число преступлений в Италии[1], но редко когда удается доказать ви-

[1] За последние годы современная, нового поколения мафия (и не только по возрасту «боссов», а по социальной структуре, по политическим целям, по методам) резко активизировалась, ведет самое настоящее наступление на демократические силы, пытаясь запугать тех, кто борется с преступниками. Только в 1982 году жертвами мафии в Италии стали более 150 человек, в том числе член Руководства Итальянской компартии, секретарь областной федерации ИКП в Сицилии Пио Ла Торре и префект города Палермо генерал К.А.Далла Кьеза, а в начале 1983 года был убит заместитель прокурора сицилийского города Трапани Джанджаколло Чакко Монтальдо, известный своими левыми взглядами и решительной борьбой против преступного мира. Разветвленная гангстерская организация проникла во все сферы жизни сицилийского общества и пытается распространять свое влияние на другие районы Италии. Мафия действует также в Калабрии и Кампании. Она занимается шантажом, вымогательством, различными финансовыми махинациями, торговлей оружием и наркотиками, установила связи с представителями буржуазных партий. В печати появляются все новые свидетельства альянса итальянских и американских мафиози. Так, в январе 1983 года полиция раскрыла в Палермо сеть торговцев «белой смертью», которые были тесно связаны с американской мафией.

ну задержанных: свидетелей нет; коли появляются – их убирают; арестованные твердят свое: «Меня оклеветали». И все тут. Вот данные роста террористических акций в Италии: в 1972 году, по свидетельству журналиста Гуидо Каппато, было совершено 700 террористических актов, в 73-м – 800, в 74-м – 1000, в 75-м – 1500, в 76-м – 2300, в 77-м – 3100! За последние годы было совершено более 7000 нападений на штаб-квартиры партий, разрешенных конституцией страны.

Мафия? Не только. Неофашисты действуют по рецептам мафии, при консультации мафиози, учитывая их опыт; к проведению наиболее ответственных терактов привлекаются «консультанты» мафии – связь старых фашистов со старым «верхом» проверена временем, а что может быть лучше этой проверки и надежнее? Существуют также консультанты и иного рода. Это люди ЦРУ.

Бывший начальник отдела «замаскированных организаций» генерал Ярборо публично заявил:«"Слепой терроризм" – это тактика, разработанная ЦРУ. Она используется как ключевой элемент различных программ, ставящих целью «дестабилизировать» правительство и убедить население согласиться на создание сильного п о л и ц е й с к о г о государства».

Журналист Гуидо Каппато утверждает, что вербовка ультралевых террористов осуществляется людьми ЦРУ весьма оригинальным способом: проникнув в радикальную студенческую среду, они отлаживают сбыт героина, приручают молодежь, а потом внезапно прекращают поставки смертельного т о в а р а. После этого – за понюшку героина – происходит вербовка: наркоман готов на все, лишь бы получить свою дозу допинга.

– Они поддерживают самый тесный контакт с «калабрийской мафией»,– настаивает Гуидо Каппато. – Осуществляет постоянную «координирующую» связь с американской «коза ностра». От «калабрийской мафии» получают «наводки», «товар», верные явки, отработанные авиапути, «верных» людей в полиции. «Благодарят» мафию не только долларами, тем хватает (хотя и не отказываются от «фанеры»), но и н а в о д к а м и на людей: мафия в Италии переориентировалась на похищения, ныне это – наиболее рентабельный и престижный бизнес.

(Обработанные «верхами», принесшие клятву верности святым отцам в церкви, на север, в район промышленного Милана, были переброшены «семьи» Угоне и Гузарти: одну молодежь решили не отпускать, похищение – дело новое, требует надзора стариков.)

Похищения отлаживал, в частности, посаженный ныне Лид-

жо. Двадцать лет полиция шла за ним по пятам. Он был несколько раз арестован. Последний раз его обвиняли в убийстве «нижнего» мафиози, известного под псевдонимом Джулиано. Стало известно, что Джулиано з а ш а т а л с я, прошел слух, что он «завязывает». А Джулиано был исполнителем: на его счету несколько политических убийств — по заданию «верха» он уничтожал прогрессивных левых ораторов и публицистов, за ним тянулся хвост погромов штаб-квартир левых партий. Если бы Джулиано заговорил — нить могла бы протянуться куда как далеко: не только в Рим, но и за океан. Лиджо у с т р а н и л своего «сынка». Жаль, конечно, но — надо, дело есть дело, превыше всего неписаный закон. Лиджо был арестован и судим. Он был с у р о в о наказан: семнадцать месяцев тюрьмы за ношение оружия, не зарегистрированного в полиции, и оформление сделок по чужому паспорту.

А сколько дел полиция не могла расследовать! И каждое из этих дел особое: террористы использовали динамит, в их распоряжении были гоночные автомобили, их ждали авиабилеты на рейсы, отправлявшиеся из Италии через сорок минут после того, как произошел взрыв, щелкнул выстрел или автобус свалился в пропасть. В тех редких случаях, когда не срабатывала ц е п ь, мафиози защищали лучшие адвокаты Италии, гонорары были баснословны.

Итальянские журналисты Пино Буонджорно и Маурицио де Лука приводят поразительнные данные: десятая часть должностей в полиции вакантна, люди боятся служить власти.

В Турине во время процесса над «краснобригадовцами» из двадцати шести присяжных в суд пришли только четыре человека — остальные убоялись. Суд был отложен на полгода.

Служба безопасности срочно и безуспешно пыталась заполучить 2000 агентов специальной охраны: необходимо (хотя бы формально) обеспечить охрану руководителям конституционных партий, сенаторам и депутатам парламента.

Борьба против с п л а н и р о в а н н о й на многие годы вперед преступности, утверждают люди из «отдела внутренней безопасности», сейчас невозможна: 70 тысяч лир (примерно восемьдесят долларов), которые мы платили информатору Джаннеттини (этот Джаннеттини был одновременно агентом СИД, контрразведки Италии, и одним из руководителей правых ультра; СИД прикрывал его преступления),— говорят полицейские тем политическим деятелям, которые упрекают их в безынициативности,— вызывают смех у осведомителей. Им всем заткнули рот преступные организации, в том числе и политические, которые,

благодаря в ы к у п а м, получаемым за похищения, располагают миллиардами!»

А кто начал бизнес п о х и щ е н и й? Кто отработал этот бизнес, проверил на деле?

Мафия.

4

...Восемь тысяч человек в коричневых гитлеровских униформах – сапоги, галифе, портупея,– «служба безопасности», и восемнадцать тысяч человек, составляющих службу охраны порядка (они с гордостью говорят о себе: «Мы – испанские СС, охранные отряды нашей родной партии "Фуэрса нуэва"»), образовали каре-соты, в которых на громадной площади Ориенте в Мадриде собралось более 250 тысяч человек. Возле трибуны, на которой стоял Блас Пиньяр, фюрер испанского фашизма, толпились, замерев в гитлеровском салюте, представители итальянских неофашистских организаций, прилетевшие на официальное торжество – 20 ноября, день испанского фашизма, день былого триумфа Франко. Рядом с ними – делегация чилийской «Патриа и либертад». (Я помнил их по встречам в Сантьяго во времена Альенде. «Какие мы наци? – воспитанно улыбаясь, говорили они мне.– Мы же носим белые рубашки и выступаем за компетентность,– ничего более». Они надели коричневые куртки в ночь пиночетовского переворота и расстреляли всех тех компетентнейших руководителей демократического эксперимента, которые были известны миру своим антифашизмом.) Замерли в гитлеровском салюте представители германских неонацистских партий, бельгийские фашисты, гитлеровцы из Уругвая, Парагвая, Гватемалы. Тянул руку Альберто Ройуэла, на которого власти объявили розыск,– участник убийства левых активистов, он сейчас был без парика и грима, а вокруг него стеною стояли семь телохранителей из испанского «гитлерюгенд» – «Фуэрса ховен».

Фюрер Пиньяр приветствовал гостей на немецком, французском, итальянском и английском языках.

Прогрохотало по площади:

– Хайль!!! Зиг хайль!

...Это я видел в ноябре 1977 года. Франко уже умер. Однако над площадью высились транспаранты: «Франко презенте!» – «Франко с нами!» Это очень страшно – живой фашизм.

Мне говорили:

– Это несерьезно, пусть себе, в конце концов правила демократической игры предполагают свободу для самовыражения.

Я отвечал:

– Если понятием «демократия» не жонглировать, но относиться к нему серьезно, тогда Пиньяра надо арестовать, а его банду разоружить, они же все носят пистолеты и дубинки.

Мне возражали:

– Демократия предполагает свободу слова и мысли.

Я отвечал:

– Не для того мы отдали двадцать миллионов жизней в борьбе против гитлеризма, чтобы младогитлеровцы маршировали по улицам. Это – глумление над памятью мира. И если вы называете право кричать «хайль» проявлением истинной демократии, то я считаю это предательством, хуже того, пособничеством фашизму.

...СС оберштурмбанфюрер Мигель Эскерра сидит под портретом Гитлера. На лацкане – рыцарский крест, врученный ему Гитлером: «Вы, герой «Голубой дивизии», стали знаменем испанской нации в нашей совместной борьбе против большевизма».

У СС оберштурмбанфюрера вполне интеллигентное лицо, добрые глаза, в высшей мере «милая» манера разговора:

– Я плюю на демократию с рассвета и до заката. Мы, истинные национал-социалисты, солдаты Гитлера, еще вернемся к могуществу, поверьте мне, сеньор. Наши ряды в Европе растут. Даже здесь, в Испании, которой ныне правят предатели, наши люди встали во главе «Фуэрсы нуэвы» и сплотили вокруг нее наших сторонников, а ведь когда начинал Франко, за ним было три корпуса, сотня тысяч, не более того... Как я отношусь к террору? Что ж, террор есть форма политической борьбы – в нынешней схватке коммунизма и национал-социализма смешно отвергать такого рода инструмент... Как бы сейчас ни подвергали гонениям фюрера «воинов короля Христова», моего боевого друга по борьбе против красных Мариано Санчеса Ковису, я убежден, что он еще докажет свое: на силу надо отвечать силой, на удар – ударом. Мне пришлось мыкаться по миру после нашей неудачи в сорок пятом (он так и сказал – «наша неудача в сорок пятом»!). Я был одним из руководителей генштаба «Антикоммунистического легиона зоны Карибского бассейна», но Трухильо оказался дерьмом и трусом, а наши американские финансисты – чистоплюями. Я дрался против красных в составе вооруженных сил Парагвая, Гаити, Чили...

Партайгеноссе Мигель Эскерра выслушивает вопросы в высшей мере внимательно, отвечает со всей искренностью, лицо его освещает кроткая и ясная улыбка:

– Вы спрашиваете о человеческом идеале? Солдат – нет для меня выше идеала. Искусство? Вы имете в виду кино? Нет, я не люблю кино, потому что презираю порнографию, сейчас показывают порнографию или коммунистическую пропаганду. Я, однако, смотрю все фильмы на военную тему. Книги? Нет, я читаю только те книги, которые пахнут порохом. Живопись? Не знаю, не знаю. Герой? Адольф Гитлер. Кого ненавижу? Красных, понятно. Презираю? Евреев. Если мне надо оскорбить врага, я просто называю его евреем.

...Район Мадрида называется «Саламанка». Район фешенебельный, самый, пожалуй, дорогой. Кафе «Калифорния» – штаб-квартира «воинов короля Христова», фюрер которых Ковиса так дружен с оберштурмбанфюрером Мигелем Эскерра. «Воины» – молоды, лет двадцати, ухожены, с ы н к и.

– С кем мы сотрудничаем? С ГБИ, – усмехаются они, – с «гарильерос баррачос инконтроладос», так мы называем простачков из «Фуэрса ховен», – «пьяные неконтролируемые партизаны». Плата? Нет, мы – идейные борцы. Некоторым из ГБИ платят, тысяч тридцать песет за акцию.

– Что такое акция?

Они смотрят на меня с интересом.

– Акция – это когда надо отлупить красных.

Наш разговор прервался: вошел пожилой мужчина. «Воины» поднялись из-за стоек – никто из них не пил виски, все тянули соки. Мужчину они приветствовали достойно, сдержанно, торжествующе:

– Хайль Гитлер!

Они ушли с ним вниз, к туалетам. Вернулись они минут через пять – все, как один, с сигаретками-самокрутками в зубах. Глаза их светились о с о б о, ноздри побелели, сделались тонкими – дурак не поймет, марихуана. Фашистам нужен допинг, без затяжки марихуаны боязно идти на д е л о. Мафия готова к услугам; ей неважно, кто под чьим портретом сидит – Гитлера ли, Муссолини, – важно, чтобы р а с к а ч и в а л о.....

5

В Нью-Йорке, в одном из «старых и ветхих» сорокаэтажных небоскребов, построенных перед началом экономического кризиса, во время «бурных двадцатых», я встречался с директором строительной фирмы.

После беседы мы подошли к двери, и здесь к нам пристроился двухметровый верзила с несмываемой улыбкой и быстрыми маленькими глазами. Он открыл нам дверь лифта, пропустил нас

вперед, нажал кнопочку с буквой «л» – «лобби», то есть «вестибюль», и лифт мягко обвалился с тридцатого этажа.

Я почувствовал себя несколько неудобно, оттого что мой хозяин не представил нас друг другу: верзила улыбался добро и, как мне казалось, неуверенно.

– Это Пол,– словно бы поняв меня, сказал любезный хозяин.– Он работает в несколько экзотической должности. Он – мой телохранитель.

– Хау ду ю ду? – Верзила протянул огромную руку; на мгновение улыбка сошла с его лица и в глазах появилось особое выражение: так игроки рассматривают лошадей на ипподроме.

Верзила пропустил нас, мы вышли из лифта, но каким-то чудом он оказался впереди; улыбка по-прежнему озаряла его лицо, глаза были снова оловянными – глаза человека, который выборочен в своих наблюдениях, которого не интересует красота женщины или уродство мужчины; он натренирован лишь на движение – резкое, падающее, когда выхватывается пистолет и грохочут выстрелы.

В машине, не смущаясь присутствием верзилы, мой хозяин объяснил:

– Раньше я приглашал телохранителя, когда заключал особо выгодную сделку. Мафия наверняка знала об этом и старалась войти со мною в контакт, чтобы обложить данью. Сейчас люди мафии не ждут выгодных контрактов – они расширяют сферы своего влияния «порайонно», у них, мне сдается, есть карты города, словно в полиции; там постепенно закрашиваются целые районы: «охвачено», «приручено», «прижато». Ныне телохранитель потребен ежедневно, ибо между мафиози началась невероятная драка за лидерство, слишком многих они взяли в кулак, слишком велики барыши, а кто ж откажется от барыша: «если не ты – тогда тебя». Между ними идет драка, и это обязывает их организцию вести еще более «планомерную» работу по рэкету и шантажу... Как-то, знаете ли, в газетах появились статьи о том, что две компании решили объявить мне войну. На следующий день ко мне пришел господин, похожий на гинеколога, осведомился о здоровье моей кузины – та действительно тяжело болела в Париже, посетовал на ее лечащего врача – а тот и вправду поставил неверный диагноз,– ничего работает служба информации, а?! – и, заметив мое нетерпение, сказал: «Сэр, меня уполномочили передать, что ликвидация ваших врагов будет стоить пятьдесят тысяч долларов. Деньги перешлете после того, как люди, посмевшие шельмовать вас, окажутся в морге: мы работаем на доверии».

– Это – серьезно?

– У нас не принято вносить несерьезные предложения... Недавно один мой знакомый закончил карьеру бизнесмена, приняв такое предложение.

– То есть?

– То есть он оказался идиотом. Он попал в ситуацию, подобную моей. Но он вдвое моложе меня и поэтому не научился великому искусству проигрывать... Молодые очень боятся терять. А это глупо: всякая потеря неминуемо компенсируется, мир построен на законах компенсации, иначе нельзя, перекувырнемся... Так вот, он принял предложение мафии, его конкурента шлепнули, но, видимо, мафию перекупили люди убитого, и в прессе началась шумиха. Доказать-то, конечно, ничего нельзя, но бросить пятно, причем пятно несмываемое, можно.

– У вас есть деньги, то есть сила в вашем мире. Неужели вы не можете побудить государство придавить мафию?

Он посмотрел на меня с сожалением.

– Во-первых, у мафии денег несравненно больше, чем у меня, хотя я стою не миллион и даже не десять миллионов, а значительно больше. Во-вторых, истинные главари мафии, от которых тянется цепь вниз, к исполнителям, стоят вместе со мною по воскресеньям в церкви, это уважаемые люди, и мы дружны домами. «Босс» Нью-Йорка Деллакроче, в прошлом наемный исполнитель приговоров, сейчас посещает оперу, наглотавшись «родоксона», чтобы не уснуть от скуки, а его двойник в это время объезжает город в окружении трех телохранителей и машины сопровождения с телефоном и рацией – игра в выманивание врагов...

Действительно, в США развернулась кровавая борьба за лидерство в «коза ностре». Звание «босса всех боссов» оспаривали Кармино Галанте, Марчелло и Деллакроче. Куш лакомый – драка кровава. Несколько лет назад двадцать один «босс» с «заместителями» и «советниками» были угроханы – один за другим, и, что называется, «с концами». Завладеть титулом «босса всех боссов» – значит стать одним из самых богатых людей мира.

В печать просочились сведения, что мафия контролирует печатание и распространение порнографии; на нее работали киностудии, производящие порнофильмы. Мафия перекупила кинотеатры, где крутят эти картины. Мафия получила подряды на строительство новых кинотеатров. Мафия закупила типографии, где печатают отрытки и порножурналы. Оборот этого бизнеса равен примерно двум с половиной миллиардам долларов!

Кто, таким образом, втянут в круговерть мафии только в

этом бизнесе? Печатники, продавцы книжных магазинов, режиссеры, шоферы, актеры, журналисты, операторы, кинокритики, инженеры-строители, юристы, банкиры, финансирующие строительство,– а сколько ниточек идет от этих людей к сотням других? Мафия ныне всеми силами старается в л е з т ь в банки, то есть легализироваться, ибо в условиях капиталистического общества банк является самым главным звеном бизнеса: именно здесь получают кредиты – после того, естественно, как будет выяснена престижность, добропорядочность и кредитоспособность человека, обратившегося за ссудой на расширение «производства». Влезть в банк трудно. Приходится искать обходные пути. Их множество. Расскажу об одном лишь способе, весьма, кстати, примитивном: контрразведка мафии находит президента или вице-президента банка, который дружен с одним из посетителей игорных домов. Казино – вотчина мафии. Игрока обкладывают, он просаживается в пух и прах. Мафия выдвигает условие «прощения»– вербовка банковского воротилы.

– Что должен сделать мой друг? – спрашивает банкрот.

– Выполнить вашу просьбу.

– Какую именно?

– Вам проиграет мистер Икс...

– Он никогда не проигрывает...

– Он обязательно проиграет вам. Тридцать или пятьдесят тысяч долларов. Так вот, ваш друг должен дать мистеру Икс банковский заем под проигрыш: ведь карточный долг – это долг чести, не так ли? Он ведь обязан вернуть долг, разве нет?

Мистер Икс послушно проигрывает банкроту (понятное дело, Икс является одним из «лейтенантов» мафии) и обращается к п о д г о т о в л е н н о м у банкиру. Тот дает заем мистеру Икс– пятьдесят тысяч долларов, сущие пустяки, безделица. Но это лишь первый шаг, это начало в т я г и в а н и я. Мистер Икс передает десять тысяч – за услугу – бывшему банкроту. Остальные деньги идут в казну мафии.

Все кончается тем, что банк, раздав займы, начинает взыскивать деньги с истинно проигравших, а игроки, мафия, уже получили чистоган. Потом, когда президент банка становится соучастником, начинаются операции по превращению «бумаг», от есть «активов», сплошь и рядом фальшивых, в ж и в ы е деньги. Под «бумаги» – ручательства, рекомендации, заклады – выплачивают миллионы долларов. А уж эти доллары (полученные легально, из банка, это все можно проверить, это не торговля наркотиками) пускают на приобретение компаний «законного бизнеса».

Сие – лишь один из способов п р о р а с т а н и я.

Взятка – рычаг мафии; это другой способ.

Недавно нью-йорский «Кемикл бэнк» был оштрафован на двести пятьдесят тысяч долларов за то, что утаил от властей денежные сделки на несколько десятков миллионов долларов. Руководство банка представило документы о том, что «Совет наблюдателей» ничего об этом не знал – все было решено на «нижних» этажах; кто-то из клерков получил взятку и провел деньги по счетам, придав, таким образом, законность деньгам мафии. Кто из с о ш е к прокрутил эту операцию, до сих пор не выяснено.

Итак, банк б л а г о с л о в и л – фирма создана.

Однако пробиться новой фирме трудно – конкуренция невероятна. Тогда «босс» отдает приказ «заместителю», тот с п у с к а е т указания «лейтенантам», а уж те отправляют на д е л о гангстеров. В ход идут шантаж, угрозы, убийства – если не получается миром. «Ю. С. ньюс энд Уорлд рипорт» считает, что «по меньшей мере две главные авиакомпании и крупнейшая в стране транспортная фирма п о д д а л и с ь д а в л е н и ю рэкетиров в нью-йорском аэропорту имени Кеннеди и согласились иметь дело с теми поставщиками, которые были одобрены «синдикатом», то есть мафией». Созданная гангстерами фирма, таким образом, получает наибольшее благоприятствование, деньги текут рекою в бронированные золотохранилища «коза ностры».

Журнал «Тайм» утверждает, что, «никто, кроме членов тесно сплоченной группы, не знает, каков действительный размах операций, но, по предположениям органов прокуратуры, валовой доход мафии составляет по меньшей мере 48 миллиардов долларов в год!!! Чистый же доход, не облагаемый налогом, составляет невероятную сумму – 25 миллиардов. Для сравнения: крупнейшая промышленная корпорация США ЭКСОН сообщила, что в 1976 году продала на 51 миллиард продукции, а ее чистый доход составил 2,6 миллиарда долларов».

В корпорации ЭКСОН служат десятки тысяч рабочих, инженеров, шоферов, техников; сотни тысяч работают на эту компанию опосредованно, через дочерние фирмы.

А мафия в Америке состоит не более чем и з п я т и тысяч членов. В Нью-Йорке сейчас р а б о т а е т пять «семей»: членство каждой – от 20 до 1000.

Структуру установил «босс всех боссов» американской мафии Сальваторе Маранцано. Он «воспитал» целую плеяду учеников, он с т а в и л на них, особенно любил Вито Дженовезе и Чарлза Лучано, называл «сынками», выделял среди остальных; чтобы способствовать их росту, принял решение об у с т р а н е-

н и и по крайней мере десяти других мафиози. Когда он поднял их почти до своего уровня, люди Дженовезе и Лучано пристрелили «босса всех боссов». Мотивировка убийства была вполне научной: «Хоть у дона Сальваторе множество заслуг перед мафией, хоть он был добрым, умным и волевым «боссом», но сейчас, в эпоху, которая наступает, после окончания «великого кризиса», он не сможет переориентироваться – стар, а это такой недостаток, который нельзя исправить. Пусть лучше он уйдет, мы продолжим его дело в новых обстоятельствах».

Похороны были устроены королевские, рыдали все, особенно неутешно – «сынки», отправившие своего «крестного отца» на кладбище.

Однако в то время ни Дженовезе, ни Лучано не стали «боссами»,– рано, выдержка прежде всего. На первый план были выведены другие, надо учитывать сложность отношений между двумя кланами «коза ностры» – существовала группа Джузеппе Массериа, и, хотя его убили люди Маранцано в апреле тридцать первого, влияние этой «семьи» было по-прежнему в высшей мере сильным. Произошла передислокация сил: Дженовезе и Лучано взяли под контроль людей покойного Массериа. Но лишь после того, как умерли или были убиты Филипе и Винсенте Монгано, Френк Скализе, только после того, как Лаки-Луано угробили в Неаполе, его «побратим» Вито Дженовезе стал «боссом всех боссов». Он шел к этому п о с т у по трупам многие годы, но умер в тюрьме, п р о с ч и т а в ш и с ь на мелочи, и снова началась свара, и к власти пришел Карло Гамбино, но он умер, успел умереть, точнее говоря, и тогда за место «босса всех боссов» дрался Кармино Галанте, по кличке Маленькая Сигара, бывший «заместитель патрона» из группы Маранцано, а противостоял ему Анджело Деллакроче; им обоим за шестьдесят. Пока что в мафии ставят на Деллакроче: он просидел в тюрьме всего шесть лет, а п р и в л е к а л с я еще тринадцать раз, но каждый раз у х о д и л.

Галанте провел в тюрьме более четверти века, он хорош как третейский судья, з а к о н н и к, но в бизнесе не очень; замашки несовременны, сегодня надо быть джентльменом и учить французский, сегодня надо говорить про НТР и цитировать древнегреческих философов, а этот вытирает ладонью подбородок, после того как натрескается пиццы по-неаполитански.

Однако, как считали наиболее опытные наблюдатели, к власти пришел третий человек; так всегда бывает в борьбе за лидерство. Это Джеймс Торелло из Чикаго. Он – представитель нового поколения мафии, очень тих, улыбчив, незаметен. Телохранителей, которые ходят по пятам, не терпит. Сам водит автомобиль,

но никогда не вставляет ключ в зажигание – только дистанционное устройство: Торелло слишком хорошо знает, как надо устанавливать в автомобилях бомбы, которые взрываются от поворота ключа,– в начале своей карьеры пришлось поработать «исполнителем», иначе веры не будет!

Этот добропорядочный отец семейства каждое воскресенье посещает церковь, много жертвует святым отцам, играет в теннис, очень мало пьет, по утрам сам выжимает себе соки, увлекся бегом – надо быть в форме, надо пережить остальных. Несколько лет назад возникла любопытная ситуация: один из профсоюзных деятелей решил рвать с мафией. Подобрали нового кандидата, из послушных. Со старым надо было кончать, но без лишнего шума и затрат. Торелло, как пишут американские репортеры, выстроил план: профсоюзный лидер получает приглашение провести «уик-энд на берегу океана» с семьями. Пока жены плавают в бассейне, а дети играют в бадминтон, Торелло ведет лидера на свой катер, вывозит в море, там перерезает ему горло, выливает кровь в море – акулы сразу же чувствуют ч е л о в е ч и н к у. После этого труп профсоюзника скармливается акулам. Никаких улик, упал в море, бедный, бедный, ничего, родных мы не оставим, мы не бросаем в несчастье вдов и детей трагично погибших друзей!

...Торелло поворачивает свои «семьи» к захвату предприятий и магазинов п е р в е й ш е й необходимости: считают, что большинство кладбищ, гробовых мастерских, фабрик по производству детских колясок, пеленок и искусственного питания перешло в руки Торелло. «Мы должны быть там, где в нас нуждаются более всего» – таков его новый лозунг. Рождение человека обслуживается мафией; юность тоже – с помощью наркотиков и порнографии; для с т е п е н н ы х – игорные дома и проститутки, а там, глядишь, пора в я щ и к – мафия провожает гражданина США в последний путь. Неплохая схема, а?! Если бы только схема – сама жизнь...

6

...Декабрь шестьдесят девятого года был в Италии теплым, хотя часто дождило, особенно на севере. В Милане тот день был солнечный, чистый, несмотря на то что бюро прогнозов обещало осадки и ветер, возможно, сильный.

Когда в городе з а г р о х о т а л о, многие подумали, что служба прогнозов накаркала шквал. Однако шквала не было. В «Сельскохозяйственном банке», что на площади Фонтана, грохнула бомба. Площадь оцепила полиция: санитарные машины неслись

по улицам, рев их сирен был душераздирающим. Машин не хватало – сто человек было ранено, четырнадцать убито.

В городе был объявлен траур; то здесь, то там собирались митинги. Говорили об одном: «За преступлением – рука неофашистов».

Вечерние газеты, однако, вышли с огромными шапками: «Злодейство левых бандитов». Не было сказано – «ультралевых», подчеркивалось: «левых». Так легче забить в п е н а л ы людских восприятий, так надежнее, без всяких там «ультра».

Вскоре были арестованы анархисты. Своими экстремистскими выходками, безответственными ф р а з а м и анархисты давали конечно же повод к обвинению, хотя на вопрос о взрыве на площади Фонтана – «кому это выгодно?»– можно было ответить сразу: «правым ультра».

Анархистов допрашивали, пытались ловить на мелочах, ставили с и л к и; сулили, упрашивали, угрожали.

Италия относилась к этому делу «двуслойно»: один «слой», официальный, правый, центристский, доказывал через свои органы печати вину «красных»; левые, большинство народа, были убеждены в том, что взрыв в Милане – дело рук фашистских ультра.

То, что пока еще невозможно в Америке, оказалось возможным в Италии: прогрессивная общественность, в первую очередь, понятно, коммунисты и социал-демократы потребовали ответа у правительства:

– Три года следствия, три года шельмования левых под видом исследования фразеологической шелухи анархизма,– хватит, выполняйте законы, вами же писанные.

Группа анархистов была освобождена. Одновременно с этим правительству пришлось пошевелиться: было выдвинуто обвинение банде неофашистов – Джованни Вентуре, Джаннеттини и «Франко» Фреде, по кличке Зиг Хайль.

Схваченные неофашисты молчали о мафии, но немедленно з а к л а д ы в а л и представителей власти; видимо, это входило в их стратегический план – компрометировать правительство, чтобы доказать: наступило время «железной руки», необходим приход «компетентного и бескомпромиссного» кабинета. Как только были предъявлены обвинения правым ультра, неофашисты сразу же п р о д а л и своих коллег из военной разведки:

– Нашим человеком в СИД был генерал Малетти, он несет главную ответственность за случившееся.

Генерал Малетти был немедленно уволен, с него сорвали погоны, лишили возможной пенсии и вызвали в суд.

– Я не несу ответственность за действия неофашистской группы, ибо я лишь выполнял приказ правительства. Мне было приказано не сообщать суду никаких компрометирующих данных о Джаннеттини, одном из основных деятелей неофашистской группировки, поскольку он одновременно был агентом СИД. (Помните Джаннеттини? Осведомителя, получавшего 70 тысяч лир от полиции?)

– Кто дал вам такого рода приказ, генерал?

– Румор, бывший в то время председателем кабинета министров, бывший министр обороны Танасс и бывший министр внутренних дел Тавиани.

Скандал продолжается. Называют имена министров и генералов; руководитель СИД Мичели может в любой момент превратиться из свидетеля в обвиняемого; плохо спит и бывший начальник генерального штаба Хенке; он в свое время выступил против передачи данных о фашистах, являвшихся одновременно агентами правительственной СИД. Однако об одной организации суд не получил никаких данных – о мафии, связанной с неофашистом «Франко» самым тесным образом. Мафия научила людей бояться: с л о в о о ней карается смертью.

Страх вдавлен, в п е ч а т а н в сознание тех, кто связан с мафией. Страх постоянный, неосознанный, параноический, сказал бы я.

...Весной 1962 год за торговлю героином был арестован Джо Валачи, известный в «коза ностре» под кличкой Каго, верный «рядовой» «лейтенанта» Тони Бендера, любимца Дженовезе.

Когда Джо Валачи осудили, полиция отправила его на отсидку в тюрьму Атланты, в ту же самую камеру, где сидел «босс всех боссов» Дженовезе. В тюрьме дону Вито были созданы идеальные условия, пищу готовил повар, знающий вкусы дона Вито, а в банные дни специальный массажист разминал тело «босса», прежде чем передать его в руки парикмахера и педикюрщика. Арестанты, желавшие поговорить с доном Вито, записывались у его окружения на прием, аудиенция продолжалась не более десяти минут, вопрос должен быть подготовленным, никакой лирики, только дело.

Однажды дон Вито походя спросил Джо Валачи, как тот относится к Тони Бендеру, выпущенному на поруки.

– По-моему, Бендер – прекрасный человек,– ответил Джо.

Он не знал, что Бендер был только что убит по приказанию дона Вито: тот решил, что «сынок» утаивает от него свои прибыли.

Дженовезе вздохнул, улыбнулся чему-то и заметил:

– Когда в корзине с нежно-розовыми яблоками появляется одно битое, а еще хуже – с червоточиной, необходимо безжалостно выбросить это яблоко, ты согласен, а?

Джо Валачи посмотрел в ласково улыбающиеся глаза «крестного отца», и ужас родился в нем – «меня подозревают!»

– Если я хоть раз согрешил в чем-то,– сказал Джо,– и у тебя есть доказательства моей вины, дай мне пилюлю, я приму ее у тебя на глазах: я не боюсь смерти, но не перенесу позора.

– О чем ты, сынок? – по-прежнему ласково улыбнулся Дженовезе.– Ты меня, видимо, совершенно неверно понял. Давай я расцелую тебя – в знак моей к тебе веры. У нас с тобой за плечами общая жизнь, разве можно отрекаться от прошлого? От прошлого отрекаются лишь безумцы или те, которые решили п о д р у ж и т ь с я с нелюдями. Но разве ты можешь пойти на такое?

Дон Вито поцеловал Джо в лоб, поцеловал нежным поцелуем старшего брата.

И после этого поцелуя вся «гвардия» Дженовезе стала смотреть на Джо Валачи, как на прокаженного: его открыто подозревали в измене, потому что все знали, сколько за ним убийств, все знали, сколько за ним похищений, но он – в отличие от дона Вито – срок получил маленький, а «боссу» вкатили пятнадцать лет.

Джо Валачи, в е р н ы й мафиози, тяжело переживал это страшное подозрение. Он лишился сна. Перестал есть – боялся яда.

Все кончилось тем, что во время прогулки он схватил кусок металлической трубы и грохнул по голове мелкого жулика Сауппу – ему показалось, что тот крался за ним с ножом.

Джо ждал электрический стул: Сауппа умер, не приходя в сознание.

И тогда-то Джо Валачи и обратился к тюремному начальству с предложением:

– Переведите меня от Дженовезе – я готов на сотрудничество.

Через несколько месяцев в тюрьму Вестчестер был этапирован арестант Джозеф Ди Марко – такой именно псевдоним был присвоен новообращенному агенту ФБР Джо Валачи.

По поручению министра юстиции Роберта Кеннеди с ним работал Джон Флинн, восходящая звезда уголовного сыска.

Джо Валачи рассказывал про себя все. Он ни слова не говорил о «коза ностре». Джон Флинн делал вид, что ему в высшей мере интересны показания Ди Марко. Он угощал его сухой колбасой и мягким овечьим сыром: Ди Марко больше всего на свете любил именно эту еду. Он расслабился, спал в одиночке спокойно, «фараон» больше не казался ему таким отвратительным: «среди них тоже встречаются люди».

Как-то раз Джон Флинн, р а з м я г ч и в арестанта, ударил в лоб:

– Джо, то, что ты мне рассказываешь, известно нам уже много лет. Не считай нас дурачками, Джо. Ты нас интересуешь постольку, поскольку мы верим: ты назовешь нам все имена, откроешь явки и дашь подходы...

– К чему?

– Джо, тебе сохранил жизнь министр юстиции Роберт Кеннеди не для того, чтобы ты рассказывал мне сюжеты детективных фильмов. Тебе сохранили жизнь для того, чтобы ты помог нам разгромить «коза ностру».

– «Коза ностра»... Вы никогда не разгромите «коза ностру», потому что это – второе правительство Америки, сэр. Вы ничего не сможете сделать с Синдикатом. Что вы сделаете с Джо Бонано? Он ведь – формально – руководитель фирмы по торговле недвижимостью. А на самом деле – «босс» Нью-Йорка. Что вы сделаете с Джозефом Профачи? За ним почти весь импорт оливкового масла, вы ведь так любите оливковое масло, помогает от атеросклероза, и все такое прочее. А Профачи – «второй босс» Нью-Йорка. Что вы можете сделать с Карло Гамбино? Он – главный консультант Синдиката, он не з а в я з а н ни в чем, хотя без его совета ничего не делают наши люди. А Томас Лукезе? Он – владелец крупнейших предприятий по пошиву одежды и – одновременно – «босс» Нью-Йорка. А Вито Дженовезе? Он сидит в Атланте, но ведь каждую неделю получает отчет о работе «коза ностры» и дает указания своим людям по важнейшим вопросам с т р а т е г и и Синдиката... Что вы можете сделать с ними, сэр?

– Для того чтобы с д е л а т ь, надо знать, Джо. Ты нам поможешь узнать. Все. До самого конца.

Вся родня отреклась от Джо Валачи, когда из тюрьмы в Атланте пришел с и г н а л от дона Вито Дженовезе. Дети публично прокляли отца, жена потребовала развода, родственники выдвинули версию, что Джо сошел с ума.

Джо Валачи умер в тюрьме от внезапной и странной болезни.

– Так будет с каждым изменником,– говорили среди людей «коза ностры», когда сообщение о его смерти появилось в газетах.– Рано или поздно его настигнет наша всепроникающая кара. Никто не умрет своей смертью, никто, даже в одиночной камере, где стоит цветной телевизор и мягкая кровать.

7

...Возвращаясь к «вражде» мафии и фашизма, стоит привести ряд постулатов, которые словно бы специально сформулированы для практической «деятельности» ордена преступников.

Постулат первый – об отношении к профсоюзам (ч е р е з некоторые из них мафия работает):

«Национал-социалистические профсоюзы отнюдь не должны являться органами классовой борьбы, а только органами профессионального представительства. Национал-социалистическое государство не знает классов.

Дух классовой борьбы свойствен не профсоюзам, как таковым, а свойствен только марксизму, который сумел сделать из профсоюзов орудие своей классовой борьбы».

Постулат второй относится к «воспитательной работе» мафии, к тому, как надо г о т о в и т ь гангстеров, как воспитывать в них ненависть к культуре, слепое поклонение «устному» приказу.

«Широкие массы народа подчиняются прежде всего только силе устного слова. Кто лишен страстности, у кого уста сомкнуты, тот не избран вестником воли. Человеку, который является только писателем, можно сказать: «Сиди за столом со своей чернильницей и занимайся теоретической деятельностью, если только у тебя имеются для этого соответствующие способности. Вождем ты не рожден и не избран».

Постулат третий: об отношении мафии к людям, к «толпе», «быдлу», «стаду», именуемому порой более мягко – «масса»:

«Психика широких масс совершенно не восприимчива к слабому и половинчатому. Душевное восприятие женщин менее доступно аргументу абстрактного разума, чем не поддающимся определению инстинктам, стремлению к дополняющей ее силе. Женщина гораздо охотнее покорится сильному, чем сама станет покорять себе слабого. Да и масса больше любит властелина, чем того, кто у нее что-либо просит. Масса чувствует себя более удовлетворенной таким учением, которое не терпит рядом с собой никакого другого, нежели допущением различных либеральных вольностей. Большею частью масса не знает, что ей делать с либеральными свободами, и даже чувствует себя при этом покинутой».

(Автором этих «постулатов», столь точно прилагаемых к правым вообще и к мафии в частности, был Гитлер. Хороший у них союзник, а? Попробуй найти другого для ведения «героиновой войны» и террора?!)

...В Палермо я не нашел ночлега: цены на отели здесь очень высоки.

– Поезжайте в Чефалу,– посоветовали мне,– это красивый городок, старинный, прямо на берегу, там есть несколько отелей разных категорий.

И я поехал в Чефалу.

Возле бензозаправки остановился, решил подзалить двадцать литров. Вообще-то на Западе заливают пять-десять – бензозаправки на каждом шагу, а бензин дорог, зачем зря тратиться, выветрится еще два-три литра, а это – деньги, и немалые. Я же, приученный к нашим громадным пространствам и сугубо малым количествам бензоколонок, заливался под завязку; люди смотрели на меня, выпучив глаза, особенно когда из бака выплескивался бензин – здесь сцеживают до капли, словно кондитеры, украшающие воскресный торт дорогим кремом.

Задний левый баллон моего «фиатика» чуть подспустил. Я отпер багажник – решил посмотреть, где инструмент. Багажник легко открылся, а я обомлел: ни баллона, ни инструмента не было.

Я сразу вспомнил, как в позапрошлом году возвращался из Испании через Францию и как в Провансе у меня полетел баллон на маленькой дороге местного значения,– приходилось высчитывать каждый франк, конец путешествия, а за проезд по автостраде здесь надо платить, время ценится высоко, выезжая на четырехрядную дорогу, ты можешь развивать скорость до ста семидесяти километров (коли позволяет мощность двигателя), на узеньких же, бесплатных дорогах максимальная скорость – шестьдесят километров. Темень была, хоть глаз выколи. Трещали цикады, как у нас на юге, ветер был соленым, угадывалось близкое море.

На автострадах то и дело торчат телефоны «автосос»: позвони – через полчаса приедет техпомощь. Другое дело – сдерут с тебя за эту помощь три шкуры, но помощь окажут квалифицированную; ничего не попишешь – за комфорт надо платить. Здесь же, в тихой и темной французской провинции, не то что «автососов»– ни огонька не было. Менять баллон в темноте – дело не из легких. Спасибо покойному отцу: он посадил меня за руль в Берлине, в сорок пятом, и был это маленький «опель-кадет», и я тогда впервые испытал ощущение подчиненности скорости, и это прекрасное ощущение, а потом отец и его друг комбриг Лесин учили меня менять баллоны, и заставляли это делать ночью, без света. (Хотя гитлеризм был сломлен, солдаты не могли свыкнуться с солнцем и тишиною – война куда как п р о т я ж е н н е е в памяти, чем мир.)

Я поменял баллон, запасной камеры у меня не было, и поэтому ехал по темной тихой деревенской дороге в Марсель с особой осторожностью, будто босой шел по траве возле строительной площадки, где у нас всегда валяются куски дерева с торчащими гвоздями.

В Марсель я добрался поздно ночью, посмотрел цены на баллон и почесал в затылке: денег явно не хватало.

Утром купил подержанный — за восемьдесят франков.

Сейчас, возле Чефалу, я немедленно просчитал в уме, сколько придется платить за отсутствующий баллон (еще один предметный урок на будущее,— надо ж было осмотреть машину, когда получал ее в Сиракузах!), соотнес приблизительную цену с оставшимися у меня деньгами и почувствовал, как на лбу выступил пот,— могло не хватить. Поглядел на свой походный хурджин, вспомнил про диктофончик — придется, видимо, расстаться.

В Чефалу поэтому я приехал в настроении сугубо подавленном и, как ни заставлял себя настроиться на город, который славился, да и поныне славится, своими «морскими мафиози», ничего путного у меня не получалось: неприятная мысль, особенно о завтрашнем дне, подобно гвоздю в ботинке,— постоянна.

Места в отеле я и здесь не нашел, посоветовали поискать в районе Финале. Я нашел там три гостиницы: одна была на самом берегу, номер стоил 60 тысяч лир; вторая — в ста метрах от моря: стоимость номера — 35 тысяч; в придорожной, правда, без кондиционера, «койку» можно было получить за 20 тысяч, это куда еще ни шло.

Если бы это была моя первая загранпоездка или даже пятая, я бы наверняка остановился во второй гостинице и вынужден был лишить себя ужина и завтрашнего обеда для «выравнивания бюджета», но опыт — великая штука: я знал теперь, что цены здесь «прыгающие», что здесь надо быть жестким в своих условиях, что здесь тебя изначально хотят надуть, ибо хозяина никто не контролирует, своя рука владыка, а туристов — из-за экономического кризиса — все меньше и меньше; поэтому каждому человеку здесь рады и норовят сорвать с него поболее, особенно коли иностранец, и тебе надо проявлять твердость, решительно уходить, заметив, что номер «вери икспенсив», тогда тебя окликнут и начнут говорить, что «овес ноне дорог», но ты не должен поддаваться этому — неумолимость и рассеянность; хозяин в конце концов шепнет, что вы ему очень понравились, и что он благоговеет перед путешественниками, и что он попросит вас за это раздать знакомым визитные карточки его отеля и порекомендовать им останавливаться только здесь.

Словом, я поселился в придорожном отельчике и мог поэтому позволить себе спуститься в «пиццерию» и заказать самую дешевую, но — при этом — самую вкусную еду Италии: «пиццу понеаполитански», очень похожую на наши батумские хачапури, только без яйца, но зато с помидорами.

В «пиццерии» был накрыт только один стол, все остальные пустовали. За этим большим столом сидело пятеро взрослых – двое мужчин и три женщины, да дюжина детей, мал мала меньше, невероятно симпатичных, шумных и смешливых итальянчиков. Дети бегали по «пиццерии», женщины без умолку болтали, успевая при этом стремительно вязать, а мужчины не отрывали глаз от газет.

Тринадцатилетний мальчугашка-официант, заглянув через плечо мужчин, шепнул что-то повару, который выпекал пиццу в большой печи, похожей на волшебную, какие снимал в своих фильмах покойный Александр Роу. Вытерев руки о длинный белый халат, повар снял высокую шапочку, подошел к мужчинам и тоже уткнулся в газету, пока ему не закричали что-то поварята, стоявшие у печки,– горела, судя по всему, моя пицца.

Когда компания ушла из-за стола, газеты остались – тяжело таскать, двадцать страниц как-никак. Я поднялся, посмотрел заголовок: «Сенсация Джузеппе Пери, комиссара полиции». По-итальянски я не читаю, но если знаешь английский, чуть помнишь немецкий, учишь испанский (и совсем, к стыду, позабыл два любимых своих языка: пушту – афганский и фарси – персидский), то понять смысл – в общих конечно же чертах – можно. Речь шла о разоблачении группы мафиози, связанных с фашистами. Я записал фамилию полицейского комиссара в блокнот, съел пиццу и завалился спать: после вкуснотищи по-неаполитански кошмар завтрашней расплаты за доверчивое головотяпство человека, привыкшего полагаться на престиж о р г а н и з а ц и и, полагая ее государственной, то есть в высшей мере ответственной, не был столь острым, как час назад.

(«Авось вывезет»– все-таки это прекрасно, согласитесь...)

Позже, осенью, в Москве уж, я получил материалы, опубликованные итальянским «Эуропео» о комиссаре Пери. Материал этот настолько интересен, что стоит о нем рассказать подробно.

Журналист Роберто Кьоди, раскопавший дотошливого комиссара, утверждает, что связь между «неофашистами, мафиози и гангстерами не вызывает у Пери никакого сомнения».

Сейчас Пери расследует четыре дела – внешне вроде бы разрозненных, но, как он полагает, внутренне связанных воедино.

Среди прочих имен Пери весьма внимательно изучает личность Пьетро Луиджи Конкутелли – мафиози, п е р е д и с л о ц и р о в а н н о г о «боссами» на север Италии. Он был арестован в феврале 1976 года в Риме; в той комнате, где на него набросились агенты полиции, было найдено 11 000 000 лир, переданных

ему мафиози Ренато Валланцаска: выкуп за синьору Трапаньи, похищенную по приказанию штаба. Цепочка потянулась к неофашисту Плачидо Морганте, который – дабы еще более напугать похищенного Луппино – отрезал у него ухо: «если не внесут денег, я изрежу тебя на куски».

Комиссар Пери настаивает на том, что именно Конкутелли застрелил судью Оккорсио и генерального прокурора города Палермо Пьетро Скальоне. Он настаивает на этом, потому что неподалеку от места убийства было обнаружено 30 гильз, калибра 9/38; ровно 60 патронов такого же калибра нашли в машине, которую использовали для похищения банкира Корлео, а в тайной квартире Конкутелли изъяли 339 патронов такого же калибра, инструкцию штаба вооруженных сил о том, как обращаться со взрывчаткою, и два незаполненных удостоверения министерства обороны Италии – с печатями и подписями.

Четыре уголовных дела, которыми занимается комиссар прежде всех других, следующие: убийство судейских чиновников; катастрофа авиалайнера ДС–9 в горах Сицилии на глазах толпы, собравшейся на предвыборный митинг возле Палермо; четыре дерзких похищения; серия бандитских налетов на западном побережье Сицилии.

«Эуропео» подчеркивает: «Это все звенья одной цепи заговоров, цель которых – вызвать беспокойство у общественности, дискредитировать государственные власти и воспользоваться создавшимся хаосом, для того чтобы навязать свою преступную идеологию. Не случайно многие из этих преступлений совершены в преддверии выборов при поддержке определенной части мафии, которая из-за «раскачивания» власти останется лишь в выигрыше».

Комиссар Пери исследовал технику организации похищений, которые проводятся, чтобы финансировать движение фашистских организаций.

Похищения, как и политические убийства, тщательно спланированы; более того, они отрепетированы, причем неоднократно.

Первый этап: сам процес похищения – наиболее рискованная часть операции – поручается мафиози, живущим в том же районе, что и жертва. То есть исполнителей выводят на первый план: «Смотрите, вот они – злодеи, знаем мы этих мерзавцев, больше искать некого!»

Второй этап: если следствие не удастся повернуть в русло очевидного, того, что лежит на поверхности, дабы отвести закон от поисков истинных преступников, от штаба, который планирует и знает, во имя чего он это планирует, тогда наступает по-

ра «расплаты», властям о т д а ю т мелюзгу. Исполнители – мелкие сошки; ими можно расплатиться – на них и выводят полицию. С о ш к и не опасны – они ничего не знают, они ничего не смогут открыть: цепь, связывающая штаб и исполнителя,– многоэтажна и заблокирована связями преступного мира с полицией через информаторов, внедренных в аппарат, но служащих «боссам».

История со взрывом самолета ДС-9 – еще одно свидетельство того, как о т д а ю т сошек. В самолете «Алиталии» находилось 118 пассажиров. Один из них (видимо, исполнитель) опознан не был. Остальные трупы, хоть и разорванные на куски, что я в л я е т с я с л е д с т в и е м в з р ы в а в самолете, были установлены, прилетели родные, получили урны; и лишь одна урна оказалась бесхозной. Тот, кто держал «посылочку» в саквояже, переданном ему на аэродроме, и мысли не имел, что везет он взрывчатку и что механизм замедленного действия сработает в самом конце рейса, когда горы родной Сицилии будут медленно и величаво проплывать под самым крылом самолета...

Пери подчеркивает в своем анализе: «В случае неисправности бортовых приборов у пилота есть несколько секунд на то, чтобы подать сигнал на землю работникам по обеспечению полета и контролю за ним; в этом случае остается запись в «черном ящике»; однако пилот ничго не сообщил – значит, у него и секунды не было: взрыв, глухая тишина и все...»

(Замечу, что до сих пор никем не исследовано и еще одно немаловажное обстоятельство: на борту авиалайнера находился Иньяццо Алькамо, заместитель генерального прокурора в апелляционном суде Палермо. Какие дела находились в его ведении? Сколько людей, связанных с мафией, ждали вызова в его кабинет? Какого уровня были те люди?)

Правые ультра – неофашизм и мафия, объединенные единством выгоды, наносят чувствительные удары ныне; ставки необычайно высоки. Судите сами: застрелен Скальоне, генеральный прокурор Палермо. Расследование этого убийства (первого такого рода по своей наглости) было поручено генеральному прокурору Генуи Франческо Коко.

Прокурора Коко застрелили – двое его охранников также были изрешечены очередями. Это случилось после того, как Коко встретился с судьей Оккорсио в Риме: между ними произошел обмен мнениями, в высшей мере важный.

Следом за Коко настала очередь судьи Оккорсио.

Комиссар Пери заключает: «Штаб-квартира в Риме, к у д а в е л и в с е нити черного заговора, действовала активно, но осталась вне подозрений. Существовала и существует мощная орга-

низация, занимающаяся, в частности, организацией похищений. (За Марьяно было получено 280 000 000 лир; за банкира Перфетти – 2 000 000 000 лир; за промышленника Кампизи – 700 000 000 лир.) Идейных организаторов надо искать в политических кругах, которые находятся вне подозрения. Оружие, снаряжение, военные инструкции, найденные у Конкутелли, со всей ясностью вскрывают главную цель главарей организации, которые не побрезговали воспользоваться могущественной поддержкой сицилийской и калабрийской мафии...»

Все возвращается на круги своя: пакт фашизм – мафия, о невозможности которого так много пишет правая пресса, очевиден. Мы уже говорили, что такого рода пакт лишь внешне был невозможен, когда фашизм взглавлял Муссолини; он на самом-то деле существовал, ибо хоть личность Муссолини и определяла в чем-то систему фашизма, но ведь не глубинно, говоря иначе, не социально, а лишь поверхностно.

Стоит, видимо, тщательно проанализировать сдвиги в экономической структуре: без и вне экономических потрясений фашизм как высшее проявление национализма практически невозможен, ибо невыгоден капиталу. Он становится выгоден лишь в критической ситуации, я бы сказал, в ситуации альтернативной: либо победа левых сил, либо выдвижение правых ультра, которые могут удержать. Разве не так рассчитывали, ставя на Гитлера, всякого рода Тиссены и Круппы в трудную годину экономического кризиса и подъема прогрессивного движения в Европе?!

Вернемся к трагедии в Далласе, к истории гибели Джона Фитцджеральда Кеннеди. Поскольку преступление это многоступенчато, нам следует вспомнить, что Лучано, «король наркотиков» и «босс боссов» американской мафии, несколько месяцев провел в Гаване, используя столицу диктатора Батисты как перевалочный центр героина: Средиземноморье – США. Вспомним, как мафия влезает в банки, как она легализируется, проникая во все поры системы: следовательно, мафия тащила за собою интересы вполне благопристойных капиталистов и банкиров, порой не знавших просто-напросто, что их банк давно уже сориентирован на вложения в преступный бизнес.

И вот на Кубе победил народ, победила революция. Ее победа означала поражение американских ультраправых и их ставленников, она поставила под угрозу судьбу присутствия на всем континенте и влияние США в регионе. Победа Кастро – удар и по счетам! А на все это реагируют однозначно – в атаку! Те, кто планировал высадку кубинских контрреволюционеров в

бухте Кочинос, были так или иначе связаны с финансовыми группами, которые имели денежный, то есть реальный, интерес в возвращении Гаваны[1]. А за такое стоят насмерть: история империалистических войн иллюстрирует это положение со всей очевидностью. Но раньше мафия не влезала так глубоко в поры законного бизнеса.

Теперь мафия стала гигантской «с ц е п л е н н о с т ь ю ф и н а н с о в ы х и н т е р е с о в». Страшная цепочка: секретные плантации наркотиков; курьеры, провозящие в чемоданах с двойным дном т о в а р; бизнесмены, именуемые «распространителями»; законные миллионеры мафии, вкладывающие «героиновые деньги» в банки; президенты строительных фирм, строящие на эти деньги игорные дома в Лас Вегас, заводы по производству искусственного молока для младенцев (миллиарды долларов прибыли, женщина должна хранить фигуру, «кормление грудью — вандализм прошлого века»!); председатели наблюдательных советов кинобизнеса (порнофильмы); директора крупнейших авиационных компаний (мафия нуждается в своих людях на транспорте).

И т а к д а л е е.

(А сколько представителей системы являются членами наблюдательных советов всех этих концернов, банков, компаний?! «Свобода, понял, свобода»— так поется в одной озорной песне: не в бровь, а в глаз, нет?)

Когда провалилась высадка контрреволюционеров в бухте Кочинос, надо было думать о будущем. Кубинская революция доказала свою жизнестойкость: народ был готов сражаться за социализм с оружием в руках, «родина или смерть» не столько лозунг, сколько констатация факта.

---

[1]Кубинская революция запретила в первых же своих декретах наркоманию, проституцию и азартные игры.Социалистическое государство Куба внесло весомый вклад в борьбу с международными центрами преступного бизнеса. Вот один из примеров. Поздней осенью 1982 года кубинские морские пограничники, патрулировавшие у берегов провинции Пинар-дель-Рио, задержали в своих территориальных водах американскую яхту. На ее борту оказался груз наркотиков. За несколько дней до этого яхта снялась с якоря в одном из портов Колумбии и шла в американский штат Флорида, давно уже ставший опорной базой торговцев «белой смертью». Контрабандисты, пересекавшие Карибское море, арестованы на Кубе не впервые. Начиная с 1970 года за нелегальный провоз наркотиков задержаны 36 судов и 21 самолет. Из общей численности «трудившихся» на их борту экипажей в 230 человек 77 — граждане США. Флоридская мафия занимается переброской наркотиков из Южной Америки в США. Она превратила доставку «зелья» в крупнейшую отрасль экономики своего штата с ежегодным оборотом в двенадцать миллиардов долларов.

Сейчас пока невозможно сказать, кто именно выдвинул идею убить президента. Того президента, который не смог вернуть Гавану ее прежним владельцам. Того президента, который первым за океаном повернул к реальнсти в оценке новой структуры мира. Это, именно это, дало ему популярность. И разные ультра были заинтересованы в том, чтобы убрать Кеннеди. А ведь они ныне п р о р о с л и вместе с мафией в С и с т е м у.

Убив Кеннеди, можно было – по замыслу политических стратегов – повернуть американцев к вечной ненависти против русских и кубинцев – «русский» Освальд руководил «кастровским» комитетом.

Стоило Роберту Кеннеди – накануне выборов – повторить, что он в случае избрания на пост президента потребует санкций против мафии, как появился полубезумный Сирхан Сирхан и прогрохотали выстрелы в ресторане отеля «Амбассадор».

...Утром того трагического дня я был в Лос-Анджелесе, в штаб-квартире «Бобби», и говорил с Пьером Сэленджером, бывшим «шефом печати» Джона Кеннеди, который тогда руководил кампанией по выборам Роберта.

В огромном здании творилось нечто совершенно невообразимое: шум, крики, смех, бесконечные телефонные звонки; девочки раздавали пластинки с песнями, сочиненными в честь будущей победы «Бобби»; молодой негр подарил мне целлулоидную шляпу с портретами Кеннеди: «Бобби вил вин!» – «Бобби победит!» – было выведено под портретами Роберта.

Сэленджер смотрел на это веселое безумие с усталой улыбкой: спать во время турне Роберта приходилось по три часа, да и то в кресле самолета, неловко согнувшись.

– Кеннеди победит? – спросил я.– Вы убеждены в этом?

– На шестьдесят процентов,– ответил Пьер.

– Почему не на восемьдесят?

– Ну, такое в Америке невозможно.

В тот же вечер я вернулся в Нью-Йорк и был приглашен Кронкайтом, телеобозревателем Си-би-эс, на его программу: старый ас журналистики давал свой синхронный анализ в е р о я т и й президентских «праймериз». Он, наблюдая за телерепортажем с «праймериз» в Лос-Анджелесе (а соперник опережал Кеннеди на несколько пунктов), сказал:

– Ерунда. Бобби победит. Он войдет в Белый дом, он о б р е ч е н на это.

Мы расстались с Кронкайтом в двенадцать: он обрушился в кресло, и девушка начала снимать с него грим. В американском

телевидении все настоящее – телефон звонит по правде, а не трещит будильник за кулисой в руках у ассистента; работают ЭВМ, а не зажигаются цифры, подготовленные декораторами; вот только ведущий н е п р а в д и в о загримирован.

– Американцы не любят старых, некрасивых мужчин,– объяснил Кронкайт.– Ведущий обязан быть э т а л о н н ы м, ничего не поделаешь.

Мы попрощались и разъехались: он домой, я – в гости к приятелю.

В пять часов утра к нам позвонил Дмитрий Темкин, наш старый друг. (Помните песню «Грин хилз»? Музыку к фильму «Сто мужчин и одна девушка»?)

– Только что убит Кеннеди.

Приятель сел к машинке, я поехал на Си-би-эс.

Кронкрайт уже был здесь. Его трясло. Он сел на свое место – незагримированный, седой, с мешками под глазами.

– Когда же кончится этот ужас? – спросил он Америку.– Когда? Неужели мы никогда не научимся ценить и беречь Человека?

Я вышел на улицу в семь часов. Люди шли сосредоточенно, обменивались улыбками, останавливались возле витрин, толпились около табачных киосков – словно бы ничего не произошло этой ночью, словно бы не погиб тот, кому они так аплодировали пять часов назад.

Господи, подумал тогда я, неужели новые скорости сделали мир таким равнодушным? Или же система г о н к и за миражем удачи делает всех черствыми друг к другу, взращивает эгоцентризм, какого еще не знало человечество? Или же здесь, среди грохота и гомона, категория с л у ч а й н о г о сделалась некой закономерностью повседневности?

Жестокое было то утро в Нью-Йорке, жестокое, до самой горькой безнадежности жестокое.

Я вспомнил тогда ресторанчик ВТО на Пушкинской, ноябрь, потоки дождя на стеклах, веселое наше застолье и тишину, мертвую тишину, которая настала, когда кто-то, войдя с улицы, сказал тихо:

– Товарищи, убили Кеннеди.

Разошлись все вскорости, никто не пил. Оплакивали не президента США, нет, оплакивали отца двух малышей, Жаклин, которая стала вдовой, оплакивали человеческое горе...

Я не унижу себя утверждением, что-де, мол, «русские добрее американцев»; нет, просто наши основополагающие идеи добрей.

И никто меня не упрекнет за эти слова в пропаганде исклю-

чительности, ибо я сказал то, во что верю, то есть правду...

...А в Массине, где я должен был сдать «фиатик», все обошлось. Приемщик даже не заглянул в багажник. Я, однако, сказал ему:

– Обидно, что вы не даете инструмент.

Приемщик ответил по-итальянски:

– Но парле инглезе.

Нет так нет, еще лучше.

Сосед по купе объяснил мне:

– Живи сам и давай жить другим. Если все машины, сдающиеся в аренду, будут оснащены запасными баллонами и набором инструментов, то что же делать фирме «автосос»? Объявить себя банкротом? Или нанять мафиози, чтобы вынудить компанию по аренде предлагать машины с дефектом?

Сосед достал из чемоданчика маленький приемник, выдвинул антенну, нашел радио Палермо. Передавали музыку – нежную, г у с т у ю, солнце и тепло, томление и ожидание было в ней.

– Каприччиозо по-сицилийски,– сказал сосед,– мелодия безмятежного утра. Вам нравится?

Назавтра я прилетел в Москву. И хотя багаж разгружали куда как дольше, чем в Риме, и отсутствовали тележки, и надо было на себе тащить чемодан, пишущую машинку, хурджин и ящик с книгами, и таксист не подкатывал к тебе, а неторопливо и оценивающе спрашивал, не нужно ли мне ехать на вокзалы, я испытал блаженное, огромное, несколько расслабленное ощущение счастья.

Нужно ли объяснять – почему? Особенно после «путешествия по мафии»?

Думаю, объяснения не потребны.

...Я никак не мог предположить, что спустя два года мне придется столкнуться с деятельностью одного из подразделений мафии, с теми, кто торгует и укрывает похищенные произведения мировой культуры,– лицом к лицу.

ГЛАВА,
в которой рассказывается о знакомстве с Георгом Штайном из Штелле, достойным гражданином ФРГ

...Я понял, что это не просто журналистский п о и с к, когда Карл Вольф – высший генерал СС, обергруппенфюрер и начальник личного штаба Гиммлера – долго не спускал с меня своих прозрачных, чуть ли не белых глаз, а потом быстрая улыбка тронула его сухой рот:

– Нет, нет, господин Семенов, я не любил рейхсминистра Розенберга и старался не иметь никаких дел – ни с ним, ни с его окружением... Я не очень-то верю, что он осуществлял реквизиции в музеях России, мне сдается, что это – пропаганда победителей. Отто Скорцени прав был, когда говорил мне о той тотальной лжи, которая распространяется о так называемых нацистских зверствах... Ничего, правда восторжествует рано или поздно... Ну, а теперь давайте перейдем к ответам на ваши конкретные вопросы: я не боюсь правды, наоборот, я ее жажду.

...Второй раз я понял, что поиск культурных ценностей, похищенных в наших музеях, архивах, библиотеках, не простое дело, когда человек, который передал мне документы о п р о д о л ж а ю щ е м с я и поныне «культурном бизнесе», курируемом мафией, лег в клинику на обследование и попросил меня связаться с ним через пять дней, и я позвонил к нему, а мне ответили:

– Он умер, да, умер, кто бы мог подумать, такая жалость, совершенно неожиданный инфаркт миокарда...

Ничего этого я, понятно, представить себе не мог, когда Иван Семенович, один из советников нашего посольства в Бонне, после моего приезда,– надо было открыть корреспондентский пункт «Литературной газеты»– предложил:

– Слушай, сегодня возвращается на Родину заведующий бюро ТАСС Александр Урбан, товарищи собрались проводить его, едем с нами, а?

И мы поехали, и было это за два года до того, как меня взяли в кольцо молодые полицейские на улицах ночного Бонна, и было у Александра Урбана весело и дружески, и он, протянув мне текст, отпечатанный на телетайпе, сказал:

– Прочти, старик, может, пригодится на будущее...

В его корреспонденции («тассовка», говорим мы) было написано: «Об исчезнувшей Янтарной комнате и ее поисках написаны тома, однако последняя глава, видимо, еще не закончена. Розыски этого всемирно известного сокровища продолжаются. Все

больше фактов свидетельствуют о том, что Янтарная комната находится на территории ФРГ. Еженедельник «Цайт» недавно опубликовал большую статью, в которой рассказывалось об ограблении нацистами оккупированных территорий СССР и других стран в годы второй мировой войны. Там сообщалось о Янтарной комнате, ее поисках и о благородной деятельности гражданина ФРГ Георга Штайна из Штелле, что под Гамбургом, который вот уже двенадцать лет занимается розыском сокровищ, украденных гитлеровскими фашистами. Много лет подряд он упорно ищет следы Янтарной комнаты.

– Анализ документов СС,– рассказал Г.Штайн,– свидетельствует, что Янтарная комната, вероятнее всего, была запрятана гитлеровцами в соляных шахтах».

Решение ехать в Штелле к Георгу Штайну пришло, понятное дело, немедленно, однако поначалу надобно было купить машину и снять дом для корпункта «ЛГ». Купить машину – дело простое, занимающее от силы день-два. Фирма сама оформит документы, получит тебе номер, зарегистрирует машину, сообщит нужные данные в полицию и бургомистрат, застрахует,– время здесь имеет товарную ценность, им надобно дорожить. А вот снять квартиру куда как сложно, особенно в Бонне и его окрестностях: город маленький, а жителей, особенно из-за границы,– множество. Цены на пристойные квартиры очень высоки.

...Словом, купив «форд», переговорив с несколькими посредническими фирмами по поводу квартиры-бюро для «ЛГ», обсудив возможности аренды коттеджа с Иоахимом Енеке, одним из наиболее крупных агентов по аренде жилья, я решил отправиться в Гамбург.

...Сначала снег был мелким, сыпучим, нормальным январским снегом, но потом с Северного моря потянуло теплом и хлопья снега сделались громадными, будто в конце ноября у нас на Красной Пахре. Прекрасная дорога на Гамбург перестала быть прекрасной, все машины сбавили скорость; начали то и дело вспыхивать моргающие красные тормозные огни – авария. А потом скорость, не ограниченная в ФРГ, упала со 160 до 70 километров, и колонна машин показалась мне неким змееподобным, страшным существом, связанным незримыми нитями.

Я понял, что к Штайну мне попасть трудно, тем более не зная толком дороги; кое-как выбрался из это давящего, безмолвного, цельнотянутого потока машин, свернул на шоссе местного значения, остановился возле маленького кафе, зашел, спросил чашку чая, поинтересовался у хозяина, как лучше добраться до Штелле. Тот долго думал, потом крикнул жене на кухню:

– Ты не помнишь, к Штелле надо сворачивать возле пятого светофора или около седьмого?

Та ответила:

– Там объезд. Надо свернуть во второй переулок, проехать двести пятьдесят метров, потом свернуть еще раз налево, до первого светофора, затем уже направо...

– Вы только скажите, в каком направлении ехать, я сам доберусь...

Хозяин не понял:

– То есть как это – «в каком направлении»? Я должен объяснить вам не направление, а точный путь, мой господин; на «направлении» вы сожжете бензина на пять марок, не меньше... Нет, во всем должен быть порядок. («Орднунг мус зайн»– самое распространенное выражение у немцев среднего и старшего поколения.) Итак, вы едете до второго перекрестка, сворачиваете, далее проезжаете двести пятьдесят метров, еще раз крутите налево... Одну минуту, простите... Габи, а сколько метров надо проехать после второго поворота?

– Не более ста пятидесяти,– ответила с кухни невидимая мне Габи.

– Так вот, проедете сто пятьдесят метров; на углу увидите лавку герра Шнитце, скобяные изделия, поделки из бронзы, маски из гуми; затем останавливаетесь у светофора, не вздумайте выезжать на красный, полагая, что в деревне нет полиции,– а на самом деле они подлавливают нарушителей, как охотники коз... Затем проезжаете еще четыре светофора и лишь потом поворачиваете налево...

– Там тоже объезд,– сказала с кухни Габи.– Надо ехать по указателям, их всего четыре.

– Понятно, да? – спросил хозяин.– Ориентируясь на указатели, вы выедете к кирхе, а это уже Штелле. Кого вы там ищете?

– Господина Георга Штайна...

– Хм... Слышишь, Габи?

– Слышу,– сухо ответили с кухни.

– Это тот самый Штайн, который вывозит за границу наши ценности? – спросил хозяин.– Простите, а вы – подданный нашей республики?

– Нет.

– Газетчик?

– Да.

– Ага... Ну что ж, у нас свобода печати... От кирхи вы повернете направо, мимо большого сарая, и улица налево будет той, которую вы ищете.

«Мело, мело по всей земле, во все пределы...»

Лучше, чем у Пастернака, не скажешь. Только у него еще горела свеча, и было двое, рядом, вместе, близко, было «скрещенья рук, скрещенья ног, судьбы скрещенья», а у меня был руль в руках, свет фар, одиночество, и тихая снежная лавина, опускавшаяся с неба, как в плохом кино конца тридцатых годов, и враз изменившееся лицо гостеприимного хозяина, услыхавшего о Штайне, а ведь поначалу он так заботливо объяснял мне дорогу...

(Первые недели я мучился с этим «первым светофором, вторым, пятым светофором», я ж привык к исчерпывающему взмаху руки: «Езжай прямо, не ошибешься!» Как-то в Краснодарском крае, помню, ночью, остановил на дороге двух парней – никаких указателей, понятно, не было и в помине. Спросил, как проехать на Гривенскую. Парни удивились: «Да кто же не знает, как проехать в тую станицу?! Мимо дома Карпухи, которая пироги печет и самогоном угощает, у ней кровель новый, потом через реку и напрямую!» Нельзя терпеть, когда попусту жгут десятки тонн бензина в поисках села, городка, улицы! Ни одного указателя вы у нас не увидите, свернув с главной трассы! Ни одного!)

...В Машене, маленьком ганзейском городке, я остановился на ночлег в уютном отеле,– светофоры, мои ориентиры для поворотов, не работали, все занесло снегом; на улицах не было ни души; машины, словно замерзшие звери, приткнулись вдоль тротуаров; ни тебе грохочущих расчищающих тракторов, ни скребков дворников – огромная, шуршащая тишина... Поздно ночью прогрохотали два танка – видимо, власти подключают к борьбе с заносами бундесвер, иначе трагедия – дороги парализует, а здесь, в ФРГ, не рельсы решают проблему снабжения магазинов и ритм работы предприятий, но именно безукоризненные дороги.

...Утром я проснулся затемно еще, подошел к окну и обомлел – все исчезло в торжественном, медленном, нереальном снегопаде; улица – по слабым огням фонарей – лишь просчитывала желтым пунктиром во мгле, которая, однако, делалась все более и более серой, низкой, давящей, и в этой хляби можно было уж разглядеть огромные снежные бугры – машины засыпало за ночь так, что их можно было принять за горки для дошколят.

(Я так и подумал тогда – «дошколят», и стало вдруг мне горько оттого, что никто и никогда не сможет здесь точно перевести слово «дошколенок», со всей заложенной в нем нежностью – как личностной, так и государственной. Чем больше люди пытаются упростить язык – в целях ли экономии времени, быстрейшего ли обмена идеями в век НТР,– тем язык делается сложнее и с т р а ш н е е, сказал бы я. Например, англичане сконструировали некий «бэйсик

инглиш», то есть язык, состоящий всего из 800 – 1000 слов, зная которые, можно свободно разговаривать и читать газеты и журналы. Но на этом новом «базисном» нельзя сказать: «курица высидела яйцо»; для того чтобы передать эту простейшую информацию на «базисном» языке, фраза должна быть построена следующим образом: «Домашняя птица женского рода обязана потратить определенное время для того, чтобы на свет появился птенец».)

2

...Я позвонил к Штайну из Машена, он еще раз просчитал количество светофоров и расстояние от одного до другого, подтвердив таким образом правильность ориентиров, данных мне накануне незримой Габи и ее мужем, сказал, что ждет меня и готов к разговору – самому подробному.

Десять километров до Георга Штайна я одолевал чуть ли не час. Все радиостанции ФРГ полны сенсационными сообщениями об авариях на дорогах, заносах, трагедиях в горах – такого снегопада не было чуть ли не полвека... Под аккомпанемент этой хорошо поданной радиотревоги я добрался до Штайна. Типичная двухэтажная крестьянская постройка, яблоневый сад в снегу, большой, красного кирпича сарай, и сам хозяин на пороге: в гольфах и толстых носках, на ногах – тяжелые бутсы; лицо изранено, улыбка – открыта и неожиданна, рукопожатие крепкое, дружеское...

Фрау Штайн зовут Элизабет, она басиста и громкоголоса, сразу же пригласила к кофе.

– Хорошо, что вы приехали в такой снегопад, полиции не с руки ехать за вами следом,– улыбнулась она, и эта веселая открытость сделала знакомство с семьей легким и надежным: самые счастливые люди на земле – люди без комплексов; они живут уверенно и надежно в самой, казалось бы, трудной ситуации.

– Итак, начнем с того, что мне уже удалось сделать,– продолжил Штайн.– Как и во всяком поиске, элемент случайности невероятно высок. Тем не менее я пытаюсь прежде всего уповать на порядок, а порядок будет лишь в том случае, если я получу максимум информации о третьем рейхе, о тайных «депо» для складирования ценностей, о грабежах оккупированных территорий. Двенадцать лет работы в архивах увенчались удачей: нам с Элизабет удалось установить место хранения ценностей, принадлежавших Псково-Печорскому монастырю. При поддержке графини Дёнхоф, владелицы еженедельника «Цайт», и ряда членов бундестага эти ценности были возвращены законному владельцу, сумма до-

статочно велика, сотни тысяч марок, если не больше. Я был удостоен ордена русской православной церкви, чем весьма – как человек верующий – горжусь. Затем мне удалось установить местонахождение похищенных нацистами материалов из Смоленского областного архива, за что мне были вручены золотые часы от Института марксизма-ленинизма, чем я также высоко горд.

– А с чего все началось? – спросил я.

– Мне трудно ответить однозначно...

– Все началось с того, как нацисты расстреляли сестру и отца Георга,– сказала фрау Штайн.

– А может быть, отсчет пошел с того дня, когда я оказался на фронте,– задумчиво отозвался Георг Штайн,– и воочию увидел, что такое война, кровь, ужас, безысходность.

Он решительно поднимается со стула, движения у него моложавые, крепкие; выходит в соседнюю комнату, манит меня за собою.

– Вот,– говорит он, обводя руками стенные шкафы,– здесь собрано более пятидесяти тысяч микрофильмированных документов о гитлеровцах и о русских сокровищах, вывезенных ими в рейх. У меня нет автомобиля, но у меня есть уникальный аппарат, который дает мне возможность читать самые испорченные документы, а ведь опыт работы с архивами привил мне мой покойный отец, поскольку он был одним из руководителей торгово-промышленной палаты Кенигсберга... А моя сестра работала с Янтарной комнатой, когда та была доставлена в Кенигсберг...

...Мы допили кофе, Штайн зажег свет, отчего снегопад сделался совершенно нереальным, театрализованным; в комнате стало темнеть, хотя день только-только начался.

– Итак, вернемся к самому началу,– сказал Штайн.– А началом все-таки следует считать тот день, когда я вернулся на пепелище и оказался совсем один на белом свете: отец – расстрелян, сестра, двадцати одного года,– расстреляна... Они были связаны с участниками антигитлеровского заговора графа Штауффенберга, неоднократно встречались с членом оппозиции Гёрдлером, обсуждали с офицерами-заговорщиками приказы министра восточных оккупированных территорий Альфреда Розенберга о вывозе русских ценностей в рейх... Меня от расстрела спасло лишь то, что я был на фронте,– гестапо уничтожало всех членов семей из числа тех, кто решился поднять руку на жизнь «великого фюрера германской нации»... А ведь это было летом сорок четвертого, когда каждому было ясно, что поражение неминуемо, Красная Армия вышла к границам Германии, позади были и Сталинград, и Курск, и прорыв блокады Ленинграда, и крах под Мин-

ском... Рейхом правили безумцы, логика исключалась из всех сфер общественной жизни; царствовало истерическое кликушество «рейхспропагандиста» Геббельса, настоянное на животном национализме, слепой вере в гений фюрера и на бездоказательной убежденности в победе германского оружия. До сих пор трудно понять, что случилось с народом: люди видели, что перед ними сидит кошка, но достаточно было Геббельсу прокричать, что это не кошка, а собака, как все начинали громко убеждать друг друга в этом же, и только ночью, чаще всего во время бомбежек, да и то немногие, находили в себе мужество признаться, что все-таки кошка есть кошка, а никак не собака...

– Ты отвлекаешься,– заметила фрау Штайн, налив нам еще по одной чашке кофе,– журналисты любят конкретность и однозначность.

– Смотря какие,– обиделся я за журналистов.

– Такие, как графиня Марион Дёнхоф, не любят однозначности,– поддержал меня Георг Штайн,– потому что, дорогая, когда мы с тобой начинали поиск, в этой стране почти все были однозначными сторонниками «холодной войны». Без поддержки директора газеты «Цайт» Дёнхоф мы бы просто-напросто не смогли начать работу. Она не только дала нам рекомендательные письма, не только помогла с микрофильмированием архивных документов, но несколько раз просто-напросто заступалась за меня перед далеко не безобидными правительственными учреждениями: отнюдь не все поддерживали и поддерживают саму идею нашей работы.

– Ах, мужчины всегда правы,– улыбнулась фрау Штайн,– заклевали бедную женщину. Но самое начало работы Георга я все-таки должна отнести к концу сороковых годов, когда он узнал о клятве его отца и сестры: «Сделать все, чтобы награбленное нацистами было возвращено законным владельцам». А для этого надо было иметь хоть какую-то материальную базу. И Георг начал работать на ферме моего отца – как обычный крестьянин. И он работал так до конца шестидесятых годов, когда мы смогли собрать денег, чтобы начать наш поиск.

– Верно,– согласился Штайн.– Но формальным толчком к моей работе послужила маленькая заметка, опубликованная в «Цайт», о том, что поиски Янтарной комнаты продолжаются. Я отправился в Гамбург, к знакомому адвокату, и тот свел меня с графиней Дёнхоф. Я рассказал ей о клятве моих отца и сестры. Она пообещала свою помощь и, надо сказать, ни разу не отступила от данного слова. И тогда мы с Элизабет начали.

– Ах, Георг,– сказала фрау Штайн,– ну при чем здесь я?! Ты начал, не надо скромничать – начал ты!

– Дорогая Элизабет, я благодарен за столь щедрую оценку моего труда, но без тебя поиск не продвинулся бы ни на дюйм! Все в этом мире зависит от подруги, которая рядом: либо это единомышленник, уверенный в тебе и правоте твоего дела, либо комплексующий, мятущийся человек, не понимающий тебя, больше обеспокоенный реакцией окружающих на себя, чем твоим делом. В первом случае – ты победитель, чем бы ни кончилась схватка, ибо двое – это двое, это один плюс один, то есть м н о ж е с т в о; во втором случае нужны нечеловеческие усилия, чтобы продолжать дело; с г о р а н и е невероятно быстро, грядет усталость, отчаяние. Словом, если бы не ты со мною рядом – во всем и всегда,– я бы отступил: при нацистах меня сломали в первый раз, и потребовалось пятнадцать лет, чтобы, как писал Чехов, вытравить из себя раба, а второй раз подняться не дано никому. Воистину, история повторяется дважды: первый – трагедия, второй – фарс. Словом, сначала я поработал в архиве журнала «Цайт» и остановился на крохотной, набранной петитом заметке о том, что в библиотеке университета в Геттингене обнаружены «некие» балтийско-ганзейские архивы. Путного ответа на вопрос, какие это архивы, я получить не смог, мне лишь намекнули, что связаны они с Пруссией. Поиски п о д х о д о в к «прусско-балтийской» проблематике привели меня в Западный Берлин: там существует вновь созданный «архив прусской культуры». Я погрузился в изучение материалов, благо было рекомендательное письмо из Гамбурга, и обнаружил, что в Геттингене, в так называемых «балтийских архивах», хранятся какие-то документы из советских городов – Тарту, Таллина, Новгорода и Смоленска,– всего восемнадцать тысяч дел!

Я запросил власти: действительно ли часть русских архивов находится у нас?

Мне ответили, что русские архивы в описях не значатся. Тогда я купил в архиве США тридцать тысяч копий документов о рейхсминистре Розенберге. Исследование этих документов доказало: архив из Смоленска, представляющий огромную историческую ценность, был вывезен Розенбергом. Работая в Геттингене, я встретил друга моего отца, кенигсбергского архивариуса Форстройтера. Он помог отснять четыре тысячи дел из русского архива. Это уже доказательство. Это был, как ни странно, первый реальный доступ к тайне Янтарной комнаты.

– Вы обнаружили следы в этих архивах?

– Нет. Но ведь сначала надо заявить себя. Это у нас приложимо к любому делу. Я заявил себя, обнаружив архивы, которые до той поры прятали. Мне приходилось к р а с т ь с я к тем до-

кументам; я поначалу говорил архивариусам, что увлечен темой средневековых уголовников; только такая наивная хитрость открыла мне дела одиннадцатого – восемнадцатого веков, в том числе в архивах ганзейских городов. Ко мне привыкли, работать стало спокойнее, и я начал искать не только «уголовные дела» из вывезенных Розенбергом архивов, но и такие, например, бесценные вещи, как грамоты об основании городов, документы из Нарвы, и не только оттуда; главной удачей была находка гитлеровских документов о том, куда были вывезены ценности Псково-Печорского монастыря.

– Георгу очень помогли среденевековые уголовники,– вздохнула фрау Штайн,– они стали нашими добрыми сообщниками.

– В моей работе важно уметь ждать,– улыбнулся Штайн.– Не все уголовники еще исчезли... Я не сразу сообщил о своей находке. Зафиксировав найденные документы, я написал федеральному министру, попросив дать информацию о Янтарной комнате. Мне ответили, что такого рода документами министр не располагает и никаких архивных дел ни из Кенигсберга, ни из других русских городов в архивах ФРГ не значится. Лишь после этого я организовал передачу ценностей Псково-Печорского монастыря в СССР. Редакции ряда наших журналов дали материалы: «Штайн делает благородное дело, он смывает с немцев грязь Розенберга».

– А через несколько недель после этого из архива города Фрайбурга Георг получил письмо: «Мы готовы помочь вам в поисках Янтарной комнаты»,– добавила фрау Штайн.

...К тому времени Георг Штайн имел уже в своем архиве немало материалов, связанных с Янтарной комнатой. Он прослеживал день за днем судьбу этого бесценного произведения искусства. Постепенно в его голове складывалась версия.

...Итак, в ноябре 1942 года Янтарная комната была доставлена грабителями в Кенигсберг. Архивариус Форстройтер помог Штайну получить памятку кенигсбергского архитектора Хенкенсифкена, в которой было сказано, что вплоть до февраля 1944 года Янтарная комната хранилась в юго-восточном флигеле замка, на третьем этаже. В феврале 1944 года случился пожар в залах, где была развернута выставка вермахта: пламя бушевало чуть не всю ночь. После этого Янтарную комнату поместили в подвал, начали готовить к эвакуации; там она хранилась вплоть до самого сильного налета союзников, до 30 августа 1944 года.

– Но она могла погибнуть во время этого налета? – спросил я.

– Нет,– убежденно ответил Штайн.– Существуют два очевидца. Первый – архитектор Хенкенсифкен, который отвечал за ремонт замка после бомбежки: он показал под присягой, что видел

Янтарную комнату в подвале после налета; второй человек – профессор Герхард Штраус, он живет ныне в ГДР. Единственное, что погибло,– так это зеркала Янтарной комнаты, все остальное цело. Из разрушенного замка Янтарную комнату передислоцировали в подвал церкви Нойросгернекирхе, а уже оттуда ее мученический путь лежал в третий рейх.

– Как вывезли комнату? Кто? Когда? – спросил я.

– Я же говорю – моя работа тренирует выдержку, надо уметь ждать. Поэтому я переброшусь к своей поездке в Советский Союз, когда был приглашен для передачи открытых мною ценностей русским. Работники музея в Пушкине дали совет. «В Кенигсберг,– сказали они,– вывезена не только Янтарная комната; люди Розенберга вывезли бриллианты, изделия из золота, много живописи, коллекции фарфора. Часть этих предметов, как мы слыхали, мелькнула потом в Швейцарии. Это – один путь поиска. Второй путь связан с коллекциями янтаря, хранившимися в Кенигсбергском университете. Если где-либо появится след этих коллекций – значит, поиск надо продолжать таким образом, чтобы выяснить, кто и когда переправил этот янтарь в рейх».

...И снова начались поиски. В архивах ФРГ Штайн сумел выяснить, что во время бомбежек ящики с коллекциями изделий из янтаря, принадлежащие университету, были спрятаны в том же подвале, там же, где хранилась наша «комната». На этом след обрывался. Куда они исчезли, кто их потом вывез,– неизвестно. Волна публикаций в прессе кончилась, наступила тишина, а потом в некоторых газетах раздались хорошо сработанные голоса: «Он же фантазер, этот Штайн, один раз ему повезло с ценностями Пскова, но это, видимо, его первая и последняя удача».

...Пять лет назад в Геттингене было закончено строительство нового здания геологического факультета. Когда студенты начали перебираться туда, они перетащили и покрытые пылью ящики, хранившиеся среди прочей рухляди в подвалах старого университета. Ящики были грязные, тяжелые, перетаскивали их с трудом, а когда вскрыли, то там оказалась коллекция янтаря.

Вызвали Штайна. Он тщательно изучил экспонаты и дал заключение, что все эти изделия принадлежали Кенигсбергскому университету.

Потом нашлись еще две янтарные коллекции – тоже из Кенигсберга. Следовательно, по всем законам логики, и Янтарная комната была вывезена из того же самого подвала в Кенигсберге, где хранились эти коллекции университета.

– Когда я стал пристально исследовать историю эвакуации коллекций из Кенигсберга, выяснилась примечательная подроб-

ность: в Геттингене работал профессор фон Андрэ, одинокий старик, который порой даже ночевал в аудиториях. Правда, мне понадобилось время, чтобы доказать: этот «несчастный» профессор раньше жил в Кенигсберге, имел там виллу, был деканом факультета Кенигсбергского университета, но при этом состоял в СС, имея ранг полковника, то есть штандартенфюрера, истинный «старый борец», убежденный нацист!

Он-то и оказался летом 1945 года в английской зоне оккупации Германии, в Нижней Саксонии, неподалеку от Геттингена – там, где расположена соляная шахта «Б» «Виттекинд», возле Фольприхаузена. Именно в этой шахте начиная с 1938 года были размещены тайные склады боеприпасов германского вермахта. Затем, когда налеты союзников усилились, был получен приказ эвакуировать в эту и другие шахты наиболее ценные университетские библиотеки и архивы. Сюда, например, были перевезены почти все книги из Геттингена. А начиная с 1944 года нацисты стали свозить сюда ценности, награбленные в Советском Союзе.

– Существует документ, подписанный неким эсэсовцем 15 января 1945 года. Текст звучит так: «Акция, связанная с Янтарным кабинетом, завершена. Объект депонирован в «В.Ш.». А иначе, как «Виттекинд шахт», эти две буквы не расшифровать...

– Не слишком ли категорично? Можно ведь подставить и другие слова, нет?

Действительно, министр «восточных территорий» рейхсляйтер Розенберг создал специальный «айнзац-штаб» для вывоза ценностей из оккупированных государств Европы, засекретив, а временами и закодировав наиболее ценную информацию.

В «айнзац-штабе Розенберга» работало 350 экспертов по искусству, библиотекари, архивариусы; «эксперты» носили форму вермахта и подчинялись генералу Герхарду Утикалю, фанатичному национал-социалисту: в апреле 1944 года, за тринадцать месяцев до краха, он составил докладную записку, в которой наметил «вывоз в рейх картин, библиотек и архивов Великобритании после того, как вторжение на остров закончится неминуемой победой Германии».

Именно этот-то «айнзац-штаб» и занимался грабежом наших культурных ценностей. Говорят, что лишь одно из подразделений этого штаба – хауптарбайтгруппе «Митте», дислоцировавшееся в 1944 году в Минске, вывезло 4 миллиона советских книг!

Один из ближайших сотрудников Розенберга, «старый борец» Арно Шикеданц, разработал план организации тайников для награбленных ценностей – «объекты торга» надо было надежно укрыть, дав «ключ» к сокровищам лишь узкому кругу «посвященных».

В апреле сорок пятого Шикеданц застрелился.

Тайна ушла вместе с ним.

– Согласны включиться в поиск? – спросил Штайн, откинувшись на спинку кресла.– Если «да», то я подробно остановлюсь на целом ряде пунктов, где требуется срочная помощь. Если «нет», то допьем кофе и расстанемся по-приятельски.

– Да.

– Что ж, хорошо. Но вы должны отдать себе отчет, что мною периодически интересуется тайная полиция, хотя я не предпринимал ни одного противозаконного шага.

– Каждое действие Георга соответствует нормам конституции,– добавила фрау Штайн,– мы очень следим за тем, чтобы не подставиться под удар недоброжелателей.

Фрау Штайн отошла к стене, включила приемник, нашла станцию, которая передавала музыку; супруги переглянулись. Штайн благодарно улыбнулся жене, подвинулся ближе ко мне, продолжил:

– Далее... В результате тех поисков, когда я выяснил, где находятся материалы Смоленского архива, мне попались документы о том, что часть ящиков с русской живописью, вывезенной из картинных галерей Харькова и Киева, хранились во Франконии, в замке Кольмберг, который принадлежал бывшему послу Германии Фореджу, а потом был продан его сыном Эрлом некоему Унбехавену, из гестапо. Бургомистр района, где расположен этот замок, господин фон Мош, хоть состоит в христианско-демократической партии и, казалось бы, должен считаться правым, на самом деле осуществлял аресты гитлеровцев после войны, проводил денацификацию и, познакомившись со мною, когда я решил отправиться в Кольмберг для переговоров с Унбехавеном, сказал: «Снимаю шляпу перед человеком, который рискнул продолжать борьбу против этих мерзавцев». Узнав, что я намерен переночевать в замке, превращенном ныне Унбехавеном в гостиницу и музей восточной культуры, фон Мош пытался отговаривать меня: «Слишком рискованное дело, там – нацисты». Я стоял на своем, ибо, по документам Розенберга, в Кольмберг было привезено много русских картин. Разговор с Унбехавеном дал мало, но что-то дал, ибо я показал ему письмо от Штрауса, дада, Франца Йозефа Штрауса, я – это тоже моя хитрость – послал ему запрос о культуре, и тот ответил мне, поскольку я рассчитал время – начиналась предвыборная компания, а в эти месяцы надо быть демократичным и бороться за каждый голос, а имя Штрауса у людей старшего поколения в Баварии и Франконии пользуется огромной популярностью, оно словно бы гипно-

тизирует собеседников. Именно это и случилось с Унбехавеном: он передал мне для ознакомления ряд описей картин, которые были в замке во время войны. Утром фон Мош прислал в Кольмберг полицию – боялся за мою жизнь. С тех пор туда мне путь заказан. А в замок надо съездить, посмотреть музей, поговорить с людьми в округе, собрать возможно больше информации. Готовы? Но, понятно, не как русский: Унбехавен просто-напросто не станет говорить с вами.

– По-английски он понимает?

– Да. Там расквартировано несколько американских дивизий...

– Он понимает английский очень хорошо,– заметила фрау Штайн.

– Будьте осторожны,– сказал Штайн.– Я не пугаю вас, я предупреждаю. Надо, чтобы Форедж-сын пока что дремал. Он очень силен. А его дядя, Адальберт, был сотрудником рейхсминистра Розенберга и лично составлял описи картин, похищенных в России.

– Вам не поздно отказаться, господин Семенов,– изучающе разглядывая меня, тихо сказала фрау Штайн.

– Поздно,– отозвался Штайн.– Я вижу по его лицу, что поздно.

...А снег все валил и валил; мы со Штайном долго разгребали лопатами гору, пока наконец не появилась крыша «форда». Я сел в машину, и тронулся в обратный путь, и просидел за рулем девятнадцать часов, проехав за это время по широченной автостраде не более ста миль; заносы чудовищны; заторы на десятки километров; царствовала анархия – рычали грузовики, обдавая «легковушки» черной грязью, сшибая им крылья, царапая дверцы,– прав тот, кто сильней! Этот мучительный путь по автостраде, где можно развивать неограниченную скорость, ибо она шестирядна,– ни одной выбоины, асфальт шершав и надежен,– я столкнулся воочию с практикой жизни с позиции силы, и подумалось мне, что в экстремальной ситуации, будь то энергокризис, наводнение или лесной пожар, здесь вполне могут раскрыться шлюзы анархии.

...Этот, седьмой по счету, затор оказался нескончаемо долгим; стоявшие впереди водители выключили моторы и дальний свет; я достал из портфеля часть документов, переданных мне Штайном, и начал листать их; натолкнулся на описи похищенных у нас ценностей.

Когда я углубился в чтение, мне стало очень холодно, и не потому что замерз – в машине работала хорошая печка,– холодно стало от ужаса, оттого что я впервые воочию увидел р а з м а х грабежа.

Приведу лишь малую часть описей:

«Икона. Святая Мария. Новгород, начало 15 века, 96 см на 60; Икона. Святая Мария, Московско-Строгановская школа, 16 век; Икона. Греческая школа (не Грека ли?), конец 15 века».

Эти и тысячи других бесценных произведений русского искусства п р о н у м е р о в а н ы собственноручно Адальбертом Фореджем: 1402, 1938, 1385, 1939, 14 191... А есть в описях и такие номера, как Р1-8-373; то есть, коли вдуматься, размах грабежа делается воистину невероятным! Шутка ли сказать, с т о т ы с я ч н ы е цифры!

А потом я уже не смог смотреть на цифры, я следил лишь за фамилиями: «Клод М., портрет Татьяны, из «Евг. Онегина»; Маковский, «Портрет молодого крестьянина»; Тропинин, Ге, Поленов, К.Брюллов, Мясоедов, Боровицкий, Ф.Бруни, Васнецов, «Вид на старый Киев», 48х70; Куинджи, «Степь», Крамской, «Портрет художника Н.Ге», Маковский, Кипренский, Айвазовский, К.Аргунов, Репин И., «Портрет Христа», 95х71 (этой картине нашего гения был присвоен номер У-702), Рокотов, Иванов, Лигорио, Неверов...»

...Такого рода описи похищенного составляют многие десятки страниц! Я привел не сотую и даже не тысячную долю перечня того, что исчезло из наших музеев...

3

...По дороге в Мюнхен я решил в з я т ь местную дорогу и проехать через Ансбах, что во Франконии, где бургомистром фон Мош, а оттуда рукой подать до замка Кольмберг, с его музеем восточной культуры.

За те зимние месяцы, что я прожил в ФРГ, привычка оговаривать встречу укоренилась быстро. Понятие «авось примет» тут просто-напросто не сумеют перевести; записные книжки, которые рассылают концерны, редакции, бундестаг, различные общества в канун Нового года, напечатаны таким образом, чтобы человек мог занести в портативный календарик в с е предстоящие на год звонки и встречи. Если, например, я договорился с человеком о встрече в апреле, хотя звонок был сделан в феврале, можете быть уверены, что у него этот день и час будет отмечен в календарике; в случае чего-либо непредвиденного (ваш собеседник хоронит друга, лежит в клинике, вызван канцлером, разводится с женою, вылетел для срочных переговоров за границу) вас не преминут

предупредить об отмене встречи за неделю. К понятию в р е м я здесь относятся, как к золоту,— его считают скрупулезно. Самый маленький руководитель, начиная с мастера на фабрике, ведет постоянный учет минут, истраченных рабочим на курение,— ведь перекур не есть работа, это убыток предприятию, это — р а с х и щ е н и е г л а в н о г о н а ц и о н а л ь н о г о д о с т о я н и я, то есть времени. Огромное количество магазинов, лавок, магазинчиков, кафе, ресторанов, бензозаправочных станций не что иное, как средство сохранения времени, для того чтобы ж е с т к о требовать от подданных работы, а не расхищения часов в очереди за огурцом или пуговицей.

Итак, новая привычка оговаривать каждую встречу загодя заставила меня связаться с Ансбахом, что во Франконии, представиться секретарю обер-бургомистра и передать ему просьбу о встрече с господином фон Мошем.

— Какую газету вы представляете? — переспросил секретарь.

— «Литературную», Советский Союз.

— Ясно. Не будете ли вы так любезны подождать у аппарата?

Ждал недолго, в трубке что-то щелкнуло, пророкотал вальяжный голос:

— Алло, добрый день, говорит Мош!

— Добрый день, господин фон Мош! Не могли бы вы найти для меня время на следующей неделе?

— Дайте взглянуть на календарь... Одну минуту... Четверг, быть может... Скорее всего двенадцать тридцать... А предмет разговора?

— Я побывал у Георга Штайна...

— Ах так. Ясно. Тогда — следующий четверг, двенадцать тридцать... Вас устроит это время?

— Записываю.

— Найти меня легко: въехав в город, вы увидите замок, это на центральной площади. Наш замок — достопримечательность Франконии и Баварии, я буду ждать вас на втором этаже, это — и музей и бургомистрат.

...Сделать крюк в ФРГ, свернув с автострады на дорогу местного значения,— приятное занятие, особенно если у тебя в запасе есть день и тебе не нужно жать на акселератор в страхе опоздать на встречу. Помню, как в США, в 1975 году, когда я работал там как спецкор «Правды»— писал очерки о тридцатой годовщине победы над нацизмом,— мне пришлось срочно выехать в Нью-Йорк в Вашингтон на машине. Я тогда обратил внимание на прелюбопытнейшее зрелище: вдоль по обочине автострады стояли десятки мощных «крайслеров» и «фордов»; возле машин прохаживались молчаливые полицейские. Хозяева машин разма-

хивали руками, били себя по ляжкам, кричали, доказывая что-то стражам автопорядка, но те были подобны каменным изваяниям. Я притормозил возле одной из машин, чтобы выяснить, в чем дело. Вообще-то за остановку на автостраде полиция немилосердно штрафует, как и за превышение скорости, причем штрафы не наши, милосердные, а исчисляемые, в переводе на язык быта, пристойными зимними женскими сапожками. Однако «голь на выдумку хитра»,— знакомые журналисты объяснили, как обманывать полицию: «Если ты увидел что-то интересное, вроде катастрофы, пары-тройки трупов на обочине или марсиан, высаживающихся из неопознанного летающего объекта, отгоняй машину на обочину, открывай капот и, записывая происходящее на диктофон или тайком снимая, делай вид, что у тебя забарахлил мотор». Так я и поступил тогда, на автостраде Нью-Йорк — Вашингтон. И что же мне открылось? Оказывается, именно в это время из-за нехватки бензина было введено ограничение на скорость, но, как и повсюду, водители его не соблюдали, все гоняют, выгадывают время, воистину, «время — деньги». Власти довольно долго терпели — штрафовали, арестовывали права,— но ничего не помогало; любому мало-мальски серьезному человеку от бизнеса или юриспруденции (впрочем, одно здесь немыслимо без другого) выгоднее уплатить штраф, чем опоздать на подписание контракта,— опоздание может означать неустойку, то есть потерю сотен тысяч. И вот тогда-то и было принято решение: в небо поднялись полицейские вертолеты, включили радары и стали задерживать в с е машины, которые шли со скоростью большей, чем 120 километров в час. А меньше 150—170 километров в час никто не ездил: дороги хорошие, моторы мощные. И полицейские задерживали все машины и заставляли провинившихся водителей с т о я т ь рядом с собою ровно столько времени, сколько человек д о э т о г о выиграл, превышая скорость. Выиграл сорок минут — изволь стоять рядом сорок минут, и ни секундой меньше, и не надейся, что твои мольбы подействуют на стража автопорядка.

...Итак, взяв из Бонна направление на юго-восток (сбиться невозможно, не страна, а царство указателей) я «свалился» на автостраду, ведущую на Вюрцбург; оттуда — по автостраде номер 3 — на Нюрнберг, а потом на Ансбах, и это была уже на автострада, а дорога номер 13, а для меня цифра «13» счастливая (в этот день реабилитировали моего отца, перестал быть «врагом народа»), и хотя конечно же такого рода суеверия — штука смешная и несерьезная, я тем не менее ехал в радостном ожидании удачи...

Между прочим, я не ошибся.

Миновав улочки красивого Ансбаха, сплошь заставленного американскими военными машинами — их здесь, мне показалось, куда как больше, чем принадлежащих самим немцам, поскольку тут расквартированы натовские союзники,— я выехал на красивую, поистине античную площадь, припарковал машину напротив замка,— действительно средневекового, невероятной красоты, поднялся на второй этаж, оказался н а х о р а х, подивился тому, как красивы огромные панно-картины ярко-золотистого рисунка, прошел тихие, затянутые шелковой материей залы и оказался в маленьком секретариате, где вместо стен громадные средневековые белоснежные двери: «направо пойдешь — гибель найдешь, налево пойдешь — счастье найдешь...»

— Вам — прямо,— улыбнулся секретарь,— вы господин Семенов, не так ли?

...Бургомистр фон Мош совсем не стар, очень демократично одет; рядом с ним — чиновник из внешнеполитического департамента: молод, насторожен, постоянно х р а н и т улыбку, но ведь если глаза напряжены, какая может быть улыбка,— одно мучение...

— Легко нашли? — осведомился фон Мош.— Как замок? Понравилась дорога во Франконию?

Дорога не могла не понравиться. Красная герань в окнах, толстые соломенные крыши, тяжелые темно-коричневые балки, каркас ослепительно-белых двухэтажных уютных коттеджей являют собой олицетворение надежности; реки, не загаженные отходами фабрик; множество коней и коров на загонах в полях — живой, красивый кусочек старины, а нет ничего лучшего, чем сказать приятное о старине ее гражданину.

...Вообще встречи с партнерами такого уровня подобны игре в бильярд: тебя спросили — ты ответил; «п и р а м и д а» разбита, шар в лузе, «с в о я к» отведен к борту, делайте вашу игру! (Не зря, видно, Маяковский именно за бильярдом находил успокоение от ежедневного литературного каратэ, где все приемы дозволены.)

Господин фон Мош выразил удовлетворение визитом первого советского журналиста в Ансбах, спросил, что я знаю о Франконии, ее старинных городах; «у нас есть селения, где ничего не тронуто, начиная с шестнадцатого века, это надо посмотреть, мы почитаем за высокую честь охранять памятники, хотя далеко не всем жителям этих п а м я т н и к о в может понравиться теснота улиц и трудности с жильем, однако туризм многое окупает».

Затем мы перешли к существу вопроса.

— Да, ситуация с замком Кольмберг довольно сложная,— сказал фон Мош.— По весьма приблизительным подсчетам, в рекон-

струкцию этого исторического памятника, некогда принадлежавшего послу Германии Фореджу, ныне вложено не менее пятнадцати миллионов марок, и не нами,— такие деньги практически невозможно выбить у правительства,— а новым хозяином замка господином Унбехавеном.

— У вас есть какие-либо материалы о господине Унбехавене?

— Нет,— быстро ответил молодой внешнеполитический советник,— мы не располагаем о нем сколько-нибудь достоверной информацией.

— Разве что одна довольно любопытная деталь,— словно бы не заметив чрезмерной категоричности своего молодого советника, сказал фон Мош.— Перед тем как приобрести замок у господина Эрла Фореджа — сына посла и племянника профессора Адальберта Фореджа из Эрлангена,— господин Унбехавен работал простым дорожным мастером... Я понимаю, прилежно работая, отказывая себе во всем, можно скопить хорошую сумму, но пятнадцать миллионов...

— А нельзя ли запросить от господина Унбехавена отчет о том, как он собрал такую сумму?

— Никто не может заставить его ответить на этот вопрос. Если бы он уклонялся от налогов, не платил за квартиру, воду, отопление или телефон, мы бы могли обратиться в суд. А чем мы сейчас обоснуем наше требование дать отчет о его миллионах?

— Наследник посла Фореджа, его сын Эрл, видимо, сильно нуждается, если пошел на продажу замка?

— Нет, Форедж-младший — весьма влиятельный человек... Вполне состоятельный... У него есть и сестра, но она, увы, в доме умалишенных... Как вы понимаете; дядя Адальберт, профессор теологии Эрлангенского университета, скорее всего откажется от встречи с вами — в силу своего прошлого...

Молодой советник прибавил:

— Ах, эти б ы в ш и е.

— Вы намерены посетить Кольмберг? — спросил фон Мош.

— Обязательно.

— Я бы не сказал, что ваш немецкий вполне совершенен,— заметил бургомистр.

— Он чудовищен,— уточнил я,— мне приходится нарабатывать язык практикой, но я как-нибудь обойдусь английским.

— Я бы не рекомендовал афишировать дело, из-за которого приехали,— после паузы сказал фон Мош.

Потом он легко поднялся, отошел к маленькому столику, где был кофе, подарил мне альбом о городах Франконии, и мы приступили к заключительной части беседы, «протокольной», как

иногда ее называют: погода, дети, театральные постановки, пара шуток, пожелание успехов и страстное уверение в необходимости повторных встреч – в самое ближайшее время.

На пороге кабинета фон Мош, пожав мне руку, легко пробросил:

– Вы знаете мой телефон, в случае какой-либо нужды звоните до пяти, езды в Кольмберг – полчаса, в секретариате работают компетентные люди, вам окажут необходимую помощь. Всего хорошего, приятной поездки...

4

...Замок я увидел издали; он возвышался на пригорке – типично германская крепость, командная высота; дорога п р о с т р е л и в а е т с я, старая дорога, мало таких осталось, в ней видно былое; начинает играть п р и м ы с л и в а н и е, возникают картины средневековья, затаенности, ночного мрака, когда вокруг – ни огонька; так же зримо предстают воображению времена того чудовищного, совсем недавнего средневековья, когда сюда поднимались грузовики с засиненными фарами, чтобы не было видно сверху летчикам союзных держав, а в этих крытых грузовиках с эсэсовскими номерами были ящики, причем далеко не все эти ящики были маркированы: конспирация начинается с малого; и были в этих ящиках картины и иконы, похищенные в музеях Советского Союза, и переправлял их в этот замок один из бывших владельцев, ныне профессор теологии (какое кощунство!), а в прошлом эсэсовец Адальберт Форедж. Можно представить себе, сколь часто он приезжал сюда с Восточного фронта, сопровождая рейхсминистра Розенберга и других гитлеровских бонз! (Не исключено, кстати, что в замок наведывался и Геринг – «интеллектуал, истинный ценитель прекрасного, страстный борец за светозарные идеалы новой национал-социалистической культуры»,– писали о нем в газетах НСДАП.)

Маленькая деревенька, над которой возвышается замок, тоже называется Кольмберг. В ней я смог угадать черты тех селений, которые помню по сорок пятому году, когда жил, мальчишкой еще, в доме, где останавливались комбриг Константин Корнеевич Лесин и его жена, военврач Галина Ильинична, в Рамсдорфе, что под Берлином.

Деревенский аккуратненький ресторанчик, где можно (по правилам здешнего ГАИ) выпить кружку баварского пива, присев за столик рядом с громадноруким крестьянином,– то место, с которого следует начать подход к замку.

– К вам можно? – спросил я.

– Присаживайтесь,– ответил крестьянин, одетый в рабочий джинсовый костюм, удобную (но при этом щегольскую) шапочку и ярко-желтые короткие сапожки.

(Эстетика рабочей одежды здесь – практика торговли, которая просто-напросто разорит фирму, поставляющую неходовой товар. На Западе я постоянно встречал юношей и девушек в дешевеньких рубашках, на которых были портреты известных актеров и политиков. Фирмы постоянно думают, как з а б р а т ь у людей деньги.)

...Немец, как и русский, весьма п о с т е п е н е н в знакомстве и первом разговоре. В первую очередь, понятно, это относится к крестьянину, который от рождения чурается всякого рода чрезмерных резкостей; идет это, видимо, от того, что с детства приходится принимать теленка, ягнят, поросят, а роды, причастность к ним – штука совершенно особая, резкостей не терпящая; прежде всего спокойствие, постепенность. Да и обработка поля – не нынешняя, рассчитанная по графику, а прежняя, когда хлебопашец шел за конем,– также олицетворялась постепенностью; понятие «шаг за шагом» принадлежит земле, но не городу с его машинной техникой. Я не намерен выступать адептом крестьянской идеологии, но силюсь понять предмет постепенности, оценить скоростные разности города и деревни, подумать над этой новой проблемой эпохи НТР. Произошел любопытный парадокс: в космосе люди куда как более уверены в скорости и движениях, чем многие сограждане, сидящие за рулем. Только-только «впрыгнули» в «автоэпоху», как НТР понудила идти в небеса, обживать их; а ведь ильфо-петровский пешеход так и не успел толком привыкнуть к авто; жмет на красный свет; бежит под машину, особенно старушки в этом марафоне отличаются. Впрочем, стоит понаблюдать, как относятся к технике молодые и как – старые; родившиеся после пятидесятого года, когда в каждом доме появился ТВ и транзистор, привычны к технике, смелы с нею, а я до сих пор с ужасом нажимаю на кнопки и клавиши приемника, опасаясь его испортить, ибо телевизор впервые увидал в 1951 году, двадцати лет от роду, то есть будучи уже человеком со вполне сложившимися стереотипами восприятия и поведения. Постепенность в наш век, думаю, штука нужная, ибо стало аксиомой, что в минуты резких сломов привычного требуется исключительное напряжение наших душевных резервов, находившихся перед тем в состоянии покоя и равновесия. Впрочем, слишком уж «постепенная постепенность» также опасна: нетерпение может перегореть, обернувшись равнодушием – в лучшем случае, холодным цинизмом – в худшем.

– Красивый замок,– сказал я соседу.– Не правда ли?

«Джинсовый» крестьянин отхлебнул из своей пенной кружки и, посмотрев на меня без всякого интереса, пожал плечами.

Я пробормотал что-то по поводу неустойчивой погоды.

Сосед ответил на таком баварском сленге, что я вообще ничего не смог разобрать и лишь покачал головою.

Потом сосед достал пачку французских сигарет «житан»– черных, крепких, ими бы травить неугодных,– пыхнул мне в лицо синим дымом, ухмыльнулся и задал вопрос на еще более чудовищном сленге, понять который мне, естественно, не было дано.

– Да,– ответил я неопределенно.– Очень интересно...

Сосед пыхнул в меня еще раз, поднялся и сказал на прекрасном, внятном «хохдойч»[1] так, как говорят с иностранцами, только-только учащимися языку:

– Я спросил, откуда вы,– всего-навсего...

Он положил на стол монету, кивнул бармену, стоявшему за стойкой, и вышел, шаркая своими роскошными, желтыми, короткими резиновыми мокроступами.

Бармен поднял на меня глаза:

– Вы откуда?

– Из Бонна.

– А по национальности?

– Говорите по-английски? – спросил я.

– Немного,– ответил бармен,– иначе нельзя, я имею бизнес с американскими военными, которые здесь стоят, шустрые ребята. У вас нет ничего табачного? Или, может, виски, провезенное без налога?

– Я захвачу в следующий раз пару бутылок – в подарок.

– Значит, вы не американец,– убежденно заметил бармен.– Или вам что-то надо от меня.

– Ровным счетом ничего. Меня просто-напросто интересует замок Кольмберг.

Бармен усмехнулся:

– Замок как замок... Хозяин небось интересует...

– Вы имеете в виду Унбехавена?

– А вы?

– Фореджа...

– Довольно давно старик здесь и вправду числился...

– То есть?

– Знаете,– сказал бармен,– вы со мной об этом бросьте... Я тут живу, и моим детям жить здесь... Не надо меня затягивать в это дело, оно и так муторное... Ясно?

[1] Хохдойч – истинный, литературный немецкий язык.

– Ничего не ясно,– ответил я, поднялся и, по примеру моего соседа, оставил на столе монету.

Бармен каким-то особым, х о з я й с к и м зрением увидел, сколько я ему оставил, и прокричал – иным уже тоном:

– Большое спасибо!

«Воспитанные мужики,– подумал я, садясь в машину,– и компьютерные: эк стремительно просчитал, что я ему п о л о ж и л на чай не пять пфеннингов, как мой сосед, а двадцать! Ай да хозяин!»

...Я медленно вел машину по старой гравийной дороге, и замок Кольмберг из маленького, игрушечного делался большим, затаенным, зловещим.

...Подъем стал еще более крутым; резкий поворот; место для парковки машин; я запер «форд», взял аппарат «полароид» и медленно пошел вверх, к воротам замка. Тишина была окрест и теплое февральское безлюдье, только надрывались, заходились в яростном лае собаки. Возле входа во внутренний двор замка намертво укреплен указатель: «К зверям – направо». Там маленький зоосад. Ясно – здесь любят животных. В этом убеждаешься, когда входишь во двор и видишь павлинов, медленно, царственно и бесшумно расхаживающих по камням. А собаки – огромные овчарки в металлических ошейниках, на металлических цепях; белая, истерическая слюна, ощеренные сахарные зубы.

...Внутри замок кажется еще более мощным, чем снаружи: огромные башни; оконца забраны коваными решетками; трехэтажные жилые помещения добротны – во всем чувствуется рука рачительного хозяина.

Я отворил дверь, очутился в маленьком баре, увешанном старинным оружием и оленьими рогами; где-то в глубине дома дзенькнул звонок, навстречу мне вышел парень, спросил:

– Добрый день, вы зарезервировали номер в нашем отеле?

– Добрый день... Номер я не резервировал... В туристском проспекте сказано, что в вашем замке помимо отеля и ресторана открыт музей восточной культуры...

– Да, но вы опоздали...

– Чудак,– услыхал я за спиною скрипучий, сильный голос,– так нельзя говорить с гостями.

Я обернулся: передо мною стоял низкорослый, крепкий человек, лет шестидесяти пяти, то ли седой, то ли выцветший, с мускулистыми руками, которые, показалось мне, жили какой-то отдельной от всего тела жизнью: продольные, очень развитые мышцы и г р а л и свою роль сами по себе; так же сами двигались пальцы, очень короткие и у х в а т и с т ы е.

– Разве точность ответа – чудачество? – спросил я.

– Говорите на родном языке,– продолжал ухмыляться низкорослый,– сразу слышно, что вы не наш. А что касаемо чудачества,– он перешел на английский,– то прав я, а молодому человеку учиться и учиться: нет такого понятия «нельзя»; можно все, если услуга оплачена.

– Сколько будет стоить экскурсия по музею? – спросил я.

– Сколько ты хочешь получить с господина? – спросил низкорослый.

Он резко повернулся, толкнул рукой стену, а это была не стена, а дверь на кухню, врезанная в панель, я мельком увидел двух молодых женщин, стоявших возле большой плиты в белых фартучках, мальчишку, чем-то похожего на низкорослого, одетого, так же, как и старик, в традиционный баварский костюмчик – зеленая куртка с темными лацканами, зеленые суконные гольфы, потом дверь мягко захлопнулась, и парень, как-то странно отведя глаза, сказал:

– Ну что ж, раз хозяин позволил – пойдемте.

Темными, таинственными переходами мы двинулись в ч р е в о старого замка. Шаги наши были глухи, тишина – осязаемой, гнетущей; если уж пробовать как-то по-новому передать (в кино или ТВ) смысл понятия о ж и д а н и е, то искать нужно именно в тишине старого замка, оборудованного по последнему слову техники кондиционерами, люминесцентными лампами и специальными уловителями дыма,– в случае возникновения пожара тревога будет объявлена моментально, сработают автоматы.

Мы поднялись на второй этаж; в огромном зале были представлены экспонаты искусства древнего Китая и Японии: бронза, живопись, мебель.

«Надо запросить наши музеи,– подумал я,– может быть, эта коллекция вывезена от нас. Ведь традиции востоковедения, великого ученого Лазарева, не говоря уж об Афанасии Никитине, были сугубо развиты в России,– куда ни крути, единственное государство в мире, объединяющее в себе уникальное двузначие: Евразия».

– Говорите по-английски? – спросил я парня.

– Мало. Понимать – понимаю, но говорить смущаюсь. Хотите посмотреть каждый экспонат или перейдем в другие залы, а оттуда начнем спускаться вниз?

– А как у вас обычно смотрят экскурсанты?

– Смотря какой экскурсант...

– Ну такой, например, который понимает толк во всех этих штуках, хочет что-то купить, продать или обменять...

– Так чего ж вы с господином Унбехавеном об этом не поговорили? Таких посетителей он водит лично.

– Мне показалось, что вы у господина Унбехавена за гида,– ответил я, заново в ы с ч и т ы в а я низкорослого хозяина в потертом баварском костюмчике... Вот он каков, этот Унбехавен, «скромняга мужик», столь демократично обучающий бизнесу своего молодого служащего...

– Я у него за все,– ответил парень.– Золотой человек, простой, добрый... Требовать – требует, это верно, но если вкалываешь как следует да нос не суешь в чужие дела, дисциплинирован и внешне подтянут и стрижен, не то что в о л о с а т ы е в городах, тогда лучше хозяина и быть не может, такие только в старые времена были: крутые, но справедливые, простого человека в обиду не давали...

Я хотел было спросить про «старые времена», но понял, что делать этого никак нельзя, ибо все те, кто проходит воспитание у бывших, весьма пугливы и осторожны, ибо их приучают преклоняться перед «сильной рукою», которая карает, коли ты в о л о с а т, но защищает, если покорен, если думаешь, как все, не суешься с вопросами и заученно повторяешь то, что тебе говорит старший начальник,– ибо все остальное суть ересь и гниль, пропагандируемая «врагами нации». (Я подумал о памяти: здесь живут еще многие и – самое страшное – растут многие, которые хотят вытравить все воспоминания о том ужасном, что принес с собою нацизм, повторяя как заклинание: «Гитлер был личностью, идеалистом, которого обманывали соратники; всего за какой-то год он смог навести п о р я д о к в Германии, а что есть прекраснее порядка, если для этого и потребовались определенные акции против людей чуждой крови и идеи? Надо, кстати, еще доказать, что акции были неразумно жесткими, может быть, все это пропаганда врагов! Надо еще доказать, что фюрер знал обо всем, что происходило в стране,– даже на Нюрнбергском судилище русские и англо-американцы не смогли найти подписи Гитлера на приказах о ликвидациях, лагерях и повешенных! Фюрер не мог отвечать за поступки недобросовестных людей, которым враги поручили компрометировать национал-социалистическое движение проявлениями жестокости, столь чуждой доктрине великого лидера нации!»

Попытка обелить Гитлера, «подправить» его портрет, «объективизировать»– не что иное, как желание обелить нацизм. Не все это понимают на Западе. А это – тревожно, ибо столь угодное человеческому сердцу качество: отринуть злое, сохранить в душе доброе, может – при определенных условиях, в первую голову эконо-

мических, когда скачут цены, царствует неуверенность в завтрашнем дне, растет страх перед войною,— быть использовано теми ультраправыми, которые ищут идеал будущего в примерах прошлого, но никак не в научном исследовании возможностей дня завтрашнего; идеал их прошлого определенно однозначен — это фашизм.)

— Когда была развернута экспозиция? — спросил я гида, то и дело поглядывавшего на часы.

— Давно.

— До войны?

— А меня тогда еще и не было,— засмеялся парень.— Откуда же я могу знать?!

...Об этом знал другой человек, в Геслау, таком же маленьком городке, да и в прекрасном средневековом Ротенбурге-об-дер-Таубер тоже живут люди, которые кое-что помнят о таинственном замке Кольмберг.

А знали они и помнили то, что в старые времена именно через Кольмберг шла дорога с севера, с Балтики, на Зальцбург, а оттуда в Теплицзее, к тому озеру, где начальник СС Эрнест Кальтенбруннер в последние недели войны у т о п и л множество ящиков — громадных, водонепроницаемых, без опознавательных знаков.

— Унбехавен — нацист низкого ранга,— сказали мне в Геслау,— что-то идентичное капитану, не больше... Хотя самые страшные люди — это исполнители... Он был в окружении рейхсминистра оккупированных восточных территорий Альфреда Розенберга вместе с Адальбертом Фореджем. Именно по каналу Унбехавен — Форедж (племянничек) замок был оборудован под хранилище ценностей, вывезенных из Советского Союза.

— Что значит «канал»? — спросил я.

— Здесь масса вопросительных знаков,— ответили мне.— «Канал»— это способ общения между двумя единомышленниками... Можно только предполагать... Кое-кто считает, что сын Фореджа, Эрл, не был отправлен на фронт именно взамен за эту услугу Розенбергу... А услуга действительно весьма серьезна: кто бы мог подумать, что в замке старого дипломата оборудован тайный склад похищенных музейных ценностей?! Унбехавен был не только в курсе этой сделки, не только помог ей свершиться,— он знал что-то очень секретное о бизнесе «Розенберг — Форедж». Потому-то он и смог — по прошествии лет — стать владельцем замка. Но откуда у него пятнадцать миллионов марок на реставрацию Кольмберга?! Откуда такие деньги у скромного дорожного мастера?! Может быть, все это связано с гибелью Бэра?

– Кто такой Бэр?

– Странный человек... Нацист, прибалт, работал с Розенбергом, прибыл в Кольмберг вместе с колоннами грузовиков, набитых ящиками с полотнами Рафаэля, Врубеля, Тициана, Серова, Мурильо, Поленова, Васнецова. Он, как явствует официальная версия, покончил с собою вскоре после окончания войны. Почему? Врачей в Кольмберг не вызывали, никакого вскрытия не было... А ведь Розенберг тоже был балтийским немцем... Как и Бэр... И прислал в начале сорок пятого к Фореджу именно Бэра... А когда после войны в Кольмберге появился Унбехавен, Бэр «покончил с собою». А Бэр знал очень многое – если даже не все – по поводу тех ценностей, которые прошли через Кольмберг на юг и которые хранились там...

– Их привезли из замка до окончания войны?

Мой собеседник усмехнулся:

– Окончание войны я встретил в концлагере; нас, молодых христиан, обвинили в подрывной деятельности ранней весной сорок пятого...

5

Снимаю трубку телефона, набираю цифры «118» и дожидаюсь привычного ответа: «Добрый день, справочная служба, чем я могу вам помочь?»

Говорю:

– Вы можете мне помочь, если разыщете телефон господина Эрла Фореджа, проживающего в Мюнхене, и его дяди, доктора Адальберта Фореджа, дом которого находится в Эрлангене.

– Одну минуту, пожалуйста.

(Вы можете мучить вопросами людей, сидящих на телефонах, десять, пятнадцать минут, пусть вас интересует адрес или телефон какой-нибудь бабушки в маленькой деревушке Шварцвальда – что ж, раз нужно – значит, нужно, будут искать, найдут, ни грана раздражения, это карается увольнением, а работу найти куда как трудно, а христа ради здесь не подают, помрешь с голода! Впрочем, видимо, сказывается и долгое притирание населения к НТР; справка, как нечто экономящее время, то есть самый дефицитный общественный п р о д у к т, есть ежеминутная необходимость для к а ж д о г о. Большая экономия начинается с малого– прежде всего с экономии минуты и нервов.)

– Итак, мой господин,– счастливо сообщил служащий бюро справок,– вот интересующие вас телефоны в Мюнхене и Эрлангене, записывайте, пожалуйста...

Я записал.

Форедж Эрл – 089/85.19.41. Это Мюнхен. Адальберт Форедж – 09131/41623. Работник штаба рейхсминистра Розенберга. Впоследствии профессор теологии университета в Эрлангене. Фу, как нехорошо. После грабежа русских церквей и музеев – да в теологию... Бог не любит двурушников. Как, впрочем, и земные его дети.

Звоню в Мюнхен.

– Здесь Форедж.

– Добрый вечер, господин Форедж.

– Добрый вечер.

– Вас беспокоит писатель, представляющий советскую газе...

– Советскую?! Какое вы имеете право звонить в частный дом?! Кто вам позволил набирать мой номер?! Что за безобразие, в конце кон...

Я не отказал себе в удовольствии: «око за око, зуб за зуб»; началась истерика, можно бросить трубку; объясняться с такого рода контрагентами бесполезно, зряшная трата нервов и времени. Зоологизм ненависти слеп, а потому – неизлечим.

Звоню в Эрлаген.

– Господин Адальберт Форедж умер,– ответили мне после паузы дребезжащий старческий голос,– пожалуйста, не звоните сюда больше.

6

И снова справочная служба; на сей раз прошу дать мне телефон МВД ФРГ, парламентского статс-секретаря фон Шеелера.

– О, здравствуйте, господин Семенов,– ответил помощник,– нам все рассказала директор газеты «Цайт» графиня Дёнхоф, мы в курсе. Пожалуйста, свяжитесь с господином Гаснером, это руководитель подразделения, занимающегося поиском краденых произведений культуры, а также охраной памятников старины. Его телефон очень прост – 781, всего три цифры, так называемый оперативный номер, или же второй, городской, 51.433.

Конечно же я позвонил по оперативному, интерес во всем – прежде всего!

– Добрый день, господин Семенов, я ждал вас. Приезжайте, поговорим не по телефону.

Мы уговорились о времени приезда, я положил трубку и только тогда позволил себе посмеяться: «поговорим не по телефону», да еще в устах сотрудника полиции, звучит очень забавно.

Господин Гаснер прекрасно держал себя, хотя в глазах его было недоумение, настоянное на опасливом интересе: он впервые го-

ворил с советским визитером, я был первым в этом здании МВД ФРГ, в небольшом кабинете, беленном гладкой краской, словно в больнице. К господин Гаснеру присоединился коллега, и мы начали собеседование.

– Мы бы рады помочь господину Штайну, но вы должны понять нас, юристов,– говорил господин Гаснер.– Мы требуем доказательств! Мы бессильны предпринять что-либо, пока не, хватает главного недостающего звена: если согласиться с предположением Штайна, что Янтарная комната была действительно вывезена из Кенигсберга, то каков был ее путь в Геттинген?! Если мы примем на веру версию господина Штайна, что сокровище укрыто в шахте «Виттекинд», что в Фольприхаузе, то каковы номера вагонов, прибывших туда с севера?! Доказательства! Мы ждем их с нетерпением! Я, кстати, приготовил для вас информацию, которой вы вправе поделиться с господином Штайном: по новым сведениям, которые нам удалось получить, из Кенигсберга зимой сорок четвертого вышли три судна – «Гойя», «Густлоф» и «Бранденбург». Что касается первых двух, то они были потоплены, а их поисками занимались ваши польские коллеги, они интересуются судьбою польских культурных ценностей... Однако, по нашим данным, «Бранденбург» потоплен не был. Более того, это судно якобы,– господин советник МВД предостерегающе поднял палец,– я подчеркиваю, я к о б ы, приняло на борт один железнодорожный вагон в конце 1944 года в Штеттине. Опять-таки я к о б ы на судно пришло предписание доставить этот вагон в Геттинген. Может быть, эта информация послужит нитью для вашего друга из Штелле? В добрый час! Федеральное правительство лишь тогда сможет затратить деньги на поиски в затопленной шахте, когда документы будут неопровержимы,– иначе мы не умеем поступать, такие уж мы люди!

...Через два дня после того, как первая корреспонденция о Штайне и его поисках культурных ценностей была опубликована в «ЛГ», мне начали поступать письма.

Директор Института по исследованию и розыску подземных складов в Пассау господин Луи Барш предложил свои услуги: «Возьму лишь половину клада, и то деньгами, но пусть сначала мне позволят поднять клад Наполеона в белорусских озерах».

Раздался телефонный звонок:

– Добрый день, это Энтони Тэрри, заведующий европейским бюро лондонской газеты «Санди таймс». Пришлите мне, пожалуйста, текст вашей корреспонденции, я связан со Штайном уже несколько лет, меня интересует это дело! Ах, у вас еще у самого нет газеты?! Хм-хм. Хорошо, я куплю в Париже и от-

правлю перевод Штайну, он очень ждет. Запишите мои номера телефонов, нам следует увидеться.

Энтони Тэрри – один из наиболее известных представителей британской журналистики в Западной Европе. Любопытно. Вот уж никак не думал, что статья может вызвать такую реакцию.

Снова звонят, на этот раз журналисты из столицы ГДР:

– Добрый день, наш ученый, доктор Пауль Колер, хочет обсудить с тобою проблемы дальнейшего поиска, он отдал этому делу добрых пятнадцать лет и готовит сейчас свою публикацию для журнала «Фрайе Вельт».

Последний звонок, ночной, поднял меня с кровати. Глухой голос, чуть надтреснутый, но сильный:

– Я бы не советовал вам продолжать то дело, которое вы пытаетесь раскручивать. Впрочем, пенять придется на себя. Спокойной ночи.

...Тем не менее, когда часы на кирхе пробили полночь, я подошел к окнам своего одинокого домика и опустил ставни. Вот так-то. Один – ноль в их пользу.

ГЛАВА, в которой рассказывается о том, как убивал, жег и грабил наши музеи фашист Ментен, а также о версии коммуниста Пауля Колера и продолжении поиска Георга Штайна

1

...Дела, связанные с похищением картины,– не редкость на Западе; картины, скульптуры – суть вложение капитала; здесь мало кто руководствуется соображениями духовности, приобретая полотно современного или античного художника; искусство разнесено по каталогам, цены проставлены, эксперты из банков дают рекомендации, просчитав свой ответ на электронно-вычислительных машинах, что стоит покупать, с чем повременить; ныне хорошо идет Пикассо, завтра, глядишь, рынок выявит интерес к девятнадцатому веку, потом, наоборот, ринется к Элу Лисицкому и русскому авангарду во главе с Ларионовым и Гончаровой. Совсем недавно грабители зверски убили восьмидесятилетнюю вдову Василия Кандинского в Швейцарии; наверняка был заказ на живопись от денежного туза, решившего вложить «бумагу» в вечный капитал; мафия легко выполнила задание «боссов».

А сорок лет назад убивали гангстеры в черной форме; и не одну вдову, а десятки тысяч тех, кто имел хоть какое-то отношение к искусству.

...Дело Ментена было у всех на с л у х у; однако, даже если событие происходит в ста километрах от тебя, все равно ты пользуешься вторичной информацией; как Москва слезам не верит, так и журналист обязан верить только тому, что видит и слышит своими ушами, не спуская при этом глаз с лица собеседника.

Поскольку дело Ментена, как мне казалось, связано каким-то образом с поиском Штайна, я решил отправиться в Гаагу, тем более что редакция поручила мне аккредитоваться в Нидерландах, Швейцарии и Австрии.

...Главный редактор «Де ваархейд»— газеты нидерландских коммунистов — Гейс Схредерс, выслушав меня, ответил:

— Штайну предстоят трудные времена. Я даже не могу представить себе, как он сражается в одиночку. Мы стараемся оказывать помощь тем, кто не дает забыть прошедшую войну, выявляет нацистов, докапывается до истины — где похищенное... А он — в одиночку... Экое мужество... Чтобы понять, как мы помогаем справедливости, советовал бы поехать на юг, в Брабант, там есть с кем встретиться по интересующему вас делу.

2

Бреда, столица Брабанта, юг Голландии, тишина, уютность, чистые улочки, маленькие дома — красный кирпич и белые наличники.

Тридцатилетний Ханс Хиленсе встретил меня на пороге своего дома; юная жена, Мариам, укладывала спать трехнедельного сына.

— Итак, все о Ментене? — переспросил он и положил руки на стопку бюллетеней, которые выпускает комитет «Право и о т к р ы т о с т ь в деле Ментена». Член ЦК компартии Нидерландов Ханс Хиленсе — секретарь этого комитета.— Хорошо. Начнем с самого начала.

...В 1923 году молодой голландский бизнесмен Питер Николаас Ментен приехал в Польшу и открыл свое бюро в Голиции, которая тогда была неким средоточием интересов разного рода служб — плацдарм антисоветских акций, кишмя кишевший украинскими националистами, польскими шляхтичами, бывшими австро-вёнгерскими разведчиками — спецами по «славянскому во-

просу», резидентами из Мюнхена, где тогда поднимал голову один из авторов стратегии «Дранг нах Остен», генерал Людендорф, покровитель Гитлера.

Ментен не относился к числу «торговых жуков», падких на быструю и легкую наживу. Его деды были основателями нидерландской нефтяной компании «Датч петролеум», концерна «Унилевер», одного из наиболее могущественных в Европе; отец создал мощную корпорацию «Ментен и Штарк»— ее-то интересы и приехал представлять Ментен-сын в славянский мир, в Галицию, где люди говорили и по-польски, и по-украински, и по-русски...

(При этом надобно отметить и исследовать еще один интересный вопрос: Ментен приехал из страны, где находился в эмиграции кайзер Вильгельм со своим штабом, а среди членов этого штаба были большие доки по «славянским делам».)

Продавая нефть, рис, создавая фабрики по производству какао, скупая польские земли, Ментен в тридцатых годах стал консулом Нидерландов в Кракове. Именно тогда, разворачивая свою торговую империю, он столкнулся с львовским финансистом и землевладельцем Пистинером — тот отстаивал интересы своей денежной империи, началась конкурентная борьба между ними, борьба суровая, кончившаяся в 1941 году, после вторжения гитлеровцев в СССР, когда Ментен сменил цивильный костюм на форму эсэсовского карателя при штабе Шенгардта, шефа СД в Польше и на Украине. Именно в этом-то эсэсовском костюме он участвовал в расстрелах десятков тысяч русских, польских, украинских и еврейских жителей Львова и окрестностей. Именно тогда, в Подгороцах, что возле Львова, Ментен свел счеты со своим конкурентом: вся семья Пистинера была казнена гестаповцами.

(В романе «Третья карта» я писал о том, как гестапо и абвер планировали уничтожение львовской интеллигенции — украинцев, русских, евреев. В архивных документах, собранных тогда мною в Польше, ГДР, ФРГ, явно просматривалась зловещая роль командира батальона карателей «Нахтигаль» гитлеровца Оберлендера, ставшего после войны министром в кабинете Аденауэра. Историки ГДР, Польши, СССР опубликовали материалы о нем. Суда над ним, впрочем, не было — «холодная война» корректировала законы боннской юстиции; пост министра Оберлендер, однако, потерял. В двух или трех материалах промелькнула кличка, данная одному из гестаповцев,— «голландец». Именно этот «голландец» первым — после зверского убийства профессора Тадеуша Островского во Львове — вошел в его квартиру, где была коллекция картин. Все до одной картины были им вывезены. Фамилия этого «голландца»— Питер Ментен.)

– Он вывез в 1943 году три вагона с произведениями искусства из Кракова, Киева и Риги,– рассказывает Хиленсе.

(Прошу читателя запомнить это, ибо поиск Янтарной комнаты тоже привел Георга Штайна к исследованию вопроса о произведениях искусства, вывезенных гитлеровцами из Киева, Харькова, Кракова и Риги.)

– А в 1944 году в Голландию – следом за Ментеном – был передислоцирован и генерал СС Шенгарт, он возглавил службу СД и тайной полиции в нашей стране,– продолжает Ханс Хиленсе.– И встретил его здесь старый друг и «товарищ по борьбе» Питер Ментен. После победы Шенгарт был арестован, судим и приговорен к смертной казни. Его друг Ментен, однако, от суда скрылся, сбежав за границу. Он внимательно наблюдал оттуда за тем, как разворачивалось его дело. Он ждал, какие доказательства против него будут приняты к слушанию. Шел 1948 год, Черчилль уже произнес речь в Фултоне, Трумэн уже открыто провозгласил свою атлантическую доктрину, гитлеровец Оберлендер уже вовсю работал вместе с Аденауэром – одно слово, «холодная война». Поэтому суд в Амстердаме принял к исследованию один лишь факт: работа Ментена в качестве «переводчика» в оккупированной Польше. Остальные факты – его непосредственное участие в расстрелах мирных жителей, похищение произведений искусства, принадлежащих нашему государству и братской Польше,– не были приняты судом во внимание.

Ментен был «осужден» на три года. Что ж, такой приговор устраивал нациста. Он вернулся в Голландию и обжаловал приговор. Был новый процесс, и гитлеровский преступник получил восемь месяцев тюрьмы.

В 1951 году правительство Польши потребовало выдачи гитлеровца, представив дополнительные факты о его злодеяниях. Суд, однако, даже не стал рассматривать документы. Ментен, обладатель роскошных замков в Шотландии и Голландии, «оцениваемый» специалистами в 250 миллионов гульденов – за счет награбленных им произведений искусства,– жил в свое удовольствие, путешествовал по миру, вполне респектабельный член высшего общества.

Некоторые голландские газеты и журналы пытались привлечь внимание к вопиющей несправедливости. Разгар «холодной войны»; началось перевооружение ФРГ, зацвел зловещим цветом реваншизм; в Нидерландах началась новая кампания: «Пора положить конец процессам против так называемых «военных преступников», которые мешают налаживанию наших добрых отношений с Аденауэром».

...Неожиданность – категория весьма странная, до конца непонятная еще. В 1976 году Ментен устроил аукцион «своих» картин. Пахло миллионными сделками. На рынок должны были пóйти картины, обагренные кровью, похищенные из музеев; собственность иных государств и граждан. Это переполнило чашу терпения. На демонстрацию в Амстердаме вышли художники Нидерландов. К ним присоединились участники антифашистского Сопротивления; поддержали рабочие, студенты. Началась новая волна протестов в прессе, причем на этот раз практически в газетах всех направлений. «Де ваархейд» поставила вопрос: почему полиция и министерство юстиции ничего не предпринимают против Ментена – в свете вновь открывшихся обстоятельств?

– Наш комитет,– продолжал Ханс Хиленсе,– да и вся общественность Нидерландов внимательно следили за тем, как представители нашей страны посетили Советский Союз и Польшу, именно те места, где проходили расстрелы мирного населения гитлеровцами в районе Львова; голландские юристы и журналисты встретились с советскими юристами, которые работали под руководством прокурора Руденко, обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе, где СС была признана преступной организацией, а ведь Ментен – человек СС, кровавый человек; в Польше наши люди встретились с работниками Комитета по расследованию нацистских злодеяний. В дело Ментена легли новые материалы – показания свидетелей, данные экспертиз – совершенно неопровержимые доказательства. И тут Ментен дрогнул. Он умел считать: «калькулятор» со стажем, со страшным стажем. В ноябре 1976 года, через пять месяцев после начала кампании против него, он купил билет на самолет, салон первого класса, и приземлился в Швейцарии – вполне респектабельный иностранец.

А через три дня, когда в Нидерландах узнали о побеге преступника, разразилась буря. В парламенте начались дебаты, телевидение вело прямой репортаж из зала до поздней ночи. Оратор от Партии труда А.Косто заявил, что не только министр юстиции, но и все правительство должно отвечать за то, чтобы преступник, подозреваемый в злодеяниях против человечества, предстал перед судом. Оратор от Народной партии за свободу и демократию госпожа К.ван де Коппело отметила, что люди не могут понять, отчего одного преступника арестовывают, а другому позволяют не только свободно жить на своей вилле, но и совершить «побег» за границу. Член парламента коммунист И.Вольф заявил, что дело Ментена нельзя рассматривать отдельно от сборищ неонацистов ФРГ и их постоянных требований о прекращении преследований военных преступников.

После этих дебатов, когда большинство выступавших парламентариев потребовали суда над Ментеном, произошло событие уникальное: власти Берна были вынуждены выдать Ментена. Его привезли в Нидерланды, начался суд.

И тут возникла фигура некоего «эксперта»— профессора юриспруденции Христиана Фредерика Рютера. Писавший свою докторскую диссертацию в Бонне во времена Аденауэра, то есть «холодной войны», Рютер снискал себе известность наглым заявлением: «В Нидерландах все преследования и суды над голландскими и западногерманскими гражданами по поводу второй мировой войны прекращены и сданы в архив». Именно эти слова начинают одну из глав диссертации этого «юриста».

Еще до начала суда, как только Ментен сбежал в Швейцарию, Рютер заявил: «Теперь его не имеют права судить, ибо, уехав, он перестал быть гражданином Нидерландов».

Рютеру, однако, не вняли. Суд над Ментеном начался, и, когда Рютер появился в зале, гитлеровец приветствовал его со своей скамьи:

— Браво, профессор, вами выдвинута прекрасная аргументация!

Во время процесса Рютер развил бурную деятельность. Вместе с адвокатом Л. ван Хейнингеном (тот, правда, теперь отказался от защиты) он посетил гестаповского руководителя Ландау в надежде получить у того некие показания в пользу Ментена. Получил.

Этот же Рютер, начавший изучать «культуру германского права с 1940 года» (прекрасная «культура» юриспруденции нацизма!), потребовал подвергнуть проверке официальную баллистическую экспертизу, присланную из Советского Союза. Как же «профессор», столь преуспевший на ниве прославления гитлеровских «имперских народных судов», может верить хоть чему-нибудь советскому?! Это же русские «недочеловеки», ими в добрые старые времена «культурная германская юриспруденция» не занималась, их без суда отправляли в Майданек и Освенцим...

Несмотря на протесты со стороны судьи Я.Шредера, прокурора Хабермела, «юрист», воспитанный на культуре гитлеровского права, продолжал вести себя нагло и бесстыдно, подвергая форменной травле свидетелей — тех, которые пережили ужасы гитлеризма в далеком сорок первом и которым пришлось столкнуться с адептом гитлеризма в наши дни, в демократическом государстве, столь радеющем о правах человека...

Как, однако, ни изощрялся Рютер, какие «силки» ни расставлял против очевидцев адвокат, ситуация в стране и далеко за ее

пределами не могла не свидетельствовать: гитлеризм не имеет права на прощение – в какой бы то ни было форме...

В декабре 1977 года Ментен был признан военным преступником. Прокурор настаивал на пожизненном заключении; суд, однако, ограничился пятнадцатью годами. Что ж, казалось, справедливость восторжествовала. Не полностью конечно же, ибо не был решен вопрос о том, где находятся картины, награбленные Ментеном в СССР и Польше; какова их судьба; каким образом произойдет их возвращение законным владельцам. Но оказалось, что об этом вообще говорить преждевременно, ибо приговор был обжалован и Верховный суд в Гааге отменил решение амстердамского суда. Мотивы отмены приговора поразительны: поскольку-де в 1952 году, после того как Польша представила документы об участии Ментена в расстрелах, а Гаага отказалась их даже исследовать, министр юстиции дал слово Ментену, что тот больше никогда не будет под судом, приговор следует считать «недействительным», сам факт суда над ним «незаконным».

Это был шок для всех честных людей Нидерландов. В Гааге состоялась манифестация, созванная комитетом во главе с Хиленсе. В манифестации, проходившей в гаагском «Конгрессхале», приняли участие 2500 человек, представлявшие сорок четыре организации. Выступали жертвы фашизма, участники Сопротивления. Все требовали одного лишь – правды. А Ментен в это время жил на своей роскошной вилле в Бларикуме, на Флигвег, неподалеку от Амстердама, принимал гостей, угощал их изысканными винами, посмеивался.

– Члены нашего комитета,– сказал Ханс Хиленсе,– посетили парламентскую комиссию по вопросам юстиции, вручили меморандум: «Как вообще можно было разбирать «довод» Ментена о «честном слове» бывшего министра юстиции? Статья конституции делает противозаконным и невозможным разбирательство этого «довода». Значит, в угоду Ментену была нарушена конституция? Кем? С чьего согласия?» Парламентарии согласились с нами. Согласились они с теми вопросами, которые наш комитет поставил «ко всеобщему обозрению»: во-первых, как получилось, что «подозреваемый» в столь серьзных преступлениях мог свободно уехать в Швейцарию? Во-вторых, отчего до сих пор общественности не известны обстоятельства выдачи Ментена голландским властям? В-третьих, каким образом в печать попал ряд документов из судебного досье, что помогает Ментену строить свою линию защиты? В-четвертых, почему Ментен имеет право столь возмутительно оскорблять во время процесса не только свидетелей, экспертов, жертв, но и судей? В-пятых, кто позволяет Ментену не только ос-

корблять свидетелей из СССР и Польши, но и глумиться над теми государствами, против которых он совершил столь тяжкие преступления? Может быть, все это возможно потому, что судят не столько военного преступника, сколько мультимиллионера Ментена?

Комитет сделал все, что мог, дабы восторжествовала справедливость. Был назначен новый суд – в сентябре 1980 года.

Когда я вновь встретился с Хансом Хиленсе, он сказал, что главная «защита» Ментена – это его миллионы.

– И еще. Видимо, он обладает компрометирующими материалами на ряд «сильных личностей» в стране. Процесс над Ментеном опасен для них. Они, понятно, боятся, что он назовет их имена, если почувствует неизбежность своего поражения. Обратите внимание: именно после наших требований о суде над Ментеном был разоблачен председатель христианско-демократической фракции в парламенте В.Антьес. Он тоже был членом СС, его лишили парламентского мандата, но под суд не отдали. Знал кто-либо из коллег о его прошлом? Бесспорно. Но они молчали.

...Что ж, поживем – увидим. Посмотрим, сколь «объективна» и «законна» юриспруденция «свободного мира»,– ждать осталось недолго, сентябрь не за горами.

Я же со своей стороны хочу задать вопрос голландским юристам: «Когда будут переданы законным владельцам, то есть музеям Советского Союза и Польши, все те произведения искусств, которые были награблены фашистским преступником Ментеном?»

(Осенью 1980 года суд приговорил Ментена к 10 годам лишения свободы; вопрос о картинах не исследовался.)

...Из Брабанта я вернулся в Гаагу – там начался политический скандал, имеющий косвенное отношение к Ментену.

3

...Человек этот высок, по-хозяйски уверен в себе. В кабинет, где собираются генералы, он входит стремительно, здоровается с каждым чуть снисходительно, садится в председательское кресло: начинается заседание штаба той организации, которая провозглашается «защитницей мира и демократии».

Человек, занявший председательское кресло,– Йозеф Мария Антони Хьюберт Лунс, генеральный секретарь НАТО, «главный демократ и защитник мира».

Что знали на Западе о Лунсе?

Знали, что он рожден в 1911 году в Роттердаме, в 1938 году женился, праву и политическим наукам учился в университетах Амстердама, Брюсселя, Лондона и Берлина («Немецкий институт для иностранцев»); затем работал по ведомству иностранных дел – в Берне и Лиссабоне, потом Лондон, Нью-Йорк, с 1956 года – министр иностранных дел Нидерландов. Других данных ни справочники «Кто есть кто», ни сам Лунс не давали.

И вдруг взрывается журналистская бомба: Лунс был членом «национал-социалистического движения»– гитлеровской партии Нидерландов.

Первая реакция Лунса – полное и решительное опровержение.

Что ж, здесь, на Западе, нередкостна сенсация ради сенсации.

Звоню в институт военной документации, профессору Луи де Янгу.

– Профессор, это ваш институт представил документы о нацистском прошлом Лунса?

– Да.

– Кто был фюрером этой партии?

– Фюрером «национал-социалистического движения» в Нидерландах был Антон Андриан Мюссерт.

– Какова его судьба?

– Он был приговорен к повешению в 1946 году.

– Когда Лунс вступил в партию нацистов?

– Судя по нашим документам, он был членом нацистской партии до войны.

– С кем – до оккупации Нидерландов гитлеровцами – голландские нацисты поддерживали контакты в Берлине? С Розенбергом? С фюрером заграничных организаций НСДАП Боле?

– Не только с ними. Движение голландских нацистов имело самые разные контакты с третьим рейхом.

– А когда была оккупирована Голландия? Кто тогда «курировал» их?

– Тогда они подчинялись эмиссару Гитлера обергруппенфюреру СС Зейс-Инкварту, повешенному в Нюрнберге.

– Сколько голландцев погибло от рук нацистов?

– Десять тысяч отдали свои жизни, являясь членами патриотического голландского подполья, семь тысяч умерли в гитлеровских лагерях; сто тысяч евреев были вывезены в Освенцим и Майданек и там сожжены нацистами.

(Профессор Луи де Янг, 1914 года рождения, выпускник Амстердамского университета, редактор антинацистского журнала; во время нацистского вторжения уехал в Лондон, работал коммента-

тором патриотического антифашистского радиовещания «Оранж», с 1945 года – директор института.)

Далее события развивались следующим образом: Лунс был вынужден признать, что он был записан в члены нацистской партии б р а т о м и числился в ее рядах с 1933 по 1936 год. При этом подчеркивается – в с е г о л и ш ь «три года».

Да, кое у кого короткая память. Люди очень хотят забыть все, связанное с нацизмом. Однако слова Ш.де Костера: «пепел Клааса стучит в моем сердце» – стали и нашими словами, нашей клятвой, которая трансформировалась в высокотрагичное: «Никто не забыт и ничто не забыто».

«Лунс был в партии нацистов в те годы, когда они еще не творили своих преступлений, это было бескровное начало их деятельности» – вот как пишут здесь правые.

В 1933 году гитлеровцы подожгли рейхстаг, в тюрьмы были брошены десятки тысяч левых; в 1934 году Гиммлер построил первый «образцово-показательный концентрационный лагерь» в Дахау, через который прошли свой страшный путь к смерти лучшие сыны Германии – коммунисты, социал-демократы, подпольщики-интернационалисты; именно в эти годы в нацистские застенки был брошен и погиб там лауреат Нобелевской премии Карл фон Осецкий; именно тогда были сожжены книги Л.Толстого, Т.Манна, М.Горького, А.Франса; именно тогда были убиты – по плану Геринга – Луи Барту и король Югославии Александр I, именно в те годы было подготовлено убийство канцлера Австрии Дольфуса, предшествовавшее оккупации этой страны.

Шпрингеровская «Вельт», стараясь соблюдать объективность, приводит выдержки как из левых голландских газет, называющих Лунса лгуном, который поначалу отвергал свое членство в нацистском движении, а затем выдвинул версию «брата, записавшего его в члены» гитлеровской партии, так и из правых. Услужливый медведь опаснее врага, воистину: «Вельт» со ссылкой на консервативную голландскую газету «Телеграаф» заявляет: «Национал-социалистическое движение в Голландии было вполне легальным». Что ж, легальной была и партия Гитлера; легальной была партия английских фашистов во главе с Мосли, легальна ныне НДП и ее последователи; вполне легален фашист Пиночет и гитлеровец Стресснер, кровавый фюрер Парагвая. Легальность фашизма – тревожный симптом, особенно в век ядерных вооружений. И когда во главе НАТО стал человек, который был членом «вполне легальной» нацистской партии, повинной в уничтожении десятков тысяч голландских граждан, тогда следует вспомнить древних: «следы устрашают».

...Я передал этот репортаж по телефону из Амстердама, из отеля «Шура», которым владеет Саня Пустыльников родом из Одессы; мы долго сидели в его маленьком баре; Саня играл на балалайке, рассказывал о своей нелегкой жизни, а я думал, что поиск, который ведет Георг Штайн, воистину сложное дело, в котором незримых и мощных противников куда как больше, чем открытых друзей, готовых протянуть руку помощи.

4

– Доброе утро. Вы бы не могли срочно ко мне приехать? Дела весьма серьезны.– Голос Штайна был глух, озабочен.

Вечером я был у него.

– Я хочу обсудить с вами два вопроса: дело с советскими архивами, с одной стороны, и публикацию во «Фрайе Вельт» доктора Колера из ГДР – с другой.

Штайн подвинул свежий номер гамбургского журнала:

– Прочитайте!

Читаю: «Москва требует возвращения балтийских архивов, вывезенных нацистами во время второй мировой войны. Бонн сопротивляется. Регулярно в кабинете профессора Хельмута Румпфа, исполняющего обязанности советника первого класса в юридическом отделе МИДа, раздается звонок: звонит советник советского посольства в Бонне. Русский стереотипно выдвигает требование своего правительства о возвращении культурных ценностей, которые с конца второй мировой войны находятся в архивах Федеративной Республики; столь же стереотипно Румпф отвечает советскому дипломату, что решение еще не принято.

Сотрудники боннского МИДа были застигнуты известием о русских архивах врасплох. До сих пор они исходили из того, что культурные ценности, вывезенные немцами из оккупированных районов СССР, давно возвращены их владельцам,– среди них миллионы книг, брошюр, газет.

Русский дипломат просветил на этот счет боннских бюрократов. В действительности в Марбурге до сих пор хранится часть архива «Курляндских рыцарей», а в федеральном хранилище, в Кобленце,– архив эстонского города Таллина.

Курляндский рыцарский орден, вновь восстановленный в Федеративной Республике, заявляет о своих правах на эти документы. С тех пор как англичане в 1951 году передали архивы курляндским дворянам, «вопросы, касающиеся собственности на эти документы, окончательно выяснены», говорит наследник рыцарей барон фон Хойнинген-Хайне.

Иначе обстоят дела с собранием документов из Таллина, которые в 1944 году были эвакуированы в Восточную Пруссию, а затем через Геттинген попали в Кобленц.

История с возвращением документов поставила правительство в затруднительное положение; с одной стороны, Бонн заинтересован в улучшении культурных связей с Москвой, поскольку заключенное с ней культурное соглашение еще не осуществлено на практике; с другой стороны, сотрудники министерства не имеют намерений расставаться с этими документами».

Я отложил журнал, поинтересовался:

– Какое эта статья имеет отношение к вам, к нашему поиску?

– Прямое. Эти архивы открыл я.

– То есть?

– В процессе поиска Янтарной комнаты мне попались документы, которые оказались некой ниткой. Я потянул за нее – раскрутился клубок. И этот клубок скрылся за дверями боннского МИДа. Я первым заявил во всеуслышание о необходимости немедленного возвращения этих ценностей Советскому Союзу. Естественно, люди, напечатавшие этот материал, не стали упоминать моего имени: зачем делать мне паблисити? Лучше всего замолчать меня и мое дело, словно бы Штайна и не существует. Ничего, я не модная балерина и не честолюбивый поэт, я перенесу это – важно, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки.

– Что вы можете сказать о доводах журнала и профессора Румпфа?

– Все это чушь.– Штайн возмущен.– Каждый, кто знает историю, должен посмеяться над заключением боннских крючкотворов от дипломатической юриспруденции: Таллин был вовлечен в торговлю с Ганзой, поэтому, понятно, многие документы были составлены по-немецки. В делах портовых городов Франции и Англии также много бумаг на немецком языке, особенно в период расцвета Ганзы. Но ведь после упадка Ганзы на смену немецкому пришел язык Нидерландов, потом английский и французский, однако ни Гаага, ни Лондон, ни Париж, насколько мне известно, не претендуют на архивы Федеральной Республики?!

– Этот Рупмф,– замечает фрау Штайн,– просто жулик!

– Доводы боннских юристов – вздорны,– продолжал Штайн,– они, видимо, намерены забыть Московский договор 1970 года, подписанный между нашими государствами, который решил все вопросы, территориальные в том числе, и, понятно, никакие рыцари не вправе претендовать на архивы, они обязаны быть возвращены немедленно. Я знаю о настроениях, существующих кое у кого в Бонне: «Пора свернуть Штайну голову». Ничего, у меня

еще много дел на земле, да и потом помощь графини Дёнхоф, репортеров еженедельника «Цайт», поддержка ряда трезво думающих членов бундестага, видимо, удержат экстремистов от прямых выпадов против меня...

– Что надо предпринять, чтобы ускорить возвращение наших архивов?

– Привлечь к проблеме максимум общественного внимания во всей Западной Европе. Мальчик, напечатавший эту статью,– он тронул журнал,– был у меня, но мало что понял: он увлекся политическими интригами, а судьба советских архивов осталась забытой. Теперь о второй позиции: я получил публикацию доктора Колера во «Фрайе Вельт». Это имеет прямо-таки непосредственное отношение к продолжающимся поискам Янтарной комнаты и других сокровищ советских картинных галерей и музеев, но вносит ряд взрывных коррективов.

Штайн вышел, вернулся с папкой, открыл ее, достал сколотые журнальные листы:

– Это новая версия доктора Колера. Версия весьма интересна. Он утверждает, что какие-то таинственные грузы были вывезены из Кенигсберга не на судне «Густлоф», которое затонуло, не на «Бранденбурге», а на «Эмдене», благополучно добравшемся до Киля в январе 1945 года. Он связывает с судьбой Янтарной комнаты имя гауляйтера Восточной Пруссии Коха больше, чем Розенберга. Более того, судьбу янтарного сокровища доктор Колер связывает непосредственно с именем Гитлера. Почему? И наконец, он задает читателям журнала «Фрайе Вельт» вопрос: «Кто знает или был свидетелем передвижения машин швейцарского Красного Креста или же грузовиков со швейцарскими номерами, перевозившими таинственные ящики в Тюрингии и Саксонии в начале апреля 1945 года?» Почему именно там? Почему швейцарские машины? Серия новых загадок. Значит, версия захоронения Янтарной комнаты в шахте «Б» «Виттекинд» опровергается ученым из ГДР? Значит, он исключает возможность укрытия советских награбленных ценностей в Нижней Саксонии, в районе Фольприхаузен? Я полагаю, что вам необходимо лично обсудить с доктором Колером направление дальнейших поисков: ученый из Берлина, видимо, обладает интересными документами и своей концепцией...

...Из Гамбурга еду в Берлин.

Доктор Колер – лучеглаз, улыбчив, подвижен. Поскольку он читал мои книги, изданные в ГДР, и первую корреспонденцию о Георге Штайне, поскольку мы – т о в а р и щ и, он сразу же перешел на «ты», открыл папки факирским жестом и начал доставать «дела», иллюстрируя ими свой увлеченный рассказ:

– Вот, ознакомься с этим документом. Обрати особое внимание на пометку в нижнем правом углу страницы, тогда тебе станет понятна моя постановка вопроса об особой роли Гитлера в деле с культурным достоянием Советского Союза.

Читаю:

Начальнику штаба
по политическим
вопросам

Берлин,
12 сентября 1944 г.
ул.Принц Луи
Фердинандштрассе, 2

Секретно

Верховный комиссар Украины разместил вывезенные из Киева и Харькова картины и предметы искусства в следующих местах в Восточной Пруссии:

1. Усадьба Риехау под Белау.

2. Господский дом в Айлденхофе. Владелец: граф Шверин.

Речь идет о 65 ящиках, содержание которых точно указано в приложении. Остальные примерно 20 ящиков, 57 портфелей и 1 рулон гравюр до сих пор не имеют инвентарных номеров. Среди картин имеется большое количество очень древних икон, произведений известных мастеров немецкой, голландской и итальянской школ XVI, XVII и XVIII столетий, а также работы лучших русских мастеров XVIII и XIX веков. В общей сложности в наличии имеются ценнейшие произведения из публичного украинского культурного наследия, которые даже при поверхностной оценке стоят многих миллионов. Кроме того, они, будучи единственным собранием произведений такого рода на немецкой территории, должны иметь большое этическое и культурно-политическое значение для любой группы, с которой рейх теперь или в будущем желает сотрудничать.

Согласно распоряжению рейхсканцелярии от 18.11.1940 г. представляется необходимым направить перечень указанного имущества фюреру. Прошу подписать прилагаемый проект.

ПРИМЕЧАНИЕ: предложено мною и партийной канцелярией

15.IX.1944 г. РОЗЕНБЕРГ.

Пометка:

О д о б р е н о ф ю р е р о м.

Доктор Колер объяснил:

– Понял? «Одобрено фюрером». Дело в том, что уже в 1938 году, сразу после оккупации нацистами Австрии, именно Гитлер начал подгребать под свое л и ч н о е ведение все дела, связанные с культурой и искусством. Именно тогда в нацистской бюрократической машине и появился термин «прерогатива фюрера» («фюрер форбехальт»). Был издан его тайный приказ: «Все наиболее ценные произведения искусства должны быть сфотографированы и представлены на рассмотрение мне – я решу их дальнейшую судьбу». (Какой ужас, несостоявшийся художник был намерен по фотографиям решать судьбы картин Рафаэля и Рублева, Рембрандта и Феофана Грека, Тициана и Дюрера, Репина и Брюллова!) Следовательно,– продолжает доктор Колер,– я прошу тебя порекомендовать Георгу Штайну внимательно поискать следы Янтарной комнаты – одного из чудес света – не только в архивах Розенберга, но и в документах рейхсканцелярии Гитлера, Бормана... Я выявил любопытный материал: когда гауляйтер оккупированного Перемышля п о с м е л не показать Гитлеру похищенные им из музея картины, его немедленно расстреляли в гестапо, без суда и следствия. Да, рейхсминистр «восточных территорий» Розенберг был отменным грабителем, но он стоял на третьей ступеньке лестницы, следом за фюрером и Герингом. Наиболее значительные ценности он передавал на рассмотрение фюрера, которого обуревала навязчивая идея создать «музей Гитлера» в Линце, собрав там самые уникальные картины из всех галерей мира. Так что внимание и еще раз внимание по отношению к архивному фонду Гитлера, там могут быть следы...

– А почему ты особо выделил гауляйтера Восточной Пруссии Коха? Отчего ты связываешь его судьбу с поиском Янтарной комнаты? Почему вдруг появилась версия захоронения Янтарной комнаты в Саксонии или Тюрингии?

– Не исследовав п о в о р о т ы гитлеровской бюрократической машины,– ответил доктор Колер,– не поняв все ее змеиные «изгибы», трудно заниматься судьбою похищенных нацистами произведений культуры. Получилось так, что в сорок четвертом году удары Красной Армии, с одной стороны, и взаимное подсиживание в гитлеровской верхушке – с другой, вознесли вверх злейшего врага Розенберга гауляйтера Восточной Пруссии и Украины «партайгеноссе» Эрика Коха. Именно его, Коха,– по явной подсказке Бормана,– и назначил Гитлер главным ответственным за создание «восточного вала» от Варшавы до Литвы. Почему его? Да потому, что Борман должен был в о з -

н е с т и врага Розенберга, ибо он замыслил прибрать к своим рукам не только картины Гитлера, но и все те ценности, которые были выкрадены в Советском Союзе. Для этого Борман ввел в свою хитрую комбинацию директора Дрезденской галереи профессора Поссе. Профессор знал все, связанное с картинами и скульптурами,— выдающийся специалист; причем знал он как те картины, которые предназначались для музея Гитлера (сам отбирал как-никак), так и те, которые были уже складированы в тайные розенберговские «депо» (так назывались склады в ряде замков и соляных шахт.— Прим. *Ю.С.*). Именно ему, Поссе, и была подброшена каким-то незаметным, м ы ш и н о г о цвета человеком идея о целесообразности объединения всех культурных сокровищ в одних руках. Борман, развивая эту идею (его же человеком и подброшенную Поссе), поставил вопрос: «А в чьих же руках надо все это объединить?» Ответ на провокационный вопрос предполагался однозначный: понятно, в руках «лучшего друга художников и скульпторов, великого фюрера германской нации Адольфа Гитлера». Здесь-то и возникает мой особый интерес к Коху. Дело в том, что он, создавая «восточный вал», был посвящен в тайну «запасной столицы рейха», которая была организована в конце сорок четвертого года в Тюрингии, с центром в Одруф. К началу 1945 года там было готово около сорока тысяч квартир для государственного, партийного и военного аппарата, было приведено в состояние «боевой готовности» множество замков, не тронутых авиацией союзников, были оборудованы комфортабельные бомбоубежища и спецсклады в сухих соляных и серебряных шахтах. Отвечал за создание этого объекта статс-секретарь Штуккарт, близкий друг Коха. Перевод фюрера в эту запасную крепость был запланирован Борманом и Геббельсом. Понятно, что именно там и должны были спрятать наиболее ценные сокровища Гитлера. Поэтому выявленные мною документы о Кохе и о его ценностях представляют интерес в поиске Янтарной комнаты. Дело в том, что на корабле «Эмден» из Кенигсберга помимо «ценностей Коха» были вывезены «национальные реликвии» третьего рейха: саркофаг маршала Гинденбурга, гробница Фридриха Великого, того, кстати, который и подарил Петру I Янтарную комнату, целый ряд уникальных музейных документов, принадлежащих университету. Из Киля эти ценности были передислоцированы в Потсдам; я проследил их путь до Бернтероде, откуда они были переправлены в шахты «Пруссия» и «Саксония», спрятаны в штольнях и замурованы, а 9 апреля 1945 года открыты американцами, подняты наверх и вывезены из области, которая по

Ялтинскому соглашению должна была стать советской зоной оккупации. Среди открытых американцами ящиков не было «ценностей Коха», хотя они были вывезены из Кенигсберга тоже на «Эмдене», оттуда же перевезены в Потсдам, хранились в Бернтероде, но затем пути их разошлись: саркофаг и гробница были опущены в шахты, а ящики Коха вместе с другими ценностями были передислоцированы в Веймар и спрятаны в подвал городского музея. Куда же они исчезли из Веймара? Если изучить военно-оперативные планы весны сорок пятого, то окажется, что вывезти эти сокровища можно было только по направлению к Саксонии – все остальные пути были отрезаны. Есть сведения, что именно в начале апреля было отмечено передвижение грузовиков швейцарского Красного Креста под охраной СС. Откуда швейцарские машины в рейхе? Кто их туда привез? Зачем? Была ли среди ящиков Коха, хранившихся в музее Веймара, Янтарная комната? С уверенностью ответить не могу. Однако могу сказать, что доктор Роде, отвечавший в Кенигсберге за Янтарную комнату, был отправлен руководством в срочную командировку в Саксонию в конце декабря 1944 года. Он пробыл там четыре дня. Два дня, проведенные им в Дрездене, мне известны чуть ли не по часам. Два дня вне Дрездена канули в темноту, полнейшая неизвестность, ни одного следа. Какие места в Саксонии он посещал? Видимо, шахты и штольни. Почему об этом ничего не известно? Да потому, что подземные хранилища в те годы были «высшим секретом рейха», знали о них единицы. Надо по крупицам собирать все сведения о штольнях, потому что был приказ гитлеровцев: взрывать шахты, чтобы не допустить перехода укрытых там сокровищ в руки союзников. Так, например, было в Австрии, в «депо» Альт Аусзее, возле Зальцбурга, принадлежавшем ведомству Розенберга: если бы не помощь австрийских партизан (и как мне кажется на основании ряда фактов – безымянного советского разведчика, работавшего в РСХА.– *Ю.С.*), шахта была бы взорвана и все содержимое было бы навечно погребено под землею. (Важно бы поднять историю этого «депо», все содержимое которого досталось американским войскам, запросить военный архив США: кто производил опись поднятых из «депо» предметов, где они затем хранились, какова их последующая судьба? – Прим.*Ю.С.*)

– Следовательно,– заключаю я,– ты полагаешь, что Янтарная комната и другие наши культурные сокровища были укрыты в Саксонии?

– Это – одна из версий,– ответил доктор Колер.– Во-первых, в Саксонии все было готово к приему сокровищ; во-вторых, если

мы получим неопровержимые доказательства, что Янтарная комната была вывезена из Кенигсберга именно на «Эмдене» вместе с реликвиями третьего рейха и «сокровищами Коха», складирована затем в Бернтероде и Веймаре, тогда возникает вопрос – зачем ее было увозить куда-то далеко, если именно там, в Саксонии, были готовы штольни для приема сокровищ?

– А с чего начался твой поиск Янтарной комнаты?

– Тридцать лет назад в Тюрингии, в одном из замков, не пострадавшем от бомбежек, была открыта школа,– ответил Колер.– Учащиеся нашли на чердаке множество янтарных пластинок – они отменно подскакивали, когда их ловко кидали по глади пруда, что возле замка. Один из учеников, став ныне очень уважаемым в республике человеком, рассказал мне пятнадцать лет назад про то, как они, мальчишки, кидали эти янтарные пластинки в пруд, соревнуясь, чья больше подскочит по глади воды. Откуда янтарь в замке Тюрингии? Что это был за янтарь? Вот тогда я и начал копать. И делаю это по сей день. Я не настаиваю, что истинна лишь моя версия, я с уважением отношусь к поиску Штайна. Именно поэтому я и прошу тебя рассказать ему о версии «музея фюрера в Линце», именно поэтому обсуди с ним вопрос о «прерогативе фюрера», именно поэтому я и предлагаю Штайну проанализировать обнаруженные мною документы о секретных совещаниях в министерстве вооружений – может быть, это натолкнет его на поиск новых архивов... Исследовать надо любую версию, от кого бы она ни исходила. Кстати, после моей публикации во «Фрайе Вельт» пришло много откликов. Пришло и письмо от господина Барша из Мерцинга, что на границе с Люксембургом, он полагает, что видел ящики с Янтарной комнатой. Не хочешь с ним встретиться?

5

...Я довольно быстро разыскал этот маленький, белый, солнечный городок, без труда добрался до чистенькой улочки Цум Гипсберг и оказался в домике пенсионеров – улыбчивых, чуть суетливых, глуховатых, так что мне приходилось все время кричать, разговаривая с Баршем, и этот мой крик и его слишком уж тихие ответы (как все глуховатые люди, он боится показаться смешным и говорит подчеркнуто тихо, чуть ли не шепчет) явно диссонировали с той открытой дружественностью, которая отличала рассказ хозяина дома.

– Меня никто не понуждал заниматься этим делом, просто-напросто совесть мучит, понимаете ли,– неспеша вспоминал

Барш.– Я, конечно, не знаю, была или не была Янтарная комната в имении Вильденхоф графини фон Шверин в Восточной Пруссии, я не берусь утверждать, на каком пароходе ее вывозили, но мне все-таки кажется, что гитлеровцы должны были эвакуировать ее сушей, слишком уж велика ценность... Мне кажется, что ее все-таки вывезли на машинах, которые подчинялись гауляйтеру Грайзеру, другу Коха. И вывезли не куда-нибудь, а в замок Горказее, тот самый, который принадлежал гауляйтеру Грайзеру. Но его там уж не было, и поэтому машины прямым ходом, через Нёй-Бентшен и Франкфурт, были передислоцированы в Каринхалле, дворец Геринга. Тридцатого марта сорок пятого года Геринг был на своем поезде на станции Цейленрода. Там я и увидел его, когда проходил мимо, получив отпуск из части,– я был авиатехником; кстати, тогда, на фронте, я и стал чуть хуже слышать от постоянного рева моторов... Солдаты, охранявшие поезд рейхсмаршала, сказали мне, что они едут на юг, в направлении Альт Аусзее, и что в одном из вагонов везут коллекцию янтаря...

(Примечательно, что Геринг в свое время издал приказ, известный ныне по архивному коду как T.454/PC-56/БЛ-000-873+874. Приказ этот заслуживает того, чтобы быть приведенным здесь: «В продолжение принятых мер к сохранению еврейских ценностей шефом военного коменданта Парижа и штабом Розенберга. С означенными ценностями, доставленными в Лувр, поступить следующим образом: сокровища, обозначенные цифрой «1». Их дальнейшая судьба может быть решена только фюрером. Вторая группа сокровищ предназначена для пополнения собраний рейхсмаршала; третья группа предназначена для передачи в музей и библиотеку «высший школы НСДАП» и подпадает под юрисдикцию рейхсляйтера Розенберга; те же сокровища, которые подходят под экспозиции музеев, будут переданы рейхсминистру Геббельсу. Сокровища должны быть немедленно инвентаризованы и перевезены в рейх силами Люфтваффе».)

Об этом приказе в свое время рассказывал мне и Штайн. Я спросил его, нет ли подобного рода документов о русских ценностях. «Нет,– ответил Штайн и добавил: – Впрочем, точнее сказать, так: пока не обнаружены. Но есть документы о комплектации музея фюрера в Линце».– «Кто их подписывал?»– «Шольц,– ответил Штайн.– Он был начальником отдела у Геббельса. Я пытался говорить с ним – он положил трубку, как только услышал мое имя».

«Шольц,– подумал я, слушая Барша.– Мне нужен Шольц. Как к нему подойти?»

Барш закурил, подвинул чашку кофе:

– Попробуйте связаться с фрау Церен, ее телефон 06861–88940. Она может помочь вам в поисках телохранителя жены Геринга, Эммы. Говорят, он работал в Касселе то ли таксистом, то ли шофером после денацификации... И еще: в Эльзасе живет Георг Татерра, выдающийся специалист по янтарю, родом из Кенигсберга... Если вам удастся его разговорить, вы можете получить интересную информацию... А я, чем могу быть полезен в дальнейшем, к вашим услугам...

...Телохранитель Эммы Геринг как в воду канул.

А вот Георга Татерру я нашел под Саарбрюккеном, в Ригельсберг-Сааре, на Параллельштрассе, в его вилле «Восточная Пруссия»...

Поскольку Барш весьма многозначительно посмотрел на меня, произнося слова о том, что Татерру трудно «разговорить», я, отыскав его телефон в справочнике, представился специалисту по янтарю, сосредоточив главное внимание на произнесении моего имени с явно английским акцентом: «Джулиан».

Подействовало.

...И я оказался в большом зале, и напротив меня сидел седой, ухоженный мужчина с тяжелым, внимательным взглядом умных глаз, и руки его устало лежали на тяжелой темно-коричневой плюшевой скатерти.

– Да, о судьбе Янтарной комнаты я знаю почти все, что появлялось в повременной печати,– сказал он, выслушав меня.– Я читал материалы и о специальном «штабе Розенберга», который занимался вывозом ценностей из захваченных районов противника, и о его ближайших помощниках, начиная с Утикаля, этого полубезумца, полуболвана, который тем не менее пустил поиски янтарного чуда по заведомо ложному пути, заявив на Нюрнбергском процессе, что все ценности остались в Восточной Пруссии и там были упрятаны подразделениями СС... Я с интересом отношусь к концепции Георга Штайна,– продолжал он, не обращая на меня никакого внимания, словно бы разговаривая сам с собою.– В такой же мере мне представляется интересным поиск доктора Колера из Берлина. Вы спросили меня о Геринге... Нет... Я служил в отделе штаба ОКВ, который дислоцировался неподалеку от замка Геринга Каринхалле. Я знал, я собственными глазами видел его состояние: в последние месяцы войны рейхсмаршал был полностью деморализован, не до янтаря... Да и потом... Нет, следы этого янтарного чуда нужно искать в документах, связанных с приказами Гитлера... (Я аж напрягся: Татерра чуть не дословно повторил доктора Колера.)

Целые янтарные предприятия работали на Гитлера. Если кто-либо из политиков хотел ему угодить, то дарил изделие из янтаря, обладающего, по убеждению фюрера, «теплыми, целебными свойствами, спасающими от судорог и ревматических болей». Как только Гитлер захватил власть, он сказал известную фразу: «Янтарь – это немецкое золото». Поэтому я и думаю, что к Янтарной комнате Гитлер не допустил бы даже Геринга... Но вот что вызывает у меня сомнение: лучший способ погубить Янтарную комнату – это отправить ее из Кенигсберга морем. В какой мере вы исследовали вопрос о возможности вывоза Янтарной комнаты на машинах? Поездом? Если ее вывезли, то доктор Колер прав: лучшего места для хранения комнаты, чем штольни серебряных шахт в Тюрингии, найти трудно. В то же время я не исключаю версию Георга Штайна о соляной шахте «Б» «Виттекинд» в Фольприхаузене. Я не геолог, но мне кажется возможным взять там буром пробы; если Янтарная комната осталась в «Виттекинде», ей ничего не сделается, ибо то сырье, из которого сотворено седьмое чудо света, насчитывает по меньшей мере шестьдесят миллионов лет. Вы пробовали связаться с хозяевами «Виттекинда»? Обсуждали с ними вопрос о поисковой экспедиции? Не следует обольщаться – дело очень деликатное, дорогостоящее... О судьбе Янтарной комнаты могли знать лишь фанатики Гитлера. Если даже кто-то из них и остался в живых, он будет молчать: нацист – это совершенно испорченный человек, националист, лишенный каких бы то ни было моральных качеств...

...Вернувшись в Бюро, к себе в Лиссем, запросил Москву, есть ли какие-либо материалы о размерах нацистского грабежа в наших музеях, монастырях, библиотеках...

6

И снова еду к Штайну.

– Что ж, пойдем по порядку: судового журнала «Эмдена», где могла быть интересующая нас информация, нет в архивах. Однако капитан «Эмдена» жив. Я запросил «Союз офицеров ВМС», жду ответа, обещали дать адрес. Единственная надежда: капитан взял судовой журнал с собою. А там должны быть все записи, о Янтарной комнате в том числе, если, впрочем, ее загрузили вместе с реликвиями рейха, саркофагом Гинденбурга и ценностями гауляйтера Коха. Если же у капитана нет журнала, то, значит, уже в сорок пятом году были включены особые силы НСДАП и СД, за-

нимавшиеся «обрубыванием» всех концов, отвечавшие за сохранение тайн.

(Верное замечание. До сих пор, например, не объяснена таинственная смерть доктора Роде. Роде погиб накануне того дня, когда он и его жена решили рассказать советским властям все, что знали о судьбе Янтарной комнаты. Пора бы заново исследовать обстоятельства этой загадочной кончины, которая отчего-то считалась «самоубийством». А европейский корреспондент лондонской «Санди таймс» Энтони Тэрри привел показания некоего Зиимана из ФРГ о том, что его дядя, нацистский чиновник Франц Польцен, участвовавший якобы в транспортировке Янтарной комнаты, был убит одним из «неустановленных немцев» накануне прорыва Красной Армии, потому что «знал слишком много».)

– Теперь по второй позиции,– продолжил Штайн.– Я уже успел поискать в фондах Гитлера и Бормна. Да, версия доктора Колера о «музее фюрера» интересна. Вот документы, которые мне удалось получить за это время, ознакомьтесь...

Глубокоуважаемый господин
рейхсляйтер Борман!

Докладываю, что с 25 ноября по 4 декабря 1939 года я находился в Кракове и Варшаве, с тем чтобы выполнить данное мне поручение: составить доклад о видах и объемах конфискованных произведений искусства.

После этого я был в Вене, где продолжил проверку, прерванную в результате начала войны, конфискованных и укрытых произведений искусства.

К конфискованным в свое время коллекциям добавились еще и другие, например коллекция Бонди и польского графа Ланкоронского, которая содержит полотна итальянских художников раннего периода и античные скульптуры из мрамора.

В ближайшие недели эта работа должна быть закончена, что позволит мне в течение января отобрать наиболее ценные вещи для «музея в Линце».

Хайль Гитлер!
Преданный Вам профессор Х.Поссе,
директор Дрезденской
картинной галереи

Я посмотрел на Штайна:

– «Музей в Линце»? Значит, доктор Колер...
– Прав,– отрубил Штайн.– Однако читайте дальше.

Лично рейхсляйтеру Мартину БОРМАНУ
Оберзальберг под Берхгесгаденом

Глубокоуважаемый господин рейхсляйтер!

Докладываю, что вчера, 23 марта 1941 года, я возвратился из 14-дневной поездки в Италию.

Благодаря подготовленной работе принца Филиппа фон Гессена стало возможным приобрести для фюрера около 25 картин, среди них: портрет неизвестного знатного мужчины (Тициан), великолепный двойной портрет (Тинторетто, 1562 г.), картины Морони, Зальвиати, Филиппо Мацолла, Макрино де Альбы; несколько полотен Строцци, Маратта, Кастиглионе, Амигони; портрет жены композитора Россини на фоне интерьера. В результате этих итальянских приобретений средства, предоставленные мне, оказались исчерпаны. Я уже обратился к господину рейхсминистру д-ру Ламмерсу с просьбой пополнить счет в посольстве Германии в Риме.

По пути я побывал в Мюнхене и посмотрел доставленные из Парижа великолепные полотна Рубенса, Ф.Хальса и так далее. В мое отсутствие в Мюнхен прибыл четвертый транспорт с 19 картинами, а также с тремя ящиками произведений искусств, полученных в Голландии из коллекции «Кёнигса». Картины после осмотра нашими реставраторами будут переправлены для «музея фюрера».

Хайль Гитлер!
Преданный Вам профессор Х.Поссе.

Я спросил Штайна:
– Как вы прокомментируете слова «приобрести для фюрера»?
– Читайте, читайте, комментарии на десерт,– ответил он, хмыкнув.

Дрезден, 18 июня 1941 г.
Лично рейхсляйтеру Мартину БОРМАНУ
Берлин, Вильгельмштр., 64.

Глубокоуважаемый господин рейхсляйтер!
Докладываю, что 18.6.1941 г. я вернулся в Дрезден из

очередной поездки в Италию, которую я предпринял также вместе с принцем Филиппом фон Гессеном.

Результат, как принц Филипп фон Гессен должен был вчера сообщить лично фюреру, весьма удовлетворительный.

К отправке в Дрезден готовы около 50 картин, которые фюрер частично видел на фотографиях.

Хайль Гитлер!
Профессор Поссе.

Дорогой партайгеноссе Гиммлер!

Картины и другие предметы искусства, собранные Гитлером для Линца, должны быть временно размещены в монастыре Кремсмюнстер.

Хайль Гитлер!
Ваш Борман.

Штайн дождался, когда я просмотрел все документы, и сказал:

– Версия доктора Колера о «музее фюрера» верна, спору нет. Грабеж русских и украинских музеев отличался от грабежей в Италии лишь по форме: все эти римские «сделки» принца фон Гессена являются темнейшей аферой третьего рейха. Когда в 1975 году национальная галерея и учредительное общество прусского культурного наследия сделали выставку в Далемском музее в Западном Берлине, наследники бывшего владельца «палаццо Мосениго» в Венеции заявили протест и обратились за помощью к прессе Лондона и Парижа... Решение до сих пор не принято... Любопытен допуск доктора Колера, что Борман начал интригу против Розенберга, чтобы все прибрать к своим рукам, используя довод Поссе: «Розенберг не умеет наладить хранение ценностей, все должно принадлежать одному хозяину». Вот документ, который давал Борману все основания начать борьбу против Розенберга.

IV отдел «Розенберг»
II Главному отделу
Берлин Ратибор, 24 августа 1944 г.

Касается: предметов искусства, вывезенных с Украины.

Бывший сотрудник оперативного штаба П.Пфайфер попросил представить ему данные о том, какие предметы искусства, вывезенные с Украины, были укрыты опе-

ративным штабом. Для этого прошу Вас вступить в контакт с начальником оперативного штаба Антоном в Белграде и другими сотрудниками бывшей главной рабочей группы «Украина». От находящихся в Ратиборе сотрудников я получил следующие документы:

1) От начальника главного оперативного отдела Вайзера:

а) обо всем археологическом материале музея г.Керчи,– место укрытия неизвестно (вывезено спец.штабом, сведения можно получить у профессора Штампфусса);

б) обо всем археологическом материале музея в Феодосии (см.пункт а);

в) обо всем материале раскопок музея курганных городов в г.Бахчисарай,– вывезено спец.штабом, отделом «доисторические времена», эвакуировано в Краков, дальнейший путь неизвестен;

г) о части предметов музея изобразительных искусств из Феодосии и Алупки (исключительно картины),– вывезены спец.штабом, «отделом искусств»,– место укрытия неизвестно (транспортировка осуществлялась совместно с археологическим материалом)...

– Следовательно,– продолжал Штайн,– Розенберг не мог навести порядок в собственном «хозяйстве», поэтому надо было у него все забрать, передав ценности в ведение тогда уже мифического «музея фюрера», то есть в руки Бормана. Но я выдвигаю еще одну версию,– ничего не попишешь, немецкая страсть к педантизму. Я убежден, что если Янтарная комната была вывезена из Кенигсберга, то запись об этом должна где-то быть! Должна! И я намерен сосредоточить поиск на этом!

ГЛАВА, в которой рассказывается о мультимиллионершах, о даме, радеющей о демократии и справедливости, укрывающей при этом краденое...

1

Когда я вернулся от Штайна, позвонили из посольства:

– Вам заказное письмо, подъезжайте.

Письмо – краткое, привожу его полностью: «Уважаемый господин Семенов, я прочитал, что вы включились в дело поиска Ян-

тарной комнаты, похищенной в России во время войны. Пожалуйста, позвоните мне в Кельн по телефону, который я убедительно прошу не передавать другим лицам. У меня есть информация, которая, убежден, не сможет вас не заинтересовать. Искренне *Якоб Шрайдер*»[1].

Звоню в Кельн.

– Да, буду рад видеть вас. Меня устроит любое время, я отошел от дел. Когда въедете по трассе из Бонна в город, сверните на кольцевую возле бензоколонки, а там совсем недалеко, вы легко меня разыщете.

Привыкнув к дотошному «первому светофору, второму светофору, тремстам сорока двум метрам, поворому налево возле булочной Мюллера, в витрине которой «выставлен профиль Штрауса, выпеченный из манного теста с добавлением шоколада», я даже несколько растерялся этому чисто русскому «легко разыщете».

Искал я господина Шрайдера долго, опоздал минут на сорок, что по здешним канонам более чем позорно и безответственно, думал уж позвонить, извиниться и попросить о новом «термине», но интерес взял свое. (Интерес, интерес, какое поразительное понятие! Любое искусство возможно, кроме скучного. Как же мы либеральны по отношению к успокоительной скуке, резво проникающей в нашу литературу! Только б все было по привычной схеме! Только читает ли схему наш книголюб? Смотрит ли такой фильм зритель?! Нет, это уже не читают и не смотрят. Таким образом, мы сами отдаем зрителя и читателя на откуп д р у г и м, а те к категории интереса относятся умело и серьезно.)

...Якоб Шрайдер жил в бельэтаже особняка, в одном из самых фешенебельных районов Кельна. Неважно, сколько комнат в твоей квартире, на каком этаже ты живешь, чем отделана твоя кухня. Стоит в Париже сказать, что ты из «16-го арондисмана», и к тебе отнесутся по-особому: люди, живущие в районе Булонского леса,– состоятельные люди; такие же районы есть в Нью-Йорке, Бонне, Вене, Токио: свой узнает свояка издалека, по некоему условному коду, «клуб богатых»...

– Заходите, прошу вас...

Пожилой мужчина; одет подчеркнуто красиво; вместо галстука – шелковое кашне, повязанное легко, со вкусом; рубашка накрахмалена, воротник старомодный, но он старомоден в такой мере, чтобы ныне считаться супермодным,– маленький, упирающийся в брылья щек, ни дать ни взять Бриан; все возвращается на круги своя, мода – не исключение.

[1] Некоторые фамилии изменены

...В комнате мало мебели, но вся она антикварна: огромная, с балдахином кровать, стол красного дерева с ножками столь завитыми, что кажется, будто не мастер их делал, а злодей выворачивал и тянул бедное дерево тисками (даже хруст мне почудился, право).

Господин Шрайдер достал из холодильника несколько бутылок – виски, коньяки, вина; была и «Столичная»; поинтересовался любезно:

– Что будете пить?

– Сейчас – ничего.

– Боитесь полицию? Несколько капель можно, я это досконально знаю, потому что владел таксомоторным парком, бензозаправочными станциями, первым в Федеративной Республике начал применять телефон в машинах моего парка... О, у меня были отлаженные отношения с полицией, так что не страшитесь, сорок капель вполне допустимо, обостряет внимание, да и потом сейчас у «фараонов» пересмена, они тоже норовят выпить свою кружку пива...

Господин Шрайдер плеснул мне виски, долил содовой, положил кусок льда; то же проделал для себя.

– В этом году мне исполнится восемьдесят один год, но я не чувствую возраста, потому что живу в движении и привычках, наработанных в зрелости, до семидесяти, пока я держал в руках дело. Но я и тогда зиму проводил у себя на вилле в Санта-Крус-де-Тенерифе; осенью отдыхал в Майами; ныне я разорен, но привычкам не изменяю, какие-то деньги остались все-таки. Да и потом сын весьма состоятелен, он стоит несколько миллионов, я уступил ему свою виллу в Санта-Крус, а он положил мне ежегодный пенсион – на его счетах в банках это не очень-то отражается, хотя именно я был тем, кто учил его: «Считай пфенниг, только тогда скопишь миллион». Прозит!

– Прозит!

– Как у вас со временем?

– Я располагаю временем, господин Шрайдер.

– Прекрасно! Я полагаю, что главные детали вам целесообразнее обговорить с моим племянником Мишелем, он будет ждать вас в воскресенье на бегах, возле кассы «7» в 16.45. Если вы согласны, я позвоню ему сегодня попозже.

– Какие именно детали я должен буду оговорить с Мишелем?

Шрайдер улыбнулся:

– Называйте его Мишо, он еще молод, я люблю его, настоящий мужчина...

– А что вы хотите сказать по поводу Янтарной комнаты? У вас есть какая-то версия? Имена? Факты? Даты?

– Я просто знаю адрес, где она сейчас находится, господин Семенов! Прозит!

– Адрес?! – Я поразился.– Где же?

– Я ведь сказал, что все детали обговорим с Мишо, господин Семенов, только с Мишелем. Если вы дотолкуетесь с ним – я с радостью продолжу предприятие.

Я вернулся в Лиссем, в свой одинокий деревенский дом, включил телевизор и прилепился к пишущей машинке: нет ничего надежнее,– если надо спастись от нетерпения,– чем всласть поработать за столом и обозначить задачи на ближайшие дни.

А задачи таковы:

1. Постараться разыскать следы Герберта Ломача. Он был одним из ключевых сотрудников в штабе Розенберга по грабежу наших культурных ценностей. В 1944–1945 годах отвечал за организацию тайных складов для произведений искусства в соляных копях Саксонии и Чехословакии. Саксонию он знал отменно, потому что перед войной работал в Дрездене. Два года назад его видели в Кланстхал-Целлерфельде, что в Гарце.

2. Предпринять попытку обнаружить следы еще одного сотрудника Розенберга, доктора Дитриха Розкампа; в начале пятидесятых годов он был хозяином картинной галереи в Гамбурге.

3. Встретиться с начальником личного штаба Гиммлера, нацистским преступником обергруппенфюрером СС Карлом Вольфом.

2

...Наутро адрес Карла Вольфа, высшего генерала СС, начавшего сепаратные переговоры с Даллесом в Швейцарии весной сорок пятого, помогли установить коллеги из мюнхенского Института истории современности.

Позвонил в Дармштадт по телефону, который мне передали историки.

– Вольф,– услышал я резкий, глуховатый голос.

– Господин Карл Вольф?– уточнил я.

– Именно так.

Я представился.

Пауза.

– Вы из Москвы?

– Да, но сейчас живу в Бонне.

– Но имеете право вернуться в Россию?

– Бесспорное.

– Хм. Что же вам надо?

– Увидеться с вами.

– Цель?

– Обсудить некоторые вопросы, связанные с историей второй мировой войны.

– Сколько можете уплатить за встречу?

Я, признаться, опешил:

– То есть как это «уплатить»?!

– Очень просто! Вы ведь намерены опубликовать нашу беседу, не так ли?! Так вот, какую часть гонорара вы можете перевести на мой текущий счет? Я получаю мизерную пенсию, всего триста марок в месяц, это вопиющее нарушение боннским правительством гражданских прав, я никогда не был «черным СС», я всегда был солдатом Германии на дымных полях войны за социальную справедливость и мир!

Ясно?! Вот так-то! Все бывшие генералы СС сейчас оказываются борцами за гуманизм и добро.

– Денег у меня нет, генерал, а вот отблагодарить за беседу парой бутылок водки, обедом и икрою – это мне под силу.

– Хорошо. Завтра в час дня я буду ждать в центре Дармштадта, в итальянском ресторане.– Он назвал адрес и телефон, пожелал спокойной ночи и положил трубку.

...Я опоздал не потому, что хотел опоздать и этим унизить нациста,– просто-напросто запутался в обилии дорожных указателей; в хорошем тоже надобно соблюдать чувство меры.

Молодой итальянский официант в белой рубашке, розовой жилетке и слишком уж обтягивающих черных брюках распахнул дверь; заметив фотоаппарат, указал рукою налево:

– Генерал вас ждет, проходите, пожалуйста.

Я вошел в маленький деревянный зал и сразу же узнал его: Карл Вольф сидел в синем костюме, крахмальной рубашке и туго повязанном синем галстуке. Роста высокого, плечист, кряжист; лицо покрыто темно-желтым загаром – явно генерал не так давно вернулся с гор.

Вольф поднялся, пожал мне руку (она у него такая же большая и о л а д ь и с т а я, как у Скорцени), усмехнулся:

– Я заказал себе еду, не дожидаясь вашего приезда, вы не против?

– Мы ж уговорились, я угощаю, так что, пожалуйста, выбирайте от души.

– Ну, так какие же ко мне вопросы?

– Первый вопрос: где это вы так загорели?

– В горах. Я летаю в Альпы, старые товарищи финансируют наш отдых.

– «Наш»?

– Нет-нет, я одинок, летаю «соло». Когда я говорю «наш», то имею в виду тех, кто оказался разорен после войны...

– Вам приходилось сталкиваться с проблемами искусства, культурных ценностей?

– А как же! Я, именно я, передал Аллену Даллесу ценности из галереи Уфицци! Если б я знал, что американская разведка столь неблагодарна, я б оставил себе пару-тройку полотен и не было бы мне сейчас нужды получать подачку из Бонна – триста марок в месяц, позорная нищета боевого генерала...

– Но вы ведь не сражались на фронте, если мне не изменяет память.

– Я был в такой должности, когда фронт окружал меня повсюду! Американцы поставили условием при начале переговоров о компромиссном мире против большевиков передачу им картинных галерей Италии, чтобы это все не было отправлено в рейх...

– Кому? Гитлеру?

И тут я впервые увидал воочию глаза Карла Вольфа – маленькие, пронзительно-голубые буравчики вспыхнули вдруг, ввинчиваясь в тебя стремительно, безжалостно, т о р г о в о.

– А почему вы решили, что эта живопись предназначалась фюреру?! – спросил Вольф чуть не по слогам.

– А кому же еще? – отыграл я.

Г л а з больше не было; так, стертые, размытые старческие глазки; тихие, добрые, если не знать, кто сидит напротив; дедуля на отдыхе, да и только.

– Ну а разве Геббельс, отвечавший и за музеи рейха, не мог претендовать на эти полотна? – еще аккуратнее отыграл я.

– Вот это ближе к правде,– как-то умиротворенно согласился Вольф, и глаз по-прежнему не было на его лице, значит, вопрос не т р о н у л, значит – м и м о, значит Геббельс здесь ни при чем.

– Или Розенберг?

– Нет, вряд ли. Розенберг в эти месяцы был совершенно потерянным человеком... Фюрер порекомендовал ему сосредоточиться на работе в главном органе партии – «Фолькишер Беобахтер».

– А Борман?

– Что – Борман?! – Глаза-льдинки словно бы отталкивают меня; эк они пронзительны, экие они живчики, диву только можно даваться! И еще одно примечательно: и Скорцени, и многие другие нацисты машинально повторяют имя «Борман», когда ты впервые произносишь его.

– Нет, ничего, я интересуюсь всеми деталями, относящимися к этому комплексу... У вас нет информации о причастности Бормана к проблеме культурных ценностей?

– Он не был к этому причастен.

– Убеждены?

– Абсолютно.

– Мы говорим о последнем периоде нацизма, о весне сорок пятого.

– Верно.

– А если бы речь шла о сорок втором или сорок третьем годе?

Вольф улыбнулся:

– В сорок третьем году речь не могла идти о сепаратном мире, мой дорогой господин Семенов... Американцы умеют считать лучше, чем мы с вами: они высадились в Европу, зная цену каждой картине в галереях Италии и рейха...

– А им были известны расценки на те произведения, которые складировались под охраной СС в тайных горных «депо» Баварии, Саксонии и Австрии...

Оп, г л а з а!

– Это выдумки! Вы чьей информацией пользуетесь?

– Штаб-квартиры фюрера, Гиммлера, Розенберга.

– Не боитесь пропагандистских подделок западных союзников?

– Что-то вы очень западных союзников не любите.

– Они предали меня, выдвинув трибуналу, который принудил боевого генерала провести двадцать лет в тюрьме...

– СС,– добавил я.

– Да, но «зеленого СС». Я был далек от некоторых чрезмерных строгостей, допускавшихся порою «черными СС», гестапо и СД.

– «Чрезмерные строгости»? Как это понять?

– Это надо понять так, что мы защищали идею национал-социализма и были вынуждены нашими же противниками заботиться об их жизнях; разгневанный народ был готов уничтожить всех левых и евреев. Заключив их в лагеря, мы спасли им жизнь.

Он сказал это серьезно, с полной убежденностью в том, что эти заученные еще в тридцатых годах слова – истина в последней инстанции.

– Правда ли, что ваш шеф Гиммлер объявил Франконию будущим «государством СС», где бы царствовали традиции старины и дух возвышенной о т д е л ь н о с т и?

– Да, это так. Центр – Франкония, но с выходом к Марселю: море необходимо солдатам.

– Вы бывали с Гиммлером во Франконии?

– Да.

– Какие бы памятные места Франконии вы порекомендовали мне посмотреть?

– На какой предмет?

– Я же объяснил: меня интересуют вопросы культуры.

Вольф снова чуть улыбнулся:

– Вопросами культуры интересуются политики. Фюрер, например, уделял огромное внимание вопросам традиции искусства, проблеме крови и почвы, поскольку лишь эти два факта делают искусство истинно национальным, разве нет?!

– Вы, конечно, бывали в замке Кольмберг?

Глаза! Они совсем как ледышки, крохотные-крохотные.

– Это где-то в районе Нюрнберга?

– Совершенно верно, под Ансбахом...

– Бывал, конечно, бывал...

– В музее у посла Фореджа?

– Имен я не помню, прошло столько лет...

– А господин Унбехавен? Такого не помните?

Г л а з а!

– Нет, не знаю...

– Вам, конечно, известно, что в замке Кольмберг люди рейхсминистра Розенберга устроили тайный склад культурных ценностей, вывезенных из Советского Союза?

– Да что вы говорите?! Никогда бы не мог подумать – такой благопристойный замок, столь традиционный, истинно национальный...

Генерал явно подтрунивал надо мною.

– Вам бы выгоднее помочь мне своей памятью, генерал.

– Вот как? В чем же выгода?

– Сенсация. За это платят: бывший национал-социалист разоружился, решил помочь справедливости...

– Вы обладаете чувством юмора.

– Иначе трудно жить.

– В вашем пассаже было две неточности. Я не б ы в ш и й – это во-первых, и я не разоружился – это во-вторых.

– Время упущено. Оно – не за вас.

– Ничего. Встанут новые борцы. Встанут.

...Все время нашей беседы за моей спиною стояли два итальянских мальчика-официанта: широко расставив ноги, скрестив руки на груди,– ни дать ни взять личная охрана обергруппенфюрера СС, который все последние месяцы войны «трудился» в Милане, удерживая север Италии под германским владычеством; свя-

зи такого рода – долгие связи, непрерываемые, сказал бы я (мафия и фашизм, читатель помнит?).

Мне поначалу казалось, встреча со старым нацистом страшна лишь постольку, поскольку он, как бацилла, заражает неподготовленных, неграмотных, незначительную часть малоинтеллигентной молодежи. Я недоумевал – в чем притягательность националистского бреда, в чем его манящая сила? Неужели в конце двадцатого века, стремительного века человеческой общности (радио, изучение языков, гастроли театров, обмен выставками живописи), национализм может казаться спасением и от экономических хвороб и политических стрессов? Оказывается, увы, может...

«Мы как нация заслужили право жить лучше всех других»– это один из ведущих тезисов «старых борцов».

А – почему? Кто дал право какой-то одной нации на исключительность? Всякого рода исключительность – шаг к такому неравенству, выход из которого кровав и фатален.

«Именно мы имеем право на лидерство,– вещают старцы,– поскольку наша нация – фермент континентального единства и европейской духовности».

Когда возражаешь, старцы сразу же апеллируют к внимающей националистической молодежи: «Разве человек чужой крови может желать нам добра? Он выискивает неприятное нации, произвольно трактует факты, клевещет на нас! Он обязан делать все, чтобы нам было хуже!»

Я помню, как старцам аргументированно возразил немецкий ученый из Мюнхена; но старцы начали убеждать молодую аудиторию, что ученый этот никакой не немец, поскольку его бабушка была то ли украинкой, то ли чешкой, а кровь отсчитывается по материнской линии. (Как тут не вспомнить расовые законы, которые служат идее исключительности своей нации, начиная с инквизиторов и кончая нынешними расистами в Израиле! Впрочем, «кончая» ли? Нет ли ныне тяги к этой заразе в иных странах и весях?) И ведь этот довод старцев исследовался молодыми людьми, с доводом соглашались, предлагая, впрочем, обсудить, в какой мере бабка отторгает человека от нации, может, допустимо «простить» человеку бабкино чужекровие?! Старцы, однако же, возражали: «Лишь шестнадцатое колено освобождается от чужой крови; человек, который помнит бабку, наверняка чтит ее память, и это естественно, ибо никто так не любит внуков, как бабки, и поэтому добрая память о прародительнице будет постоянной константой духа так называемого «немецкого» ученого»...

...Человечество живет на очень маленькой планете по имени Земля главной проблемой: удастся ли спасти мир от ядерных и

нейтронных снарядов? Удастся ли спасти мир от холода, когда последняя капля нефти будет выкачана из недр? Удастся ли накормить население планеты, когда количество обитателей ее к концу этого века чуть ли не удвоится?! Удастся ли спасти от загрязнения небо, луга, леса?! Нет, это не волнует старцев! Лишь «чистота крови», «расовая замкнутость», «исключительность»!

– Пусть нам не мешают жить так, как жили наши предки!

В наш век сверхскоростей бред национализма – очевидная глупость, но, увы, как много еще людей, падких на истерические завывания маньяков от «крови и почвы»! Неужели это фатально?

...Иногда, после встреч с последователями национал-социализма, базирующегося на идее реанимации «великого прошлого» (начиная с «римской империи германской нации» и кончая третьим рейхом), внимательно присматриваясь к горящим глазам, кликушеской манере вещать, неумению внимать доводам собеседника («существует лишь одна истинная точка зрения – наша, все остальные – порочны и чужекровны»), я начинал думать, что в массе своей адепты расы не что иное, как психически неуравновешенные люди, если не больные. Когда человек заявляет: «Я – самый великий, самый талантливый, однако меня травят люди чужой крови, иной национальной идеи, лишь поэтому я не могу заявить о себе в полный голос»,– тогда диагноз не так уж труден: симптомы мании величия. Но ведь Гитлер смог скрыть свое психическое заболевание, потому что он вещал не о своей исключительности, но об исключительности нации, о том, что нацию угнетают, разжижают ее кровь, разлагают чужой культурой, именноде поэтому немцам надо стать господами мира, лишь в этом – национальное «спасение»...

Молокососы, хранящие ныне дома портреты фюрера, не могут знать,– «старые борцы» тщательно скрывают от них все «негативное», а официальную пропаганду мало интересует проблема формирования будущего поколения,– что в годы царствования Гитлера, в «благословенные времена сильной личности и национального подъема» немцы сидели на карточной системе, правду друг другу сказать не решались, страшась ареста и расстрела, гнили в окопах, оставались сиротами и вдовами, задыхались в бомбоубежищах...

«Нет, все это – пустое, ибо т о г д а не было коррупции, демократической болтовни, царства «денежных тузов», тогда все было нашим, национальным!..»

...Воистину, если бог хочет наказать человека, он лишает его разума. Неужели боги могут вновь решиться на то, чтобы наказать целый народ?!

3

...Бега в Кельне – совершенно особое зрелище. Здесь полно блатных (иначе здешних деклассированных не определишь), которые вьются п о н и з у, экономя на трибунах; там, наверху, в ложах, в удобных креслах устроился «бомонд»; в правительственном отсеке сидел экс-бундеспрезидент с женою,– бывшие президенты пользуются правами, практически равными тем, которыми ублажают президентов функционирующих, разве что охранников поменьше, не более одного-двух.

Хотя ипподром большой, но ощущение тесноты и духоты не оставляет тебя, как только,– с трудом запарковав машину,– ты начинаешь в в е р ч и в а т ь с я в толпу.

Как же устойчив этот иллюзорный мир близкого счастья! Сколько раз умные математики объясняли невозможность выиграть так, чтобы раз и навсегда разбогатеть, сколько раз завсегдатаи перешептывались о том, кто и почему повесился, застрелился, сиганул с моста: вчера еще смеялся, обсуждал планы на будущее, мял в потном кулаке купюру, ан – нету человека, спекся... Химера мечтаний о сладком завтра привела к трагическому концу не один миллион горячих голов. Мечта тоже должна быть дисциплинированной, иначе,– если распустить ее,– черт те куда может привести!

...Мишель ждал меня возле кассы, я узнал его по описанию Шрайдера, да и он сделал шаг навстречу мне. Рука – крепкая; улыбка – белозубая, открытая; одежда – на некоем сломе,– так французы говорят о погоде: «между волком и овцою», серо-синие тона, то есть шикарно, но отнюдь не показно, не броско, рассчитано на ценителя, умеющего определить счет в банке по фасону ботинок собеседника.

– Дедушка хорошо описал вас,– сказал Мишель,– абсолютно точный словесный портрет, словно он работает в группе по борьбе с террором. Будете играть на тотализаторе? Не советую, сегодня х и т р ы е кони. Пойдемте, я кое-что покажу вам. Умеете обращаться с биноклем? Прекрасно. Знакомьтесь,– он подвел меня к красивой стареющей даме и мужчине с синеватым лицом,– это папá и мамочка. Господин Семенов,– представил он меня,– о котором вам говорил дедушка.

– Ах, как приятно,– сказала мама, протягивая руку, один палец которой просто-напросто обвисал от бриллианта.– Не ставьте на девятого, это из конюшни Зиверт, а она – приятельница мерзавки.

– Он пока не знает, кто такая мерзавка,– заметил ей папá, пожимая мою руку.– Хотя надо, чтобы узнал,– сказал он мне.– Вы

действительно из Москвы? Как интересно! Собираетесь вернуться? Тогда не играйте, ни в коем случае не играйте, это говорю вам я, оставивший здесь не менее миллиона, ха-ха-ха!

– Более,– поправила мама,– значительно более. Мужчины – хвастуны, но в данном случае ты скромен, как статистическое управление, мой друг!

Мишель легонько тронул меня за руку; мы отошли к гаревой дорожке; он протянул мне бинокль, кивнул на ближнюю ложу:

– Посмотрите и постарайтесь запомнить это лицо.

Я посмотрел в окуляры: старая дама в ложе пристально разглядывала в свой бинокль меня и Мишо; рядом с нею сидела вторая дама – чуть помоложе, лет шестидесяти, о чем-то оживленно болтая с седоволосым соседом.

– Дама нас разглядывает,– сказал я Мишелю.

– Нет. Не нас. Она смотрит на меня,– ответил он.– Эта дама и ее племянница разорили дедушку, пустили его по миру. У старика было припасено пару миллионов и бриллиантов каратов на двадцать – все это ушло к ним в руки. Алчные, низкие люди. У них и хранится Янтарная комната.

Я опустил бинокль, обернулся к внуку Шрайдера. Он смотрел на меня не мигая, очень спокойно, без улыбки.

– Да-да, я не шучу. Эта старая дама в ложе – госпожа Эрбиг, ее муж входил в число самых богатых людей страны; его богатство состоялось еще при Гитлере, когда он выпускал лаки для авиации Геринга. «Эрболь». Мой папа называет даму «мерзавкой», а ее коней – она держит одну из самых крупных конюшен в Кельне – папа называет «мерзавцами». Напрасно, кони – прекрасны.

Мы не стали дожидаться конца гонок; Мишель сел в свой спортивный двухсотлошадесильный гоночный «мерседес», я пристроился ему в хвост, и мы поехали к дедушке.

– Я не прошу у вас денег вперед,– сказал Якоб Шрайдер.– Только после того, как вы вывезете в Москву Янтарную комнату. По сто тысяч на брата: мне, вам и моему другу Фреду, который видел эту комнату в доме старой дамы в Тессине.

– Вы готовы назвать адрес? – спросил я.

Дедушка посмотрел на брата, тот кивнул:

– А почему бы и нет? – ответил Шрайдер.– Я даю вам адрес, а вы свидетельствуете, что платите деньги,– не вы, естественно, вы должны получить в равной доле со мною,– а государство. По-моему, все справедливо, не так ли?

– Справедливо,– сказал Мишель.– Если вы имеете два свидетельства, господин Семенов, одно – дедушки, а второе – Фреда, то вы или ваша страна,– я уж не знаю, как тут удобней посту-

пить, может быть, на определенном этапе драку надо вести лично вам, как гражданину СССР,– обращаетесь в суд и требуете возвращения краденого.

– Но старая дама говорит, что эта Янтарная комната – подарок ее дедушки к свадьбе,– отвечаю я.– И запрещает кому бы то ни было переступить порог ее дома. Или вы думаете, что прокуратура возьмет на себя смелость вторгнуться в дом той, кто причислен, по вашим же словам, к наиболее богатым людям в государстве?

– Если есть два свидетельских показания,– повторил Шрайдер,– то даме придется отвечать перед законом.

– Вы можете засвидетельствовать, что у дамы хранится именно наша Янтарная комната, господин Шрайдер?

– Я видел фотографию, опубликованную и в «Ди вельт» и в «Цайт». Мне кажется, что именно такие янтарные стены украшали зал в доме мерзавки в Баден-Бадене.

Я открыл портфель, достал цветную фотографию Янтарной комнаты, показал ее Шрайдеру:

– Вы готовы засвидетельствовать, что видели в Баден-Бадене именно эту комнату?

Шрайдер поменял очки, долго рассматривал фото, потом протянул фотографию племяннику, тот лишь пожал плечами:

– Я же не видел, дедушка, я не могу быть свидетелем. В д а н н о м вопросе я не могу быть даже советчиком. Ты убежден, ты и принимай решение.

Шрайдер снова посмотрел фотографию, потом отошел к пишущей машинке, установленной тоже на совершенно диковинном маленьком столике, украшенном бронзой, вензелями и перламутром, вставил в каретку свой фирменный бланк и напечатал: «Подтверждение. Настоящим утверждаю, что примерно три года назад в доме доктора Вольфганга Эрбига в Баден-Бадене, на улице Хершенбахштрассе, 29, я видел Янтарную комнату, величиною примерно пятьдесят квадратных метров. Мне кажется, что комната, которую я видел, и та, что изображена на фотографии, идентичны. Настоящую фотографию Янтарной комнаты предъявил мне для опознания господин Юлиан Семенов из Бад-Годесберга».

Он передал мне текст; затем раскрыл большую записную книгу и продиктовал мне телефон:

– Это номер моего друга Фреда. Он живет на острове Тенерифе, Канары. Он издатель, ему принадлежит журнал «Тенерифа вохе»...

– Позвони к нему,– сказал Мишель.– Расскажи ему о господине Семенове.

Шрайдер набрал номер (связь с Японией, Канарскими островами, США, Новой Зеландией – автоматическая, занимает это минуту, не более, какая разумная экономия времени), дождался ответа, заговорил быстро – здесь приучены считать деньги даже тогда, когда говоришь по самому важному делу: оплата международных разговоров исчисляется секундами, не минутами.

– Фред, здравствуйте, здесь Джак! Фред, напротив меня сидит господин Семенов из Москвы, он писатель. Его интересует, когда ты в последний раз видел Янтарную комнату у фрау Эрбиг? Полгода назад?

Я протянул руку к трубке.

Шрайдер кивнул, выслушал, что говорил ему господин Кольбе, потом перебил его:

– Фред, я передаю трубку русскому коллеге.

– Добрый день.

– Здравствуйте.

– Как бы и мне глянуть на эту комнату?

– Я думаю, это можно устроить. Поезжайте в Тессин, это на границе с Италией. Там найдете моего приятеля, запишите его телефон, зовут его Бруно, он вам поможет.

В трубке щелкнуло, разговор окончен.

Шрайдер достал бутылки из холодильника, разлил по стаканам, поднял свой:

– Считаем бизнес начатым, господа? Мне очень нужны эти сто тысяч марок, да и мерзавка пусть вернет награбленное законным владельцам.

– Это не твое дело,– заметил Мишель.– Это дело господина Семенова. Твое дело – деньги; межгосударственные отношения тебя не должны волновать. Не правда ли? – обратился он ко мне.

– Я против диктата, каждый поступает так, как ему подсказывает совесть.

– Все верно,– повторил Мишель.– Только я за то, чтобы еще раз уточнить: Янтарная комната – ваша, деньги – наши. Более того, я согласен с дедом, вы, в случае успеха, тоже должны получить свою часть, почему бы и нет, молодец, дед, я уважаю в тебе сердце – орган, приложимый более к понятиям девятнадцатого века, чем двадцатого...

Швейцария – совершенно особенная страна. Если ты пересекаешь границу в Базеле (половина города немецкая – половина швейцарская), то вполне можно не останавливаться,– проехал, держа руку во внутреннем кармане пиджака, мимо пограничников, улыбнулся таможенникам, остановился возле табачной лав-

ки, обменял марки на франки – и все, топай себе дальше. Впрочем, должен сделать оговорку: наша пословица «по одежке встречают» сугубо приложима к процедуре переезда тамошних безвизовых границ. Если ты в дорогом пиджаке и галстуке, гладко выбрит, автомобиль твой дорог и тщательно вымыт, тогда полиция махнет рукою, «мол, проезжай», да и таможня рассеянно пропустит, не потребовав декларировать виски, оружие, водку, табак и часы. Но стоит тебе ехать в джинсах, в рубашке без галстука, да если еще побриться не успел,– пенять приходится на себя: процедура проверки будет обычной, въедливой, с соблюдением всех формальностей.

Дорога из Базеля идет по немецкой Швейцарии; постепенно язык начинает меняться, делается еще более жестким, чем в Баварии. Центр немецкой Щвейцарии – Цюрих, хотя жителей Берна это несколько обижает, несмотря на то что этот тихий городок – столица конфедерации. Центром французской Швейцарии считается Женева; хотя я бы таким центром считал Лозанну или Монтре; и конечно же Локарно – центр Швейцарии итальянской.

Боже, как же разнятся эти регионы! Порою трудно представить, что миниатюрные Германия, Франция и Италия составляют единое целое, и не мешает этому ни тараторящая стремительность итальянского языка, ни воркующая галантность французского, ни увесистость и определенность немецкого. Разные культуры живут бок о бок, их адепты не хватают друг друга за грудки в выяснении отношений: «кто кого главней и талантливее», все служит общему – конфедерации. Занятна деталь: Локарно – это Италия, доведенная до абсолюта, с громадными простынями, развешанными между домами, с архитектурой, уносящей тебя в Неаполь, с полицейскими, дирижирующими автодвижением, словно Артуро Тосканини; дорога из Базеля на Цюрих – это деревянные домики с красной геранью и тяжелыми соломенными крышами – типичная Германия начала века, точно по Пастернаку: «Прекрасный, как в детстве, немецкий мотив»; аккуратность во всем невероятнейшая, ни соринки на дороге; и наконец, Монтре или Лозанна, расшабашно грассирующая, но при этом молча и стремительно все подсчитывающая; белые особнячки в стиле рококо, типичная провинциальная Франция; все обращено вовнутрь; штукатурка может сыпаться, но внутри обязана быть мебель времен Людовика и обед из семи блюд с красным и белым вином.

Совершенно меня потрясла зримая разность, когда я миновал перевал Сен-Готард и из немецкой Швейцарии спустился в Бризону, в Швейцарию итальянскую. Всего двадцать километров горной дороги, но ты оказываешься в совершенно другом мире. Во-

обще категория г р а н и ц ы чем дальше, тем более занимает меня. Действительно, как объяснить обшарпанность фасадов Люксембурга и вылизанную аккуратность соседствующего западногерманского городка? Чем объяснить видимую разницу между немецким селением в районе Венло и соседствующим голландским городком – совершенно иная архитектура; красный кирпич, и н с т и т у т лестниц, столь же подчеркиваемый, как и у нас в Грузии, где главная достопримечательность фасада – особенно в Абхазии – лестница, а еще лучше – две! Что это за незримая линия, разделяющая культуру, язык, обычаи?

...Словом, я переехал границу в Базеле и нажал на акселератор, чтобы дотемна успеть проскочить Сен-Готард. Однако за Цюрихом, когда дорога начала ввинчиваться в горы, миновала Альтдорф с его музеем, где хранится махонькая деревянная кроватка генералиссимуса Суворова, повалил весенний снег, быстро таявший, превращавшийся в жирную, скользкую кашу. Загорелись слова на табло, укрепленном вдоль дороги: «Перевал закрыт!» Я поехал на железнодорожную станцию, где формируются автоэшелоны, которые тепловоз протаскивает через длиннющий сен-готардский тоннель; мою машину загнали на платформу, велели поставить на тормоз и включить вторую скорость; я закрыл окна, эшелон двинулся, и шел он сквозь Сен-Готард, и было это до того поразительно, что словом передать нельзя, и вставали за этим русские чудо-богатыри, и противостояние европейских гигантов, и живопись Сурикова, и маленькая кроватка в музее, которую я смотрел в первый свой приезд сюда, когда зашел к мадам возле памятника суворовским богатырям в селение Сен-Готард, около Чертового моста, и мадам показала мне ружья и сабли русских воинов, продала открытки с видами, посетовала на леность молодых «швицов», которые всю мужскую работу отдали «югославам, испанцам, туркам, а сами не смогут скоро не то что дверь починить, но и ребенка сделать», и предложила выпить глоток хорошего вина в память моих соотечественников, павших здесь, на этой земле.

...В маленьком городке Айроло – а это уже итальянская Швейцария – было тепло, снега нет и в помине, а ехать через тоннель всего минут двадцать; небо здесь совершенно особое, иное, чем в немецкой части страны; больше звезд, они ближе к тебе, ярче, весело перемигиваются друг с другом; из открытого окна маленького бара возле станции слышна серенада; звучит итальянская речь; воздух пахнет медуницей, как в Архипо-Осиповке, в дни моей юности, которой, кажется мне сейчас, совсем никогда не было, а порою, особенно если удалась книга или фильм, чудится, что она и не кончилась вовсе.

...В час ночи я был в Асконе, что в Тессине. Город жил сумасшедшей, веселой, южной жизнью. На набережной, за столиками, вынесенными из кафе, сидели сотни, нет, какое там, тысячи людей; говор был многоязыким; одеты все по-летнему, и трудно было представить себе, что в трех часах езды отсюда – снег, а если подняться чуть повыше,– хрустит мороз и горные лыжники готовятся к завтрашним скоростным спускам по бело-голубой наледи.

Я выпил кофе, съел пиццу и обрушился на кровать – такие остались только в Италии и Испании: крестьянские, деревянные, с высокими спинками, невероятно скрипучие, но за этим-то именно скрипом и сокрыта н а д е ж н о с т ь, и чудится, что вот-вот придет старая бабушка, прикроет тебя одеялом, погладит по голове, рядом присядет и сказку расскажет.

Утром я позвонил по телефону, который дал мне Фред.

– Кто? – удивился Бруно.– Семенов? Русский? Из Москвы? Очень интересно. Конечно, я помогу, чем могу. Приходите, обсудим проблему.

Я нашел его маленький домик на окраине Асконы; седой доброжелательный человек провел меня по своему крошечному садику, мы присели на скамейку, в тень; я рассказал, что ищу дом фрау Эрбиг; Бруно повторил, что он готов помочь в поиске.

– Так начнем,– сказал Бруно.– Что вас интересует в первую очередь?

– Адрес фрау Эрбиг.

Бруно достал книгу телефонов, пролистал ее, протянул мне:

– Доктор Эрбиг устроит?

– Вполне, это ее покойный муж.

– Что ж, это дом на набережной, один из самых фешенебельных в Асконе.

– Посмотрим?

– И поговорим с хозяйкой.

– Преждевременно. Сначала необходимо получить свидетельство Фреда, что он видел Янтарную комнату в этом доме. Тогда надо начинать разговор.

– Он обещал вам прислать такое свидетельство?

– Да.

– Едем.

И мы поехали.

...В холле дома на набережной было прохладно, светло и чисто; каменный пол натерт каким-то маслянистым раствором, и из-за этого было до того скользко, что приходилось балансировать руками.

– Вы не упадете,– услышал я голос за спиною.– Идите спокойно.

Мы с Бруно обернулись: пожилой мужчина в униформе, напоминающей ту, в которую очень состоятельные люди одевают своих шоферов,– гладко-синий костюм касторового материала, белая рубашка с карманами и погончиками, шерстяной синий галстук, туфли, отчего-то всегда лакированные. Человек, который рассматривал нас, выйдя из-за небольшой стеклянной двери, видимо, там была комната консьержа, был хмур; лицо словно высечено из камня.

– Добрый день,– сказал Бруно.– Мы хотели бы поговорить с фрау Эрбиг.

– По какому вопросу?

– По интересующему ее,– ответил Бруно.

– Фрау Эрбиг нет дома. Она приезжает сюда из Швейцарии или Германии по четвергам.

– Господин,– Бруно кивнул на меня,– интересуется художественными ценностями...

– Да, художества у госпожи Эрбиг много – и скульптуры, и картины, и мебель, и оружие – чего только нет!..

– А нельзя попросить вас о любезности показать нам коллекцию?

– Ее квартира заблокирована,– ответил консьерж.– Вы же знаете, как сейчас бандитствует мафия.

– Скульптуры на балконе верхнего этажа тоже принадлежат фрау Эрбиг? – спросил я.– Их видно, если смотреть на дом с той дороги, которая ведет к итальянской границе.

– Да, это ее скульптуры. Но самые ценные вещи хранятся в комнатах, которые связаны с полицейским центром по охране сейфов и драгоценностей.

– И у вас нет ключа от ее квартиры? – спросил Бруно, включаясь в д е л о.– Мы были бы весьма признательны вам.

– У меня есть ключи, но нет кода, мой господин,– ответил консьерж,– сразу же приедет полиция.

Когда мы вышли, я спросил Бруно:

– Отчего он все это рассказывал?

Тот пожал плечами:

– Он же натирает пол, чтобы скользило, но не падалось... Как можно любить сверхбогачей? Их ненавидят... А вот до границы с Италией от ворот дома фрау Эрбиг пять километров, и это самая мафиозная дорога, какая только есть, не считая пары дорог в Сицилии... Вам надо поторопиться к Фреду, нужно иметь на руках его свидетельство. Если д а м а узнает о том, что кто-то что-то ищет, ее поступки могут быть непредсказуемыми...

Вечером я вернулся в Женеву, а оттуда первым же рейсом вылетел в Москву.

И в редакции, и в Союзе писателей мне помогли с полетом в Испанию, на Канарские острова: дело действительно вырисовывалось интересным, хотя и в достаточной мере странным. Впрочем, сплошь и рядом странным кажется нам то, к чему мы не готовы. Далеко не всегда мы можем управляться с неожиданным. Уметь приготовить поколение к стремительному с л о м у привычного – задача непростая, но крайне важная, ибо век НТР диктует человеку, следящему за движением космических (или околокосмических) тел, необходимость принимать моментальное решение: нет времени для обсуждения всех деталей с начальством; на все про все отпущены секунды; научись сам принимать решение, иначе история не простит нам заторможенности, или же лени, или страха за собственную точку зрения.

...Возвращаясь к н е о ж и д а н н о м у делу Шрайдера, пришлось еще раз проанализировать факты.

Действительно, письмо Шрайдера могло (и может) показаться странным. Однако если исследовать дело не изолированно, а вкупе, то можно найти объяснение. Впервые большая советская газета рассказала о поиске похищенных культурных сокровищ из Советского Союза. Впервые было названо имя гражданина Георга Штайна, впервые было сказано, ч т о, г д е и к а к он ищет. Не замечать публикации советской прессы, как это пытаются делать на Западе, можно, но – до определенной степени. Думать, что развитие мира возможно без Советского Союза,– наивно. Такая точка зрения отличается м а л о с т ь ю, ущербностью, а потому обречена на опрокидывание; как говорил кто-то из великих американцев: «Можно короткое время обманывать всех людей, долго поддается обману малая часть населения, но постоянно лгать всему народу невозможно». Хорошая мысль, но, думается, необходимы коррективы, увы, не в ее пользу: во времена фашизма, шовинизма, гонения на науку лгать можно долго, ох как долго... Свидетельствую: хороший спектакль, смелая статья политического обозревателя, умная книга находят себе дорогу на Запад; совершенно заблокировать по-настоящему атакующее, своеобычное, содержащее новую информацию практически невозможно. Другое дело – на какое количество людей это выходит, кто перепечатывает тебя, кто предоставляет подмостки твоему театру, какой зал экспонирует твою живопись. Но ведь что узнал один человек, то узнает еще сто, по крайней мере.

...Итак, Шрайдер узнал о поиске Георга Штайна и о том, что мы поддерживаем его в этом деле и гордимся его честностью.

После этого он написал нам. Что двигало им? Желание помочь справедливости? Видимо. Личный интерес? Конечно.

...Да, вполне возможно, что Шрайдер, которого бросила племянница богатейшей фрау, предварительно разорив, хочет, использовав п о и с к, получить свою материальную выгоду. Бог ему судья. Нас же интересует судьба русского культурного богатства, это – главное. То, что он не просил денег вперед, то, что он хотел получить свое лишь п о с л е того, как Янтарная комната будет вывезена, говорило в его пользу. Впрочем, я отдавал себе отчет в том, что, произнося «дважды два», ответ Шрайдер держал для себя: фрау Эрбиг, м о г полагать он, узнав о начале д е л а, предложит ему отступного; он забирает назад свое показание, и на этом все благополучно прекращается. Однако, как объяснили мне ушлые юристы из ФРГ, отобрать показание, данное добровольно, без всякого побуждения с чьей-либо стороны, не так просто и чревато определенного рода последствиями. Слово сказанное не исчезает. Написанное – тем более.

Введение в дело Мишеля было, ясное дело, продиктовано осторожностью и недоверием: здесь, на Западе, при том что манеры – прекрасны, обхождение – полно политесу, никто не верит никому, да и не имеет права верить без включения в дело юриста, без свидетелей – иначе разорят вмиг!

Возник вопрос: отчего Фред так быстро согласился помочь? Но почему бы ему и не согласиться? Тем более, что Бруно рассказал мне любопытные вещи:

– Фред не хочет жить в Европе, не хочет жить в Западной Германии; он приезжает ко мне в гости лишь в июле или в августе, все остальное время этот седоволосый красавец проводит на Канарах, считая, что лучше испанцев нет на свете людей. Что-то было в его прошлом такое, что навсегда восстановило его против нашей старушки Европы. Что случилось, я не знаю, знаю лишь, что он проводит месяц у меня в доме, а потом возвращается на остров. Все остальное время он проводит там; работает в журнале, общается с очень узким кругом лиц; чтение хорошей литературы – единственный досуг.

...Словом, я вылетел в Мадрид, оттуда на Канарские острова и утром был в редакции «Тенерифа вохе»– в маленьком, высвеченном солнцем двухэтажном особнячке.

Милая девушка удивленно посмотрела на меня:

– У вас назначена встреча с доктором?

– Да, я говорил ему, что намерен побывать у него.

– Но господин доктор только что улетел...

– Куда?

– В Европу.

– В Швейцарию?

– Он не сказал, куда именно.

– Когда он вернется?

– Что-то через месяц.

– Но ведь он никогда не улетает отсюда, кроме июля или августа, а сейчас...

– Да, мы и сами в достаточной мере удивлены. Оставьте ваши координаты, если господин доктор позвонит, мы скажем ему о вашем визите и передадим телефон отеля.

Я оставил свой телефон, отправился в отель, набрал номер Бруно.

– Нет, Фред даже не звонил мне, он просто-напросто не может сейчас улететь с острова, тут что-то странное...

Позвонил в Кельн.

Шрайдер выслушал меня, сказал, что свяжется через час.

Он перезвонил через сорок пять минут.

– Я думаю, что против нас начали контратаку,– сказал он.– Боюсь, что вам не удастся повидать доктора Фреда – во всяком случае сейчас. Он действительно вылетел с острова – в неизвестном направлении, внезапно, без предупреждения...

Я возвращался в Бонн через Париж; в аэропорту взял одну из огромных телефонных книг, которые лежат в каждом автомате, долго водил пальцем по названиям редакций – французских и иностранных,– потом начал исследовать просто фамилии и наконец нашел того, кого искал,– Энтони Тэрри, западноевропейского корреспондента лондонской «Санди таймс»; понятно, что тот номер, который он продиктовал мне после появления первой статьи о Штайне, позвонив в боннское бюро «ЛГ», так и остался в Лиссеме, ибо я не мог предположить, что путешествие в Швейцарию окажется столь ломаным в маршруте.

– Кто?! – переспросил Тэрри удивленно.– Ах, тот Семенов! Прекрасно! Хорошо, что позвонили, когда увидимся?

Увиделись ночью, в «Куполе», любимом месте Хемингуэя. Как всегда, здесь было шумно; модные бабочки тонных красавцев, причесанных у парикмахера, соседствовали с пыльными гривами художников, одетых в рванину; турчанки, прикрывавшие лицо сиреневыми газовыми косынками, долженствовавшими изображать чадру, обменивались последними новостями с полуобнаженными «герлз», в коротких штанишках; заезжая кинозвезда, окруженная почитателями, сидела за столиком рядом со студентом, который разложил свои книги и делал конспект, ви-

димо, завтра коллоквиум, надо как следует подготовиться, а нигде так хорошо не сделаешь этого, как в «Куполе», где можно взять чашку кофе и просидеть с нею за столиком пять-шесть часов кряду.

– Вы прилетели сюда неожиданно? – полуутверждающе сказал Тэрри, после того как мы обменялись первыми приветствиями и взяли в руки меню, принесенное подпорхнувшим официантом-другом, милым приятелем, которого ты видишь первый раз в жизни, но он о б я з а н стать твоим другом, ведь он работает в «Куполе», он дорожит честью фирмы, он получает свою корысть от престижа фирмы, он точно знает, как в конце месяца – во время подведения итогов заработка – эта манера заботливого дружества с л ю б ы м клиентом отзовется на его личном дивиденде.

– Да, неожиданно.

– Это связано с поиском Штайна?

– В какой-то мере.

– Рассказать хотите?

– Еще рано.

– Но что-то сдвинулось с мертвой точки?

– А вы полагаете точку отсчета «мертвой»?

– Да.

– Отчего так?

– Оттого, что я знаю Штайна уже десять лет, а поиском занимаюсь с мая сорок пятого.

– То есть?

Тэрри усмехнулся:

– В отличие от вас, я готов рассказать, отчего я занялся поиском и так внимательно слежу за работой Штайна... Во время войны я служил в британской разведке, МИ-6... Да-да, той самой, Джеймс Бонд и так далее, но мы тогда были с вами по одну сторону баррикады, боролись против Гитлера... Словом, в сорок втором меня забросили в Париж, я должен был возглавить одну из наших подпольных групп. Я работал в этом прекрасном городе, оккупированном бошами, совсем недолго: меня выдал провокатор. Потом было гестапо. Допросы. Их допросы. Особые, с пристрастием. А потом я оказался в концлагере. И там я должен был погибнуть. И я погиб бы. Но меня освободила Красная Армия.

Это мой ответ на ваш невысказанный интерес: отчего я влез в поиск Янтарной комнаты и других русских ценностей, похищенных гитлеровцами у вас на родине? Вопросы есть?

– Вопросов нет,– ответил я.

Он протянул мне свою сухую, длинную ладонь, и я пожал ее.

– Вы знаете, что в процессе поиска вам будут ставить палки в колеса, угрожать и лгать в официальных организациях? – спросил Тэрри.

– Почему?

– Потому что мне мешали, угрожали и лгали.

– Ну и что вы мне порекомендуете? Отойти в сторону? Каков ваш ответ?

– Я журналист, я не бюро добрых услуг,– отрезал Тэрри.– Я сам пишу книгу о Янтарной комнате, но я буду долго ее писать, а вы помоложе и можете преуспеть, такова уж моя звезда...

– Словом, вы отказываетесь кооперироваться в поиске и чем можно помогать Штайну?

– Я этого не сказал. Я готов помогать, но – не советовать. Помощь – в традициях Диккенса, а совет требует платы.

– Тогда помогите, Энтони: меня, в частности, сейчас особенно интересует вопрос – может ли мафия быть заинтересована всем этим делом?

– Бесспорно.

– А кто еще?

– О, вы даже не представляете себе, как много людей выразят свое активное беспокойство по поводу всего этого поиска, да это и понятно: с в о е надо уметь защищать до последнего, даже если это твое – краденое...

Утром я вернулся в Женеву, сел за руль «форда», оставленного неделю назад около Дворца наций, и отправился в Лихтенштейн, к барону Эдуарду фон Фальц-Фейну, главе туризма этого маленького княжества, затерявшегося в горах, на границе между Швейцарией и Австрией.

Я вошел в «Квик офис» на центральной площади Вадуца, наклонился к окошечку, где меняют деньги, и спросил:

– Могу я видеть барона?

Женщина обернулась к тому самому мужчине в баварской или, скорее, тирольской курточке, который объяснял мне маршрут в Вену, когда я ехал туда полгода назад, в первый раз, на встречу с министром иностранных дел Виллибальдом Паром; мужчина о чем-то говорил по телефону, заливисто хохотал; его французский был совершенно особым, льющимся, р-р-раскатным.

– Барон,– сказала женщина,– вас.

Барон закончил разговор, улыбчиво поднялся с кресла, подошел к окошечку, спросил по-немецки:

– Чем я могу быть вам полезен?

– Лишь тем,– ответил я,– что вы согласитесь говорить со мною по-русски...

Я никогда не забуду, как высверкнуло у него в глазах, как лицо его дрогнуло и как он, стремительно обернувшись, пошел из своего офиса – навстречу мне в зал, набитый говорливыми американцами и французами: только что прибыло два автобуса с туристами...

ГЛАВА,
в которой рассказывается о том, что и бароны бывают разные...

1

...О бароне фон Фальц-Фейне я узнал совершенно случайно, в Женеве, в баре отеля «Ричмонд», где запрашивал информацию о предстоящем аукционе русских икон, фарфора, серебра и прочих антикварных вещей, проводимом могущественнейшей фирмой «Сотби».

Портье, соединявший меня с филиалом лондонской фирмы, протянул трубку телефона; на другом конце провода записали просьбу отправить каталог по адресу: «Лиссем, Ауф дем Кёленхоф, 35», поинтересовались, только ли аукционы, связанные с русским искусством, интересуют меня; выслушав положительный ответ, порекомендовали приобрести цветные каталоги, хоть цена достаточно велика, но зато информация – исчерпывающая; назвали стоимость, приняли заказ и пожелали всего доброго.

Портье получил с меня деньги за телефонный разговор, выписал счет и заметил:

– Я не думал, что у барона фон Фальц-Фейна так много конкурентов.

– А кто это такой?

– Очень богатый человек, он владеет фирмой туризма в Лихтенштейне; говорят, его родители были русскими аристократами, входили в самый высший свет. Он не пропускает ни одного аукциона; или приезжает сам, или звонит по телефону во время торгов и бьется до победы...

Ну а дальше – дело техники, вопрос пяти минут: добраться до ближайшей почты, войти в зал телефонных переговоров и среди сотен телефонных томов найти один, довольно худосочный по объему – лихтенштейнский, просмотреть его и выписать номер барона и адрес.

...И вот мы едем с ним по маленьким извилистым улицам горного Вадуца – барон на своем гоночном двухместном «мерседесе» впереди, я, прилипнув, словно какой сыщик,– сзади; минуем зуб-

чатые башни замка́ Великого Князя, сворачиваем в совсем уж крохотный проулочек и останавливаемся возле трехэтажной виллы. На двери табличка: «Аскания-Нова».

Барон отворил дверь гаража, загнал свою машину, отпер дверь дома, улыбнулся:

– Милости прошу в матушку Россию.

Он говорит с едва заметным акцентом, но это не акцент иностранца, учившего наш язык; это акцент русского человека, прожившего много лет вдали от Родины.

Я вошел в дом и обомлел – второй раз за пять минут: как, право, не обомлеть, увидав в Лихтенштейне виллу, которая называется «Аскания-Нова», заповедник, известный в Союзе чуть не каждому школьнику?!

Поднимаясь по лестнице, увешанной уникальными коврами, я чуть не спотыкался о связки антикварных книг, рамы картин, об углы каких-то картонных, аккуратно упакованных ящиков, сохранявших формы скульптур.

Мы поднялись в холл этого маленького замка, барон включил свет, и я обомлел в третий уже раз: вокруг меня в торжественном молчании застыли скульптуры Удона, Лансере; на стенах – русская живопись: Айвазовский, Коровин, Кустодиев, Васнецов.

– Что вы сначала хотите? Есть? – спросил барон.– Или немножечко пройтись по экспозиции, подняться наверх, я там покажу вам вашу комнату, вам нечего делать в отеле, да и мне будет не так грустно, все-таки я живу здесь один, постоянно один... Жена, которая ушла когда-то от меня к американцу, поселилась у Грейс Келли, принцессы Монако, она у нее камер-дама; дочь вышла замуж за голландского художника, бросила сцену в Лондоне, она была балерина, по-русски не понимает... Мамочка умерла пять лет назад, царство ей небесное...

Я попросил разрешения подняться наверх, посмотреть коллекции, и мы начали экскурсию; я замер возле гобелена, пробормотав что-то восторженное...

– Вы сказали «гобелен» (он произносит по-французски – «гобелян»). Но это не гобелен. Это ля Мерсье. Огромная разница, невероятная разница! Было три всемирно известных мастера: Гобелян, Обиссон и ля Мерсье. Так вот, ля Мерсье имели фабрику в Петербурге. Они-то и сделали это чудо (во всю стену красовался наш Василий Блаженный, московский храм). Работу им поручила Московская патриархия, и ля Мерсье закончили этот заказ в феврале девятьсот семнадцатого года, когда уж не до храмов было, революция... Семья ля Мерсье вывезла эту единственную в мире вещь в Париж, и я случайно узнал, что ее будут торговать в аук-

цион! Ну и вот она здесь... Видите, какие прекрасные коричневые тона. Ля Мерсье работали только в этих тонах, Обиссон – в зелено-синих, а уж Гобелян позволял себе использовать все краски, как современная живопись... Между прочим, одна из последних представительниц рода ля Мерсье считает себя русской, потому что тот, кто долго жил в России и отдавал ей себя, не может не считать себя русским... А вот бюст императрицы Екатерины Великой... Это ж работа Удона! Подлинник! А как он попал ко мне?! Настоящая детективная история! Правнучка русского писателя фон Визина (он произнес именно так) живет в маленькой французской деревушке, в крохотной комнатке крестьянского дома, ей уже за девяносто, далеко за девяносто. Так вот, она узнала, что в Москве одна из улиц переименована в честь ее предка. И она написала мне письмо, ибо многие эмигранты слышали, что я собираю искусство, а тут еще Олимпиада, и оттуда-то они узнали, что я во многом содействовал тому, чтобы Олимпиада состоялась именно в Москве, а не в Лос-Анджелесе...

– Что?!

Барон рассмеялся:

– Погодите, вы еще и не то про меня услышите! Правнучка продала мне Удона лишь при условии, что я привезу ей из Москвы фото улицы ее дедушки, а я – почетный гость Олимпиады, и я поеду к вам, несмотря на бойкот и насмотря на то, что мои лихтенштейнские питомцы тоже не едут, а ведь именно я дал им медали в Лейк-Плэсиде, я, коренной русский, получивший баронство от Лихтенштейна за заслуги перед новой родиной...

Потом мы зашли в его кабинет – огромный, чуть не сто метров.

– Здесь вы посмотрите уникальные русские книги,– сказал барон,– которые я купил на аукционе в Монте-Карло, когда великий мастер балета Сережа Лифарь распродавал дягилевскую библиотеку, нет ей цены... Я купил самые уникальные книги, невероятные фолианты из крамольной новиковской типографии, рукописные Библии, самые первые русские издания... Может быть, поможете сделать каталог, а? Я ведь с трудом читаю русские слова... Но потом об этом, пошли ужинать...

В маленькой, уютной кухоньке барон включил электрическую печь, достал из громадного холодильника два куска мяса, салат, сыры, сунул хлебы в тостер – движения его были автоматичны, словно бы он каждый день повторял их, и он, словно бы поняв меня, грустно усмехнулся:

– Каждый день одно и то же... Кроме, правда, осени, когда туристский сезон кончается и я уезжаю путешествовать или отды-

хать, чаще всего в Ниццу, к мамочке и дедушке, когда они еще были живы... Ну а теперь расскажите мне про этого немца из Гамбурга...

– Про Штайна?

– Да, про него.

Он выслушал мой рассказ очень внимательно.

– А чем же он живет? – спросил после долгой паузы.– Что его кормит?

– Сад. Яблоки.

– Это дает деньги?!

– Достаточно для того, чтобы питаться и оплачивать счета, которые приходят за копировку архивных документов.

– Значит, разница между ним и мною в том, что он находит русские ценности по архивам, а я скупаю их на аукционах... Сколько ему лет?

– Семьдесят.

– На три года старше меня...

Я растерянно посмотрел на барона: ни единого седого волоска, поджар, крепок, спортивен.

– Да-да,– вздохнул он.– Именно так. Конечно, девушкам я говорю, что мне сорок девять, и они верят, но, когда увлекусь и потеряю осторожность, начиная рассказывать, как я завоевал первенство Франции по велосипеду в тридцать втором году, они ахают: «Вам же тогда был год, Эдвард!»

После ужина мы перешли в кабинет, он включил низкую лампу и начал свой рассказ:

– Если вы посмотрите Большую Советскую Энциклопедию, то обнаружите там мою фамилию. Дядя, Фридрих Фальц-Фейн, был ученым и землевладельцем, который приложил максимум усилий к созданию Аскания-Нова. А я там родился и был крещен... Во мне две крови: пришедших в Россию Фальц-Фейнов и Епанчиных, которые, кстати, тоже пришли в Московию из Пруссии, получили боярские имена Кобыла, Кошка и Епанча и одно время даже претендовали на российский престол. Мои предки адмиралы Епанчины, выигравшие морской бой против турок, похоронены в Лавре в Ленинграде; дедушка воевал против немцев в четырнадцатом году при Гумбинене и Сталюпинене... Дедушка, если хотите, спас Париж; немцы оттянули с западного фронта пятьдесят тысяч отборнейших солдат и две дивизии, это решило судьбу французской столицы... За это маршал Жоффр наградил дедушку «Почетным легионом». А Скобелев высоко отличал моего деда во время освободительного похода в Болгарию. В прошлом году я подарил болгарам работу Лансере – памятник Скобелеву. У бол-

гар есть музей в Плевне, а в том музее стенд дедушки... Вообще у меня очень любопытная семья. Моя двоюродная сестра, ныне покойная, Ольга – родственница Достоевского; двоюродные братья – писатель Владимир Набоков и композитор Николя Набоков, оба почили... Во время войны Коля был в американской армии... Вообще-то он великолепный композитор, написал оперу «Распутин», но она здесь не пошла, люди хотят бездумной музыки, траля-ля... Так вот, в Берлине в сорок пятом году после парада Победы Коля пожал руку маршалу Жукову и сказал: «А все-таки немца победили мы, русские». Жуков удивился: «Вы – американский офицер, почему "мы, русские"»? Набоков объяснил свою историю и с тех пор стал частым гостем у красных... А потом он подружился с послом Петром Абрасимовым, и тот помог с его поездкой в Москву, и там в отеле раздался звонок, оказывается, это был великий Туполев, и он пригласил Николя к себе на дачу позавтракать. Николя, удивившись, конечно, с благодарностью принял предложение и приехал на Николину Гору. «Чем обязан?»– спросил Николя. И Туполев рассказал, что у него в юности был друг Саша Фальц-Фейн, боевой летчик первой мировой войны; он с ним вместе учился в школе. Сашу немцы сбили в воздушном бою, бросили в концлагерь и там замучили. Туполев, зная о родстве Фальц-Фейнов с Набоковыми, устроил в его честь завтрак... После революции мама, оказавшись в Европе, не хотела брать подданства и жила по нансеновскому паспорту. А про меня она думала постоянно, бедная мамочка, она же понимала, что без паспорта – погибель здесь. И мамочка вспомниль (иногда, особенно когда волнуется, он обрушивается в чистый немецкий, но это редко.– *Ю.С.*), что папа нашего нынешнего великого князя был раньше послом Австро-Венгрии в Петербурге. Его приемы были самыми блестящими, о нем говорил свет, и он, как все дипломаты, прекрасно знал, что когда случится, и вот однажды на приеме, после танцев, он шепнул мамá: «Если что-нибудь произойдет, можете рассчитывать на мою помощь». И мамочка приехала к нему уже после войны, и я стал подданным Лихтенштейна... Вот... А баронский титул я получил оттого, что п р и д у м а л здешний туризм. Я заманил сюда американцев после войны. Да-да, не смейтесь, именно так, заманил. Раньше американцы, приезжавшие на туристский отдых в Европу, посещали – на автобусах – Париж, Цюрих и Вену. А я придумал о с т а н о в к у в Лихтенштейне: завтрак, обмен денег, продажа марок и открыток, сувениров с колокольчиками. Психология американца похожа на русскую психологию, в той и другой много детского, одинаковая погоня за престижностью: еще бы, побывать в таинственном княжестве Лихтен-

штейн! И деньги потекли рекою! Открылись кредиты в крупнейших банках! И я стал вице-президентом Олимпийского комитета... Да... Мой первый тесть был президентом МОКа, лорд Ноэль Котес-Бенит... И потом кузен из Финляндии барон фон Френкель тоже влиял на МОК... И когда ваши спортивные лидеры приехали биться за Москву, я начал свою кампанию в вашу поддержку, и кое в чем преуспел, и получил за это вот такое приглашение,— он показал мне красную кожаную папку с тисненым олимпийским символом.

— А когда начал создаваться ваш музей?

— Музей? — он улыбнулся.— А что? Верно сказано! Спасибо за идею... Музей стал создаваться лет тридцать назад, когда туризм начал давать деньги. Я посетил несколько аукционов и увидал, как произведения русского искусства уплывают в руки иностранцев.

Я наладил контакты со всеми антикварами Парижа, Лондона, Рима, Нью-Йорка. Они знают, что я ищу все вещи, связанные с Россией, и покупаю их. Мне пишут, звонят... Я отправляю деньги в аванс, расплачиваюсь по первому же требованию... Вот этого Васнецова я выиграл на аукционе Друо в Париже... А этот уникальный карточный столик для игры в вист, сделанный по заказу Александра II, отыскал в Риме. А это уникальная работа мастеров из Златоуста — подарок России французскому адмиралу... Акварель Бенуа — видите, развод парада в Питере — я купил в Америке...

Он протянул мне листки бумаги:

— Прочитайте...

Бланк антикварной лавки «Санкт-Петербург, Антик Рюс, тел. 508.56.13». Письмо, подписанное хозяином, господином Лемпертом, заслуживает того, чтобы привести его полностью: «Уважаемый господин Фальц-Фейн! У меня имеется чудесная бронза Лансере, 12 тысяч франков; книга в двух томах «Пажеский корпус» 1902 года издания...»

Барон ткнул пальцем в эту строчку:

— Дедушка был шефом Пажеского корпуса, я успел купить эту книгу за пять тысяч франков. Читайте дальше, там тоже интересно.

«У меня есть редкий по своему качеству палаш,— 25 000 франков,— сделан при Петре, в 1710 году; в России есть подобный экземпляр, но он датирован 1716 годом... Имею орден Святой Анны в полном комплекте, звезда и лента в оригинальной упаковке, есть чудные сабли...»

— А каково ваше последнее приобретение?

— О, я бился как лев с одним латиноамериканцем в Нью-Йорке за уникальнейшую вещь! Сейчас покажу...— Он достал из ящи-

ка письменного стола толстую папку.— Вот видите? Это рукописные дневники, рассказывающие о смерти Александра I в Таганроге. Здесь вся история его путешествия на юг, начало болезни, лечение, как себя вел двор, смерть... И тут же какой-то листочек с упоминанием старца Федора.

Он поднял на меня глаза, долго смотрел не мигая, по-птичьи, а потом сказал:

— И вообще, сдается мне, те сокровища, которые ищет благородный Георг Штайн, по сю пору расходятся на аукционах, растаскиваются по миру, в коллекции чужих людей... Что вы хотите, старина стала ныне самым надежным вложением капитала.

2

...Вопрос о том, где искать следы похищенных культурных сокровищ, в каких архивах,— это, в общем-то, вопрос вопросов. Шрайдер — сенсация, в н е з а п н о с т ь, а поиск, если к нему относиться серьезно, требует «научной организации труда».

А тут мелочей нет.

Разве, например, мелочь «ФА»?

Разве нельзя предположить протяженность нитей от (и через) «ФА»— в сегодня? Кстати, кого бы я здесь ни спрашивал, что такое «ФА»,— молчат. А надо бы знать — это одна из тех тайн рейха, которые могут открыть двери в незнакомое. Почему именно эта секретная служба рейха была до сего времени обойдена вниманием западногерманских историков? «ФА», или «Форшунгсамт»,— так называлось секретное учреждение, подчинявшееся непосредственно Герингу; абсолютная закодированность — «Исследовательское учреждение», и ничего больше...

...Когда Ян Масарик, чешский посол в Лондоне, по телефону сообщил президенту республики Бенешу о готовящемся соглашении между Гитлером и Чемберленом относительно раздела Чехословакии, то он и не подозревал, что все его переговоры тщательно записывались в одном из отделов министерства авиации в Берлине, на Шиллерштрассе.

«Знакомство Гитлера с содержанием секретных телефонных разговоров во многом объясняет, почему он вел себя так уверенно во время переговоров с Чемберленом»,— пишет английский историк Дэвид Ирвинг в своей книге «Путь Гитлера к войне». «Абвер, гестапо и СД,— считает историк,— знает почти каждый, но «Форшунгсамт» для многих совершенно неизвестен.

При этом «ФА» был влиятельной анонимной властью, которая держала в своих руках судьбы миллионов немцев. Имея в сво-

ем распоряжении 6000 служащих, станции подслушивания в 15 крупных немецких городах, представителей во всех почтовых отделениях, специалистов шифровщиков и дешифровщиков, «ФА» лучше, чем какое-либо другое учреждение в те времена, шпионил за немцами.

В среднем прослушивалось 1000 телефонов.

Только в Берлине чиновники «ФА» читали ежедневно около 34000 телеграмм внутригосударственного значения и около 9000 телеграмм из-за границы.

Необыкновенно высокой была производительность дешифровщиков: во время войны они расшифровывали в месяц 3000 телеграмм иностранных дипломатов. «ФА» подслушивал разговоры европейских дипломатов со своими министрами, так как европейская кабельная система проходила через Берлин и Вену.

«ФА» следил не только за иностранцами, но и за своими партийными функционерами.

Гауляйтер Юлиус Штрейхер одинаково внимательно следил за любовницей Геббельса, и за Видеманном, адъютантом Гитлера, и за окружением Канариса, и за участниками покушения на Гитлера.

Отчеты «ФА», которые печатались на коричневой бумаге с орлом (из-за этого в узком кругу назывались «коричневыми птицами»), нередко вызывали своим появлением панику и замешательство в учреждениях рейха. «Коричневыми птицами» начинались акции преследования, которые нередко заканчивались концлагерем и виселицей.

Считают, что в январе – апреле 1945 года почти все материалы «ФА» были сожжены. Это объясняет факт, что историкам до последнего времени не приходилось сталкиваться со следами деятельности «ФА».

Ни в энциклопедии Брокгауза, ни в «Лексиконе немецкой истории» название этого учреждения не фигурирует.

Только в конце пятидесятых годов английский историк Дональд Ватт в одном из архивов Лондона натолкнулся на папку из 83 страниц, лежавшую в трофейных немецких документах и принадлежавшую «ФА». Папка была озаглавлена так: «Об английской политике от мюнхенского соглашения до начала войны». Это была большая находка. В папке содержались все переговоры, которые вел английский посланник в Берлине со своим правительством, что было незнакомо даже английским послевоенным историкам.

Своему рождению «ФА» обязан Готтфриду Шапперу, шифровальщику первой мировой войны. Он пришел со своим проектом к Гитлеру; тот отправил его к Герингу, который как раз формиро-

вал министерство авиации. Геринг был в восторге от предложений Шаппера – это означало усиление его власти.

«ФА» были переданы функции подслушивания внутренней телефонной связи. С каждым месяцем и с каждым годом расширялась сфера влияния служб «ФА». Станции подслушивания работали в Теплине и Глинике (под-Берлином), в Кельне, Нюрнберге, Гамбурге. Это было только начало. Старое помещение в министерстве авиации давно уже не вмещало эту организацию, имевшую к 1935 году 15 отделов и шесть групп. «ФА» переехал в блок домов, который назывался Шиллерколоннаде, в районе Берлин-Шарлоттенбург.

Нацисты быстро научились использовать материалы «ФА» против своих политических противников как за границей, так и внутри Германии.

В конце 1933 года сообщения «ФА» помешали группе евангелистских священников свергнуть рейхсепископа Людвига Мюллера, близкого нацистам. Полгода спустя Геринг пришел в рейхсканцелярию с новым скандальным сообщением: «ФА» подслушивал разговоры ведущих деятелей СА, которые неодобрительно отзывались о фюрере. Шеф СА Эрнст Рем носился с идеей «второй революции» и установил даже контакт с французским послом Андре Франсуа-Понсе.

30 июня 1934 года Гитлер расправился со своими противниками.

Первые успехи «ФА» в расшифровке иностранных кодов повысили его роль в нацистской внешней политике. Фюрер требовал, чтобы ему заранее докладывали о намерениях иностранных держав, и заставлял «ФА» все активнее работать в этом направлении.

В 1937 году «ФА» удалось расшифровать сложные французские коды и почти все английские.

Однако понемногу «коричневые птицы» стали надоедать Гитлеру; они мешали его «интуиции». Например, он не хотел верить сообщениям «ФА», что Англия начнет войну против Германии в случае нападения вермахта на Польшу.

Постепенно фюрер перестал читать донесения «ФА», так как это был «пессимистический материал».

«ФА» потерял свою роль ведущего учреждения и стал выполнять служебные функции по отношению к военным учреждениям. Несмотря на это, «ФА» мог записать на свой счет удачно проведенные шпионские операции.

Так, в 1944 году «ФА» расшифровал код французского Сопротивления, из которого следовало, что после определенного ключевого слова, переданного англичанам, начнется высадка союзников на берегах Франции...

Однако чем безнадежнее становилась для Гитлера война, тем меньше значения придавали «ФА».

...Надо искать все следы «ФА»— там могут быть нити к нашим культурным ценностям, учитывая при этом и личность Геринга, одного из главных грабителей среди нацистов.

3

...Очевидно всем: стоит только внимательно посмотреть здешние журналы, проспекты, рекламные брошюры, и жутко делается: история к у л ь т у р ы мира растаскивается по частным коллекциям, а порою и не по коллекциям, а просто-напросто «з а г а ш н и к а м»,— для надежного вложения денег стоит «взять» столик времен Людовика, фарфор древней Японии, картину Васнецова, чертеж Ле Корбюзье.

Вот один лишь (один из т ы с я ч!) проспектов, который я получил в Цюрихе, не считающемся, кстати говоря, истинным центром «культурных» аукционов. Вновь организованная галерея Пьера Коллера на Хехтплатц предлагает к торгу живопись, ковры, старое оружие, 60 икон из России и Греции, в основном семнадцатого — девятнадцатого веков; уникальный иконостас из России, размером 142,7х37,5 сантиметра; серебро, порцеллан, керамику, бриллианты; издание «Ботаники» от 1744 года, Псалтырь пятнадцатого века, живопись Ренуара, Утрилло, Пикассо. Только один Пьер Коллер провел осенью 1980 года следующие аукционы: 23 октября — антикварная мебель; 25 октября — уникальные ковры; 31 октября — живопись семнадцатого — двадцатого веков, в том числе Рембрандт, Ян ван Кессель, Моленар; 1 ноября — графика прошлого и нынешнего века; продаются Шагал, Дали, Кристи, а также наброски Майоля; 5—8 ноября — произведения культуры с Дальнего Востока; 17—18 ноября — бриллианты и золото; стоимость некоторых колье достигает 270 тысяч швейцарских франков; это, впрочем, не так уж интересно,— современные мастера, пусть себе этим торгуют. А вот не расходится ли, не исчезает в сейфах банков (они куда как вместительны!) з н а н и е, и с т о р и я мира?

Я не намерен поднимать голос против аукциона как явления, весьма распространенного на Западе,— это их дело. Однако я за то, что пришло время отладить информационную службу: ч т о продают, к у д а уходит проданное? Может быть, следует выпускать альбомы того, чем торгуют с молотка, коль уж молоток аукционера стал главной оценивающей силой искусства?

В какой-то мере это делает фирма «Сотби», но, во-первых, стоят альбомы продающихся культурных ценностей бешенные деньги; во-вторых, издаются весьма ограниченными тиражами, и, в-третьих, многие на Западе считают, что фирма «Сотби» не чуждается весьма рискованных «левых» сделок, когда паблисити ни к чему, только вредит бизнесу.

Говорят, что в такого рода бизнес подчас втягивают людей искусства, которые не понимают своей роли. Дело в том, что много талантливых живописцев Запада голодны и безвестны, терпят крутую нужду. Если молодому художнику улыбнулось счастье и он попал в поле зрения торговца искусством, тот запрещает ему выставляться на вернисаже в течение двух-трех лет, поит, кормит, дает холст, краски и, самое главное, оплачивает ателье. И вот в течение нескольких лет этот живописец г о н и т т о в а р, попадая в полнейшую финансовую кабалу к хозяину. Тем временем торговец, связанный со всеми картинными галереями и аукционами, начинает – через отлаженные связи с прессой, занимающейся м о д о й на таланты,– п о д п у с к а т ь в газеты статьи о некоем новом «гении», о его странностях, замкнутости, открытости, алчности, доброте или черт те еще чем, п о д о г р е в а я интерес бабушек из-за океана – те страсть как любят открывать новое.

Потом торговец выставляет одну или две картины своего «гения» (а может быть, кстати, это действительно гений!) и – в случае если нет хорошего покупателя – сам покупает, устроив на аукционе или распродаже яростную торговлю с подставным соперником, п о к а з у х а прежде всего...

Высокая цена на картину – залог успеха; газетные рецензии – тем более; нравы не изменились со времен написания гоголевского «Портрета». И чуть что не всю последующую свою творческую жизнь художник вынужден расплачиваться с тем, кто его с д е л а л.

Но это судьба тех живописцев, кому «повезло».

Многие из тех художников, кто не смог найти «благодетеля», начинают сотрудничать с мафией: рассказывают, что ныне существуют тайные центры «написания полотен» Рубенса, Мурильо, Репина, Дега; вовсю работают «концерны» по производству икон, в основном «XVI–XVII веков», и чтоб обязательно из России...

Мне пообещали было знакомые в Западном Берлине устроить встречу с одним из таких «живописцев», я специально приехал туда; встреча, однако, не состоялась.

– Сейчас не время,– сказали мне по телефону, от личного свидания уклонились, кто-то, видно, н а ж а л.

4

...Я, однако, не жалел о командировке в Западный Берлин. Здесь я познакомился с человеком, который передал мне уникальные документы о неонацистах, да и потом, в этом городе у меня многое связано с отцом. Он пришел сюда в апреле сорок пятого, и был он тогда тридцативосьмилетним полковником Красной Армии.

...Никогда не забуду, как сжимал в руках мудреные американские лекарства, которые я купил ему в Нью-Йорке,– они отделяют разум от боли: человек, умирая, смеется и говорит о том, как он скоро будет смотреть мураша за городом – большого, красного, ползущего через лесную, пахучую, игольчатую тропинку в подмосковном лесу,– и как он наконец сядет за стол и напишет воспоминания о Серго, Тухачевском, Бухарине, и как он поедет в Теберду, и найдет ту дорогу, по которой его старшего друга вел Бетал Калмыков, и покажет мне эту маленькую, изумительной красоты дорожку, с которой виден весь Кавказ, и снежные зубчатые вершины его остались такими же, какими были тридцать лет назад, когда эскадрон моего Старика дрался с дашнаками и мусаватистами...

За шесть минут перед тем, как наш самолет приземлился в Шереметьево, Старик спросил, каким-то чудом справившись с предсмертным беспамятством:

– Где сын?

Ему ответили:

– Он едет к тебе.

– Он прилетел? – настойчиво спросил мой Старик.– Он приземлился уже?

Ему солгали:

– Да. Приземлился.

...И это было в жаркий июньский день, и я поехал в госпиталь, но палата отца была пуста; только на подоконнике еще стояли цветы, много цветов – он рос в деревне, но цветы любил городские – красные гвоздики.

Я мог бы прийти на полчаса раньше, и его бы еще не увезли в морг, но я задержался – по своей вине задержался,– и опоздал, и было в палате бело, и только красные гвоздики остались от отца, и запах его трубочного табака. «Папа, прости меня, пожалуйста»,– я впервые сказал тогда, опоздав на шесть минут.

Отец простит, что я задержался по своей вине. Отец простил бы – так точнее. Отцы и матери всегда прощают, и не у них мы просим прощения – у себя, и никогда так остро не ощущается страшное и гулкое понятие невосполнимости, как в тот день, ког-

да уходит твой Старик, и с годами память твоя будет все горше и объемнее рождать видения того, что было, только в этом временном отдалении ты увидишь не только то, что видел тогда, но ты поймешь множество вещей, ранее недоступных тебе, ибо пуповина, связывающая с жизнью новорожденного и определяющая его последнюю материальную принадлежность матери, подобна некой пуповине смерти, когда память становится одной из формул духовной жизни, а если не происходит этого, тогда ты Иван, не помнящий родства, и плохо тебе жить на этой большой земле: нет ничего страшнее духовного сиротства.

Память об ушедших подобна черно-белому кинематографу. Ушлые торговцы искусством, кокетливо именуемые продюсерами, сейчас не берут к прокату черно-белые фильмы – они утверждают, что теперь пошел спрос на широкоформатный цвет, зритель хочет видеть истинные цвета формы хоккеистов и белизну седин Жана Габена. Однако истина конкретна, и потому, видимо, Чаплин, Эйзенштейн и Довженко работали свою правду двухцветной: только люди, лишенные воображения и памяти, не могут понять всю объемность и глубину черного и белого, ибо в этих двух категорических цветах нет ничего отвлекающего от главного. Добро, мужество, высший смысл любви и ненависти не поддаются измерению и расчету по системе математических таблиц. Являясь человеческими качествами, они лишены внешнего (я имею в виду цвет) проявления – они подвластны иному отсчету, куда как более сложному и высокому.

Если каждый из нас закроет глаза и вспомнит лицо дорогого человека, который ушел, то увидит он не синий цвет больничной пижамы, и не желтизну кожи, и не пегие, взъерошенные брови,– он увидит своего Старика всего сразу, с большими, натруженными руками, с добрыми глазами, увеличенными толстыми стеклами очков, в которых сокрыт вопрос: «Сколько ж мне еще осталось, сынок?»– но он никогда такого вопроса не задаст, потому что родители страшатся испугать детей, даже если тем под сорок; они, Старики наши, и в последние свои минуты будут успокаивать нас, и говорить нам напутствия, которым мы никогда не станем следовать,– ведь мы ж такие умные, образованные, научно-техническая революция, заряд информации и все такое прочее, мы ж в словах и терминах поднаторели... Мы, конечно, выслушаем наших Стариков, с горькой жалостью выслушаем, а они почувствуют нашу снисходительность – и ее простят, хотя нет ничего обидней сыновней снисходительности: делятся с сыном только тем, во что верят как в истину, в главную выстраданную правду жизни.

...Неблагодарность бывает вольной и невольной. Судить о том, какая страшней,– удел тех, кто уходит, и остается слишком мало минут, чтобы сказать, и это сказанное было бы Откровением, потому что, когда человек ощущает свой уход, свою долгую разлуку с теми, кто дорог ему, он постигает всю Правду – до конца.

– Ты сегодня молодцом, Старик,– соврал я отцу после операции, зная, что его и не оперировали вовсе – поздно: разрезали и зашили.

– Да,– отвечал он мне,– через пару недель можно будет домой.

– А может, и раньше.

– Раньше-то вряд ли,– принимая мою ложь как необходимую и жестокую игру, но зная всю правду, говорил Старик.– Надо до конца подремонтироваться, надоело лежать на бюллетене, работать хочу.

– На море с тобой полетим.

– Обязательно.– Он заставлял себя улыбаться, чтобы я видел, как он рад тому, что мы вместе улетим с ним к теплому морю.

– Мы ведь с тобой ни разу не были на Черном море вместе.

– Полетим в Адлер? – предлагал Старик, зная, что мы никуда не полетим.

– Лучше в Гагры.

– В Адлер мы ездили с Васей Медведевым, в тридцать пятом, на двух «фордиках». Комарья там тогда было...

– Сейчас там городище. Курортники всех комаров выкурили.

Старик доставал трубку, и она казалась крохотной в его руках, которые перед смертью стали особенно большими, и медленно набивал ее табаком, и глубоко затягивался, и только один раз не сдержался – не сумел скрыть свое з н а н и е.

– Я – единственный, кому эскулапы позволяют курить на нашем этаже смертников.

– Значит, ты выкарабкался.

– Да,– сразу же подыграл он,– это верно. Иначе они бы не позволили мне сосать люльку.

Я смотрел на то, как он жадно затягивается, и как проваливаются его щеки, и с какой тяжкой грустью провожает он взглядом синий тугой дымок, похожий на те, что тянутся из высоких труб; я начинал нести какую-то белиберду – только б не молчать, лишь бы не было тишины, а Старик очень внимательно слушал меня и, лишь когда я замолкал, кивал, а потом вдруг говорил:

– Самое страшное – это когда кричат на детей.

И становилось тихо, и я вспоминал, что отец никогда, ни разу в жизни не крикнул на меня. Он позволял спорить с ним, он терпел даже то, когда я начинал повышать голос: если не хватает

логики, верх берут чувства,— он обижался, затворялся в себе, но ни разу, сколько я помню его, он не смел унизить меня окриком, потому что ребенок лишен права на защиту, ибо его защита — слезы, а это — путь в трусость и бессилие.

...Я смотрел на моего Старика и вспоминал, как в сорок втором, когда я лежал с дифтеритом и в буржуйке потрескивали дрова, а отец только-только вернулся из армии генерала Говорова и привез диковинный подарок — полплитки толстого немецкого эрзац-шоколада, а я не мог его даже попробовать, потому что горло было в белых пористых нарывах, сознание вдруг стало покидать меня и отец схватил меня на руки, и я помню, как он, побелевший, бегал по комнате, звонил в больницу, целовал мое лицо, прижимаясь сухими губами к моим, обметанным заразным жаром, а потом все исчезло, и появилось все снова через полчаса, после укола, когда кризис миновал, и я увидел лицо моего Старика в слезах, и был он моложе меня — того, который сейчас сидел рядом с ним, с умирающим,— на шесть лет, но был он уже батальонным комиссаром, а в подпольный комсомол вступил тринадцатилетним — одногодкой со мной, дифтеритным.

...Когда я хотел поступать в ГИК — все дурни моего возраста мечтают о лаврах лицедеев,— отец тактично, доказательно и дружески просил меня пойти по стопам деда, Александра Павловича, лесника.

— Получишь профессию,— говорил он мне,— если есть в тебе искра, придешь в искусство. Нет ничего страшнее, чем быть приписанным к искусству,— обидно это и нечестно...

Говоря так, он, верно, думал о том, что напору техники нашего века сможет противостоять лишь природа, потому что техника — однолика в своей устремленной мощи, а каждое дерево — это поэзия; Старик, видно, хотел приблизить меня к высокой культуре природы, которая — единственно — и может открыть в человеке Слово. Парадоксальность поколения наших отцов заключалась в том, что они, молясь и служа технике, «которая решает все», были романтиками в глубине души, а всякий романтизм произрастает особенно пышно там, где взору открыты долины, леса и снежные пики девственных гор...

...Я не послушал тогда отца, и он привел меня к Борису Сучкову, его другу, «красному профессору», недавно трагически ушедшему, и тот долго рассказывал мне о том, как работает Сергей Герасимов, и каков в искусстве Довженко, и кем был Эйзенштейн, прежде чем он стал Эйзенштейном, и я поверил Сучкову. А отцу-то ведь не поверил — я ведь поборол его в Покровском-Стрешневе, я сильный, мне восемнадцать, и ничего я не боюсь и почти все уже знаю...

...А потом, в Институте востоковедения, я выучил афганский язык, и отец горделиво просил меня писать мудреные буквы арабского алфавита и победоносно смотрел на лица своих друзей,— и я совсем уж утвердился в осознании своей силы и ума: один ли я такой?! Хорошо бы, если так... (Редко кому из наших Стариков пришлось поучиться в университетах. Институтский диплом, где каллиграфией выведена специальность,— сплошь и рядом ничто в сравнении с бездипломьем Стариков: их университеты были посуровее наших, а профессорами на их кафедрах работала жизнь, не прощавшая незнания — не то что ошибки...)

...Когда Старик ссорился с мамой, я становился на его сторону: я видел, к а к он работал, я понимал, ч е м ему это давалось, но я внутренне требовал — только сейчас я это почувствовал — благодарности за то, что стоял на его стороне, но разве ж можно требовать благодарности за то, что стоишь за справедливость?!

А он благодарил, господи, как он благодарил, отдавая мне всего себя и все, что имел, а что он имел-то, кроме двух пиджаков и желтых ботинок на толстой каучуковой подошве?!

(Впрочем, вправе ли мы судить родителей? Вероятно, нет, особенно в том случае, если истинные их отношения неведомы нам. Но мы-то считаем, что все знаем... Нужна, видимо, такая культура человеческих о т н о ш е н и й, которая до сих пор есть идеал неосуществленный,— иначе бы проблема детей в семье не составляла один из главных предметов мирового искусства.

Мне было страшно читать о том, как разделились дети Льва Толстого, когда он ушел из дома, одни стояли за мать, другие — за отца. Любовь к матери — особого рода, она изначальна, в ней сокрыта преемственность и общность мира, в ней всегда — огромная жалость и тоска, в то время как любовь к отцу слагается из двух векторов, один из которых — проявление отцовской гражданской значимости, а другой — осознание этого нами, детьми.

...Бывал ли мой Старик хоть раз не прав, когда ссорился с мамой? Бывал. И мне тогда было особенно горько, но я всегда вспоминал древних римлян, их литературу: те умели видеть разность труда и меру его тяжести. Мама, когда читала мне древних, учила сострадать тем, кому тяжелее,— и я сострадал отцу. Кого ж винить мне? Маму? Старика? Наверное, себя — коллективизм обязан вывести в примат ответственности не общую, л е г к у ю правду, а личную, самую тяжкую и единственно честную.

...Судью избирают. Дети становятся судьями родителей, и плохо, когда их избирают на этот пост — столь тяжкий и испепеляющий изнутри, разрывающий душу надвое: отец Лермонтова умер

от разрыва сердца, когда сын предпочел ему свою пензенскую, нежную бабушку...

Дети – это миры, и лишь немногие отцы-астрономы наблюдают небесные катастрофы и не очень часто говорят об этом людям, не желая с т р а щ а т ь возможностью горя, всеобщего и неотвратимого... Или я молю незнания? Я слагаю с себя звание судьи – нельзя делить неделимое: мы лишены права выбирать родителей, мы наделены правом понять их: стараться – во всяком случае.)

...Неужели есть некая закономерность, неужели все проходят одни и те же круги, неужели повторяемость – угодна разуму, а то, что должно быть нормой,– анормально?!

...А может быть, подумалось мне, границей, разбившей меня со Стариком, оказалась любовь? Ощущение счастья соседствует с проявлением силы, обращенной не только вовнутрь: рыцарство, при всей его внешней привлекательности, было рождено необходимостью самоутверждения, а это опасная штука – самоутверждение, оно необходимо и разумно в балете, цирке (особенно воздушной акробатике) и парашютном спорте. Бывает ведь, что самоутверждение идет через отрицание соседствующего, когда человек отринул гнилую доктрину зла и насилия,– он прав, при всей резкости его позиции, особенно если это приложимо к политике. Но случается, увы, что мы так же резко отрицаем близкое во имя далекого, явь во имя мечты, привычное – во имя миражного ветра дальних странствий...

Я гонялся за сюжетами, и я не умею рассказывать о том, как я за ними гонялся, я могу только писать про это, ведь Старику было обидно, когда я молчал, курил, морщился, не зная, как рассказать.

А он, видя, как молчу я, тоже молчал и не знал, как ему быть, и заваривал мне чай, когда я приходил к нему в гости, или наливал рюмку, и угощал какой-то особенной селедкой, и смотрел, как понравилась мне она, а я думал о том, что сегодня ночью буду писать главу, и слушал его рассеянно, когда он делился со мной тем, чем жил, и селедку я ковырял вилкой, вместо того чтобы нахваливать ее, даже если не нравится она мне вовсе, и позволял себе советовать ему – так, как это подчас делают взрослые дети, категорично и устало: «Новое время – новые песни, мы сегодняшний день понимаем лучше вас...»

...А может, мы не прощаем отцам то, что красит жизнь, когда это случается с нами? Может, мы не можем простить им последнюю их позднюю любовь, ранимую по-детски, ибо беззащитна она? Неужели же сыновья остаются до старости теми, которые только б е р у т – Материнскую ли грудь, Отцовскую ли руку?

...Я понял, что мне надо написать это, когда поднялся на предпоследний этаж шпрингеровского концерна в Западном Берлине, который построен на самой границе двух миров, на линии Победы отцов. Я смотрел на город, раскинувшийся внизу, на город, который так недавно называли фронтовым — даже после того как отгремели последние залпы прошлой войны.

Я смотрел на этот громадный город, и виделось мне в туманной декабрьской дымке лицо моего Старика.

...С каждым днем их становится меньше — тех, кто сражался с фашизмом.

...Папа, прости меня, пожалуйста.

ГЛАВА, в которой рассказывается о нацистском концлагере в Фольприхаузене и о том, кто и чему учит молодых западногерманских полицейских

1

...Пришла заказная корреспонденция из Штелле.

Штайн переслал мне письмо, предложил подумать, как можно исследовать факты, изложенные в нем.

Письмо воистину интересно:

> «Многоуважаемый господин Штайн, сердечно благодарю за Ваше дружеское послание.
>
> Я твердо убежден, что некоторые предметы из Янтарной комнаты могут находиться все еще там, в Фольприхаузене, в шахте «Б» «Виттекинд».
>
> Естественно, тогда у нас, узников концлагеря Моринген, были другие заботы, чем тревожиться о спрятанных гитлеровцами произведениях искусства в шахте «Б» «Виттекинд». Нас также мало интересовало, что находилось в сундуках и футлярах, которые эсэсовцы заставляли нас прятать на различных этажах шахты. Лишь когда попадались картины, сотни из которых должны еще находиться внизу, мы бросали иногда на них взгляд.
>
> Однако, что укрепляет меня в моем предположении о том, что Янтарная комната может находиться там, внизу, так это тот факт, что эсэсовцы из некоторых взломанных сундуков извлекли себе целые состояния. Помню продолговато-овальную скорлупу из янтаря; она

была украшена двумя орлами. Это были два разных орла, наверное, прусский и русский. Эсэсовцы использовали скорлупу в качестве пепельницы, и я часто держал ее в руках, когда убирал в их помещениях.

Других гравюр или рисунков я не помню; только эти два орла врезались мне в память.

Сундуки с ценностями были сложены в штольнях на глубине 800 или 900 метров, мы туда также доставляли и упаковывали там противотанковые и зенитные снаряды. Там были гигантские штольни-«купола», потолка которых не могли достичь лучи даже самых мощных прожекторов. Там стояли сотни сундуков с печатями, наподобие: SS-Ost-WH-Franks или WL-Franks SS-VT, что, очевидно, обозначало отправителей: WH («армия вермахта») «WL-Wermacht Luftwaffe» («Воздушные силы вермахта») – и место грабежа: Франция, Италия и Россия. Кстати, среди этих сундуков были мешки с человеческими волосами. Янтарную «пепельницу» я заметил у эсэсовцев в первый раз где-то осенью 1944 года.

Следующие бывшие заключенные могли бы Вам дать дополнительные сведения о Фольприхаузене и шахте «Виттекинд»: Гарри Ульман, живет ныне в Западном Берлине, Альтштрассе, дом 68, 1000, Берлин (кстати, этот коллега имеет фантастическую память, однако не любит говорить на темы, касающиеся того времени); Хайнц Фишер, 7021, Штеллен-Фильдер (этот коллега заработал себе тогда сердечную болезнь); Герман Вахтман, «Им Винкель», 2, 3420, Херцберг, 4 (этот коллега тяжело болен). По нижеследующим двум адресам я писал уже четыре раза, но до сих пор не получил ответа. Почта тем не менее не вернулась; это еще Рудольф Винклер, 8211, Римсинг ам Химзее, и Альфред Грассель из Вены.

Почему эти двое не отвечают, я не могу объяснить. Больше адресов на сегодняшний день – за два года поисков – я не раздобыл.

Причина в том, что власти Моринген, где находился лагерь, не имеют ни малейшего интереса копаться в истории, при том, что некоторые поныне служащие сами в то время работали в лагере. Ни одна из газет и журналов, в которые я обращался, не захотела по тем или иным причинам напечатать мою статью на эту тему.

Я сам начал заниматься исследованием два года назад, когда хотел привести в порядок свои пенсионные

бумаги. Я дважды провел свой отпуск в Фольприхаузене и проводил при этом исследование. Как Вы знаете, шахта законсервирована и на ее территории находится теперь керамическая фабрика. В первый раз предприятие было закрыто – время отпусков; во второй раз мне все же удалось совершить экскурсию, однако спуск в шахту заколочен досками. О пожаре в 1945 году мне ничего не могли или не захотели сообщить. От жителей также ничего определенного узнать не удалось. У меня создалось впечатление, что все охотно хотят забыть то время, и этому есть основательные причины, так как многие жители Фольприхаузена работали прежде в соляных копях и были привлечены эсэсовцами в качестве мастеров; многие из них не очень хорошо вели себя по отношению к заключенным; я, во всяком случае, наталкивался на стену показного непонимания, как только заводил разговор о былом: «Ведь прошло столько времени...»

Я бы на Вашем месте попытался поискать оставшихся в живых людей из Геттингенского театра балета, которые в 1943 году были привлечены к службе в Фольприхаузене. Эти тогда молодые девушки должны были готовить для нас не только «макароны» (трубки для зенитных гранат), но привлекались к другим работам на штольнях. Можно допустить, что кто-нибудь из них все-таки откликнется. От нынешних властей ни «на месте», ни в Геттингене, ни в Ганновере Вам не стоит ждать помощи: ответственные лица большей частью являются старыми нацистами. Только частным путем, через прессу и телевидение можно, по моему мнению, чего-нибудь достичь. Если Вам действительно посчастливится начать исследование в шахте, самую большую трудность я вижу не в спуске или откачке воды из шахты (шахта лежит высоко, и если начать бурить в самом низком месте долины, то треть воды уже сама собой вытечет), а в засоленной воде. Те, кто охраняет окружающую среду, справедливо потребуют, чтобы вода была прежде всего обессолена.

Но это Ваша проблема.

Я в любом случае желаю Вам успеха в Вашем большом предприятии и надеюсь когда-нибудь полюбоваться Янтарной комнатой, хотя бы частично, в ее таинственной красе.

...Когда я перечитывал Ваше письмо, мне пришло кое-что в голову. Наши друзья и освободители – американцы и англичане – не были дураками, особенно когда речь шла о бизнесе или прибыли. В газетах то и дело появляются сообщения о том, что за границей обнаруживаются произведения искусства, которые в то время исчезли в Германии.

Вполне возможно, что эти господа перед взрывом и пожаром на шахте «Б» «Виттекинд» 29.9.45 извлекли из шахты все самое ценное и только после этого взорвали ее. К сожалению, вполне вероятна и такая возможность. Но я молю Бога, чтобы это было не так. Если Янтарная комната все еще там, внизу, с ней ничего особенного не должно случиться: ведь янтарь не боится соленой воды!

Может быть, мои сведения окажутся для Вас хоть немного полезными. Меня бы это порадовало. Рассказ о моем лагерном времени я Вам охотно дошлю, я его должен перепечатать.

С дружеским приветом
Фридрих Акст,
телефон 030-381-94-07».

Следовательно, Янтарная комната могла быть похищена уже после войны... Новый поворот поиска, новое предположение, а нам – в нашем деле – отрицать нельзя ничего; каждый допуск должен быть тщательно исследован.

...Изыскания, проведенные в Бонне (по поводу шахты «Б» «Виттекинд»), привели меня во Франкфурт-на-Майне, в Объединение лиц, преследовавшихся нацистами. Там концлагерь Моринген знали хорошо.

...Общество по изучению
и распространению знаний
о немецком Сопротивлении Тел./0611/72 15 75

Архив документов
немецкого Сопротивления

Многоуважаемый господин Семенов!

Нам стало известно о Вашем желании узнать кое-что о концлагере Моринген (Золинг).

Вместе с этим письмом Вы получите фотокопии материалов, из которых можете извлечь некоторые сведения о лагере.

(Когда меня поместили в концлагерь Моринген, там было около 50 заключенных женщин. До конца 1933 года по политическим основаниям было заключено еще около 75 человек.)

Надеемся, что этим мы смогли оказать Вам помощь.

С дружеским приветом

Ханна Эллинг

Вот ряд тех фактов, о которых мне сообщила узница гитлеровского концлагеря Ханна Эллинг.

Сразу же после поджога рейхстага вместе с другими ганноверскими антифашистами был арестован и руководитель «Союза борьбы против фашизма» Август Баумгарте.

Об этом времени он рассказывает: «Утром, в 5 часов, появилась полиция и вытащила нас из постелей. Мы узнали, что ночью горел рейхстаг. Мой брат и я в сопровождении полицейского эскорта были проведены по улицам к караулу у рынка Клагесмаркт. Оттуда в полицейских машинах нас отвезли на Харденбергерштрассе, там было уже более 150 горожан – по преимуществу коммунисты, социал-демократы и профсоюзные деятели. Нас заперли в двух больших залах. Затем нас рассортировали. Я попал в крохотную одиночную камеру, в которой находилось уже три человека. С улицы мы слышали рабочие песни и думали, что наши товарищи пришли нас освободить. Везде говорили о том, что скоро наступит конец хозяйничанию Гитлера. Едва ли хоть один из нас поверил бы тогда тому, что возможна столь жестокая диктатура и что Гитлер продержится у власти двенадцать лет.

В марте нас, как «предварительных заключенных», перевели в Моринген и поместили в исправительный дом. В двух больших залах находились 280 коммунистов, 30 социал-демократов и 20 членов других партий. 20 мая была объявлена амнистия, около 100 заключенных могли вернуться домой. Постоянно поступали новые. Сначала мы в рабочих колоннах в качестве «добровольцев» строили дороги и мостовые под охраной штурмовиков. Затем нас хотели заставить выполнять принудительную работу. Мы потребовали тарифицированной оплаты. Штурмовики попытались натравить нас друг на друга. Но мы были едины. Это привело наших охранников в бешенство. Они начали нас избивать. В ответ мы все отказались от еды. Это была первая и, по-моему, единственная го-

лодовка большой группы заключенных. На второй день голодовки нас лишили воды. Было жаркое лето. Мы испытывали ужасную жажду. Скоро и санитарные устройства оказались без воды! На третий день появились первые ослабевшие. На четвертый день многие впали в полную апатию. Тогда командование штурмовиков вызвало себе из Ганновера подкрепление. Под руководством врачей нас пытались насильно кормить.

Мы все еще руководствовались представлениями веймарской демократии о праве и порядке. Мы оставались стойкими. Наконец акцию кормления прекратили. Через пять дней появилась государственная комиссия, которой мы высказали свои требования достойного обращения, нормальной пищи и тарифицированной оплаты. Они приняли все к сведению и оставили нас на четыре недели в покое.

За это время фашисты укрепили свою власть в Германии. Через четыре недели наша охрана была сменена. Пришли люди СС. Что после этого происходило, не поддается описанию. Каждый день проводилось по нескольку облав. Каждого, кто не угодил эсэсовским бандитам, избивали в бункере. Я вспоминаю Ф.Н., которого они в конце концов заставили пить мочу своего брата! Подобные эксцессы были в порядке вещей. Это продолжалось четыре недели. После этого нас разделили. Одна часть попала в Эстервеген, другая – в Ораниенбург».

Август Баумгарте был затем переведен в концлагерь Эстервеген. Он еще очень четко помнит охоту СС за головами. Каждый эсэсовец, который находился на посту, мог уничтожить по своему усмотрению любого «предварительного заключенного». СС сделала это традицией. Каждый день заключенные, которые целый день работали на болоте, возвращались в лагерь с мертвыми товарищами.

Карл Эбелинг из Лауэнштайна описывает, как в 1933 году его с толкователями Библии и евреями таскали из тюрьмы в тюрьму, потому что все камеры были переполнены. Заключенных в конце концов доставили в концлагерь Моринген.

«Жестокость началась, когда полицию сменила СС и эсэс-штурмфюрер Кордес стал комендантом. Он оборудовал помещение, которое называли «комнатой радости». Многие познакомились с этой «комнатой радости». В особенности я вспоминаю о враче социал-демократе Буххольце из Ганновера, который был моим соседом за столом. Три дня мы его не видели. Когда он вышел, то выглядел жутко. Я вспоминаю также Лео Хейнеманна из Ганновера, который лежал окровавленный во дворе... Вновь прибывшие евреи все проходили через это помещение.

Число такого рода штрафных и трудовых лагерей, заводов Геринга, промышленных предприятий от Эмса до Гарца, принудительных лагерей, оборудованных мест пыток Моринген, Эстервегена, Боргермора, Лингена, Меппена, Берген-Бельзена, Халлендорфа и так далее, только в Нижней Саксонии доходило до ста. Все они были адом человеческих мучений под страшным господством СС».

2

От старинного университетского Геттингена, заполненного почти одной молодежью, до Фольприхаузена что-то около ста километров. Дорога красочна; аккуратность – поразительна, она не может не восхищать: люди словно бы договорились друг с другом беречь природу, уважать красоту; на стоянках автотуристов – полиэтиленовые ящики для пустых бутылок, пакетов, консервных банок (их, правда, очень мало здесь – металл дефицитен, на смену ему пришел пластик или хороший картон); тут и там – столики и скамеечки, за которые может присесть семья и славно отдохнуть. Здесь нет вывесок запрещающих, сулящих кару; наоборот, все указывает, где и что можно: через сто метров можно обедать, есть столики и ящики для мусора; через три километра – вас ждет пансионат; через сто метров – купальня в лесу, милости просим...

Поехал я в Фольприхаузен (памятуя письмо бывшего заключенного Акста, переданное мне Штайном) в будний день: машин на дороге было мало; вечерело.

Чем дальше я отдалялся от магистрали, тем глуше здесь становилось; как-то незаметно начались холмы; еще более незаметно они переросли в горы, поросшие прекрасными дубовыми лесами.

А потом я въехал в Фольприхаузен и сразу же увидел ту самую шахту «Б» «Виттекинд»; и вокзал был из темно-красного кирпича, старой кладки; тишина была какая-то несовременная, п р е ж н я я, слишком уж дисциплинированная.

Я прислонился спиною к темно-красной вокзальной стене, закрыл глаза, и пронеслись видения былого: «хефтлингов» гонят по ночным затаенным улочкам в шахту; лают собаки, кричат эсэсовцы; на темных улицах – ни души, только, бывает, мелькнет свет, когда отворится дверь пивной, да и то редко,– за этим строго следит полиция, как-никак здесь расположены самые крупные склады вермахта; концлагерь Моринген; бесценные сокровища в штольнях; неровен час – налет авиации союзников.

Городок маленький, концлагерь Моринген был огромным, шахта «Б» «Виттекинд» лишь один из филиалов; заключенных

здесь было куда больше жителей; сколько безымянных могил разбросано окрест, сколько трагедий, неизвестных миру, похоронено в безвестности...

– Входите,– сказал человек, адрес которого мне передал знакомый журналист из Геттингена.– Я в курсе вашего дела. Фамилию мою и адрес не упоминайте в своих корреспонденциях, мне здесь тогда не жить, а я не в том возрасте, когда меняют адрес,– нет сил, да и денег не густо.

– Я обещаю не обнародовать ни вашего имени, ни адреса.

– Это не трусость. Это, увы, дань тому мещанству, которое окружает меня; людей нельзя в этом винить: шахта – пивная – дом. И все... Ну, что вас конкретно интересует, выкладывайте...

– Все, связанное с пожаром на шахте «Виттекинд».

– Хм... Попробуйте задать этот вопрос людям в наших пивных... Вам ответят, как и я: «хм»... И все.

– Вы тогда жили здесь?

– Нет. В Ганновере. Но здесь жил мой дядя. Он был маркшейдером... Членом НСДАП... Да-да, он был убежденным нацистом... Когда я спорил с ним – уже после краха,– он отвечал только одно: «При Гитлере был порядок». Я его спросил: «Но ведь ты видел, как эсэсовцы убивали в штольнях немцев?» А он мне отвечал: «Ну и что? Борьба. Эти немцы были коммунистами или социал-демократами, они были против фюрера. Или русские комиссары. Или евреи. Или священники, преданные не нам, а Ватикану... Что ж с ними было делать?» Я ему говорил: «Разве ты мог чувствовать себя человеком, когда за любое неосторожное слово сам мог угодить за колючую проволоку?» Он отвечал: «А не надо болтать! Зачем распускать язык?! Всегда лучше помалкивать! Зря не посадят! Думаешь, сейчас на тебя не копят то, что ты говоришь?! Еще как копят! Придет время – и посадят!» Дядя для меня был добрым человеком, он помог мне получить образование, спасибо ему, но если бы он убедился, что я думаю не так, как он,– пришел бы в полицию, добровольно пришел, и написал бы: «Считаю своим долгом сообщить»... По поводу того взрыва и пожара... Однажды дядя выпил на праздник памяти погибших горняков, подвел к большой хрустальной горке, отворил дверцу красного дерева и показал мне три чашечки голубого фарфора из коллекции царицы Екатерины, которые были вывезены из России... Он сказал, что обменял здесь эти чашки на три буханки хлеба и английские сигареты... Ходят слухи, что, после того как сюда пришли союзники, заключенные Моринген – поляки, словаки, сербы – еще продолжали жить здесь... Хм... «Жить» не то слово... Существовать...

– А где эти чашечки из Павловска?

– Дядя умер, когда я учился в Бонне... Он был вдовец, но с ним жила подружка из Австрии... Ну, сами понимаете, что стало потом с домом и с его добром... А вообще-то у меня по сей день сохраняется впечатление, что все здешние люди хранят какую-то тайну, некая коллективная круговая порука... Поезжайте вверх, по дороге заключенных, которая ведет на верхнюю шахту «Хильдаскглюк»: там до сих пор все затянуто колючей проволокой, старые здания законсервированы, словно бы чего-то кто-то ждет...

– Вы можете меня туда проводить?

– Нет. Не могу. И все... Не могу. Поезжайте сами...

– С кем бы стоило здесь встретиться? Я имею в виду старожилов?

– У меня такого рода надежных знакомых нет. А если бы и были, я все равно не сказал вам. Не сказал бы. И все. Каждый живет по-своему и для себя, и ничего с этим не поделаешь.

– Мне посоветовали увидеть вас, полагая, что вы можете помочь хоть какой-то информацией.

– Здесь совершилось преступление. Дважды. Первый раз при Гитлере, когда был создан концлагерь. Второй раз – после победы, когда кто-то взорвал и поджег «Виттекинд». Фамилия Этткинд вам ничего не говорит?

– Какой-то офицер из Лондона, занимавшийся контролем над нацистским имуществом. Нет?

– А что вы еще о нем знаете?

– Ничего.

– Никто ничего о нем не знает. И не думайте, что вам ответят правду в Лондоне, если вы решите его искать. Старики говорили, что он был человеком с особыми полномочиями; таинственным, с п е ц и а л ь н ы м человеком из «Центра»...

– Из британской разведки?

– Почему? Там есть организации посильней. Банки, например... Корпорации... Особенно те, которые связаны с калийным производством, с минеральными удобрениями, большой химией... Фамилия Йонсон вам что-либо говорит?

– Нет.

– Это ответственный сотрудник концерна «Кали-Зальц» в Касселе. «Виттекинд» были их шахтой... И сейчас им принадлежит... Попробуйте связаться с ним... И все...

Я поднялся по узкой лесной дороге, что повторяла извивы высокого, хорошо сохранившегося металлического забора. Тишина была окрест, ни единой живой души. Здания, стоявшие за огра-

дой,– той же старой довоенной кладки – были ухожены, как и забор, однако следов жизни в них я не заметил...

И слышались мне колодки узников...

И чудились мне сухие шлепки выстрелов: ведь эсэсовцам разрешалось о т с т р е л и в а т ь заключенных, охотиться на них.

...Я вернулся в Фольприхаузен уже вечером.

В баре при дороге было сине от табачного дыма; табак был какой-то въедливый; осмотревшись толком, я заметил, что большинство посетителей сосали трубки-носогрейки или толстые сигары.

Присев за столик рядом с пожилым горняком (руки в черных точечках), спросил кружку пива.

Сосед пыхал трубочкой, делал маленькие, птичьи глотки из кружки (это было явной дисгармонией с его могучей фигурой, которая глыбою высилась над столом), изредка косил глазом на дверь, когда входил новый посетитель.

«Ему очень скучно,– подумал я, чтобы оправдать начало беседы (о проклятие врожденного комплекса застенчивости!).– Надо сказть ему прямо и открыто, в связи с чем я сюда приехал; поскольку ему скучно, он поддержит разговор».

– Вы ничего не читали по поводу Янтарной комнаты? – спросил я.

– А что это такое?

Я объяснил.

– Интересно,– сказал глыба-горняк и обернулся к соседнему столу, где сидели двое его коллег.– Идите-ка сюда, интересная история.

Двое пересели со своими пустыми кружками, заказали пива – каждый платил за себя – и приготовились слушать. Сосед-глыба передал им то, что ему только что рассказал я.

– А вы сами откуда? – спросил один из тех, кто пересел за наш столик.

– Из Москвы,– ответил я.

– Откуда?! – Изумление соседей было непередаваемым.– Из России?!

– Да.

– У меня отец был у вас в плену,– сказал Глыба.– Он хорошо вспоминал о вас. Говорил, что женщины давали им хлеб, а охранники – докурить сигарету.

– А здесь? – спросил я.– Как было здесь с нашими пленными?

Глыба ответил не сразу, а посопев:

– Я тогда был мальчишкой... А когда ты мальчишка, тогда повторяешь все, что говорят старшие... Взрослые всегда были правы в наши времена, это только сейчас дети хотят все понять сами.

– Волосатые дети,– уточнил второй.– Нигилисты, волосатые нигилисты.

– Эти длинноволосые и придумали легенды о здешнем концлагере,– сказал третий.– Не было здесь никаких лагерей, это все пропаганда.

– Нет,– не согласился Глыба,– какой-то лагерь для преступников, насильников, гомосексуалистов, женщин, которые спали с черномазыми, здесь и вправду был. Не оставлять же бандитов на свободе?!

– Кое-кто был бы рад держать их на свободе,– сказал третий,– чтоб они наводили террор...

– Это кто ж был бы рад террору? – спросил я.

Второй отхлебнул пива, ничего не ответив; третий посмотрел на Глыбу. Тот раскурил носогрейку, поинтересовался:

– А что вас здесь интересует?

– Меня интересует взрыв на шахте «Б» «Виттекинд».

– Какой взрыв? – удивился второй, слишком, впрочем, деланно, наигранно.

– Вы, наверное, приезжий,– сказал я.– Откуда вам знать, что здесь было тридцать пять лет назад...

– Здесь нет приезжих,– ответил второй.– У нас живут только местные, мы сюда турок не пускаем...

– Про это мог знать горный мастер доктор Форлинг,– задумчиво сказал третий.– Но он умер. Он рассказывал об этом взрыве моей бабушке, та это дело хорошо помнила...

Он поднялся, буркнул, что принесет сигарет из машины, быстро вышел из пивной.

– А до взрывов на «Виттекинд» много ящиков успели достать из штолен? – спросил я, понимая, что говорю не то, не тем и не так, но уже не в силах изменить что-либо: игра в молчанку была бы очень жалка со стороны.

– Это вы обратитесь к англичанам,– ответил Глыба.– Они здесь тогда всем распоряжались. Ваши стояли в Саксонии, англичане – у нас... Нечего все камни в нас кидать...

Вернулся третий, бросил на стол пачку сигарет, подвинул мне мизинцем, заметил:

– А еще вроде бы жил такой доктор Фогель... Не слыхали? Он тоже мог про это знать...

– Фогель тоже умер,– ответил Глыба.– От рака горла.

– Зря вы к нам приехали,– сказал второй.– Раны бередите...

– Не заводись, Юрген,– сказал Глыба.– Пусть себе ездят...

...Когда я вышел из пивной, около моей машины прохаживались двое полицейских. Я отпер дверь, сел за руль. Полицейский поманил меня пальцем. Я продолжал сидеть за рулем. Тогда он подошел, козырнул, попросил аусвайс.

– А в чем дело?

– Вы неправильно запарковали машину. Предъявите все ваши документы, пожалуйста...

Парень был молод, и в лице его был холод и открытая неприязнь.

«Третий успел позвонить,– понял я.– Он вызвал полицию, этот бдительный мужик, который называл фамилии мертвых свидетелей».

Полицейский переписал мои данные, козырнул, протянул квитанцию на оплату штрафа в двадцать марок за нарушение правил парковки, пожелал хорошего пути по горной дороге и отошел к своему коллеге, который теперь уже сидел за рулем полицейского «опеля», наблюдая за происходившим со стороны.

3

...Вообще-то я заинтересовался работой здешней полиции, после того как посетил ряд судебных процессов против торговцев наркотиками в Гамбурге.

Вскоре я отправил письма одинакового содержания двум руководителям ведущих криминалистических журналов ФРГ, определяющих всю работу по воспитанию кадров полиции.

Фамилии докторов юриспруденции, к которым я обратился, таковы: господин Венцки и господин Венер.

Текст выглядел так:

«Господин доктор...

Я прошу Вас высказать свое мнение о сути и причинах наркомании, широко распространенной сейчас в Федеративной Республике.

Меня интересуют все аспекты этой проблемы, как социальные, так и криминальные.

Выскажите, пожалуйста, свое мнение о возможности связи между террористами, ультралевыми и праворадикальными элементами с торговцами наркотиками.

Заранее благодарен за ответ

Семенов».

Ответа, однако, я не получил ни от господина доктора Венцки, ни от господина Венера, что меня удивило: «орднунг мус зайн» – «порядок превыше всего», даже если со мной не хотят встречаться, ответят все непременно. А тут – молчание...

Я бы – в текучке дел и круговерти событий – не очень думал об этом странном обстоятельстве, но, работая в архивах, я нет-нет да наталкивался на документы, связанные с деятельностью неких господ Венцки и Венера, служивших при Гитлере в секретной полиции.

Особенно меня заинтересовали следующие:

Берлин, 10 июля 1940 г.

Характеристика
комиссара криминальной полиции Венера

Комиссар криминальной полиции Венер является надежным, преданным и очень добросовестным чиновником.

Он обладает безупречным характером, надежен в служебном и моральном плане. Имеет хорошие организаторские способности, является осмотрительным, настойчивым и образцовым руководителем. Во всех отношениях дисциплинирован и скромен, самостоятелен, целенаправлен.

Особое усердие проявил при расследовании польских преступлений против фольксдойчен, где он показал свое умение руководить своими подчиненными и нацеливать их на выполнение больших задач. Является примером в политическом и спортивном отношениях. Примерный товарищ, деловит.

По своей сущности обладает твердым характером, является надежным и очень способным руководителем.

Следующий документ:

Берлин, 15 августа 1941 г.

Относительно: подготовки тайной полиции и СД для применения в колониях.

Комиссар криминальной полиции Бернхард Венер родился 15.12.09 г. в Гере. От главного имперского управления безопасности прошел обучение с 1.9.40 г. по 15.10.40 г.: курс подготовки по работе в колониях в шко-

ле тайной полиции в Берлине-Шарлоттенбурге и с 18.11.40 г. по 15.12.40 г. курс подготовки в итальянской школе колониальной полиции в Тиволи под Римом.

На основании этой подготовки он предназначен для применения в тайной полиции и СД в колониях.

Циндель,
старший ассистент
криминальной полиции.

Я не очень-то поверил своим глазам: неужели тот самый гестаповец Венер стал «теоретиком законности» в демократической стране?!

Вот что свидетельствуют представители западногерманской прессы – ее вполне респектабельных органов:

– Когда в 1955 году полицейского Бердта Фишера сняли с поста начальника «лагеря для беженцев» в Ульме, он обратился в суд с жалобой на местные власти. После того как об этом судебном процессе написали газеты, один из читателей узнал в Фишере бывшего оберфюрера СС и полицай-директора Мемеля, одного из виновников убийства 5186 литовских евреев. На судебном процессе в Ульме, который состоялся спустя три года, перед судом предстали десять военных преступников, среди которых Фишер был назван одним из главных виновников преступлений «оперативной группы СС Тильзит». Фишер получил 10 лет тюрьмы, группенляйтер Ганс Беме, скрывавшийся после войны под чужим именем и работавший юристом,– 15 лет...

Лишь спустя много лет после войны немецкая юстиция «осознала, что многочисленные тягчайшие преступления нацистов до сих пор остались безнаказанными». К такому именно выводу приходит государственный прокурор Адальберт Рюкерл в своем исследовании «Судебное преследование нацистских преступников с 1945 по 1978 год». Его оценки достойны доверия, поскольку он руководит «Центральным управлением земельных судебных учреждений по раскрытию нацистских преступлений» в Людвигсбурге, которое было основано после скандального процесса в Ульме.

Однако гитлеровским полицейским подозрительно часто удавалось – даже под своим настоящим именем – работать в старой должности и после крушения нацизма.

Арестованный в 1961 году криминальоберст Георг Хойзер – глава земельной уголовной полиции Рейнланд-Пфальца, которого коллеги называли «безупречным»– во время войны был руководителем подразделения, приводившего в исполнение приговоры.

То же касается и Ганса Хоффмана, ставшего после войны главой полицейского управления в Гессене. Оказалось, что все сорок свидетелей на процессе, бывших ранее членами карательного подразделения Хоффмана, стали после войны исполнительными хранителями новой законности.

Фридрих Прадель, руководитель полицейского управления в Ганновере, был арестован в 1966 году и присужден к семи годам тюрьмы, ибо он был изобретателем газовых камер.

Примером может служить и послевоенная карьера врача Теодора Вернера Шоя, который в 1941 году в качестве оберштурмфюрера СС участвовал в «акции устрашения», в результате которой погибло 220 советских граждан. Суд присяжных присудил его к шести годам лишения свободы. А до этого он был владельцем детского санатория и приюта для детей под названием «Ласточкино гнездышко».

Несмотря на то что «центральному учреждению» в Людвигсбурге удалось в свое время разоблачить более 8000 бывших военных преступников и собрать массу документов, двадцати сотрудникам этого заведения было не под силу справиться с огромным объемом работы – воистину сизифов труд. В пятидесятые годы в учреждениях и министерствах только что образовавшейся ФРГ считалось совершенно нормальным, что бывший военный преступник может вновь сделать себе карьеру. За примером ходить недалеко: статс-секретарь и советник канцлера Аденауэра Ганс Глобке был известен тем, что в 1935 году занимался истолкованием нацистских законов в угодном Гитлеру расовом смысле. В те времена военные преступления порою расценивались как менее злостные по сравнению с «простыми уголовными». Этому также способствовало «великодушие» союзников. После 1950 года их «буквально охватила страсть к помилованию», как сказал американский обвинитель на одном из заседаний Нюрнбергского процесса Роберт Кемпнер.

Суд присяжных в Гессене разбирал дело бывшего обергруппенфюрера СС Теодора Пиллиха и присудил его к трем годам и трем месяцам тюрьмы, хотя было доказано, что эсэсовец участвовал в расстреле 162 польских и еврейских граждан и даже сфотографировал это. В пользу обвиняемого, по мнению присяжных, говорило то, что он «не признает свою причастность к этому факту и от всего сердца осуждает его».

Судебные процессы длятся годами. Три с половиной года, например,– с 1972-го по 1976-й – длилось разбирательство дела шести членов СС в Гамбурге. За это время судьи, адвокаты и прокуроры по нескольку раз ездили в США, Советский Союз, Нидер-

ланды, Австрию, Израиль, Англию – для сбора свидетельских показаний. А в конце процесса все шестеро обвиняемых были выпущены на свободу.

Таким образом, получается, если хорошо посчитать, что за каждого расстрелянного бывшие гитлеровцы получили по «10 минут заключения в тюрьме».

А потом я нашел документы, не оставлявшие места для двоетолкований:

Доктор юридических наук
ВЕНЦКИ Оскар родился 2.1.1911 г.
После 1945:
До выхода на пенсию был руководителем отдела криминальной полиции МВД земли Северный Рейн-Вестфалия и «криминальным директором». До настоящего времени один из руководителей журнала «Полиция» (в 1981 году мне сообщили, что он умер).
До 1945:
Советник по криминальным делам и СС-гауптштурмфюрер, начальник криминальной полиции при главнокомандующем полицией безопасности в оккупированных Нидерландах, лично ответственный за преследование голландских и французских граждан в интересах немецкой оккупационной политики с 1941 по 1945 г. В 1942 г. за особые заслуги при преследовании и задержании борцов французского Сопротивления в Аббевилле (северная Франция) награжден за военные заслуги крестом с мечами и отмечен личной благодарностью Гиммлера, опубликованной в Своде приказов начальника полиции безопасности и СД.

О «докторе» Венере.

Доктор права
ВЕНЕР Бернхард (также Бернд)
родился 15.12.1909 г. в Гере.
После 1945:
Директор уголовной полиции, руководитель уголовной полиции в полицай-президиуме г.Дюссельдорфа – до ухода на пенсию.
В настоящее время – ответственный редактор «Журнала теории и практики криминалистики» и «Криминалистики».

До 1945:

Член НСДАП с 1 мая 1931 г., партбилет N 518544, член СА с 14 апреля 1931 г.

Сотрудник криминальной полиции с 1 июля 1935 г. Назначен инспектором криминальной полиции в управлении криминальной полиции в Берлине с 15 декабря 1937 г., с июня 1938 г.– советник криминальной полиции в имперском управлении криминальной полиции.

С 20 марта 1940 г. по 8 мая 1945 г.– сотрудник Главного имперского управления безопасности РСХА (V отдел – имперское управление криминальной полиции). Руководитель отдела по борьбе с коррупцией, а затем – по борьбе с особо тяжкими преступлениями. 1939 – 1940 гг. – руководитель специальной комиссии при шефе тайной полиции и СД на оккупированных польских территориях.

1940 г.– подготовка к работе в колониях, включая обучение в итальянской школе колониальной полиции в Риме.

1942 г.– участвовал в расследовании покушения на шефа РСХА и заместителя имперского наместника в Праге Гейдриха.

1944 г.– участвовал в расследовании покушения на Гитлера.

Тот, кто после покушения на Гейдриха был послан в Прагу, кто после покушения на Гитлера в штаб-квартире фюрера выполнял личные приказания Генриха Гиммлера, тот должен был заранее предоставить руководству веские доказательства своей безоговорочной преданности национал-социализму.

...Вот такие-то «профессора» и воспитывают ныне молодых западногерманских полицейских.

ГЛАВА, в которой рассказывается о том, как Жорж Сименон, помогающий поиску, впервые встретился с фашизмом лицом к лицу...

1

...История замка Кольмберг, столь «д е м о к р а т и ч н о» уступленного послом Фореджем дорожному мастеру Унбехавену, заслуживает того, чтобы остановиться на ней подробней, особенно когда подобрались разного рода материалы.

С м ы с л этого замка состоит в том, что, как подчеркивается в справочниках нацистских времен, ворота его сориентированы на Запад; особенно же прекрасный вид на Запад открывается из бойниц и окон последнего этажа.

Вот этот замок, открытый на Запад, и был объектом таинственных интриг, начавшихся еще в 1418 году, в эпоху Гогенцоллернов, когда граф Фридрих фон Трухединген продал за 6200 фунтов геллеров новое строение своему дяде Фридриху Четвертому Гогенцоллерну, маркграфу Нюрнберга. В этом замке бывали король Баварии Людвиг, король Венгрии Сигизмунд; здесь скрывал свою прекрасную возлюбленную Эльзу странный Фридрих Шестой Гогенцоллерн. Во время войн, потрясавших германские княжества в средние века, замок был неоднократно разрушен, а во время Тридцатилетней войны приведен в полный упадок. Лишь в 1806 году о Кольмберге заговорили вновь, а в 1880 году этот полубесхозный бастион продали за 40 000 золотых марок Александру фон Зибальду, одному из ведущих кайзеровских дипломатов, разведчику и путешественнику,— его специальность была в те годы уникальной: Япония. Затем, с 1927 года, владельцем замка стал Форедж, последователь Зибальда. И расположение Кольмберга в центре Франконии, которая должна была стать столицей СС после победы фюрера над «недочеловеками»; и японская и китайская коллекции объясняют заботу гитлеровских бонз об обитателях и владельцах замка: дело в том, что учитель Гесса, профессор-японист Хаусхофер, основатель «биоучения о расе», был ближайшим и давним другом Фореджа и его семьи.

Вот куда тянутся следы.

А в Европе до сих пор живет е щ е м н о г о высших эсэсовцев.

Эти люди богаты, их связи мощны и разветвленны, они ученые конспирации и уповают на реванш.

Когда я подробно рассказал Жоржу Сименону об этом замке и о том, что за ним стоит, он долго раскуривал трубку, а потом спросил:

— Вы, видимо, не хотите открывать все свои карты? Или намерены печатать сейчас же, немедля то, что знаете?

— Я на распутье. Как бы поступили вы?

Он отошел к столу, открыл бутылку розового вина, налил пенящуюся солнцем влагу в высокий бокал, протянул мне:

— Я помню, какое вино вы любите больше всего, попросил принести именно розовое, в честь французского юга... Так вот, я хочу вам кое-что рассказать по поводу проблемы упущенного времени. Вопрос темпа, натиска, привлечения общественного внима-

ния – вопрос вопросов в таких делах... В 1933 году я приехал в Берлин от парижской газеты. Время тогда в Берлине было тревожное, Гитлер пришел к власти, но большинство немцев было против него; нескрываемый протест бросался в глаза при посещении городских вайнштубе или пивных в рабочих или артистических районах столицы... Мне сейчас кажется, что, если бы коммунисты и социал-демократы не были тогда разобщены, а выступили общим фронтом, дружно, Гитлер не удержался бы в кресле рейхсканцлера. Но социалисты, да и все левые были заняты тем, что нападали друг на друга, вместо того чтобы давить общего врага... Словом, тогда я был сравнительно молод,– усмехнулся Сименон,– всего тридцать лет, полон надежд на будущее и конечно же авантюристичен, как и подобает молодому писателю, журналисту и французу... А книга, которую я тогда задумал, должна была называться «Европа, 33». Я получил от редакции деньги, для того чтобы провести по одному месяцу в ряде бурлящих столиц нашего континента, и первый месяц я проводил в бурлящем Берлине весьма насыщенно. Остановившись в отеле «Адлон», я часто пил кофе в вестибюле – там же, за столиком, можно было и поработать. Однажды я обратил внимание на седую красивую женщину, сидевшую неподалеку от меня. Сначала я увидел только ее чуть голубоватую седину, следы достойного, годами выверенного шарма; невероятные драгоценности; потом я заметил, что не одного меня интересует дама: из разных углов темного вестибюля на нее были обращены рассеянные взоры трех бульдогов – люди из секретной службы всегда выдают себя чрезмерным прилежанием... А потом к даме подошел Гитлер... Он словно бы вырос из паркета. Остановился, уронил голову на грудь, как актер, поцеловал даме руку, резко обернулся, пошел к лифту, исчез. Оказывается, дама была женою свергнутого кайзера Вильгельма, она порою выполняла роль особо доверенной связной... А через недели полторы ко мне на улице подошел мужчина и, не представившись, спросил: «Вы – Сименон из Парижа?» Я ответил ему в том смысле, что в общем-то я родом из Льежа и правильнее было бы ответить, что я «Жорж Сименон из Льежа», но, видимо, я интересую месье не как Сименон из Льежа, а как журналист из Парижа, не правда ли? «Именно так»,– ответил незнакомец. Некоторое время спустя он рассказал мне, что связан с ЦК Компартии Германии и что его товарищи намерены познакомить меня с сенсационными данными.

Потом он преподал мне урок конспирации, п о т а с к а л по Берлину, научил круто сворачивать в проходные дворы, не терять из виду друг друга в универмагах, понимать с п о л у ж е с т а, куда надо п р о с к а к и в а т ь, и, наконец, я очутился в тем-

ном коридорчике, который превратился в подвал, а уж оттуда по винтовой лестнице я поднялся в небольшую квартиру. Два человека молча поздоровались со мною. Первый спросил: «Вы говорите по-немецки?» Я ответил, что понимаю по-немецки в пределах пятого класса лицея. «Мы переведем,– сказал второй.– Можете записать наиболее важные фразы, но не пишите фамилии полностью, потому что мы намерены ознакомить вас с беседой, состоявшейся в рабочем кабинете Германа Геринга».

Можете понять мое изумление?! Журналистская сенсация так сама и лезла в руки! Была включена запись, и я действительно услышал голос Гитлера. Он говорил, что твердую власть не утвердить до тех пор, пока в стране действуют коммунисты и социал-демократы, а он сам не является фюрером всей нации. «Мне необходим повод,– говорил Гитлер,– любой повод, который позволил бы разгромить компартию, посадить всех ее лидеров в тюрьмы, запретить действие оппозиционных профсоюзов, изолировать социал-демократов... Мне нужен повод, и я предлагаю такого рода игру: пусть СА организуют комбинацию с покушением на меня. Пусть они объявят, что покушавшийся был коммунистом. Больше мне ничего не надо».– «Нет! Ни в коем случае! – Мои новые знакомые пояснили, что это был голос Геббельса.– Я возражаю, мой фюрер! Игра может кончиться серьезным делом! Мы сами подскажем путь какому-нибудь фанатику! Я возражаю! Ваша жизнь не может быть п о в о д о м!» Следом за Геббельсом сказал свое слово Геринг: «А что, если организовать поджог рейхстага? Это не персонифицированное выступление, это удар по достоинству нации, все немцы возмутятся такого рода актом».– «Хорошее предложение,– согласился Альфред Розенберг.– А поджигателем должен быть еврей!»– «Нет,– снова вмешался Геринг.– Пока еще рано. Нам не поверят. Действительно, немец не может поднять руку на рейхстаг. Но еврея вводить в дело рано. С ними мы разберемся позже. Сейчас был бы хорош какой-нибудь француз, болгарин, поляк – словом, человек чужой крови, которому не может быть дорога германская святыня».

Я попросил коммунистов дать мне прослушать пленку еще раз, записал кое-что символами, понятными мне одному. «У вас есть к нам какие-нибудь вопросы?»– спросили подпольщики. Я ответил, что никаких вопросов не имею; благодарю; желаю силы и добра. «Мы надеемся, что вы срочно напечатаете это в Париже,– сказали мне на прощанье.– Это так страшно, что необходимо привлечь внимание общественности всей Европы... Нам могут не поверить, вам – обязаны...»

Через час я был в нашем посольстве. Отец министра ино-

странных дел в президентстве Жискара господина Франсуа-Понсе был тогда нашим полномочным представителем в Берлине. Я рассказал о встрече с моими друзьями и попросил разрешения отправить текст корреспонденции по его коду. Посол согласился передать мою корреспонденцию по дипломатическому коду, но попросил, чтобы я разрешил ему использовать эту информацию в его телеграмме в Кэ д'Орсе, министру иностранных дел. Понятно, я не мог отказать столь уважаемому дипломату и, передав материал, отправился к себе в номер: ждать завтрашнего б у м а. Моя газета «Франс суар» была вечерней, и я был убежден, что через двадцать часов Европа содрогнется от поразительной новости. Однако Европа не содрогнулась назавтра. Она пребывала в спокойствии еще три дня. А потом меня разыскал посол и показал ответ от моего главного редактора: «Дорогой Сименон, а что, если никакого поджога рейхстага не будет? Как мне тогда расхлебывать кашу? Гитлер — не тот парень, с которым можно шутить. Если бы вы прислали мне подписанный им план, тогда другое дело, я бы бросился в атаку, а сейчас — нет, увольте»...

А через семнадцать дней рейхстаг запылал...

(Сименон снова раскурил трубку, походил по кабинету, присел на краешек кресла, усмехнулся:

— Вы как-то спрашивали меня, как надо сохранять молодость в мои годы... Это очень просто... Гуляйте по снегу в горах, пейте розовое вино и следите за работой почек... Все остальное приложится.)

Потом лицо его замерло, улыбка сошла, глаза стали грустными, хотя они никогда не гаснут, глаза Жоржа Сименона, в них постоянно жизнь, мысль, смех.

— Я часто задаю себе вопрос,— сказал он тихо,— а что могло бы произойти в мире, передай я тот материал в московскую газету?.. Вы бы напечатали? А если бы напечатали? Как бы тогда стала развиваться история Европы? Дали бы поджечь рейхстаг? Или нет? Если б ничего не изменилось — обидно. Ведь до сих пор (этот разговор был до последних президентских выборов в мае 1981 года.— *Ю.С.*) двадцать один высший чин в полиции Франции занимают люди, которые открыто сотрудничали с гитлеровцами во время оккупации...

Провожая меня по узкой тропинке в горах из Монтре,— я ездил к нему в санаторий,— Сименон положил мне руку на плечо, сжал сильные пальцы и сказал:

— Семенов, вы сунулись в сложное дело. Обязательно публикуйте сегодня то, что вам стало известно. Завтра может быть поздно. И никогда не забывайте, что нацизм все еще очень силен, по-

тому что идиотов, считающих, что все определяет чистота крови, куда как достаточно в нашем прекрасном и маленьком мире.

2

«Уважаемый господин Семенов!

Передаю часть документов, представляющих интерес для поиска. Это материалы, связанные с тайными шахтами для складирования как оружия, так и культурных ценностей.

При отделе основных видов вооружения и эвакуации существовала особая команда «Штаб Пб». Этот штаб занимался вопросами перебазирования народнохозяйственных и оборонительных объектов вооружения, а также перемещения и обеспечения сохранности предметов искусства, архивов, коллекций и собраний. Акты этих перемещений в рудники, пещеры и туннели сохранились. Акты таких перемещений в постройки крепостного типа, за незначительным исключением (несколько карт), пропали.

До сих пор мне удалось обнаружить следующие карты, принадлежавшие тайной команде под кодовым названием «В крепости»:

1. Карты использования команды в районе «линии Мажино», западнее Рейна.

2. Карты использования команды в южной части Германии, от Хегерлоха до Хайльброна.

3. Карты использования команды в Восточной Пруссии.

В последнем случае речь идет о районе г.Хайльсберг, крепостных укреплениях в районе Кенигсберга, крепости Летцен и Мазурском поозерье.

Эти карты действий команды в районе Хайльсберга и западной части крепостных укреплений Кенигсберга были составлены в связи с временным хранением в замке Вильденхоф и в области Рибау (б. Восточная Пруссия) предметов искусства из Киева и Харькова. В этих военных областях должно было осуществляться складирование предметов искусства.

При этом следует учитывать, что как замок Вильденхоф, так и область Рибау были расположены в очень благоприятном месте по отношению к таким районам действий команды, как Хайльсберг и Фришшинг. По-

этому вполне возможно, что разыскиваемые предметы искусства находились здесь, в Восточной Пруссии, в бункерах.

Пожалуйста, изучите материалы и напишите мне о ваших соображениях.

Искренне Георг Штайн»

Приложение:
«Рейхсминистр по вопросам
вооружения и производства вооружения

В соответствии с указанием рейхсмаршала Геринга я поручил ведомству по вопросам вооружения составление списка подземных помещений.

Рейхсминистр Шпеер.

ЗАПИСЬ
совещания относительно возможностей размещения производства и складов в калийных шахтах

Место: Кассель, здание военного округа, 25.2.44, 11 часов.

Присутствовали:

майор Андрэ	отдел военной промышленности командования военным округом XI[1],
директор д-р Байль	Винтерсхаль А.Г.
стар.лейтенант Кнеер	главный штаб вооруженных сил Германии
полковник д-р Фогель[2]	командование арт. и тех. снабжением XXX
полковник Шмидт, зам.руководителя	отдел военной промышленности военного округа IX
капитан Папе	отдел военной промышленности военного округа IX.

[1] До сих пор не подняты архивы, которые бы помогли установить крайне важную деталь: какое отношение этот «майор Андрэ» имел к штандартенфюреру СС, профессору Андрэ из Кенигсберга, о котором мне рассказывал Штайн? Не тот ли это «несчастный старик» из Геттингена?

[2] Полковник Фогель? Не тот ли это «доктор», о котором вспоминал Глыба и его коллеги в Фольприхаузене? Где он сейчас? Станет ли говорить?Цепь, однако, интересна воистину.

Вначале старший лейтенант Кнеер сделал небольшое вступление о цели дискуссии: воздушные нападения противника истощают наш военный потенциал, поэтому необходимо предпринять попытку расположить производство наиболее важных объектов «под землей». Благоприятными для этой цели являются закрытые калийные шахты. Калийный синдикат (госсекретарь Нойман) обратился к главному штабу вооруженных сил Германии с просьбой проверить имеющиеся в этом отношении возможности с сохранением интересов калийной индустрии. Повод для этого дали ВВС, которые хотят использовать подготовленные калийные шахты для размещения производства самолетов.

Полковник д-р Фогель указал при этом на те калийные шахты, которые используются под заводы боеприпасов сухопутных сил...»

Приведу еще два фрагмента из архивов, обнаруженных Штайном и доктором Колером,— это имеет прямое отношение к одной из «версий» Янтарной комнаты.

СПРАВКА-ДОКЛАД

офицеру по вопросам военной экономики 9-го района территориальной обороны от 6.3.44 N 61/44

...Шахта Фольприхаузена («Виттекинд» находится в ведении команды артиллеристов Нордхаузена. Приводной железн. путь — вокзал Фольприхаузен. Подъемная машина шахты «Виттекинд»: подъемная паровая машина, 250 чел.в час и 45 т полезного груза. На глубине 540 м находятся боеприпасы и взрывчатые вещества. Добыча каменной соли приостановлена в связи с ее малыми запасами.

На глубине 540 м находятся 3 подошвы шахты для размещения боеприпасов, но пока не используются.

До сих пор не использованные подошвы шахты можно достичь через гл. шахтный ствол. (Там установлена тормозная лебедка, которая удалена от шахты «Б» «Виттекинд» на 1,5 км.) На глубине 660 м начинается хранилище библиотеки университета Геттингена.

Исходящая шахта «Хильдасглюк», которая удалена от «Виттекинд» на 3 км, имеет электр. подъемную машину (250 чел. и 45 т груза в час). Штреки находятся на

подошве шахты глубиной в 917 м. Они связаны слепым стволом шахты.

Слепой ствол шахты глубиной 180 м. Дальнейшая дифференциация высоты объясняется тем, что исходящая шахта «Хильдасглюк» находится по отношению к шахте «Виттекинд» на горе. В подошве шахты, находящейся на глубине 917 м, площадь в 20 000 кв. м не используется, в связи с тем что транспортировка через слепой ствол шахты была бы слишком медленной и сопряжена с определенными трудностями.

(То есть, судя по всему, к шахте «Виттекинд» отношение было самое серьезное среди нацистских бонз, а особенно «военно-технической элиты» вермахта, которая в 1944 году точно понимала (ее наиболее прозорливые адепты) свою нужность определенным кругам Запада.– *Ю.С.*)

ПРОТОКОЛ ОБСУЖДЕНИЯ

Совещание в германском министерстве воздушного флота и в главном командовании ВВС о переводе производства в туннели, пещеры и шахты (калийные).

15 марта 1944 г.

Руководитель совещания	– старший советник строительной службы д-р Трайбер (герм. министерство воздушного флота и главнокоманд. ВВС).
Присутствовало примерно 30 человек, в том числе:	
Верховное главное командование вооруженнымисилами Германии (штаб)	– полковник д-р Альмендингер и майор Франк.
От верховного главного командования сухопутных войск (шеф отдела вооружений и командующий запасной армией)	– майор Клебер.
Штаб Пб	
Инспекция укреплений	– полковник Росс.
От главного командования	– капитан 1-го ранга военно-морского флотаСкапель.
От германского министерства воздушного флота	– старший советник воздушного флота строительной службы д-р Трайбер.

(Главный отдел отдел планирования) – инженер-полковник Кюблер.
(Перевод производства для военно-воздушных сил) – инженер-полковник Зель.
Управление военной промышленности – Шульц-Хеннинг
Отдел вооружений – директор Шёнлебен.
Отдел строительства – герр Любке.
От калийного синдиката – д-р Ланге.

Обсуждение началось в 8.45.

На повестке дня стояли следующие вопросы:

«1) Укрепление («линия Мажино»). Полковник Росс из инспекции укреплений указал на отдельные особенно удобные укрепления, как, например, группа бастионов – Хофвальд под Вайсенбургом, укрепления Витцлебен (здесь уже размещено частично производство воздушных торпед) и укрепления Метц. Здесь в особенности было указано на форт Вагнер и форт Лейпциг. Последние заняты уже заводами Гессена из Касселя. В одном из укреплений расположены государственный архив и музей кайзера Фридриха.

Для получения ясной картины о положении инспекция укрепления получила следующую задачу:

а) сделать точную инвентаризацию всех находящихся в наличии укреплений (не только «линии Мажино»). Сюда следует включить также такие укрепления, как старая крепость Зильберберг под Глатцом, построенная Фридрихом Великим; Кенигсберг, Кенигштайн, Кюстрин;

б) необходимо установить, какие из них уже заняты (складами и производством).

2) В дополнение к этому обсуждался вопрос о наземных заводах боеприпасов, поскольку они представляют собой бетонированные бункеры. ВВС больше не имеют помещений для размещения производства. Так же дело обстоит и в сухопутных войсках.

Необходимо, кроме того, проверить завод Элленс-Нойхов, Фулда, а также Байенроде I и II под Кенигслуттер, Бернсдорф-Бургграф, «Виттекинд», Фольприхаузен, Вальбек, Бухберг».

И снова «Виттекинд»!

И снова Фольприхаузен!

В каждом из этих секретных документов шахты привлекают особое внимание нацистских бонз...

А сколько новых имен! Кто жив? Кто согласится ответить на вопросы?! Кто откажется? Кто помнит? Кто будет лгать? Кто скажет правду?

А бывший рейхсминистр экономики и вооружений Альберт Шпеер, по чьему приказу эти документы составлялись?

3

Я связался с Мюнхенским институтом новой истории, с сектором, занимающимся судьбою главных нацистских преступников; там сообщили, что Шпеер жив; я попросил помочь в поисках адреса и телефона бывшего министра. Коллеги откликнулись на мою просьбу, и я позвонил в Гайдельберг,— там, на окраине университетского города, в маленькой вилле живет Альберт Шпеер,— после отсидки двадцати лет в тюрьме Шпандау.

— Ну что ж, приезжайте,— ответил мне Шпеер.— Я еще неделю буду здесь, а потом отправлюсь в горы. Среда, четыре часа, вас устроит это время?

(Один из моих боннских друзей, пожилой католик, брошенный гестаповцами в концлагерь, сказал мне:

— Что бы сейчас ни говорили про Шпеера — и ошибался он в Гитлере, и слишком доверчив был, и вину свою искупил в тюрьме,— я всегда буду помнить моих друзей, мальчишек, замученных до смерти эсэсовцами на его подземных заводах!)

...Я приехал загодя; зашел в городской замок, где сейчас музей: он возвышается над Гайдельбергом, словно бы взлетев с земли,— очень это красиво...

Множество американцев — здесь расположен военный гарнизон. И — как реакция на присутствие военщины — огромное количество коммунистической, левосоциалистической литературы в бесчисленных книжных магазинчиках. Действие рождает противодействие, сие — истина в последней инстанции.

...Шпеер вышел мне навстречу, открыто улыбаясь; жена его, однако, была насторожена.

— Знаете,— сказал бывший рейхсминистр,— когда ко мне сюда приехал первый русский, и это был второй русский после прокурора Руденко, который допрашивал меня во время Нюрнбергского процесса, я очень подивился определенному сходству: и тот и другой — в отличие от вас — были подчеркнуто тщательны в одежде, как истинно военные люди.

— Кто был вторым?

— Ваш коллега, писатель Лев Гинзбург. Только через час после начала беседы, когда я определенно и открыто сказал ему о

своем нынешнем отношении к нацизму, и ему это явно понравилось, он спросил, нельзя ли снять галстук. Я предложил снять и пиджак, было очень жарко, но господин Гинзбург отказался... Должен сказать, что я впервые по-настоящему начал изучать русскую литературу в камере – времени, как понимаете, у меня было предостаточно; приобщение к Толстому, Чехову, Достоевскому, Гоголю поразило меня, во многом изменило прежние концепции... Нет-нет, я не намерен отказываться от того, к чему я был причастен, это мелко и бесчестно – что было, то было, и я понес за это наказание, пришло возмездие, но я говорю вам правду: приобщение к русскому гуманизму потрясает.

Я достал из портфеля документ, переданный мне Штайном,– о подземных складах и заводах.

– Это ваша подпись, господин Шпеер?

Он внимательно посмотрел:

– Да. Моя.

– Гражданин ФРГ Георг Штайн ведет свой поиск похищенных ценностей...

– Каких именно?

– Картин из наших музеев, икон из церквей, Янтарной комнаты, архивов... Вам что-либо известно об этом?

–. Давайте сначала посмотрим документы Нюрнбергского процесса.– Шпеер поднялся.– Мне помнится, генерал Утикаль, из штаба Розенберга, давал показания.

Он вернулся через несколько минут с тремя томами, открыл нужную страницу, быстро, профессионально пробежал текст:

– Я бы советовал вам очень тщательно посмотреть все, абсолютно все, материалы Нюрнберга. Там могут оказаться кое-какие нити из прошлого в настоящее.

– Я беседовал с Вольфом..:

– С каким?

– С Карлом Вольфом.

– Ах, это который работал у Гиммлера? Совершенно напрасно, он – убежденный нацист, до сей поры уверен, что, если бы не предательство генералов, Гитлер бы выиграл войну. Ни минуты не сомневаюсь, что он вам лгал, даже если и помнит что-либо.

– А Шольц? Такая фамилия вам говорит что-нибудь?

– Конечно. Он руководил изобразительным искусством в министерстве пропаганды у Геббельса. Он жив, вы знаете? Недавно выпустил книгу о живописи третьего рейха. Я могу помочь вам найти его адрес, но не вздумайте выходить с ним на контакт!

– Зачем же мне тогда его адрес, господин Шпеер?

– Нужно найти какого-нибудь бывшего военного, обязательно консерватора, но не национал-социалиста. И пусть бы этот консерватор стал ныне пацифистом, но помалкивал об этом. И пусть бы он писал книгу. Или статью для журнала. С таким человеком Шольц может решиться на разговор. С русским – никогда. И с левым тоже не станет, пусть даже этот левый будет из самой аристократической семьи Мюнхена...

– А с людьми, подобными вам? Будет Шольц говорить? Или откажется?

Шпеер не ответил, снова вышел; вернулся с большим мельхиоровым блюдом. На нем лежали письма и телеграммы:

– Это проклятия, которые мне присылают истинные солдаты фюрера.

Я посмотрел некоторые письма: они были злобны, грубы, хотя в высшей мере грамотны.

– Если вы почитаете документы о подземных штольнях, может быть, вам будет легче вспомнить? Штайна интересует любая мелочь...

– Покажите,– сказал Шпеер.

Он внимательно пролистал документы, покачал головою:

– Нет. Я могу что-то вспомнить, связанное с военным производством... Картинами занимался Розенберг.

Он снова вышел, вернулся с папками, начал перебирать бумаги.

...Документы, которыми начал оперировать Альберт Шпеер, были, бесспорно, интересны. Значительная часть связана с показаниями генерала Утикаля. Но ведь многие его показания заведомо ложны; теперь-то мне совершенно ясно, что ни один из людей Гиммлера и Геринга, не говоря уже о Бормане, не открыл ни единого секрета, связанного с «прерогативой фюрера».

– Но Гитлер,– сказал Шпеер задумчиво,– не мечтал о личной коллекции, как Геринг... Я хочу отметить это справедливости ради.

– Но ради того, чтобы открыть музей в Ленце, он грабил Европу, не так ли?

Шпееру, архитектору по образованию, рисовальщику, конечно же трудно отвечать на этот вопрос, я не тороплю его, я – жду.

– Да, с вашей формулировкой нельзя не согласиться,– ответил он наконец.– К сожалению, было так, как говорите вы. Я помню кое-какие детали, но ведь это – не документы, так что вряд ли они вам пригодятся...

– Кто знает. Очень может быть, что в крошечной детали и заложен тот микрослед, который может вывести к макрорезультату.

– Довод,– усмехнулся Шпеер.– Имя Поссе вам говорит что-либо?

– Какого вы имеете в виду?
– Директора Дрезденской галереи.
– Говорит о многом.
– Видите ли, сначала ведь Гитлер сам занимался сбором коллекции и для своего музея в Линце и для музеев в Кенигсберге и Берлине. У него была разветвленная цепь «дилеров», то есть перепродавцов картин... Он получал каталоги, исследовал их, а потом задействовал своих фотографов, прежде всего Генриха Хоффмана, инструктировал их лично, отправляя отыскивать картины для Линца... Ханс Ланге, один из ведущих берлинских аукционеров, как-то сказал мне о том, как эмиссары Гитлера бились за одну и ту же картину, «бесстрашно» набавляя цену... Когда Гитлер узнал об этом, он и пригласил профессора Поссе стать его личным «скупщиком». Потом к этому делу подключился принц фон Гессен, но после покушения Штауфенберга или даже раньше, в день ареста Муссолини, фюрер пригласил его к себе в ставку вместе с женою, а оттуда перевел в концлагерь... Такое тоже бывало в ту пору... Кстати, вы спрашивали меня о том, как соблюдалась секретность в вопросах, связанных с вывозом ценностей... Конкретно сказать не могу, но помню, что даже мероприятия по созданию «мемориала победы», задуманного фюрером на площади Адольфа Гитлера в Берлине, были закамуфлированы кодовым обозначением «военная программа по инспекции водного и железнодорожного транспорта»... Теперь вот что может вам пригодиться... В самом начале, когда только Гитлер выдвинул программу создания своего музея, между его дельцами и дельцами Геринга шла прямо-таки необъявленная война. Гитлер издал приказ, вы правы, направленный против Геринга, когда «разложил по полочкам», кому какими картинами и скульптурами надлежало заниматься. И начиная с сорок первого года лишь к Гитлеру, в Оберзальцберг, начали привозить каталоги картин с фотографиями. Эти каталоги были переплетены в мягкую коричневую кожу; если обнаружите коричневую кожаную папку – ищите следы к фюреру... Ну а что касается коллекции Геринга, то это, конечно, был открытый гангстеризм... Его замок Каринхалле был сплошь увешан картинами, вывезенными из многих стран Европы. Причем картины были развешаны чуть что не с потолка и до пола... Никто, кроме Геринга, его штабных офицеров и гостей, не мог любоваться шедеврами мастеров Возрождения – вход в замок охраняла личная гвардия рейхсмаршала... Как-то в середине войны Геринг, смеясь, сказал мне: «Я продал свою коллекцию живописи гауляйтерам: они уплатили мне во много раз больше, чем я в свое время истратил на устройство своего домашнего музея...» Как-то после долго-

го роскошного обеда он поднялся из-за стола, пригласил меня в подземелье Каринхалле и показал невероятные ценности: уникальнейший алтарь из Южного Тироля, вывезенный из музея Муссолини и подаренный «второму человеку рейха»; там, в подвале, он хранил бесценные полотна из музея Неаполя – все экспонаты были вывезены оттуда войсками СС, перед тем как в город вошли американцы... Рядом с картинами великих итальянских художников в его подвале хранились ящики с концентрированными французскими супами, парфюмерией из Парижа, коллекциями бриллиантов...

– А что можно считать следом к сокровищам Геринга? Какие-то особые папки, специальные ящики, портфели?

Шпеер пожал плечами:

– Мне кажется, что коллекция рейхсмаршала была собрана по законам мафии, где главным законом является старая заповедь: «Никаких следов!»

– А когда крах был близок, когда нужно было прятать ценности, неужели и тогда никаких следов не оставляли? Может быть, именно в эти последние месяцы и можно проследить ц е п ь перемещения культурных сокровищ?

Шпеер долго не отвечал на мой вопрос, потом, словно бы взвешивая каждое слово, начал размышлять вслух:

– В нюрнбергской тюрьме Геринг неоднократно говорил нам, что его неминуемо казнят союзники, но что через пятьдесят лет благодарные немцы непременно перенесут его прах в золотой гроб и установят в пантеоне... То есть, следовательно, он мечтал о том, чтобы сохранилась память о нем и его времени... Следовательно, уже накануне краха он должен был озаботить себя проблемой будущего: куда спрятать личные документы, картины, книги, оружие, коллекции... Да, это – версия... Но, с другой стороны, я помню заседание в ставке фюрера, это было, мне кажется, в середине марта сорок пятого года, когда Гитлер продиктовал Кейтелю проект приказа: все немцы, которым угрожает оккупация, должны быть эвакуированы – пусть даже силой. Кто-то из генералов заметил, что для эвакуации нужны вагоны, нужны функционирующие железные дороги, нужен уголь... Гитлер прервал генерала: «Пусть их гонят пешком!» Генерал – я забыл, кто это был тогда,– тем не менее рискнул отстаивать свою точку зрения, ведь надвигался крах, люди стали смелее, не хотели тонуть скопом... Он сказал, что и гнать-то людей нет возможности: их надобно кормить во время этапа, а запасов продовольствия нет в рейхе. Фюрер просто-напросто прервал его, повернулся к фельдмаршалу Кейтелю, начал диктовать ему приказ о насильственном

угоне немцев в глубь страны, имея в виду в первую очередь горы Тюрингии... Через несколько дней он пригласил меня к себе, чтобы ответить на мой меморандум: я рискнул – впервые в жизни, работая бок о бок с ним,– написать всю правду о крахе нашей экономики... Я ждал самого худшего, но он повел себя очень странно. Он сказал, что я не имею права никому говорить правды о надвигающемся конце, никому... А потом закончил: «Если война проиграна, то нечего думать о будущем страны, а тем более о будущем немецкого народа. Он должен исчезнуть с лица земли... Мы должны помочь процессу, пока это в наших силах...» Думаете ли вы, что Гитлер думал о сохранении экспонатов для «музея фюрера» в Линце? Или военного музея в Кенигсберге или Берлине? Вряд ли... Я помню, как он рассказывал мне о церемонии предстоящего самоубийства, как он намерен застрелить свою собаку, как он сказал, что «фройляйн Браун намерена остаться со мною», как он посмотрел на меня: не примкну ли я... Нет, он р а з в а л и л с я, он не мог думать о будущем...

– А Борман?

Шпеер ответил без колебаний:

– Этот – мог...

Провожая меня к машине, Шпеер заметил:

– Кстати, вы спрашивали меня о грузовиках Международного Красного Креста... Я ни разу не видел их в Тюрингии, но видел в конце апреля сорок пятого неподалеку от Гамбурга, в Заксенвальде... И наконец, ваш последний вопрос: можно ли было надежно спрятать? Да, можно было... В марте сорок пятого я ехал из поверженного Рура – через Вестфалию – в Берлин... Я помню, как шофер остановил машину и я оказался лицом к лицу со старыми крестьянами... Начался разговор... Эти несчастные, узнав меня, говорили, что они по-прежнему верят в победу национал-социализма, что у фюрера наверняка припрятано самое секретное оружие, которое он пустит в ход в самый последний момент, и тогда исход войны будет решен в пользу рейха... «Мы-то понимаем, чего хотел фюрер,– говорили они мне, и глаза их, несмотря на голод, бомбежки, ужас, горели фанатично,– мы понимаем, зачем он пустил на нашу территорию врагов... Это его гениальный трюк: заманить как можно больше мерзавцев, а потом уничтожить их всех единым махом...» Да разве одни они верили в этот миф?! Если бы! Один из приближенных Гитлера, рейхсляйтер Функ, спрашивал меня в апреле: «Когда же мы начнем применять секретное оружие возмездия?!»

...Функа нет более на свете, а даже внуки тех, кто мог видеть, куда прятали ценности – опускали в озера, загружали в шахты, закапывали в землю,– будут молчать и своим правнукам молчать закажут...

ГЛАВА,
в которой рассказывается о том, как мафия травит молодежь героином и налаживает контакты с торговцами краденым...

1

...Человек позвонил, не назвался, предложил встретиться.

– Где?

– Где угодно, назначайте.

– Тема беседы?

– Наркомания, торговля героином, но в свете того поиска Штайна, о котором вы писали.

– Поиск Штайна и наркомания?! Любопытно. Давайте в «Макдональдсах», в Бад-Годсберге? Через полчаса?

– Я живу в Бонне, и у меня нет машины...

– Хорошо, увидимся в кафе-мороженом на площади, напротив «Пост амта».

Собеседник вдруг рассмеялся:

– Согласитесь, что ваш «почтамт» происходит от нашего «пост амта», а не наоборот...

– Согласен.

– Слава богу, чувствую объективного человека. Успеете в Бонн за полчаса?

Я поднял жалюзи: декабрьское солнце было ослепительным, морозец неожиданно крутым – чуть ли не четыре градуса ниже нуля, это очень холодно для здешних мест, значит, надо прогревать машину; привычка эта была привита мне старшими друзьями, летчиками полярной авиации Героями Советского Союза Ильей Мазуруком и Костей Михаленко. Помню, как на СП-8 или мысе Челюскин, острове Врангеля или на подскоке Средний они гоняли моторы подолгу, дожидаясь, пока стрелка «масло» не подойдет к той черте, которая позволит пилотам взять штурвал на себя и начать разбег по искрящемуся бело-сине-красному снежному полю.

– За полчаса не успею,– ответил я.– Сорок пять минут.

– Жду.

Через сорок минут я запарковал машину в подвале универмага «Херти» и в который уже раз подивился здешней расторопности: я не видел стоящих без дела пустующих подвалов! А ведь эти гаражи – и людям польза, и государству заработок. Интересно решается проблема кооперативных гаражей и складских помещений в Швеции: повсюду в подвалах помимо двух- и трехэтажных стоянок для машин построены великолепные отсеки, где жители дома хранят то, что им нужно. Кооперативы при этом оборудуют подвалы светом, водою, кондиционерами; все это ложится не на плечи государства, а на людей, объединенных автострастью.

...Рационально используют и тепло: только-только выглянет солнышко, как владельцы кафе и баров сразу же выставляют на открытый воздух столики – важно заманить клиента; ты только, милок, сядь, мы тебя примем как родного, мы устроим тебе сказочный отдых, только приготовь деньги, отстегни их нам, мы не подкачаем, будь уверен, ибо если мы посмеем подкачать, ты уйдешь в другое кафе, что напротив, и нас ждет банкротство и нищета; плохая работа здесь означает только одно – крах, погибель, конец жизни.

...Бородач, сидевший в кафе-мороженом на центральной площади Бонна за столиком, выставленным на брусчатку, помахал мне рукой. Высокий, крепко сбитый, чуть неряшливый – в широко распространенной здесь среди молодежи полувоенной зеленой куртке; лице веселое, как у доброго черта.

– Не считайте, что я намерен пить кофе за ваш счет,– сказал он сразу же.– Я буду платить за себя, вы – за себя, по-английски.

– Можно подумать, что это очень отличается от того, что у нас называют «по-немецки».

– Умыли. Я вас с «почтамтом», а вы меня с нашими англосаксонскими манерами.

Последние слова он произнес на сносном русском, весело глядя мне в глаза.

– Где учили?

– Я филолог по образованию.

– Русская филология?

– Нет, польская. Ваш язык был у меня вторым... Итак, о предмете моего звонка... Я не левый, у меня особых симпатий к вам нет, но я верующий и заповедь «не укради» почитаю, как и все остальные заповеди божьи... Я вернулся из Италии, там есть довольно интересные материалы, связанные с историей русской литературы, ряд невыявленных архивов, но все они были похищены не нацистами, их увезла с собою первая эмиграция, а какая-то часть документов осела в Риме еще в прошлом веке. Одна графи...

старая дама русского происхождения во втором колене, показав мне два альбома, где собраны невероятно интересные экспонаты русской истории – программы обедов, балов, спектаклей, вклеенные стихотворения Вяземского, Батюшкова (он сказал «Батюжкова».– *Ю.С.*), чьи-то рисунки, злые эпиграммы, рассказала, с каким трудом ей удалось выиграть бой на аукционе в Риме за эти альбомы у коммерсанта из Гонконга. Тот бился с таким надрывом, столь нервно, что даме показалось, будто он работает не на себя, а нанят другими. После торгов дама подошла к чуть не плакавшему коммерсанту, познакомилась с ним, пригласила его к себе... Дама богата,– пояснил бородач,– весьма богата; это редкость среди эмигрантов, но ведь она русская во втором колене, я же говорил вам. Дама рассказала о беседе, которая состоялась у нее с коммерсантом из Гонконга. Я спросил разрешения передать вам ее содержание. Гра... старая дама долго думала, прежде чем ответить. Но она все-таки согласилась, отказавшись от встреч с вами,– боится красных, ничего не поделаешь, люди старшего поколения живут по законам привычного трафарета. Поскольку то, что она передала мне о беседе с человеком из Гонконга, касается русских культурных ценностей, и в связи с тем, что дело это связано с торговлей наркотиками, а я – не столько магистр филологии, сколько старый студент, следовательно, отношусь с ненавистью к тем, кто убивает героиновой чумой моих товарищей по университету, мне и пришло в голову рассказать обо всем этом вам: может, что используете во благо дела. Ссылка на меня обязательна?

– Вам бы этого не хотелось?

– В общем-то я не боюсь, но ведь есть идиоты, а я веду семинар, воспитываю молодежь, понимаете?

– Вполне. Уговорились. Меня устраивают факты; имена – не столь уж обязательны...

– Хорошо... Итак, коммерсант из Гонконга, выпив немного водки, настоянной на каких-то русских ягодах черно-красного цвета, откушав с серебрянных тарелок дичи с вареньем, сначала потеплел, потом растаял и, когда подали кофе на балкон виллы графи... старой русской дамы, решил исповедаться. Именно на балконе,– снова усмехнулся бородач,– там у мадам горят свечи, так что заморский гость решил, что запись исповеди на балконе невозможна... Именно эта деталь, совершенно неакцентируемо переданная графи... старой дамой, заставила меня поверить в истинность того, что поведал ей случайный знакомый...

«Я работаю на «боссов» банка, который финансирует пути сообщения мафии,– сказал коммерсант.– Это выгодно, потому что пути сообщения должны быть завязаны в один узел с главным

бизнесом: производством героина на секретных опиумных плантациях. Транспортировка – залог успеха, поэтому-то около пятидесяти процентов доходов платят тем, кто смог п р о в е з т и товар. Полученные деньги немедленно вкладываются хозяевами банка в приобретение культурных ценностей на аукционах. Особенно сейчас в цене все русское. Нам, посредникам, платят десятипроцентную надбавку за русские ценности...»

Бородач поманил официантку (вернее, он просто посмотрел на нее), девушка тут же подпорхнула с улыбкой, он заказал себе еще чашку кофе, спросил:

– Вас это интересует? Или – мура?

– Интересует в высшей мере.

Бородач убежденно заметил:

– Значит, правду говорят, что вы – русский агент 007.

– Я уже однажды отвечал на это в Штатах. Я согласился с такого рода допуском – при том лишь условии, что мой кодовый номер должен быть 001, ибо, как мы говорим, «советское – значит отличное».

Бородач рассмеялся. (Мне нравятся люди, которые так открыто, заливисто смеются, смотрят весело и говорят легко. Я не люблю заторможенных, крахмально-напряженных деятелей и не верю им: либо в них сокрыт комплекс неполноценности, выход из которого обычно кровав и аморален – как правило, утверждают себя за счет «давиловки» на других; либо налицо «микробонапартик», упивающийся собою; такие часто по ночам грезят об овациях в свою честь и видят себя поднимающимися на трибуну; обожают себя истерично; обидчивы поэтому до смешного; трусливы, но жестоко-мстительны.)

– Итак, вернемся к теме моего сообщения,– продолжил бородач,– гость старой дамы разоткровенничался: «Чтобы заработать на жизнь, надо постоянно думать о том, что выгодно «боссам». Сейчас у них ажиотаж на культуру,– приходится вертеться. Особенно хорошо платят за русскую. Но очень скупятся на проценты... Да-да, я живу на проценты, только поэтому я уступил вам эти альбомы – семья велика, я могу поэтому брать только то, что даст гарантии безбедной жизни детям и старикам родителям».

Бородач залез в карман своей куртки. Он достал листок бумаги, протянул мне:

– Это адрес дилера.

Я посмотрел английский текст: нереально – Гонконг.

– Не хотите встретиться с ним здесь?

– Хочу. Как это сделать?

– Постараюсь помочь.

Бородач позвонил недели через три.

– Увы,– сказал он,– гра... старая дама сообщила, что ее новый друг из Гонконга «лег на грунт», кажется, так пел Владимир Высоцкий?

– Именно.

– Он намекнул, что вынужденное возвращение к родным пенатам связано с хлопотами по поводу покупки новых домов для гонконгских ресторанов в Европе и мешающего этому бизнесу «дела» Лим Кхемлина.

...И я снова отправился в Гамбург.

Здание Дворца юстиции – старо; сложено из кроваво-красных кирпичиков, стиль начала века; кого здесь только не судили! И социал-демократов – в начале века, во времена кайзера, и спартаковцев, и национал-социалистов во времена Веймарской республики, и коммунистов, когда Гитлер пришел к власти; были здесь судебные заседания, продолжавшиеся много лет кряду, когда разбиралась мера вины нацистских палачей; особенно учитывалось, вешали они или просто-напросто расстреливали; оправдательные приговоры стали типичным явлением в дни Аденауэра...

Идешь по кафельному полу, гулко ударяются шлепки шагов по стенам, прислушиваешься к тихим, как во всех судах, голосам тех, кто сидит в коридорах, и понимаешь, в какой стремительный век мы живем: за восемьдесят лет, за неполное столетие, здание знало монархию, республику, рейх, оккупацию и еще раз республику.

...Судья Рабе выслушал мою просьбу об интервью, довольно долго медлил, потом наконец ответил:

– Только давайте уговоримся так: я сам остановлюсь на том, что считаю возможным открыть на этом этапе, поскольку дело, которое вас интересует, находится в стадии разбирательства, и это будет долгое разбирательство, потому что процесса, подобного процессу Лим Кхемлина, в истории Федеративной Республики еще не было... Что я могу вам сказать... Наша полиция вышла на след банды международных мафиози «А Конг», центр которой базируется в Амстердаме... Было захвачено двадцать восемь килограммов героина, что равно двадцати миллионам марок... Это все. Любые другие детали нанесут ущерб судебному расследованию,– к процессу приковано слишком пристальное внимание прессы, а также тех, кто переправил товар на судне «Санкуру»; понятно, не Лим Кхемлин владеет миллионами, у него, как он заявил через переводчика, нет даже денег на адвоката, и посему он отказывается от каких-либо показаний...

– Кто может дать мне более полную информацию о деле, господин судья?

– Это ваша работа – искать щедрых информаторов,– заметил Рабе.– Попробуйте связаться с полицией; Ганс Грэссман – один из руководителей группы по борьбе с наркоманией, очень талантливый сыщик.

...Здание полиции – в пику т р а д и ц и и судейских – модерново, подземногаражно, бетонно-стеклянно; и люди здесь все больше молодые (когда тебе стукнуло пятьдесят, и сорокалетний кажется мальчишкой!); очень современно одеты, то есть никакой собординационной галстучности и чернокостюмности: сплошь нейтральные цвета, а то и вовсе джинсы...

...Ганс Грэссман встретил меня в своем маленьком кабинете, усмехнувшись:

– А я уж подумал, не задержали ли вас у входа наши сверхбдительные коллеги из тайной полиции.

– Я сам запутался – коридоры с поворотами, поди вас отыщи.

– Ну записывайте, я кое-что могу вам рассказать, но подробностей не ждите, ладно? Конечно, Лим – маленькое звено огромной цепи. Конечно, за ним стоят «боссы», крутящие сотнями миллионов. И чем дальше, тем большими миллионами они вертят. В Гамбурге лишь зарегистрированных наркоманов чуть не полторы тысячи. Говоря точно: тысяча триста шесть человек. Хватит? А что означает эта цифра, понимаете?

– Понимаю, что очень много.

– Ничего-то вы не понимаете,– улыбнулся Грэссман своей быстрой, чуть застенчивой улыбкой.

– В этом деле – ничего,– согласился я.

– Хорошо, что признаетесь, чистосердечие облегчит вашу участь в будущем... Словом, записывайте в блокнотик: если исходить из того, что каждому наркоману ежедневно требуется третья или пятая часть грамма героина, то, следовательно, каждые двадцать четыре часа Гамбург потребляет полкило наркотика. Одна инъекция стоит пятьдесят – семьдесят марок; грамм – триста пятьдесят, четыреста. Если грубо округлить, то получится, что одному лишь Гамбургу необходимо около двухсот килограммов героина, то есть лишь один наш вольный город готов уплатить производителям опиумной чумы сто пятьдесят – двести миллионов марок. Это лишь один город. То есть Нюрнберг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Гамбург, Висбаден, где стоят американские войска, потребляющие громадное количество героина, дают иностранным бизнесменам, поставляющим сюда наркотики, не менее

шестисот, а то и семисот миллионов марок. Каков бизнес?! В прошлом году от героиновых отравлений у нас умерло восемнадцать человек, в этом – уже шестьдесят; младшему – семнадцать, старшему – двадцать семь. Кто-то ударяет по нашему будущему, по молодежи – расчетливо, продуманно, планомерно, словно проводит завершающую операцию военных стратегов.

В дверь постучали, вошел полицейский в форме, положил перед Грэссманом папку. Тот поблагодарил, отпустил службиста легким кивком, пролистал несколько страниц, заметил:

– Ну вот, этой ночью зарегистрирована еще одна смерть... Парень пятьдесят третьего года рождения, я его знал, пытался одно время в е с т и сам, ничего не получилось... Он попал в поле нашего зрения в семидесятом, когда ему исполнилось семнадцать. Тогда он курил гашиш. Первую инъекцию героина сделал себе год спустя. Потом начал грабить аптеки, потому что мы ужесточили выписку рецептов. Трижды брали в бессознательном состоянии на улицах. Пытались лечить – бесполезно. Дважды был осужден за продажу героина. Выходил, начинал сначала. Вчера ночью встретил в дискотеке какого-то парня,– установить нам еще не удалось,– тот передал ему т о в а р; зашел в туалет и не вышел оттуда. Когда взломали дверь, обнаружили его лежащим на полу, в вене торчал шприц. Рядом валялась ложка, зажигалка и стеариновая бумага: в ложке, на огне зажигалки, в вощеной бумаге они подогревают себе героин для инъекции. НТО дало заключение: героин с примесями, ядовит.

– Откуда приходит т о в а р ?

– Главного «босса» в Гамбурге нет, это я могу сказать с полной ответственностью. Центром продажи до недавнего времени была дискотека «Биг эпплз». Туда прилетали за наркотиками из всех крупных городов страны. Если нужно было найти наркомана, мы оставляли засаду, и он был нашим в течение двух-трех дней. Поскольку хозяин не сообщал нам о факте продажи, хотя по закону Федеративной Республики хозяева баров и ресторанов о б я з а н ы сотрудничать с полицией, мы добились того, что «Биг эпплз» была закрыта; может быть, допустили ошибку, потому что до сих пор не вышли на новый центр торговли, который существует в городе. Совершенно случайно з а ц е п и л и нашу кинозвезду Уши Обермайер: она и ее муж открыли бар «Адлер». В полицию позвонили их соседи по улице Вейденштик, 17, в районе Амсбитель: «Ночью стоит шум и крик, невозможно спать». Поехали. Дзык – а там торгуют порошком! По решению суда «Адлер» тоже прихлопнули. И снова думали: «А не слишком ли быстро?»

– Почему?

– Потому что ближайшим другом Уши Обермайер был ультралевый Тойфель, связанный с наркотиками, с группой Баадер – Майнхоф... Но Лим ничего не скажет: промолви он хоть слово – убьют, отравят, лишат дотации семью, а то и попросту уничтожат...

...Назавтра меня принял председатель профсоюза работников гостиниц, баров и ресторанов Гюнтер Дюдинг.

– Я советую вам повстречаться с руководством такого же профсоюза, как наш, в Амстердаме, генеральный секретарь коллега Мул; он слывет в европейском профдвижении дельным и объективным человеком. А я, когда получу информацию, немедленно отправлю вам письмо в Бонн.

...Перед тем как отправиться в Амстердам, я еще раз встретился с Грэссманом.

– Вам стоит поговорить с Вольфгангом Хекманом; это руководитель отдела по борьбе с наркоманией в сенате Западного Берлина. Его уважают люди разных убеждений, оттого что он честно говорит о нашей горькой проблеме, о трагедии, так будет вернее. И поймите наше сложное положение: полиция заинтересована больше других в профилактике наркомании, но, по закону, мы не имеем на это права! Когда родители уговорят ребенка пойти к нам за советом, у нас прежде всего спешат предупредить: «Ни в коем случае не называйте своего имени, ибо в противном случае мы обязаны немедленно возбудить против вас уголовное дело». Когда нам звонят из школ и просят прочесть лекцию о вреде наркотиков, мы тоже отказываемся: а вдруг какой-нибудь мальчик или девушка скажут, что они пробовали сделать хоть одну затяжку?! Сразу же необходимо начать д е л о! Вот и гуляют отписки: «Обратитесь в министерство просвещения, они должны прислать вам лектора!»

А в «золотом треугольнике», на границах Бирмы и Таиланда, бизнесмены-транспортники скупают трупики младенцев у родителей, начиняют их героином и таким образом провозят сквозь полицейские кордоны свой груз к портам; оттуда начинается атака героиновой чумой Западной Европы и США...

...Когда я вернулся в Бонн, меня уже ждало письмо из Гамбурга от коллеги Дюдинга.

Это письмо заставило меня позвонить в Западный Берлин, в сенат, Вольфгангу Хекману, о котором в свое время говорил Грэсман из гамбургской полиции.

Сотрудники сената ответили, что Хекман вернется через пару дней. Договорился о встрече. Позвонил в Вену, старшему комиссару секретной полиции Вернеру Кеуту, возглавляющему борьбу с наркотиками в Австрии. Тот согласился принять меня хоть завтра.

И я выехал в Вену – тысячу с лишним километров можно одолеть за десять – двенадцать часов, дороги воистину отменны...

– Да, мы получили из «Интерпола» данные,– сказал мне старший комиссар секретной полиции Австрии по борьбе с наркотиками Вернер Кеут,– о посредниках в торговле наркотиками, но доказать этого пока еще не смогли. У нас ситуация похожа на ту, что сложилась в Голландии, Западном Берлине и ФРГ.

Вообще положение с наркоманией в Австрии – дело серьезное,– продолжал собеседник.– Основной потребитель – молодежь четырнадцати – двадцати пяти лет. В прошлом году мы доказали восемьсот пятьдесят пять случаев торговли наркотиками, а ведь Австрию пересекают ежегодно четырнадцать миллионов человек, каждого не поставишь под рентген...

– То есть?

– Наркотики прячут в резиновые мешочки, глотают их и так провозят через границу; выявить контрабанду может только рентген.

Уполномоченный сената Западного Берлина по борьбе с наркотиками Вольфганг Хекман убежден:

– Даже если половина жителей нашего города станет полицейскими, все равно торговля наркотиками будет продолжаться, ибо не решено главное – социальная проблема, порождающая наркоманию. Я начал работать в качестве консультанта-психолога десять лет назад, не получая за это ни копейки от государства. Я видел, что несет с собою наркомания, я считал своим долгом включиться в борьбу. Волну наркомании, захлестнувшую Западный Берлин в шестидесятых годах, кое-кто пытался камуфлировать политическими мотивами. Был даже лозунг: «Гашиш расширяет мировоззрение, с помощью гашиша изменим общество!» (То есть некие стратеги «героиновой атаки» намеренно подбрасывали молодежи марихуану, чтобы оторвать ее от социальных проблем, от борьбы за их решение.)

Исследование появления наркотиков в Западной Европе и США,– продолжал Хекман,– приводит к любопытным выводам. Сначала, в шестидесятых, на рынок выбросили марихуану. Это было напрямую связано с хиппи, с их идеологией «ухода от реалий буржуазной жизни». Именно тогда стали раздаваться голоса, что выступления студентов против несправедливости – проявле-

ние наркомании, а никак не реакция честной молодежи против истеблишмента. Марихуана, «мягкие наркотики» распространялись именно среди студенчества. Но этого кому-то показалось недостаточным: в начале семидесятых годов появился «твердый» наркотик – героин. А героин стали продвигать уже не в студенческой среде, а в рабочих кварталах. Наркоманы, употребляющие героин в течение года, лишаются каких бы то ни было социальных привязок, превращаются в деклассированный элемент, в отбросы общества... Сенат Западного Берлина очнулся только в прошлом году, когда у нас было зарегистрировано восемьдесят смертей от отравления героином. Тогда-то я из «любителя» превратился в «уполномоченного по борьбе с наркотиками». Но я тот уполномоченный, которого слушают, но далеко не всегда с ним считаются. Наши интересы, например, сталкиваются с интересами двенадцати бургомистров районов Западного Берлина. Они очень не любят, когда мы говорим, что в их районах торгуют героином. «Откуда у вас эти данные?»– «Я знаю трех молодых людей, которые в барах покупают наркотики». Начинаю работу с молодыми наркоманами (главное, как я считаю, это профилактика и еще раз профилактика), а бургомистр отправляет в бар полицию, чтобы его не упрекнули в бездействии и не прокатили на следующих выборах... Арестуют ребят, ни о какой профилактике не может быть и речи, доверие утеряно. Наркоманию надо лечить социально,– заключает Хекман.– Надо обеспечить больного койкой в больнице. Мы создали «терапевтические общества», но на десять тысяч западноберлинских наркоманов мы имеем всего триста больничных коек. Значит, сначала надо обеспечить наркомана, а затем, что так же трудно, обеспечить его работой... Задачи перед нами стоят невероятно трудные, и, пытаясь их решать, я и мои коллеги прибегаем и к великому Макаренко – по-моему, педагогического опыта значительнее коммуны имени Дзержинского не было еще в мире...

...Вот так в процессе поиска Янтарной комнаты и других наших культурных сокровищ жизнь сталкивает с трагедиями, которые сотрясают Запад, особенно молодое поколение – прекрасное, чистое, ищущее, доверчивое, мятущееся.

Порою мне кажется невозможным достоверно и понятно описать с т р у к т у р у ужаса: охраняемые армией плантации опиума; переброска наркотиков в Европу и США; мафия; люди, занятые в героиновом бизнесе,– умные люди, не стоит делать из них кровожадных болванов с глазами, налитыми кровью; они точно калькулируют будущее, следят за биржей и рынками, культуры

в том числе; опорные точки торговли являются прекрасными центрами для сбора информации; обобщают ее и исследуют в секретных вычислительных центрах синдиката преступников; одна из форм легализации кровавых героиновых денег – вложение их в картины, иконы, книги, гобелены, ковры.

(Я то и дело возвращаюсь мыслью к роману «Пресс-центр», который вынашиваю уже лет восемь. И очень боюсь его начинать: удастся ли показать с т р у к т у р у? Это ведь так важно – увидеть все проблемы мира вкупе.

Конечно, иные ценители изящной словесности станут воротить нос: «Это не в традициях литературы! Где страдание маленького человека? Где его внутренний мир?! И – другое в том же роде. Переживем. Выйдет ли? Смогу ли – вот главное, что мучит.

Заставляю отвечать себе словами моих сибирских друзей, когда я попал туда впервые в начале пятидесятых годов: самым распространенным словом у них тогда было «надо». Нельзя пройти сквозь тайгу, по всем законам нельзя, а – н а д о; нельзя посадить самолет в пургу на крошечный пятачок, а – н а д о. Нельзя отправить из тайги любимую женщину, нельзя оторвать ее от сердца, но ведь у других нет ее подле, значит – надо.

...Только писал я об этом, когда мне было двадцать пять, черт возьми. Остановись, мгновенье, ты – прекрасно! Не остановится. А ты – спеши тем не менее.)

ГЛАВА,
в которой рассказывается о программе коммуниста Колера, письме фашиста Саксе и торге барона Фальц-Фейна

1

...Пауль Колер излагает проблему кратко и точно:

– Давай-ка я еще раз сформулирую вопросы, а ты запиши в блокнотик, может, что пригодится в процессе поиска. Итак, первое. Кто знает хотя бы одного человека, который плыл из Кенигсберга в Киль на крейсере «Эмден»? Второе. Кто знает что-либо о перемещении музейных ценностей из Танненберга в Бернтероде? Третье. Кто обладает информацией складирования культурных собраний из Кенигсберга в Веймаре или других районах Саксонии? Четвертое. Кому известно о колонне грузовиков швейцарского Красного Креста весной 1945 года в районе Веймара? Пятое. Кто знает события, произошедшие 12 апреля 1945 года в Тю-

рингии или Саксонии, когда в тех районах шла колонна грузовиков Красного Креста?

– Очень интересные вопросы, Пауль.

– Нужные вопросы, согласен...

– Георг Штайн нашел капитана «Эмдена».

– Я думаю, капитан будет молчать; на флоте сильны пронацистские настроения. Впрочем, буду рад ошибиться... Вспомни, как хоронили гитлеровского преемника адмирала Деница, сколько военных шло за гробом этого пирата...

– Я, кстати, разговаривал с директором франкфуртского «музея кож» Галлом.

Браться Галл, оба музейные работники, родились в семье бывшего «директора управления парков и заповедников Пруссии»,– именно в распоряжение их отца, доктора Галла, особая зондеркоманда передала Янтарную комнату, а он уж переадресовал ее в Кенигсбергский замок, профессору Роде.

– Ну и?..– спросил Пауль.

– Он ответил, что искать следы можно в Карлсхорсте: «Мой отец работал с русским офицером-историком летом сорок пятого, тот должен быть в курсе; впрочем, я слыхал, что русский офицер умер».

– И все?

– И все.

– Франкфурт-на-Майне – город, где можно и нужно искать, старина, там есть следы...

...Пауль Колер был прав: в этом суматошном городе один след оказался очень интересным, и вел он в окружение Мучмана, гитлеровского гауляйтера Саксонии, со штаб-квартирой в Дрездене. А именно Мучман занимался созданием «неприступной крепости» в горах, где, по замыслу Бормана, Геббельса и гауляйтера Восточной Пруссии Коха, фюрер должен был стать главой подземного нацистского царства. Следовательно, Мучман и его люди могли знать все или почти все о тайных складах культурных ценностей в горах Тюрингии и Саксонии.

Дама, с которой я говорил во Франкфурте-на-Майне, посоветовала мне обратиться к некоему Саксе:

– Он был адъютантом самого близкого Мучману человека, постоянно сопровождал своего шефа, дружил с семьей Мучмана... Он, правда, заядлый охотник, мало бывает дома, все время путешествует, но если вы его застанете, он расскажет много интересного...

– А где его нужно искать?

– По-моему, в Кобленце. Да, именно там...

И я нашел телефон Саксе.

Он выслушал меня и попросил прислать ему вопросы в письменном виде. Что я и сделал.

Ответ пришел вскорости; привожу его целиком:

«Господину Юлиану Семенову.

Ссылаться: Ваше письмо без даты, полученное мною 18.6.1980 г.

Уважаемый господин Семенов, в связи с Вашим телефонным разговором, когда Вы сказали, что недостаточно хорошо говорите по-немецки, я прошу Вас ответить на следущие вопросы: 1) Являетесь ли Вы немецким гражданином, или же Вы иностранец? 2) Является ли Лиссем Вашим постоянным местом жительства, или же у Вас есть квартира в другой стране? 3) Кто именно назвал мое имя? Кто сказал Вам о моей прежней деятельности? Я с нетерпением жду Вашего ответа...»

Вот так...

А как подступиться к тайне машин швейцарского Красного Креста?

Просить Жоржа Сименона? Или поднять архивы во Дворце наций – позволят ли только? Сможет ли Штайн помочь чем-то в Швейцарии?

2

Много работаю с прессой. Масса сюжетов. Вот один из них: Вольфганг Кёпке слыл красивым и сильным человеком. Он не был кинозвездою, хотя съемки наиболее популярных западногерманских телевизионных сериалов «Таторт» или «Деррик» без его участия были немыслимы – как дублер он выделывал головоломные трюки; риск стал постоянным фактором его жизни. Кинематографисты неплохо оплачивали смертельный риск одного из лучших каскадеров мира, однако п р е с т и ж н о с т ь – в том ужасном, истинно мещанском, понимании, которое часто определяет положение в обществе той или иной звезды на Западе,– требовала от Кёпке все больших и больших затрат на жизнь. А тут еще тридцатичетырхлетний спортсмен задумал осуществить самое главное дело своей жизни: создать школу для подготовки каскадеров. Понятно, такая школа стоит огромных денег: аренда помещения, приглашение тренеров, покупка техники – все это невероятные траты. А получить деньги под школу совсем не просто: наивно полагать, что финансировать ее станут министерства или бла-

готворительные общества – школа, она и есть школа, это вам не выгодный бизнес, какой смысл вкладывать в нее деньги?!

Поэтому Вольфганг Кёпке решил сделать головоломный трюк, который бы принес ему деньги, достаточные для создания школы.

Трюк был таким жутким, что была необходима консультация психиатра. Один из крупнейших врачей – после длительного и всестороннего исследования спортсмена – пришел к выводу: Кёпке понимает, что такое страх.

И Кёпке начал серию головоломных представлений: человек-факел, в горящем комбинезоне он прыгал в Гамбургский канал с двадцатиметровой высоты. Каждый сенсационный прыжок такого рода стоил бы 2500 марок. Однако, чтобы собрать денег на школу, надо было совершить сотни таких прыжков – слишком долго ждать.

Тогда Кёпке пригласил мирового рекордсмена Бентлина, и они начали изнурительные тренировки: поскольку суперкаскадеру исполнилось 34 года, подготовка к тому, что он задумал ныне, должна быть абсолютной. А задумал он невероятное: прыжок с моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско. Именно этот прыжок, полагал он, позволит ему открыть школу и навсегда привяжет к нему очаровательную «мисс Швейцарию», с которой он незадолго перед тем познакомился.

Высота, которую ему предстояло одолеть в вольном падении, была равна 67 метрам. Надо только представить себе – 67 метров! Такого еще не было ни разу. Прыжок состоялся днем; погода была прекрасной, зрителей – тьма. Кёпке нырял в водолазном костюме, плотно облегавшим тело, в ботинках, оборудованных свинцовыми подошвами,– это гарантировало то, что полет будет вертикальным, спортсмена не закрутит в воздухе, не развернет в горизонтальное положение, не будет столь силен удар по ногам.

Он вошел в воду стремительно, отвесно, почти без брызг. Он вошел в воду мертвым.

...Городские власти Сан-Франциско, знавшие о приезде в США замечательного спортсмена и каскадера из ФРГ, не удосужились даже обратиться к докторам с вопросом: а возможен ли прыжок с такой высоты? Под силу ли человеческому организму такая нагрузка? Возможен ли трагический исход? За океаном было продемонстрировано полное равнодушие к судьбе спортсмена – жизнь является его собственностью, он вправе ею распоряжаться по своему усмотрению, ведь контракт на гонорар за уникальный прыжок подписан по всем правилам, с соблюдением необходимых формальностей, чего ж еще?

...Ушел из жизни красивый человек, великолепный спортсмен; ушел из жизни там, где отношение к таланту цинично, бессердечно и определяется лишь рыночной стоимостью на зрелище.

3

...Изучение газет стало ныне так же необходимо, как стакан чая – утром; газеты сделались бытом, как, впрочем, и телевизионный выпуск «Время», но если во «Времени» ты магически смотришь все, то в газете у каждого свои привязанности: одни охотятся за спортивными новостями, другие особенно любят внешнеполитические новости, третьи – искусство. Если наши газеты не так уж трудно прочитать от корки до корки, четыре или восемь полос всего лишь, то газеты, которые я каждое утро получаю в боннском Бюро «Литературной газеты», напечатаны на ста сорока восьми страницах, и страницы эти надо просмотреть. Каждый день. Поначалу я тонул в информации. Потом научился отделять злаки от плевел. И постепенно вошло в привычку – после просмотра первой и второй полос сразу же перебрасываться на двадцатую-тридцатую страницы, там, где печатают новости из мира искусств. И вот именно там я прочитал заметку, набранную мельчайшим петитом: «В воскресенье в помещении Франкфуртской ярмарки состоится аукцион персидских ковров, на котором неожиданно появился фаворит: рукотворный портрет, подаренный России в 1916 году персидским шахом. Начальная стоимость – 20 000 марок».

Позвонил Фальц-Фейну. Об аукционе он ничего не знал.

– Слушай,– сказал он, переходя на «ты», совершенно как-то естественно и для меня, и для него,– не мог бы ты сделать мне любезность и съездить туда заранее? Посмотри ковер и позвони мне: если это интересно, я стану биться до последнего.

И я выехал во Франкфурт-на-Майне.

С этой громадной территорией, где проходят и книжные и промышленные ярмарки, у меня связано весьма любопытное наблюдение; впервые, впрочем, я стал обращать на это внимание еще в Лиссеме, когда делал пробежки по лесу. В будние дни – бежишь себе, ни одного встречного на аккуратных дорожках. Но в субботу или воскресенье – совсем другое дело. Не гуляющие, а прямо-таки «социально-возрастной слоеный пирог»– молодежь лет до тридцати на одежду не обращает внимания, полная демократия, кто как хочет, кому как удобно, тот так и одет; тем, кому сорок – пятьдесят, гуляют, как правило, в костюмах: ослепительно белые рубашки, цвет пиджака и брюк чаще всего кремов, п р а з д н и ч е н; люди, чья молодость пала на довоенные го-

ды, еще более педантичны: большинство тех, кому за шестьдесят, отправляются на воскресную прогулку в традиционных гольфах, зеленых баварских курточках с отложными воротничками, на которых ярко-зеленая вышивка; грубые шерстяные носки, чаще всего темно-бордовые, и тяжелые башмаки, чуть ли не на шипах, будто вышли на снежные Альпы, а не в лесок, окруженный со всех сторон бетонными трассами и жилыми домами, в которых живет столичный «бомон»: сохранение традиций — в наивном и самом чистом виде. Хорошо это? Отвечать однозначно не берусь, но замечу, что тридцатилетние, в джинсах, смотрят на старичков в курточках с улыбкой, а те, наоборот, каменеют лицами и презрительно фыркают: космополитическая беспочвенность джинсов неприятна им, воспитывались-то, куда ни крути, в ту эпоху, когда джаз был в запрете: «Музыка черных недочеловеков, ритмы, чуждые арийцам»; когда рубашка о б я з а н а быть белой, либо коричневой, или черной — форма СА или СС; иные цвета — нелояльны, вызывающи, а вызывающим мог быть только коммунист, славянин, еврей или цыган, все остальные нормальны, люди как люди, не выдрючиваются. И если эта «слоеность» публики в лесу под Лиссемом — повод для наблюдений, то седые, крепенькие старики в синих униформах, охраняющие франкфуртскую мессу,— очевидный повод для вывода: фашизм калечит людей духовно, прививает им нетерпимость и взаимную неприязнь, преклонение перед запретом — символом порядка и авторитарности. Попробуй запарковать машину хоть в десяти сантиметрах от того места, где проведена белая черта стоянки, и старик в синей форме кинется на тебя коршуном, его не остановит ни твой журналистский мандат, ни карточка иностранца, ни мольбы о том, что уходит время, а для журналиста это — смерти подобно. «Нет,— услышишь ты в ответ на все твои мольбы.— Нельзя, мой господин, ничего не могу поделать, мой господин, порядок должен быть один для всех, мой господин». Но если мимо медленно проползет звероподобный автомобилище, старик вытянется во фрунт, схарчит глазами дядю, сидящего на заднем сиденье, и в ответ на твое замечание ответит: «Но у него есть пропуск! Покажите ваш! Тот, у кого есть пропуск, имеет право на все, таков порядок, и не вам его менять...»

Так что, приехав на ярмарку, я запарковал машину подальше от седых стариков с оловянными, невидящими, но все замечающими глазами и отправился искать тот павильон, где должен проходить аукцион.

Нашел я его довольно скоро, служба информации здесь, как и всюду в стране, работает отменно, озабоченная экономией вре-

мени, являющегося общегосударственным п р о д у к т о м, то есть ценностью более чем даже рукотворной, скорее – рукотворящей.

В огромном павильоне, при входе, продают прекрасные книги с цветными репродукциями ковров, приготовленных к продаже. Стоят книги дорого, очень дорого. В этом смысле западный мир невероятно зацензурован, книга по карману лишь в е с ь м а состоятельным людям.

Пришлось купить роскошный каталог. Открыл страницу с уникальным ковром, подаренным России. Таинственная история: вывезен неизвестно кем, много лет находился в руках некоего капитана из Гамбурга, теперь пущен с молотка в мир «вложения капиталов».

Я вышел в вестибюль, нашел будку автомата, опустил монету достоинством в пять марок, набрал код Лихтенштейна и сразу же услыхал голос барона:

– Это ти?!

По этому самому «ти» я понял, что он ждал моего звонка, он всегда начинает говорить с легким акцентом, когда волнуется.

– Это я. Ковер, по-моему, совершенно уникален и хоть монархичен, то есть не очень интересен с точки зрения высокого искусства, но – как предмету истории – аналога я не видал.

– Спасибо. Слюшай, какой я устрою сейчас концерт, а потом расскажешь мне подробности торга.

Концерт воистину получился более чем отменный.

Это было мне внове, аукцион я ни разу не видел, разве что читал у Ильфа и Петрова, поэтому все запомнилось с четкой, фотографической яркостью, словно снимки с блицем.

Итак, ты получаешь картонку, на которой напечатан номер. Это – твой мандат во время торговли. Приходишь в зал, садишься на один из пяти сотен удобных стульчиков и начинаешь ждать, оглядывая тех, кто входит сюда. Люди невероятно интересны: он – длинноволос, весь в коже, как змей; она – брита наголо, в замше, кажется, что не идет, а шуршит; он – в черном, котелок, словно у диккенсовского персонажа; она – в норке, хотя не холодно вовсе; он – в дырявых брюках и рваных тапочках на босу ногу; она – прижимаясь к нему плечом – чуть ли не в царском муаре, обриллианчена и заизумрудена, не старуха, а ломбард, жмется огромным бюстом к атлетическому, г-образному плечу содержанта...

Собралось такого рода парочек штук пятьдесят; остальные, сразу видно, вроде меня, безденежные, пришли, чтобы посмотреть бесплатное представление.

Примечательны две парочки из американского экспедиционного корпуса. Этим предписано ничем не выделяться; сидят себе в скромных костюмчиках, ждут начала д е л а.

На подмостки вроде сцены провели телефонный аппарат, забегали девочки – хоть и нету на них формочек стюардесс, но все равно некое подобие наличествует: мир стареющих мужчин чтит девушек, подчиненных форме, с такими легче.

Радисты подышали в микрофон: «айн, цвай, драй»,– даже мизинцем поцокали в шершавую металлическую мембрану «говорильни».

А потом началось.

На подмостки вышел мужчина в скромном, достойном костюме, сдержанно поклонился залу, занял место у микрофона, на трибуне-кафедре.

– Добрый день, дамы и господа! – сказал он по-немецки, но с ужасающим английским акцентом.– Поверьте, я разойдусь во время торгов и вам будет не так трудно понимать мой немецкий. Итак, повод к нашей сегодняшней встрече дали нам два компонента – искусство великих персов, которые ныне переживают столь трагическую годину своей истории, и невероятная инфляция, сотрясающая свободный мир. Трудно себе представить – да и нужно ли? – ту горькую кривую падения престижа дела, которая является главной определяющей константой нашего бытия. Правительства с их полумерами, с их трусостью и замалчиванием тех трудностей, которые ждут нас впереди, не в силах помочь процессу; бизнесмены, занятые в сфере промышленного производства, пытаются делать все, что в их силах, но режимы, в поисках популярности у избирателей, то и дело вводят поправки к законам, которые бьют по прибылям, и это, ясно, не может не сказаться на стабильности – производство начинает сворачиваться. А что происходит в мире?! Удары по Европе, особенно по Европе, стали все более ощутимы! Так я хочу задать вам вопрос: что делать честному человеку, скопившему какие-то деньги? Куда вложить их? Во что пустить? В банк? Но вы же прекрасно знаете, как растут цены! Сегодня вы открыли счет на тысячу марок, а через месяц эта тысяча станет равна – по покупательной способности – девятистам или того меньше! Купить акции? Смысл? Вы знаете, как много уважаемых людей пострадали, купив акции на серебро! Нет, дамы и господа, есть лишь один путь, и наша фирма знает, что делает, когда советует вам: вкладывайте деньги в персидские ковры! Двадцать лет назад они стоили в десять раз дешевле, чем сегодня; десять лет назад – в пять раз дешевле! Да что там! В прошлом году ряд ковров, которые мы решили выпустить на торг се-

годня, стоили в два раза дешевле, чем нынче! Вложив десять тысяч марок в ковер ручной работы из Шираза, вы сразу же, здесь, в этом же зале, выиграли еще двадцать тысяч! Итак, дамы и господа, мы начинаем, и я заранее поздравляю вас с тем, что вы здесь, у нас в гостях,— вы уже в выигрыше!

В зале раздались сдержанные аплодисменты. Аукционер, однако, начал раскланиваться с такой горячностью, что создалось впечатление, будто гремит овация и он — это не он, а по крайней мере Лиза Минелли.

— Принесите, пожалуйста, ковер под номером один,— обратился он к одной из девушек.

Та в свою очередь обернулась, и из-за перегородки два кряжистых парня вынесли ковер и развернули его.

— Дамы и господа, вы видите древность! Вы слышите строки Омара Хайяма, перед вами сдержанность и достоинство — великое искусство персов! Посмотрите внимательно на этот ковер! Обратите внимание, какой строгостью отличается узор! Как он скрыт! А в этой скрытости — его высшая ценность, ибо открытое не имеет цены, оно — для всех, а скрытое, принадлежащее мне — это близко к ощущению владычества и собственной особости! Дамы и господа,— в голосе джентльмена появился некий надрыв,— думаю, что если мы начнем торг с трех тысяч марок, все согласятся с этим, не так ли?! Нет, дама в пятом ряду не согласна, она назначает три сто! Итак, три сто... Нет, господин предлагает три двести, итак, три двести — раз! Ага, вижу, три триста! Новая цена, дамы и господа! Новая цена, три триста! Нет, не согласен господин из седьмого ряда!

Он умел торговать, этот джентльмен из Лондона, он довел стоимость ковра до семи тысяч, и все в зале сидели замерев, в о с х и щ е н н о внимая ажиотажу торговли. (Потом мне, правда, сказали, что фирма «Сотби» частенько «задействует» своего человека на аукционах во время первого или второго торга, чтобы з а в е с т и публику, что называется, р а с к о ч е г а р и т ь ее.) В зал заходили все новые и новые посетители, несколько человек начали перешептываться, кивая на появившегося господинчика в скромном костюме, коротких узких брючках и не по размеру больших мокасинах, надетых на канареечные носки. Вместе с ним в зал вошли три сына — лет десяти, семи и пяти — в таких же желтых носках и таких же мокасинчиках модели «колледж». Шепот в зале заставил меня наклониться к соседке — явной завсегдатайше торгов, зрительнице пенсионного возраста (пусть лучше тут отсиживается, чем затевать семейные свары).

— Мадам, кто это пришел?

Мадам, как видно, была глуховата: она скрипуче прогрохотала:

– Нет, это не Пешавар, это Хорезм!

Пришлось обернуться к соседу слева. Тот ответил:

– По-моему, это какой-то иранский крез, из эмигрантов, он частый гость на аукционах.

Сосед оказался прав. Я убедился в этом, когда настала очередь ковра под номером двадцать один.

– Дамы и господа! Я прошу вашего внимания! Этот уникальнейший ковер, рукотворные портреты монархов, обозначен нами как экспонат, стоящий двадцать тысяч марок. Мы отдаем себе отчет в том, что он стоит значительно дороже, мы предлагаем схватку у м н ы х, желающих вложить капитал, поэтому мы и пошли на оправданный риск: пусть бы у нас учились такого рода оправданному риску политики, а?! Итак, двадцать тысяч, дамы и господа, двадцать тысяч – раз... Ага, дама не согласна... Двадцать тысяч сто? Я полагаю, что в данном случае «сто»– слишком маленькая ставка... Впрочем, я ни на чем не настаиваю, пусть будет двадцать тысяч сто марок...

Иранский крез поднял свою карточку над головою и что-то негромко сказал. Аукционер понял его моментально:

– Названа цена в двадцать одну тысячу, дамы и господа...

– Двадцать две,– сказал один из скромных, тихих американцев в штатском – с явной военной выправкой.

– Итак, двадцать две тысячи – раз, двадцать две тысячи – два, двадцать две тысячи...

– Двадцать три тысячи,– негромко бросил иранец.

И тут раздался телефонный звонок.

Девушка в формочке, выслушала, что ей говорили, протянула трубку аукционеру, тот заулыбался трубке, словно лучшему юмористу, начал кивать головой и делать какие-то заговорщические знаки залу.

– Дамы и господа,– возвестил он, отложив трубку,– в наше состязание за уникальный ковер вошел большой знаток искусства из-за границы. Он предлагает цену: тридцать тысяч марок.

Шум прокатился по залу, потом стало совсем тихо.

– Тридцать одна,– сказал иранец, и я заметил, как лицо его начало медленно бледнеть.

– Тридцать две,– ответил аукционер, выслушав того, кто говорил с ним по телефону.

– Тридцать три.

– Нет, ваш оппонент не согласен, он назначает тридцать пять.

– Тридцать шесть,– ответил иранец.

– Тридцать шесть – раз,– начал было возглашать аукционер, но потом спохватился, приник к трубке, откашлялся: – Сорок тысяч...

– Сорок одна,– также монотонно, негромко, хотя несколько хрипловато, ответил иранец.

В зале было слышно, как жужжала муха где-то под потолком; жужжание исчезало, когда вырывался вздох – после объявления новой цены.

На пятидесяти тысячах иранец сдался.

Через час после того, как я вернулся в Бюро, раздался звонок.

– Ну как?! – спросил барон.– Хороший спектакль я им устроил?!

– Это было зрелище,– согласился я,– настоящее зрелище!

– Через пару недель ковер прибудет ко мне,– сказал барон.– Было бы хорошо, если б ты приехал посмотреть воочию... Тем более, что у меня возникла одна любопытная идея – как раз накануне Олимпиады. Надо бы обсудить сообща.

4

Через две недели я был у барона.

Уезжал я от него с письмом, которое не могу не привести здесь. (Оно было опубликовано в «Комсомольской правде» накануне открытия Олимпиады.)

«В Министерство культуры СССР.

В течение многих уже лет я собираю коллекцию русской живописи, скульптуры Лансере и Удона, предметы старины, иконы; приобрел наиболее ценные книги, картины и гравюры из всемирно известной библиотеки Дягилева и Сергея Лифаря.

Семья моя, как по линии отцовской, так и по материнской, оставила по себе память в истории нашей Родины: дядя мой, Федор (Фридрих) Эдуардович Фальц-Фейн, ученый-зоолог, был создателем всемирно известного заповедника Аскания-Нова, о чем теперь упомянуто в Большой Советской Энциклопедии. Мои прадеды по материнской линии – адмиралы Епанчины – принимали участие в победоносном морском сражении при Наварине; дедушка, генерал Епанчин,– участник освободительного похода русской армии в Болгарии.

Семья наша состоит в родстве с Достоевским и Набоковым; по сю пору я дружу с Шаляпиным, Толстым,

внучкой великого русского писателя Фонвизина; пытаюсь сохранить от распыления русское искусство, собираю произведения отечественной культуры в моем доме, названном мною «Аскания-Нова» в память о том замечательном месте, где я был рожден.

В свое время я уже отправил в Москву уникальную книгу, которой не было ни в одной из библиотек Советского Союза, и получил благодарственное письмо заместителя министра культуры.

Понятно, все, что я собираю, дается мне с большим трудом, работать приходится с раннего утра и до позднего вечера: я был и остаюсь создателем и организатором туризма в моей стране, руковожу моим «Туристским офисом» в столице Лихтенштейна Вадуце.

Мне приятно, что «Литературная газета» начала компанию по поискам произведений русской культуры, похищенных во время второй мировой войны. Я полагаю этот почин нужным, своевременным и заслуживающим благодарности.

Поскольку русская история принадлежит всему человечеству, является поразительной по своему драматизму и героизму, мне бы хотелось сделать свой вклад в углубление познаний истории нашей Родины. Дело в том, что в Аскании-Нова, где я был в 1978 году в качестве гостя АН Украины и Спорткомитета СССР как вице-президент Олимпийского комитета Лихтенштейна, мне сказали, что якобы существует проект создания музея Аскании-Нова. В том случае если это действительно так, я хотел бы знать, возможно ли в будущем музее выделить мне зал или два зала, где я бы смог – в свое время – организовать экспозицию, передав в дар этому музею картины моих предков, а также полотна великих русских художников, ибо у меня есть Репин, Коровин, Васнецов, Прянишников, Айвазовский, ряд уникальных исторических экспонатов и икон.

Был бы признателен, если бы мне сообщили о судьбе музея, чтобы я мог принять решение на будущее.

Пока же, накануне моего приезда на Олимпиаду, гостем которой я имею честь быть, хочу теперь же, не дожидаясь вашего ответа, передать через посредство писателя Юлиана Семенова в дар Советскому государству следующие уникальные книги: «Собрание 4291 Древних Российских Пословиц, печатаны при Императорском

Московском Университете, 1770 год», «Новейшее основание Ернеста Брауна, капитана артиллерии в Гданске 1682 года, напечатано славенски повелением царского величества в Москве лета Господня 1709 в сентябре месяце», «Наставник земледельческий, или Краткое аглинского хлебопашества показание, приумножена и пополнена профессором Семеном Десницким в Москве, в Университете Типографии, у Н.Новикова, 1780», «Мармонтеня, академии французского языка члена, из французского на славенский язык переведен в Вене, 1776», «Басни русския, извлеченные из собрания Крылова, с двумя предисловиями: на французском Г.Лемонтея, а на италианском Г.Салфия, изданные Г.Орловым; Париж, у Боссанжа-отца на улице Ришелье, у Боссанжев-братьев на улице Сены, 1825 год», «Герой нашего времени», издание второе от 1841 года, из личной библиотеки графини Евдокии Ростопчиной».

Передаю также в дар рисунок, который, как мне сказали, принадлежит руке Ильи Репина. В случае если специалисты подтвердят авторство молодого Репина, я передаю этот «Рисунок малоросски» в дар Третьяковской галерее.

С уважением — Эдуард Фальц-Фейн».

5

«Ролс-ройс» проезжает кованые ворота, мимо камня, на котором вырублено имя владельца имения — Броунстоун.

Машина останавливается перед старинным, феодального типа особняком, скрытым за высокими деревьями. Из автомобиля выходит владелец роскошного имения господин Вильгельм Штаммфрёёр — один из тех, кого уже довольно давно разыскивает западногерманская юстиция, Штаммфрёёр обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Сбежав из ФРГ, он обосновался в графстве Мит в Ирландии, где чувствует себя в полной безопасности. Его владения — одни из самых крупных в округе. 1500 его коров пасутся на плодородных пастбищах.

Однако хозяин имения занимается животноводством лишь для собственного удовольствия. Основная его профессия — фабрикант, а свое ирландское имение он использует вот уже четыре года в качестве штаб-квартиры мебельной фабрики, находящейся в Бад-Липпериге в Вестфалии, которая дает 50 миллионов марок годового оборота. Он не может посетить свои фабрики без риска

сесть в тюрьму. В прокуратуре Билефельда уже давно лежит приказ об аресте за уклонение от оплаты налогов в размере шести миллионов марок – за это полагается тюремное заключение на пять лет. В Ирландии г-н Штаммфрёёр может не опасаться ареста, поскольку между этой страной и ФРГ не существует договора о взаимной выдаче преступников. Здесь он может спокойно переждать еще пять лет до тех пор, пока обвинение не будет с него снято за сроком давности.

Доктор Фридрих Шульц из Бад-Нойхайна – «дипломированный медик». (Это здесь очень важно, свидетельствует о высшем образовании; титулы печатают на визитных карточках – чем их больше, тем престижнее.) Он-то и открыл широко разрекламированную школу по подготовке программистов и взял с каждого три тысячи марок в оплату за обучение. Как было установлено прокуратурой Дюссельдорфа, обучение выпускникам ровным счетом ничего не дало. «Дипломированный медик» надул 2500 курсистов на три миллиона марок!

Во время судебного процесса на скамье подсудимых были сотрудники Шульца, а сам шеф отдыхал от «трудов праведных» на морском берегу в Греции.

Корреспондент навестил Шульца в бело-синем, тихом приморском Керкира. Утро он проводит в баре, вечер – на своей яхте. На замечание о том, что прокурор давно ожидает его в Дюссельдорфе, он ответил: «Передайте ему от меня сердечный привет». Скоро у Шульца истекает срок давности преступления, и он сможет вернуться в ФРГ.

Хайнер Брааш – 39-летний коммерсант. Ему удалось скрыться в день, когда прокуратура Гамбурга начала против него судебное разбирательство. Он собрал у мелких предпринимателей 140 миллионов марок, чтобы выгодно – с точки зрения налогов – вложить их в «судостроение». Деньги были «вложены», а сам Брааш исчез. Приказ о его аресте лежит в Гамбурге, а он тем временем путешествует в Карибском море на своей яхте, пребывает в роскошной квартире в Лондоне или – по делам – выезжает в Швейцарию. Ни в одной из этих стран он может не опасаться ареста.

Западноберлинской полиции уже в течение нескольких лет не удается добиться выдачи торговца недвижимостью Хайнца Келлермана, который ныне живет в Испании. Ему удалось привлечь капиталы для строительства курортных домов на Канарских островах, пообещав высокие проценты дохода и низкие отчисления на налоги. Но миллионный проект остался на бумаге, а пять миллионов марок – в кармане у Келлермана.

...Почему эти материалы, почерпнутые мною из здешней прессы, имеют отношение к поиску наших культурных ценностей? Да оттого, что все эти и им подобные жулики вкладывают миллионы в приобретение культурных ценностей; на них работают посредники, юристы, мафия. Вернуть ворованное, вырвать его из чужих рук не так-то просто.

(В бургомистрате Ансбаха мне сказали, что по здешнему законоположению человек, считавший себя в течение тридцати лет обладателем вещи, становится ее фактическим и юридическим обладателем, даже если эта вещь была в свое время похищена.)

ГЛАВА,
в которой рассказывается о русских в Баден-Бадене

1

Разговаривал о поиске с моим другом Клаусом Менартом.

– А не стоит ли вам побывать в Баден-Бадене? – спросил он.– Я слыхал, что в архиве города есть некая фрау Фус, она вроде бы занимается сбором материалов, связанных с историей великих русских, посещавших наш город в Шварцвальде. Я готов написать вам рекомендательное письмо.

Через неделю я приехал в Баден-Баден и ходил по этому удивительному городку ночью, когда не было толп туристов, и светили фонари на пустынных улицах, и моросил мелкий дождь, и тишина была первозданная, и стояла «вилла «Тургенефф», и отель, где жил Гоголь, был неподалеку, и оживали строки великих, и не было одиночества, ибо память, если только ты умеешь п о м н и т ь, не нуждается в материализации; она – вещественна.

– Да, профессор писал нам и звонил,– сказала фрау Фус, кабинет которой расположен в городском замке.– Я готова позволить вам поработать в нашем архиве; кое-что я уже приготовила для вас.

...Не знаю, есть ли новые публикации, связанные с русскими гениями в Баден-Бадене; привожу обнаруженные там документы о Гоголе с некоторыми сокращениями; все, что подобрано, принадлежит перу, уму и п р е д с т а в л е н и я м немецких ученых, работавших здесь. Конечно же многое подлежит проверке, соотнесенной с теми материалами, которыми располагают наши академические институты; однако, быть может, что-то в этих документах натолкнет моих коллег на продолжение поиска?

...Великий русский прозаик Николай Гоголь был первым русским писателем, поселившимся в Баден-Бадене.

Пребывание Гоголя подтверждает «Курортная книга для регистрации приезжающих великокняжеского города Бадена». В графе, регистрирующей приезжающих, записано, что «в четверг, 28 июля 1836 года, среди гостей, приехавших накануне, был господин Поголь из Петербурга». Буква «П» является опечаткой или следствием неразборчивого почерка, такие случаи часто встречаются в регистрационных книгах. (Позже, в 1844 году, в «Книге регистрации» была зафиксирована фамилия «Гогель».)

Он остановился в 1836 году в гостинице «Дармштеттер хоф», являвшейся в то время фешенебельным курортным отелем. В настоящее время эта гостиница является частью ратуши.

Самой первой семьей, входившей в круг друзей Гоголя и приехавшей в Баден-Баден, была семья Репниных. Они прибыли сюда 15 мая 1836 года. В курортной книге записано, что «прибыл князь с супругой и сыном, а кроме того, княгиня Репнина, урожденная графиня Разумовская, и две ее дочери. Вместе со свитой и обслугой – 25 человек». Репнины жили не в гостинице, а на вилле «Штефаниенберг». У этого дома весьма интересная история. В 1836 году он принадлежал камер-юнкеру барону фон Энде, служба которого при дворе герцога закончилась большим скандалом. В 1838 году этот великолепный земельный участок с домом купил Жак Бенаце. Он-то и превратил его в игорный дом.

Следующий приезд Гоголя в Баден-Баден зафиксирован в 1843 году. Однако можно предположить, что Гоголь посещает курорт в 1840 – 1841 годах. Для этого, не подтвержденного пока официально, пребывания есть определенные основания, ибо в 1841 году в Германии, в журнале «Европа», в первый раз был издан один из его первых рассказов из цикла «Миргород».

Именно тогда в жизни Гоголя и появляется новое имя – Август Левальд. В 1835 году он основал журнал «Европа», с подзаголовком, который многое объяснял: «Хроника образованного мира». Деятельность Августа Левальда была очень многообразна. Он был купцом и переводчиком, журналистом, редактором; писал новеллы и романы, был актером, директором театра, режиссером и, наконец, издателем.

Левальд родился 10 октября 1792 года в Кенигсберге в семье богатого коммерсанта. Его мать родом из Копенгагена, сестра талмудиста и литературоведа Исаака-Ойхеля, друга Мендельсона. Сначала Левальд последовал желанию своих родителей – они хотели сделать его коммерсантом – и начал работать в банке двоюродного брата. Когда тот послал его по коммерческим делам в Варшаву, Левальд поступил на русскую службу, стал секретарем барона фон Розена в штаб-квартире фельдмаршала Барклая-де-Толли и, будучи

участником войны против Наполеона, попал в Париж. Тогда он и отказался от желания сделаться коммерсантом – он сделался актером, играл в Брюнне, Вене и Мюнхене; работал директором театра в Гамбурге и Нюрнберге; потом стал редактором «Нюрнбергер Корреспондентен», написал небольшую комедию «Дедушка», издал три тома своих новелл (Гамбург, 1831 – 1833 гг.) и, наконец, переехал в Штутгарт, будучи уже профессиональным писателем. Здесь в 1835 году он и основал журнал «Европа», который задавал тон в области искусства и литературы. Популярность «Европы» была необычайно велика. Поэт Людвиг Берне написал Левальду открытое поздравительное послание в связи с выходом журнала.

Пока неизвестно, когда и каким образом Август Левальд познакомился с Николаем Гоголем. Можно предположить, что имя Гоголя стало известно Левальду как человеку, близкому к театру, в связи с невероятной популярностью «Ревизора», который далеко перешагнул границы России. Так как «Тарас Бульба» в переводе на немецкий язык впервые появился в журнале «Европа», то, вероятно, проводились подготовительные работы по его изданию именно с Августом Левальдом. К сожалению, неизвестно имя переводчика. В конце первой публикации стоят лишь буквы «М.Л.», можно предположить, «Л» обозначает Левальд, однако «М» не соответствует начальной букве его имени. Может быть, это инициалы жены Левальда? Ее имя до сих пор не удалось установить.

...Судьбы, судьбы русских людей!

Фрау Фус рассказала мне поразительную историю:

– То, что Барбара Анненкова выступала в театре Баден-Бадена два сезона, более чем случайность и более чем страница ее актерской биографии.

Прошло уже около ста лет с тех пор, как дедушка и бабушка актрисы жили здесь в доме «Анштет» на Шиллерштрассе, 17. Их сын Павел стал впоследствии отцом Барбары, а дочь Вера вышла замуж и недавно умерла – в возрасте 90 лет...

С чего же все началось?

Декабрист Анненков был сослан в Сибирь. Его возлюбленной, француженке Полине Гёбль, удалось получить разрешение поехать за ним в ссылку. В своих мемуарах она описывает всю тяжесть бесконечного пути на телегах и санях. В Сибири они поженились, прожили долгую жизнь, родили двенадцать детей и по прошествии многих лет вернулись обратно в Европейскую Россию.

Полина Гёбль прославилась благодаря своим мемуарам. Александр Дюма использовал их в своем произведении «Учитель фехтования» («Метр д'Арм»), вышедшем в 1840 году, и познакомил читателей с необыкновенной судьбой этой смелой женщины.

Дедушкой Барбары (Варвары Павловны) был Павел Анненков, который каждый год приезжал со своими двумя детьми – Павлом и Верой – в Баден.

Ничто не удерживало его в России тех лет. Как и многие его современники, он подолгу жил на Западе, путешествовал по всему континенту, любил Париж и Дрезден, но сердце его принадлежало Баден-Бадену. Здесь он каждый год снимал верхний этаж в доме фрау Анштет на Шиллерштрассе, 17.

Он был большим знатоком литературы и в 1855 году стал первым издателем Собрания сочинений Пушкина. Многолетняя дружба связывала его с Тургеневым. Именно из-за Анненкова великий прозаик и приехал в первый раз в Баден-Баден, поселившись в семье друга, в доме «Анштет». Многочисленные письма, которыми обменивались эти люди в течение десяти лет, ценные фотографии и другие реликвии, которые заботливо сохраняла внучка Барбара, погибли во время разрушительной англо-американской бомбардировки Дрездена 13 февраля 1945 года.

Однако остались передаваемые из поколения в поколение воспоминания, которые будут забыты последним потомком этой семьи.

Вера Нагель, урожденная Анненкова, дочь друга Тургенева, венчалась здесь в русской церкви. Мадемуазель Флора Календер, которая до недавнего времени проживала в Эберштайнбурге и занималась разведением пуделей, была ее самой близкой подругой.

Удивительное совпадение – в год смерти Веры Нагель (1956 г.) погиб и тот старый каштан в саду на Шиллерштрассе, 17, который когда-то посадил ее брат – еще при Тургеневе!

(Увы, фройляйн Календер найти мне не удалось,– время быстротечно и в этой своей быстротечности – беспамятно.)

2

...Фрау Фус любезно записала мне телефон единственной русской, с о х р а н и в ш е й с я в Баден-Бадене, княгини Трубецкой.

Позвонил.

– Кто это?

– Семенов.

– Какой? Из семьи саратовского предводителя дворянства?

– Нет, я не из Саратова, а из Москвы.

– Ах, из первопрестольной?! Но я стараюсь сейчас никого не принимать, ваше превосходительство... Вы не из графов Семеновых?

– Нет-нет... Простите, я не знаю вашего имени и отчества...

– Ах, называйте меня просто «княгиня», какое уж тут отчество в старости?!

– Мне бы очень хотелось навестить вас, княгиня.

– Давайте отнесем ваш визит на осень, ваше превосходительство...

– Кто знает, как сложатся дела осенью... Мне бы очень, очень хотелось навестить вас...

– Ну тогда приходите попозже, что-то к восьми, так уж и быть, попьем чаю...

Княгиня назвала адрес, я приехал пораньше.

...Дом княгини – в самом центре, первый этаж отдан под шикарный магазин; рядом ателье художников, готовят новую экспозицию, пахнет творчеством – скипидаром, масляными красками, кислым вином и черствым хлебом – замечательный запах...

Я поднялся по довольно-таки грязной лестнице, позвонил в квартиру, услыхал шаркающие шаги, дверь отворилась, и я поразился, увидав аккуратненькую русскую бабушку в старой, довоенной еще московской коммунальной квартире – с огромным таинственным темным коридором, какими-то ведрами на стенах, давно не крашенных, облупившихся.

Княгиня шепнула:

– Только идите на цыпочках и громко не говорите, здешний дворник – страшный человек, он ненавидит меня, я совершенно затравлена.

Мы вошли в ее маленькую комнату, и я сразу же вспомнил мою бабушку Евдокию Федоровну Ноздрину – и ее жилье в коммуналке на улице Красина,– столь похожую на эту, хоть и не была бабушка княгиней, а, наоборот, родственницей одного из председателей Совета рабочих и солдатских депутатов в Шуе Авенира Ивановича Ноздрина; и сердце мое сжалось, и вспомнилось детство, и война, и первые налеты на Москву, и маленькая дырявенькая бабушкина сумочка, в которой всегда был образок из Иваново-Вознесенска, а я, будущий пионер, так уж этого бабушкиного образка соромился, так уж стыдился, что нет сейчас сил об этом вспоминать...

– Присаживайтесь, у меня есть пара заварок дивного чая, ваше превосходительство... Как вас зовут?

Я ответил.

– Ульян? Какая прелесть! Вы вроде Феликса Юсупова, я помню, как о нем Кристи и Глебовы говорили – «князь Феликс». Мой папа был северянином, его Петр Великий привез из Скандинавии, граф Кляйнмихель. Это всякие социалисты говорили, что

мы из немцев, ничего подобного. Раньше мы звучали, как полагалось,– «Кленмихель», потом переиначили на немецкий лад, это виноват мерзавец Штюрмер, немец мерзкий, им Распутин вертел, как хотел... А потом я стала Пущиной, да-да, он из тех Пущиных, и любовь к мужу, убиенному на фронте в январе семнадцатого, я пронесла сквозь всю жизнь, хоть и вынуждена была выйти потом за Трубецкого... Но это была жертва, он не мог бы иначе выехать из совдепии, я его, как брата, везла в поезде, в тифу, вшах, ужасе...

Княгиня сняла старенький чайник с маленькой электроплитки; разлила по стаканам кипяток; осторожно опустила пакетик с заваркой.

– С сахаром я не пью, но для гостя приберегла конфекты, вот прошу вас...

Всего к о н ф е к т было пять; ссохшиеся, давно, видимо, хранила...

– С Трубецким я не жила, а мучилась, хотя у него была прекрасная мать; вообще очень интересная семья, они жалели меня, зная мою любовь к Пущину... Ах, Пущин, Пущин, я не встречала более таких людей... Знаете, когда у тебя постоянно в памяти человек-идеал, мечта, то ты несчастна, ты никого не сможешь более полюбить, всякий другой будет казаться тебе несовершенным. Я не жила, я существовала, держала в Потсдаме кабинет красоты, рисовала моды, потом стала петь, понятно, под артистическим именем, не писать же на пластинке «княгиня Трубецкая», позор, срам, со свету сживут, особенно славился в ту пору генерал Бискупский, невероятный сплетник, он с Геббельсом дружил, два сапога – пара... А паспорта я так и не получила, живу по нансеновскому, пенсии нет, раньше готовила студентов или мелких клерков, которые по заданию своих фирм ехали в Россию... Они у меня и спали здесь, за ширмой, мне места хватало, тогда я и мяса могла себе порою купить, и рыбы... Вот, не хотите ли приобрести мою пластинку? Двадцать марок, недорого... Ах, даже две хотите?! Как это мило, ну что вы, разве меня кто может помнить в России?

У меня не повернулся язык, сидя в этой нищей конуре, спросить ее о произведениях русской культуры. Три рисуночка, вырезанные из журналов, были приклеены к грязным обоям; несколько книжек; тазик для умывания; плитка; старенькая койка, застеленная шершавым, чуть ли не солдатским одеялом...

...Провожая меня, княгиня с заговорщическим видом шепнула:

– Приезжайте весною, я начну в ы х о д и т ь, отправимся тогда на площадь и всласть поедим жареной картошки, я это так люблю, это ведь теперь для меня праздник... Идите тише, демон дворник может наброситься, такой отвратительный человек...

Дверь она закрыла бесшумно, шагов я не слышал, она словно бы босиком шла...

Кляйнмихель, Пущин, Трубецкой...

(Спустя год я встретил в Женеве, в отеле «Ричмонд», на аукционе русских икон двух старушек в аккуратно чиненных туфельках; они начали т о р г о в а т ь икону Иверской богоматери. Веселые канадские лесорубы, весело переговариваясь, с р у б и л и «конкуренток», легко накинув сотню долларов.

Старушки – с пунцовыми щеками, в глазах – слезы, седые, скорее даже серебряные волосики под мелкой сеточкой – ушли тихо, как мышки, а вслед им смеялись «победители» в торге...

Жутко это было мне видеть.)

ГЛАВА,
в которой рассказывается о том, что мир коррупции также не прочь вложить «черные деньги» в приобретение похищенных культурных ценностей

1

...Угроза дальнейшего растаскивания наших ценностей по виллам нуворишей и сейфам банков очень велика не только в связи с «героиновыми» деньгами. Ныне по миру ходит гигантское количество «черных денег», рожденных взятками, аферами, противозаконными спекуляциями. Огромные деньги, вырученные «черным» путем, немедленно вкладываются в недвижимость, сплошь и рядом на подставных людей,– никаких следов: мафиози, торговцы наркотиками дали некий «рецепт поведения» взяточникам.

Сейчас на аукционах часто сталкиваются интересы «героиновых» бизнесменов и тех, кто берет в лапу от крупнейших корпораций мира. И те и другие отправляют своих людей на торги, там идут бои, цены взвинчиваются, а в результате искусство оседает в домах коррумпированных «боссов» или опиумных эмиссаров мафии – бесценные полотна и иконы из наших музеев...

Чтобы представить себе, каков размах взяточничества на Западе, стоит еще раз вернуться к событиям недавнего прошлого.

Несколько лет назад за день до начала слушания дела «Локхида» вице-президент корпорации Роберт Вотерс застрелился в своем доме.

В феврале 1979 года японский бизнесмен М.Шимада выбросился из окна своего офиса в Токио. Это первая жертва нового скандального расследования, которое началось в связи с коррун-

цией и взяточничеством. Теперь, однако, японских политиков подкупали не агенты «Локхида», а представители другой, не менее могущественной американской корпорации — «Дуглас». Суммы, которые были «введены» в дело,— астрономические; взятка «стоит» не менее ста тысяч долларов, а то и больше.

А началось данное конкретное дело «Локхида»— одно из многих темных дел — в начале века...

...Солнце тогда было ярким, но не пекло еще. Тишина казалась особенно слышимой, оттого что трещали кузнечики. А потом, слоно коленкор разорвали,— это Алан Локхид запустил пропеллер своего первого самолета. Тогда, в 1912 году, два брата, энтузиасты «парения в воздухе», Алан и Малколм Локхиды пролетели несколько минут на аэроплане. Затем к ним присоединился талантливый архитектор Джон Нортроп. 12 апреля 1918 года их самолет Ф-1 (праотец нынешних «фантомов») пролетел за 118 минут 221 милю. Это был рекорд. Вскоре наступил кризис, банкротство, и дело изобретателей перешло с молотка в руки банкира Роберта Гросса.

Дерзкая идея покорения скорости и преодоления пространства не волновала банкира. Его интересовало другое — сбыт продукции через рынки, принадлежащие ему, а не Дональду Дугласу или Вильяму Боингу, двум грозным конкурентам, монопольно захватившим рынок в Америке. Гросс решил пробиться в Европу. Кое-что ему удалось сделать, однако этого было мало: прибыль прибылью, но ведь конечная цель — сверхприбыль. И в конце тридцатых годов он повернул «Локхид» к военной промышленности, к тому, от чего отказывались в свое время «поэты воздухоплавания», именами которых новый владелец по-прежнему пользовался как прикрытием.

Гросс отправился в Лондон с предложением начать строительство истребителей. Там снисходительно усмехнулись: «Войны не будет». Тогда он перелетел через Ла-Манш и обратился с подобным предложением к гитлеровцам. Те хотя и не утверждали, что войны не будет, тем не менее отвергли предложение «Локхида»: нацисты сделали ставку на «мессершмитты» и «юнкерсы». Вернувшись за океан, Гросс сумел заинтересовать военным проектом людей из правительства и получил подряд на строительство истребителей для США. Это принесло ему 2 миллиарда. А истинные сверхприбыли дала война.

1945 год оказался для Гросса черным годом: победа, мир. Бросив инженеров на поиск в области реактивной техники, «Локхид» показал Пентагону свои новые самолеты. Их нужно было опробовать: вскоре началась война в Корее. В 1950 году «Локхид» полу-

чил задание расширить заводы по выпуску военных машин. Тогда появился Дан Хаутон, «отец» транспортного гиганта «Геркулес», самолета, использовавшегося для стремительной переброски «зеленых беретов» в горячие точки – Корею, Ливан, Гватемалу... Однако модель нового истребителя «старфайтер», разработанная «Локхидом», гробилась чуть ли не ежедневно на испытательных аэродромах. У Пентагона же был выбор: и «Боинг», и «Дуглас» предлагали свои модели истребителей. Гросс подсчитал, что если не продать 3 тысячи своих «старфайтеров», то концерн обанкротится. Выход один – используя политиков, руководителей ЦРУ, дипломатов, выйти с неудачной моделью на мировой рынок. С этой целью провели операцию «Камуфляж». Истребитель чуть задекорировали, у г р о з н и л и внешне и звуково. Оставалось решить, кому продать «тухлый товар». Понятное дело – союзникам. И вот начинает работу своя пресса: «коммунистическая угроза», «баланс сил в пользу СССР», «наступательные тенденции русских»– словом, все как полагается во имя сверхприбылей.

...Середина пятидесятых годов, «холодная война», доктрина Аденауэра в ФРГ, клокочущий реваншизм в Японии. Итак, для «Локхида» стратегические цели определены: Бонн и Токио. Вопрос тактики – через кого и как продать «тухлятину» типа «старфайтер».

В Японии было удобнее. Как-никак остров, изоляция, меньше чужих глаз, влияние генерала Макартура. Он еще недавно обещал сделать страну нейтральной «Швейцарией Дальнего Востока», но вскоре уже призывал превратить Тихий океан в «англосаксонское озеро».

На кого же ставили американские монополисты в Японии?

Иосио Кодама был лидером местных фашистских молодежных групп. Много лет работал в «Маньчжоу-Го», попал там в сферу наблюдения американской военной разведки, по ее поручению организовал широкую шпионскую сеть в Китае, выезжал во Вьетнам, нелегально жил на Филиппинах.

«Ко», «Кодама орган», расположенный в «Син-Асна отель», стал центром суперразведки. При этом Кодама не забывал о своем бизнесе: покупал героин в Токио, перепродавал его за границей, затем эту валюту реализовывал на черном рынке Японии, приобретал оружие, тайно вывозил его из страны, получал за винтовки золото, а уж золото менял на алмазы, которые хранил в своем сейфе.

И при этом постоянно, страстно, надрывно страдал о горькой судьбе любимой нации – в речах ли, в статьях, в беседах с власть имущими. Те же внимали его словам со слезами,– национализм угоден людям малой культуры и большой власти.

Но война кончилась. Кодаме пришлось отдать свои алмазы и снять с личного счета 175 миллионов долларов. Эта взятка не только спасла ему жизнь, но и принесла звание финансового советника кабинета министров. Он стоял у колыбели либерально-демократической партии, премьер Киси был его ближайшим другом. И вот к этому-то человеку и прибыл Джон Хал из Лондона. Оставаясь в глубине души антиамериканцем, уповающим на господство Японии в Азии и на Тихом океане, Кодама, играя роль верного «Локхиду» человека, провел головоломную операцию. С помощью этой компании, имевшей связи с Белым домом, он способствовал назначению начальником Генерального штаба генерала Минору Генды (того самого, который спланировал нападение японской авиации на американский флот в Пирл-Харборе и уничтожение там многих тысяч американских моряков и летчиков). Вскоре Генда отправился с официальным визитом в США, посетил штаб-квартиру «Локхида» в Калифорнии, сел за штурвал «старфайтера», поднял его в воздух, посадил и сказал газетчикам: «Это лучший самолет, какой мне приходилось когда-либо видеть».

Судьба «старфайтера», или, как его называли иначе, «делателя вдов», «летающего гроба», «тухлятины», была решена. Япония купила бракованный товар, Минору Генда получил высший орден ВВС США.

Итак, Япония оказалась той сценой, на которой «Локхид» провел генеральную репетицию по «мирному» захвату рынков сбыта.

Настало время играть премьеру в Бонне.

...Американский писатель и журналист Дэвид Боултон назвал Франца-Йозефа Штрауса «крестным отцом» корпорации «Локхид» в ФРГ. Однако, поскольку вина Штрауса оказалась недоказанной, я ограничусь лишь констатацией фактов, опубликованных в западной печати, для того чтобы затем выяснить, кому и зачем понадобилось поставить Штрауса под удар в критическое для ФРГ время.

Итак, хронология.

1945 год. Сотрудник американской разведки при оккупационных властях в Западной Германии Эрнест Хаузер обратил внимание на активного, быстрого в реакции, остроумного переводчика. Звали этого человека Франц-Йозеф Штраус. В голодные дни оккупации Хаузер приглашал Штрауса в американские казармы, подкармливая исхудавшего мужчину, на котором пиджак висел как на вешалке. Когда у Хаузера – после очередного развода и новой свадьбы – родился сын, крестным отцом стал Штраус, и в его честь мальчика назвали Франц-Йозеф.

Именно Хаузер и подтолкнул Штрауса к общественной деятельности. А подтолкнув, вернулся в США, воевал в Корее, продолжая служить офицером разведки, потом в звании майора демобилизовался: его отец был австрийским эмигрантом, о первых ролях Хаузер-сын не мог мечтать, а третьи роли его не удовлетворяли, даже в разведке. Он поступил на работу в авиакомпанию, написал об этом Штраусу; тот теперь был уже не в Мюнхене, а в Бонне – в кресле военного министра. Встреча друзей состоялась во время официального визита Штрауса в США. Беседовали с глазу на глаз. Во время этой беседы Штраус и предложил Хаузеру перейти на работу в «Локхид». Почему это было важно Штраусу? Во-первых, потому что «Локхид» имел свой офис в Кобленце, а во-вторых, там же был расположен офис НАТО, связанный с производством боевых истребителей. После беседы Штраус написал президенту «Локхида» Гроссу – прямо там, в Калифорнии. Возвращаясь в Бонн, он сделал остановку в Нью-Йорке, где его ждал ответ Гросса: президент согласен на то, чтобы Эрнест Хаузер стал представителем «Локхида» в ФРГ.

Через месяц «старый друг» прилетел во Франкфурт. На аэродроме ему передали письмо, он вскрыл конверт: «Приветствую! Ф.Й.Ш.». В обязанность Хаузеру вменялись таможенные проблемы, однако на самом деле он был связником между «Локхидом» и Штраусом – так, во всяком случае, утверждает Хаузер. Более того, он утверждает и поныне, что ХСС, партия Штрауса, получала деньги от «Локхида» за то, что председатель этой партии, будучи министром обороны, открыл небо ФРГ для «старфайтеров», тех самых «летающих гробов», которые то и дело взрывались на аэродромах Японии. Однако, повторяю, слова, не подтвержденные фактами, остаются словами.

...Борьба за рынки сбыта разгоралась стремительно. Была необходима еще более надежная страховка. Тогда Томас Джонс, генеральный директор дочерней фирмы «Локхида» «Нортроп», пригласил к себе консультантом Кермита Рузвельта, внука президента Теодора Рузвельта, ведущего специалиста ЦРУ по переворотам в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Именно через него «Локхид» и «Нортроп» смогли нажать на шаха Ирана, и тот закупил партию самолетов. Именно К.Рузвельт продавал фирме наиболее секретные данные ЦРУ о деятельности иностранных правительств.

Куда же были обращены главные интересы «Локхида»– «Нортропа»? Италия, Нидерланды, Саудовская Аравия.

Саудовская Аравия – понятно: нефть.

Ясно, почему ЦРУ было заинтересовано в проникновении «Локхида» в Италию: стратегическое положение средиземноморской страны говорило само за себя.

Но Нидерланды? Почему «Локхид» начал операцию в Нидерландах? Операцию дорогостоящую и рискованную, ибо главным агентом корпорации стал не кто-нибудь, а принц Бернард. Газеты писали, что если проанализировать вопрос глубже, то можно допустить: Бернард не только влиял на принятие решений, угодных «Локхиду» в Амстердаме, но и делился своими связями и знаниями, которые он получил в Индонезии, бывшей голландской колонии.

...Летом 1965 года представитель «Локхида» в Джакарте Нэд Ридингс встретился с президентом концерна «Мусин» Августом Дассадом, многолетним агентом авиакорпорации в Индонезии. Визит был обоюдоважным — ВВС Индонезии решали вопрос: покупать ли французские «каравеллы» либо остановиться на самолетах «Локхида»? В течение нескольких месяцев Ридингс и Дассад разрабатывали стратегию: как «угробить» французов и вынудить Индонезию купить продукцию «Локхида»? Однако, судя по тому, какую взятку потребовал Дассад, шансы были на стороне французов. Такого рода взяток «Локхид» раньше не платил.

Пока этот вопрос обсуждался, в штабе «Локхида» один из «плавающих» агентов корпорации сообщил из Парижа, что там в составе индонезийской правительственной делегации находится и Дассад, который принимает участие в переговорах с французским правительством о получении кредитов. Разведка «Локхида» установила, что Дассад представляет не только их интересы, но — в равной мере — интересы французских конкурентов, в частности «Сюд Авион», которая связана с «каравеллами». Рвать с Дассадом? Рискованно. Надо искать другие пути, надо помогать иным тенденциям. И люди «Локхида» вместе с посольством США и американской разведкой в Джакарте напряженно следили за незримыми событиями. После того как Сукарно был свергнут, Дассад первым из бизнесменов получил заграничный паспорт и выехал в Японию для переговоров о нефти. ЦРУ в Джакарте известило «Локхид»: «Дассад входит в число людей, которым доверяет новая власть, армия в частности».

Нэд Ридингс по указанию своих шефов встретился с одним из влиятельных военных авиаторов. Тот внимательно выслушал предложения «Локхида» о продаже Индонезии новых реактивных самолетов, вскользь поинтересовался, кто получал раньше комиссионные, в каком размере. Согласно кивнул, когда Ридингс ответил, что никаких комиссионных «Локхид» никому не платил, прекрасно зная, сколько получал Дассад, и заметил, что в будущем ни одно частное лицо в Индонезии не будет иметь права получать комиссионные, поскольку ВВС создают свою компанию, которая

намерена брать три процента с каждого контракта, «сущую ерунду», что-то около 160 тысяч долларов со сделки.

И началась битва за людей в ВВС – уже без помощи Дассада (надо уметь предавать друзей, если того требует дело). Была найдена «нейтральная» авиакомпания: ее купили на корню. Превратившись в филиал «Локхида», именно она платила «нужным» десять процентов комиссионных. Но конспирация прежде всего. «Локхид» не должен иметь никаких связей с этой «нейтральной» компанией. Поэтому в Гонконге была создана новая авиакомпания ЛААЛ. Выплата «комиссионных» с той поры проходила по «цепи»: «Локхид» переводил комиссионные на счет «ЛААЛ (N 06626 – 16348 в «Бэнк оф Америка», 101-я Вест-Севенс-стрит, Лос-Анджелес), после этого ЛААЛ зачисляла эти деньги для взяток на свой счет в Гонконге, а уж оттуда переводила в Сингапурский банк – для «нейтральной» компании, которая и отдавала комиссионные тем, кого удалось купить...

...На кого ставил концерн в своих заграничных акциях? Лишь на яростных антикоммунистов, сплошь и рядом с нацистским прошлым. Именно такого рода люди становились ключевыми агентами – вербовщиками концерна.

...Генерал Джулио Фанали, занимавший в правительстве Румора ключевой пост в авиации, был боевым летчиком Муссолини. Именно поэтому секретные службы США «посоветовали» правительству отдать ему, бывшему фашисту, пост министра в республиканском кабинете. Вполне «надежный» человек: связан с фашистом Боргезе – главарем крайне правых террористов, кандидатом в парламент от неофашистской партии. Именно к нему и подошли люди «Локхида». Генерал обещал помощь в приобретении Италией самолетов «Локхида», но взятку демонстративно отказался взять – немыслимое дело!

Однако когда по прошествии времени полиция проводила обыск на вилле Грациани, там, среди документов, которые крупнейший промышленник Италии не успел уничтожить перед скоропалительным вылетом за границу на своем самолете, были найдены счета, из который явствовало, что те из правительства Италии, кто «отказывался» брать взятки непосредственно от «Локхида», принимали деньги от специального агента корпорации словно заработную плату: Джулио Фанали, столь драматично сыгравший отказ перед людьми «Локхида», брал свои 15 миллионов лир в год от Грациани.

А кто такой Грациани, наиболее доверенное лицо «Локхида» в Италии? Он служил в десантных войсках Муссолини, затем проходил практику в частях СС как диверсант, работал в германском

посольстве в Риме, но служил себе, думая о будущем: продавал пропуска на передвижение по стране за 50 тысяч лир каждый. Деньги, полученные с несчастных, бежавших от фашистского террора, дали ему возможность приобрести документы и найти «свидетелей» его «партизанской» деятельности. С этими документами он пришел к американцам в 1944 году, получил их поддержку и начал сотрудничать в сфере бизнеса.

Случаен ли скандал с «Локхидом», разыгравшийся не столько в США, сколько здесь, в Западной Европе? И да, и нет. Попытка увязать неизбежность разоблачений «Локхида» с «уотергейтским делом» слишком уж лежит на поверхности. Самовыворачивание людей «Локхида» носило форму прямо некоего аутодафе. А ведь сколько ни билась сенатская комиссия, расследовавшая дело концерна ИТТ, игравшего ключевую роль в свержении правительства Сальвадора Альенде, сколько ни старалась доказать его прямую связь с ЦРУ, ни один из лидеров корпорации не сделал заявления, которое бы проливало свет на то, как подготавливался контрреволюционный переворот.

Когда же сенатор Черч начал расследование дела «Локхида», сенсационные разоблачения — с именами контрагентов, адресами, номерами банковских счетов — посыпались, словно рождественские подарки из мешка, принесенного Дедом Морозом, которого, правда, никто в глаза не видел. Странный Дед Мороз! Откуда он, кто отрядил его в сенат с такого рода «подарками»?

При этом надо заметить, что сенатор Черч добивался выдвижения своей кандидатуры от демократов на выборах 1976 года. Сенсационное разбирательство дела «Локхида», как полагал он и его штаб, делало его общенациональной фигурой, не менее популярной, чем Хэмфри или тогда никому не известный аутсайдер Джимми Картер. Черч раскручивал дело, понимая, что оно, привлекая всеобщее внимание, выводит его в форварды.

Он, однако, недоучел фактор времени: борьба за лидерство на выборах предполагала забвение всех других дел, кроме борьбы за себя. Недоучел он и возможности массированного нажима: Киссинджер — теперь уже открыто — написал личное письмо верховному судье Эдварду Леви, в котором, подвергая, естественно, критике систему коррупции, указал, что «опубликование имен, вовлеченных в дела «Локхида» и «Нортропа», нанесет серьезный ущерб США в вопросах международной политики».

Черч не мог не прислушаться к тем, кто стоял за Киссинджером,— слишком серьезные силы. В работе комиссии возникла пауза. Но тут случилось неожиданное: вдруг объявился Хаузер, сошедший уже со сцены и ЦРУ, и «Локхида». Он опубликовал свой

сенсационный дневник о «работе» не только со Штраусом, но и с принцем Бернардом, и опубликовал свой дневник не где-нибудь, а в «Уолл-стрит джорнел». Потом он дал интервью телевидению. И после этого Карл Котчиан, тогдашний президент «Локхида», открыл имена своих агентов в Японии. «Я полагаю,— заявил он,— что это принесет свои резоны для Соединенных Штатов». Словом, создавалось впечатление, что те, кто формировал новую администрацию, решили уже тогда собрать для себя новые команды в Европе и Японии.

Слушание дела «Локхида» продолжалось. Никсон уже ушел. И Форд, судя по всему, был обречен на поражение. Новая администрация, не выбранная еще, не известная еще никому, уже тогда думала не только о «домашних» делах, но и о своей внешнеполитической стратегии.

Что происходило в 1975 году в ФРГ, когда Хаузер выступил со своими сенсационными разоблачениями? Ситуация в обоих блоках бундестага была сложной, все более заметными стали трения между ХСС и ХДС. Близились выборы в бундестаг.

Что происходило в Италии, когда туда перекинулся скандал с «Локхидом»? Наращивание левых сил. Приближение выборов. Вполне реальным было создание единого кабинета левых. Что могло помешать этому? Дестабилизация, которая предполагала расшатывание общества, дабы возникла «тяга к сильной власти, способной навести порядок». Дело сделано —«выплескивают чернила» на бывшего премьера Румора, разоблачают его как агента «Локхида».

...Что происходило в Японии, когда люди «Локхида» раскрыли своих тамошних агентов? И там — предстоящие выборы, и там, следовательно, необходима дестабилизация, и там нужно подготовить к власти новых людей.

И в высшие эшелоны власти рвутся эти «новые люди» ЦРУ — «Локхида», словом, военно-промышленного комплекса.

Известно то, что «орехи» (на жаргоне мафии «сто тысяч долларов»), полученные от ВПК, дяди-взяточники вкладывают не только в земли, бриллианты, дома; а «шастают» и по аукционам в поисках того, что можно хранить вечно,— Рембрандт и Рублев, Тициан и Репин...

2

...Договорились со Штайном начать классификацию ряда обнаруженных материалов, чтобы свести воедино главные вопросы: кого искать, в каких архивах, по каким годам.

Впору заводить портативную ЭВМ, ибо документы того стоят.

Вот, например, лишь часть отчета за 1942 год о «работе», проделанной ЭСТРР — «айнзац-штаб рейхсляйтера Розенберга»: сначала в архиве Т.454/Р. II Вл. 8553 ф.ф. сообщается, что шефом подразделения в Белграде, Афинах и Салониках стал доктор Ботхер; в декабре 1941 года в Брюсселе и Амстердаме «трудился» доктор Вундер; именно он весной сорок второго был передислоцирован налаживать грабеж в Минск и Ригу, а затем в Киев и Харьков.

Именно этими «докторами», а также подключенным к ним «доктором» Энгельбахом лишь в период с 31 декабря 1941 года по 1 января 1943 года были инвентаризованы и похищены исторические архивы и библиотеки из Ораниенбаума, Петергофа и Нарвы. (На вагонах стояла маркировка: «Доставить в Берлин, в Прусский государственный архив».)

А в замок Кенигсберга и столь интересующий меня Кольмберг были отправлены коллекции живописи, Янтарная комната, коллекция мебели, собрание икон Петра I, «в с е г о 650 ш т у к» (я даю дословный перевод! Именно так сказано в нацистском документе о работах Грека и Рублева.— *Ю.С.*), собрание фарфора Екатерины II.

Из Киева в замок Анненхайм отправлено 125 ящиков с ценностями, во Франкфурт-на-Майне вывезено 6 ящиков, из Парижа в Анненхайм доставлено 107 ящиков.

Только с 1 апреля по 1 июля сорок третьего года в Берлин поступило 306 ящиков с ценностями.

Одно время часть ящиков была складирована в берлинском районе (Вильмерсдорф). Там находилась «небольшая часть»— 4783 ящика с живописью, иконами, книгами, коврами, коллекциями!

Это только в Берлине, в одном из его районов, в Вильмерсдорфе.

А сколько в других местах?

Как начинать крутить клубок? Где архивы, относящиеся к той поре, когда ящики с ценностями были передислоцированы в другие места? Кто их сопровождал? Кто принимал картины, книги, иконы в новых хранилищах и давал расписку о получении сокровищ культуры? Давалась ли расписка? Не могла не даваться. Значит, может быть, стоит искать в архивах тех районов и городков, где гитлеровцы укрывали краденое? Но в Баварии, например, это сделать крайне трудно: то там, то здесь арестовывают ответственных сотрудников бургомистров, если даже и не бургомистров,— тот эсэсовец, этот — гестаповец; тридцать пять лет Фемида играет с ними в жмурки.

Каждый, кто поднимает архивы в баварских городках,— подозрителен, особенно если дело связано с войною, с памятью...

ГЛАВА,
в которой рассказывается о памяти

1

...По дороге от Нюрнберга к Байрейту я снова натолкнулся на колонну американских грузовиков: набитые молодыми солдатами, они перегородили дорогу — маневры НАТО; огромные танки, бронетранспортеры, джипы двигались в направлении границ ГДР.

Молоденький офицер махнул мне рукою, чтоб я прижался к обочине.

Я прижался.

— Куда это вы? — спросил я.

Парень, видимо, стосковался без английского языка, белозубо улыбнулся мне, ответил:

— Курс — на Эльбу.

— Но ведь Эльба в другом государстве...

Парень стремительно обернулся:

— Так ведь — учеба!

— А вы помните, где встретились русские и американцы в сорок пятом, когда добивали Гитлера?

— Да разве мы встречались с русскими?! — Парень удивился невероятно, даже глаза его округлились.

— Вы с какого года?

— С шестьдесят первого, а что?

Я не знал, как мне ответить ему. Это конкретное, жесткое, типичное американское «а что?» поставило меня в тупик. Беспамятство — страшная штука; на беспамятстве может родиться фашизм, инквизиция; беспамятство — повивальная бабка тирании.

Я отчетливо, до мельчайших деталей, и по сей день помню командировку в США накануне празднования тридцатилетия нашей совместной победы над фашизмом. Я прилетел тогда от «Правды», и в первую же ночь в Нью-Йорке мне пришлось ответить на вопрос старого американца: «А что вы помните о прошлой войне?»

Мы-то помним. Мы и молоденького командира торпедного катера РТ-109 Джона Кеннеди помним, и то, что он спас товарища во время боя и за это был награжден боевой наградой (когда я днем позже встретился с помощником президента по военным вопросам генералом Честером Клифтоном, он рассказал, что Кеннеди, посмотрев в Белом доме фильм о своем катере, усмехнулся, за-

метив: «Слишком драматично, чтобы быть правдой, но хорошо хоть, что актер не имитирует меня, а просто-напросто воссоздает образ юноши, который считал своим долгом сражаться против нацистского агрессора, и хорошо, что создатели фильма помнят тех, кто погиб»). Мы помним и то, что предано забвению в Америке: рядовой первого класса Питер Ситник был награжден маршалом Коневым орденом Славы III степени приказом N 060 по Первому Украинскому фронту от 13 мая 1945 года, славным солдатским орденом с выбитыми на нем цифрами: 274485. Где Ситник? Я не смог найти его в Штатах, никто не знал о нем, о его подвиге, никто не помнил солдата.

Мы — помним.

...Я стоял на обочине дороги, которая вела к границам социализма, и по этой дороге р ы ч а л и танки, и м и т и р у я удар по «красным», и вспоминал, как тогда, накануне торжеств Победы, я сидел в сенате, в кабинете Эдварда Кеннеди, и беспрерывно звонили телефоны, и сновали сотрудники штаба сенатора, и трещала пишущая машинка — словом, жизнь была отлажена так, как она обязана быть отлаженной по американским стандартам.

Кеннеди, воспринявший от убитых братьев умение формулировать концепцию словно эстафету, помог себе рубленым жестом руки:

— Мы обязаны помнить прошлое, чтобы ясно понимать настоящее и увереннее смотреть в будущее. Такую именно возможность дает нам победа над гитлеровцами, ибо это была наша общая победа, так как мы были союзниками, членами одной антигитлеровской коалиции...

Под «углом памяти» я и провел тогда поездку по США, и было это несколько лет назад, когда р а з у м за океаном все-таки превалировал над маниакальностью военно-промышленного комплекса и ему услужающих администраторов, одержимых ракетно-нейтронной «паранойей».

Помню встречу с одним из ведущих американских обозревателей — Питером Лисогором; он тогда был аккредитован при Белом доме; во время сражения с гитлеризмом работал военным корреспондентом.

— Мы не знали войны так, как знал ее ваш народ,— говорил он мне в штаб-квартире американской журналистики, близкой к президенту, в вашингтонском «Нэшнл пресс билдинге».— Мы не пережили всего того, что пережили все вы. Поэтому многие в Америке относятся к памяти о войне иначе, чем у вас... Путь — с точки зрения разума — сейчас один: это путь назад, к Эльбе, к победному апрелю сорок пятого... Если бы мы всегда придержива-

лись этого пути, не было бы ни войны в Корее, ни кровопролития во Вьетнаме, ни гонки вооружения, ни балансирования на грани катастрофы.

(После того как значительная часть моих собеседников, к числу которых относились писатели и актеры, бизнесмены и журналисты, просили не называть их имен в советской прессе («мне не надо лишних осложнений»), я всегда спрашивал: можно ли передать их слова советскому читателю? П.Лисогор на мой вопрос ответил положительно.)

...Мультимиллиардер Дэвид Рокфеллер принял меня весной 1975 года на 56-м этаже «Рокфеллеровского центра».

— Да, победа над гитлеризмом была воистину великой победой,— сказал он мне,— и знаменательно то, что мы были боевыми союзниками в борьбе против общего врага. Отношения между нашими странами переживали периоды подъема и спада. Последние годы должны быть отмечены как период подъема. Двусторонние встречи принесли свои плоды. От конфронтации мы перешли к мирным дискуссиям. Я принимал участие во встречах с советскими людьми в Ленинграде, Тбилиси и Киеве, и я доволен этими встречами. Бесспорно, развитие торгово-экономических отношений между нашими странами должно идти рука об руку с разоружением: трудно, а точнее, невозможно одновременно следовать двумя путями — вооружаться и при этом развивать мирную экономику и торговлю.

...Адмирал Дэвиэс отвечает за контроль над вооружениями и разоружением в Государственном департаменте.

— Когда началась война, я ходил с конвоями к Мурманску,— рассказывал он, когда мы встретились в госдепартаменте.— Это была трудная работа: немецкие подводные лодки пробирались в центр конвоя, пускали ракеты, северное, свинцовое море озарялось зеленым светом, и в этом мертвом свете видно было, как пенилась вода, разрезаемая смертоносным телом торпеды.

Я помню, как взрывались наши корабли, как гибли в студеной воде люди — молодые американские моряки, которые перебирались из Штатов в Канаду (это было еще до вступления США в войну против Германии) и оттуда отправлялись воевать против Гитлера. Как только эта страна (очень часто американцы говорят о своей родине именно так: «зис кантри».— *Ю.С.*) вступила в войну, наши молодые моряки сняли канадскую форму и надели нашу, американскую — мы стали вашими боевыми союзниками.

— В первые месяцы войны у вас были сомнения,— спрашиваю я,— выстоим ли?

Адмирал отвечает сразу же:

– У меня сомнений не было – я помнил урок Наполеона.

– Вы бывали в Мурманске?

– Нет. Я только видел этот героический город с моря – мы конвоировали корабли с вооружением и тут же поворачивали назад. Но я был в Ленинграде, уже после войны, я посетил Пискаревский мемориал – это поразительно: люди сражались за каждую пядь земли... Да, такого страшного катаклизма, который пережил мир тридцать лет назад, нельзя допустить более – никогда и нигде.

Вспоминая о тех далеких годах, мы воздаем должное памяти президента Франклина Делано Рузвельта. Воздают ему память и те американцы, которые п о м н я т. В Далласе, после того как я кончил заниматься интересующим меня много лет вопросом о ц е л е н а п р а в л е н н о с т и заговорщиков, убивших Кеннеди, американцы познакомили меня с федеральным судьей С.Хьюдж – той, которая стояла в самолете Кеннеди, а напротив нее был бледный Джонсон, и судья привела к присяге нового президента, и тихо было кругом, и жутко, оттого что случившееся еще не осозналось как трагедия и казалось страшным, навязчивым кошмаром.

На стене кабинета федерального судьи – большой портрет Ф.Рузвельта с дарственной надписью.

– Что вы хотите сказать о Рузвельте? – спросил я судью Хьюдж.– Что вы можете сказать об этом великом американце, члене Большой Тройки?

Секунду помедлив, судья Хьюдж ответила:

– Рузвельт – это Рузвельт.

(Сын президента Эллиот Рузвельт писал в свое время: «Мы были очень довольны, что русские приняли план челночных бомбардировок и согласились предоставить свои истребители для прикрытия наших бомбардировщиков... Для русских лозунг «Все для фронта!» означает действительно все для фронта, в самом буквальном смысле слова... У всех нас создалось впечатление, что русские явно стремились сойтись с нами поближе, сотрудничать с нами. Они выражали свое уважение к американцам, к американским машинам и к высокой организации американской промышленности».)

...Память... Мы помним и чтим имена американцев, удостоенных высшей награды США – «Медали Почета». Мы помним бригадного генерала Фредерика В.Кастла: он отдал свою жизнь, но спас членов своего экипажа; мы отдаем должное подвигу сержанта Роберта Х.Диаса, погибшего во время уличных боев в Герма-

нии; мы восхищаемся мужеством лейтенанта Джимми В.Монтайса-младшего, перерезанного автоматной очередью 6 июня 1944 года около французского городка Кольвиль-сюр-Мер, в дни вторжения союзников на континент... Помнят ли американцы своих, да и наших героев? Отдают ли должное их светлой памяти?

...На этот вопрос, как и на большинство вопросов, относящихся к США, нельзя было отвечать однозначно.

Помню, впрочем, как стало тихо в зале Совета Безопасности, когда постоянный председатель СССР при ООН Я.А.Малик говорил в своей речи о величии победы и о том, чего она стоила советскому народу: «Двадцать миллионов жизней, триллион восемьсот девяносто миллиардов рублей – стоимость войны за четыре года, и 679 миллиардов рублей – ущерб, причиненный на оккупированной врагом территории...»

...Подъехав к Пентагону, увидав барельеф недоброй памяти Форестолла, который выбросился из окна в маниакальном бреду («идут русские!»), я с особым интересом ждал встречи с заместителем министра обороны США адмиралом Мюрэем.

– Здравствуйте, как поживаете? – встретил меня адмирал Мюрэй нашим привычным способом, а не принятым «хау ду ю ду?».– Рад видеть, прошу садиться. Жаль, что забыл русский – в той мере, чтобы вести на вашем языке весь разговор...

Адмирал жил в Мурманске во время войны, совмещая в своем лице должности военно-морского атташе, представителя по ленд-лизу, чиновника Государственного департамента и министерства военно-морского флота.

– Было довольно трудно уследить за всеми должностями,– улыбнулся адмирал,– но я был молод, а по профессии я адвокат, так что умел спорить, если надо было. Впрочем, спорить приходилось не так уж часто – чаще надо было работать под бомбами. Нацисты уничтожили две трети города, половина населения была убита вандалами, бомбежки продолжались днем и ночью... У меня были прекрасные отношения с русскими, особенно с адмиралом Головко,– мы, моряки, сходимся легче, чем люди других профессий, потому что приходится много путешествовать, а в путешествиях проще налаживаются добрые отношения... Я хочу помянуть добрым словом моих русских коллег по работе: капитана Новосильцева, Платонова, Сашу Панкратова, Дюгина, Новака,– адмирал задержал руку с фотографией молоденького каплея,– или Новикова? Память, что поделаешь, столько времени прошло... Но я не забыл силу и мужество русского народа в отражении атак нацистов в невероятно трудных условиях. У меня было много друзей среди русских, вместе с которыми я работал во имя нашего общего дела в годы второй мировой войны...

Из Пентагона я сразу же поехал в аэропорт – уходил самолет в Сан-Франциско. Сдав багаж, я купил газету «Аттак» (N 34, цена 25 центов; адрес: бокс 3535, Вашингтон, 200007, телефон: 703/525.3223). Раскрыв страницу, натолкнулся на рекламу книг для «патриотических читателей», рекомендуемых издателями «Аттак»: «Молодой Гитлер, каким я его знал» (автор Кубичек), «История молодости самой выдающейся фигуры XX века»; «Моя борьба» Гитлера – «история борьбы Германии за свободу и философия, на которой базировалась эта борьба»; «Пленник мира»– история миротворца Рудольфа Гесса, варварски осужденного союзниками; «Националсоциалистский мир» – новый журнал национал-социалистов, том 3 и 6 – пять долларов каждый. «Прокурор Эдвард Леви, который будет заниматься делами ФБР,– старый коммунист и паршивый еврей!» Что это? Нацистский листок бесноватого Штрейхера, казненного союзниками в Нюрнберге? Очень похоже. «Образование во имя смерти»– название другой статьи. «Чему учат в школах? Тому, что негры имели свою высокую цивилизацию в Африке? Тому, что черные принимали участие в освоении Запада? Тому, что ниггеры подобны нам, белым? Чему учат в школах? Тому, что вторая мировая война была войной «во имя спасения демократии»?! Тому, что в эру Маккартни были «невинные жертвы»?! Далее газета повторяет программу своей «националистической организации». Пункт первый – борьба против коммунизма и «неолиберализма» повсеместно: в школах, на улице и в правительстве. Что еще? «Храните оружие – это ваше право!» Страну захлестнула волна вооруженных грабежей, бандитизма, похищений. Правительство пытается изъять оружие или хотя бы провести регистрацию: до недавнего времени пистолет в Нью-Йорке продавали по предъявлении водительского удостоверения, а то и совсем без этого. «Аттак» против сдачи оружия: «Оно нужно американцам для самозащиты от ниггеров и красных. Надо объединяться в штурмовые отряды, чтобы защищать Америку».

Свобода слова? Для гитлеровцев? Не мести ли этих фашистских фанатиков, одержимых маниакальной ненавистью к Советскому Союзу, опасаются те американцы, кто просит не называть их в нашей прессе?

– Когда я летал бомбить нацистов,– рассказывал мне американский журналист, который не хотел, чтобы его имя было напечатано,– меня сбили над Германией. Я пробрался во Францию, сражался вместе с маки́ против гитлеровцев, потом мы решили уходить через Пиренеи в Испанию, а оттуда – в Гибралтар, чтобы снова вернуться в авиацию. Здесь, у границы, нас схватили. Я был в штатском, не знал немецкого, плохо говорил по-французс-

ски, и меня бросили в тюрьму в Тулузе, потом перевели в Париж, били, требуя признания, что я – британский шпион. В Берлине, в тюрьме гестапо на Алексе, я смог доказать, что являюсь американским летчиком. Меня отправили в Польшу, в концлагерь близ города Штаргад. Было это в Силезии, сейчас там названия снова стали польскими. Лагерь наш назывался «Шталаг Люфтваффе-4». В нашем лагере было четыре зоны: в одной содержали нас, американцев, в другой – британцев, в третьей – французов, в четвертой – советских. Нас, американцев, унижали, мало кормили, издевались над нами, но это было сущей ерундой в сравнении с тем, что нацисты творили с русскими! Этого я никогда не забуду. Их морили голодом, поднимали в пять утра, и вели в каменоломни, и заставляли ворочать каменные глыбы, и гнали поздним вечером назад, в холодные бараки, а ваши люди – это потрясло меня тогда – шли с песней.

– С какой песней? Не помните?

– «Калинка, малинка, малинка моя»,– тихо ответил мой собеседник и быстро поднялся из-за стола.– Сейчас, погодите, я принесу стакан пива.

Он вернулся, и глаза его были красными, и, нервно затягиваясь крепкой сигаретой, он продолжал:

– Одиннадцатого января нас погнали на запад – наступала Красная Армия. Наших советских друзей оставили в зоне, окруженной пулеметами. Если хоть кто-нибудь из них остался в живых, я буду ждать весточки. Братство по совместной борьбе, по общему горю – разве такое забудешь... Там осталось несколько тысяч ваших солдат и офицеров. Что с ними? Мне тогда было двадцать лет, но я помню их лица, их глаза, словно и не прошло три десятилетия с тех пор. Целая жизнь, три десятилетия,– тихо повторил он.

...Из Вашингтона я улетел в Сан-Франциско, в самый красивый город США, а оттуда отправился в Лос-Анджелес на машине – через снег в горах к пальмам и жаре, первой весенней, не душной еще, но – неожиданной.

В Лос-Анджелесе, в гостиницу «Амбассадор», в ту самую, где был убит Роберт Кеннеди (я нашел место преступления на кухне, искать пришлось долго, здесь не очень-то помнили холодильник, возле которого Роберт Кеннеди упал на кафельный, скользкий пол), приехал из Сан-Диего, закрытого для нас города, адмирал Самуэл Фрэнкл.

– В 1936 году я изучал русский язык, потом был призван на флот. После нападения Гитлера на Советский Союз у нас схватились: «Кто говорит по-русски?» Меня нашли на Гонолулу и срoч-

но вызвали в Вашингтон, а оттуда отправили в Архангельск на корабле под бельгийским флагом, где команда состояла из представителей двадцати двух национальностей, а всего-то было в ней пятьдесят шесть человек: Америка не была еще в войне против Гитлера, надо было сохранять вояж в тайне. В Архангельске меня встретил капитан порта Герасимов – он сейчас умер, славный был человек, хорошо бы узнать, где его дети, что с ними, как сложилась их судьба... Из Архангельска я с большим трудом добрался в Москву, а нашего посольства не нашел – эвакуировали в Куйбышев. Одиссея поездки в Куйбышев, через Горький, слишком пространна, чтобы о ней рассказывать. Седьмого декабря все изменилось, США вступили в войну, а я был откомандирован в Мурманск и Архангельск, где работал с контр-адмиралом Иваном Папаниным. Мы с ним,– улыбается Фрэнкл,– много раз лежали в снегу, бок о бок, когда немцы с бреющего полета обстреливали нас и бомбили: база их располагалась в Петсамо – десять минут лёта. Помню трагедию конвоя PQ-17, когда он был разгромлен гитлеровцами. Несколько судов чудом спаслись. Я с врачом полетел на Новую Землю собирать оставшихся в живых. Нашел два судна: одно покрашено в белый цвет, чтобы не было видно «юнкерсам» с воздуха, а второе чудом спаслось, потому что во время налета команда подожгла бочки с нефтью – гитлеровцы решили, что и с этими покончено – прямое попадание. Я всегда храню в сердце память о стране и народе, вместе с которым мы вели борьбу за спасение жизни на земле...

...Эл Хирт – преемник великого Луи Армстронга, «Сачмо», и родился Эл тоже в Новом Орлеане, и музыкой начал заниматься здесь с пяти лет, и отсюда уезжал получать почетный диплом «доктора» в консерваторию, сюда возвращался из далеких гастрольных поездок, здесь открыл клуб «501» на Бурбон-стрит, во французском квартале, который на самом-то деле более похож на квартал севильский, но поскольку Новый Орлеан называют в шутку «Европой для тех американцев, у которых нет денег на поездку в Старый Свет», никто не оспаривает примат испанского: важно, что по узеньким улочкам, среди двухэтажных, середины прошлого века домиков, цокают копытами лошади, запряженные в старинные экипажи, но иллюзия эта кончается, когда вы выходите к порту и видите старенький пароходик Марка Твена, пришвартованный к новой махине «Адмирала», и вместо обещанной экскурсии по местам твеновских героев «Адмирал» протащит вас по громадине порта (второй по величине после нью-йоркского), и станет вам немножечко грустно – так бывает всегда, когда прощаешься с детством, на худой конец – с иллюзией оного...

Вокруг клуба Эла Хирта множество клубиков, клубишек, клубенышей, и стоят возле них зазывалы, и двери раскрыты, чтобы зеваки могли увидеть кусочек стриптиза, и, тщательно ознакомившись с расценками на показ обнаженной натуры, войти туда, в ревущую истеричным джазом черную пасть с красными огоньками — острыми зубами страшной, отталкивающей челюсти.

При том, что американцы считают каждый цент, не стесняясь записывать доход и приход на бумажке, в клубе Хирта всегда аншлаг, хотя билет баснословно дорог: двенадцать долларов пятьдесят центов. («Месяц назад цена была одиннадцать семьдесят пять,— пояснил мой сосед по столику,— инфляция стрижет трубачей, докторов и рабочих под одну гребенку».)

Гаснет свет, и появляется громадный, бородатый пятидесятилетний Эл Хирт, и маленькая труба в его огромной руке кажется игрушечной, и не веришь, что в ней заключена громадная сила, которую ежедневно транслируют сотни американских радиостанций, и думаешь, что это «фокусы» сегодняшней звукозаписи, когда микрофон решает все, но вот Эл начинает играть — без микрофона, медленно обходя зал, и пронзительная печаль его музыки доходит до каждого, и он останавливается возле подсвеченной картины: молодой «Сачмо», Луи Армстронг, гениальный негр, лучший трубач мира, смотрит вслед уходящему по Миссисипи пароходику Марка Твена, играет — ты чувствуешь это — пронзительное, горькое что-то, а на берегу сидит мальчик с трубой в руках, и голова его опущена, и по острым плечам его угадываешь, что он плачет. Это Эл Хирт, маленький, жалкий еще, неуверенный в себе...

Но сейчас огромный Эл Хирт стоит возле этой картины, и острый луч отбрасывает его тень на юного, махонького Эла, и он начинает играть горькую жалобу негров, «спиричвэлс», и труба его, первая после Армстронга труба Америки, играет словно бы в унисон с нарисованной трубой «Сачмо», но Эл не позволяет поднять свою трубу до уровня нарисованной трубы Армстронга: почтительный ученик, он подчеркивает величие своего учителя, и это не есть принижение самого себя, это есть высшее проявление артистизма — быть последователем почетно, позорно быть имитатором.

А потом Хирт заиграл «Подмосковные вечера», и горло у меня перехватило — так замечательно играл он нашу песню в далеком Новом Орлеане, а после он заиграл «Полюшко-поле», и сидевший рядом американец пояснил шепотом: «Это — русское».

Я поднялся к Элу в номер. Кольца, браслеты, перстни валялись на столе: американцы хотят, чтобы любимая «звезда»— вне зависимости от пола — была украшена драгоценностями. Эл стоял

возле окна, а на него с кресла смотрел черный «Сачмо»— громадная кукла, пародия на Армстронга, подаренная Хирту великим учителем.

— Вы из Москвы?! Здесь, в Новом Орлеане?! Передайте привет и уважение вашей стране, я бы мечтал приехать к вам с концертами! Я бы попел и ваши фронтовые песни!

— А ноты есть?

— Есть слух,— улыбнулся он и добавил: — А еще — память.

...Принстон. Одноэтажная Америка. Тишина, благость. Беседую с Гэллапом, в его бюро, на втором этаже, в маленькой комнате, отделанной темным деревом. От многих кабинетов видных американцев его отличает скромность — несколько даже аскетическая. Имя Гэллапа известно всему миру, его опросы общественного мнения служат порой рецептами для тех политиков, которые умеют ощущать симптомы болезни, а не отгораживаться от них.

— В голосовании, когда выбирают сенаторов или президента, участвуют, как правило, сорок два процента населения страны, причем в основном люди, достигшие пятидесятилетнего возраста; молодежь выборы бойкотирует,— неторопливо говорил Гэллап.— Согласитесь, что пятидесятилетние, причем те, которые достигли определенного положения в этой системе, не отличаются особым либерализмом,— в этом трудность момента. С молодежью у нас сложно. Начиная с восьмого класса ученикам предоставлено право выбора тех предметов, которые их интересуют. Казалось бы, демократично, не так ли? А что получается на деле? Иностранные языки не хотят учить — это трудно, поэтому наша страна становится некоммуникабельной, ибо иностранный язык расширяет сферу и возможность взаимопонимания; почти из всех наших школ выжита география. Спросите школьника про Бангладеш или Танзанию? Он ответит: «А что это такое?» Даже о Лос-Анджелесе здешний школьник скажет, что это, мол, где-то там, на побережье, а где именно — не знает.

...Доктор Арманд Хаммер живет в Лос-Анджелесе. На маленьком столике за его рабочим всеохватным, громадным письменным столом портреты американских президентов, европейских премьеров, азиатских принцев, африканских лидеров. Но в первом ряду портрет с дарственной надписью от Владимира Ильича Ленина, подаренный ему в двадцатые годы.

Доктор Хаммер работает с девяти утра до девяти вечера; он продолжает работать и в машине — звонит отсюда по телефону в Европу, просматривает газеты, делает заметки в блокноте; он работает и в своем самолете «Оксидентл Петролеум»— бизнес есть бизнес.

Мы встретились в пять, а расстались в девять вечера. Я попросил доктора Хаммера написать, что он думает о победе. Я рассчитывал получить несколько строк. Назавтра он передал мне статью: «Трудно представить себе, что уже прошло три десятилетия после Великой Отечественной войны (он был первым в США, кто т а к сказал о прошедшей войне.– *Ю.С.*). Для тех, кто представляет себе то время, память жива до сих пор: мир стоял на грани катастрофы. Если бы народы России не начали сражение в этой битве, Гитлер и его банды могли бы одержать победу. Многие из тех, кто живет на Западе, не представляют себе, как велика жертва Советского Союза, но чем дальше будут укрепляться узы разрядки между нашими странами, тем больше американцы смогут понять, сколь совершенен и обязателен был их великий союзник во время страшной битвы. Я думаю, что американцы, принимавшие участие во второй мировой войне, могут представить себе триумф советского народа, поскольку воевавшие американцы видели сражения и знали, сколь страшны были армии Гитлера... Я помню, как на Эльбе встретились солдаты маршала Жукова и генерала Эйзенхауэра. Измученные, но счастливые солдаты не имели общего языка: единственное, что они могли делать, так это поднимать чарки и говорить: «Русски – американски, о'кей!» Что может быть более полным выражением взаимопонимания и мира между нашими народами?! Русские люди заслужили нашу глубокую благодарность и дружбу, и я счастлив, что мы можем поздравить их с таким историческим юбилеем!»

...Я начал свое путешествие по США с посещения здания ООН, где представлены все страны мира, и заканчивал поездку посещением этого же дома. Беседа с бывшим в то время генеральным секретарем ООН Куртом Вальдхаймом началась в его рабочем кабинете, что расположен рядом с залом Совета Безопасности, а продолжалась в личных апартаментах на последнем этаже громадного здания, откуда открывается вид на разнеоненную, бело-красно-желтую громадину Нью-Йорка.

– Величие победы над гитлеризмом и ее результат,– говорил мне Вальдхайм,– заключаются в том, что мир – впервые за несколько веков – уже тридцать лет не был ввергнут в пучину новой всеобщей войны. Значит, жертвы были не напрасны. Величие победы заключается и в том, что была создана Организация Объединенных Наций – детище антигитлеровской коалиции. То, что сейчас началась пора разрядки, мирного сосуществования, отхода от «холодной войны»,– это знаменательно, и это реальный путь к стабильному миру на планете. ООН будет делать все, чтобы помочь этому процессу...

...Всего несколько лет назад говорил это Вальдхайм, а сколько воды утекло с тех пор, как резко изменилась ситуация в мире, как беспамятны эти молоденькие солдатики, двигающиеся в «направлении Эльбы», как безумен психоз нейтронных стратегов, легко отдающих этих беспамятных детей Америки на заклание...

«Но ведь были же за океаном, среди отцов этих солдат,— думал я, наблюдая за грохотом безликой техники, несшейся по автобану на восток,— люди, которые помнили... Неужели Америка за эти недолгие годы совсем потеряла память? Нет, просто нельзя в это верить».

Колонны грузовиков с солдатами прошли, военные регулировщики НАТО махнули рукой — мол, «валяй, дорога открыта»; я включил зажигание и поехал в дом человека, который написал мне письмо, предложив встречу: «У меня есть информация о ящиках СС обергруппенфюрера Кальтенбруннера и о некоторых странных экспонатах нюрнбергских музеев». Что ж, мелочей в нашем деле нет.

Поехал.

2

Звонит Штайн:

— Было бы славно, если бы вы нашли время посетить главного директора музея Кельна фрау Гизелу Райнекинг фон Бок.

— Это протокольный визит или же посещение связано с поиском?

— Второе.

Когда Штайн начинает говорить по телефону сдержанно или намеками, значит, снова вокруг него кружат типы из секретной службы. Раньше это было привычно, но после вмешательства графини Денхоф (ее имя одно время называли кандидатом в бундеспрезиденты ФРГ; дама — сильная) полиция поумерила свой пыл. После наших постоянных консультаций, видимо, опять начались ш т у ч к и.

— Комната или картины? — приняв манеру Штайна, спрашиваю я.

— Комната.

Еду в Кельн. Музей размещен в крепостной башне; одно это делает музей музеем; при довольно бедном финансировании этого дела на Западе, особенно если предприятие не связано с национальным престижем или иностранным туризмом, такого рода экспозиция выигрывает, будучи со вкусом размещена в самой и с т о р и и...

Главный директор музея, молодая, миловидная женщина, выслушав меня, улыбнулась:

– Если вы действительно из Москвы, давайте говорить на вашем родном языке.

– С удовольствием. Где вы так прекрасно научились русскому?

– В районе Сталинграда,– ответила фрау фон Бок и, не вдаваясь более в объяснения, сразу же перешла к делу: – Вы приехали потому, видимо, что господин Штайн рассказал о нашей переписке, не так ли?

– Он порекомендовал мне посетить вас.

– Ну, сама по себе я не представляю интереса для поиска господина Штайна. Что касается янтарного шкафа, который он выявил в Нюрнбергском национальном музее, то, право же, у меня нет никакой информации об этом экспонате. Я не знаю, кто продал в Нюрнберг этот шкаф, мои коллеги не открывают имени человека, владевшего янтарным шкафом ранее. Я думаю,– и я написала об этом господину Штайну,– стоило бы посмотреть дела и документы известного янтарного мастера начала этого века Отто Пелка, он собрал материалы об изделиях из янтаря, созданных начиная с 1700 года, может быть, таким образом можно выявить бывшего владельца уникального шкафа?

(Штайн, когда я приехал к нему в очередной раз, рассказывал мне о своей переписке с одним из руководителей Национального музея в Нюрнберге, госпожою Леони фон Вилькенс.

– Я предложил ей свою помощь в раскручивании загадки шкафа. Мне любезно ответили, что вряд ли это «продвинет дело вперед». Примечательно, что музейные работники Нюрнберга тщательно избегают детального обсуждения вопроса, где был сделан шкаф. Они настаивают на довольно любопытной формулировке: «Скорее всего шкаф был доставлен в Кенигсберг». Надо бы вам еще раз поднять все архивы Павловска и поглядеть, не было ли хоть какого-то упоминания о янтарном шкафе – в связи с Янтарной комнатой или даже вне всякой связи. Люди из Нюрнберга заверили меня, что янтарный шкаф с восемнадцатого столетия и по «первые годы» столетия нынешнего находился в Англии. Почему? Откуда такая информация? От того человека, который продал им эту диковину? Или они обладают какими-то другими документами? Почему не хотят познакомить с ними меня?)

...Я остановился перед этим янтарным шкафом – необыкновенной красоты,– и тогда только по-настоящему понял, сколь поразительно это искусство, сколь оно уникально; ни одна современная поделка не может передать и сотой доли той прелести, ко-

торая заключена в таинственной желто-красно-золотистой глубине; воистину, в глубине янтаря угадываешь тайну...

...Еще один след...

И снова этот след связан, как с Баварией. И снова полное нежелание совместно исследовать п р а в д у. Связан след и с Англией...

Не слишком ли часты эти англо-баварские пересечения?

3

Во время этой же поездки на юг я задался целью посмотреть Линц (где предполагалось строительство «музея фюрера»), Зальцбург и озеро Теплицзее, в котором Кальтенбруннер утопил множество ящиков СД и СС с секретными документами, и, наконец, Браунау, город на границе Австрии и ФРГ, где родился Гитлер.

Занятна версия ф о р м о в к и тихого мальчика Адольфа, ставшего кровавым тираном Гитлером.

Я нашел дом, где он родился. Это унылый дом бедняков; коридорная система; затхлость. Стоит дом на Зальцбургер Форштат; мимо то и дело проносились экипажи в Линц и Зальцбург, стоял домишко вне крепостных стен; чтобы оказаться на центральной площади, надо было миновать городские ворота, где когда-то стояла стража. Занятно, что в доме, где родился бесноватый, сейчас расположена «дневная группа помощи»,— профсоюзы совместно с партиями стараются помочь самым бедным. Что это? Символ? Слишком наивно! Неужели «дневная помощь» гарантирует мир, в котором столь очевидно социальное неравенство, от появления иного «фюрера»?

...В отеле «Пост», где я остановился, воскресные посетители являют собою примечательную картину: очень много людей с отклонениями от нормы — неровная форма черепа, заячьи губы; ей-богу, сплошные типажи Веласкеса поселились на родине Гитлера.

Нигде, как в этом маленьком, но очень престижном ресторанчике, я не видел такого откровенного р а з д е в а н и я вновь пришедших. Не столько обедать приходили сюда люди, сколько посмотреть на других, показать себя. Воистину, нет ничего отвратительнее западного «истэблишмента»,— нищета духа, зависть, м а л о с т ь.

И при этом метрдотель с офицерской выправкой; словно аршин проглотил; беспрекословное к о м а н д о в а н и е так и прет из него.

Я не стал заказывать кофе, захотелось выйти. Если провести здесь год, если в тебе не убита душа, ты станешь мечтать о бунте против царствующего мещанства.

Если бунт стал революцией – человечество продвинулось вперед в своем развитии, заложило п е р с п е к т и в ы; даже термидорианский переворот был не в силах эти перспективы уничтожить.

...Еще одно впечатление от посещения мест, связанных с самыми последними захоронениями богатств гитлеровских бонз, на этот раз в Австрии.

Эрнст Кальтенбруннер знал Австрию отменно. Именно поэтому в конце апреля сорок пятого колонна грузовиков вышла из Зальцбурга в горы, взяла направление на озеро Грюндльзее, миновала местечко Гюссль и по узкой горной тропе п р о т о л к н у л а с ь к Теплицзее, тогда совершенно безлюдному; ныне живет там молодой парень; открыл пансионат, работающий до рождества,– потом падает снег, не пробиться; горная дорога открывается вновь лишь в конце марта.

Родители молодого пансионатного бизнесмена живут в Гюсле; им принадлежит маленькая лавочка «Табако трэффик», всего в пятидесяти метрах от пансионата «Вайт».

– Вы позвоните сыну через пару недель, он сейчас в городе. Запишите номер: 06152-8296. А что касается тех ящиков, что там нашли, то лучше к этому делу не приближаться...

– Почему? – спросил я владельца «Табако трэффик».

– Да так,– ответил он.– Я из того поколения, которое предпочитает молчать и выходит из пивной, когда люди говорят слишком громко...

...Пиво здесь называют «гюссль»– в честь озера. Люди – «гюсльцы».

Их считают особым типом австрийцев. Однако мой приятель из Вены с этим никак не согласен.

– Ты заметил,– сказал он,– как менялись люди, чем дальше ты удалялся от Зальцбурга?! Не мог не заметить, верно? Только «особости» в них нет никакой! Чище воздух, никаких промышленных предприятий, одно рыболовство и скотоводство; санатории для богатых; тишина; в девять часов все спят. Словом, здесь живет – в чистом еще виде – тот «бауэрнтурм», «крестьянский дух», который так воспевали Гитлер и Розенберг, считая его, этот «дух здоровья», передатчиком традиций, охранителем рейха и нацизма. Они намеренно баррикадировали эти районы от книг, театра, кино – от знания, словом. И эта дьявольская политика за-

игрывания с бескультурьем, выдавая его за «здоровье нации», до сих пор «п л о д о н о с и т»: попробуй поговорить с тамошними людьми об экономических неурядицах, коррупции, росте цен, – станут отмалчиваться; а если пристально вглядишься в глаза собеседников – увидишь страх. Попробуй поговорить о прошлом, о нацистах,– будут молчать, или говорить с оглядкой, или поругают, как принято, но не преминут добавить, что при всем том «Адольф был личностью». Поэтому-то поиск в этих районах чрезвычайно труден; здесь много свидетелей, которые давали Кальтенбруннеру и его людям лодки, поднимали их по тропам в горы, они молчат и поныне. Сюда, в эти глухие районы, приводят следы, открытые в архивах, но не рассказанные очевидцами. Очевидцы предпочитают хранить тайны. «Крестьянский дух» здесь считают хранителем традиций, но тогда в этих австрийских горах он хранит традиции страха, неверие в то, что можно стать человеком, то есть самим собою, личностью, не повторяя, как все в пивной, одно и то же, заученное... Попробуй побеседуй в тех местах с людьми старшего поколения, порасспрашивай их о весне сорок пятого,– бьюсь об заклад, они станут молчать.

...Молчали не все. Многие говорили, что в ту пору они жили в другом месте; часть ссылались на память: «Столько лет прошло, как-никак»; и только одна старуха ответила: «Дай умереть спокойно, сынок, только-только начала о т х о д и т ь от страха, зачем снова все бередить?! Я никогда не поверю, что люди могут жить без зла друг к другу, а где зло, там сила, а я ее боюсь...»

Именно боязнью, психозом старого страха можно объяснить то, что многие нацисты до сих пор гуляют на свободе. Страх; его величество страх.

Именно поэтому снова и снова возвращаюсь в памяти к встрече с одним из тех, кто умел, по приказу Гитлера, н а в о д и т ь страх.

...До того момента, пока я не пришел в назначенное место и не спросил «чико»– мальчугана, работающего полушвейцаром-полупосыльным,– «здесь ли длинный?»– и мальчуган ответил мне, что сеньор «длинный» поднялся на лифте «арриба» – «вверх», я не очень-то верил, что встреча состоится.

В огромном пустом зале на последнем этаже нового мадридского дома сидели четыре человека: «гаранты» встречи – испанский миллионер дон Антонио Гарричес, его сын Хуан, Скорцени и женщина. Я шел через зал, буравил его лицо взглядом, который, казалось мне, должен быть гипнотическим, и видел глаза, зеленоголубые, чуть навыкате (не очень-то загипнотизируешь!), и шрам

на лице, и громадные руки, лежавшие на коленях, и за мгновение перед тем, как человек начал подниматься, я почувствовал это.

– Скорцени.

– Семенов.

– Моя жена, миссис Скорцени.

– Хау ду ю ду?

– Миссис Скорцени из семьи доктора Ялмара Шахта,– пояснил «любимчик фюрера», штандартенфюрер и командир дивизии СС.

(Ялмар Шахт – рейхсминистр финансов Гитлера. Он дал нацистам экономическое могущество. Осужденный к восьми годам тюрьмы, он вышел из камеры семидесятишестилетним. «У меня в кармане было две марки,– вспоминал Шахт.– Назавтра я стал директором банка».)

Два моих испанских знакомца, взявшие на себя функцию гарантов нашей встречи, побыли те обязательные десять минут, которые приняты среди воспитанных людей. Поняв, что разговор состоится, они откланялись, пожелав нам хорошо провести время.

– Что вас будет интересовать? – спросил Скорцени. (Мы встретились в семь вечера, а расстались в три часа утра. Скорцени больше ни разу не произнес моего имени. Стародавние уроки конспирации? Стародавние ли?)

– Многое,– ответил я.

– Меня тоже будет кое-что интересовать. Меня особенно интересуют имена тех генералов в генеральном штабе вермахта, которые привели Германию к катастрофе. Кто-то из десяти самых близких к фюреру людей передавал в Берн по радио вашему Шандору Радо – через Реслера – самые секретные данные. Кто эти люди? Почему вы ни разу не писали о них?

Когда я был в Будапеште в гостях у товарища Шандора Радо, профессора географии, выдающегося ученого-картографа, трудно было представить, что этот маленький, громадноглазый, остроумный, добро слушающий человек руководил в Швейцарии группой разведки, сражавшейся против Гитлера.

Он мне рассказал о Рудольфе Реслере, одном из членов его подпольной организации в Женеве:

– Я мало знал об этом человеке, потому что поддерживал с ним контакт через цепь, а не впрямую. Но я знал про него главное: он был непримиримым антифашистом. Казалось бы, парадокс – агент швейцарской разведки; состоятельный человек из вполне «благонамеренной» баварской семьи; разведчик, передававший по каналам лозаннского центра сверхсекретные данные в Лондон, пришел к нам и предложил свои услуги. Объяснение од-

нозначно: Лондон ни разу не воспользовался его данными, а эти данные – Скорцени был прав – поступали к нему из ставки Гитлера после принятия сверхсекретных решений генеральным штабом вермахта. Единственно реальной силой, которая могла бы сломить Гитлера, был Советский Союз, поэтому-то Реслер и пришел к нам, поэтому-то он и работал не за деньги, он никогда не получал в о з н а г р а ж д е н и й, а по долгу гражданина Германии, страны, попавшей под страшное иго нацистов.

– Почему вы назвали одного из ведущих информаторов Реслера, который передавал наиболее ценные данные из Берлина, «Вернером»? – спросил я тогда товарища Радо.

– «Вернер» созвучно «вермахту». Реслер никогда и никому не называл имена своих друзей в гитлеровской Германии. Его можно было понять: ставка была воистину больше, чем жизнь, он не имел права рисковать другими, он достаточно рисковал самим собой.

(Видимо, у Реслера остались в рейхе серьезные друзья. Можно только предполагать, что он, мальчишкой отправившись на фронт, встретился там с людьми, которые – в противоположность ему самому – продолжали службу в армии, остались верны касте. Рудольф Реслер, «Люси», подобно Ремарку знавший войну, оставил иллюзии в окопах Западного фронта и начал свою, особую войну против тех, кто ввергает мир в катастрофу. Можно только предполагать, что он тогда еще познакомился с лейтенантом Эрихом Фельгибелем, который во времена Гитлера стал генералом, начальником службы радиоперехвата в абвере. Он был повешен в 1944 году, после покушения на Гитлера. Можно предполагать, что Реслер был давно знаком с германским вице-консулом Гизевиусом, который также был участником заговора против Гитлера; если взять это предположение за отправное, то Реслер обладал двумя необходимыми радиоточками: из Берна он связывался по рации Гизевиуса, то есть по официальному каналу рейха, соответственно по такому же официальному каналу генерального штаба получал информацию из Берлина.)

– Мои передатчики,– продолжал между тем Скорцени,– запеленговали станцию Радо, и я передавал каждое новое донесение Вальтеру Шелленбергу. Его ведомство расшифровывало эти страшные радиограммы из сердца рейха, и они ложились на стол двуликому Янусу, и тот не докладывал их фюреру, потому что был маленьким человеком с большой памятью.

– Двуликий Янус – это...

– Да,– Скорцени кивнул.– Гиммлер, вы правильно поняли. Мерзкий, маленький человек.

– И Гитлер ничего не знал обо всем этом?

– Нет. Он не знал ничего.

– Почему?

– Его не интересовала разведка, он был устремлен в глобальные задачи будущего рейха.

– Значит, инициатива по проведению операции «Грюн» исходила не от Гитлера?

– Нет.

– И Гитлер не слыхал о ней?

– Я тогда не был в ставке. Меня представили фюреру в сорок третьем.

(Здесь Скорцени явно «подставился»: зачем ему нужно было подчеркивать, что впервые он был у Гитлера в 1943 году? Работая против группы товарища Радо, он, естественно, не мог не знать о «великом шантаже», начатом летом и осенью 1942 года, когда Гитлер – по предложению Гиммлера – отдал приказ о разработке плана оккупации Швейцарии. Это понадобилось имперскому управлению безопасности, для того чтобы проверить эффективность работы противников рейха, затаившихся где-то в штабе. Дезинформация, санкционированная Гитлером, дала немедленные плоды: пеленгаторы Скорцени засекли радиопередачу в Швейцарию – сообщались все подробности плана «Грюн». Для того чтобы установить тех, кто передавал эти сверхсекретные данные, следовало узнать людей, которые эти данные принимали в Швейцарии: по замыслу Шелленберга, цепь следовало начинать разматывать с другой стороны, за кордоном, на берегу Женевского озера. Именно для этого Гитлер и отдал приказ генеральному штабу.)

– Значит, об этой игре со Швейцарией Гитлер не знал? – снова спросил я.

– Нет. Не знал.

– Это инициатива одного лишь Шелленберга?

– Видимо. Сейчас судить трудно. Во всяком случае, это инициатива «середины», а не Гитлера. Зачем фюреру было нужно начинать игру со Швейцарией?

(Через несколько дней, получив данные агентуры из Швейцарии, которые свидетельствовали о панике в высших сферах страны,– в Берне понимали, что противостоять армиям Гитлера невозможно,– Шелленберг и предложил Роже Массону, руководителю швейцарской службы безопасности, провести тайную встречу. Шелленберг начал игру: он хотел предстать в глазах Массона другом Швейцарии. При этом само собою подразумевалось: дружба предполагает взаимность. «Игра» Шелленберга продолжалась год,

но, несмотря на разгром группы Радо и арест Реслера, передатчик в Германии по-прежнему работал, его не смогли обнаружить до конца войны.

Интерес Скорцени к этому вопросу двоякий: с одной стороны, его, участника провокации Шелленберга, не могла не интересовать тайна, так и не раскрытая нацистами, тайна, ушедшая вместе с Реслером. С другой – многие гитлеровцы, перешедшие после разгрома фюрера на работу к новым хозяевам – в штаб НАТО, с невероятной подозрительностью присматривались друг к другу: «А не ты ли передавал данные в Швейцарию? А не ты ли мнимый нацист?» Подозрительность – плохая помощница в работе, особенно когда в подоплеке секретности – страх перед мифической угрозой, стародавний, патологический страх.)

– Гитлер не знал об этом,– повторил Скорцени.

– А Борман?

– Что – Борман?

Скорцени закурил; ответил не сразу и отнюдь не однозначно, не так, как о Гиммлере.

– Когда я первый раз был вызван к фюреру, Борман десять минут объяснял мне, что я могу говорить Гитлеру, а что – нет. Он просил меня не говорить ему правды о положении на фронтах, о настроении солдат, о скудном пайке, о том, что карточная система душит нацию, о том, что люди устали. Но я не внял советам Бормана. Когда я посмотрел в глаза великого фюрера германской нации, я понял, что ему нельзя лгать. И я сказал ему правду, и поэтому он любил меня.

– А Борман?

Скорцени пожал плечами:

– Поскольку он был верен фюреру, у нас всегда сохранялись добрые отношения.

– Генерал Гелен заявил, что Борман был агентом НКВД...

– Гелен – идиот! Маразматик, сочиняющий небылицы. Штабная крыса, которой захотелось на старости лет покрасоваться на людях. При всех отрицательных качествах Бормана, у него было громадное достоинство – он любил нашего фюрера так же искренне, как и мы, его солдаты, сражавшиеся за его идею на фронте. Борман был предан Гитлеру, по-настоящему предан.

Жизнь свела Бормана с Адольфом Гитлером в начале тридцатых годов, когда «великий фюрер германской нации» уничтожил свою племянницу Гели Раубал, предварительно – шестнадцатилетнюю еще – растлив ее. Гели Раубал говорила близким друзьям незадолго перед гибелью: «Он – монстр, это просто невозможно представить, что он вытворяет со мною!» Гитлер сделал

цикл фотографий обнаженной Гели, которые – даже по буржуазным законам – могли стать поводом к аресту «великого фюрера германской нации». Фотографии попали в руки одного мюнхенского «жучка». Борман выкупил этот компрометирующий материал за огромную сумму: партийная касса НСДАП находилась в его ведении, он был бесконтролен во всех финансовых операциях. Он доказал свою п р е д а н н о с т ь «движению» еще в начале двадцатых годов, убив учителя Вальтера Кадова, обвинив его перед этим в измене делу арийской расы; он доказал свою у м е л о с т ь, заявив на суде: «Где есть хоть один подписанный мною документ? Где зафиксировано хотя бы одно мое слово? Я действительно обвинил Кадова в том, что он продался большевикам, но я не имел никакого дела с оружием и с самим актом убийства». Борман получил год тюрьмы с зачетом предварительного заключения. Тот, кто убил,– преданный ему исполнитель Рудольф Франц Гесс[1] – схлопотал десять лет строгого режима. Но он ни словом не обмолвился на процессе о том, кто был истинным организатором казни Кадова. (Борман никогда ничего не забывал. За этот «подвиг» Рудольф Франц Гесс был назначен комендантом концлагеря Освенцим, уничтожил там миллионы людей, скрылся после войны в Западной Германии, был схвачен, опознан, судим, приговорен к казни, повешен. Перед смертью он написал подробные, сентиментальные, но при этом мазохистские мемуары. Он называет сотни имен. Он молчит лишь об одном имени – о Бормане.)

Борман сделал карьеру, женившись на Герде Буш, дочери «фюрера суда чести НСДАП» Вальтера Буша. Сына, родившегося в 1930 году, он назвал Адольфом. Герда родила ему десять детей. Она писала: «Славяне будут в этом мире рабами арийцев, а евреи – это животные, не имеющие права на существование».

После женитьбы Борман стал руководителем «фонда НСДАП». Нужно было создавать цепь тех, кто отвечал бы за поступления в нацистскую партию. Эта цепь оказалась той схемой, которая – после прихода Гитлера к власти – привела Бормана к незримому могуществу: вся Германия была разделена на 41 округ, во главе которого стоял гауляйтер – полный хозяин всех и вся; в свою очередь, округа были разделены на 808 районов, во главе которых были поставлены крайсляйтеры; районы делились на 28 376 подрайонов, те – на городские участки – их было 89 378, а уже городские участки разделялись на «домовые блоки», во главе которых стоял блокляйтер, и было этих блокляйтеров в ведении Бор-

[1] Не путать с главным нацистским преступником Рудольфом Гессом – заместителем Гитлера по партии.– *Ю.С.*

мана более пятисот тысяч душ.

Так вот, когда надо было вывести Гитлера из скандала, вызванного убийством Гели Раубал, а была она убита из револьвера фюрера – это доказано, дело это взял на себя Борман и прекрасно его провел. Он вызвал к себе полицейского инспектора мюнхенской «крими» Генриха Мюллера и попросил его «урегулировать» это дело. Тогда еще, в 1931-м, он не мог приказывать «папе гестапо» Мюллеру, тогда он мог просить инспектора Мюллера и просьбу свою хорошо оплачивать.

Мюллер выяснил, что убийство состоялось после того, как Гели сказала Бригите, жене двоюродного брата фюрера Алойза, что она беременна от артиста-еврея, который хочет на ней жениться. Судя по всему, она сказала и Гитлеру, что хочет уехать в Вену,– ее номер в самом дорогом отеле «Принцрегенплатц» был похож на боле битвы. Никто, впрочем, ничего не слышал: Гели убили в те часы, когда в Мюнхене было безумство – народ праздновал «Октоберфест», шумную и веселую ярмарку. Что послужило причиной убийства: ее желание уехать или психический криз Гитлера? Никто ничего не знает, знает Борман, один Борман. Впрочем, ходили слухи, что Гели была убита не столько потому, что собиралась уйти к другому,– легче было убить того, к кому она собиралась уйти. Перед самоубийством актриса Рене Мюллер рассказала режиссеру Цайслеру историю своего «романа» с Гитлером. Когда она пришла к нему в рейхсканцелярию и они остались одни, «великий фюрер германской нации» начал просить Рене избивать его, топтать ногами. Личный доктор фюрера Моррел, после того как бесноватый сдох, свидетельствовал, что он давал ему в день огромное количество наркотиков; и немецким народом правил такой человек?!

Скорцени, впрочем, уточнил:

– Фюрер принимал сорок пять таблеток в день – он сам называл точную цифру.

– Что это были за таблетки? Наркотики?

– Что вы! Это были желудочные лекарства. Фюрер был больным человеком, он сжигал себя во имя нации. Он не ел даже рыбы – у него был поврежден пищевод во время газовой атаки на Западном фронте в 1918 году.

(Неужели Скорцени до сих пор верил в «желудочную болезнь»? Хотя о Гитлере он говорил охотно и с любовью. Он молчал лишь об одном человеке – о Бормане. Он говорил о нем односложно и скупо. Кроме «верности» Бормана своему хозяину, никаких подробностей. Страх? Осторожность? Приказ молчать?)

Лео – брат Гели – обвинил Гитлера в предумышленном убийстве. Но он жил в Вене, а Вена тогда была столицей Австрии. Он обратился с просьбой к канцлеру Австрии Дольфусу провести расследование, поскольку Гели Раубал была австрийской подданной. Дольфус согласился. Этим он подписал себе смертный приговор: спустя три года он был убит. Убийство планировал Борман.

Именно Борман подставил Гитлеру следующую «модель» для утешения – это была Энни Хофман, дочь «партийного фотографа», того, который впоследствии откопал Еву Браун. Энни, «чтобы не было разговоров», Борман выдал замуж за Бальдура фон Шираха – гомосексуального вождя «гитлерюгенда».

Во время похорон Гели, когда Гитлер был в прострации (он был в любовных прострациях неоднократно: Ева Браун травилась – с трудом отходили; и еще одна пассия, Митфорд, бросалась из окна), вместе с ним постоянно находились его «братья» по руководству партией – Эрнст Рем и Грегор Штрассер. Они знали в с е. Вскорости все они были казнены своим «братом»: материал к их «процессу» готовил Борман. Рем интересовал Бормана особенно: кадровый офицер, капитан, он после разгрома кайзера уехал в Боливию и там стал инструктором новой армии. Под его командой служил лейтенант Стресснер – в 1954 году в результате переворота он стал диктатором Парагвая. Поскольку отец Стресснера – немец, именно Борман подготовил в 1943 году документ, подписанный фюрером: Гитлер удостоверял «арийскую полноценность» парагвайского национал-социалиста (я нашел этот документ в Перу, в архиве моего друга антифашиста Сезара Угарте.) Борман, как истинный аппаратчик, всегда исповедовал постепенность. Он готовил позиции всюду – в п р о к. Он занимался проблемой «мирового владычества» не на словах – на деле. Он готовил опорные точки гитлеризма по всему миру загодя.

– Кто был сильнее Бормана? – спрашиваю Скорцени.

Он усмехнулся:

– Гитлер.

– А еще?

– Никто.

– Гесс?

Скорцени снова закуривает – он курит одну сигарету за другой.

– Гесс – интересный индивид,– отвечает он.– Он – жертва жестокости союзников: это бесчеловечно – держать в тюрьме человека тридцать лет.

(А создавать вместе с Гитлером расовую теорию, по которой миллионы людей были обречены на уничтожение,– человечно?!)

– Вы согласны с версией Гитлера, что Гесс совершил полет в Англию, находясь в состоянии помешательства?

Скорцени помахал пальцем словно маятником. Я чувствую, какой опасный этот его палец, я ощущаю, с каким спокойствием он лежал на холодном металле спускового крючка.

– Это ерунда,– говорит он,– это был необходимый политический маневр. Вам известны особые обстоятельства, при которых фюрер поручил мне освободить дуче Италии Бенито Муссолини?

– Нет.

– Когда я был у него на приеме вместе с офицерами СС, «зелеными СС»,– подчеркнул Скорцени,– фюрер спросил: «Кто из вас знает Италию?» Я был единственным, кто посмел ответить «знаю». Я дважды путешествовал по Италии, один раз я проехал на мотоцикле всю страну – от оккупированного Тироля, являющегося частью Германской империи, и до Неаполя.

– Тироль и Германская империя? – я не удержался.– Это же был предмет спора между Австрией и Италией.

Скорцени вмиг изменился, улыбка сошла с его лица, и он отчеканил:

– Австрии нет. Есть Германия. Аншлюс был необходим, это был акт исторической справедливости, и незачем поносить память великого человека: даже Веймарская республика, столь угодная социал-демократическим либералам, стояла на такой же точке зрения. Мы довели до конца то, что не решались сделать г и б к и е. Я австриец, но я ощущаю свою высокую принадлежность к Великой Римской империи германской нации...

– Я оставляю за собой право считать Австрию суверенным государством...

– История нас рассудит.

– Я в этом не сомневаюсь. Однажды история нас уже рассудила.

Миссис Скорцени подняла бокал с «хинеброй»:

– Джентльмены...

На лицо Скорцени сразу же вернулась обязательная, широкая, столь открытая и располагающая улыбка. (Как же умеют б ы в ш и е играть свою роль, а?! Впрочем, б ы в ш и й ли Скорцени? Зря я его перебил, надо слушать, пить и помнить, все помнить, для того чтобы составить реестр лжи. По лжи всегда можно выстроить версию правды.)

– Мы остановились на том, что Гитлер...

Скорцени снова закурил:

– Мы остановились на мне. (Улыбка – само очарование.) Так вот, когда я ответил про то, что знаю Италию, фюрер спросил ме-

ня, что я думаю об этой стране. Я промычал что-то неопределенное, а потом решился и выпалил правду: «Отделение юга Тироля – это кинжал, пронзивший сердца всех австрийцев». Всех без исключения,– добавил Скорцени, глядя куда-то в мое надбровье.– И навсегда.

Миссис Скорцени потянулась за сигаретой. Отто сразу же протянул ей зажигалку – он был очень галантен и учтив.

– Так вот,– продолжал он,– фюрер отпустил всех офицеров, а мне приказал остаться. Он сказал мне, что его друга и брата Бенито Муссолини вчера предал король, а сегодня – нация: он арестован. «Для меня дуче – воплощение последнего римского консула,– говорил фюрер.– Я верю, что Италия будет оказывать нам посильную поддержку, но я не имею права оставить в беде основателя итальянского фашизма. Я должен спасти его как можно скорее, иначе его передадут союзникам. Я поручаю эту миссию вам, Скорцени. Это задание носит чрезвычайный характер. Об этом задании вы имеете право говорить лишь с пятью лицами: Борман, Гиммлер, Геринг, Йодль, генерал Люфтваффе Штудент». От фюрера я отправился к генералу Штуденту. Он познакомил меня с Гиммлером. Больше всего меня поразили в рейхсфюрере старые учительские очки в железной оправе. Потом пришла очередь поразиться памяти Гиммлера. Он начал вводить меня в курс дела: дал анализ политической обстановки в Италии. Он сыпал именами, как горохом по столу, он называл министров, генералов, руководителей банков – я не мог запомнить, естественно, и сотой части того, что он говорил. Полез за ручкой и блокнотом. Гиммлер изменился в долю мгновения. «Вы с ума сошли?! – чуть не крикнул он.– Беседы со мной – это государственная тайна рейха, а тайну надо помнить без компрометирующей записи!» Рейхсфюрер вдруг снова улыбнулся – он, я потом в этом убедился, часто встречаясь с ним, умел переходить от улыбки к окрику в долю секунды – и сказал: «Итак, мы убеждены, что Бадольо долго не продержится у власти. Итальянское правительство «в изгнании» только что заключило договор с союзниками в Лиссабоне – это достоверные донесения агентуры, базирующейся на «пенинсулу». Этот факт нельзя упускать из виду никоим образом. Вам отпущены считанные часы, Скорцени». Я закурил. Гиммлер воскликнул: «Неужели нельзя не курить?! Не думаю, что с таким умением вести себя вы сможете выполнить наше задание. Не думаю!» И – вышел. Я посмотрел на генерала Штудента. Тот поднялся: «Начинайте подготовку к операции». Когда все было готово, я прибыл к фюреру и рассказал ему мой план во всех тонкостях. Он одобрил план и поручил гросс-адмиралу Деницу и гене-

ралу Йодлю провести координационную работу. «Их части перейдут в ваше полное распоряжение, Скорцени». На прощание фюрер сказал мне то, что я запомнил на всю жизнь: «Если вам не удастся спасти Муссолини и вы попадете в руки союзников, я предам вас еще до того, как петух прокричит в первый раз. Я скажу всему миру, что вы сошли с ума, я докажу, как дважды два, что вы безумец, я представлю заключения десятков врачей, что вы – параноик. Я докажу, что те генералы и адмиралы, которые помогали вам, действовали из чувства симпатии к дуче, став жертвами коллективного психоза. Мне надо сохранить отношение с Бадольо. Ясно?»[1]

Скорцени откинулся на мягкую спинку кресла.

– Значит, Гесс летел в Англию с ведома Гитлера? – спросил я.

– Не с ведома, а по указанию Гитлера,– уточнил Скорцени.– Это был приказ фюрера. Гитлер понимал всю сложность похода на восток, он искал мира с Англией. Он был прав, когда поступал так,– я в этом убедился, когда жил под Москвой осенью 1941 года. Я рассматривал в бинокль купола церквей. Мы вели прицельный артиллерийский обстрел пригородов вашей столицы. Я был назначен тогда руководителем специального подразделения, которое должно было захватить архивы МК. (Он точно произнес эти две буквы.) Я также отвечал за сохранность водопровода Москвы – я не должен был допустить его уничтожения.

(Я сразу вспомнил моего отца, который на случай прорыва гитлеровцев в Москву должен был остаться в подполье: он долго хранил в столе маленькое удостоверение: «юрисконсульт Наркомпроса РСФСР Валентин Юлианович Галин». Мою мать зовут Галина – отсюда конспиративная фамилия отца. К счастью, ему не пришлось воспользоваться этим удостоверением – Скорцени и его банду разгромили под Москвой.)

Скорцени приблизил ко мне свое огромное лицо, словно бы собираясь сказать самое главное.

– Май френд,– тихо, с чувством произнес он,– почему же вы лишаете права нас, немцев, преклоняться перед фюрером? Это теперь не опасно. Со смертью Гитлера история национал-социализма кончилась, навсегда кончилась...

(Как же тогда объяснить документ СФ-ОР-2315, переданный 18 апреля 1945 года в Управление военно-морской разведки Аргентины? Документ гласил, что агент «Поталио» извещает о дея-

[1] Конечно, Скорцени явно стремился преувеличить и приукрасить свои «подвиги». Все послевоенные годы он зарабатывал на этом. Существуют другие версии об операции «Айхе» («Дуб»), в которой Скорцени и его подручные сыграли роль исполнителей.

тельности агента третьего рейха Людвига Фрёйде, который занят размещением значительных вкладов в банках «Алеман», «Трансатлантико Алеман», «Херманико», «Торнкист» на имя Марии Евы Дуарте. Еще 7 февраля 1945 года в Аргентину доставили на подводной лодке груз ценностей, предназначенных для возрождения нацистской империи.)

Скорцени отхлебнул джина. Он много пил. Глаза его постепенно становились прозрачными, водянистыми.

– Что вам известно о роли Бормана?

Он сразу же откинулся на спинку кресла:

– Какой роли?

– Которую он сыграл в подготовке полета Гесса...

– Вы убеждены в этом?

– Абсолютно.

Борман сыграл определенную роль в полете Гесса. Он смог п о д б р о с и т ь идею. Учитель Гесса профессор Карл Хаусхофер знал силу Бормана, его незримую организующую силу, ту, которой лишен Гесс, полубезумец, страдавший сексуальными кризами, и – вовремя переориентировался на Бормана.

«Хаусхофер вошел в астральную связь с герцогом Хамильтоном,– донесли Борману его доверенные люди.– Тот ждет прилет Гесса, они подпишут мир для рейха. Последние дни Хаусхофера посещают осязаемые видения нашего триумфа. Он не ошибается».

(Хаусхофер ошибался. Он дорого заплатил за свои ошибки. В августе 1944 года после неудачного покушения на Гитлера был казнен самый его любимый человек на земле – сын, Альбрехт. В его окровавленном пиджаке, после того как офицеры СС выстрелили ему в затылок, а затем – контрольно – в сердце, были найдены стихи-проклятие:

Отец, верь, с тобою говорила судьба!
Все зависело от того, чтобы вовремя
Упрятать демонов в темницу...
Но ты сломал печать, отец,
Ты не побоялся дыхания дьявола,
Ты, отец, выпустил демона в наш мир.

После войны Карл Хаусхофер убил свою жену и себя – ему больше не для чего было жить. Но это случилось не сразу после нашей победы. Целый год он ж д а л, веруя в чудо,– он все же верил, что Гитлер возродится из пепла. Воистину, слепая убежденность страшнее цинизма.)

Через двадцать часов после вылета Гесса капитан Карл Хайнц Пинч, адъютант заместителя фюрера, был приглашен из Пуллаха, под Мюнхеном, в ставку фюрера – на завтрак. Гитлер был ласков,

угощал гостя изысканными деликатесами, сам же ел морковь и сушеный хлеб. Обласкав Пинча, поскорбев о судьбе своего друга и его, Пинча, повелителя, Гитлер посмотрел на Бормана, сидевшего от него по левую руку. Тот обернулся: в дверях стоял его младший брат, Альберт Борман.

– Вы арестованы, Пинч,– сказал младший Борман.– Следуйте за мною.

Началась операция «запутывание следов».

Через час семья Гесса была выселена из квартиры на Вильгельмштрассе, 64. Дом, принадлежавший Гессу на Хартхаузерштрассе, тоже был конфискован. В тот же день Борман поручил арестовать все бумаги Гесса. Эту работу выполнил тихий и незаметный шеф гестапо Мюллер. С 1931 года он ни разу не был на докладе у Бормана – он лишь выполнял его приказы, мучительно ожидая одного: кто выполнит приказ Бормана о его, Мюллера, аресте. В рейхе не позволяли долго жить тем, кто много знал.

После крушения Гесса в с я власть перешла в руки Бормана. С ним обязан был согласовывать любой внешнеполитический шаг Риббентроп. Ни одно мероприятие армии не проходило без его санкции. Когда начальник имперского управления безопасности Рейнгард Гейдрих попытался отстоять свою автономию, Борман положил на стол фюрера данные о том, что Гейдрих, самый страшный антисемит рейха, виновный в миллионах убийств женщин и детей только за то, что они были рождены евреями, является внуком концертмейстера венской оперетты Альфреда Гейдриха, заказывавшего себе мацу в дни еврейской пасхи. Судьба Гейдриха была решена. Фюрер вызвал его для объяснений. Из кабинета Гитлера он вышел расстроенный, он был назначен протектором Богемии, где вскорости был убит.

Когда шефом РСХА стал Эрнст Кальтенбруннер, который Борману был предан больше, чем Гиммлеру, цепь замкнулась. «Тень Гитлера»– Борман отныне обладал бесконтрольной властью. «Бензин ваш, идеи наши»– лишь Борман лимитировал «выдачу бензина» на претворение в жизнь идей фюрера. Он, однако, не лимитировал выдачу денег тем эмиссарам рейха, которые начиная с 1942 года перемещались в Латинскую Америку. Впрочем, это не входило в противоречие с идеями Гитлера: тот сказал еще в начале тридцатых годов: «Наши идиоты потеряли две германские территории – Аргентину и Чили. Задача заключается в том, чтобы вернуть эти территории рейху».

Вместе с Кальтенбруннером п о д н я л с я его ближайший друг – Отто Скорцени.

– Как вы относитесь к Канарису?

– Гнусный предатель. С ним невозможно было говорить. Он был словно медуза, этот мерзавец, он выскальзывал из рук. За один час он мог десять раз сказать «да» и двадцать раз «нет». Он угощал кофе, расточал улыбки, жал руку, провожал к двери, а когда ты выходил, невозможно было понять, договорился с ним или нет.

– Его оппозиция режиму Гитлера была действительно серьезной?

– Во время войны солдат не имеет права на оппозицию,– отрезал Скорцени.– Любая оппозиция в дни войны – это измена, и карать ее должно как измену. Я ненавижу Канариса! Из-за таких, как он, мы проиграли войну. Нас погубили предатели.

(Занятно. Погубили «предатели», а не коалиция союзников?)

– Что вы думаете о Кейтеле?

– О мертвых – или хорошо, или ничего. Я могу только сказать, что Кейтель старался. Он много работал. Он делал все, что было в его силах.

– Шелленберг?

– Дитя. Талантливое дитя. Ему все слишком легко давалось. Хотя я не отрицаю его дар разведчика. Но мне было неприятно, когда он все открыл англичанам после ареста. Он не проявил должной стойкости после ареста.

– Мюллер?

– Что – Мюллер?

(После каждого моего вопроса о Бормане и Мюллере он переспрашивает – уточняюще.)

– Он жив?

– Не знаю. Я где-то читал, что в гробу были не его кости. Не знаю. Вам, кстати говоря, моему открытому противнику, я верю больше, чем верил Мюллеру. Он же «черный СС».

– Какая разница между «черными и зелеными СС»?

– Принципиальная. Мы, «зеленые СС», воевали на фронте. Мы не были связаны с кровью. У нас чистые руки. Мы не принимали участия в грязных делах гестапо. Мы сражались с врагом в окопах. Мы никого не арестовывали, не пытали, не расстреливали.

(Вместе с Кальтенбруннером он, а не Мюллер проводил операцию по аресту и расстрелу генералов, участников антигитлеровского заговора 20 июля 1944 года.

– Я ехал в штаб-квартиру разгромленного заговора на Бендлерштрассе. У поворота с Тиргартен меня остановил офицер СС, вышедший из кустов. Я увидел шефа РСХА Эрнста Кальтенбруннера и Отто Скорцени, окруженных офицерами СС. Они были по-

хожи на зловещих фантомов. Я предложил им войти в штаб военных, чтобы предотвратить возможные самоубийства. «Мы не будем вмешиваться в это дело,– ответили они мне,– мы только блокировали помещение. Да и потом, видимо, все, что должно было произойти, уже произошло. Нет, СС не будет влезать в это дело». Однако это было ложь, которая недолго прожила. Через несколько часов я узнал, что СС включились в «расследование» и «допросы».

Это – свидетельство рейхсминистра вооружений рейха Альберта Шпеера.

СС не очень-то допрашивали арестованных офицеров и генералов – их истязали, применяя средневековые пытки.)

Скорцени много рассказывал о своем «друге» Степане Бандере, банду которого он выводил зимой сорок пятого года с Украины.

– Я вел Бандеру по «радиомаякам», оставленным в Чехословакии и Австрии. Нам был нужен Бандера, мы верили ему, он дрался на Восточном фронте. Гитлер приказал мне спасти его, доставив в рейх для продолжения работы,– я выполнил эту задачу...

– С кем еще из... ваших людей (не говорить же мне «квислингов» или «предателей». Надо все время быть точным в формулировках, потому что впереди еще главные вопросы, их еще рано задавать, еще рано), из тех, кто вам служил, вы поддерживали контакты?

– Генерал Власов. С ним у меня были интересные встречи; к сожалению, Гитлер слишком поздно дал его соединениям оружие.

– Чем это было вызвано?

– Фюрер боялся, что русские пленные повернут винтовки против нас. Поэтому сначала армия Власова была дислоцирована только на Западе. А ведь как Власов не любил красных.

– Кто еще?

Скорцени морщит лоб, вспоминая.

– Да больше, пожалуй, никто. Разве что Анте Павелич в Югославии. Все остальное время – фронт.

– Вы считаете, что попытка похитить маршала Тито – это «фронт»?

– Конечно.

– Но вы, видимо, понимаете, что сделали бы с Иосипом Броз Тито, если бы он попал в ваши руки?

– Так ведь он не попал...

– Гитлер поручал вам убийство Эйзенхауэра?

– Это клевета купленных американских корреспондентов.

(Как только речь заходит об операциях Скорцени на Западе, он становится замкнутым. Он охотно обсуждает свою «работу» на

Восточном фронте, работу против нас. Это понятно: у Скорцени такие широкие контакты на Западе, а память там так коротка... Но ведь первыми жертвами «Фау-1» стали англичане. Ковентри находится на острове, а не в России или Польше, а Орадур и Лион – во Франции, а не в Югославии или Чехословакии... Бывшие всегда стараются «сохранить лицо». Они умеют говорить о долге, приказе, идее. Они знают, как обыграть святое чувство «солдатской присяги» и «фронтового товарищества», но ведь моих братьев и сестер убили в Минске, когда им было шесть, девять и десять лет,– какая уж тут присяга...)

– А что вы скажете о Тегеране?

– Красивый город. Лет десять назад у меня был там хороший бизнес. Очень красивый город, перспективная страна.

Больше он не сказал ничего о Тегеране. А мог бы сказать многое.

Он мог бы сказать, как намечалась операция «Большой прыжок» и какая роль отводилась в этом деле ему, «страшному человеку Европы»– так о нем писала пресса союзников в те годы.

Известно, что покушение на «Большую Тройку» было поручено как ведомству Шелленберга, так и военной разведке Канариса, абверу. Борьба между двумя этими службами широко известна. Но историки до сих пор обходят исследованием один факт – в высшей мере занятный. Незадолго до подготовки операции «Большой прыжок» начальником РСХА вместо казненного чешскими патриотами Гейдриха стал Эрнст Кальтенбруннер, близкий друг Скорцени еще с того времени, как они жили вместе в Вене. И тот и другой со шрамами буршей, которые иссекали их лица, и тот и другой беспредельно преданные Гитлеру и его расовой теории, они считали себя истинными «паладинами» фюрера, готовыми принять за него смерть. Сразу же по переезде из Вены в Берлин Кальтенбруннер взял под свой личный контроль отдел VI-С, то есть диверсантов Скорцени. Сразу же после того как новый начальник РСХА сел в кресло Гейдриха, он нанес визит Борману: «венец» знал, с кем надо иметь постоянно добрые отношения. Сразу же после того как Кальтенбруннер нанес визит Борману, начался рост его протеже – Скорцени.

Кальтенбруннер быстро вошел во все «дела», и операцией «Большой прыжок» он интересовался особо. Вместе с Шелленбергом Кальтенбруннер встретился с Канарисом в «особом баре» гестапо «Эдем». Канариса сопровождал руководитель «Отдела-1» абвера генерал Георг Хансен. Было заключено «джентльменское» соглашение: ведомство Шелленберга готовит свою операцию – «Большой прыжок», Канарис свою – «Трижды три». В процессе

подготовки, которая ведется сепаратно, никто из участников «командос» не ведает, для чего их готовят, используют людей, знающих русский и английский языки; вся информация о подготовке групп и о том, какие новости собраны о точной дате встречи «Большой Тройки», идет через Кальтенбруннера к Гиммлеру, от Канариса – к Кейтелю; те передают данные фюреру.

Было принято решение, что люди СС будут проходить тренировку в лучшем лагере диверсантов абвера «Квенцуг»: там располагались «иностранные группы» особой дивизии «Бранденбург». В связи с этим Шелленберг получил возможность – вполне легальную возможность – ввести в самый центр абвера человека – Винфреда Оберга.

Работа шла вовсю. Кальтенбруннер назвал Гитлеру идеального кандидата. Гитлер согласился с энтузиазмом: «Скорцени сможет выполнить эту работу».

Скорцени получил задание начать активную подготовку. Он запросил подробную информацию о том, что сделано и что предстоит сделать. Через сорок восемь часов после того, как ему передали задание, радиоперехватчики из его группы получили расшифрованный текст: радиограмма, отправленная из Берлина в Швейцарию, сообщала, что Гитлер отдал приказ на покушение. Скорцени вышел на сеанс радиосвязи с штурмбанфюрером СС Романом Гамотой, который сидел в Иране. Тот сообщил, что «не верит агентуре абвера». Скорцени пришел к Гитлеру: «Нас окружает измена!»

Это был удар по абверу, то есть по армии.

Это был удар и по конкурентам.

Чье же поручение выполнял Скорцени? Гиммлера? Вряд ли. Шелленберга? Не думаю – «юного красавца» не очень-то любили в этой среде. Значит, Кальтенбруннера? Начальник Управления имперской безопасности в те осенние месяцы 1943 года – после разгрома под Сталинградом и Курском, который сделал очевидным исход войны,– не мог не сделать для себя выводы. В условиях национал-социализма вывод был один лишь – шкурный. А шкурничество выражалось в том, чтобы стать ближе к фюреру. Близость гарантировала абсолютную бесконтрольность: личные счета в швейцарских и мадридских банках, бриллианты, живопись эпохи Возрождения. Время «идей» кончилось, пришла пора «личного удержания», которая всегда с т а в и т на золотого тельца.

– Фюрер никогда не планировал никаких покушений,– сказал Скорцени, когда я напомнил ему о «Большом прыжке».– Это все пропаганда. И мы, «зеленые СС», никогда не хотели стрелять из-за угла; мы, военные СС, всегда принимали бой лицом к лицу.

В мировой литературе еще мало исследована природа СС, членом которой, и не рядовым, а руководящим, был Отто Скорцени. Сейчас на Рейне не очень-то принято вспоминать об этом. А вспомнить стоит. Гитлер провозгласил, что после победы «великой германской расы», после того как будут уничтожены большая часть славян, определенная часть французов, евреи, цыгане, СС получит собственное государство – Франконию, к которой будет присоединена часть Франции и романской Швейцарии. Гитлер легко прочертил на карте жирную линию: Пикардия, Шампань, Люксембург – все это должно войти в состав государства СС. Жить там, как предполагал Гитлер, будут «посвященные второго класса», ибо все члены СС разделялись на два «этажа». Первый класс СС был обязан верить, повиноваться, сражаться. Второй, «посвященные», должен был умирать для самого себя, то есть, по версии Гитлера, погибая, эти эсэсовцы оставались в вечной и «благодарной памяти великой расы арийцев». Для получения второго класса надо было – по законам СС – «научиться убивать и умирать». После того как «второклассники» приносили обет, им, по словам рейхсфюрера Гиммлера, придавалась «неотвратимая человеческая судьба», поскольку отныне эти эсэсовцы приняли «обет плотного воздуха», то есть «присоединили свой дух к вечной атмосфере высокого напряжения». (Наша армия «отключила» это присоединение – вышло короткое замыкание, которое здорово шандарахнуло «верных паладинов фюрера».)

Отто Скорцени относился именно к этому классу посвященных. Именно он, Скорцени, должен был отправиться в Палестину, чтобы отыскать там «чашу Грааля»– чашу мистического бессмертия. Он разрабатывал операцию вместе с штандартенфюрером СС Сиверсом, директором «Аннербе»– «Общества исследований по наследству предков». Чтобы «понять это наследство», Сиверс экспериментировал на людях в концлагерях. Нюрнбергский трибунал отправил его на виселицу. Нынешние эсэсовцы чтут его «память» как «национального героя, мученика идеи».

– Сейчас пишут множество всякой ерунды о нашем движении,– продолжал между тем Скорцени,– увы, победители всегда правы. Никто не хочет увидеть то позитивное, что было в учении Гитлера.

– Расовая теория?

– Это ж тактика! Мы не верили в серьезность его угроз! Мы понимали, что это средство сплотить народ! Каждая политическая структура должна уметь чуть-чуть припугнуть.

– В Освенциме «припугивали»?

– Я там не был. Почему я должен верить пропаганде врагов?

– Я там был.

– После войны? Ничего удивительного – после войны можно написать все, что угодно, победа дает все права.

– Вы не встречались с Эйхманом?

– Он же был «черный»! Я прошу вас всегда проводить грань между двумя понятиями,– в третий раз н а ж а л Скорцени.– Именно на «черных СС» лежит кровь и грязь, которая компрометирует наше движение. Мы же были солдатами: смотрели в глаза смерти.

– При каких обстоятельствах вы встретились с адмиралом Хорти?

– Я выполнял приказ фюрера, когда Хорти решил изменить союзническому долгу. Он ставил под удар жизнь миллиона германских солдат, и Гитлер поручил мне сделать все, чтобы Венгрия оставалась союзницей Германии до конца. Я отправился в Будапешт и провел операцию.

(Очень «чистая» операция! Шелленберг «подвел» к сыну Хорти своего агента, который выдал себя за посланца от югославских партизан. Скорцени было поручено похитить «посланца» вместе с Хорти-младшим, чтобы «надавить» на отца. Скорцени выполнил эту работу – заурядная провокация, проведенная в глубоком тылу, под охраной головорезов гестапо.)

Он то и дело возвращается к Гитлеру.

– Я помню, как осенью сорок четвертого фюрер вызвал меня в свою ставку «Вольфшанце» в Восточной Пруссии – это сейчас Калининградская область,– добавил он.– Я имел счастье побывать в «ситуационном бараке», где фюрер проводил ежедневные совещания. Я испугался, увидав его: вошел сгорбленный старик с пепельным лицом. Его левая рука тряслась так сильно, что он вынужден был придерживать ее правой. Он слушал доклады генералов родов войск молча, то и дело прикасаясь к остро отточенным цветным карандашам, которые лежали на громадном столе рядом с его очками. Когда генерал Люфтваффе начал сбиваться, докладывая о количестве самолето-вылетов и наличии горючего, фюрер пришел в ярость; я никогда раньше не думал, что он может так страшно кричать. Переход от брани к спокойствию тоже потряс меня: фюрер вдруг начал называть номера полков и батальонов, наличие танков и боеприпасов – меня изумила его память. Как всегда, со мною он был любезен и добр; я до сих пор помню его глаза. Мое мнение – это был великий человек, что бы о нем сейчас ни писали.

– Газовые камеры, убийства?

– Что касается «газовых камер», то я их не видел. Казни? Что же, война есть война.

– Я имею в виду и те казни, которые проводились в тылу.

– Фюрера обманывали.

– Кто?

– Недобросовестные люди. Он же не мог объять все проблемы! Он нес ответственность за судьбу Германии, он был верховным главнокомандующим, у него просто-напросто не было возможности уследить за всем и за всеми. У нас же было слепое поклонение бумаге, приказу... Я помню, фюрер, отправляя меня в Будапешт, написал своею дрожащей рукою на личном бланке: «Следует оказывать содействие всем службам рейха штандартенфюреру Скорцени, выполняющему задание особой важности». Я работал в штабе, планируя «будапештскую операцию» вместе с неким подполковником – его часть была придана мне для захвата дворца Хорти, если бы тот решил оказать сопротивление. Я проголодался и попросил подполковника отдать распоряжение денщику принести пару сосисок. Подполковник попросил мои продовольственные карточки. Я сказал, что карточки остались в номере гостиницы, и этот болван отказал мне в двух несчастных сосисках. Тогда я достал бумагу фюрера. Подполковник даже вскочил со стула, читая предписание Гитлера. Конечно же он был готов принести мне двадцать две сосиски. А сколько раз я слыхал, как в бункере фюрера его же генералы говорили между собой: «Этого ему сообщать нельзя – он разнервничается». И – скрывали правду!

– Вы читали «Майн кампф»?

– Конечно.

– Но ведь в этой книге Гитлер санкционировал убийства «неполноценных народов»– целых народов!

– Неужели вы не понимаете, что это была теория?! Он же был вегетарианцем! Он не знал жизни – только работа! Я лишь раз видел, как он выпил глоток шампанского,– это было в тот день, когда я освободил Муссолини!

– А Борман?

– Что – Борман?

– Он тоже был добрым, милым человеком?

– Я его плохо знал – я же говорил вам. Мы встречались всего несколько раз.

– А Швенд?

– Какой Швенд?

– Штандартенфюрер СС. Который выпускал фальшивые фунты стерлингов.

– А, это уголовник из Перу?

– Он самый. Вы с ним не встречались?

– Никогда.

– Доктор Менгеле?

– Кто это? Я не знаю.

– Доктор Заваде?

– Нет, я его не знал.

– Вы были одним из руководителей «оборотней», «Вервольфа»?

– Да. Но мы не вели против вас партизанских боев.

– Чем вы это объясните?

– Тем, что мы – индустриальная страна.

– Мы тоже индустриальная страна, однако наши партизаны здорово вас били.

– У нас не было такого количества лесов, полей, деревень.

– А Польша, Югославия?

– Там – горы.

– А Франция? Маки́ сильно вас трепали, а ведь лесов там не больше, чем в Германии.

Скорцени хотел было что-то ответить, но миссис Скорцени мягко заметила:

– Он прав, Отто, он прав... Дело не в мере индустриализма...

– Вот видите,– сразу же согласился Скорцени,– значит, в конечном итоге моя версия правильна: с гибелью Гитлера погибла его идея. Все разговоры о том, что мы, старые борцы, ушли в подполье, что-то затеваем,– все это пропаганда: без Гитлера национал-социализм невозможен.

– Как вы относились к фон Таддену?

– Он же пруссак! Единственно серьезными немцами можно считать баварцев и австрийцев – все остальные лишь входят в нашу орбиту!

– Вы не поддерживали партию НДП?

– У них всего пять тысяч крикунов – разве это серьезная сила?

– А если бы у них был миллион?

– Тогда бы я подумал.

– Вы не помогали итальянским неофашистам из МСИ?

– Нет. После войны я решил заняться бизнесом. Мне надоела политика. Я хотел, чтобы у меня были чистые руки.

– И с Клаусом Барбье вы не встречались?

– Кто это?

– Вешатель Лиона. Он сейчас в Боливии[1].

– Нет. Я его не знаю.

– А Вальтер Руф?

[1] Нацистский преступник Клаус Барбье, виновный в расправе над борцами французского движения Сопротивления, нашедший убежище после второй мировой войны в Латинской Америке, доставлен во Францию. В июле 1987 года шеф лионского гестапо К.Барбье приговорен к пожизненному тюремному заключению – высшая мера наказания во Франции. После оглашения приговора отправлен в тюрьму Сен-Жозеф в Лионе.

– Я не слыхал это имя.

...Когда мы – во втором часу ночи – перебрались в ресторан «Эль Бодегон», метрдотель встретил Скорцени гитлеровским приветствием «хайль»! Скорцени п р и в ы ч н о взбросил руку и чуть одернул пиджак, словно на нем был френч с эсэсовскими рунами. Здесь у Скорцени было много знакомых, и он говорил с ними по-немецки, и голос его здесь был другим – п р и к а з н ы м, начальственным, самодовольным.

Вошел негр – из тех, которые ездят в звероподобных машинах, с охранниками.

И с ним Скорцени обменялся любезностями.

– Биафра? – спросил я.

– Да,– ответил он.

– Вы им продавали оружие?

– У меня не было денег. Иначе – продал бы.

– Ваши единомышленники – бедные люди?

Скорцени засмеялся:

– Отчего же? Мой единомышленник Крупп был довольно богатый человек. Я ему многим обязан.

– Я видел в Перу слиток золота со свастикой. Там было выбито – «рейхсбанк». До сих пор эти слитки хранятся в банке Гондураса. Время от времени они появляются в других латиноамериканских странах.

– Ничего удивительного,– ответил Скорцени.– Рейхсминистр финансов Функ в конце апреля сорок пятого предлагал мне уходить вместе с ним. «Мне некуда девать золото, Отто»,– говорил он. Но Функа арестовали. Куда попало золото? Победителям лучше знать.

– Наверное, золото попало в руки мафии,– предположила миссис Скорцени,– откуда бы иначе ему быть в Гондурасе?

– Наверняка,– сразу же согласился Скорцени.– Это дело мафии, но не наше. Я ж говорю, мы кончили игру тридцатого апреля сорок пятого года. С тех пор я отошел от борьбы. Я занимаюсь бизнесом, я инженер, и мне горько вспоминать прошлое, потому что мы тогда проиграли.

Наутро в номер отеля «Императрис» постучали – до странного рано.

– Кто там?

– От сеньора Скорцени.

На пороге стоял «чико» с пакетом в руке. Он принес мне двухтомник воспоминаний «Да здравствуют опасности!» с дарственной надписью: «Юлиану Семенову в память о нашей встрече в Мадриде. Скорцени».

Я прочитал эту книгу, сопоставил весь строй нашей встречи, наш разговор и лишний раз убедился в том, как много раз лгал мне человек со шрамом.

По пунктам:

1. Клаус Барбье показал, что он поддерживал постоянный контакт со Скорцени. «Скорцени – руководитель всей нашей разведывательной сети»,– заявил Барбье в семидесятых годах!

2. Федерико Швенд не отрицал своих контактов со Скорцени.

3. Вальтер Рауф, «отец» душегубок, отсиживающийся в Чили, ныне стал начальником отдела по борьбе против коммунистов в НРУ, национальном разведывательном управлении Пиночета. Он гордится своими контактами со Скорцени.

4. Являясь одним из руководителей «Антибольшевистского блока народов», Скорцени поддерживал постоянные связи со всеми неонацистскими группировками, особенно с неофашистами МСИ в Италии.

5. Скорцени лично транспортировал оружие сепаратистам Биафры – есть документы, доказывающие его причастность к гражданской войне в далекой африканской стране.

Теперь давайте зададим себе вопрос: отчего Скорцени д о л ж е н был отрицать эти свои контакты?

1. Когда стало сжиматься кольцо вокруг Йозефа Менгеле, проводившего опыты на русских военнопленных, польских профессорах, сербских женщинах и еврейских детях, прошел цикл убийств, спланированных с истинно нацистским «размахом». Менгеле, отвечавший за свои опыты перед Борманом, смог скрыться. Его путь в неизвестность был устлан трупами.

2. Когда западногерманский суд под нажимом общественности начал раскручивать дело доктора-изувера Заваде (Хайде), который выполнял непосредственные указания Бормана, он был убит в камере. Другие участники этого процесса – доктор Фридрих Тильман и начальник личной охраны президента ФРГ Эрхарда бывший нацист Эвальд Петерс тоже не дошли до суда: доктор «умер от разрыва сердца», Петерс – «повесился» в камере. Эдо Остерло, министр образования земли Шлезвиг-Гольштейн, в прошлом нацист, привлеченный в качестве обвиняемого, был найден на дне бухты.

Дело так и не было исследовано в суде – некого было судить.

3. Когда был разоблачен Клаус Барбье, вешатель Лиона, человек, осуществлявший связь между некими таинственными «руководителями», скрывавшимися в Парагвае, Чили и Уругвае, и группами реакционеров-националистов, которым он продавал оружие по бросовым ценам, снова прошла «обойма» загадочных убийств:

сначала был уничтожен боливийский консул в Гамбурге, который неоднократно встречался с Барбье. Затем на мине был взорван миланский издатель, имевший в портфеле рукопись неизвестного автора, там говорилось о нацистских связях Барбье в Латинской Америке и Испании. После этого в роскошном номере в Рио-де-Жайнеро был найден труп графа Жака Шарля Ноэль де Бернонвилля, осужденного французским военным судом за пособничество гестапо. Этот друг Барбье много путешествовал по Латинской Америке – чаще всего он бывал в Боливии, у своего старого шефа, в Перу и Сантьяго-де-Чили. В Париж, жене, он переводил огромные суммы денег, без подписи, по коду: «Креди Л'Жуве, ХФ-495». Граф много знал. Убийцы скрутили ему руки жгутом, заткнули в рот кляп и задушили в его апартаментах. Следующим из числа тех, кто должен был замолчать, оказался перуанский мультимиллионер Луис Банчеро Росси. (Когда его убил полусумасшедший садовник его любовницы, считали, что с ним свела счеты мафия. Однако затем все более настойчивыми стали разговоры о том, что Росси, начавший свой бизнес с нуля, имел устойчивые контакты с нацистами; мафия лишь исполняла волю гитлеровцев.)

Наивно полагать, что вся эта цепь политических убийств могла быть л ю б и т е л ь с т в о м. Во всем этом ощутима тяжелая рука, знающая, как д е л а т ь страх.

4. Отчего Скорцени позволял себе отзываться о «товарищах по партии» как об «уголовниках» (помните его слова о Швенде?)? Оттого что «любимых можно ругать – они простят». О них нельзя говорить правды – этого не простят другие члены «гитлеровского братства», рассеянные ныне по миру. Они дождались своего часа в Чили и Уругвае: перевороты были проведены по рецептам гитлеровцев, под их лозунгами. Там, где начнется следующая резня, ищите следы людей СС: они умеют работать, и они очень хотят делать свою работу.

Это у д о б н о считать, что со смертью Гитлера кончился гитлеризм, однако беспечное удобство никогда еще не приводило к добру.

...Когда в 1974 году я встретился с Отто Скорцени в Мадриде и спросил его о Швенде, он пожал плечами: «Я никогда не видал этого уголовника». Однако Сесар Угарте, антифашист из Лимы, рассказал мне, что именно Скорцени прилетал к Швенду в Перу и они вместе совершали инспекционные поездки по Латинской Америке – навещали «старых борцов», таких особенно, как Вальтер Рауф и врач-изувер Менгеле.

Кто же такой Фридрих Швенд? В 1932 году этот мелкий торговец женился на баронессе фон Геминген. Накануне второй ми-

ровой войны Швенд уехал из поместья, поселившись на своей роскошной яхте «Аурора». Плавал он в основном по Средиземному морю, курсируя между Италией и Югославией.

Свидетели, вызванные ныне судьей после его случайного провала, утверждают, что Швенд именно тогда нажил огромное состояние, занимаясь контрабандой золотом. Это неверно. В тот период Швенд занимался разведкой; тогда же, загодя, готовилась и «операция внедрения». Сейчас эту операцию на суде трактуют весьма примитивно: «гешефтмахер» Швенд, решив подзаколотить побольше золота, обратился в гестапо с предложением: «Я могу помочь вам топить британские суда на Средиземноморье». А потом, согласно официальной версии, связался с британской разведкой: «Я готов открыть вам секрет, отчего ваши корабли идут ко дну». За это Швенд – член гитлеровской партии с 1932 года – был якобы арестован гестапо. Но странное дело: вскоре после ареста Швенд – «истинный ариец, ветеран движения, отмечен рейхсфюрером» (так записано в его характеристике) – получает псевдоним «доктора Вендига», кличку «финансист» и должность в секторе РСХА по организации «инфляций», для того чтобы возглавить «операцию Бернхард». Смысл операции заключался в том, чтобы подменить истинные фунты стерлингов фальшивыми, изготовленными узниками нацистского концлагеря Заксенхаузен, и пустить их в обращение за границей «жертвой гестапо», «другом» англичан Швендом-Вендигом. Арест, таким образом, был «операцией внедрения», вполне обычная комбинация гитлеровской службы безопасности.

Существует версия, что якобы Швенд «торговался» с шефами гестапо о доле для себя лично. Вроде бы сторговался на том, что из фунтов, выменянных на фальшивки, третью часть он переведет на свой текущий счет. Но это тоже «операция прикрытия», ибо гестаповцы – особенно в последние годы третьего рейха – переводили за границу деньги СС и НСДАП на счета своих наиболее доверенных людей, в «надежные банки», чтобы финансировать новое нацистское движение, в случае если война будет проиграна. Так было и со Швендом: в гестапо не «торговались» с сотрудниками, им отдавали приказы, и эти приказы выполнялись беспрекословно.

Но Швенда сейчас судят вовсе не за то, что он был нацистским преступником. Его привлекли к ответственности не за руководство беспрецедентной экономической диверсией, нет, его обвиняют в контрабанде и в том, что он застрелил своего сообщника Камбера. Понятное дело, Швенд отвергает это обвинение. Прокурор обещает выставить свидетеля: тот видел, как Швенд

лично расстрелял Камбера, ибо боялся сообщника. Крах гитлеризма Швенд встретил подстрахованным – восемьдесят килограммов золота, сто тысяч швейцарских франков и несколько десятков тысяч долларов. Летом 1945 года, получив подложные документы в Ватикане, у тех, кто помогал ему сбывать фальшивые фунты, Фридрих Швенд передислоцировался в Перу, стал «американцем» Федерико, мелким служащим «Дженерал моторз» и «Фольксвагена».

– Этот мелкий служащий распоряжался большими деньгами,– говорил мне Сесар Угарте несколько лет назад.– Он продолжает служить гитлеровцам и тем секретным службам, с которыми ему есть р е з о н поддерживать контакты.

Я писал тогда об этом, говорил коллегам в Америке и Западной Европе, однако безрезультатно, Швенд продолжал преспокойно жить в своем дворце неподалеку от перуанской столицы.

Сейчас время Швенда кончилось. Во-первых, потому, что кончились те деньги нацистской партии, которые были положены на его персональный счет, а он их переводил затем по тем явкам, что ему давали «партайгеноссен»; а во-вторых, его время кончилось оттого, что умер главный покровитель – Скорцени; и в-третьих, поскольку в Перу у власти стояли реалистически думающие политики, понудившие его уехать из Лимы.

...Фрау Еленич из боннского пансиона «Шварцер Катер» не вняла просьбе пожилого американца, который просил ее отсрочить на несколько дней платежи за ночлег, и позвонила в полицию.

– Господин Федерико Швенд,– сказала она,– задолжал мне за трое суток, и я настаиваю, чтобы вы понудили его немедленно уплатить деньги.

В полиции «американец» держал себя спокойно и корректно, назвал свое имя, возраст и место рождения. Ему – столь же корректно – предложили подождать, пока наведут справки.

Справка пришла неожиданно быстро: оказывается, «американца» Федерико Швенда уже много лет разыскивал «Интерпол» как контрабандиста и убийцу.

Итак, Фридрих Швенд, гестаповец и ветеран НСДАП, привлечен к ответственности, дело его слушается в «бомбозащищенном» здании суда на Нимфенбургерштрассе, слушается уже не неделю и не две – это в порядке вещей здесь.

Странно другое: зачем «Интерполу» потребовалось так много лет для поисков, когда еще в 1972 году о «Федерико Швенде», о том, под какой фамилией он живет, где именно и чем занимается, я написал на страницах советской прессы, рассказав при этом о благородном антифашистском поиске Сесара Угарте, моего пе-

руанского друга. Напечатан мой материал был в «Комсомолке»– газете с многомиллионным тиражом. Если бы Швенда х о т е л и найти тогда, в 1973 году,– н а ш л и бы, тем более что Сесар Угарте – человек известный не только в Перу, он кавалер шести боевых орденов США, ордена ФРГ, удостоен звания кавалера Почетного легиона. Следовательно, либо западногерманские специалисты плохо читают нашу прессу, выбирая из потока информации только то, что выгодно здешней пропагандистской машине – она далека от объективности, сугубо тенденциозна,– либо это было невыгодно каким-то силам. Каким же?

И если бы не случай, фашиста продолжали бы «искать» до сих пор.

...И наконец, последнее. Швенд был в числе посвященных: он знал, кто, где и когда укрывал похищенные ценности – не только в Германии, но и по всему миру. Однако об этом ему вообще не было задано ни одного вопроса, с т р а ш а т с я.

4

«Дорогой господин Семенов!

Для запланированного создания «музея фюрера» в Линце имперское правительство похитило – через своего уполномоченного, директора Государственной картинной галереи в Дрездене, д-ра Поссе – в различных странах Европы, преимущественно в Италии, Австрии, Франции, Нидерландах и Бельгии, ряд ценнейших полотен, скульптур и коллекций монет.

Если в Нидерландах, Бельгии и Франции закупки были совершены на основе «оккупационного права» и тем самым с самого начала были сомнительными, преступными, то в Германии и Австрии было предпринято также и принудительное присвоение, как, например, коллекций фон Рекlама в Берлине, Ротшильда в Вене, Кёнига и Вейнштейна в Амстердаме и Брюсселе, коллекций Фюрста в Гааге. Все это шло в «музей Гитлера».

Более дифференцированной была ситуация в Италии. Здесь были приобретены ценнейшие произведения раннего и позднего Ренессанса, принадлежность которых весьма завуалирована.

Закупки подготовил – по дипломатическим каналам – принц Филипп фон Гессен, однако кому точно принадлежали картины, осталось тайной.

Невыясненным осталось и то, какие итальянские инстанции оказывали нацистам поддержку при «закупках». Словом, эти итальянские сделки относятся к темнейшим аферам третьего рейха. В начале пятидесятых годов состоялось несколько конференций относительно этих произведений искусства. В рамках так называемой «комиссии де Гаспери» министрами иностранных дел Италии и ФРГ было достигнуто соглашение, в соответствии с которым ФРГ стала владелицей вывезенных из Италии произведений искусства. До 1975 года они относились к «фонду возмещения» при Главной дирекции финансов в Мюнхене (доктор Ванкмюллер). Повторяю, еще в конце 1975 года Национальная галерея и Учредительное общество прусского культурного наследия выставили некоторые из этих картин в Далемском музее в Берлине. Когда там кто-то из посетителей увидал «Потолочные фрески» из палаццо Мосениго в Венеции Себастьяно Риччи, наследники бывшего владельца палаццо Мосениго в Венеции немедленно заявили протест и обратились за помощью к иностранным органам прессы в Лондоне и Париже. Однако их протест был безрезультатен, дело до сих пор не сдвинулось с мертвой точки.

Ваш Георг Штайн».

(В Базеле нашел художницу Мари Юберзакс, дочь Григория Шкловского, соратника В.И.Ленина. Я провел у нее часа три; женщине за восемьдесят, однако она еще путешествует, много пишет. От нее, посмотрев бесценные реликвии, письма и записки Ильича, я уехал с письмом, по которому пять документов Ленина, находящихся ныне у Мари Юберзакс, безвозмездно передаются нашему государству.)

5

...В Бонне, разобрав корреспонденцию, я сразу же отложил в сторону два конверта. Остальные, а их накопилось около полусотни – в Бюро пишут самые разные люди, фирмы, организации, театры, выставочные залы, редакции, партии,– я решил просмотреть позже. Первое было от Мишеля, отправлено из Кельна, 41, Квадратерштрассе, 5. Вскрыл конверт. Вырезка из газеты «Экспресс» от 29 сентября 1979 года. «Жокеи «фрау доктор». Любовь к животным дает госпоже Эрбиг победы. Во время конного аукциона в Баден-Бадене, который ежегодно проводит Фердинанд Ляй-

стен, старая дама, сидевшая в ложе с маленьким хином в руках, обратилась к своей собачке: «Муши, ты хочешь, чтобы я купила тебе лошадку?» Видимо, Муши ответила «да», потому что старая дама купила лошадь. Спустя два года после смерти ее мужа, хозяина фирмы «Эрболаке», «фрау доктор» купила восемь лошадей на аукционе. Последняя покупка составила 177 тысяч марок. Тренирует коней, принадлежащих «фрау доктор», Гюнтер Розенбуш. «Кони – мои любимые детишки»,– говорит фрау Эрбиг. Эти любимые детишки приносят кельнской миллионерше богатые прибыли. Один только жеребец Каре дю Норд прикатил ей за последние три года 105 тысяч марок».

Второе письмо, также безо всяких комментариев, от Шрайдера.

> «Подтверждение. Я, Якоб Шрайдер, рожденный 4.3.1899 года в Бюбингене, подтверждаю, что несколько лет назад вместе с фрау Шмит (Кельн, Бааденбергерштрассе, 82) был приглашен семьей доктора Эрбига в Баден-Баден. Фрау Шмит является родственницей фрау Эрбиг и дружна с нею. В то время семья Эрбиг жила в Баден-Бадене, по Хершенбергштрассе, 29, по справедливости считаясь одной из самых богатых семей ФРГ.
>
> Именно во время этого первого визита в Баден-Баден я и увидел таинственную комнату из камня. Спустя некоторое время я прочитал в газетах о Янтарной комнате и подумал, что я обнаружил место ее хранения.
>
> Однако вскорости семья Эрбиг переехала в Швейцарию, в Тессин, и комната была ими демонтирована и вывезена в Аскону. Фрау Шмит рассказала мне, что за одну лишь транспортировку ящиков с янтарем водителям грузовиков было уплачено 12 тысяч марок. На Тенерифе у меня есть друг господин Фред. Летом он приезжает на отдых в Аскону и часто посещает семью Эрбиг, поддерживая с ними самые добрые отношения. Однажды он спросил меня, видел ли я Янтарную комнату у Эрбигов, на том этаже, который они занимают в вилле. По его мнению, эта комната практически бесценна.
>
> Все это пишу для того, чтобы повторить эти данные, при необходимости – в суде.
>
> *С уважением Якоб Шрайдер*».

Я завертелся волчком вокруг телефона, поначалу решил было звонить из международного автомата в Бад-Годесберге, а потом

спросил себя, отчего я должен таиться, словно это я укрываю краденое, а не наши ценности держат здесь, снял трубку и набрал номер Фреда в Тенерифе.

– Да,– ответил он.

– Это Семенов.

– Я узнал вас.

Пауза.

– Как долго вы намерены быть на острове? – спросил я.

– Отчего вас интересует этот вопрос?

– Оттого, что вы обещали подтвердить данные Яко...

– Нет,– перебил он меня, явно не желая, чтобы были произнесены какие-либо имена или фамилии.– Я не стану делать никаких подтверждений.

– Но вы же обещали сделать это...

Пауза.

– Вы видели Янтарную комнату в доме фрау Эр...

– Да, у нее сказочная коллекция произведений искусства.

– Русского?

– В том числе.

– Вам что-то мешает подтвердить это формально?

– Мы обсудим этот вопрос в другой раз, и не по телефону, когда у меня появится для этого время.

Вот так. Кто-то нажал. Кто? Как? Когда?

6

Шрайдер отворил мне дверь. На диване сидел Мишель..

– Я все знаю,– сказал Шрайдер.– Я знаю все.

Мишель извинился:

– Я схожу за сигаретами, они в машине...

Когда внук вышел, Шрайдер сказал:

– Теперь я хочу получить миллион. Взамен я передам фотографию комнаты, выполненную в доме «фрау доктор»; деньги я по-прежнему хотел бы получить после того, как комната будет вывезена в Россию.

– Фотография у вас на руках?

– Нет.

– Но она уже существует?

– Нет.

– Каким образом она у вас окажется?

– Это мое дело.

«Нет, и мое,– подумал я,– ибо дело пахнет взломом. Я в э т о не играю. Мы в э т о не играем, так точнее».

...Вольфганг Эрбиг во время войны снабжал лаками и красками Люфтваффе рейхсмаршала Геринга.

Его заводы были потребителями огромного количества янтаря.

А что, если он сделал копию Янтарной комнаты?

Или же наша настоящая была отдана нацистам на хранение этому финансово-промышленному тузу,— такие в любом обществе закону неподвластны.

Допустима любая версия, но дальнейшей проверкой именно этой, связанной с Эрбигами, надлежит заниматься гражданину ФРГ.

Набрал телефон в Аскону.

— Фрау Эрбиг?

— Слушаю,— голос еще крепок, сух.

— Фрау Эрбиг, мне было бы крайне интересно обсудить с вами вопрос о Янтарной комнате...

После паузы:

— Откуда вы знаете об этом, во-первых? Кто говорит, во-вторых?

— Я занимаюсь произведениями культуры, их судьбою...

— Напишите мне письмо, оставьте свой адрес и телефон, я посоветуюсь с моим адвокатом, до свиданья.

Отбой.

ГЛАВА,
в которой рассказывается о нацистском преступнике, виновном в трагедии Лидице, о шантаже и гибели профессора Роде

1

...О, как красиво здание концерна «Кали Зальц» в Касселе!

Стекло и алюминий; и не простое стекло, а красно-синее; желтое солнце расшибается в нем на сотни фиолетовых солнц; прекрасный кондиционированный вестибюль; охранники в синих униформах; выправка явно офицерская; седые затылки стрижены под скобку, височки — высокие, как полагалось раньше, когда они носили форму, без приставки «уни».

Один из стражей внимательно посмотрел мою журналистскую карточку, позвонил по внутреннему телефону:

— Ваш визитер здесь.

Через три минуты на лифте спустился седой, поджарый, в тугом накрахмаленном воротничке господин доктор фон дер Эее.

– Добрый день, господин доктор Йонсон ждет вас.

Мы поднялись на шестой этаж, расположились в удобном кабинете за длинным столом, на котором легко можно рассматривать карты, и начали собеседование.

– Мы готовы к разговору, господин Семенов, – сказал один из ответственных работников концерна, доктор Йонсон. – Удалось найти кое-какие документы; фон дер Эее введет вас в курс дела.

– Не могу порадовать вас какими-то особыми открытиями в связи с поиском господина Штайна... Как всегда, инженеры оказываются жертвами военных; с тридцать восьмого года по сорок пятый к шахте «Виттекинд» нас не подпускали люди вермахта и те господа из гестапо, которые их обслуживали. С сорок пятого по пятьдесят первый год английские оккупанты закрыли нам какой бы то ни было доступ на шахты. Тем не менее, полагая, что развитие экономических и научных связей между вашей страной и нашим концерном вполне осуществимо в будущем, мы готовы познакомить вас со всей информацией, которую нам посчастливилось – правдами и неправдами – собрать.

Доктор Йонсон улыбнулся:

– Все-таки правдами, господин фон дер Эее, правдами, концерн чужд неправды, не так ли?!

– О да! – решительно согласился фон дер Эее, и это его слишком уж решительное согласие явно засвидетельствовало наличие серьезных трудностей у старого господина с чувством юмора.

– Продолжайте, пожалуйста,– попросил его доктор Йонсон.– Наш гость – весь внимание.

– Итак,– заговорил господин фон дер Эее,– седьмого марта сорок четвертого года на шахту «Б» «Виттекинд» прибыло двадцать четыре железнодорожных вагона из Геттингена. Да-да, такой факт имел место. Из документов явствует, что в ящиках, которые были спущены в штольни, была запакована библиотека, коллекции различных факультетов и прочие культурные и научные ценности, принадлежавшие именно Геттингенскому университету. Однако спустя два месяца, 25 мая, сюда подогнан был еще один вагон, двадцать пятый по счету, без каких-либо опознавательных знаков. Есть основания предположить, что этот вагон был из Кенигсберга. Содержимое вагона также было перегружено в штольню – мы обладаем такого рода информацией, однако что это были за ящики, что в них хранилось – данных нет. Повторяю, этот вагон – в отличие от всех остальных – был лишен какой бы то ни было маркировки. Нам известно также, что в декабре 1944 года в штольню были опущены еще несколько больших ящиков из Кенигсберга.

Какие бы то ни было складирования зимою и весною сорок пятого года нам неизвестны. В апреле сюда пришли американцы. А с начала июля мы были отданы англичанам. Люди из Лондона провели частичный вывоз ящиков из шахты, но что именно они увезли – нам неизвестно. Потом они уехали. Но два факта, казалось бы, говорят в пользу гипотезы господина Штайна: первое – нам известно, что дети горняков Фольприхаузена, где расположена «Виттекинд», играли в те месяцы с янтарными пластинами. И второе, множество бывших узников концлагеря Моринген продолжали жить в штольнях – там было тепло и сухо... Когда в Ганновере, в штабе английских оккупационных сил, узнали об этих двух фактах, в Фольприхаузен прибыла комиссия англичан, среди которых был сэр Этткинд. Это было 28 августа 1945 года. Сопровождал англичан господин доктор Катцман. Он вроде бы и сейчас там живет, хотя уже глубокий старик... Англичане спустились с ним вместе в шахту и увидали там множество людей – оборванных, исхудалых, испуганных. При приближении англичан эти люди-тени словно бы растворились в темноте.

– Вы стали говорить, как сказочник Андерсен,– заметил доктор Йонсон.– Бывшие заключенные убежали в другие штольни, так будет точнее.

– Именно,– снова согласился фон дер Эее,– они убежали, но англичане заметили, что источником света для них служили гильзы снарядов, а порох из них они высыпали прямо-таки на пол, рядом со столом, на котором стояли эти самые гильзы с фитилями, заправленными в керосин... Англичане в ужасе бежали из шахты, ничего больше осматривать не стали, только очень внимательно опросили детей, которые играли в янтарные пластинки, и изъяли все, что смогли найти. Инженер Катцман считает, что один из англичан очень хорошо знал расположение штолен; но что примечательно – он особенно интересовался теми подземными складами, где была заложена амуниция, снаряды, оружие вермахта,– на глубине 400, 500 и 700 метров. Однако он отчего-то ни словом не обмолвился о ситуации в штольне на глубине 600 метров, где и хранились культурные сокровища...

– То, что в штольных тогда жили бывшие узники, подтверждено какими-либо документами? – спросил я.

Мои собеседники переглянулись.

Доктор Йонсон ответил:

– Точными документами мы не располагаем... В ту пору мы были оккупационной зоной Великобритании, без каких-либо прав... Но в Фольприхаузене все считали, что внизу жили иностранные рабочие, бывшие узники...

– Может быть, так удобнее считать? – спросил я.

– Что вы имеете в виду? – поинтересовался фон дер Эее.

– Нет, я ничего не имею в виду, просто любопытно: отчего все считали, что внизу жили бывшие узники? А если туда спустились не узники? А бывшие нацисты? Или грабители?

«Надо искать в Лондоне, если, конечно, удастся,– подумал я.– Когда узники «Виттекинд» были отпущены англичанами по домам? Были ли транспорты? Кем организованы?»

– Это действительно любопытно,– согласился доктор Йонсон.– Нельзя отвергать и такое вероятие... Продолжайте, пожалуйста, господин фон дер Эее.

– Так вот, британские офицеры поспешно покинули штольни шахты «Виттекинд», сели на машины и отправились в Ганновер. А назавтра раздался взрыв. В результате этого первого взрыва все лифты шахты «Виттекинд» были выведены из строя; более того, первый взрыв парализовал и электрооборудование...

– Значит, если допустить, что внизу оставались люди, которые не только там жили, но и разбирали сокровища, спрятанные гитлеровцами, то они оказались оторванными от мира? – спросил я.

– Исходя из такого рода допуска,– согласился доктор Йонсон,– ваше предположение вполне логично...

– А дальше начинается загадочное,– продолжил господин фон дер Эее.– Взрывы следовали через равные промежутки времени: начались двадцать девятого; тридцатого – пауза; приехали англичане, и к шахте никого, кроме своих, не пускали; тридцать первого – новая серия взрывов, больших и малых; попытка одного из наших горных инженеров откачать воду встретила сопротивление; еще один день спокойствия, а потом, второго и третьего сентября, новая серия взрывов, но не только в «Виттекинд», но и на шахте «Хильдасглюк», которая соединена с «Виттекинд» подземными коммуникациями; оттуда хлынула вода в штольни. Таким образом, последняя серия взрывов вывела из строя те коммуникации, которые бы позволили подобраться к «Виттекинд» без особо дорогих затрат. Прошел год, и осенью сорок шестого британский офицер Этткинд, отвечавший за «подземную Германию», разрешил двум нашим ученым предпринять попытку откачать воду и спасти из штолен то, что не было эвакуировано вовремя. Согласие Этткинда могло быть вызвано тем, что открылся примечательный факт: оказывается, англичане в первые недели после прихода на «Виттекинд» подняли-таки из штолен два огромных ящика с янтарем. Эти таинственные ящики, судя по документам, были ими вывезены в Гослар и там депонированы в старинном замке Кайзерфальц. Те немцы, которых англичане д о п у с к а л и до себя, расска-

зывают, что в огромном зале этого замка хранились наиболее ценные вещи, собранные оккупантами в зоне. Говорят, что в сорок девятом году, когда начался «роман» с Конрадом Аденауэром, британцы передали университету Геттингена тысячу единиц янтаря из этих двух гигантских ящиков. Однако документы свидетельствуют лишь о том, что два ящика было поднято. А что же стало с остальными? Нам известно, что было опущено несколько гигантских ящиков. Какова судьба других?

– Говорите более определенно,– снова уточнил доктор Йонсон.– Когда англичане в пятьдесят четвертом году решили вернуть нам наши шахты, документов – с 1938 года по 1954 год – они нам не передали: «утеряны, уничтожены, погибли при бомбежках». И все тут...

– Тем не менее,– продолжил фон дер Эее, выдержав паузу,– еще в сорок шестом году наши ученые, господин доктор Ферлинг и господин профессор доктор Франке, предприняли попытку частично откачать воду и спуститься в ту штольню, где хранились культурные ценности. Семь недель добровольцы пробивались туда и наконец пробились. Начали экспедицию. Ящиков с янтарем обнаружено не было. Впрочем, ученые смогли посмотреть далеко не все полки и даже отсеки. Штольня была разделена на отсеки, или, как мы говорим, «штреки». Так вот, в штреках с 1-го по 10-й от воды и размытой породы погибли все ценности. С 11-го по 14-й – примерно шестьдесят процентов, и лишь в штольнях с 15-й по 19-ю погибла небольшая часть культурных ценностей. Но это были предварительные выводы ученых-горняков, они лишь разворачивали работу.

– Эх,– доктор Йонсон досадливо махнул рукой.– Что значит «небольшая часть»?! Двести сорок тысяч томов уникальнейших книг было свезено в штольни «Виттекинд». А подняли сколько? Всего семь тысяч! Как мы просили у англичан разрешения убыстрить работу по подъему и рассортировке, как мы торопили их! Они никого не пустили вниз, ни одного нашего человека...

– Почему?

Йонсон пожал плечами, промолчал.

Фон дер Эее внимательно осмотрел свои аккуратно стриженные плоские ногти, откашлялся, предположил:

– Возможно, англичане были напуганы... Возле Ганновера была очень мощная шахта «Ридель». Рядом с ней, кстати, одно время помещался штаб Этткинда. «Ридель» взорвалась, взрыв был неимоверной силы. Погибло девяносто человек. Это случилось тоже в сорок пятом году... А спустя полтора года была взорвана мощная шахта «Дездемона»...

– Взорвалась? – спросил я.– Или была взорвана?

– Можно считать, что это одно и то же,– сказал фон дер Эее.

– Нет, нельзя,– не согласился я.– «Взорвалась»– это несчастный случай. А если шахта была взорвана, значит, это было кому-то на пользу. Кому? Бывшим гитлеровцам, которые не могли допустить, чтобы ценности попали в руки победителей? Или грабителям, которые заметали следы? А что это были за грабители? Немцы? Оккупанты? Мафия? Почерк традиционен: забрать то, что представляло уникальную ценность, а потом устроить диверсию. Такое возможно?

– Ничего нельзя отрицать категорически в такого рода деле,– ответил доктор Йонсон.– Все допустимо... Что в большей, что в меньшей мере, покажет история.

– Скажите, господа, а можно ли, пробурив породу, взять пробу из штолен, чтобы определить, остался ли под землей янтарь?

– Можно,– ответил фон дер Эее.

– Сколько будет стоить один такой бур?

– Пять-шесть тысяч,– ответил доктор Йонсон.

– Только зачем брать буры, когда комиссия господина профессора доктора Франке дала заключение о том, что янтаря там нет? – удивился фон дер Эее.– К сожалению, работа комиссии была очень краткой...

– А почему?

– Потому что снова хлынула вода из шахты «Хильдасглюк»,– досадливо ответил доктор Йонсон.

– Значит, кто-то помешал комиссии профессора доктора Франке провести доскональные исследования? – спросил я.

Господин фон дер Эее протянул мне старый, расплывшийся от мутных потеков документ.

– Можете приобщить к вашему делу,– сказал он,– это доклад профессора Франке.

– Словом,– заключил доктор Йонсон,– буров надо брать не меньше двадцати – сорока. Это уже двести тысяч марок. Это – деньги. Мы согласны с заключением федерального правительства: выкачать воду из шахты «Виттекинд» и, естественно, с «Хильдасглюк» будет стоить не менее двадцати миллионов марок. Кто в наше время уплатит такие деньги без векселя?

– Что значит в данном конкретном случае «вексель»? – спросил я.

– Это значит, что ваши друзья, господин Штайн или кто-то другой должны представить документы, из которых с неопровержимой ясностью будет следовать: такого-то и такого-то в такой-то штрек шахты «Виттекинд» опущены такие-то и такие-то ящики с

такой-то нумерацией или же без нумерации вообще, прибыли оттуда-то, сопровождаемы тем-то или теми-то; эти ящики до взрыва изъяты не были. Тогда, ясно, мы будем готовы на продолжение делового диалога, господин Семенов.

2

Лицо Штайна как-то враз осунулось; глаза – даже за толстыми стеклами очков – сделались совсем детскими, беззащитными.

– Это ужасно,– сказал он.– Я очень боялся услышать такой ответ, я так боялся этого... Удар нанесен «под ложечку», ибо эвакуацией и хранением такого рода «объекта», как Янтарная комната, занимались особые зондеркоманды. А их деятельность носила столь секретный характер, что даже в архивах толком не просматривается: нужен, видимо, какой-то особый код. А сколько такого рода кодов унес с собою в могилу Арно Шикеданц?! А сколько таких шикеданцев нам не известно до сих пор?! Но меня не оставляет идея, о которой я вам уже говорил: при нашей педантичности даже специальные зондеркоманды СС особого назначения обязаны были ставить в известность бургомистров о предстоящей транспортировке. А как же иначе?! Если не поставить в известность, то местная полиция может начать шум, не зная, что вопрос заранее согласован... Словом, пока вы путешествовали в Нижней Саксонии, я слетал в Западный Берлин и – с помощью графини Дёнхоф – получил возможность поработать в ряде тамошних архивов. Меня интересовало все, что только можно было найти о профессоре докторе Роде. И снова меня мучает вопрос: как, при каких обстоятельствах он умер и отчего накануне того именно дня, когда высказал согласие рассказать в с е, что знал, о Янтарной комнате? Умер? Или был отравлен? Кем? Проводилось ли вскрытие? Где заключение? Если я нашел все документы о Роде в Западном Берлине и они обрываются на 1944 годе, значит, архивы сорок пятого года могут храниться в Калининграде? Значит, там может быть фонд отделов культуры и транспорта Кенигсбергского бургомистрата? А именно в этом фонде надо искать с а н к ц и ю бургомистра на э в а к у а ц и ю Янтарной комнаты. И с этим может быть связано имя профессора Роде. Я готов, если мне предоставят такую возможность, поработать в Калининграде, я помогал отцу в архивах, у меня навык, а ведь в нашу эпоху отработанный н а в ы к работы – один из главных компонентов успеха.

Он замолчал, закурил, жадно затянулся. Лицо его было пепельным, глаза по-прежнему беззащитными, виноватыми, словно

бы это его вина была в том, что доктор Йонсон поставил свои условия: в общем-то, увы, справедливые.

– Самое главное,– сказал я,– продолжать драку.

– Да,– кивнул он.– Это важно. Только...

– Что?

– А... Ладно...

Пришла фрау Штайн, принесла кофе, открыла бутылку «Столичной»:

– Надо выпить за то, чтобы не было хуже! Все остальное приложится! Он вам еще не рассказал о своих находках? Не вешай нос на квинту, Георг! Нельзя! Ну-ка принеси новые документы!

Штайн вышел в свое святая святых – в комнату, где хранятся десятки тысяч микрофильмов из нацистских архивов,– вернулся через пять минут.

– Перед тем как я передам вам эти данные, послушайте, что мне сказали – неофициально... В американском архиве в Александрии хранятся и поныне двенадцать тысяч уникальных картин, принадлежавших ранее НСДАП.

– Что за художники? Из каких музеев?

– Скажи, скажи о главном! – прогрохотала фрау Штайн.– Это же поразительно!

Какой-то проблеск улыбки лег на лицо Штайна.

– Как вы понимаете, подробно я пока ничего не знаю, но я выследил по номерам, что именно в этом форте Александрия в США, в их главном архиве, хранилась чудотворная икона «Тихвинская божья матерь». А до этого она была в замке Кольмберг. И сделал ее опись тот же Адальберт Форедж. А ныне икона хранится в личной опочивальне покойного кардинала США Спэлмана. Я отправил письмо папе в Ватикан, будем ждать ответа. Это я снова к цепи «Кольмберг – Унхавен», то есть, соотнося с днем сегодняшним, «ценности Гитлера и Розенберга – форт Александрия».

Он положил передо мною документы:

– Поглядите. Это то, что мне удалось получить на Унбехавена. Тот ли это Унбехавен, другой ли, брат ли, сват – не мне сейчас судить.

Я пробежал документы: Унбехавен, родился в Кольмберге 20.7.1909 года. СС хауптштурмфюрер. Последнее повышение в должности – 15.1.1945 года. Служил в СД в Праге; жил в отеле «Мэзон» (Masion); там же помещались отдел безопасности и комендатура. Затем был передислоцирован в Моравию в гор. Иглава. N СС – 26234 (один из самых «старых борцов»! – *Ю.С.*); в НСДАП г.Нюрнберга вступил 1 декабря 1930 года. Участвовал в акции «Лидице».

«Акцией» нацисты называли зверский расстрел женщин, стариков и детей в чешском городке Лидице, под Прагой, в отместку за убийство нацистского палача Гейдриха; все дома были снесены с лица земли; жители уничтожены – так «большой идеалист, художник и вождь рейха» был намерен вести «воспитательную работу» с завоеванными.

– Если это тот Унбехавен, он должен быть судим как военный преступник,– сказал я.– Его должны немедленно арестовать.

Штайн пожал плечами:

– Вы думаете, он знает, что его коллег по этому зверству судили?

– Конечно, если это он.

– Значит, он сделал все, чтобы доказать: «Я не тот Унбехавен, а другой».

– А если все-таки тот?

3

– Если тот, – задумчиво сказал Энтони Тэрри и сделал маленький глоток кофе,– тогда...

Откинувшись на спинку кресла – легонького, плетеного, беззаботно-дачного, – Тэрри принялся сосредоточенно наблюдать, как парижские машины неслись со страшной, сине-дымной скоростью, принимая старт у светофора, словно спринтеры, хотя и дураку было ясно, что следующий светофор вот-вот замигает красным светом, так что можно бы и не торопиться... Все верно, да здравствует индивидуальность и личность, только нигде так не развито темное стадное чувство, как на дорогах западных стран; и еще, пожалуй, в здешних очередях – к лифту ли, автобусу или кассе; не жди пощады, оттолкнут, затопчут, да здравствует тот, кто силен и быстр, остальные обречены на отталкивание. Вот уж воистину чьими нормами поведения руководствовался Петр Аркадьевич Столыпин, когда заявлял в Думе: «Мы станем писать законы для сильных, но не для слабых...»

...Тэрри тщательно замял окурок в пепельнице, рекламирующей коньяк «Камю», приблизил ко мне свое худое, загорелое лицо с пронзительными голубыми глазами и продолжал:

– Тогда пускайте дело об Унбехавене, Кольмберге и «Тихвинской божьей матери» по законным каналам. Только я вам хочу рассказать одну новеллу, не возражаете?

– Не возражаю, более того, приветствую!

– Итак, некий британский журналист решил включиться в поиск произведений русского искусства, похищенных нацистами из

музеев и церквей. Конечно же он занимался этим делом, соблюдая все нормы права, выверяя каждый шаг у юристов. И вот после долгих дней работы в архивах этот британский репортер обнаружил ц е п ь. Исследуя эту цепь, он прикатил в Мюнхен, самый, конечно же, демократический город, где власти полны решимости, как вы понимаете, выкорчевать все последствия второй мировой войны, покарать затаившихся гитлеровцев и вернуть всем законным владельцам похищенное. Как это ни странно, поиски привели британского журналиста не в очередной архив, где хранятся старые бумаги и работают милые пожилые люди, а во вполне респектабельное учреждение, полное деловой, современной модерновой м о щ и,— финансовую дирекцию городского совета Мюнхена. О, вы даже не можете себе представить, как сильна эта организация, сколько у нее могущественных покровителей! Ведь все тузы бизнеса, в том числе и военно-промышленного, наносят визит тамошним дядям и тетям, которые обязаны следить за налогоотчислениями с их прибылей. Значит, коррумпированность не может не иметь места в этой организации, а коррупция — это незаконное дружество, которое значительно сильнее дружества законного, ибо в подоплеке его — законы мафии. Итак, наивный британский журналист, убежденный в незыблемости норм демократии и денацификации, прикатил в Мюнхен и заявился к одной из начальниц финансового ведомства могучего города баварской столицы... Еще кофе?

— С радостью.

Он усмехнулся:

— А я весь — злость... Заново переживаю ощущения... этого бедного британского журналиста... Итак, дама, отвечавшая за финансовые дела Мюнхена, выслушала британца и ответила ему, что «да, действительно какие-то русские культурные ценности были в замке Кольмберг близ Ансбаха в Баварии после окончания войны, но все они давно возвращены русским». Англичанин, однако, попросил документы. Дама ответила, что сейчас не может показать эти документы, с чем англичанин и уехал. Он, естественно, не мог не заметить «финансовой богине», что считает ее отказ несколько странным, в некотором роде недружественным и даже бестактным. Назавтра, пока еще журналист ехал по дороге в свое бюро, эта финансовая дама отправила — на хорошем английском языке — письмо в его главную редакцию в Лондон, в котором обращалась не к нему, репортеру, а к главному редактору и директору газеты, рассказывая о визите британца, о его о с о б о м, несколько странном интересе к русским культурным ценностям. Более того, финансовая дама сообщила, что ей удалось обнаружить документы, свидетельствующие о факте передачи ценностей русским в первые послевоенные годы. Когда

письмо дамы было передано репортеру, он позвонил в Мюнхен и наивно попросил переслать ему копии этих документов. Конечно же он получил отказ. Но демократическая система позволяет обжаловать решения городов и земель в министерстве республики! Что и сделал наш наивный репортер. И получил ответ из Бонна, примечательный ответ, в котором говорилось, в частности, что вопрос о культурных ценностях из Советского Союза касается только ФРГ и СССР и ни один представитель другой страны не может быть допущён к исследованию этих документов. Господин из Бонна также сообщил незадачливому репортеру, что он не видит никаких поводов для совместной работы англичанина с финансовой дамой из Мюнхена во благо поиска справедливости и честности. Ответ дамы из Мюнхена, считал ее большой босс в Бонне, абсолютно исчерпывающ и никаких других ответов быть дано не может...

Тэрри снова закурил, долго молчал, потом закончил:

– Словом, дама лгала. В Мюнхене нет сколько-нибудь серьезных документов о передаче русским похищенных культурных ценностей. Зато там до сих пор есть полные описи похищенного, подписанные, в частности, Адальбертом Фореджем, племянничком из розенберговского штаба...

– Он умер...

Тэрри усмешливо покачал головой, достал записную книжку, посмотрел ее, спросил:

– По какому телефону вы звонили?

Я пролистал свою, назвал номер.

– Это в Эрлангене? – уточнил Тэрри.

– Да.

– Когда вы звонили?

– Полгода назад, что-то в этом роде, я ведь не веду дневника звонков.

– Значит, не умрете от мании величия... Я имею в виду другое: когда это было – по с и т у а ц и и? Штайн, его имя было тогда на п л а в у? Версия Янтарной комнаты все еще муссировалась на страницах западногерманской печати?

– Да.

– Позвоните сейчас, страсти ведь улеглись. Попробуйте.

4

– Слушаю.

– Могу я говорить с профессором доктором Адальбертом Фореджем?

– Форедж слушает.

– Моя фамилия Семенов, я советский журналист...

Я услыхал, как в трубке что-то крякнуло, словно бы по мокрому дереву ударили тяжелым колуном. И вдруг голос моего собеседника стал совершенно иным, жалобным, дребезжащим, с т а р ч е с к и м:

– Что вам всем от меня надо?! Я немощный, старый человек, у меня совершенно нет сил...

– Но у вас хватит сил ответить всего лишь на несколько моих вопросов?

– Пришлите их в письменном виде, я сначала почитаю...

– А предварительно не можете ответить?

– Нет, не могу. Все было слишком давно, зачем ворошить прошлое?! Это безжалостно! Откуда в вас такая варварская жестокость, страсть к копанию в горе?!

– Это в нас-то «варварская жестокость»?!

– А в ком же еще?! – Голос обрел было силу, но потом Форедж снова начал играть больного старца.– Пожалуйста, оставьте меня в покое, можете написать письмо, я постараюсь ответить, если мне врачи разрешат...

5

«Дорогой господин Семенов!

Хочу поделиться следующими соображениями:

1. Согласно сообщению профессора Виктора Барсова, доктор Альфред Роде умер в Кенигсберге в конце августа 1945 года.

2. Поскольку среди историков и журналистов имеет хождение телеграмма некоего «Отто Рингля», являвшегося человеком СС, о передислокации Янтарной комнаты из Кенигсберга еще во время войны, то можно допустить его подпольную работу в Кенигсберге уже после войны.

3. Ходят слухи, что человек, носивший имя «Отто Рингль» из Кенигсберга, передислоцировался в Гера, что в Тюрингии; оттуда до Услара и Геттингена не так уж далеко.

4. Поскольку «Виттекинд» была взорвана примерно в то же время, когда погиб доктор Роде, то нельзя ли д о п у с т и т ь, что и в первом, и во втором случае определенную роль сыграл «Отто Рингль»?

С дружеским приветом

Ваш Георг Штайн».

Смотреть надо в с е и в с ю д у; ни одна из версий не имеет права быть отвергнутой без достаточной проверки.

Конечно, главную помощь могли бы оказать люди, знавшие Роде, его соседи, родные, дети...

Снова сажусь за анкету Роде. читаю с карандашом:

Доктор Роде, Альфред Франц Фердинанд, фамилии или имени не менял; проживает в Кенигсберге, Беекштрассе, 1; домашний телефон 3.28.66; родился в Гамбурге 24.1.1892 года; по национальности немец, вероисповедание евангелически-лютеранское; женат с 10.9.1921; бракосочетание состоялось в Гамбурге; фамилия и имя отца – Франц Роде, матери – Мария Роде; фамилия и имя жены – Ильзе Флинтч, рождена в Гамбурге 20.5.1896 года, по национальности немка, евангелически-лютеранского вероисповедания, дети Лотти и Фольфганг; специальность – историк искусств; под опекой не состоит; в ныне запрещенных организациях типа «пацифисты», «лига граждан», «масоны», «сторонники мира», «красная помощь» не состоит и не состоял; членом НСДАП не являлся; поэтому и не состоит в местной партийной организации НСДАП; принимал участие в борьбе за немецкий рейх; родственников, погибших на поле брани мировой войны, не имел; никогда ранее не был членом ассоциации писателей; не является и ныне членом «рейхсобъединения культуры»; литературную работу начал в 1912 году; первая статья была напечатана в газете «Гамбургские новости»; заглавие первой статьи звучало следующим образом: «Нидерландские художники в Гамбурге»; до 15 декабря 1933 года (то есть до прихода Гитлера к власти.– *Ю.С.*) работал в кенигсбергских газетах внештатно; были опубликованы книги; заголовки звучат так: «Большой янтарь – немецкое искусство», издана в 1937 году, в Берлине; издавались ли брошюры? Да, издавалась брошюра «Книга янтаря», кенигсбергское издательство «Ост Ойропа»; в какой области вы полагаете свою главную работу, доктор Роде? В области знания.

А затем предупреждение, что за дачу ложных сведений, касающихся ответов на все вопросы этой четырехстраничной анкеты, следует строгое наказание, предусмотренное законами великого рейха, живущего по нацистским законам.

Ну и что, кроме этого анкетного ужаса ты получил? – спросил я себя. Что, кроме возвращения к книгам, посвященным борьбе против безнравственного, трусливого, но именно поэтому кровавого террора адептов «крови и почвы»?!

А дети? Лотти и Вольфганг? Где они? Неужели ты думаешь, что Штайн не связался бы с ними, еще как связался бы; или он,

или Пауль Колер не могли не отработать эту версию. Значит, и детей нет в живых? То есть с уверенностью можно сказать, что нет в живых сына, дочь вышла замуж, поди ищи ее теперь... А почему не допустить мысль, что сын, зная о прикосновении отца к тайне, не сменил фамилию? Времена гитлеризма кончились, в анкете никто не требует объяснить, отчего, с какой целью взял иное имя; если ты преступник, то можешь хоть сто раз менять фамилию – все равно найдут, а так – нет, это здесь невозможно установить, допусти я такое вероятие...

Однако со Штайном я связался; Георг обещал подумать.

...А через час ко мне позвонил человек, назвал свою фамилию, русскую фамилию, и попросил разрешения приехать по «крайне важному делу».

Он был седой, элегантно одетый, заутюженно-накрахмаленный. Борис Ильич Уманский. Рассказал свою историю: уехал из Москвы в Израиль, там устроился в газету, был изгнан, получил из Москвы бумаги, которые позволили ему утверждать, что его отец на самом деле немец; власти ФРГ предоставили гражданство; «каким великим счастьем был для меня отъезд из Хайфы, вы не можете себе представить! В Вене я занялся делами моей молодой жены, русской женщины, приехавшей со мною из Красноярска в Москву. И я смог вызвать ее на Запад! А потом вызвал сына, звукооператора,– рассказывал он мне.– Ни молодая жена, ни сын одного дня не работали, вертелся один я. А потом я узнал, что между ними началась близость! Представляете?! Сын и жена! Словом, жизнь кончена, сломана, изгажена. Но уходить просто так считаю недостойным. Я работал одно время в суде, узнал много такого, что представляет интерес для поиска, я выписываю советскую прессу, слежу за тем, как трепетно относятся к культурному наследию...»

Он передал мне несколько листков бумаги.

– Прочитайте. Это только начало. К сожалению, грабеж культурных ценностей продолжается. Я готов передать вам все материалы об этом, какие только попадут мне в руки.

Дело любопытное. Уманский утверждает, что некий Лакшин (Стыллер), выехавший из Москвы, занимается торговлей уникальными русскими культурными ценностями; сумма сделок исчисляется сотнями тысяч марок!

По версии Лакшина, он якобы получил эти ценности от своей покойной тещи, проживавшей до недавнего времени в Ялте, а ныне там и похороненной.

Лакшина (Стыллера), по словам Уманского, посадили, но не за торговлю краденным, а за «уклонение от уплаты налогов».

Прощаясь, Уманский сказал, что, по его мнению, новости о деле Лакшина (Стыллера) могут быть преданы гласности в течение ближайших месяцев.

Что ж, подождем.

Интересно бы, конечно, познакомиться с делом уже сейчас, нет ли там следов в прошлое?

6

...Иногда начинаю чувствовать, что вот-вот начну «плавать» в материале; каждое письмо надо проанализировать, заложить в картотеку, просмотреть его возможные связи с другими документами, выписать на табличку краткое содержание...

Действительно, сегодня пришли письма от друзей-историков из Варшавы, из которых явствует, что в Дзиково, на территории Польши, в бывшем поместье Вильденхоф графа фон Шверина, проходили поисковые работы. Возглавлял поиск профессор Здислав Раевский.

Основанием для этого, судя по письмам моих корреспондентов, послужили некие «заметки профессора доктора Роде, возглавлявшего Прусский музей в Кенигсберге; он же отвечал и за похищенную Янтарную комнату». (Где эти заметки? Их надобно заново проанализировать!) Была также исследована информация, полученная от некоего работника Киевского музея, который оказался в Восточной Пруссии, в замке Вильденхоф, где хранились похищенные русские картины и иконы. В какой мере можно верить его показаниям?

Доктор Роде обратился к городским властям в середине сорок второго года с запиской, из которой явствовало, что его музей забит сверх меры вывезенными из Советского Союза культурными ценностями; профессор н а м е к а л, что хорошо бы найти новое место для хранения краденого. Однако последовал категорический окрик фельдмаршала Кюхлера: «Найти место для ящиков с трофеями!» И Роде («во всем должен быть порядок!») не посмел ослушаться приказа. Нашел место. Именно тогда, как считают мои корреспонденты, и прибыла в его ведение Янтарная комната. Именно тогда он и прикинул точную цену уникального сокровища: 30 миллионов золотых рублей.

Именно тогда этот нацистский фельдмаршал Кюхлер распространил среди своих солдат приказ: «Основной целью похода против большевистской системы является полный разгром государственной мощи и искоренение азиатского влияния на европейскую культуру.

К борьбе с врагом за линией фронта все еще относятся недостаточно серьезно. Коварных, жестоких партизан и выродков-женщин все еще берут в плен; к одетым лишь наполовину в военную форму или гражданскую форму отдельным стрелкам из засад все еще относятся как к настоящим солдатам и отправляют их в лагеря для военнопленных. Снабжение питанием местных жителей и военнопленных является ненужной гуманностью.

Все, в чем отечество отказывает себе и что руководство с большими трудностями посылает на фронт, солдат не должен раздавать врагу. Войска заинтересованы в ликвидации пожаров только тех зданий, которые должны быть использованы для стоянок воинских частей. Все остальное, являющееся символом бывшего господства большевиков, в том числе и здания, должно быть уничтожено. Никакие исторические или художественные ценности на Востоке не имеют значения.

Не вдаваясь в политические соображения на будущее, солдат должен выполнить двоякую задачу:

1. Полное уничтожение большевистской ереси, Советского государства и его вооруженных сил.

2. Беспощадное искоренение вражеской хитрости и жестокости и тем самым обеспечение безопасности жизни военнослужащих германской армии в России.

Только таким путем мы сможем навсегда выполнить свою историческую миссию по освобождению германского народа от азиатско-европейской опасности».

Каков слог, а?!

«Престиж германского солдата», «Вермахт никогда не был вместе с Гитлером!», «Немецкий солдат ничего не похищал!»

Еще как похищал!

...Моими корреспондентами – честными немцами из ФРГ – приводится свидетельство, что в январе 1945 года Янтарная комната была упакована в 20-30 ящиков для отправки в Саксонию – таково было указание свыше.

Отправлена ли? Вот в чем вопрос...

ГЛАВА,
в которой рассказывается о хороших людях

Поскольку Штелле, где живет Штайн, находится совсем неподалеку от «вольного города Гамбурга», я решил сначала отправиться туда – повстречаться еще раз с людьми из полиции, которые занимаются борьбой с наркотиками, встретиться с человеком, ко-

торый в гитлеровские времена сидел в лагере возле Бернтероде (через этот город пролегал трагический путь наших культурных ценностей), а потом навестить одного в высшей мере интересного ветерана.

Вообще, Гамбург – очень красивый город, пожалуй, один из самых красивых в ФРГ. В отеле вам дадут проспект – что следует обязательно посмотреть, если вы здесь впервые: и музеи, и озера, и порт, и ночной Репеербан – сотни баров, тысячи проституток, бешенство реклам. Но ни в одном справочнике среди памятных мест, рекомендованных для туристов, вы не найдете Музей Эрнста Тельмана. Но память людская – категория совершенно особая, хранят ее люди, а не официальные справочники.

...Сижу в квартире одного из создателей Музея Тельмана.

Высокий, крепкого, рабочего кроя мужчина рассказывает:

– Поскольку мы с севера, фамилия моя звучит Фридрихс. Альберт Фридрихс. «С» на конце означает «сын Фридриха». Отца я помню слабо, его угнали на войну, когда мне было десять лет; он пришел домой попрощаться – в каске, с винтовкой и ранцем; повторял все время: «Преступники!» О ком он так говорил, старый социал-демократ, организатор рабочих в нашем районе, о кайзере ли, о своих коллегах по партии, проголосовавших за кредиты на войну, я, понятно, так и не узнал: в 1915 году пришла похоронка, погиб под Ковно. Мать хотела убить нас – двух братьев и двух сестер – и покончить с собою: лучше смерть сразу, чем медленное умирание от голода и холода. Мы повисли у нее на руках, закричали; нас услыхали соседи, прибежали, кое-как успокоили мать, но с той поры разум ее помутился...

В школе меня стали расспрашивать об отце. Я отмалчивался – горько говорить о больном. Потом начали докучать соболезнованиями: «Отец погиб за кайзера». А я ответил: «Его убил кайзер». Это не мои слова; я повторил взрослых, так многие тогда говорили. Директор школы вызвал полицию. Начался допрос: «Кто это сказал тебе, дрянь?!» Допросили соседей по дому – люди молчали. Следствие «по государственному преступлению, выразившемуся в оскорблении царствующей фамилии», кончилось безрезультатно. Тогда директор собрал в зал всех школьников и у них на глазах избил меня палкой. Я кричал: «Почему?!» Мне кажется, это «почему» и сделало меня марксистом, честное слово. С тех пор я всегда спрашивал себя: «Почему так, а не иначе? В чем правда? Где ложь?»

...Когда в России произошла Февральская революция, у нас начались дискуссии и собрания, несмотря на запреты властей.

После победы нашей революции в 1918 году мы создали группу рабочей молодежи. Программа: поддержка Советской России, борьба с правыми в Германии. Возник конфликт с руководителями социал-демократии в Гамбурге; мы отошли от партии, назвали себя «военно-социалистической молодежью», придумали форму: сандалии на босу ногу – круглый год; короткие штаны; никаких галстуков; рубашка с отложным воротничком «шиллеркраген»– такую носил Фридрих Шиллер, в его честь и назвали, потом такая рубашка стала известна как «тельмановка»... Мы приняли обет не пить пиво, не курить, изучали Ницше и Дарвина, шли в революцию без руля и без ветрил, но тяготели к «независимой социал-демократической партии», в которой в Гамбурге состоял Эрнст Тельман.

Однажды мы решили пригласить старшего товарища, чтоб он прочел нам реферат. Собрались в маленьком ресторанчике на Теренбекштрассе; владелец был членом организации, потому и разрешил; расселись за столом – длинноволосые, без галстуков, в сандалиях, заказали лимонад, ждем лектора. И вдруг входит Тельман! Мы были в полном восторге – еще бы, сам председатель пришел к нам! Но почему именно он?

– Я живу рядом,– объяснил Тельман,– Зименсштрассе, четыре, хочу познакомиться с молодыми соседями.

Он осмотрел нас, пересчитал пальцем – двадцать человек было в нашем «союзе».

Никакого реферата он читать не стал – мы спрашивали, он отвечал. Этот вечер и определил мою дальнейшую судьбу.

Был я тогда безработным, а Роза, жена Тельмана, ждала ребенка, надо было помочь женщине, потому что Эрнст почти не появлялся дома, а жизнь была трудной. Тельман пригласил меня к себе, и до пасхи 1920 года я жил у них, помогал Розе, а потом, когда малышка подросла, ушел на заработки в Бад-Зегеберг, учеником пекаря, надо было кормить брата и сестер – голодали. Работал с четырех утра до семи вечера, пек хлеб, пахал, доил коров. За малейшую провинность били смертным боем. Денег практически не платили: когда уезжал в гости домой, хозяин давал буханку хлеба – это все. Был в городке «рабочий хоровой кружок». Там я познакомился с другими подмастерьями: картина одна и та же – жизнь впроголодь, работа от зари до зари, даже на спевки приходилось удирать тайно, через окно: с наступлением темноты двери запирались. Мы начали подумывать о создании ячейки коммунистической молодежи, чтобы вести совместную борьбу,– по одиночке ничего не добьешься. Однажды я вернулся со спевки, влез в окно, начал красться в свою холодную конуру, а тут выскочил

хозяин: он караулил меня. Здоровенный как бык, он начал дубасить меня кулаками. Я в отчаянии схватил полено и ударил его что было силы. Выскочил хозяйский сын. Я заорал: «Уйди, убью!» Он убежал. И тогда я вывел для себя закон: сильные боятся силы; с той поры я мог ходить на наши собрания беспрепятственно. Но я один отвоевал себе это право — и то силой. Здоровый был, еще отец начал водить меня на занятия в «рабочий спортивный клуб». А другие ученики по-прежнему продолжали терпеть голод, издевательства, побои. И я решил устроить манифестацию в поддержку моих товарищей. В феврале 1921 года несколько сот членов Коммунистического союза молодежи из Киля и Любека пришли в наш городок, мы собрались на площади и зачитали список наиболее злобных хозяев: «или прекратите издевательства, или получите по заслугам». Хозяева пообещали «исправиться», а когда мои товарищи разъехались по своим городам, меня арестовали: «возмутитель общественного спокойствия». Был суд. Приговор: «четыре тысячи марок или месяц тюрьмы». Денег у меня не было, посадили за решетку, вот там-то я и стал членом коммунистической партии, а было это весной двадцать первого года.

...Потом, после освобождения, я работал в Гамбурге, занимался вопросами безопасности компартии, основания к этому были: молодчики из «стального шлема», объединившиеся с гитлеровцами, пытались убить Тельмана, бросили гранаты в окна его квартиры.

Во время легендарного гамбургского восстания я получил задание: разоружить полицейских в районах Локштедт и Эппендорф. В Локштедте мы пошли к начальнику полиции, у него были ключи от арсенала. Он — в нижнем белье, как привидение,— обрушился на колени, стал плакать: «Только не убивайте!» Мы рассмеялись: толстый, пожилой человек, а так «потерял лицо». Его жена захлопнула дверь, заперлась изнутри на ключ, тут уж с ним и вовсе истерика началась. Мы взяли в арсенале две винтовки — без патронов. А когда пошли в Эппендорф, там нас встретили свинцом. Стрельба шла по всему городу: против трехсот слабо вооруженных рабочих стянули шесть тысяч человек — полиция, рейхсвер, флот. Тельман был в моем районе, на улице Хохштетервег. Я вывел его в район Бармбек, там был штаб восстания. Он сказал: «Организуй молодежь района на демонстрацию, чтобы оттянуть хотя бы часть полицейских сил».

Мы это сделали с Харри Науюксом, он тогда отвечал за молодежные организации в партии. Сейчас товарищ Науюкс — член Международного комитета узников Заксенхаузена, гитлеровцы держали его за колючей проволокой одиннадцать лет, старейший

коммунист ФРГ... Но ничто уже не могло помочь исходу борьбы, много наших погибло, другие были арестованы.

От Тельмана пришло задание: устроить похороны товарищей... Меня и моего младшего брата полиция схватила ранним утром, когда мы клеили воззвания: «Проводить в последний путь братьев по классу». В участке брату выламывали пальцы: «Скажи, что делал Альберт во время восстания!» Потом были суд, тюрьма и страшный январский день 1924 года, тогда наши палачи ликующе прочитали нам сообщение о смерти Ленина.

— России теперь капут! Вам — тоже! Сгниете в камерах! Лучше рвите с коммунизмом!

Когда я освободился из тюрьмы, пошел грузчиком в порт; партия поручила мне работу по созданию новой организации «Рот фронт». Я был участником учредительного собрания, потом работал в отделе пропаганды, состоял в группе охраны Тельмана: он был против, шутил над нами, но мы ведь не ему подчинялись, а решению ЦК, партийной дисциплине, и мы очень хорошо знали, какому риску он подвергает себя ежедневно,— фашизм набирал силу...

В 1929 году я получил особое задание ЦК: «выйти» из рядов партии, публично заявив, что решил порвать с коммунизмом. Это было трудное и горькое задание, но я выполнил его. А нужно это было, чтобы надежно охранять Тельмана; полиция «ренегатами» не интересовалась, я поэтому мог ходить по городу, не опасаясь слежки, в кармане у меня был пистолет, и я всегда видел спину Тельмана и всех, кто шел ему навстречу. Было и второе задание: создать нелегальные ячейки на флоте, в полиции и армии в районе Вассерканте, то есть на всем северном побережье. Связь я тогда поддерживал только с одним человеком — депутатом рейхстага от Гамбурга, членом ЦК Фрицем Люксом. (Товарищ Люкс был замучен гитлеровцами в конце 1933 года.— *Ю.С.*)

Это был трудный период в моей жизни: друзья отвернулись, я оказался совсем один, слова никому не скажешь — конспирация, а ведь так хотелось поделиться радостью, ибо я смог организовать ячейки на флоте, в армии и в полиции — мы готовились к противостоянию гитлеровцам — те рвались к власти. Товарищ Люкс передал мне «связь» в полиции Гамбурга — начальника специального телефонного узла Келлера. Удалось наладить выпуск газеты для полицейских: чисто профессиональное издание, но наполнено оно было нашей, коммунистической пропагандой. Келлер правил материалы. А потом его арестовали, просидел он три месяца вместе со своим помощником, вышел, сказал, что его старались перевербовать. Я насторожился, отправился на встречу к Фрицу Люксу. Тот, однако, сказал: «Продолжай работу». Что ж, надо было про-

должать. Так было до конца 1931 года, и вдруг пришло неожиданное указание из Берлина: «Заново проанализируй всю историю с арестом Келлера и его помощника». Я занялся этой работой, но проводить ее было трудно по целому ряду причин, одна из которых для подпольщика весьма существенна. Дело в том, что я все еще был без работы, получал пособие девять марок в неделю и ЦК мне добавлял пять марок. На эти деньги можно было не умереть с голода, но купить костюм – невозможно. Штаны мои были в заплатах, форменный оборванец, а на это обращают внимание; в ресторан, где удобнее всего назначить встречи, не войдешь, выгонят. Поэтому беседу с Келлером и его помощником пришлось провести у меня в комнате. Только потом я понял, отчего помощник Келлера затягивал беседу, давал массу ненужных подробностей – тянул время. Ушли они от меня за полночь, запись беседы я, таким образом не смог спрятать туда, где обычно хранил свои документы, а в пять утра пришла секретная полиция. Сначала нас посадили троих в одну камеру: Келлера, его помощника и меня. Когда помощник Келлера вышел в туалет, Келлер шепнул: «Он нас предал». Я передал весточку на волю, Фрицу Люксу: если Келлер сможет вырваться, позаботьтесь о нем, он не виновен. Следствие тянулось три года, оттого что я не давал показаний, молчал. В камере узнал о приходе нацистов к власти. В начале тридцать третьего года получил в тюрьме – неслыханное дело – открытку из Москвы. Подпись неразборчива, а почерк известен прекрасно – Келлер. Я понял, что он спасен, и сразу же начал давать показания. 5 апреля 1933 года в Лейпциге, в том же здании, где судили Димитрова, состоялся процесс. Обвинение – «измена родине». Я получил три года тюрьмы и три года лишения всех прав, хотя прокурор требовал десяти лет каторги. Меня спасло тогда лишь то, что гитлеровцы еще не успели прибрать к рукам весь судебный аппарат. Отвезли меня в бременскую тюрьму, а там уже был «новый порядок»: камеры без дневного света, бритые головы, прогулка в одиночном порядке – двадцать минут в день, никаких книг, тетрадей, никакой работы; ночные визиты эсэсовцев, побои, издевательства. Тот, кто не умел м е ч т а т ь,– погиб, многие покончили с собой, многие сошли с ума. Я выдержал потому лишь, что верил: за мной партия, Коминтерн, Советский Союз.

Я вообще-то везунчик, надо заметить... Мой срок вышел в воскресенье, и в администрации тюрьмы забыли, что меня по закону следовало вернуть в гамбургскую полицию для формального освобождения. Ясно, там бы меня сразу передали в гестапо, а это – конец. Словом, в воскресенье я вышел из ворот бременской тюрьмы, приехал в Гамбург, пришел к Хельме – моей подруге...

...Товарищ Альберт обернулся к маленькой женщине в очках, улыбнулся ей какой-то особой, нежной улыбкой, лицо его изменилось на мгновенье, потом стало прежним, собранным, изрезанным морщинами. В Музее Тельмана партийный билет товарища Хельмы хранится под стеклом – она ни на один день не прекращала борьбы с фашизмом, ни на один день не «освободила» себя от членства в партии немецких коммунистов.

– Жениться мы не могли, лишение гражданских прав не давало мне этой возможности,– продолжал свой рассказ товарищ Альберт.– Пошел на биржу. Там посмотрели мою справку: «Поезжай на подземные работы, землекопом, может, возьмут, там дефицит в рабочей силе».

Уехал в Ульфесбюль, устроился на дамбу, жил в бараке, где вместе с нами, «лишенцами», фашисты поселили своих агентов, людей из СА и СС. Оттуда уехал в Мекленбург, на мелиоративные работы, потом тайно вернулся в Гамбург, и тогда-то ко мне пришел связной из Праги, сын члена гамбургского парламента, коммуниста Альфреда Леви. Он и связал меня с нашим центром в Праге: сначала на вымышленное имя приходили письма, потом стал приезжать «чешский торговец»; я устраивал ему встречи с Розой Тельман – в парке, вдали от посторонних глаз. От него я получил задание нелегально перейти границу и прибыть в Прагу. Там узнал о решении воссоздать организацию «Роте хильфе» – «Красная помощь». Нацисты разгромили ее в первый же год своего владычества. А надо было сделать так, чтобы товарищи, томившиеся в фашистских застенках, почувствовали локоть друзей, заботу партии. Я немедленно вернулся в рейх – через «зеленую границу» в Баварии, возле города Хоф; в брюках у меня была зашита купюра в тысячу марок. Приехал в Гамбург, восстановил кое-какие контакты, хотя было трудно – люди боялись гестапо. Была и другая сложность: часть товарищей, к которым я обращался, не верили мне – они же помнили, что я «вышел» из партии. Но объяснить им истинные причины этого моего шага я, понятно, не мог. А потом возникла самая большая трудность: я впервые в жизни увидал тысячемарочную купюру, что с ней делать, как разменять? Каждая купюра такого рода зарегистрирована в банке, огромные по тем временам деньги. Как же р а з б и т ь ее? Попросил – через д о л г и е контакты – одного владельца бензозаправочной станции пойти в банк. Он вернулся в панике: «Мне показалось, что они меня заподозрили, я убежал». Правда, купюру успел захватить, но от этого нам не стало легче – надо помогать узникам, а помогать нечем, хотя в моем распоряжении эта самая проклятая бесполезная купюра. Помогла Хельма: она работала на

слюдяном заводе, знала шофера, который ездил в банк за зарплатой, его-то она и попросила разменять. Он согласился. Но когда вернулся, сказал: «Знаешь, а купюра-то фальшивая! Что делать?»

Хельма решила, что это провал, но подводить ни в чем не замешанного человека не могла, не тот характер, ответила: «Не погибать же тебе из-за меня... Скажи им, что эти деньги дала тебе я». Шофер тогда рассмеялся и протянул ей кошелек с разменянными деньгами: оказывается, он пошутил... Жестокость шутки – совершенно определенная черта характера, сразу высвечивает человека, перечеркивает все то хорошее, что он сделал, разве нет?

...Мы начали работу, организовали помощь товарищам, но с Прагой связь прервалась, не поступало никаких указаний. Видимо, в Праге не знали о моем «особом задании»; Тельман, который знал об этом деле все, был в тюрьме, а Фриц Люкс погиб. Конечно, очень обидно, но ведь не на партию же обижаться?! Надо было выполнять свой долг – продолжать борьбу. Мы создали подпольную группу. Руководителем был морской капитан Карл Ендров, я подружился с ним в Мекленбурге, на осушении болот. Его, как и меня, лишили гражданских прав, по своей профессии работать не мог, но связи с моряками у него остались, и он наладил контакт с двумя американскими коммунистами, которые работали на судне «Рузвельт», совершавшем ежемесячный рейс в Гамбург. Мы готовили анализ ситуации в рейхе, передавали американским товарищам, те отправляли наше письмо из Гавра в Москву, и через две недели мы слушали свои же передачи по Московскому радио.

И вдруг меня вызвали во Дворец юстиции. Если бы о нашей деятельности узнали, в суд вызывать не стали бы – гестапо работало «без вызовов». Поэтому я решил пойти туда. Секретарь суда, бывший социал-демократ, шепнул мне: «Немедленно скрывайтесь, вернулся Келлер, сказал, что вы были истинным руководителем всей коммунистической работы среди полиции, назначена очная ставка, с часу на час вас возьмет гестапо».

Я сразу же ушел из дому; собралась наша партгруппа, обсудили положение, и было принято решение: переходить границу в Бельгию, а оттуда пробираться в Испанию, чтобы воевать против фашистов в рядах немецких коммунистов. Мы написали воззвание к товарищам: «Помогайте республиканцам!» Это была моя последняя партийная работа в Гамбурге: в полночь 31 декабря 1936 года я пришел в Антверпен, на квартиру, где меня ждали друзья. Потом уехал в Брюссель, в центр нашей эмиграции. Секретарь партии по кадрам попросил написать биографию. Я написал. Началась проверка – опять-таки всплыл «выход» из партии, у меня

нет секретов от товарищей, я изложил все. Проверка длилась год. Я получал пособие по безработице: 50 пфеннигов в день. С трудом хватало на хлеб. Выручила страсть, развившаяся в тюрьме еще в тридцать первом году,– рисование. Я начал подрабатывать как оформитель. Занятно: если у нас, у немцев, прежде всего требуют «документ на профессию», то в Бельгии бумага мало что значит, там смотрят, умеешь ли. Я умел. За год я скопил денег, пришел в наш эмигрантский центр и сказал: «Либо вы меня признаете политическим эмигрантом и дадите партийную работу, без которой я не у м е ю жить, либо я на свои деньги буду пробираться в Испанию». Меня наконец признали политическим эмигрантом, поручили пропаганду среди шахтеров в Буринаже. Задание: собрать деньги для нелегальной борьбы в рейхе. Работал я под псевдонимами Жирар и Террет, как член Бельгийской компартии. В 1938 году, когда оппозиция разрушила в Антверпене филиал «Красной помощи», меня переправили туда: срочно воссоздать организацию. Легально я работал столяром – строил лодки, наладил работу театра для эмигрантов, подружился с Эрнстом Бушем, ставил Брехта, декламировал Гейне; «Красную помощь» удалось воссоздать. Когда фашисты напали на Бельгию, нас отправили во Францию, в лагерь «Гольф де Лион». Были мы там не одни, а вместе с испанскими республиканцами, итальянскими коммунистами, немцами из батальона Тельмана. Вызывал барон Эннеси, хозяин коньячной фирмы: «Я представляю секретную службу Виши, если согласишься служить нам – выпустим». Я отказался. Тогда он, двухметровый верзила, схватил меня за воротник, начал душить... Всякое бывало... А потом – транспорт в Германию. И снова я в Гамбурге, в тюрьме Фульцбутель. Год в одиночке, каждый день допросы: «Ты – французский и бельгийский шпион, коммунист и изменник родины!» Пытал меня гестаповец Тэге.

(В 1947 году товарищ Альберт встретил его в трамвае в Гамбурге, д о в е л до дома, заявил в полицию. Его спросили: «Он кого-нибудь убил при вас?» – «Нет, но он меня пытал».– «Ну, это еще надо доказать». Так Тэге и остался на свободе, этот гестаповский изувер.– *Ю.С.*)

В 1941 году меня отвезли в Берлин, состоялся «суд», дали пять лет тюрьмы и пять лет лишения прав. Заключили в одиночку. Сидел в темноте, в гробовой тишине 24 месяца, пока не начались бомбежки. Меня тогда перевели под крышу, на четвертый этаж: если попадут зажигалки, сгорю заживо, ведь охранники во время бомбежек убегали в подвал. Здание тюрьмы ходило ходуном, грохот, разрывы бомб... Ждали, что я попрошу снисхождения. Не дождались. Тогда пришел нацист: «Вступи в СС – выпустим». Я

ответил ему то, что надлежало ответить. Меня направили к уголовникам, в мастерские, где делали бетонные ограждения для концлагерей. Били с утра и до ночи; повредили позвоночник, нагружая меня, как животное, бетонными плитами весом чуть ли не в сто килограммов... А потом перевели в Саксонию, в Вальдхайм, на обувную фабрику, переоборудованную в оружейный завод. Содержались там не только немцы, но и французы, итальянцы, бельгийцы. Нужен был переводчик. Я был единственным, кто знал французский язык. Это дало мне возможность наладить контакты с товарищами. Мы начали диверсионную работу: много самолетов Геринга, которым мы поставляли детали, разбилось, не донеся до мирных городов свой смертоносный груз.

Однажды половина наших не смогла подняться: дали гнилую еду, массовое отравление. Эсэсовец закричал: «Лентяи! Саботажники! Табак жрете, чтобы заболеть?» У меня перед глазами встали лица друзей, запавшие глаза, выпирающие ключицы, рукиплети. Я ослеп от ярости, бросился на нациста...

Очнулся в карцере. Руки и ноги в наручниках, завернуты за спину, двигаться невозможно. Один раз в день кусок хлеба и чашка воды. Когда я совсем д о ш е л, выпустили, бросили в камеру, где, к великому моему счастью, был руководитель подпольной парторганизации Артур Зоргес, он сейчас живет в ГДР. Замечательный товарищ, истинный коммунист. Связником был художник из Дрездена товарищ Маслов, он работал после победы в дрезденской Академии живописи. Так вот, Маслов стал парикмахером, это дало ему возможность ходить по камерам, таким образом была налажена связь со всеми узниками. Более того, он изучал всех вновь прибывших, делал все, чтобы оградить нашу организацию от гестаповских провокаторов. Второй радостью было то, что я встретил Курта Баумгарте, он был член Ревизионной комиссии ГКП. Он знал меня, поручился перед организацией, и я получил в высшей мере ответственную работу: выносить параши из камер! Да-да, это была важнейшая работа, ибо пять тысяч узников сидели в одиночках, никого нельзя было оставлять без поддержки, а главной поддержкой были новости с фронтов, шел сорок четвертый год, у нас было радио, и я проводил политинформацию в ста одиночках,— трудно сейчас представить себе, как это было нужно, правда давала товарищам силу вынести, выстоять!

А потом пришла свобода: ворота женской тюрьмы открыли американцы, нашей — Красная Армия; вернулся в Гамбург; в тот же вечер пришел в партийную организацию; наутро начал работу — выселял нацистов из их роскошных квартир и размещал там рабочих, оставшихся без крова. Потом — партийные организации

Киля, Дюссельдорфа – секретарь по кадрам; вместе с Фредериком Жолио-Кюри трудился на ниве борьбы за мир, выступал вместе с пастором Нимёллером и бывшим канцлером Виртом против войны – тридцать послевоенных лет пролетели как день... А потом – пенсия, работа в Музее Эрнста Тельмана, человека, которому я обязан тем, что на всю жизнь поверил в великую правду Ленина.

...Каждое утро, в шесть часов, высокий, подтянутый человек быстрой походкой идет по улицам Гамбурга с маленьким свертком под мышкой. Там – полотенце и плавки. Плавание – до морозов; нужно быть крепким, чтобы продолжать дело, чистое и честное дело.

...Спасибо тебе, товарищ Альберт Фридрихс,– за тебя спасибо, за твою жизнь, ибо ты из породы наших отцов, а они были замечательными людьми, прошли трудную, но гордую жизнь и память по себе оставили высокую, ибо тот оставляет по себе память, кто не собою живет, но идеей, обращенной во благо всех. Спасибо.

(Когда книга готовилась к изданию, я узнал, что товарищ Фридрихс ушел, нет его больше с нами; память о нем, однако, вечна.)

ГЛАВА,
в которой рассказывается о провокации, вызванной, в частности, страхом перед тем, что ценности придется вернуть законному владельцу

1

...Звоню Штайну.

– Я не могу беседовать с вами, господин Семенов.– Его глухой, чеканящий голос сейчас резок, словно удар.

– Заболели?

– Здоров.

– Позвонить позже?

– Я не убежден, что вам вообще надо звонить мне...

– То есть?! – Я даже опешил, так неожиданно это было.

– Господин Семенов, вы не могли не знать, что Московское радио сообщило слушателям, будто некий Штайн из Штелле,– он сейчас чуть ли не по слогам говорит, голос дрожит, слышно, как он н а т я н у т, вот-вот сорвется,– делает все, дабы затруднить поиск Янтарной комнаты и других культурных ценностей.

– Это ложь!

– Мне официально сообщили об этом только что!

– Кто?

– Вполне добропорядочные люди, совершенно не связанные с нашей работой.

– Вам сообщили об этом не добропорядочные люди, а обыкновенные провокаторы, господин Штайн.

– Но эти люди работают в организации, связанной с нашим радио!

– Тем хуже для вашего радио.

– Господин Семенов, я не могу им не верить, они назвали мне день и час, когда была эта передача. Там говорилось о том, что русские художники сейчас восстанавливают комнату, и в разговоре с корреспондентом прозвучала фраза о Штайне.

– Это провокация, господин Штайн, и мне горько, что вы ей поддались. Я обещаю вам связаться с Москвой и запросить официальный ответ у ответственных людей нашего радио.

...Ответ пришел через неделю: в указанные Штайном дни ни одна из радиостанций СССР не передавала никаких сообщений о Янтарной комнате. Ни разу не упоминалось имя Штайна.

...Пришло сообщение из АПН: готовят мой материал о Штайне для журнала, выходящего в ФРГ,– очень большой, с иллюстрациями.

Снова звоню к Штайну, прошу его запросить «радиолюдей» ФРГ о точной дате «передачи» из Москвы.

Через три дня он звонит мне, голос у него ликующий:

– Забудем мерзавцев! Вы были правы: они не смогли дать мне ответа! Что нового у вас?

...Кое-что новое собрал и я. Получилось это произвольно: пришел в маленький антикварный магазин русской книги в Париже; женщина – с гладко забранными волосами, аскетичная, скорбь на лице – уточнила: «Тот ли вы Семенов?»– и, получив утвердительный ответ, сразу же закаменела лицом. (Правильнее бы сказать по-толстовски – «заскучала», ну уж больно это здорово, нельзя повторять великих без кавычек.)

А каменеть этой мадам было от чего. Я ходил вдоль полок с прекрасными, уникальными книгами, и доставал их, и смотрел титульные листы, а потом интересовался здешней стоимостью, и все наиболее интересные фолианты к о т и р о в а л и с ь во франках высоко, однако новая цена стояла на прежней, поставленной в московских букинистических магазинах в н а ш и д н и! А ведь дама, пока не знала, кто я, так страдала о судьбе русской культуры, так сладко бранила большевиков и иноверцев, которые

травили и продолжают травить п о д л и н н о е, так уж она ахала и охала по нашему культурному наследству, оказавшемуся на Западе... А продает – что?! Воровски вывезенные с Родины книги... Незнание – простительно, хотя опасно в наш век, особенно если прилагается оно к вопросам культуры. З н а н и е такого рода, что я встретил в Париже в русском антиквариате, не просто опасно; оно – подло.

Помочь мне, понятно, дама отказалась; однако мир не без добрых людей.

Не только Штайн и барон фон Фальц-Фейн интересуются судьбою русского искусства и копают издали, всерьез. Здесь, в Париже, я получил несколько адресов; эти адреса мне передал сын русского эмигранта и француженки. Отец его погиб трагически, мать расстреляли нацисты – она была связана с социалистами, боровшимися в горах, м а к и.

– Я бы советовал вам проверить эти данные по у р о в н ю значимостей,– сказал мой новый знакомый.– И начал бы я с Хайнриха Хайма. Это юрист в Мюнхене. Был, во всяком случае, до недавнего времени. Его номер в НСДАП – 386.127. Эсэсовский номер 278.228. Имел звание штандартенфюрера, что соответствует полковничьему званию в вермахте; юрисконсульт у Мартина Бормана; отвечал за все акции рейхсляйтера в сфере искусства. Следующим я бы назвал профессора Герберта Янкуна. Рожден восьмого августа девятьсот пятого года; принадлежал к числу «кружка друзей рейхсфюрера СС Гиммлера». Эсэсовский номер этого профессора 294.689. Именно он занимался грабежом тех музеев Советской России, где хранились экспонаты, связанные с первобытной и античной культурой, до недавнего времени работал в Геттингене. В отличие от профессора фон Андрэ, о котором вы писали в корреспонденции о Штайне, он не очень-то скрывал свое прошлое. Конечно, если бы можно было отыскать следы Эбергарда Фрайхера фон Кюнсберга...

– Какие у вас есть о нем данные?

– Шеф особой зондеркоманды Риббентропа... Именно он и занимался вывозом Янтарной комнаты...

– Это я знаю. Меня интересует место и дата рождения, номер партийного билета... Родственники... Ближайшие друзья...

– Место рождения неизвестно. Дата – сентябрь 1909 года. Номер в СС – 1552. В сорок пятом году скрылся. Адреса родных неизвестны. Друзей не имел.

– Избыточно полная информация.

Собеседник хмыкнул, ткнул пальцем в последнюю фамилию:

– Гельмут фон Хуммель является и поныне адвокатом в Баварии, в Мюнхене. Думаю, что этого можно отыскать. С сорок четвертого года он отвечал за тайные депо в Баварии и Австрии, где складировались культурные ценности...

– Спасибо. Я начну поиск вместе с моими друзьями в ФРГ. Только ответьте на вопрос: что подвигло вас на это? Отчего вы передали мне имена и адреса этих людей?

Он прикрыл глаза пальцами:

– Я прочитаю вам несколько абзацев. «...Я два месяца ждал того, что должно произойти сегодня утром. У меня было достаточно времени подготовиться к этому, но так как я неверующий, я не углублялся в мысли о смерти, я склонен скорее смотреть на себя как на лист, оторвавшийся от ветки,– он падает на землю, чтобы удобрить почву. Качество почвы зависит от качества листьев... Простите мне горе, которое я вам причинил. Я теперь все думаю о том, что вы потеряете сына, который давал вам больше горя, чем радости... Если представится возможность, передайте моим ученикам через педагога, который меня знает, что я много думал о последней сцене «Эгмонта» Гете...»

– Что это? Откуда?

– Этот человек был дружен с моей матушкой. Жак Декур. Или Декур де Манш, создатель подпольного Комитета французских писателей. Его арестовали на другой день после того, как он совершил страшное «преступление»– выпустил журнал «Французская литература». Его арестовали с в о и. Понимаете? Французского писателя арестовали французские ажаны за то, что он издал журнал о французской литературе. И передали гестаповцам. И Жака расстреляли – после страшных пыток – вместе с большими учеными Жаком Соломоном и Жоржем Политцером... Все трое были коммунистами... Вот, собственно, поэтому я и занимаюсь поиском нацистов, которые убивали культуру...

2

...Вернулся в Бюро. Масса корреспонденции. Среди писем – крайне важные, с уникальным описанием Янтарной комнаты, прислали друзья из Москвы. Это архиважный документ, он позволяет начать тщательный поиск во время аукционов, по старым каталогам; опрашивая тех, кто любит искусство и кому поэтому сам факт укрывания похищенного представляется кощунством...

Итак, документы:

«Старый дворец. Бельэтаж. Янтарная комната.

Собрание предметов, исполненных из янтаря и заключенных в трех витринах.

Витрина N 1

1. Ларчик с крышкой, состоящей из трех ступенек и украшенной на верхней части вазочкой; по углам четыре вазочки, по связям – разные орнаменты, по фасу – восемь гравированных медальонов с морскими видами, птицами и орнаментами. Ножки резные.

Длина 10 вершк., ширина 7 1/4 вершк.

2. Ларчик плоской формы, украшенный семью гравированными медальонами с золотой подслойкой. Ножки круглой формы.

Длина 3/4 вершк., ширина 2 1/2 вершк.

3–4. Ларчики (два) на круглых ножках (сильно повреждены).

Длина 2 1/2 вершк., ширина 2 вершк.

5–6. Ларчики (два), во всем схожие с предыдущими.

Длина 9 вершк., ширина 5 3/4 вершк.

7. Ларчик. На крышке круглая группа, представляющая лежащую женщину и подле нее ребенка. По углам вазочки. По туловищу шесть медальонов с рельефными изображениями.

8. Шахматная доска. По углам рельефные цветы.

Длина 7 3/4 вершк., ширина 5 вершк.

9–10. Ларчики (два) на плоских ножках; на одном шарики по углам и резные орнаменты.

Длина 4 вершк., ширина 2 3/4 вершк.

11. Ящик для шахмат, выложенный гладким набором.

Длина 10 1/4 вершк., ширина 9 3/4 вершк.

12. Ящик для игры в трик-трак. Бока с поясками из слоновой кости с гравировкой; наличники и петли прорезные из золоченой бронзы. На крышке гравированные пояски с золотой подслойкой; в середине в медальоне двуглавый орел и по бокам медальоны с резными драконами»...

Таких экспонатов – сотни...

Все они похищены...

А вот описание янтарного чуда, принадлежащее перу очевидца; датировано прошлым веком:

«Комната представляет смесь стилей барокко и рококо и является настоящим чудом, не только по большой ценности материала, искусной резьбе и изяществу форм, но, главным образом,

благодаря прекрасному, то темному, то светлому, но всегда теплому тону янтаря, придающему всей комнате невыразимую прелесть. Все стены зала сплошь облицованы мозаикой из неровных по форме и величине кусочков полированного янтаря, почти однообразного желтовато-коричневого цвета. Резными рельефными рамами из янтаря стены разделены на поля, середину которых занимают четыре римских мозаичных пейзажа с аллегорическими изображениями четырех из пяти человеческих чувств. Картины эти исполнены мозаикой из цветных камней и вставлены в рельефные янтарные рамы. Здесь нет ничего навязчивого, крикливого; вся декорация настолько скромна и гармонична, что иной посетитель дворца, пожалуй, пройдет по этому залу, не давая себе отчета в том, из какого материала создана облицовка стен, коробки окон и дверей и орнаменты на стенах. Больше всего напоминая мрамор, янтарная облицовка, однако, не производит впечатления холода и пышности, присущих мрамору, и при этом по красоте далеко превосходит облицовку из самого драгоценного дерева. Янтарная комната двухсветная и выходит тремя окнами до полу на площадь дворца. В простенках – зеркала, тоже до полу, в лепных золоченых рамах рокайль. Посреди зеркал находятся золоченые бра, богато украшенные таким же орнаментом. Витрины под окнами полны всяких безделушек из янтаря; здесь имеются шахматные фигуры, табакерки и коробочки.

На одной из стен янтарем выложены года «1709» и «1760», относящиеся к изготовлению и установлению этой комнаты. В письме из Амстердама 17 января 1717 года Петр I приказал послать упакованную тем временем комнату в Мемель, где она была принята обер-гофмейстером вдовствующей герцогини Курляндской, Анны Иоанновны, – Бестужевым и под военным конвоем отправлена через Ригу в Петербург. Быть может, Петр намеревался этой чудной комнатой украсить задуманный им новый дворец, или же она была забыта; во всяком случае, ею не воспользовались до 1755 года, когда янтарный мастер Мартелли, занятый украшением одной комнаты Зимнего дворца янтарными орнаментами, получил приказание, прекратив эту работу, употребить присланный из Берлина янтарь для декорации кабинета в Царскосельском дворце. Эту работу Мартелли исполнил очень удачно к 1760 году. В 1830 году потребовался ремонт ее, и токарный мастер Эт, по высочайшему повелению, привел ее в порядок. До наших дней она прекрасно сохранилась. Более подробные сведения об истории этой комнаты можно найти в «Русской Старине» 1878 года, с.186, в статье Шученко в «Русском вестнике», 1877, ноябрь, с.388, и в сочинении С.Н.Вильчковского «Царское Село».

Кроме Царскосельского дворца, неисчерпаемая сокровищница Императорского Эрмитажа дает нам возможность присоединить к этой статье воспроизведения с ряда старинных вещей, ныне составляющих такую редкость: 1) янтарный, украшенный золотом и бриллиантами, набалдашник трости из испанского светло-желтого камыша. Трость эта, собственность Екатерины II, быть может, находилась в числе подарков, которые неоднократно подносил императрице Фридрих Великий. 2) Шпага, также принадлежавшая Екатерине II, парижской работы 1765 г. Эфес ее золотой, с тонко награвированным орнаментом в стиле Людовика XVI, рукоятка и чашка из янтаря, а ножны из галюта. 3) Античный светильник. Исполнен из одного, на редкость крупного, куска янтаря. Лампа, на которой покоится морской лев из бронзы, поддерживается бронзовой крылатой наядой и установлена на ступенчатой подставке из слоновой кости. Эта лампа – одна из многочисленных собственноручных работ императрицы Марии Федоровны в бытность великой княгиней. Благодаря своим далеко не заурядным художественным способностям и познаниям она исполнила большое число художественно-промышленных работ из различного материала. Владея в одинаковой степени гравировальными и токарными инструментами, иглой, кистью, ножом и пером, великая княгиня если и не исполнила самостоятельно все части лампы, то, в всяком случае, сделала большую ее часть...»

Еще один документ из книги прошлого века:

«В январе 1717 года Петр писал из Амстердама в Курляндию обер-гофмейстеру Алексею Петровичу Бестужеву-Рюмину: "Монсеньор! Когда прислан будет в Мемель из Берлина от графа Александра Головкина кабинет янтарный (который подарил нам королевское величество Прусское), оный в Мемеле прийми и отправь немедленно через Курляндию на курляндских подводах до Риги"».

При отправлении янтарного кабинета из Берлина в Россию составлена была опись, сохранившаяся в немецком подлиннике и современном ей русском переводе в одном из московских архивов.

Из описи этой комнаты видно, что она состояла из 22 больших сделанных из янтаря стенных «штук» и до 180 прочих янтарных досок и украшений; в некоторых из больших стенных «штук» находились вделанные уже зеркала.

В описи перечислены наиболее замечательные из янтарных вещей: «изготовленный щит с большой главой, три изготовленные большие головы на дереве, семь малых голов, четырнадцать изготовленных тюльпанов, двенадцать изготовленных роз, три штуки с ра-

ковинами (в немецком тексте сказано: «Muschelen und Schneckenausgemacht», то есть раковинами и улитками обделанные)».

Со своей стороны Петр подарил Фридриху-Вильгельму 55 русских солдат-гренадеров, токарный станок и бокал собственной работы.

12 мая 1820 года Янтарная комната едва не погибла во время происшедшего во дворце пожара. Отделка стен не раз подвергалась реставрации. Ставил комнату на место Мартелли в 1755 году, когда под наблюдением Растрелли она была переведена из Зимнего дворца в Царское Село. Затем ее реставрировали Турау и Роггенбук; в 1830 году чинил Эт, а в 1897 году снова реставрировали Чижов и Симов.

...По стенам расставлены стулья стиля «чиппендейл», комоды и столики, у окон, в витринах,— мелкие янтарные вещицы: шахматы, шкатулочки, табакерки семнадцатого — восемнадцатого веков. Вставки в углах стен, так называемые «camailux», кисти Титова. Очень хорош пол, сделанный в середине восемнадцатого века. Верхняя часть стен (широкий фриз) была доделана «под янтарь» раскраской.

ГЛАВА, в которой рассказывается о событиях тридцатипятилетней давности, имеющих прямое отношение к нашему поиску

1

...На полпути между Женевой и Базелем я свернул с дороги и остановился на ночлег в маленьком городке Дюдингене. С утра начали ухать трубы и греметь барабаны — жители собрались на свой праздник; здесь, в Швейцарии, очень любят праздники и умеют их весело отмечать; причем совершенно не обязательно, чтобы в соседнем городке или деревне г у л я л и ; человеческая о т д е л ь н о с т ь здесь проецируется и на сельскую и на городскую отдельность. Расстояния между городками могут быть в три-четыре километра, а по разности праздников, обычаев, устоев может порою показаться, что ненароком заехал в другое государство.

Я поселился в номере без телефона,— конец квартала, надо экономить на всем, и хотя в «моем» бад-годесбергском филиале Дрезденского банка прониклись уважением к «ЛГ» и могут дать ссуду под восемь процентов в месяц, все-таки лучше уложиться в

то, что осталось. Вообще ссуды, быстрые банковские операции обязывают к точности в ведении бюджета семьи; институт «дай в долг», обращенный к знакомому, развращает («Берешь чужие и ненадолго,– посмеялся один мой приятель,– а отдавать приходится свои, да к тому же навсегда»). В то же время заем, взятый в банке под высокие проценты, приучает к дисциплине и ответственности.

...Я вышел из маленького дюдингенского отеля, протолкался сквозь утреннюю, но уже гомонливую толпу, собравшуюся возле церкви, остановился у телефона-автомата, набрал номер 037-43.11.98.

– Да.

– Доброе утро, могу я говорить с господином Музи?

– Слушаю.

– Мне было бы крайне важно повидаться с вами, господин Музи.

– Кто вы?

Я назвался.

– Где вы получили мой телефон?

– В отделе печати МИДа.

– Они дали вам мой телефон?! – В голосе собеседника было нескрываемое удивление. Потом он вдруг весело расхохотался: – Это невероятно... Ладно, я сейчас подъеду за вами. Как мне вас узнать?

– Я с бородой, не отличаюсь особой худобой...

– Ну и я не скелет. Ждите. Чус!

Я вернулся в отель, спустился в маленькое кафе и попросил хозяйку предупредить, если кто-либо станет меня спрашивать.

– Кого вы ждете? – спросила почтительно-веселая, как и все хозяйки кафе, женщина.

– Господина Музи.

Ее глаза округлились, она еще более весело и уважительно пробросила свое легкое, французское «о ля-ля!» и поставила передо мною кофе, джем, масло и рогалики.

Через двадцать минут мадам легко подпорхнула ко мне, снова сделала круглые глаза, в которых метался смех, изумление и посул:

– Месье, вас ждут!

...Вокруг фермы Пьера Музи пасутся прекрасные кони; дом построен в старофранцузском стиле; много света, темное дерево внутри, ослепительная белизна снаружи.

На стенах кабинета, который как-то странно в ы н е с е н из дома, соединен с ним маленьким коридорчиком, словно бы перешейком, развешены медали и призы:

– Я был многолетним чемпионом Швейцарии по конному спорту и лыжам,– сказал Музи.– Это моя главная страсть, все остальное лишь прилагаемое; времяпрепровождение... Ну, с чем пожаловали?

Я рассказал ему о той информации, которую раздобыл доктор Пауль Колер из ГДР. Главный вопрос: что Пьер Музи знает о грузовиках Красного Креста со швейцарскими номерами в районе Веймара в апреле сорок пятого года?

– Хм, кому, как не мне, знать про эти грузовики... Отчего только вас это интересует?

– Оттого, что на швейцарских грузовиках могли вывезти ценности гауляйтера Коха, ящики с Янтарной комнатой и другие русские культурные ценности в никому неизвестные, самые секретные депо под землею, в горах, в Тюрингию или Саксонию. Если у вас есть информация об этих машинах, о том, как и почему они попали в рейх, можно продолжать работу, искать шоферов, механиков, тех, кто сопровождал машины...

– Про шоферов и механиков я не знаю, а сопровождал грузовые машины мой брат Бенуа...

– Я могу с ним увидаться?

Пьер Музи молча посмотрел на меня, ничего не ответил, поинтересовался:

– Вам известно, кем был мой отец?

– Одним из руководителей Красного Креста. Нет?

– Ничего подобного. Во время войны он был частным лицом с приставкой «экс». Экс-президент Швейцарии. Да-да. И никакого отношения к Красному Кресту не имел, хотя поддерживал постоянный контакт – в последние месяцы войны – с Гиммлером и Шелленбергом. А началось все с того, что к отцу обратились с просьбой похлопотать перед шефом гестапо Франции генералом Обергом за семью из Монтре, брошенную в парижскую тюрьму «черными». Отец согласился, хотя все убеждали его, что предприятие безнадежно, ибо гитлеровцы не выпускали евреев из концлагерей. Но дело в том, что шла весна сорок четвертого, Восточный фронт трещал, да и к тому же жена несчастного узника была швейцарской подданной.

...Словом, Оберг решил устроить из этих двух арестантов предмет торга. Он их отпустил, и взамен на этот «акт доброй воли» осенью сорок четвертого, в октябре уже, после вторжения союзников и выхода Красной Армии к границам рейха, были начаты переговоры между отцом с одной стороны, и Шелленбергом и Гиммлером – с другой. В Берлин экс-президента привез мой брат, молодой офицер швейцарской армии Бенуа, прекрасный водитель,

один из лучших спортсменов Швейцарии. Финансисты предложили – через Музи – уплатить нацистам деньги, если Гиммлер выпустит из концлагерей арестованных; американская администрация гарантировала визы освобожденным; отец должен был передать пять миллионов французских франков Красном Кресту в обмен на освобожденных узников. (Естественно, речь шла о родственниках еврейских финансовых боссов; судьба 600 тысяч несчастных, еще не уничтоженных в газовых камерах не так волновала боссов из Монтре, которые прежде всего и радели о миссии Музи. Более того, в обмен на освобождение родственников они брались начать публикацию материалов в США в пользу сепаратного мира с рейхом. Видимо, не обошлось тут без тех кнопок, на которые нажимал Аллен Даллес, постоянно мечтавший о сохранении военной машины рейха и повороте ее против русских союзников на Востоке.– *Ю.С.*) Первая партия, около тысячи узников, была переправлена через пограничную Констанцу из концлагеря смерти Терезиенштадт в Швейцарию в феврале сорок пятого года. В обмен на новенькие автомашины и бензин Гиммлер разрешил освободить еще одну партию узников, но тут в дело вмешался начальник секретной полиции безопасности рейха Эрнст Кальтенбруннер, враг Шелленберга, человек, связанный лично с Гитлером. На первый взгляд, он действовал фанатично, в духе приказов фюрера: «Никаких мирных переговоров! За пособничество в освобождении из концлагеря еврея, американца или англичанина – расстрел на месте!» Однако на самом деле, как показывают новые материалы, открывшиеся после посещения фермы в Дюдингене, все обстояло куда сложнее. Оказывается, сам Кальтенбруннер имел к о н т а к т н о г о человека, штандартенфюрера СС Беккера, который поддерживал тайные связи с неким Салли Мейером, обосновавшимся в Швейцарии, представлявшим, видимо, крупнейших денежных тузов из-за океана. Этот контакт «Беккер – Мейер» сулил Кальтенбруннеру невероятные барыши. Естественно, Кальтенбруннер и его люди «стреляли» по Шелленбергу и Гиммлеру, которые встречались с экс-президентом Музи, как по конкурентам в долларовом бизнесе. Кальтенбруннер блистательно провел операцию против Шелленберга и Гиммлера. Его люди в Швейцарии, при поддержке Мейера, напечатали ряд статей в пользу Гиммлера. Кальтенбруннер немедленно доставил эти газеты рейхсминистру пропаганды Геббельсу и двум главным антисемитам рейха – Розенбергу и Юлиусу Штрайхеру. Те подняли скандал. «Подыхать надо всем вместе! – вот что было в подоплеке истерики.– Не позволим одному Гиммлеру спастись, он должен кончить так же, как мы!» А дальше торг приобрел еще более сложные а к ц е н т ы. Поскольку в

рейхе уже все трещало, далеко не каждый приказ Гитлера выполнялся: проверить точность выполнения из блокированного Берлина было трудно. И Гиммлер продолжил свою интригу. Его люди широко р а з з в о н и л и о новом приказе фюрера: гнать всех заключенных евреев вместе с немецкими беженцами, нагрузив каждого из них тяжелой кладью. Это, понятно, было бы массовым убийством оставшегося полумиллиона заложников одной только еврейской национальности, не говоря уже о миллионах узников – русских, поляков, сербов, хорватов, французов, немецких антифашистов, норвежцев, датчан... И Гиммлер, после того как этот приказ довели до сведения Музи и тот, естественно, заявил, что это вандализм и безумство маньяков, начал новый виток т о р г а: «Я, Гиммлер, берусь не выполнять приказ фюрера, а вы добейтесь от союзников обязательства сохранить жизнь всем эсэсовцам, лагерным охранникам и надзирателям». И Музи добился такого согласия от западных союзников, не понимая, видимо, что Гиммлер выторговал свободу и жизнь для десятков тысяч самых страшных головорезов гитлеровской Германии, фанатиков, готовых на все. Он ведь, маленький и тихий Гиммлер, до последнего момента верил, что именно ему придется повернуть Германию против большевиков, спасая Европу от «восточных варваров»...

– Последний раз,– продолжал между тем Пьер Музи,– мой брат Бенуа отправился в рейх девятого апреля сорок пятого года. Он прибыл в Бухенвальд и стал свидетелем страшных сцен насилия над узниками. Все обещания Гиммлера оказались конечно же блефом. Бенуа поехал в Берлин. Оттуда он выехал вместе с Герингом четырнадцатого апреля. Именно тогда и прибыли в Германию колонны машин Красного Креста...

– А как бы порасспросить об этом более подробно Бенуа?

– Бенуа погиб в Париже во время автогонок, при загадочных обстоятельствах,– ответил Пьер Музи.– Все тайны ушли с ним. Я теперь по-новому начал думать о его трагической кончине... А про то, кто вам дал мой телефон, я спросил неспроста: до недавнего времени я был начальником разведки Швейцарии и все контакты с иностранцами, а особенно красными, были для меня невозможны без санкции высших руководителей...

Итак, в этом вопросе Пауль Колер оказался прав, как никто из исследователей: действительно, машины Красного Креста были в Тюрингии и Саксонии в апреле сорок пятого. Более того, как мне удалось выяснить (архивных подтверждений, впрочем, ни у меня, ни у моих собеседников нет, да и смешно предполагать, что т а к о е записывалось), во время последней поездки Бенуа Музи,

что-то около двадцатого апреля, машины Красного Креста оказались на территории, только что занятой Красной Армией, пробыли там несколько часов и вернулись на запад. Кто вел эти машины? Какие места они посетили? Что вывезли? В каких количествах? Куда доставили? Ведь тогда у нацистов не было ни капли бензина, самолеты не поднимались в воздух, стояли танки, а швейцарские и шведские машины прибывали со своими запасами горючего. Но швейцарские ли шоферы вели машины на восток и обратно? Не попросили ли немцы из СС эти машины у Бенуа Музи, чтобы «привезти узников из других мест»? А сами в это время перепрятали культурные сокровища на иностранных машинах. Или они это делали вместе со швейцарскими шоферами? Какова в таком случае их судьба?

...Это тоже надо выяснить, поднимать архивы, возвращаться в Женеву, добиваться разрешения поднять фонд президента Международного Красного Креста, ехать в Стокгольм, просить права познакомиться с документами графа Бернадота, который также поддерживал контакты с Вальтером Шелленбергом и был тем именно человеком, который вывез в Швейцарию больного Бенуа Музи, спасая его от смерти под бомбами в самом конце апреля сорок пятого. (Я вспомнил Шпеера, когда тот говорил о машинах Красного Креста возле Гамбурга, по дороге в Данию, а оттуда – в Швецию. Звено в цепи, разве нет? А что если часть машин Красного Креста, загруженных сокровищами, была передислоцирована гиммлеровцами не в Швейцарию, а, наоборот, на север? Может быть, кто-либо в Стокгольме знает об этом?)

...И конечно же надо поднять в Париже все материалы об обстоятельствах гибели Бенуа Музи, посмотреть газеты и журналы того периода, соотнести с событиями в мире, особенно с теми, которые связаны с продолжением поиска бывших крупных нацистов, ушедших от справедливости возмездия. Ведь эти страшные бывшие жили и живут очень богато, живут на краденое, живут, надеясь на реванш, и всякий, кто угрожает им разоблачением, даже невольным, подлежит ликвидации...

2

С графиней Марион Дёнхоф я встретился в холле одного из боннских отелей. Седовласая дама рассказала о своем визите в Москву, о разговорах, которые она вела по поводу поиска Георга Штайна с работниками Министерства Культуры СССР, обещала и впредь оказывать посильную помощь благородному человеку из

деревни Штелле.

– Вам бы следовало повстречаться с рядом депутатов бундестага,– порекомендовала графиня.– Дело Штайна – непростое дело. Следует загодя заручиться помощью влиятельных политиков, это может – при определенных обстоятельствах – дать выход на радио, телевидение и прессу – не только мою...

...Через несколько дней в бундестаге, где я обычно работал в библиотеке (она очень хорошая), произошла встреча с социал-демократическими представителями парламента ФРГ.

Один из депутатов сказал:

– То, что делает Штайн, нравится далеко не всем, надеюсь, вы понимаете это со всей ясностью. Я полагал бы целесообразным организовать некую комиссию, или группу,– название в данном случае не имеет большого значения,– которая бы содействовала поиску. Думаю, привлечение серьезных финансистов и людей, представляющих интересы большого бизнеса, поможет делу. Каждый бизнесмен, если только он воистину силен и, следовательно, устремлен мыслями в будущее, а будущее Европы немыслимо вне крепких экономических связей с Советским Союзом, не откажется поддержать начинание в сфере культуры.– Депутат усмехнулся: – Это же не так трудно, как занять открытую позицию по поводу американских ракет в Европе...

3

В здешней прессе раздался прямо-таки залп против нас: вовсю расписывают «злодейства Красной Армии» во время борьбы против нацистов.

Что ж, тенденциозной пропаганде, рассчитанной на торпедирование добрых отношений между народами СССР и ФРГ, следует противопоставлять факты.

Посему и начнем с «основополагающих» документов, обнаруженных мною в ряде архивов.

Рейхсминистр пропаганды
11-2410/24.3.37./53-1.7

Всем рейхсруководителям, послам рейха, гауляйтерам и рейхсляйтерам.

В приложении направляю вам «инструкцию по вопросам пропаганды» для того, чтобы вы могли проинформировать ваших ближайших помощников, отвечающих за вопросы политики.

Геббельс.

1. Борьба против большевизма является генеральной линией германской политики.

2. Эту борьбу должно вести сплоченно все национал-социалистическое движение.

3. Сущность пропаганды: «большевизм представляет опасность для всего мира и является врагом человечества».

4. Политика пропаганды: ...«террор и бесправие» в СССР.

5. Сущность большевизма:

а) ошибочное мнение: «большевизм в СССР есть русский феномен»;

б) правильная точка зрения: «большевизм не есть русское движение, это – еврейство»;

в) ошибочное мнение: «большевизм – дух степеней»;

г) правильная точка зрения: большевизм является продуктом «асфальта больших городов».

6. Источники пропаганды: основополагающим является «Майн кампф» Адольфа Гитлера; германское бюро новостей публикует все большее число новостей о большевизме; радио должно кратко цитировать абзацы из советской прессы, где есть признание недостатков, при этом роль радио в антибольшевистской пропаганде значительно возрастет в будущем...

(Небезынтересный документ, не правда ли? Наводит на размышления в связи со всевозрастающей ролью иных радиостанций в тенденциозной пропаганде – в наши уже дни.)

Однако сегодня я хочу сосредоточить внимание читателя на одном конкретном эпизоде. Поэтому проследим, как обстояло дело с антисоветской пропагандой, после того как Гитлер напал на СССР.

Привожу документ из архива рейхсминистра иностранных дел Риббентропа.

Записка.

Передачи немецкого радио на заграницу должны использовать слухи, новости, «у т к и»...

Главные темы пропаганды:

1) Германия победит.

2) Черчилль ведет войну против мирного населения.

3) Рузвельт стремится к еврейскому мировому господству.

4) Большевизм – наибольшая опасность для всех.

5) Уделять особое внимание большевистским з в е р с т в а м всех видов; большевики уничтожают все живое... Вся Европа должна объединиться против большевизма... Наиболее важно при этом

умело распространить с л у х и... Помимо Европы в нашем распоряжении имеются радиостанции в Шанхае и Южной Америке...

Но ни шанхайские, ни южноамериканские антибольшевистские радиостанции гитлеровцам не помогли — фронт трещал по всем швам.

Бисмарку принадлежит изречение: «Врет, как телеграфирует».

О чем же «телеграфировала» гитлеровская пропаганда, когда близился конец третьего рейха?

То, что газеты и радио Геббельса были полны яростной антисоветчины, само собой разумелось: «массовые казни», «депортации», «террор». А как работала пропаганда нацистов против наших союзников по антигитлеровской коалиции?

Лето 1944 года. Париж освобожден восставшим народом, маки, союзниками и войсками де Голля. Гитлеровская пропаганда начала массированную атаку; в «Фёлькишер Беобахтер», нацистском листке, подчиненном как министерству пропаганды, так и бормановской партийной канцелярии, появились телеграммы следующего содержания: «Массовая голодная смерть». «Франция — страшный пример того, что творят англо-американцы в захваченных ими немецких (!) районах. Противник и пальцем не пошевелил, чтобы помочь голодающему населению. Американские поставки в Париж составляют сейчас десятую часть того, что Франция получала во время немецкой оккупации. Немцы умело управляли захваченными странами: мы заботились о распределении продуктов и о том, чтобы работа на заводах и железных дорогах не прекращалась. Во Франции почти не чувствовался недостаток в рабочей силе, немцы — в разумных масштабах — заботились о французских рабочих...»

Я не стану говорить о бесстыдстве этих строк в геббельсовском листке: сотни тысяч французов были расстреляны, замучены в лагерях смерти, погибли на тяжелых работах в рейхе.

Еще одна выдержка: «Представитель рейхсминистерства иностранных дел заявил иностранным журналистам:

— В последнее время во Франции большевистскими злодеями было убито много французов; другие казнены голлистами после формального суда, потому что они были сторонниками германо-французской дружбы...»

Октябрь 1944 года. Ожесточенные бои под Аахеном — война перешла на территорию рейха. «Фёлькишер Беобахтер» печатает цикл антиамериканских материалов. Вот некоторые: «После неравной схватки батальон оберлейтенанта Штахса попал в плен.

То, что испытали наши солдаты в американском плену, является глумлением над цивилизацией и человечностью. У них не только похитили все личные вещи, кольца, часы, драгоценности, авторучки, нет, этого мало. Угрожая расстрелом, евреи пытались их заставить выдать военные тайны. Штахс ответил: «Для меня не будет позором умереть за родину». После этого офицера подвергли самым унизительным пыткам: били палками, отказывали в питьевой воде, заставляли спать под дождем и снегом».

Во время боев в Арденнах, когда нацистам надо было «взбодрить» своих солдат, напитать их новыми дозами яда ненависти, газета Геббельса печатает «информацию» под заголовком «Эйзенхауэровская солдатня». Привожу несколько выдержек: «Немецкий солдат по природе своей добродушен. В Осло или Париже, в Белграде или Афинах, кто бы ни наблюдал отношение наших солдат к местным детям, все могут подтвердить: «Порядочнее, чем мы, никого и нигде не встретишь». А что творят американские бандиты?! Они позорят наших женщин, убивают детей, истязают наших пленных и с помощью пыток хотят добиться у них признания. Они выселили целые деревни и угнали несчастных женщин и стариков в ссылку, откуда не поступало еще никаких сведений об их судьбе и, вероятно, не поступит...»

Достаточно? Или продолжить?

Видимо, стоит продолжить, ибо анализ «Фёлькишер Беобахтер» приводит к выводу, что чем труднее становилось положение гитлеровцев на фронте, тем еще более примитивно они лгали. В марте 1945 года газета дала следующую «информацию»: «Только разрешите – и мы уничтожим весь немецкий народ» – эти слова принадлежат американскому лейтенанту Ле Белле; командир подразделения Р.Бэлл: «Убивайте скорей и заканчивайте дело – женщин и детей тоже!» Против такой жажды этих каналий к уничтожению нам может помочь лишь одно: тотальное самоутверждение! Мир, каким его представляют себе ялтинские грабители, был бы смертельным приговором для нашего народа!»

Так работала пропаганда Геббельса против наших союзников.

Октябрь 1944 года. Красная Армия гонит гитлеровских вандалов с нашей земли, превращенной в руины по приказу бесноватого фюрера и его «высокоцивилизованных» генералов. Восточный фронт трещит.

В «Фёлькишер Беобахтер» появляются фотографии: убитые «русскими» младенцы, «расстрелянные женщины», на заднем плане, впрочем, стоят немецкие офицеры: они-то и «свидетельствуют» о «зверствах».

Привожу выдержки из статей геббельсовской газеты:

«Под председательством эстонского земельного директора Мяе перед лицом международной комиссии собрались свидетели трагедии Ниммерсдорфа, где большевики впервые на немецкой земле показали свое звериное лицо. Первым вызвали члена «фольксштурма» Эмиля Радюца. Он видел разграбленные дома. В овраге он нашел девять убитых в штатском – четыре женщины, трое детей и двое мужчин. В местном пожарном депо было найдено несколько убитых иностранцев. «Я не специалист,– говорит фольксштурман Радюц,– но это смог бы установить каждый: люди были убиты совсем недавно, кровь была теплой». Затем выступил член военного суда Грох. Он обследовал трупы. Раны свидетельствуют о том, что стреляли из мелкокалиберного оружия. Это доказывает: убивали в большинстве случаев русские офицеры и комиссары, поскольку лишь они носят при себе мелкокалиберное оружие.

Майор Хайнрих, который по поручению генерального штаба обследовал район Ниммерсдорфа, заявил: «Все эти позорные акции были совершены по приказанию советского руководства. Это соответствует указанию Сталина о том, чтобы уничтожить зверя в его же логове».

Затем председатель вызвал единственного свидетеля, пережившего кровавую бойню, Шарлотте М... Потом штабной врач Виллиам рассказал, как он обследовал трупы...

Международная комиссия по расследованию преступлений большевиков в Восточной Пруссии после допроса восьми свидетелей пришла к выводам...»

Остановиться следовало бы на «председателе международной комиссии» Мяе, ее членах, привезенных заранее людьми Геббельса: голландском коллаборационисте Лестрю-Хендрихе, фалангистском «профессоре» Рохо, итальянском фашисте Пьетро Аванци, сербском квислинговце Найденовиче, предателе Штраудманисе из Риги, но я это сделаю в другой раз.

Полагаю, нет нужды останавливаться на том, сколь похожи «показания» о «зверствах» как американских, так и советских солдат: сочиняла-то одна голова, по шаблону, времени в обрез, тут уж не до разнообразия жанра, успевай поворачивайся.

Не буду задерживаться на очевидных «юридических» передержках (сначала фигурировал «единственный» свидетель, через несколько абзацев их было «восемь»),– Геббельс не очень-то заботился о доказательствах: «Ври, ври, что-нибудь да останется!» Удивляют и «мелкокалиберные» пистолеты «красных комиссаров»– такого рода оружие никогда не имело хождения в Красной Армии.

Я хочу, чтобы читатель поразмыслил, отчего «международ-

ная комиссия» в составе квислонговцев, которых гитлеровцы держали в своем обозе, стояла «на стреме», словно бы созданная заранее по таинственному сценарию, утвержденному в святая святых СС, ожидая лишь команды: «Ату!»

Прошу отметить замечание, проскользнувшее в одной из геббельсовских публикаций, что, мол, всего несколько часов Ниммерсдорф пробыл в руках у красных,— в этом, как мне кажется, сокрыт ключ к пониманию вопроса.

Запомним также, что «свидетелями» и «толкователями» так называемых «русских зверств» были представители генерального штаба, военного суда, военного госпиталя, СС, фольксштурма.

А запомнив это, обратимся к секретным материалам «главного национал-социалистического штаба вермахта», занимавшегося вопросами пропаганды в армии.

Материал первый: «Прибывающие из восточных областей солдаты и гражданские лица рассказывают о том, что советские войска корректно относятся к немецкому населению, оставшемуся на оккупированной территории. В отношении этого солдатам следует говорить следующее: «Осуществляемые большевиками террористические акты против гражданского населения ужасны».

Материал второй: «То, что большевики в восточных областях настроены дружелюбно по отношению к гражданскому населению и всегда готовы помочь ему, является такой грубой ложью, что ей могут поверить лишь ничего не соображающие пораженцы».

Материал третий: «После того как в прессу поступили сообщения о большевистских зверствах в Восточной Пруссии, эту тему следует преподносить следующим образом: «У каждого немца, который верил, что описание большевистских ужасов было чистой пропагандой, теперь исчезли последние сомнения. Немецкий народ и немецкий солдат отвечают на это с безжалостной жестокостью».

Вышеуказанная форма подачи материала должа быть принята к руководству на занятиях среди руководящих пропагандистов НСДАП».

О подлинных виновниках зверств говорят не только архивные материалы, но и фильм, показанный недавно по телевидению ФРГ: гирлянды повешенных гитлеровцами немцев в Восточной Пруссии с табличкой на груди: «Я был трусом!» То есть каждого, кто не верил нацистской лжи, ждала петля — без суда и следствия. Это — факт.

А теперь обратимся к истории. Всему миру ныне известна

провокация Гиммлера в Гляйвице, маленьком немецком городке на границе с Польшей. «Поводом» к началу второй мировой войны был «факт» нападения «польских» солдат на радиостанцию Гляйвица. На самом деле никаких «польских» солдат не было – были переодетые немцы; сразу же после того, как пролилась кровь, фюрер выступил в рейхстаге: «Поляки убивают немцев!»

История повторилась: «показания очевидцев» о Ниммерсдорфе были опубликованы в «Фёлькишер Беобахтер» в д е н ь обращения Геббельса к нации, все было спланировано заранее, Ниммерсдорф был с д е л а н во имя того, чтобы вечером того же дня Геббельс мог заявить: «Где тот сумасшедший, нет, где тот п р е с т у п н и к, который считал, что большевики хоть немного человечнее, чем мы их представляли миру?! Мы повторяем свою клятву истребить огнем и мечом виновников. Но прежде чем мы отомстим, надо привести весь немецкий народ на это место и показать, что ожидает каждого, если мы не будем отдавать все силы, чтобы отбросить кровавый поток с Востока!»

Яснее ясного: надо было заставить каждого немца забыть и думать о мире, Геббельс готовил народ к тотальной смерти, покойник тащил за собою в могилу народ!

Трагично: ни тогда, ни, увы, сегодня в ФРГ никто не знает слов, сказанных в Москве в самую тяжелую годину войны, когда нацистские оккупанты жгли наши города и расстреливали детей и женщин: «...гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается...»

...Более сорока лет прошло после начала той трагедии, в которую вверг человечество гитлеровский рейх. Более сорока лет со дня Победы. Память героев, сломавших фашистскую тиранию, бессмертна.

Но как же в таком случае объяснить, что целый ряд западных газет и журналов предоставляет свои страницы перепечатке пропагандистских материалов из геббельсовской прессы? Кому это на пользу? Немцам? Вряд ли. Так кому же?

4

Позвонил знакомый из Мюнхена.

– Тут нашим правым «патриотам» очень не нравится деятельность Штайна. Злит работа и тех, кто его поддерживает. Поимейте это в виду.

– Мало ли чья деятельность не нравится мне в Мюнхене!

Мне, например, очень не нравится деятельность бывшего нациста князя Отто фон Габсбурга, а его протащили в Европейский парламент!

– Видите ли, в Мюнхене сильны позиции тех, кто может сильно помешать вам в вашей работе.

– То есть?

– Ну, это не по телефону...

...Вечером пришла информация от западногерманских журналистов, словно бы продолжившая тему беседы с Мюнхеном.

«Президент ведомства по охране конституции ФРГ Рихард Майер протестует против плана ряда депутатов коалиции внести изменения в закон и предоставить больше юридических прав жертвам подслушивания телефонных разговоров.

Состоялся разговор между министром внутренних дел Баумом, статс-секретарем фон Шёлером, президентом ведомства по охране конституции Майером и депутатом СДПГ Гуго Брандтом. Тема беседы – юридическая обоснованность подслушивания телефонных разговоров писателя Гюнтера Вальрафа. В 1974 году за ним была установлена телефонная слежка, которая, по мнению Брандта, депутата от социал-демократической партии, не имела никаких оснований.

В центре спора – закон Г-10, который позволяет в случае подозрения в антигосударственной или террористической деятельности граждан нарушать десятый параграф Основного закона, гарантирующий тайну переписки и телефонных разговоров».

Вальраф был одной из первых жертв подслушивания. Но он был и первым, кто обратился в суд с жалобой против учреждения, незаконно установившего за ним слежку. Поводом к подслушиванию послужила некая «тайная встреча» писателя 11 января 1974 года с террористкой Маргрит Шиллер. Вальраф представил алиби: он не был в тот день в поезде, где по донесению шпика, следившего за Шиллер, произошла «встреча».

Обвинение против писателя было выдвинуто на основе словесного описания и одной косвенной «улики»: террористка держала в руке повесть, заглавие которой шпик не мог припомнить, но которое напоминало ему заглавие одной из книг Вальрафа. На основе этого и ряда других подобных «фактов», доказывавших «антигосударственную» деятельность Вальрафа, было отдано распоряжение о подслушивании его телефонных разговоров, которое, как оказалось, продолжается уже много лет.

ГЛАВА,
в которой Эдуард Фальц-Фейн рассказывает о Московской Олимпиаде, о жуликах из Лондона, похищающих русские картины, и о том, как мне стали известны подробности неонацистской активности

1

– Здравствуй, это я.

Барон. Голос ликующий.

– Я только что прилетел с Олимпиады! Это было божественно! Браво! Поздравь меня! Я отслужил панихиду по дедушке в Лавре! Был священник! Я снимал на поляроид, чтобы показать кое-кому в Париже, они ж ничему не верят! Слюшай, меня принимало Министерство культуры! Газеты написали мое открытое письмо, ах да, ты про это, слава богу, знаешь, там ведь твое предисловие обо мне! Я совершенно счастлив! Поэтому я решил взять себе у себя же недельный отпуск. А ты поработаешь: садись за руль и немедленно выезжай в Ниццу. У меня есть очень важная новость! Пока!

– Погоди! Во-первых, я должен получить французскую визу. Во-вторых, надо доделать кое-какие дела здесь, в Бонне. В-третьих, если я смогу приехать, где мы с тобою увидимся?

– А разве я не скасаль?! Около аэропорта, при главном входе, в три часа.

– Погоди! Но я – при самом лучшем раскладе – не смогу выехать раньше начала недели!

– Хорошо, во́ вторник!

И я успел-таки во вторник, к трем!

Барон ждал меня, сидя за рулем.

– Слюшай, мы сейчас поедем с тобой в Ванс,– начал он деловито, как будто мы расстались полчаса назад,– на виллу господина Петриковского. Он сам из Киева, ему далеко за восемьдесят, у него невероятный склероз и временами бывают прободения памяти. Всем заправляет его жена, ее здесь зовут мадам Петри. Она немка, вышла за него замуж в Берлине и специально выучила наш русский, чтобы говорить с мужем на его родном языке, понимаешь?! А дочка – хоть и говорит по-русски, все-таки дочь русского человека – сущая француженка! Понял меня? Это – плохо! Сейчас поедешь следом за мною, не отставай, движение страшное. Ты должен говорить с ними не спеша, мадам все-таки немка. Ты увидишь поразительные вещи, приготовься!

Поднявшись из шумной Ниццы вверх, по направлению к Грасу, последнему убежищу Ивана Бунина, мы начали вертеться среди маленьких улочек, где встречным машинам не разъехаться; остановились возле небольшого дома; вошли во двор; сотни кур кудахтали в больших курятниках.

– Все, что ты увидишь у старика,– объяснил барон,– он смог купить, разводя кур. У него их тысячи, его тут все знают как главного курятника.

Навстречу нам из дома вышла мадам в аккуратных белых кудряшках, следом за нею шел бритоголовый, крепкий, совсем еще не старый месье Петриковский со странной улыбкой на скуластом лице, а за ними с заливистым, дружеским деревенским лаем, расшаркиваясь хвостом, скакал пес.

После взаимных представлений хозяин виллы взял меня под руку:

– Милости прошу к нашему шалашу.

– Благодарю.

– Вы к какому роду войск приписаны? Улан? Драгун?

Барон сделал мне страшные глаза; я ответил «социальным покашливанием» и начал расхваливать погоду.

– Как же, как же, тепло,– согласился месье Петриковский.– Похоже на мой Киев, там такая же чудо-погода...

Мы вошли в дом, и я, как и предсказывал барон, действительно обомлел, потому что на стенах всех комнат – полотна русских художников, да какие еще полотна!

Мы ходили вдоль творений великих мастеров; барон изредка кидал на меня торжествующие взгляды, а потом сказал мадам Петри:

– Как было бы славно отправить прямо сейчас на родину, в Киев, несколько картин с Семеновым! Это бы вызвало прекрасную реакцию в Советской России!

– Хорошо,– ответила мадам Петри.– Мы должны посоветоваться с дочерью.

2

Вечером, вернувшись от Марка Шагала в Ванс, мы сели за столик маленького, вынесенного на городскую площадь ресторанчика, и барон, вздохнув, сказал:

– Как горько, что мы бессильны расширить работу по выявлению и сохранению русских культурных ценностей... Вот,– он подвинул мне листочек бумаги,– попробуй позвони. Это номер телефона виллы в Ницце, там живет русский старик, у него уникальнейшая коллекция, еще более богатая, чем у Петриковских...

Со мной он не говорит, ему успели доложить про мое отношение к Олимпиаде...

Я набрал номер. Ответил англичанин.

– Представьтесь,– сказал он.– Мой старший друг разговаривает только с теми, кому он назначил беседу.

Назвался.

– Ви гофорит по-русски?! – В голосе деланная радость. Прямо-таки счастлив человек на другом конце провода.– Я ведь знай ваши книги! Как это мило с ваша сторона, что вы позвонили к нам! Только мой старший русский друг не будет с вами гофорит. Я даже не стану тревожить его сообщением о вашем звонок, ведь вы согласны со мною,– зачем доставлять сердечные хлопоты и без того больному человеку?! Они, люди старых идей, не могут понять нас с фами... Так что я никак не могу помощь вам ф этом деле... Да-да, конечен, я так люблю русский искусстфо, у меня разрыв сердца от него, но я нишем не могу помощь, милий господин Семенофф...

– Вот так,– сказал барон, внимательно слушавший этот жестокий разговор.– Видишь?! Это к старику уже прилипли спекулянты из Лондона! Они специально учат мальчиков русскому языку, подводят их к тем, кто очень стар; молодцы из Лондона играют роль поклонников нашего искусства, получают право наследования, а потом картины Врубеля, Серова, Кустодиева, Ге и Левитана оказываются в сейфах банков Цюриха. Что ж мы должны предпринять, а?

Мы вернулись за наш столик; официант-студент, подрабатывающий тут летом, принес бутылку «розе», спагетти с томатным соусом и несколько листков бумаги. Барон поковырял вилкой спагетти, есть не стал:

– Я такой молодой только потому, что не ем на ночь и не пью вина. Ну давай, начну сочинять, а ты исправляй ошибки...

31.08.80 Министерство культуры СССР
Ванс
Франция

Хочу еще раз поблагодарить за столь для меня лестный прием во время блистательно проведенной Олимпиады.

Вернувшись в Лихтенштейн, я и мой друг Юлиан Семенов продолжили нашу работу по поиску, выявлению и охранению произведений отечественного искусства. На Лазурном Берегу, в Вансе, что под Ниццей, мы посетили дом г-на Петриковского, где собрана уникальная коллекция русской живописи – Репин, Леви-

тан, Саврасов, Степанов, Малявин, Сверчков, Пастернак, Федотов, Лансере. Г-н Петриковский трудился всю жизнь, создав ферму куроводства, и на заработанные деньги смог купить свою коллекцию. Ныне он стар и тяжко болен, и нам пришлось вести переговоры о судьбе картин с его женою – немкой, которая выучила русский язык. Переговоры, которые мы провели, позволят надеяться, что судьба полотен выдающихся русских живописцев будет под нашим контролем и мимо нас в будущем не пройдет.

К сожалению, другая коллекция, столь же интересная, выявленная мною в Ницце, принадлежит старику, вокруг которого вьются англичане. Увы, эта коллекция из-под моего контроля вышла. Что будет с нашими картинами в будущем, предсказать весьма трудно.

В этой связи я все более и более склоняюсь к мысли о том, чтобы создать «Комитет за честное отношение к русскому искусству, которое оказалось на Западе». Этой мыслью я поделился с Марком Шагалом, который сегодня принял меня и моего друга Юлиана Семенова в своей вилле «Колин» в Сен-Поль-де-Ванс. Марк Шагал поддержал эту идею. Я намерен провести переговоры с рядом видных общественных деятелей об их вхождении в мой комитет, что, бесспорно, поможет нам еще более активно развернуть нашу работу. С самым искренним уважением

Эдуард Фальц-Фейн

3

Наутро я позвонил в Лондон, рассказал Джеймсу Олдриджу об идее Фальц-Фейна.

– Оставьте ваш боннский адрес,– сказал он.– Я напишу.

Попрощавшись с бароном, договорившись увидаться через месяц, я отправился в Швейцарию, к Жоржу Сименону.

Тот, выслушав меня, сел к столу: «Всецело поддерживаю идею о комитете честности. Все произведения русского искусства, похищенные бандой Гитлера, должны быть возвращены Советскому Союзу. Я готов оказывать посильную помощь в этом необходимом деле».

В Бонне меня уже ждало письмо от Олдриджа: «Считаю делом чести принять участие в работе "Комитета за честное отношение к русскому искусству, которое оказалось на Западе"».

Барон, Марк Шагал, Жорж Сименон, Джеймс Олдридж в комитете честности – очень здорово!

Встретился с двумя крупными западногерманскими промышленниками. Рассказал о поиске. Обещали ответить в самые ближайшие дни; настрой – в пользу присоединения к комитету честности; это было бы крайне важно.

Запланировал встречу с доктором Паулем Колером.

Звоню Георгу Штайну. Важно выслушать его отношение к этой идее.

– Я считаю своим долгом примкнуть к комитету. И для начала необходимо обсудить мой последний меморандум. Да, я подготовил некий экстракт – предстоящий поиск должен стать еще более мускулистым. Мы не вправе спотыкаться на неудачах, их будет немало, потому что нам противостоит глухая стена противников, и надо быть готовым к тому, что будем ударяться лбом об эту стену и с нее будут падать кирпичи нам на головы (я не мог себе представить, сколь пророческими были слова моего друга из Штелле!), но пусть остановится трус; мужчины бьются до конца! Меморандум я намерен отправить тебе завтра.

4

«Дорогой Юлиан!

Мне удалось получить самые подробные топографические карты Кенигсберга. Думаю, что, соотнося архивные данные, которыми мы теперь располагаем (старые форты, склады вермахта, замки вокруг бывшей столицы Восточной Пруссии, бывшие монастыри), с этими картами, можно и нужно проанализировать возможность дальнейших поисков в тех районах.

По поводу работы в ФРГ.

Полагаю, что нам следует «классифицировать» грабителей культурных ценностей во время второй мировой войны, чтобы было – в дальнейшем – сподручнее работать. Думаю, что нижеследующая «классификация» будет правильной, ибо даст нам возможность экономить время для поисков и, главное, упорядочить всю работу. Обозначим «блоки» поиска цифрами:

1. «Акции руководителей рейха».

2. «Акции отдельных главарей рейха во имя «личного» грабежа, для увеличения персональных коллекций».

3. «Размер награбленной добычи».

4. Где хранилось награбленное:

а) до 1945 года?

б) до сего дня?

в) что было найдено?

г) что сокрыто по сей день?

По пункту первому:

1а) «Государственный» грабеж в с е х культурных

ценностей Европы для третьего рейха;

1б) грабеж для «высшей школы нацистской партии» в Аненхайме (Каринтия);

1в) грабеж для «музея фюрера в Линце»;

1г) грабеж для «музеев воинов» в Кенигсберге, Потстдаме, Вене и Берлине. (Эти музеи планировались в первую очередь ОКХ, то есть Главным штабом фельдмаршала Кейтеля, а затем уж и рейхсфюрера СС Гиммлером.)

Для выполнения этого плана «государственного грабежа» в 1940 году был создан «Айнзац-штаб Альфреда Розенберга».

Глава штаба – генерал Герхард Утикаль.

Главные сотрудники – около 250 человек.

Окончательное решение о создании штаба подписано лично Адольфом Гитлером в сентябре 1940 года.

По указанию фюрера все работники штаба приравнены в правах к офицерам вермахта и СС.

Дислокация штаба (ЭСТРР)– Берлин.

Отделения штаба – Белград, Салоники, Будапешт, Париж, Ницца, Брюссель, Амстердам, Копенгаген, Осло, Минск, Рига, Таллин.

Секретный координационный центр – Ратибор в Силезии.

Специальные склады – замок Нейшванштейн, монастырь Бухс, монастырь Банц, замок Кольмберг, соляные разработки в Бад-Аусзее.

Особые склады для хранения архивов – Франкфурт-на-Майне, позднее Хунген возле Гессена и замок Банц возле Бамберга; отдел «музыкальные инструменты и партитуры» имел для хранения монастырь Райтенхаслах возле Бургхаузена (ОББ).

Особый склад для хранения культурных сокровищ, предназначенный для «высшей школы НСДАП»,– замок Аненхайм возле Клагенфурта, замок Брюк под Линцем, монастырь Фрауенберг, замок Кремсмюнстер и Хохенфурт на Дунае.

Особая группа «Закупки»– директор Дрезденской галереи профессор Поссе и обергруппенфюрер СС принц фон Гессен; их «опорные пункты» в Брюсселе, Флоренции и Берлине; «работали» исключительно для «музея фюрера в Линце».

«Особая команда»– Эберхард фон Кюнсберг, кото-

рый поначалу специализировался исключительно на захвате «политических архивов»: в Париже (Кэ д'Орсэ) царские архивы в летней резиденции царской семьи под Ленинградом, в Афинах, Белграде и Варшаве.

По поводу оставшихся трех позиций (особенно о личных коллекциях главарей рейха) я намерен написать тебе в самое ближайшее время, поработав определенное время в архивах.

Твой Георг Штайн».

5

...Я сел к столу, подвинул магнитофон, включил записи Высоцкого и разложил перед собою бумаги. Их было много, сотни страниц. Я разбирался несколько дней в архиве, который собрался за прошедшие месяцы, и потом начал писать план работы.

1. С кем надлежит увидаться? Адреса. Телефоны.

2. Какие музеи посетить? С кем побеседовать?

3. Какую кампанию следовало бы начать на страницах здешней прессы? (Если, конечно, получится.)

4. Обобщить сделанное по всем странам Западной Европы. Привлечь возможно большее количество людей к поискам.

Переговоры, которые я провел из боннского Бюро «ЛГ» в следующие несколько дней, были вполне обнадеживающими. Дело двинулось; потом двинется еще сильнее, обретя организационную форму.

Телефонный звонок раздался за полночь.

– Простите, что я вынужден оторвать вас от работы так поздно.

– Кто говорит? – удивился я: здесь принято сразу же представляться собеседнику.

– Я не стану вам представляться, я обязан выполнить то, что мне поручено, и прошу вас не перебивать меня, хотя бы в первой части беседы. Позвольте мне задать вам вопрос: как долго нам предстоит терпеть вашу активность по поводу мифических ценностей, похищенных во время войны?

– Подождите минуту, я отвечу...

– Если вы хотите подключить к аппарату диктофон, чтобы записать нашу беседу, я прекращу ее, вам это невыгодно.

– О'кей,– ответил я,– не буду.

(А про себя: «Ну и дурила! Задним умом сильны, это точно! Во всех радиомагазинах теперь продают приставки к телефону, которые позволяют – секретарям или дежурным – записывать на пленку диктофона содержание важных звонков к шефам».)

– Позвольте мне проанализировать ряд вероятий. Если вы станете продолжать поддерживать публицистическими выступлениями и поездками по Европе одержимых, безответственных людей, возможно следующее: во-первых, вас привлечет к ответственности один из тех, кого вы изволите называть «бывшими». Вы встречались со многими из них, любой готов обратиться в суд хоть завтра.

– Я в чем-либо преступаю закон?

– Мы с вами говорим серьезно, извольте и вы, со своей стороны, вести беседу соответствующе.

– «Мы»? Кто это «мы»?

– Мы это мы, и хватит об этом. Итак, один из граждан ФРГ привлечет вас к суду. Он обвинит вас вполне квалифицированно, ибо ему станут помогать хорошие юристы. Вы не сможете обратиться за помощью к адвокату, ибо это стоит как минимум пятьсот марок, редакция откажет вам в такого рода финансировании. Мы вас разорим, и вас будут вынуждены отозвать отсюда ваши же друзья. И вас не похвалят в Москве за такого рода отъезд... Не перебивайте, не надо, вы же знаете, что будет именно так... Существует, однако, вторая возможность прекратить вашу активность: у вас уже набралось около пятнадцати штрафов, полиция скажет свое слово, ваши права будут арестованы, и вы, таким образом, будете лишены возможности путешествовать, будете жить в деревне, где нет даже автобуса, в десяти километрах от пресс-службы правительства, не иметь возможности посещать ваших друзей и знакомых в Швейцарии и Нидерландах – смерть для журналиста. Вы уедете сами, по собственной просьбе, но вас также станут бранить в Москве за потерю бдительности и все такое прочее, не так ли? Третье вероятие прекращения вашей активности: мы организуем в двух-трех изданиях правого толка цикл хвалебных статей о вас. Сейчас это не так действует в Москве, но кое-какие результаты даст, если мы хорошо и ответственно сработаем текст, а мы сработаем его именно так. Естественно, я не говорю о таких категориях, как случайность: авария на трассе во время дождя, хвороба, пожар в доме во время ваших частых отсутствий...

Голос моего собеседника низкий, рокочущий; это не русский человек, однако великолепный филолог, акцент чуть заметен.

– У вас есть что-либо ответить мне?

– Да, вот, думаю...

– Я готов отзвонить через пару дней... Потом можно было бы увидаться – в случае если вы серьезно отнесетесь к нашему звонку... Намерены сообщить в посольство?

– Бесспорно.

– Разумно ли?

– В высшей мере.

– Вам порекомендуют, исходя из доброго отношения, прекратить активность, меньше ездить, соблюдать аккуратность в выборе собеседников, не так ли?

– Вас это волнует?

– Бесспорно, мой друг, мы, думается, близки к согласию. Взвесьте все «про» и «контра». Можете продолжать свою работу здесь – вам не будут мешать; но немедленно прекратите обращаться к прошлому – нам это далеко не безразлично.

– Я думаю над вашими словами. Правда, они анонимны, вы, понятно, не назоветесь?

– Вы невероятно сообразительны. Спокойной вам ночи и добрых сновидений.

Трык. Отбой.

Ну и черт с ним, с гадом.

(Нет, неверно. Это я сейчас так храбро и «безразлично»; тогда я наново просчитал весь разговор на «мозговом» ЭВМ и пришел к следующим выводам: за рулем я сижу с сорок пятого года; я подолгу ездил в США и Сингапуре, Испании и Португалии, Ираке и Японии, в Кюрасао, Италии и Швеции – странах, где движение на трассах, пожалуй, труднее, чем здесь; по поводу штрафов «василек» сказал точно, но наказывали меня, как правило, за неверное место парковки: когда опаздываешь на мероприятие, где угодно кинешь машину, из двух зол надо выбирать наименьшее. Впрочем, вопрос о том, откуда гад знал про пятнадцать штрафов, здорово засел в голове, признаюсь откровенно. По поводу обращения в суд «бывших». Конечно, это удар ниже пояса. Но я готов идти на риск: на Западе выходят мои книги, какие-то гонорары мне платят – обращу их на защиту своей активности; а как же иначе? По поводу «хвороб». Ну и что? А кто вообще здесь гарантирован от такого рода с л у ч а й н о с т е й, запланированных стратегами террора за много месяцев до того, как д е л о должно случиться? Волков бояться – в лес не ходить...)

Так что, провертев в памяти еще раз беседу, я пришел к выводу, что особых оснований для «съеживания» нет. Впрочем, то и дело я возвращался памятью к встрече со Скорцени в Мадриде, в семьдесят четвертом. Он тогда – за время чуть ли не восьмичасовой «беседы, перешедшей в ужин»,– ни разу не назвал меня по фамилии. И здесь – похоже; анонимный собеседник не назвал меня, не произнес слов «Янтарная комната», «русская живопись», «иконы». Мне-то все ясно, о чем он говорил; другому – нет; если допустить, что кто-то будет слушать эту беседу, он не сможет понять, о чем шла речь.

«Ерунда,— сказал я себе,— при всех «контра» здесь есть «про»: они соблюдают правила игры; видимо, меня пугают «дедушки» типа фашиста Саксе».

6

...Назавтра я выехал в Западный Берлин, потому что там должна состояться встреча в высшей мере интересная.

Дело в том, что все мои попытки побеседовать с рядом свидетелей по делу поиска Янтарной комнаты и наших картин никак не завершались успехом. Только-только договоришься о дате свидания, приезжаешь — бац, что-то непредвиденное мешает человеку принять или встретиться на нейтральной почве; обидно, что именно в Западном Берлине, а в ФРГ — в Мюнхене и Ганновере такого рода неудачи подстерегали меня чаще всего: едешь, все обговорено заранее, гонишь, чтобы, упаси господи, не опоздать — и на тебе: «увы, болен; нет-нет, у меня неудобно; да-да, созвонимся, как только стану на ноги».

И — с концами...

Когда я рассказал об этом в кругу коллег (здесь добро относятся к поиску Штайна), журналист из Парижа сказал, что стоит повстречаться в Западном Берлине с человеком, дал его телефон и объяснил, что он писать об этом деле не сможет, «но вам, думаю, станет понятнее, отчего люди порою избегают встреч с вами».

Я поинтересовался, отчего он не хочет писать, ведь материал, судя по всему, сенсационен; коллега ответил: «Мои родители погибли в концлагере, я не могу прикасаться к ужасу бесконечное число раз,— пока я устал, но боюсь оказаться сломленным».

...Я сидел за рулем, мощно рычал мотор «фордика», вечер был прекрасным, сентябрьским, синеватым, в лесах начали проступать первые «багрец и золото»; маршрут отработан, привычен — через красивую, такую небольшую, но очень разную Германскую Демократическую Республику, на северо-запад; не устаю восторгаться аккуратностью, красотою, великолепным отношением к природе.

...В Западном Берлине я поселился возле аэродрома Темпельхоф, набрал номер, переданный мне французским коллегой, услыхал хриплый голос, назвался, договорился о встрече. Человек отвечал странно, д е р г а н н о, и я отчего-то вспомнил позавчерашний разговор с анонимным г а д о м, но сразу же одернул себя: коли об этом думать серьезно, надо уезжать домой.

Я встретился с человеком, которого знает французский журналист, в маленьком кафе, что в районе Кантштрассе.

Собеседник то и дело оглядывался, поправляя черные очки,

нервно прикуривал одну сигарету за другой; сигареты французские, крепкие, «галуаз»; рвут горло, щиплют глаза.

Допив кофе, он достал мятые страницы, протянул мне:

– Возьмите, пожалуйста! И спрячьте!

– Почему?

– Так надо.

– Тогда я не стану брать, ищите кого иного!..

– Нет. Это должны взять вы!

– Что это?

– Исповедь! Напечатайте ее у себя!

Я быстро пролистал несколько машинописных глав:

– Можно назвать ваше имя и фамилию?

– Черт его знает... Посадят, конечно. Но я уже перестал бояться. Когда слишком долго ждешь, надеешься, что власти вот-вот примут меры, а меры не принимаются, тогда неминуемо наступает апатия... Или ярость... Желание взять кинжал сменяет усталость, наплевать мне на все с высокой башни, пока-то ведь жив, а там – будь что будет, или мне больше всех надо? Я ведь не просто человек,– мой собеседник усмехнулся,– я – агент секретной службы... Бывший...

– Позвольте просмотреть вашу исповедь здесь, тем более если вы, как агент секретной службы, перестали бояться ареста...

Он снова закурил, быстрая усмешка тронула его обветренные губы, жившие какой-то своей, особой жизнью, отдельно от лица:

– Я кажусь непоследовательным, вы правы... Нервы разболтаны... Читайте, чего там, я подожду...

> «Даже те, кто хорошо знает подоплеку происков в защиту нацистов, лишились дара речи от того, что сообщила ежедневная газета Западного Берлина «Шпандауэр фольксблат». Согласно официальному сообщению прокуратуры и земельного суда Западного Берлина: а) нацистская партия НСДАП не является по законодательству запрещенной; б) ни один закон, оказывается, не препятствует восстановлению этой партии после войны.
>
> От законов союзников, имеющих, вне сомнения, полную силу в Западном Берлине, представитель прокуратуры отмахнулся как от «отмененных». Прокуратура Западного Берлина актом за номером 2PJS666/77 возвратила ряд вещественных доказательств о деятельности восстановленной в 1974 году НСДАП, а именно: бюст Гитлера (занятен комментарий прокуратуры: «Это предмет искусства, не имеющий символического значения»);

большую картину с изображением Гитлера; список членов НСДАП; ворох различных «партийных документов» – все это «несущественно» как доказательство...

Спрашивать себя, как же возможно, что западноберлинские политики, обычно заигрывающие с оккупационными властями США, позволили себе объявить недействительными законы, в выработке которых принимал участие и Вашингтон? Дело в том, что восстановленная партия НСДАП работает почти исключительно на пропагандистском материале, доставляемом в Западный Берлин из США! Более того, правительство США спокойно налюдает за тем, как тонны нацистской макулатуры прибывают из Нью-Йорка в ФРГ и в Западный Берлин.

ЦРУ уже с 1967 года стало внимательно изучать «руководителей НСДАП» и их проповедников. Один из активнейших неонацистов и закулисных деятелей НСДАП – Манфред Рёдер («Черный родник», «Источник») доставил в ФРГ 400 тысяч марок. Он привез эти деньги из «информационной поездки» в США, совершенной им в сопровождении главы американских нацистов Герхарда (Гарри) Лаука. Он посетил вождя Ку-Клукс-Клана и издателя фашистской газеты «Либерти белл» (Западная Вирджиния, 25270) Георга Дитца, эмигрировавшего в США немца, являющегося также ответственным за издание ведущей газеты американских нацистов «Вайт пайер». (Он принадлежит к узкому кругу входящих в состав ВУНС (Всемирного союза национал-социалистов) людей Матта Кёля, главы разветвленных в международном масштабе фашистских организаций.)

Рёдер принял участие во встрече представителей 40 фашистских организаций со всего света в Новом Орлеане, собравшихся по приглашению шефа «Новохристианской церкви крестового похода» Ямига К.Вернера, известного «соратника» ЦРУ! Коричневые отряды неонацистов, «украшая» наш город плакатами со свастикой, читают на обратной стороне бирку производителя – «Линкольн, Небраска, 68 506, США».

Боевая группа Арнольда Вильфрида Прима, получившая пресловутую известность как одна из наиболее преступных фашистских банд во Фрейбурге (ФРГ), затем влилась в НСДАП здесь, в Западном Берлине, причем «фюрер боевой группы» был выдвинут на должность

«руководителя открытых выступлений» НСДАП. В заслугу ему ставится организация целого ряда «удавшихся» пропагандистских акций нацистов, таких, как раскрашивание фасада советского АПН в Западном Берлине надписями типа «Чтоб ты сдох, Красный фронт!», плакатами с изображением свастики. К числу особых заслуг относится водружение нацистского флага на колонне Победы!

...Я не могу понять, почему люди, которые случайно попадают на многочисленные нацистские митинги, устраиваемые почти всегда беспрепятственно, не возмущаются и, даже наоборот, начинают выражать симпатию! Это особенно непонятно, потому что, хочется в это верить, большинство людей достаточно хорошо знают, что собой представляет нацистская партия, и, следовательно, имеют иммунитет против этой заразы. Разумеется, не каждый, кто попадает на такой митинг, начинает рукоплескать нацистам, но, к сожалению, пассивность доказывает огромные масштабы незнания о гитлеризме, особенно среди молодежи. Я считаю, что мы являемся свидетелями ужасного преступления, совершаемого, в частности, ведомствами просвещения Бонна и Западного Берлина, потому что на уроках истории ученики получают искаженную картину прошлого, при этом умышленно, я считаю, умалчиваются события самого мрачного периода германской истории, фашистского рейха, а это не может не способствовать пропагандистам НСДАП, мечтающим о возрождении третьего рейха!

Посмотрите на «приговор», вынесенный верховным судом ФРГ, который признает, что убийцы, вершившие правосудие в фашистских судах, включая палача Фрайслера и нацистского «народного суда», действовали «в рамках закона»! «Немецкое правосудие», главная опора Гитлера, потопившее в крови всякое сопротивление, эта бесчисленная каста подлых тварей, на которой лежит такая же вина, как и на бандах из СС и СА, оказывается, подчинялось законам! Чьим же?!

Помимо открытых и «замаскированных» групп НСДАП существуют более сотни других фашистских организаций, среди которых наиболее мощной является ХИАГ («Общество взаимопомощи бывших членов СС»), насчитывающая в своих рядах 20 тысяч активистов. За спиной новой НСДАП стоят не только нацисты из

США, но также и ХИАГ, чьим «рейхсфюрером» является не кто иной, как эсэсовский палач Вюббельс!

Легальные и конспиративные группы НСДАП тесно между собою связаны, хотя «легальные» публично, к месту и не к месту, открещиваются от контактов с воссозданной НСДАП. Например, доктор Фрей, фюрер легальных нацистов, редактор мюнхенской вполне нацистской газеты «Дойче националь цайтунг», постоянно отрицает связь своего ННС («Немецкого народного союза») с НСДАП и тем не менее посылает любимого автора, Вильфрида фон Овена, бывшего референта рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса, а ныне агента ЦРУ и издателя выходящей в Латинской Америке фашистской газеты «Ла-Плата Руф», на тайную встречу ведущих нацистов ВУНС («Всемирный союз национал-социалистов») в Ларус. Там он встречается, разумеется, «совершенно случайно», с руководителем датского филиала НСДАП Кнудсеном. Здесь же был «лидер» Матт Кёль, который, как я слыхал, закончил академию ЦРУ. Мои бывшие шефы в секретной полиции утверждали, что все они не имеют никакого отношения к «Немецкой гражданской инициативе» гитлеровца Манфреда Рёдера, однако и у Кёля и у Кнудсена на куртках были нашиты эмблемы именно этой организации. Таким образом, фактически, только в секретной полиции хотят видеть разницу между отдельными нацистскими группами, а на самом деле они отлично знают, что собой представляют эти бандиты.

Наглядным примером тесной связи всех ультралевых, действующих безнаказнно, стала встреча 120 руководящих лидеров НСДАП в местече Триель, район Люхов Даннеберг, состоявшаяся в гостинице господина Пачке. «Боевая группа Прим», «Фашистский фронт», «Боевой союз немецких солдат», «Немецкий караул», «Национал-социалистическая боевая группа "Великая Германия"», «Немецкая гражданская инициатива», «Немецкий крестьянский союз», «Немецкий народный союз», ХИАГ и другие в течение четырех дней заседали под председательством «рейхсфюрера» Вильгельма Вюббельса в присутствии гостей и делегатов из-за рубежа, даже французский «Ордр нуво» («Новый порядок») прислал сюда своего шефа Мюнье, а «Всемирный союз национал-социалистов» представлял доверенное лицо аме-

риканского нациста Лаука – некий Отте из Брауншвейга. Службой тайной полиции, на которую я тогда работал, были зарегистрированы многие номера автомобилей, к сожалению, только третья их часть, потому что потом мой аппарат разлетелся вдребезги! Никто не помешал нацистам, никто из них не был арестован, хотя они на глазах у толпы расправлялись с представителем власти, а ведь я был тогда этим представителем!

После этого случая я написал рапорт руководству, в котором сформулировал все те положения, которые привели меня к выводу о серьезности нацистской угрозы, которая ныне существует здесь.

Все мои доказательства были признаны вздорными. Поэтому я и передаю все это в руки прессы».

«Вы поймете после встречи с этим человеком, отчего встреч с вами избегают,– вспомнил я слова французского коллеги в Бонне.– Если действительно неонацисты безнаказанно раскручивают такую активность, то становится ясным страх,– и тех, кто прошел фашистские концлагеря, и тех, кто об этом ужасе лишь слышал».

Мой новый знакомый по-прежнему жадно затягивался, обжигая желто-коричневые, обкуренные пальцы; губы его подрагивали, он часто облизывал их острым языком.

– Стиль, конечно, дурен,– сказал он,– но я не претендую на то, чтобы писать, я считаю необходимым это обнародовать...

– Но отчего у нас? Вы пробовали сделать это здесь, у себя?

– Конечно, пробовал. Даже если какая-нибудь маленькая левая газета и решится на это, ее никто не услышит... На телевидение и радио меня просто-напросто не пустят...

– Отчего вы с такой настойчивостью хотите опубликовать ваш материал?

– Потому что я историк. Да, по образованию я историк, будь проклята эта великая и прекрасная наука, лучше б мне к ней не прикасаться, ведь она так заразна, ибо учит логике и правдивому исследованию фактов! Понимаете, американцы – нация молодая, слишком рискованны. Несмотря на их великолепный прагматизм, они считают, что могут использовать гитлеровцев и их молодых учеников, не заражаясь при этом скверной нацизма. Они полагают, что в борьбе за их идеалы, против идеалов ваших хороши все союзники... Смотрите, они использовали нацистов при перевороте в Чили и Уругвае; они поддерживают контакты с фашистами в Италии, они всячески опекают «бывших» в Португалии... Всю грязь на себя берет ЦРУ, они ведь такие благородные, такие де-

мократичные... Тихие американцы, что вы хотите... Я отправил письмо коменданту американской зоны Западного Берлина, поблагодарил его от имени моих бывших подопечных нацистов за помощь, приходящую из США. Копию отправил в наши газеты и журналы. Конечно, письмо никто не напечатал, свобода слова подтверждается правом хозяина не печатать то, с чем он не согласен...

...По прошествии нескольких недель этот человек был арестован; суд, однако, не нашел достаточных оснований для обвинительного вердикта; следствие тем не менее еще не закончено.

Потом мне сообщили, что несчастного подвергли принудительной психиатрической экспертизе; признан совершенно здоровым.

И тогда я решил обратиться к данным, обобщенным секретной службы Бонна, о неонацистских организациях, которые я получил в ведомстве печати федерального правительства у очаровательной фрау Шпикер.

С отчетом секретной службы, составленным довольно элегантно (отчего я употребил именно такое слово, объясню позже), я познакомился с карандашом в руках. Читатель поймет, отчего я обязан был держать карандаш в руке, прочитав выборку, приготовленную мною после трех дней работы над этим официальным документом.

«Правоэкстремистские течения в ФРГ характеризуются тем, что явно или тайно отвергают основы демократии и требуют тоталитарной формы правления, включая принцип власти фюрера...» (Ниже контрразведка ФРГ перечисляет характерные для правого экстремизма черты):

а) Национализм, презирающий мысль о взаимопонимании народов. Неуважение гражданских прав. Расистские высказывания, явное или скрытое возрождение антисемитизма.

б) Особой отличительной чертой правоэкстремистских течений является оправдание нацистского режима, подчеркиваются «позитивные черты» третьего рейха, приуменьшаются его преступления, отрицается его несправедливость.

(А подпольные склады оружия не являются «особой отличительной чертой» неонацистов? А их подпольные ячейки в армии и полиции? А банды Гофманна, устроившие взрыв на ярмарке в Мюнхене, когда погибли десятки людей? А налеты на отделения компартии? Издевательства над детьми турецких рабочих? Осквернение могил на еврейских кладбищах? Это что – не признаки неонацизма? – *Ю.С.*)

Правоэкстремистские издательства, типографии, а также службы

сбыта выпустили и распространили большой тираж, пропагандирующий гитлеровский рейх. Сюда относятся пластинки, магнитофонные ленты, музыкальные кассеты и фильмы с частично некомментируемыми оригиналами, с записями нацистских мероприятий, а также воспоминания и эмблемы нацистского государства.

(Но ведь все это запрещено и союзниками, да и конституцией ФРГ! Как же власти могут спокойно констатировать фашизм? Разве вправе люди видеть нацизм подле себя и не давать ему бой? Или это не в интересах влиятельных сил ФРГ, точнее говоря, тех сил в этой системе, кто имеет все основания любить «великое прошлое»? – *Ю.С.*)

Неонацистские группы стремились к тесному сотрудничеству с зарубежными нацистами. Причем особую роль поставщика обширного пропагандистского материала сыграла «Зарубежная организация возрождения нацистской немецкой рабочей партии» американца Гарри Лаука.

Число зафиксированных разбойничьих выступлений правых экстремистов возросло почти до одной тысячи. Это самая большая цифра с 1960 года. Во всех случаях велось следствие, частично безрезультатно.

На конец 1978 года 427 членов правоэкстремистских организаций были заняты в различных сферах государственной деятельности (федеральных, местных, коммунальных).

Из общего числа членов правоэкстремистских организаций 218 человек состоят на службе в федеральных органах и заняты в следующих учреждениях: трое относятся к федеральной пограничной службе, 92 – к военному ведомству, из которых 64 – военнослужащие, а 28 – вольнонаемные. Военнообязанные сюда не включены.

Из 133 членов правоэкстремистских организаций, состоящих на службе в местных органах, заняты: в школьном образовании – 47, в юстиции – 17, в финансовых органах – 11, в полиции – 15.

Из общего числа 427 членов правоэкстремистских организаций на государственной службе состоят: 309 – чиновники или солдаты, 74 – служащие, 44 – рабочие; 309 чиновников и солдат подразделяются на следующие служебные категории: высшие инстанции – 36, ответственные посты – 87, служащие среднего звена – 120, просто служащие – 66.

(Объективизм хорош, слов нет; но по отношению к нацизму он стал возможен лишь после нашей Победы, когда в Нюрнберге начался «Суд народов». До тех пор пока новые нацисты работают в высших инстанциях (!) государства, не скрывая своего нацистского существа, он невозможен, точнее говоря, преступен. – *Ю.С.*)

...Правые экстремисты (в частности, НДП) открыто признают,

что будут добиваться «нового порядка», в котором «взаимоотношения человек – народ – жизненное пространство» будут составлять «неразделимое жизненно важное целое». Наивысшим руководящим принципом этого «национал-демократического общественного строя» будет «благосостояние нации», то есть интересы общества будут превыше интересов личности.

«Национал-демократический общественный строй» заставляет граждан страны ввиду требуемой доминирующей установки «нация как единое целое» играть роль слепых «получателей приказа».

Во всей пропаганде НДП со дня ее основания проявляются нацистские и особенно расистские черты. Неудивителен тот факт, что предшественниками НДП были правоэкстремистская «Немецкая имперская партия» и запрещенная в 1952 году «Социалистическая имперская партия». Партия и сейчас не отошла от расово-биологических и основанных на нацистской идеологии авторитетах положений времен своего образования.

Расистские черты правых ультра выражаются в лозунгах: «Кровь стремится к крови», «Биологическая сохранность нации». Поэтому НДП потребовала выезда из ФРГ всех иностранных рабочих, так как якобы «существует угроза возникновения новой турецкой державы на территории «бывшего германского государства». Партия призвала своих членов к началу «национального движения за рейх» с целью государственного «сплочения всех немцев внутри закрытого германского региона».

Партия воспевает нацизм. «Молодые национал-демократы» потребовали присуждения Нобелевской премии мира Рудольфу Гессу.

Новые нацисты хотят создать государство, которое было бы похоже или по крайней мере напоминало нацистское. Они требуют: «Должен прийти национал-социализм, чтобы вычистить это дерьмовое государство». «Или мир будет национал-социалистским, или же погрязнет в хаосе еврейского материализма». Нацисты восхваляют учреждения и деятелей нацистской диктатуры, особенно Гитлера, которого называют «великим сыном Германии»; они утверждают, что «идеи фюрера переживут века, его личность будет светить, пока жив хоть один политик».

Главное стремление неонацизма – преуменьшить серьезность преступлений нацизма или даже совсем отрицать их. «Только дурак или предатель может сегодня утверждать, что хоть один еврей был уничтожен в концентрационном лагере. Тела сжигались в крематориях, чтобы избежать эпидемий. Все свидетели-евреи, которые болтают об уничтожениях в газовых камерах, дали ложные показания. Уже доказано, что «еврейские банды в американской военной форме» заставили построить фиктивные газовые камеры в концлагере

Дахау и печи для сжигания людей в Освенциме, чтобы сделать «агитматериал против немцев»».

Все неонацистские круги являются расистскими по своей сущности. По их мнению, немцем может быть только «сознательный и убежденный ариец, так как только арийцы зажигают свет, который тушат низшие расы». «Нужно защищать» чистоту крови, так как «мы – северный народ. Метисы биологически не могут быть немцами».

Руководитель мюнхенских правых экстремистов доктор Фрей присудил «Европейскую премию свободы немецкой Национальной газеты» бывшему полковнику авиации Геринга Гансу Ульриху Руделю из Куфштейна, который передал деньги (10 тысяч марок) в распоряжение проживающего в Италии военного преступника, бывшего майора Рёдера (который по приказу Гиммлера и Геббельса расстрелял 20 июля 1944 года участников антигитлеровского заговора).

Неонацистские тенденции проявляются и в военно-спортивной группе Карла Гейнца Гофманна из Герольдсберга. Он поддерживает связи с неонацистскими кругами. Так, например, 26 февраля 1978 года он с группой членов своей организации принимал участие в одном из мероприятий союза «Бюргер унд Бауернинициативе» в Гамбурге. Группа Гофманна проводит военные игры с использованием списанных военных передвижных средств (танков) и саперных приборов, в которых участвуют до 400 членов. Во время проведения мероприятий члены группы одеты в форму, подобную СС. В июле 1978 года во дворце Ермройт, купленном на деньги любовницы Гофманна, состоялась манифестация, в которой участвовало 250 правоэкстремистских демонстрантов. Гофманн, который поддерживает контакты с доктором Фреем из Мюнхена, дал интервью иностранным корреспондентам, в частности из Италии, Канады, Испании и Нидерландов. Гофманн пытался также путем переиздания зарубежной пропагандистской литературы усилить контакты с заграницей, в особенности с Англией и Францией. «Группа Гофманна» издает газету «Коммандо» на нескольких языках, которая должна вербовать себе сторонников за границей. (Именно этот Гофманн повинен во взрыве в Мюнхене на ярмарке, где погибли десятки людей. Но его даже не привлекли к суду. – *Ю.С.*)

Правоэкстремистская группа «Немецкая культура европейского духа» основана еще в 1950 году поэтом СА Гербертом Бёме (любимец Гитлера. – *Ю.С.*); насчитывает в своих рядах свыше тысячи членов (в основном люди свободных профессий, художники, поэты, люмпен), разбита примерно на три дюжины подгрупп. Цель – сохранение «национального культурного наследия».

Бывшие руководящие деятели нацизма, такие, как коммерсант Вернер Кёппен, Генрих Гертле из Мюнхена, редактор печатного лист-

ка «Клютер Блэттер», а также друг и помощник Геббельса – Вильфред фон Овен, оправдывают в своих рефератах нацистский режим и называют сопротивление Гитлеру «предательством».

«Дойче вохенцайтунг», вторая по величине правоэкстремистская еженедельная газета, провозглашает, что немецкая нация достигла «за 12 лет третьего рейха самых больших успехов за всю свою историю»; Гитлер является «великой движущей силой века», который «со своим национал-социализмом лишь один понимал великую идею нашей нации». «Не приди Гитлер к власти, диктатура пролетариата стала бы действительностью».

Немецкие правоэкстремисты, особенно неонацистские группировки, усилили свои связи с единомышленниками за границей, как с отдельными лицами, так и с организациями и издательствами в Бельгии, Бразилии, Дании, Франции, Великобритании, Австрии, Швейцарии, Испании и США.

Особо следует выделить «Зарубежную организацию возрождения национал-социалистской немецкой рабочей партии – НСДАП – АО». Основанная в 1972 году американцем Гарри Лауком из Линкольна, штат Небраска, организация усилила ныне свою пропагандистскую деятельность. В ФРГ ввозится огромное количество значков и листовок с фашистскими крестами, а также антисемитские нацистские лозунги, призывающие к применению силы. (А что власти ФРГ делают для того, чтобы положить конец нацистской пропаганде, поставляемой ныне из-за океана? Власти бездействуют, совершенно; оказывается, прав мой новый западногерманский знакомый, поплатившийся за свою честность и свободой и достоинством! – *Ю.С.*)

Деятельность Лаука активно поддерживается неонацистскими американскими издательствами «Либерти белл пабликейшнз», «Уайт пауер пабликейшнз» и журналом «Дойтчер бефрайунсфронт», который редактирует американец немецкого происхождения, а также издательством канадского немца Эрнста Кристофа Цюнделя из Торонто.

Тесные контакты с немецкими неонацистскими группами, а также с Лауком поддерживают англичанин Михаел Мак Лафлин, председатель неонацистской организации «Английское движение», и Альберт Арманд Эриксон из Антверпена, председатель нацистской организации ФМО. Оба неоднократно посещались немецкими воинствующими нацистами.

...Органы уголовного розыска ведут следствие против нескольких нацистов, которые, кроме прочего, подозреваются в разрисовке фашистскими крестами и лозунгами памятных мест концлагеря в Берген-Бельзене и кладбища в Херстене, округ Целле.

На быстро растущее число правоэкстремистских выступлений федеральные и местные власти реагируют всеми имеющимися законными средствами. (Ха-ха! Не надо бы так педалировать на слово «законные». Мол, с фашизмом мы боремся, руководствуясь нормами демократического правосудия. Именно к такого рода «борьбе» с правыми экстремистами призывали в чилийской газете «Меркурио» проамериканские силы. Чем такого рода «борьба» с ультраправыми кончилась, мы помним: фашистским путчем. – *Ю.С.*)

...Однако правоэкстремистские группы и их сторонники не представляют опасности для свободолюбивого демократического строя Федеративной Республики Германии.

Впрочем, поводом для беспокойства являются по сравнению с прошлым годом значительно возросшее число правоэкстремистских бесчинств и растущая готовность к вооруженным столкновениям. Это относится прежде всего к террористической активности неофашистов. Тот факт, что неонацистские круги усилили свою активность, несмотря на все меры судебных органов, показывает, что также и в будущем необходимо предпринять все усилия, чтобы вовремя «раскрыть проведение намечаемых бесчинств и насильственных действий с целью своевременного их предотвращения» – так завершается официальный отчет.

Итак, «опасности нет».

Речь идет лишь о «раскрытии намечаемых бесчинств» неонацистов, но отнюдь не о борьбе с ними, как того требуют условия Потсдамского соглашения.

Право слова для нацистов гарантирует конституция.

Право пропаганды и сборищ нацистов охраняет полиция.

...Восстановление нацистской НСДАП берет свой отсчет от начала активности НДП, созданной фон Тадденом. Может быть, стоит послушать вполне «конституционных» лидеров НДП, выставляющей ныне своих кандидатов на выборы в органы власти ФРГ? Может быть, стоит послушать, с какими программными заявлениями НДП обращается к избирателям? Может быть, целесообразно проанализировать, как видят недавнюю историю мира шефы НДП – «родители» восстановленной НСДАП?

Привожу отрывки из документа, распространенного неонацистами, о том, как надо воспитывать молодежь ФРГ, что следует вдалбливать ей в голову, дабы фашистское прошлое, несколько видоизмененное, стало некой моделью будущего:

«Двадцать седьмого февраля 1933 года голландский коммунист совершает поджог рейхстага. Вслед за этим президент Гинденбург издает «Постановление об охране народа и государства»; КПГ запре-

щена, ее вождей отправляют в созданные для этой цели концентрационные лагеря. 21 марта 1933 года в гарнизонной церкви Потсдама, что символизировало сознательную верность прусскому величию Гинденбурга, состоялось торжественное открытие рейхстага, во время которого Гитлер выступил с программной вступительной речью. В июне 1933 года запрещается СДПГ, все другие партии самораспускаются. Создание новых партий запрещено. После перевыборов рейхстага 12 ноября 1933 года в нем представлены лишь депутаты от НСДАП. 1 мая 1933 года празднуется ликвидация классовой борьбы путем народного единения... Во время референдума 12 ноября 1933 года 95,1 процента избирателей голосует за политику правительства. Повсеместно вводится «принцип единого вождя – фюрера Адольфа Гитлера»...

После увеличения вооруженных сил западных держав и Советской России Гитлер вынужден объявить введение всеобщей воинской повинности. (Когда я впервые услышал программу неонацистов во время съезда НДП в Кертче, куда мне удалось попасть, я, скажу откровенно, не очень-то верил в реальность того, что слышал. Но это – реальность, увы.– *Ю.С.*)

Экономическая нужда Австрии способствует росту требований присоединения к рейху. Когда там во время правления канцлера Шушнига начинается правительственный кризис, Гитлер вводит 12 марта 1938 года в Вену войска. Во время «цветочного похода» происходит – при ликовании населения – присоединение Австрии к рейху.

Союзная комиссия под руководством англичанина Ренсимана рекомендует после длительного визита в Судетскую область в сентябре 1938 года срочно предоставить 3,5 миллиона судетских немцев возможность присоединения к рейху. По требованию Франции и Англии чешское правительство соглашается с передачей Судетской области рейху. Детали регулируются в Мюнхенском соглашении. Чешский президент Гаха по уполномочию правительства подчинил 15 марта 1939 года свою страну германскому верховенству. В Прагу вступают германские части, учреждается протекторат Богемия и Моравия. (Именно так это событие описывалось в учебниках, изданных министерством пропаганды Геббельса. Спустя сорок два года Геббельса цитируют «борцы ума» из вполне легальной НДП! – *Ю.С.*)

Итак, за короткое время после прихода Гитлера к власти удается уменьшить безработицу с 6 до 1,5 миллиона человек и позднее полностью ликвидировать ее; идея классовой борьбы вытесняется идеей народного единства. Это ощутимо отражается на рождаемости, которая после непрерывного снижения во времена веймарской демократии резко возрастает. Отсутствие какой-либо оппозиции, запрет контро-

ля над правительством и правящей партией, аресты активных политических противников, отдельные нарушения принципов правового государства прощаются Гитлеру народом за все прочие успехи рейха. Расстрел 30 июня 1934 года без суда и следствия главарей СА во главе с Ремом также воспринимается как достойные сожаления, но неизбежные жертвы мирной революции. Смерть Рёма лишь предотвращает кровавую борьбу за власть между вермахтом и СА. Нюрнбергскими законами 1935 года проводится различие между имперскими гражданами немецкого происхождения и инородцами. Германские предложения создать еврейское государство в Восточной Африке или на Мадагаскаре были сорваны западными державами и еврейскими организациями, а затем потеряли свою актуальность в результате начавшейся второй мировой войны. Позднее евреев в рейхе и оккупированных областях заключают в концлагеря. Относительно методов и масштабов «окончательного решения» еврейского вопроса в военные годы, в частности относительно числа убитых в концлагерях, мнения резко расходятся. С уверенностью можно сказать, что на земле германского рейха не было лагерей смерти и не применялись удушающие газы. (А Майданек, Дахау, Освенцим? А свидетельства жертв – советских военнопленных, на которых врачи-изуверы ставили опыты? А показания французов, поляков, немецких антифашистов? А решение Нюрнбергского трибунала, наконец?! – *Ю.С.*)

...Сделанное Гитлером предложение Польше добровольно передать Германии в качестве последней ревизии Версальского договора Данциг и предоставить свободную автомагистраль и железную дорогу в направлении Восточной Пруссии отклоняется Варшавой. Усиливается преследование немцев в Польше, сопровождающееся убийствами и заключением в польские концлагеря.

Из-за этого германский вермахт вступает в Польшу. Гитлер надеется, что это будет ограниченная кампания. Однако Англия и Франция объявляют Германии войну. Причастен к началу трагедии также президент США Рузвельт, который уже давно науськивал Англию на рейх.

...Польша завоевана в течение трех недель.

Сделанное Гитлером 6 октября 1939 года мирное предложение западным державам отклоняется. 9 апреля 1940 года германские войска вступили в Данию и Норвегию.

10 мая 1940 года германские части вступают в Нидерланды и Бельгию. После взятия Роттердама Нидерланды капитулируют 14 мая, Бельгия – 28 мая.

Очередное мирное предложение, сделанное Гитлером Англии, 19 июля 1940 года вновь отклоняется.

25 марта 1941 года Югославия присоединяется к пакту трех дер-

жав. Спустя два дня в результате путча к власти в Белграде приходит дружественное России правительство. Вслед за этим германские войска вступают в Югославию, которая капитулирует.

10 мая Рудольф Гесс, как заместитель фюрера, летит в Англию, чтобы достигнуть мира. Его не выслушивают, а арестовывают. 22 июня начинается атака Германии на Россию. Атака лишь упреждает запланированное русское нападение на Германию»...

Достаточно?

Вот он — нацизм в белых рубашках! Легальный, «демократический» фашизм, представители которого свободно выступают со своей программой в прессе и по телевидению.

Там, на съезде неонацистов, мне стало до конца ясно, отчего не только бывшие узники концлагерей, но и другие люди так часто отказывались от встреч с красным журналистом, помогающим Георгу Штайну...

ГЛАВА, в которой рассказывается об операциях израильской и американской разведок, о нацистском генерале Гелене и о том, что умные и дальновидные люди на Западе не намерены слепо следовать рецептам зоологических антисоветчиков

1

...Возвращаясь мыслью к тому злополучному звонку анонима, я заново пересмотрел свои записи, сделанные в связи с одним из феноменальных маневров западных разведок.

Если здешние спецслужбы хотят «разыграть» человека, то его «разыграют» по абсолютным рецептам, сбоя не будет, все взвешено до сотых долей миллиграмма, понятие «мелочь» исключается абсолютно. (Естественно, употребляя слово «розыгрыш», я имею в виду отнюдь не веселую новогоднюю шутку; слово это в данном случае идет от некоего холодного, механического отношения к личности как «блохе», «детали» задуманной впрок и сугубо тщательно проведенной на ЭВМ комбинации.)

История, которой я занимался, началась не сегодня, и все ее воистину змеиные извивы не могут не поражать изощренностью ума и коварством замысла.

Дело в том, что в свое время в мире широко комментировалась история с пропажей 200 тонн урана, похищенных в Западной Евро-

пе израильской секретной службой. Однако непосредственное знакомство с обстоятельствами дела, посещение мест событий, беседы с некоторыми участниками этой аферы привели меня к несколько иной оценке всей этой операции.

...В Висбадене на главном почтамте я взял телефонный справочник и начал исследовать его в поисках координат фирмы «Асмара». Данных в справочнике не оказалось.

– Начинайте поиски следов «Асмары» в Брюсселе,– посоветовали мне в Бонне,– так будет вернее...

Брюссель. Рю де Маро, чуть ли не в самом центре столицы; здесь расположена штаб-квартира мощной корпорации СЖМ, «Сосьете женераль де миньер»: тихие коридоры, тяжелые двери; тишина, чинность. Именно тут месье Дени Девез и встретил одного из руководителей «Асмары», химической фирмы ФРГ,– Герберта Шульцена. «Будет небольшой прием у меня в особняке,– сказал Шульцен,– это в Хетенхайне, десять километров от Висбадена, я был бы счастлив, найди вы время посетить меня».

Девез, заместитель начальника управления по добыче и распределению урана в гигантской корпорации СЖМ, был приглашен в Висбаден в связи с обстоятельством нимало не странным: «Унион Миньер», сестринская компания СЖМ, после изгнания ее из Конго искала новые рынки, новых клиентов, а в этом деле медлить нельзя, пассивность наказуется банкротством, успевай поворачиваться. Поэтому предложение, с которым пришел Шульцен, не могло не заинтересовать бельгийских урановых дельцов: «Асмара» предлагала выгодный контракт на покупку двухсот тонн урановой руды, что хранились близ Антверпена, на берегу канала в небольшом городе Олене.

– Мы намерены,– объяснял Шульцен бельгийскому урановому боссу,– наладить массовый выпуск нефтехимикатов. Для этого нам необходим уран как катализатор. Понятно, перед тем как мы начнем его употреблять в этом качестве, товар следует соответствующим образом обработать. Мы это сделать не в состоянии, но фирма «Чимагар» в Марокко готова выполнить наш заказ. Мы отправим туда уран, купленный у вас, на судне; потом получим его готовым и пустим в работу в цехах нашего концерна.

– Мне хотелось бы посмотреть цеха вашей «Асмары»,– сказал Девез,– все-таки, знаете ли, уран в центре Европы – штука опасная.

Шульцен неторопливо закурил, подвинул к себе пепельницу,– дело, ради которого он приехал в Брюссель, оказалось на грани провала: не показывать же бельгийцу фанерный сарай, называемый складом «Асмары»,– туда не то что уран, бочку пороха не завезешь, разнесет в щепы.

– Хорошо,– ответил Шульцен,– приезжайте к нам в Хетиенхайм, там все посмотрим и обсудим...

Смотрели, однако, не «цех», а роскошный особняк Шульцена; любовались искусственным штормом, который он устроил в своем бассейне; приглашенные «инженеры» не говорили по-французски; Девез не понимал по-немецки; объяснялись на английском; обед был изысканным; собеседники – весьма интеллигентные люди; времени на осмотр «ц е х о в» не осталось, однако Девез уехал вполне удовлетворенный знакомством с умными и престижными компаньонами, которые не мелочились, цену приняли максимальную; выгоды очевидны.

Однако когда Девез начал оформлять сделку, пути его пересеклись с «Евратомом», подразделением Европейского Экономического Сообщества.

«Евратом» поначалу отказался санкционировать сделку СЖМ с «Асмарой».

– Поскольку,– разъяснили месье Девезу,– химическое предприятие ФРГ не в состоянии само обработать уран и намерено отправить его в Марокко, которое не является членом ЕЭС, мы не вправе разрешить вам этот бизнес, очень сожалеем.

Девез позвонил в Висбаден. Шульцен, посоветовавшись со своим компаньоном и основателем «Асмары» Гербертом Шарфом, срочно вылетел в Милан. Здесь он встретился с синьором Серторио, одним из руководителей итальянской компании СИАКА. После окончания второй мировой войны компания влачила жалкое существование, ее доходы составляли смехотворную сумму – полторы тысячи долларов в год. Однако, поскольку Серторио числился одновременно директором компании «Чемиталиа», которая имела некое подобие заводишка, Шульцен позвонил из Милана Девезу:

– Мой друг, в Милане находится крупнейшее предприятие химической индустрии «Сиака-Чемиталиа». Оно готово принять наш уран к обработке, Италия – член ЕЭС, так что теперь я не вижу никаких затруднений с «Евратомом».

Серторио, присутствовавший при этом телефонном разговоре, заметил:

– Вы думаете, у нас хоть кто-нибудь знает, как обрабатывать этот самый уран?

– Мы пришлем инструкции вместе с грузом,– ответил Шульцен, тяжело глядя в надбровье собеседника.

– Люди не хотят работать...

– Разве выгоды, которые вы получите от нашего заказа, не побудят их к активности?

Выгода была, и притом немалая. Что называется, деньги были

положены на бочку, много денег, поди откажись от них...

– А если Девез потребует наш финансовый отчет? – спросил Серторио.– Мы же на грани банкротства, мы – пшик, а не фирма.

– У меня же он этого не потребовал! – Шульцен пожал плечами.– А если и потребует, придумаем, как ответить.

Ночью, перед отлетом в Кельн, Шульцен сделал несколько звонков. Следствием одного из них явился немедленный приказ, отправленный анонимным боссом швейцарскому юристу Герду Ланцу: «Срочно организуйте судоходную корпорацию с филиалом в Цюрихе, но базирующуюся на Либерию».

На следующий день, когда Шульцен, вернувшись в Висбаден, начал подготовку к встрече с людьми «Евратома», Ланц посетил здание в Цюрихе на Пеликанштрассе, где находилась либерийская посредническая корпорация. Он представил необходимые документы о своей кредитоспособности, оплатил связь с Монровией, столицей Либерии, и через двадцать четыре часа получил оттуда ответ: «Согласны с вашим предложением». Еще через двенадцать часов было провозглашено создание новой судоходной «Бискайн трэйдерс шиппинг корпорейшн». В течение суток директорами этой корпорации числились некие либерийские бизнесмены Сатиа, Бойд и Нгуба. Их новый офис был зарегистрирован на Брод-стрит, 80, Монровиа. Однако по этому адресу три новоявленных директора так и не появились. Это были «либерийские зицпредседатели Фунты», подобные тому, которого описали Ильф и Петров,– подставные фигуры, они жили за счет того, что соглашались на то или иное «зицпредседательство». Через сутки, получив солидное вознаграждение, они лишились своих постов, передав управление корпорацией некоему «турецкому подданному»– это не шутка и не параллель с Остапом Бендером, это констатация факта: человек без родины, имеющий квартиры и офисы по всему миру, Бурхом Ярисаль, новый владелец корпорации, действительно шестьдесят лет назад родился под Стамбулом. Коротышка, налит мускулами, изысканно одет, непьющий и некурящий, с пронзительными черными глазами-буравчиками, Ярисаль ведет жизнь воистину таинственную. (Уже после описываемых мной событий он, например, создал в Генуе очередную судоходную «Фалкен шиппинг корпорейшн», однако, как выяснилось, в это время он вовсе и не проживал в Италии, а находился в Женеве. По-английски «Женева» и «Генуя» очень близки в произношении, на этом можно и г р а т ь; Ярисаль играл умело. Несмотря на то что он жил в Швейцарии, его имя было занесено кем-то в телефонные книги Генуи того периода. Телефон функционировал на квартире человека, занимающегося снабжением судов «Фалкен корпорейшн». Звали этого человека Жузепина Милена Герра. Но найти даму – тоже весьма таинственную – нелегко, ибо она

работала под другим именем – Кроко.

– Я не имела и не имею никакого отношения к корпорации «Фалкен»,– таков был ее ответ.– Ярисаль? Не помню, мало ли людей приходится встречать по делам, бизнес есть бизнес.)

Вот этот-то человек, владевший разного рода судоходными компаниями, человек без адреса, но с многими адресами, позвонил в Гамбург посреднику по продаже судов Уве Мюллеру:

– Мне нужен – весьма срочно – хороший, не очень большой корабль, стоимость которого не превышала бы 175 тысяч фунтов.

– Каких фунтов? – уточнил Мюллер.

Действительно, каких? Есть ведь и английские и еще бог весть какие.

– У меня нет бизнеса с Израилем,– словно бы поняв собеседника, отрезал Ярисаль,– я имею в виду единственно возможные, английские.

Через три недели владелец «либерийской судоходной корпорации» Ярисаль приобрел западногерманское судно «Шееренберг». Фирма Августа Болтена запросила полтора миллиона марок. Ярисаль не торговался, деньги были переведены немедленно. Такая стремительность, столь некоммерческий подход к сделке (как не проторговаться?) привели одного из владельцев гамбургской фирмы к мысли: «Видимо, наше судно приобрели неспроста, нелегальная торговля оружием или что-то в этом духе». Однако эта мысль так и осталась мыслью западногерманского бизнесмена,– зачем ею делиться, так недолго и потерять выгодного клиента!

Сразу же после купчей судно было передислоцировано из Гамбурга в порт Роттердама, но уже под новым именем – «Шееренберг-А»; при этом Ярисаль успел исключить его из списка кораблей ФРГ и поднял на корме флаг Либерии. Зачем это было ему нужно? Дело понятное: в отличие от западногерманских законов порядки Либерии позволяют хозяину набирать такую команду и в таком составе, какая ему подходит,– никаких тебе регистраций и формальностей. Прежний капитан был уволен, команда списана на берег, Ярисаль набрал в порту Роттердама марокканцев, испанцев и моряков из Лиссабона – вполне разноязычная команда, никто никого не знает. Ярисаль позвонил своему знакомцу, инженеру Кернеру, и предложил ему взять на себя высокооплачиваемую должность старшего механика. Тот согласился. Следом за Кернером прибыл капитан.

Ранним утром 10 октября Шульцен подписал в Брюсселе контракт с Девезом на приобретение двухсот тонн урана за 190 миллионов бельгийских франков.

Сразу же из своего офиса Девез отправился в «Евратом», к юристу атомного пула Феликсу Обусье, причем на этот раз не один, а с «че-

ловеком престижа».

Обусье внимательно выслушал Девеза – как-никак один из главных урановых специалистов Западной Европы – и, поглядывая на молчавшего спутника Девеза, поинтересовался одним лишь:

– Какие мы получим гарантии, что с ураном ничего не случится на пути следования из Бельгии в Италию? В конечном счете, море не подвластно юрисдикции «Евратома», не так ли?

Сидевший рядом с Девезом «человек престижа»– месье Жан Миколайчик, сын одного из создателей концерна «Сосьете женераль дю миньор», являвшийся при этом президентом «Уранового департамента» корпорации, заметил рассеянно:

– Пусть «Асмара» господина Шульцена даст вам гарантию, пришлет официальное письмо в «Евратом». Разве этого недостаточно? Только, пожалуйста, сделайте все это конфиденциально – как с его, так и с вашей стороны; мы гарантируем все остальное.

Рассчитано было верно: гарантия Миколайчика – весомая гарантия; «Евратом», получив филькину грамоту «Асмары», даже не поинтересовался, насколько серьезна фирма, претендующая на 200 тонн урана. Санкция на продажу была получена; а через час рация на «Шееренберге-А» приняла команду: «Немедленно возвращайтесь в порт Антверпена».

Через несколько дней судно было загружено ураном. Никто из экипажа – а Ярисаль снова поменял его – не знал, что везут, когда и кому. Отплыли ночью. Взяли курс на юг, потом повернули на восток, миновали Гибралтар, миновали Сицилию, взяли курс на Кипр. Ночью к «Шееренбергу-А» пристало военное судно. Ящики с ураном были в полной тишине перегружены. Корабли разошлись в ночи, не обменявшись положенными по морской этике приветствиями.

Уран был доставлен, как писали на Западе, в Израиль.

...Теперь исследуем, кто же был создателем «Асмары», фирмы, сыгравшей ключевую роль в этом деле.

Во время нацистской тирании Герберт Шарф был офицером генерального штаба вермахта, то есть работал бок о бок с Кейтелем и Йодлем, с теми, кто готовил приказы о поголовном расстреле комиссаров, об уничтожении в лагерях смерти «недочеловеков»– русских, поляков, украинцев, сербов, евреев; когда Гитлер приезжал в генштаб, он приветствовал его воинственным «Зиг хайль!». Поражение бесноватого лишило Шарфа всего, а он – при Гитлере – имел много. Чтобы «избежать неприятностей», в 1945 году Шарф уехал из поверженного третьего рейха в Африку, получив кое-какие контакты от старых знакомцев – итальянских фашистов, часто приезжавших в штаб Кейтеля. Здесь Шарф приобрел новые с в я з и, зара-

ботал деньги и осенью 1948 года вернулся в Висбаден, открыв под американским покровительством свой офис. Его свели с Гербертом Шульценом, сыном одного из текстильных магнатов. Шульцен тоже служил Гитлеру, был летчиком Люфтваффе, свирепствовал на Восточном фронте; переучился в конце войны на пилота первых реактивных самолетов, однако рывок Красной Армии лишил Гитлера возможности бросить свои реактивные «Мессершмитт-262» на Лондон.

Вот эти-то два офицера нацистской армии и организовали компанию «Асмара». Сначала они получили заказы от американских оккупационных войск, дислоцировавшихся в районе Висбадена; после этого отладили контакт с министерством обороны ФРГ; Шульцен стал кем-то вроде негласного консультанта НАТО по вопросам, связанным с «химическими проблемами». Шульцен был приглашен на отдых в Израиль, там с ним завязали тесную дружбу люди из секретной службы; «нацистский пилот», как шутливо и дружелюбно они его называли, был еще более внимательно исследован; хозяев не шокировало фашистское прошлое аса – тот не мог не быть антисемитом, сие – необходимая религия третьего рейха.

Шульцен вернулся в ФРГ, Шарф передал ему бразды правления; нацистский летчик стал ключевой фигурой в операции с похищением урана.

Впрочем, с «похищением» ли? Вот в чем вопрос. «Операция» предполагает преодоление к р и т и ч е с к и х трудностей; а вот «маневр» – это форма игры с заранее оговоренными условиями. Мне сдается, что похищение урана на самом деле было никак не операцией, но маневром. Действительно, внимательный читатель не может не заинтересоваться тем, с какой поразительной легкостью было проведено это «похищение». Ни США, ни странам – членам НАТО н е в ы г о д н о открыто передавать уран израильской военщине – приходилось (да и сейчас приходится) оглядываться на арабский мир, как-никак нефть, энергокризис, возможная катастрофа. Разыгрывается комбинация с «Асмарой» – и волки сыты, и овцы целы. Арабские государства не могут никого обвинить в передаче урана агрессору; была проведена операция израильской разведки, с нее и весь спрос.

Так что же, «похищение» или маневр западных разведок, срепетированный и заранее оговоренный?

Может быть, многолетние разбирательства вопроса о продаже урана дали ответ на этот вопрос? Нет, ибо разбирательство было любительским, отписочным. Даже судебного процесса, хотя бы формального, не было.

Ни один волос не упал с головы Шульцена; процветает Ярисаль,

колесит по миру «турецкий подданный», готовит новые сделки; по-прежнему функционируют господа из «Сосьете женераль дю миньор», а ведь в Западной Европе умеют карать тех, кто проводит незаконные сделки, умеют карать сурово. Отчего же в данном случае «меч правосудия» оказался картонным?

Видимо, тщательное изучение этого вопроса прольет новый свет на обстоятельства передачи урана израильской военщине.

А Шульцена я все же нашел: он по-прежнему живет на своей роскошной вилле; его новая фирма называется «Коллоид-химия». Итак, ныне вместо «Асмара-химия» функционирует «Коллоид-химия»; разница не очень-то существенная, видимо, можно ждать интересных «операций» в будущем.

Вот как здесь работают.

...А уж чтоб прижать Штайна, Шрейдера, меня – стоит ли вообще такое брать всерьез? Здесь в таких случаях говорят: «это – не вопрос»...

2

...Сегодня, во второй уже раз, беседовал с доктором Байцем, председателем Наблюдательного совета концерна «Крупп».

Высокий, поджарый мужчина невероятно элегантен (однако эта юношеская элегантность никак не входит в смешливое противоречие с возрастом – большой вкус надобен, чтобы соблюдать здесь искомую пропорцию. Петр Петрович Кончаловский, в Буграх, у себя в мастерской, в просторном теплом срубе, остро вглядываясь в клубнику – натюрморт, поставленный ему женою Ольгой Васильевной,– сказал: «Живопись – это очень просто, это всего-навсего верный цвет на верное место». Всякое искусство – это вкус; живопись не исключение, как, впрочем, и то, что здесь называют «имэдж» – «создание представления о самом себе». Байц владеет этим искусством в полной мере.)

Офис его находится неподалеку от Эссена, в огромном фамильном парке Круппов; рядом – дворец, где ныне экспонирован музей.

– Появляющиеся то и дело спекуляции в прессе, чтобы помешать нашему деловому партнерству с Советским Союзом,– сказал мне доктор Байц,– фабрикуются в лабораториях Акселя Шпрингера. Шпрингер недавно прислал мне письмо, приглашал вместе пообедать, а предварительно всячески советовал как можно скорее прервать все контакты с Москвою. Я, однако, не внял советам Акселя.

(На столике, стоящем чуть поодаль от рабочего, фотографии доктора Байца с советскими руководителями, с лидерами США, Ки-

тая, Индии, Ирана; таким образом, каждый может видеть диапазон бизнеса концерна.)

– Мы работали и впредь будем работать с Московой, это наш стратегический курс,– повторил Байц; задумался, а потом неожиданно заметил: – Я с тревогой слежу за развитием ситуации в Иране. Знаете почему? Я часто бывал в Тегеране, посещал там университет. Девушки Ирана очень красивы, независимы... Я не думаю, что можно надолго сохранить существующее положение, снова, как и в средневековье, загнав этих прекрасных газелей под паранджу. Невозможно гальванизировать девятнадцатый век. Неужели модель прошлого столь привлекательна? Ведь это противоестественно! Развитие поступательно, это движение вперед, а не назад. Конечно, шах навязал народу невиданные перегрузки. Эти перегрузки действительно были чрезмерны, люди оказались не подготовленными к скоростям.

– Вы думаете, в прежнем Иране думали о подготовке народа к скоростям двадцатого века? – возразил я.– А бралась ли там вообще в расчет категория «народ»? По-моему, в условиях шахского Ирана о народе и не думали.

А потом я поинтересовался отношением доктора Байца к проблеме культурного обмена между нашими странами.

– О, здесь я вижу совершенно еще нетронутое поле деятельности не только для нашего поколения, но и для тех, кто идет следом. Смотрите, каков успех выставки Малевича в Дюссельдорфе! А гастроли Гаврилова! Театр с Бронной, его прочтение Гоголя! Убежден, что каждый здравомыслящий человек обязан помогать процессу нашего взаимоузнавания в сфере искусства.

– Лично вы, доктор Байц, готовы оказать помощь этому процессу?

– Бесспорно. И самую широкую.

Байц – это Байц, один из крупнейших промышленников мира (к поиску он отнесся с доброжелательным интересом, много говорил о вероятиях).

3

«Дорогой Юлиан!

Пересылаю тебе, как и обещал, документы, «информацию к размышлению», по грабительским акциям частных лиц и нацистских государственных деятелей.

Во-первых, Герман Геринг.

Во Франции он пользовался услугами сотрудника МИДа Э.фон Кюнсберга, генерального директора Поссе и штаба

Люфтваффе. Для личной коллекции Геринга были реквизированы коллекции дома Ротшильда в Вене и отправлены в его замок Каринхалле. Работа штаба Зондер-Люфтваффе была скооперирована с «Айнзац-штабом Розенберга» в октябре 1940 года. Кроме того, группа армий «Север» поставляла в распоряжение Геринга художественные ценности из Царского Села. Часть этих ценностей была найдена в Каринхалле в 1945 году.

Из документов явствует, что сейчас необходимы дальнейшие розыски художественных ценностей, присвоенных Герингом.

...Советник МИДа фон Кюнсберг изъял для своего министра Иоахима фон Риббентропа немало ценностей из Царского Села и Петергофа. Где они? Неясно. Следовательно, необходимы дальнейшие розыски, в первую очередь тщательнейший анализ архива МИДа времен фашизма.

От руководителя ведомства по делам «наследия предков» обергруппенфюрера СС доктора В.Иордана рейхсфюрер Гиммлер получил ценнейшую «готскую коллекцию» из Феодосии и Бахчисарая. Часть коллекции была затем спрятана в Вевельсбурге, часть – в Хохенлихене. Хотя о деятельности Иордана имеются документы, необходимо дополнительное расследование, которое может открыть нам неизвестные пути к поиску похищенного.

...У «генерального наместника Польши» Франка было право самостоятельно распоряжаться всеми польскими художественными ценностями, архивами и частными собраниями без вмешательства и контроля со стороны рейхсминистра Розенберга. Награбленные им ценности находились в столице «генерал-губернаторства» Кракове, под надзором доктора Гоблинца, директора «Института по проведению работ на Востоке» (Краков, Аннагассе, 12). Техническое руководство грабительскими действиями Франка осуществлял по его указу доктор Беренц.

По делу Франка собран достаточный материал. Дополнительное расследование можно не вести; большинство похищенных ценностей было выявлено.

...В деле «генеральных комиссаров» Кубе и Коха есть определенные сложности. Отдельные их акции по грабежу ценностей известны, но едва ли судебно доказуемы, ибо почти все документы похищены. Как похищены, где хранятся ныне, неизвестно. Имеются лишь отдельные сообще-

ния и доклад генерал-фельдмаршала фон Клейста. К сожалению, дальнейшие розыски практически невозможны, поскольку изобличительный материал весьма скуден.

...В архивах США имеется обширный материал, который может служить неоспоримым доказательством размеров грабежей. Только для книгохранилища «Высшая школа СС» до апреля 1945 года из оккупированных областей было вывезено более 4,5 миллиона манускриптов и ценных книг. Все они хранились на территории рейха и Австрии. Кроме того, было реквизировано более 1,2 миллиона еврейских и древнееврейских рукописей.

Советские организации располагают списком похищенных художественных ценностей. Этот список полностью совпадает с описями похищенного штабом Розенберга.

У нас есть точные данные о большинстве вывезенных ценностей и о месте их хранения до 15 марта 1945 года. Нецелесообразно дополнительное расследование о периоде, предшествующем этой дате.

Мы знаем, какие ценности уже возвращены и какие еще не удалось найти. Стоит привести краткий список наиболее важных художественных ценностей, похищенных нацистами.

До сих пор не найдено: около 800 тысяч документов «Института общественных наук» Нидерландов; пропали ценные рукописи двенадцатого – семнадцатого веков из архива и библиотеки еврейской общины «Этс Хаим» в Амстердаме; исчезло около 80 тысяч древнейших рукописей из архива и библиотеки ордена иезуитов в Бельгии; похищена библиотека и архив дома Ротшильда в Париже; не обнаружены до сих пор ценные партитуры Бетховена, Глюка, Вебера и других композиторов из Дижона и Парижа.

Ряд бесценных музыкальных инструментов, украденных штабом Розенберга, пока еще находится в Гамбурге и Ганновере.

Это – по Западной Европе.

Теперь о грабеже советских музеев: не найдены Янтарная комната; около 400 тысяч документов из архива Смоленска; архивы Минска, Вильно, Риги, Ковно и многих других; исчезли собрания картин из Киева, Харькова, Минска и других городов.

Найдены, но не возвращены документы: городской архив Таллина; «Рыцарский архив» Латвии; оба архива на-

ходятся до сих пор в городе Кобленце.

Велик ущерб, нанесенный нацистами еврейским архивам в Европе. Безвозвратно потеряны 1,2 миллиона экземпляров древних рукописей – духовное наследие 6,5 миллиона погибших евреев. Еще 15 марта 1945 года архивы находились в Гессене, но, после того как в первые дни победы попали в руки к американским союзникам, исчезли...

Думаю, такого рода классификация поможет нам в работе по «эвээмовскому» графику поиска.

До встречи

твой Георг Штайн».

...Один из главных грабителей – фон Кюнсберг таинственно исчез после войны, словно в воду канул. Сейчас ему было бы семьдесят пять лет. Где он? В Парагвае? В ЮАР? Скрывается под чужой фамилией?

Обергруппенфюрер СС доктор Иордан, «работавший» на Гиммлера, также исчез. Однако Георг Штайн прав – в этом направлении есть где «копать».

Доктор Гоблинц, «главнограбитель» гауляйтера Франка, мне был ранее совершенно неизвестен. Значит, надо связываться с польскими товарищами. А кто такой «доктор Баренц»? Тоже обитал в Кракове, по Аннагассе, 12. «Переулок Анны» – по-польски. Где он? Что там было? Что есть сейчас?

Я ничего ранее не слыхал о докладе генерал-фельдмаршала Клейстера по поводу награбленных ценностей для палачей Украины и Белоруссии Коха и Кубе.

А вопрос о музыкальных инструментах, похищенных Розенбергом в Западной Европе?! До сих пор хранятся в Гамбурге и Ганновере. А в Гамбурге, кстати, до конца шестидесятых годов жили грабители, работавшие на Розенберга, подвизаясь в качестве «научных» директоров вполне коммерческих картинных галерей.

...Работы много. Каждый документ заставляет начинать поиск все новых и новых людей.

Конечно, одному Штайну это не под силу – нужна помощь, настоящая помощь.

А доктору Паулю Колеру западные «хранители тайн» вряд ли дадут возможность по-настоящему засесть за работу...

Как строить работу дальше?

Пути поиска неисповедимы – иногда один штрих высвечивает громадный «пласт проблемы».

Действительно, беседа с человеком-глыбой в кабачке ночного

Фольприхаузена, упоминание имени профессора доктора Ферлинга и Фогеля, затем беседа в концерне «Кали-Зальц», просмотр странички-отчета профессоров Ферлинга и Фогеля о попытке спасти ценности в шахте «Б» «Виттекинд», затопленные после таинственного взрыва; соотнесение двух этих фактов с обнаружением таких же фамилий во время совещания нацистских партийных бонз, военных и экономистов об организации подземных «депо» для хранения награбленных ценностей – все это, понятно, приводит к весьма серьезным размышлениям. Надо систематизировать поиск. Где этот профессор Фогель? Умер. А его родные? А его архивы? А Ферлинг?

...Пришли новые документы, в высшей мере интересные; план работ на ближайшие недели верстается споро, предстоят интересные исследования.

Стоит прочитать лишь ряд полученных материалов, чтобы стало ясным, как они важны для поиска.

Рейхсминистр хозяйства
Берлин W. 8, 17 сентября 1943
ОВН. 1687/43

Господину рейхсминистру вооружения и военной промышленности – министерство вооружения,– от г.капитана с. фон Генрици

Срочно!
С е к р е т н о!

Довожу до Вашего сведения, что на территории рейха есть большое количество естественных, но пока не оборудованных пещер, которые следует учитывать при размещении предприятий. Я упомянул об этом в разговоре с Вашим ассистентом Шульц-Хеннингом. Ведомство по разведке полезных ископаемых, Берлин W. 8 Беренштрассе, 29-А, должно составить краткий перечень всех пещер.

По поручению подписал
Габель

Кто такой капитан с. фон Генрици?

Это имя неизвестно мне; Штайну – тоже. Кто такой Шульц-Хеннинг? Ассистент рейхсминистра Шпеера, видимо? Звонил дважды в Гейдельберг, пытался найти Шпеера, ответ однозначен: «В горах, работает».

А кто такой Габель? По чьему «поручению» он подписал письмо?

Вот сколько вопросов, которые возникают от прочтения одной

лишь странички...

Перейдем ко второму документу:

Рейхсминистр оккупированных восточных областей

Берлин
W. 35/30.12.43
Раухштрассе 17/18

N 4242/43. R. Std.

Уполномоченный по делам ведомства «Древней и Новой истории»
профессор доктор
Х.Райнерт

Рейхсминистру
А.Розенбергу
Берлин W. 35
Маргаретенштрассе, 17.

Относительно: «Института Древней и Новой истории» в Киеве.

Господин рейхсминистр!

В докладе господина рейхсминистра Украины Коха от 7.12.1943 написано следующее: «"Институт Древней и Новой истории" в Киеве, с отделениями в Каменец-Подольском и Кракове, должен быть переведен в Кенигсберг.

Руководство остается за профессором Штампфусом».

Это решение господина рейхсминистра Коха неправильно, поскольку оно мешает осуществлению научных и политических задач, над которыми работает институт после эвакуации из Украины многочисленных музейных ценностей периода германской и индогерманской древней истории.

Мое предложение таково: для собранных нами неповторимых ценных киевских экспонатов германской и индогерманской истории в «новых восточных областях» следует создать новые хранилища внутри рейха, например в Южной и Средней Германии: там есть возможность заниматься восстановлением и реставрацией фонда и продолжать научную работу...

Я заинтересован в скорейшем решении вопроса, так как должен отдать соответствующие распоряжения относительно дальнейшей эвакуации музейных ценностей.

Хайль Гитлер!

Профессор доктор Райнерт.

T 454 R 5 BL 7266/7267.

Профессор Штампфус «мелькал» в сообщениях об «искусствоведах» в послевоенные годы, однако все мои попытки обнаружить его оказались безрезультатными, хотя он возникал то в Мюнхене, то во Франкфурте-на-Майне, то в Гамбурге.

Профессор Райнерт тоже в «розыске». О нем у меня, однако, очень ограниченные сведения.

И совершенно еще не тронут вопрос об архивах «Института Древней и Новой истории». А без этого трудно продолжать поиск украденных украинских культурных и научных ценностей.

Оперативный штаб рейхсляйтера Розенберга на оккупированных районах — Рига, 28.3.44

При быстром отводе наших войск от Ленинграда в 1944 году в распоряжении «группы Восток» оказалось слишком мало времени. Мы можем упустить возможность увезти все культурные ценности, находящиеся в Нарве. На этом основании был отдан приказ о немедленном начале работ по эвакуации. Выполнением приказа руковожу я, нижеподписавшийся доктор Шпеер. Привлечены к работе СС штурмфюрер Цвибель и два немецких сотрудника.

Для эвакуации ценностей, в том числе документов городского управления, фельдкомендант Нарвы майор Фюрстенберг предоставил в наше распоряжение грузовики. Но эстонская городская управа, видимо, использовала транспорт в своих частных интересах...

Машины отправились в Ревель утром 8 февраля 1944 года. В этот день нами были загружены и отправлены в тыл все экспонаты музея Петра Великого, упакованные в ящики, кроме громоздких предметов и мебели. Была также эвакуирована библиотека музея и коллекция медалей и монет.

Городской архив Нарвы вывезен почти в полном объеме. Из ратуши, в которой размещалась городская управа, были взяты только документы из бюро актов гражданского состояния и перечни семейных хроник, которые безусловно представляют определенную ценность.

Второй этап работы начался 11 февраля 1944 года. Были вывезены все документы, находящиеся в ратуше; архив земельного ведомства; судебные документы; художественные ценности из православного собора (старинная утварь, одежда, картины на библейские темы, иконы).

Доктор Шпеер «Восток» (Рига)
T 454/R.5.BL.2374-2378.

Кто такой Шпеер? Явно не рейхсминистр, а чистый налетчик, руководящий грабежом Нарвы. Ему ассистировали СС – штурмбанфюрер Цвибель и майор Фюрстенберг. Где они? Если читатель внимательно проанализирует документ, то ему станет понятной необходимость и еще одного направления поиска: где те отщепенцы, предатели эстонского народа, помогавшие эсэсовским налетчикам грабить в своих частных интересах?! Я убежден, что ни один из этих нацистских прихвостней, бежавших с нацистами, не был привлечен западными странами к ответственности за грабеж, а ведь воровство карают тут весьма строго. Что же в данном случае молчит Фемида?

И отчего бесценный архив Нарвы, похищенный в феврале 1944 года Шпеером и Цвибелем, до сих пор лежит в хранилищах западногерманского города Кобленца?

4

В ряде газет промелькнуло короткое сообщение: умер ас шпионажа генерал Гелен. Не откликнуться, даже с точки зрения п р о т о к о л а, было нельзя, ибо Гелен в течение десятилетий возглавлял наиболее агрессивную службу в разведке ФРГ, расквартированную в Пуллахе, что под Мюнхеном.

Однако газета «Дойче националь-цайтунг» не ограничилась коротким некрологом, а поместила огромный материал под заголовком: «У него был ум профессора, сердце солдата, чутье волка». Слова эти придуманы не в редакции, а произнесены коллегой Гелена, бывшим директором ЦРУ Даллесом.

При каких условиях перекрестились пути двух супершпионов? Когда Даллес работал в Швейцарии и налаживал свою разведслужбу в Западной Европе? Или, быть может, он еще раньше пытался вступить с Геленом в контакт, чтобы обратить его в противника фюрера? Ведь тогда «профессор-волк» руководил нацистским шпионажем против Советского Союза,– ценное было бы приобретение для ястребов.

Нет, все было не так.

Старые нацисты перечисляют на страницах своей газеты заслуги умершего единомышленника: «Гелен поддержал Власова и помог ему создать «организацию по освобождению восточных народов от большевизма». Если бы начинания Гелена получили большую поддержку, то победа над русскими была бы одержана наверняка».

Дружба Гелена с Даллесом состоялась в те дни, когда советские и американские солдаты встретились на Эльбе, освободив Германию от ужаса фашизма. Именно тогда Даллес подружился с гитлеровским

генералом, обсудил с ним задачи на будущее, обменялся крепким рукопожатием и отправил Гелена вместе с его штабом и архивом за океан. Что же было в архивах Гелена? Ясное дело, разведывательные данные об СССР – боевом союзнике США, с которым тогда еще действовало соглашение о взаимной помощи. Гелен предложил Даллесу реестр изменников, готовых поменять хозяев: раньше служили нацистам, в июне сорок пятого изъявили готовность работать на американскую разведку,– деньги не пахнут.

«Секретные материалы Гелена,– продолжает газета,– сыграли большую роль в том, чтобы американцы смогли вовремя переоценить ценности. Опьяневшие от успехов победители поняли наконец всю правду. Более семидесяти процентов сведений о Советском Союзе, находящихся в разведке США, исходили от Гелена».

...Старые нацисты оказывают медвежью услугу Белому дому. Еще бы! Оказывается, человеком, который еще до Фултона, до речи Черчилля, летом сорок пятого года начал отсчет времени «холодной войне», был большой друг ЦРУ, нацистский генерал Гелен, исповедовавший расистскую теорию Гитлера и сражавшийся за нее до последнего дня.

«Гелен был патриотом,– заключает газета,– он отдал свою жизнь служению отечеству. (Какому? Третьему рейху? Или же имеется в виду его послевоенная работа в Пуллахе? – *Ю.С.*) Когда Гелен услышал, как руководитель социал-демократической фракции в бундестаге Веннер заявил, что, мол, видите ли, Красная Армия не имеет агрессивных целей, генерал вновь насторожился. Его выступления против «новой восточной политики» (читай, против реальной политики Бонна. – *Ю.С.*) вызвали кампанию травли. Мы встали на защиту патриота. Гелен откликнулся на эту кампанию, написав нашему главному редактору, доктору Фрею: «Вы же знаете, я не могу открыто высказывать свои партийно-политические взгляды, поскольку в прошлом я служил большому, единому делу...»

«Большим, единым делом» Гелена был нацизм, то есть антикоммунизм.

Он считал, что «кампания против него» быстро не кончится. Что ж, он считал правильно. Те люди в ФРГ, которые помнят нацизм, а также и те, кто страшится его повторения, отнеслись к факту появления такого рода панегирика в адрес фашистского генерала во вполне легальной мюнхенской газете с гневом и отвращением.

5

«Пересечение путей» наших культурных ценностей, похищенных нацистами, с аппетитом английских «меценатов» пока еще точно не доказано. Однако мне удалось узнать кое-что об «аналоге», то

есть о том событии, которое позволяет увидеть тенденцию и представить иные возможности, в иных, так сказать, аспектах.

...Итак, декабрь сорок четвертого. Англо-американские союзники терпели поражение в Арденнах и были вынуждены обратиться к Москве с просьбой о помощи. Советский Союз помог, началось наступление Красной Армии, битва за Краков, удар на Одерский плацдарм,– союзники были спасены от краха.

Но именно в это же время американский генерал Соммэрвал начал вплотную заниматься будущим тех, кто определял при Гитлере военную промышленность рейха. Он обсудил этот вопрос со своим коллегой из Пентагона генералом Стронгом, и проблема «особо секретная, сверхважная» была запущена в работу. И всего через девять дней после подписания безоговорочной капитуляции в Карлсхорсте полковник ВВС США Путт запросил санкцию Пентагона на переброску через Атлантику военными самолетами нескольких немецких ученых, занятых у нацистов проблемой ракетной техники.

А еще через неделю, 23 мая 1945 года, американский военный Роберт Стаур прибыл в Париж. Там он сказал своим самым близким друзьям:

– Я намерен организовать секретный бизнес по массовому выкачиванию мозгов из Германии. Эту идею я намерен продать за самую высокую цену. Отныне Германия должна стать пустыней, с точки зрения интеллектуального богатства этой нации!

К операции Стаура примкнул полковник США Тофтой, и уже на следующий день после прибытия Стаура из американской зоны оккупации Германии в Париж Тофтой открыл сверхсекретную конференцию; его партнерами были высшие начальники Пентагона; переговоры шли по секретному кабелю – «Париж – Вашингтон».

– Мы должны вывезти из Германии триста самых талантливых ученых, и мы вывезем их,– повторял Тофтой,– мы не вправе отказываться от этого, в конечном счете, победитель имеет право на трофеи.

В Пентагоне колебались: такого рода похищение было слишком очевидным нарушением всех международных норм; слишком уж явно Тофтой бросал вызов советскому союзнику,– действительно, против кого работать гитлеровским ученым за океаном, как не против русских?!

Однако реальная возможность вывоза лучших мозгов Германии была столь заманчивой, что военные бюрократы нашли оправдание: «Похищение немецких ученых необходимо лишь для того, чтобы совместно с Россией разгромить Японию».

А те из военных, которые понимали толк в политике, вписали в б у м а г у и такой пункт: «К сотрудничеству не могут быть привле-

чены гитлеровские военные преступники».

Однако «прагматики» не согласились с такого рода определенностью и настояли на хитром примечании, суть которого сводилась к тому, что фашистские награды и знаки внимания, оказанные нацистской партией «творцам вооружений для вермахта и СС», не могут быть поставлены в вину ученым: «Ведь они лишь честно выполняли свой долг перед армией».

Пентагон санкционировал операцию «Вуаль» по вывозу в США,– для начала – «ста голов» из поверженной Германии, самых светлых голов, в том числе создателя «Фау-2» Вернера фон Брауна, любимца фюрера, члена нацистской партии.

Тофтой остался в Париже согласовывать все аспекты плана тотального грабежа интеллектуальных ценностей Германии (кстати, американцы в первую очередь вывезли патентную документацию на несколько десятков миллиардов долларов, не говоря уже о том грабеже «мозгов», о котором идет рассказ. – *Ю.С.*). Стаура полковник отправил в Германию: было необходимо прочесать страну и вывезти всех талантливых ученых. «По моим подсчетам, пара исследователей со светлой головой и смелыми идеями могут оправдать все наши затраты на войну»,– сказал он.

Операция «Вуаль» началась.

...Во время полета в Америку офицера связи Тофтоя и майора Хаммеля – по делам все той же «Вуали» – из кабины вышел сияющий пилот: «Президент только что объявил о капитуляции Японии, мировая война кончена, ура!»

Майор приземлился на военном аэродроме в США, будучи уверен, что его работа по осуществлению «Вуали» закончена: ведь немецкие мозги выкачивались в Америку для того только, чтобы применить их в борьбе против Японии. А война выиграна, против кого же работать этим «великим военным мозгам», если наступил мир на земле?!

На следующий день наивный майор Хаммель был отправлен на закрытую военную базу в Абердин: ему поручили разбирать сорок тонн записей, захваченных как военный трофей вместе с Вернером фон Брауном и его четырьмястами научными сотрудниками. Майор начал работу вместе с Брауном; вскоре к ним подключился полковник Тофтой, а Роберт Стаур продолжал «прочесывать» Германию – аппетиты американских военных росли день ото дня, не о «ста головах» речь шла ныне: «Воруй сколько хочешь, заманивай, сули заработок, только вывези европейские мозги за океан».

Прошло несколько месяцев, и пункт, где говорилось, что сотрудничать можно только с теми, которые не замазаны служением

нацизму, отпал сам по себе. В одном из концлагерей американцы нашли Дорнберга, осужденного по решению Нюрнбергского суда народов как одного из создателей ракеты «Фау-2». Ему предложили покинуть концлагерь и занять место в секретной военной лаборатории ВВС США.

– Что ж, предложение любопытно,– ответил Дорнберг.– Но я стоил миллионы марок Германии, вы это знаете? Готовы ли вы платить мне столько же?

Ему ответили однозначно. Нацист, осужденный в Нюрнберге, поменял кровать в концлагере на особняк на берегу океана.

Американскими охотниками за «немецкими мозгами» были схвачены ведущие ученые ракетчики и авиаторы: «отец» истребителя «Мессершмитт-163» Липпиш; доктор фон Доп, один из создателей бомбардировщика «Юнкерс»; Хайнрих и Теодор Кнаке – специалисты по парашютам и тормозным системам...

(Не отставали, кстати, и англичане: они вывезли к себе «отца» подводной лодки «Метеор» Хельмута Вальтера и предложили ему усовершенствовать лодку в экстренном порядке; против кого же ее планировали ввести в действие, если Япония уже была разгромлена? Вальтер согласился, он был в трудных условиях, ибо – в отличие от американцев – англичане относились к похищенным ученым как к узникам: к тому же Хельмуту Вальтеру, гениальному ученому – этот эпитет родился не в фашистской пропагандистской машине, а значительно раньше,– входили, как в камеру, без стука люди из разведки и допрашивали его часами. Такая же судьба постигла эсэсовского профессора Курта Танка и изобретателя самолетов Вилли Мессершмитта. Вернер фон Браун был «одолжен» американскими хозяевами английским коллегам всего на две недели: каждый день он рассказывал о своей работе сэру Эрвину Дугласу Кроу, который являлся шефом британской ракетной программы.)

Государственный секретарь США Бирнес уже в начале 1946 года начал думать о том, как навсегда «привязать» немецких ученых к военному комплексу Америки. Лучшая агентура ФБР следила за вывезенными «головами». В 1946 году заместитель государственного секретаря Дин Ачесон дал на подпись президенту Трумэну документ, который узаконил вывоз немецких ученых в качестве «военных трофеев» на секретные базы военно-промышленного комплекса США.

В прогрессивном еженедельнике «Национ» появилась в этой связи примечательная, хлесткая публикация:

«Если тебя тянет к преступлению века, стань ученым, сын мой, ты будешь неподвластен закону! Политика за это желание могут –

при определенных условиях – лишить кресла; военного – при определенных обстоятельствах – убьют; промышленник может разориться; но коль скоро ты объявил себя ученым, победители и побежденные станут целовать твои руки и почитать тебя за то, как много их соотечественников ты отправил к праотцам. Громко объяви себя атомщиком или ракетчиком – твое будущее обеспечено!»

Несмотря на протесты, ибо среди вывезенных в США «мозгов» то и дело обнаруживались фашистские администраторы от науки, не имевшие к творчеству никакого отношения, люди военно-промышленного комплекса США цепко держали в руках свою добычу. Через несколько месяцев после того, как Трумэн дал санкцию на открытое проживание похищенных ученых, всех обитателей секретных военных баз США погрузили на автобусы и под полицейским эскортом вывезли в маленький пограничный городок Сьюдад-Реалес, где была соблюдена формальность: немецкие ученые обратились с просьбой о предоставлении им американского гражданства к консулу США, сидевшему на самой границе с Мексикой. Там же им были вручены заранее напечатанные паспорта. Новоявленных «граждан США» погрузили в автобусы и под тем же эскортом полиции и ФБР увезли на военные базы – продолжать работу по «отражению советской военной угрозы».

...Умели американцы брать трофеи, что и говорить... А как бы пробиться в особняки ряда генералов США и Англии, «поработавших» в послевоенной Германии, чтобы получить там доказательства хищений наших музейных ценностей, вывезенных Розенбергом?!

...НЕ ЭПИЛОГ

Утром я не выходил из-за стола, перерабатывая пьесу для «Современника», посвященную проблеме поиска. Я работал до самого вечера, «вхруст», как писал Пастернак, а это значит, ты перестаешь понимать, что такое усталость, и все время чувствуешь мышцы спины, и слышишь музыку, самую любимую песню, которая не только не мешает тебе, а, наоборот, помогает, бодрит; и ты с юмором замечаешь в ночном городе стертые лица соглядатаев, мелькающие у тебя за спиной, потому что ты устремлен в завтрашний день, когда будет главная радость – продолжение дела.

...Не знаю, что такое «предчувствие», в какой мере оно согласуется с наукой, ее новейшими открытиями (или, наоборот, со старыми догмами, так тоже бывает), но последние дня меня не оставляло предчувствие: что-то должно произойти.

Причем если вечером я засыпал с ожиданием дурного, то утро было радостным; постоянно ждал новых телефонных звонков, или

телеграмм, или писем с сообщениями о находке, или – еще лучше – о находках.

...Позвонил Борис Уманский; взволнован; неудивительно – в его-то положении...

– Я отправил вам срочное письмо, господин Семенов.

– Но я должен уехать.

– Какая жалость! Немного подождать не можете? Письмо крайне важно... Мне бы хотелось, чтобы вы прочли его до отъезда.

– Что за срочность? Неужели нельзя подождать до завтра?

Ладно, просит – подожду полчаса.

...Письмо принесли чуть ли не сразу после его звонка. Оно интересно; привожу его почти полностью:

«Многоуважаемый господин Семенов!

Направляю официальный документ по комплексу Лакшина (Стыллера) Романа Павловича.

1. Как уже говорилось, по одной из версий Лакшина (Стыллера), получившего гражданство ФРГ после выезда из СССР, его теща, Р., после составления ею завещания на культурные ценности, то есть после 20 ноября 1979 года, якобы умерла. Эта версия опровергается полученным мною уведомлением о вручении заказного письма N 441 г., отправленного мною Р. в качестве контрольного и поданного на Боннском почтамте (Бонн 1) 20 сентября 1980 года. Уведомление подписано лично Р., причем два раза (фотокопия прилагается). Подписи Р. идентичны всем трем ее подписям, имеющимися на ее фиктивном завещании. Уведомление заверено календарным штемпелем Ялтинской почты от 2 октября 1980 года. Оригинал этого уведомления будет передан мною следственным властям ФРГ 20 октября с.г. (следователь Гроддекк находится сейчас в отпуске).

2. 30 сентября 1980 года между мной и старшим прокурором Боннской прокуратуры Кайзером состоялась трехчасовая беседа, в которой участвовал также следователь налогового розыска Боннского округа Гроддекк.

В ходе беседы были предъявлены мне ранее не известные альбомы с фотографиями ценностей, обнаруженных у Лакшина или же проданных им третьим лицам.

Оказалось, что ценности, о которых я сообщал ранее, составляют лишь часть сокровищ. Ценности, по его словам, были подвергнуты многократным экспертизам; имеются авторитетные сертификаты подлинности. Многие

иконы относятся бесспорно к шестнадцатому веку. Спор о подлинности возник в отношении только одной или двух икон, все остальное никаких сомнений не вызывает.

Кайзер сообщил, что и эти альбомы не являются полными. Полный альбом отправлен в США, где, как он сказал, «у нас имеются определенные связи с ФБР, где нам тоже стараются помочь в идентификации»...

Оговорив, что прокуратура ФРГ не имеет права ни сама проводить следственные действия на территории СССР, ни присутствовать при них, ни уполномачивать на это недолжностных лиц, Кайзер дал понять, что от меня ожидают содействия в этом внеофициальном, «консультативном» плане. Речь шла о необходимости получения от советской стороны именно таких доказательств, которые могли бы быть приняты во внимание судом ФРГ. Кайзер подробно разъяснил, что именно нужно и что было бы недопустимым или бесполезным.

На просьбу предоставить мне для передачи советским властям фотографии коллекции Кайзер ответил в том смысле, что это в принципе возможно. Мою просьбу предоставить или хотя бы предъявить фотографии писателю Юлиану Семенову, а также дать ему информацию по этому делу Кайзер обещал довести до сведения пресс-службы прокуратуры и сообщить ответ на следующий день.

3. 1 октября 1980 года Кайзер сообщил мне по телефону, что руководство прокуратуры не готово предоставить Ю.Семенову информацию или хотя бы показать ему фотографии под предлогом «нарушения налоговой тайны».

4. В тот же день, 1 октября 1980 года, следователь Гроддекк пояснил мне по по телефону, что я не должен «буквально» воспринимать сдержанную позицию прокуратуры.

5. 10 октября 1980 года адвокаты Лакшина (Стыллера) добились освобождения его из предварительного заключения (где он содержался по иному делу): Лакшин внес залог в сумме 100 000 (ста тысяч) немецких марок ФРГ наличными.

6. 13 октября 1980 года я сообщил прокурору Кайзеру по телефону о факте получения мною уведомления с подписью «ожившей» Р.

7. Уточнение к пункту 2: Прокуратура ввела меня в процесс в качестве так называемого «экспертного свидетеля» по вопросам советского права. На этом основании (формально) мне дается информация по материалам дела.

С глубоким уважением

Борис Уманский,
руководитель «Техноэкспорта».

Звоню Уманскому, задаю вопрос:

– Вы понимаете, какие последствия для вас может иметь этот материал?

– Вполне.

– Готовы к противостоянию?

– Не придется, я оперирую фактами.

– Ну-ну.

...Это было поздно вечером 14 октября, через час после того, как почтальон вручил мне конверт, а я расписался в получении «экспресс-почты» о продолжающемся хищении культурных ценностей.

...Я перезвонил в Бонн, попросил перенести встречу еще на час и сел к пишущей машинке,– письмо стоило того, чтобы над ним серьезно подумать, а я привык думать словесно – фиксируя мысль на машинке.

(Вообще-то, когда я только начал работать в журналистике, моими «орудиями производства» были карандаш и ручка; однако с годами приходит особая требовательность, необходимо видеть, что получилось, что надобно перелопатить; слово, написанное рукою, отличается от слова, напечатанного на пишущей машинке, а уж когда читаешь корректуру, то набор выявляет совершенно новое качество написанного, никаких иллюзий, некое отделение твоих мыслей от тебя самого, смотришь со стороны, сердце рвет порою: «Ах, если бы можно было еще раз переписать все наново!» Потому-то я и перешел на пишущую машинку,– она дисциплинирует тебя, учит краткости и четкости.)

Меня потянуло написать эти несколько страничек, потому что закольцевались события лета сорок пятого в Калининграде с тем, что происходит и по сей день, когда преступники, сориентированные на мафию, продолжают свое черное дело грабежа и укрывательства культурных ценностей, принадлежащих Родине.

Действительно, история таинственной смерти доктора Роде накануне того дня, когда профессор Виктор Барсов должен был получить «исповедь» немецкого специалиста, отвечавшего перед высшими бонзами рейха за сохранность Янтарной комнаты, до сих пор до конца не разгадана: хоронили доктора никому не известные люди, могила его не обнаружена, врач, подтвердивший под присягой факт смерти Роде и его жены от «острого желудочного заболевания», исчез вскоре после этого из города, словно в воду канул, как его ни искали.

Действительно, поведение профессора Роде, особенно в последние недели перед смертью, казалось тем людям, которые его знали, необычным, он словно бы постоянно кого-то страшился, жил под мечом, ждал чего-то.

Действительно, профессор Роде знал все о судьбе Янтарной комнаты, но молчал, не говорил ни слова, хотя люди, помнившие его в те месяцы, утверждали, что он был на грани признания; что-то мешало ему открыться, тяготило изнутри, страшило, он хранил в себе тайну, метался...

Его гибель была угодна тем, кто обрубает следы, тем, кто и по сей день занят укрывательством краденого.

Кто эти люди?

Действительно, загадочно сообщение о том, что в шахте «Б» «Виттекинд» по прошествии трех месяцев после окончания войны жили «бывшие узники». Отчего они не ушли из подземелья? Да и потом, чья это версия, что те, кого увидали офицеры английского представителя Этткинда, были «узниками»? Не есть ли это дезинформация? А кто был в ней – тогда еще, в августе сорок пятого – заинтересован?

А взрывы, засыпавшие шахту? Произошли-то ведь они после того, как часть ящиков была тайком поднята и вывезена из Фольприхаузена англичанами.

Кем? Куда?

(Доктор Колер передал мне фотографии, сделанные в марте – апреле сорок пятого: нацисты прячут ящики с награбленными ценностями в лесу, неподалеку от маленького городка в Саксонии или Тюрингии. Адъютант гауляйтера Мучмана, здравствующий и поныне нацист Саксе из Кобленца, знает, что это за город, но он не сказал, да и не скажет правды. А ведь это так важно узнать: в Тюрингии или Саксонии прятали награбленное, ибо тогда версия о том, что машины швейцарского Красного Креста вывезли нечто из Саксонии, которая, согласно Ялтинскому соглашению, становилась советской зоной оккупации, в Ганновер, который отходил англичанам, перестает быть версией, но становится абсолютноай правдой. Идти на такого рода рискованную акцию нацисты могли только во имя чего-то крайне важного, во имя высшей тайны рейха.)

Молчал комендант Кенигсберга генерал фон Лаш, когда фельдмаршал Паулюс спрашивал его о судьбе Янтарной комнаты, молчал наглухо, а ведь прошло много месяцев с того дня, когда советский народ спас мир от коричневой чумы.

Молчал на процессе в Варшаве гауляйтер Восточной Пруссии и Украины гитлеровец Эрих Кох.

Но ведь живы наши герои-ветераны, герои штурма Кенигсберга, которые первыми ворвались в королевскую крепость, туда, где

была депонирована Янтарная комната.

Может быть, кто-то из ветеранов отзовется? Дорога каждая мелочь, любая подробность...

Надо бы постараться исследовать путь, который прошла икона, похищенная нацистами в Тихвине и оказавшаяся затем в молельне кардинала Спэлмана в Нью-Йорке. Как она попала туда? Через какие перевалочные базы? Кто отвечал за ее транспортировку? Сколько лет продолжается ее мученический пусть за океан?

А то, что пишет Уманский? Правда это? Или хорошо сделанная подстава? Если правда, то каким путем, кто, с чьей помощью продолжает грабеж и торговлю произведениями искусства, похищенными в Советском Союзе?

Здесь есть кому сбывать награбленное. Мафия служит сильным мира сего, бизнес хорошо оплачивают, сделка стоит риска.

А те люди, с которыми меня сводила жизнь за два года, что я прожил на Западе? Штайн есть Штайн, он человек убежденный, а потому – бесстрашный, но ведь сколько моих собеседников замыкались, боязливо оглядывались, переходили на шепот, начинали отвечать полунамеками, как только речь заходила о Янтарной комнате, да и вообще обо всем культурном богатстве, которое было у нас похищено.

Страх. Здесь умеют делать страх, а что может быть ужаснее и въедливее, чем страх перед прошлым, особенно таким, какой принес с собою в мир нацизм?! Но если бы нацизм был в прошлом! Я сидел на съезде новых нацистов, на сборище НДП, в маленьком городе Кертче, съезде, который пикетировали узники нацистских концлагерей и заботливо охраняли огромные наряды полиции. Я видел и слышал, как аккуратные молодчики в черных пиджаках, белых рубашках и красных галстуках (цвета гитлеровского флага) изрыгали слова ненависти к миру, прогрессу, гуманизму, я видел и слышал, как ревело это сборище, когда докладчики взывали к «единству крови», к «почтительной памяти к прошлому», к «изоляции людей чужой национальности», к «беспощадной борьбе против коммунизма», к «походу против мирового интернационала». Это ферменты страха, который готовят загодя, но сейчас, в наши дни, словно бы кто незримый, но могущественный, грозит пальцем: «Смотрите мне! Тихо! Не высовываться! Черно-бело-красные наготове! Забыли Гитлера? Напомним! Все готово на крайний случай, все слажено и отрепетировано!»

Я помню, как на границе Австрии и Лихтенштейна остановились огромные туристские автобусы. Пассажиры – англичане, канадцы, испанцы – высыпали на пушистый снег, который шел картинно, будто на оперной сцене. Они сразу же начали играть в снежки, полная

раскованность – хохот, веселье, звонкие голоса, шутки. И только туристы, прилетевшие из Чили, вышли из своего автобуса медленно; их внимательно пересчитал мужчина в строгом сером пальто, отметил что-то в своем блокнотике и отдал негромкую команду. Но люди не бросились играть в снежки, как другие, они стояли кучкой, переглядывались, и не было улыбок на их лицах, одно лишь испуганное ожидание... Страх... Фашизм – это страх.

И мне тогда, на заснеженной границе в горах, до боли в сердце вспомнился первый летний месяц в Чили, январь, и ослепительное солнце, и зной, и улицы Сантьяго, и мелодии песен, и открытые, улыбчивые лица людей – прекрасная пора Народного Единства, пора свободы, братства, доверия друг к другу, великолепная пора Человечности и Бесстрашия.

О трагедии в Чили, о расстреле моих друзей, о гибели товарища Альенде я узнал в Мадриде, когда еще там царил страх, рожденный «братом» фюрера, генералиссимусом Франко. Я видел слезы на лицах людей – в метрополитене, в автобусах, на улицах, возле газетных киосков,– но никто не говорил открыто о своей боли по загубленной фашистами свободе,– люди боялись правды; страх...

Да, подумал я, записывая то, что предстоит делать в ближайшие месяцы, лишь опираясь на поддержку тех деятелей литературы и искусства на Западе, которые помнят, что такое фашизм, и ненавидят его, можно продолжать наш поиск.

Да, подумал я, некоторые органы прессы – вольно или невольно – стараются придать поиску оттенок сенсационности, сосредоточить максимум внимания читателей на проблеме одной лишь Янтарной комнаты, а ведь это сугубо неверно. В наших музеях похищены полотна Рембрандта и Венецианова, Рубенса и Репина, Рафаэля и Куинджи, Тинторетто, Васнецова, Левитана, Ге, Брюллова; из библиотек вывезены миллионы томов книг; ограблены архивы городов и областей, а ведь и это часть истории нашей Родины, следовательно, часть истории мировой цивилизации. Наш поиск куда как более широк, чем поиск лишь одной Янтарной комнаты, это поиск памяти.

Прав был Сименон, когда он, отправляя мне письмо в поддержку создания Комитета за честное отношение к русскому искусству, которое оказалось на Западе, подчеркнул, что речь идет обо всем культурном достоянии, вывезенном нацистами и укрытом под землею, вдали от людских глаз, под охраною пулеметчиков и саперов СС,– они ведь похищены не только у нас, они похищены у человечества!

И не зря я то и дело возвращался мыслью к мафии: этот мобильный инструмент преступников, тщательно организованный тайный

орден «Коза ностра» алчет легких прибылей. На чем угодно: взрывы, похищения ни в чем не повинных людей, выстрелы из-за угла, шантаж, проституция, торговля детьми, спекуляция культурой, ведь толстосумы так хорошо платят за живопись, иконы, скульптуры,– надежное вложение капитала...

Читатель помнит, как Скорцени кивал на мафию, когда речь заходила о золоте. Да разве он один, снисходительно посмеиваясь, валит все на мафию? Милые бранятся – только тешатся, все заранее обговорено и срепетировано, права на проигрыш нет, кара – смерть, а еще страшнее – постоянное ее ожидание; страх...

Надо поднять все те новые материалы, которые сейчас появились на Западе о мафии. Нет ли указаний на то ее подразделение, которое ныне сориентировано на «культурный бизнес»? Понятно, это тайна за семью печатями, но здесь работают не только делатели «уток», но и великолепные журналисты, мужественные люди (один Вальраф чего стоит?!), которые высоко чтут свою профессию, идут на риск, подчас смертельный, во имя того, чтобы рассказать читателям правду о зле, о тех, кто в своем черном бизнесе оперирует самым действенным и безотказным оружием – страхом...

Я не стал доставать из каретки лист бумаги, решил, что утром доработаю, еще есть что записать, есть над чем подумать, есть с кем встретиться, есть куда срочно выехать – не далее чем через неделю...

А через четыре часа – на пустынном ночном шоссе – я оказался зажатым полицейскими машинами,– все было сделано так, как показывают в здешних детективах, услышал:

– Ваши документы, пожалуйста...

Ах как культурны и выдержанны здешние полицейские! Только что это у них трясутся руки?! Отчего глаза бегают?! Почему один из них выглядит испуганным, растерянным?! Зачем столь тщательно обыскивают меня? Почему документы на машину и права отправляют в восемь утра в прокуратуру с нарочным, а оттуда – чуть ли не в тот же час – в суд?! Как можно успеть принять решение в прокуратуре о задержании моих водительских прав в восемь часов сорок минут утра?! Кто так торопит полицию? Кто так лихо режиссирует этот спектакль?

Теперь-то мне уж все ясно, да здравствует демократия Запада, перед которой все равны! Ко мне ведь нет никаких претензий; отчего вы сердитесь, господин Семенов, просто-напросто вам – на какое-то время – запрещено пользоваться машиной, работайте себе на здоровье в вашем Бюро, какой прекрасный дом в лесу! Воздух напоен запахами лугов и дубовых рощ, у вас большая библиотека, цветной телевизор! Пусть теперь не вы будете ездить, к вам станут го-

нять ваши друзья, почему бы нет?! Желанными гостями в Лиссеме будут и Сименон, и Шагал, и барон, и Штайн! Да-да, конечно, мы все понимаем, возраст не тот, билеты дороги, ну что ж, ничего не попишешь, придется тогда пожить оседло, не путешествуя в поиске культурных ценностей...

Руки можно выворачивать, не прикасаясь к суставам.

Это умеют делать на Западе элегантно, «демократично».

Значит, мои друзья и я кому-то крепко наступили на больную мозоль, если пришлось задействовать своих людей в полиции и прокуратуре.

Запереть меня, лишить права ездить можно было только таким образом, вроде бы и не обидным; нарушение правил, перед законом все равны, наказание – запрещение управлять машиной какое-то число недель или месяцев, что ж здесь такого?! «Если и министр, сидя за рулем в нерабочее время, превысит скорость или выпьет лишнюю кружку пива, его лишат – на определенное время – водительских прав. Закон есть закон, ничего не попишешь!»

Какое смелое и воистину демократичное объяснение, не правда ли?!

Да, мы наступили кому-то на ногу. Значит, мы на верном пути. Значит, поиск надо продолжать.

Поиску трудно. Уманский – вскоре после моего задержания – оказался в клинике, на обследовании. Он не вышел оттуда – внезапный инфаркт, мгновенная смерть, одна из нитей поиска оборвана.

Двум моим знакомым в Мюнхене, помогавшим по комплексу «Форедж-Кольмберг», позвонили ночью:

– Если вы не прекратите свою антипатриотическую деятельность в сфере поисков неких культурных ценностей, якобы имеющих отношение к красным, ждите горя.

Угрожают Георгу Штайну.

...Однако предательство памяти – преступно; поиск будет передаваться из рук в руки словно эстафета, и нам еще предстоит узнать много интересного о тех, кто, служа бывшим и нынешним крезам, норовит замолчать преступление нацистов – преступление против культуры, следовательно, преступление против мира, прогресса, человечества.

Спустя полтора года, когда я был в Лихтенштейне, продолжая нашу работу, Эдуард Фальц-Фейн передал мне письмо, которое я хочу привести полностью, ибо оно обращено ко всем тем, кто следит за поиском, поддерживает всех ищущих и помогает им всем, чем может.

BARON EDWARD VON FALZ-FEIN
VILLA «ASKANIA-NOWA»
SCHLOSS-STRASSE
2.1.1983

VADUZ
PRINCIPALITY
OF LIECHTENSTEIN
(VIA SWITZERLAND)
PHONE 2 83 83
2 28 32

Уважаемые друзья!

Хочу поблагодарить вашу прессу за постоянный интерес к той работе, которую провожу я, мой коллега из ФРГ господин Георг Штайн и Юлиан Семенов. Выявление и сохранение русских культурных ценностей, содействие их возвращению на Родину – в этом я вижу цель и смысл жизни.

Накануне Нового года, в дни рождества, в моей резиденции гостил глава семьи Шаляпиных, Федор Федорович Шаляпин, мой добрый друг, много сделавший для возвращения на Родину реликвий, связанных с именем великого певца. Федор Федорович составил документ, вполне официальный, который, я убежден, дает ныне право на перехоронение праха Федора Ивановича на Родине. Действительно, хотя останки Шаляпина одиноко покоятся в Париже, на чужбине, сердце его всегда принадлежало Родине. Поэтому, всячески поддерживая решение главы семьи Шаляпиных о перезахоронении останков его отца на Родине, будучи убежденным в том, что сейчас настало то время, когда останки великого певца должны быть возвращены туда, где все его помнят, чтят и любят, я готов, со своей стороны, предпринять все необходимые шаги (ежели они потребуются) для осуществления этого акта.

Хочу добавить, что в ближайшие недели и месяцы мне предстоят переговоры с целым рядом людей и организаций, которые, в случае их успешного завершения, позволят мне передать в дар Родине – как всегда безвозмездно – новые шедевры русской культуры.

Поздравляя с Новым годом советских читателей, телезрителей и радиослушателей, интересующихся нашей работой, хочу пожелать всем вам здоровья, успехов, счастья и мира.

Искренне Ваш
барон Эдуард фон Фальц-Фейн.

Прах Шаляпина вернулся на Родину.

Георг Штайн потерял жену, был разорен и покончил жизнь самоубийством; он продолжал свое д е л о до самой последней минуты...

Барон фон Фальц-Фейн делает все, чтобы бесценный архив Штайна оказался у нас на Родине.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ФИРМА ЭГСИ»

Уважаемые читатели!

Наше издательство, обладающее эксклюзивными правами на продолжение издания собрания сочинений **Юлиана Семенова**, сообщает, что в следующих томах будет опубликовано:
Том 17 – **При исполнении служебных обязанностей.**
Тома 18 и 19: – **Отчеты по командировкам,**
Далее планируется опубликовать: – **Горение** и некоторые другие произведения.

Для оптовых покупателей:
телефон: (095) 913–8744, телефон/факс: (095) 452–8816

В Москве реализация книг нашего издательства осуществляется в следующих магазинах:
– магазин №2 Южного Агентства Печати,
Б. Факельный пер., 3, метро «Таганская», телефон ***911–2107***
– ООО «Восход»
Ярцевская ул., 34, метро «Молодежная», телефон ***149–1125***
– ТОО «Тотем»
Минская ул., 14, метро «Филевский парк», телефон ***144–5567***
– ТОО «Фрам»
Кутузовский пр., 24, метро «Кутузовская», телефон **243–2795**
– ТОО «Аскольд»
Физкультурный пр., 11/25, кор. 6, метро «Багратионовская», телефон ***148–9480***
– ТОО «Ирена–Сервис»
Руставели ул.,8,метро "Дмитровская" телефон ***219–9505***

В других городах России реализация наших книг осуществляется:
г. Казань – телефон (8432)–55–22–64,55–00–91, **г. Краснодар** – телефон (8612) –57–46–96,54–53–77, **г. Набережные Челны** – телефон (8552)–58–53–53, **г. Новокузнецк** – телефон (3843)–44–71–18, **г. Новосибирск** – телефон (3832) –11–19–08, **г. Оренбург** – телефон (3532)–44–88–52, **г. Тверь** – телефон (0822) –33–52–11, **г. Тольятти** – телефон (8482)–34–94–57, **г. Туапсе** – телефон (86167) –2–31–12, **г. Ярославль** – телефон (0852)–30–43–59.

Наше издательство заинтересовано в установлении прямых контактов с книготорговыми организациями в других регионах, покупающих наши книги в Москве у посредников.

Иногородним покупателям книги высылаются наложенным платежом. Читателям, получавшим ранее наши книги по почте от других организаций и желающим получать их в дальнейшем (напрямую от издательства, без посредников), а также читателям, желающим получать книги по почте, но не приславшим нам ранее заказы, необходимо сделать предварительный заказ. Мы также высылаем ранее вышедшие тома из собрания сочинений **Ю.С.Семенова** и другие книги. Желающим получить полный каталог рассылаемых нами книг необходимо выслать в наш адрес конверт с Вашим адресом. Заказы на книги и каталог просим высылать по адресу:

121353, г. Москва, п/о 353, Издательство "ЭГСИ"

С уважением к таланту и личности автора

Коммерческий банк

Русич®

г. Москва тел. 452-88-16

Семенов Ю.
Собрание сочинений: т. 16. Роман – М.;
ООО «Фирма ЭГСИ», 1996г. – 640 стр.

Повесть «Аукцион» и документальная повесть «Лицом к лицу» посвящены поиску картины Врубеля, Янтарной комнаты и других культурных ценностей, похищенных нацистами во время войны.

ББК 84.ЗР7

Литературно-художественное издание

Юлиан Семенович Семенов

Собрание сочинений. Том шестнадцатый

Редактор Д.О. Грошев
Художники М.Н. Шестопал, В.С. Помочилин, В.М. Беляков
Технический редактор Г.В. Жигалова
Корректор Г.Н. Грошева

ЛР № 064288 от 14.11.95 г.
Подписано в печать с готовых диапозитивов 18.10.96, Формат 84x108 $^1/_{32}$,
Бумага типографская № 2, Гарнитура Литературная, Печать офсетная.
Усл. печ. листов 33,60. Усл. кр. отт. 34,23. Уч.-изд. листов 38,48.
Тираж 20000, Заказ № К-835.
117454, г. Москва, пр-т Вернадского, 62 "а" ООО «Фирма ЭГСИ».

Типография издательства «Чувашия».
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13.

irtschaftsmini

1687/43

dieses Geschäftszeichen und den weiteren Schreiben anzugeben

Eilt!

Geheim!

Reichsminister für Rüstung
riegsproduktion - Rüstungsamt -
von Herrn Kapitän z.S. v. Henrici
- oVIA -

...матографа
помнят роли, сыгранные ими:
"Подруги" Зои Федоровой и
"Двое" Виктории вошли в анна-
лы искусства навсегда — как до-
кументы эпохи.

— Мама была у меня в гостях
несколько раз,— рассказала Вик-
тория. — Однако, когда я пригла-
сила ее в восьмидесятом, вскоре
после того как здесь выпустили
мою книгу "Дочь адмирала" —
отец умер в звании адмирала
флота США, — маме отказывали
в выдаче паспорта. Я обратилась
за помощью к тому сенатору, за
которого голосовала. — Брэдли.
После совещания в его штабе
мне ответили: "Если бы мама
просилась в эмиграцию, сюда, к
вам, для воссоединения семьи,
мы бы могли оказать какую-то
помощь. В ином случае бреж-
невская администрация нам от-
кажет: "Давать или не давать
выездной паспорт для поездки
в гости — наше внутреннее
дело..."

...жизни, двенадцать
...земпляров; ныне тираж
...од жизни - это и мало
...ысячи писем, поступ...
...могают нам вы...
...ы наше...
1. В
...ажни
...едоум
2. Бы
..., дел
...ское С
3. ...
...вы!
4. ...
...упники,
...е место
5. ...
...и сможет ...ть все наши эко...
...истративной Системы!"
6. ...Продолжать борьбу
...ции и взяточничества.
7. Выступать против той с е к
...ну и его банде создать камеры
...нки, Катыни, а его ученикам - п
...
...так, "Совершенно Секретно" - эт...
...а этом мы стояли и будем стоять.

...ривет свтвия от Библейского Общест
...ктеров, художников, режиссеров, ...

...ернуть "журнальный вариант"!

...откуда курсив?

...Ernsprecher: Ortsdienst Nr. 16 43 51
Ferndienst Nr. 16 41 21

...schaftsminister

...7/43

...s Geschäftszeichen und den
...eren Schreiben anzugeben

Eilt!

Geheim!

...ister für Rüstung
... Rüstungsamt -
...S. v. Henrici

...дивенчества:
...в квартиру, накор...
...и пьяница, приходящий
...юги, так и вполне прис-
...ния пропагандистской ше-
... Поэтому следует отве-
...перед самим собою, ...
...б"ективно.
...арант. Оно обязано ...
...амовыявление,- это
...розить рост заработной
...ляции (при том,
...ны на рынке - рыноч-
...ому, сколько труда
...елем в продукт) буд...
...сы,- ... могут
...ктом.
...положения?
...ос трудно ответить,
..., которые облегча...
...нивающей") стра-